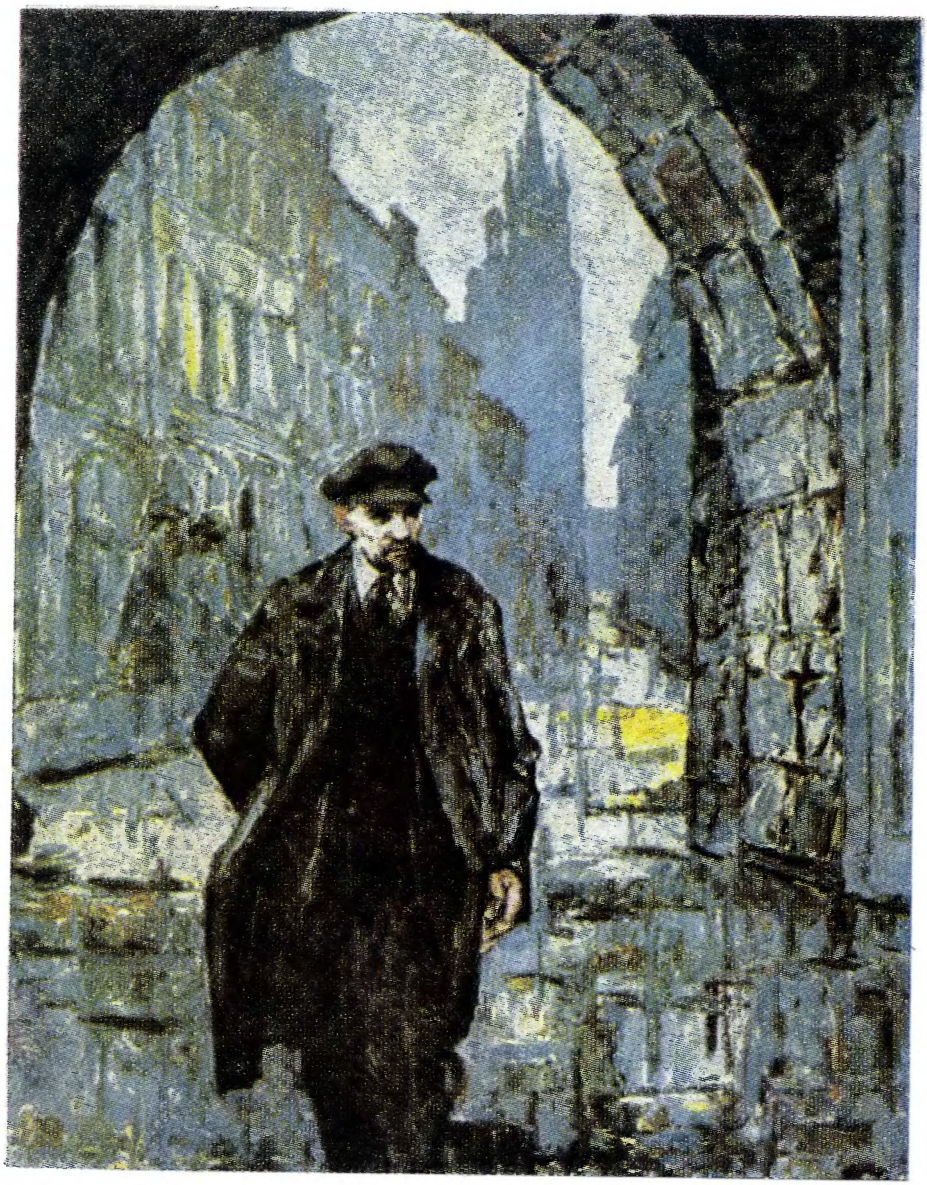
ISSN 0130 – 6545

4.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



АЛОЙЗИЙ СИВЕЦКИЙ. Поронинское совещание

Цветные иллюстрации номера — картины польских художников, посвященные В. И. Ленину

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В. И. ЛЕНИНА

...Я прихожу в Мавзолей, чтобы принести Ленину дань своей высочайшей благодарности, как навеки свободный человек, на которого уже никогда больше не наденут ни колодок, ни цепей.

Жан Бриер

Ленин и человечество

Ленинцы обладали могуществом, опирающимся на знание, что позволяло им действовать силой убеждения; по этому признаку их можно узнать и спустя много лет...

Милан Лайчиак

С мыслью о вожде

Идеи и принципы Ленина сегодня живы так же, как в дни Октябрьской революции, это получило новое подтверждение в советской мирной инициативе, с которой выступил в Берлине Л. И. Брежнев,— акции, в известном смысле потребовавшей не меньшей смелости, чем во времена молодой советской власти издание Декрета о мире.

Петер Шютт

Живые заветы

MOSCOVO

МОСКВА

Лишь вступил я на эту землю,
как почувствовал: в груди моей, в старом сердце Антея,
пламя, зажженное Лениным, полыхает по-прежнему,
а может быть, даже становится ярче...

Жозе Гомеш Феррейра

В СССР

...Образ Владимира Ильича Ленина был для меня одним из самых дорогих и любимых. Я преклоняюсь перед его упорством, аналитическим складом ума, глубоким проникновением в марксизм, перед его великодушием и твердостью...

Урбано Тавареш Родригеш

Книги Ленина в моей жизни

Ленинской теме в этом номере посвящены также публицистические выступления Николая Полянова «Будущее, которое началось», Саввы Дангулова «Семь заповедей ученого человека из ФРГ», статья Б. Бялика «Живее всех живых», страницы Ленинианы (обзор Н. Смирнова «Печаталось в «Иностранной литературе», В. Найдус «Ленин среди польских друзей», Сим. Дрейден «Краковские вечера»); в разделе «Среди книг» — И. Попов «Правда Ленина», Е. Серебряков «Путь к ленинским идеалам»; Ежи Мадейский («К нашим иллюстрациям») — «В. И. Ленин в произведениях польских художников».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание

Слово о Ленине

ЖАН БРИЕР — Ленин и человечество *(Перевод с французского О. Моисеенко)* 4

МИЛАН ЛАЙЧИАК — С мыслью о вожде *(Перевод со словацкого И. Токсиной)* 6

ПЕТЕР ШЮТТ — Живые заветы *(Перевод с немецкого Ф. Михайлова)* 10

НИКОЛАЙ ПОЛЯНОВ — Будущее, которое началось 12

ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА — В СССР *(Фрагменты поэмы. Перевод с португальского Владимира Резниченко. Вступление Роберта Рождественского)* 22

АЛЕКС ЛА ГУМА — Время сорокопута *(Роман. Перевод с английского Виктора Рамзеса. Предисловие автора)* 30

Рассказы молодых венгерских писателей

АНДРАШ ШИМОНФИ. ЙОЖЕФ БАЛАЖ. ПЕТЕР ХОРВАТ. СИЛЬВЕСТЕР ЭРДЁГ *(Переводы О. Громова, Е. Жмуркис, А. Наумснко. С. Фадеева. Вступление Ю. Гусева)* 109

РИКАРДО БОГРАНД — Стихи *(Переводы с испанского В. Лунина и Н. Горской)* 139

КНУТ ФАЛДБАККЕН — Страна заката *(Роман. Окончание. Перевод с норвежского К. Телятникова. Послесловие Эдварда Араб-Оглы)* 144

Критика

Идеологическая борьба и литература

Б. БЯЛИК — Живее всех живых 201

Американские студенты читают «Тихий Дон»

ИОАКИМ Т. БЭР — Шолохов в США *(Перевод с английского В. Исакович)* 208

Ю. ЛУКИН — Как течет Дон и как растет трава 211

Литературные портреты

МАЯ УЛЬРИХ — Вера и слово Лайоша Мештерхази 214

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 Апрель 1980

Содержание

Публицистика

САВВА ДАНГУЛОВ—Семь заповедей ученого человека из ФРГ 221

Страницы Ленинианы

Печаталось в «Иностранной литературе»... (Обзор Н. Смирнова) 227

ВАЛЕНТИНА НАЙДУС — Ленин среди польских друзей. Краков, 1912—1914... *(Перевод с польского К. Старосельской)* 234

СИМ. ДРЕЙДЕН — Краковские вечера 239

Антирубрика

ДЁРДЬ БАЛИНТ — Московские корреспонденты сообщают... *(Перевод с венгерского Александра Науменко)* 243

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — Мафиозо. Два миллиарда *(Перевод с итальянского Л. Вершинина)* 245

Наши гости

Н. Булгакова — Луис Кардоса-и-Арагон (Гватемала) 249

К нашим иллюстрациям

Ежи Мадейский — В. И. Ленин в произведениях польских художников 251

Среди книг

Издано в СССР

И. Попов — Правда Ленина ✦ Е. А. Серебряков — Путь к ленинским идеалам. 252

Издано за рубежом

Урбано Тавареш Родригеш — Книги Ленина в моей жизни ✦ Русская и советская литература за рубежом. Падмахарша Куранаге — Чехов в Шри-Ланке. Фредерик Рандриамамундзи — Размышления о «Тихом Доне». Ирмтрауд Гучке — Военные дневники Константина Симонова 257

Из месяца в месяц 263

На обложке: картина польского художника АЛОЙЗИЯ СИВЕЦКОГО «Ленин в Кракове».

© «Иностранная литература», 1980.

Слово о Ленине

ЖАН БРИЕР

ЛЕНИН И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Без особого душевного волнения мы вызываем в памяти Декарта, картезианство, сумму знаний, заключенных в Энциклопедии, и сдвиги, происшедшие в нашем представлении о мире благодаря уравнению Эйнштейна, которое позволило применить математическую логику ко всем отраслям науки и заменить ею логистику.

Разумеется, нельзя не восхищаться освоением законов тяготения, многократными полетами в космос для изучения физической природы внеземных почв и другими поразительными успехами, достигнутыми на современном уровне технических знаний благодаря углубленному изучению математических наук.

И однако, все чудеса, о которых повествует Жюль Верн не только как поэт, а скорее как провидец-прагматик, понявший конкретные возможности науки, чудеса, неотъемлемые от нашей современной жизни, распадаются на отдельные главы, которые человеку никак не удается связать в единое целое и поставить это целое на службу людям и Миру во всем мире.

Величайшим достижением прогресса менее чем за полстолетия является систематизация всех открытий человечества, всех его побед и переплавка их в самой совершенной из всех когда-либо существовавших лабораторий — в мозгу Ленина.

Многие люди, великие люди, оставили свои имена в литературе, социологии, философии, науке. Они прославили свое время в какой-нибудь одной отрасли знания.

Ленин был всегда и во всем одинаково велик.

Проявив известный интеллектуальный дэндизм, некто на его месте мог бы стать этаким верхоглядом, который нахватался всего понемногу, перескакивает с предмета на предмет, ничего не углубляя, просматривает, не читая. Что же касается Ленина, не было ни одного затронутого им вопроса, ни одной дискуссии, в которые он не проник бы до самого основания, до мельчайших подробностей.

Русский, он знаком с материальной и духовной географией всего мира.

ЖАН ФРАНСУА БРИЕР — JEAN FRANÇOIS BRIERRE (род. в 1909 г.).

Гаитянский поэт, прозаик, драматург, общественный деятель, ветеран афро-азиатского писательского движения. Живет в изгнании в Сенегале. Автор ряда исторических драм в стихах, нескольких поэм и сборников стихов.

Стихи и поэмы Ж. Ф. Бриера неоднократно печатались в Советском Союзе в периодике, в том числе в «Иностранной литературе». Статья «Ленин и человечество» получена от автора в рукописи.

Мыслитель, он опережает свое время или, точнее, связывает его со всеми великими свершениями прошлого, от Прометея до Библии и Корана, от Аристотеля, Гераклита и Гомера до Пастера, Жолио-Кюри и Толстого.

Он не поддается завораживающему соблазну бесплотных теорий. Он знает, что мера всех ценностей — человек, не какой-то абстрактный идеальный человек, а человек во плоти и крови, тот самый, кто со времен пещер пытается подчинить себе природу, добыть пропитание, одежду и жить среди красоты и произведений искусства.

Он отвергает башню из слоновой кости и мистический туман, кривое зеркало нарциссизма и манию величия. Он не хочет быть ни чистым философом, ни изобретателем утопий: его место — руководителя, пробудителя сознания людей, способного отвратить их от веры в детские фантазии.

Более чем кому-либо Ленину были чужды расовые предрассудки или зоологическая ненависть. Он знает, что человек, как таковой, с его разумом и смертным телом есть продукт окружающей среды. Этот будущий строитель, в котором с детских лет пробудилось сочувствие к страданию человека, живущего в условиях крепостничества или в гетто эксплуатации, сумел в зрелом возрасте выйти своей мыслью за пределы неохватных границ царской России. Лучше, чем кто-либо, он видел масштабы и мощь этой России, сверкающие грани ее роскоши, неисчислимые потенциальные богатства ее недр, все оттенки ее средневековой пышности и, наконец, аристократический блеск славянской цивилизации с ее дворцами и соборами, которая оборачивалась варварскими указами, как только вопрос вставал о земле. Землю эту советские люди продолжают вспахивать и засевать, но делают это по законам истинной человечности, ибо идеи Ленина выкорчевали на ней нищету и несправедливость.

Он мыслил шире, видел дальше пределов России, которая была в его глазах лишь миром эксплуатации в миниатюре. Конечно, Маркс во многом помог ему подытожить потоки пота и крови, льющиеся на нашей планете, где мраморные громады храмов и монастырей бросают вызов трагедии народов. «Капитал», вышедший за три года до рождения Ленина, не оставил камня на камне от буржуазной теории картезианства и, предложив острое оружие диалектики, послужил Ленину путеводителем в суровом выборе решений и положений его глобальной политики переустройства мира на земле.

Маркс предвидел пришествие революции в Западной Европе, настолько погрязшей в своем культе богатства, что она не заметила предвестников грядущих потрясений. Ленину удалось измерить глубину векового долготерпения своего народа и, главное, мощь огненных потоков, готовых прорвать панцирь этой внешней покорности, которую суровая воля к победе грозила уничтожить, сметя на своем пути роскошь угнетателей и самые основы пустого, беспечного общества, уже давно изжившего себя, хотя оно и считало себя неуязвимым.

Таким образом, Ленин, обогащенный предначертаниями Маркса (если можно сказать так о его «Капитале» — этой энциклопедии своего времени и истории всех времен, этом плоде упорнейшего труда, ибо стиль его есть не что иное, как острый скальпель на службе у мысли), тщательно взвесил проблемы человечества, измерил масштабы его застарелых болезней и подготовил бессонными ночами, в ссылке, среди опасностей подполья тот самый Октябрь 17-го, что перевесил почти двухтысячелетнюю всемирную историю, на протяжении которой господствовала, несмотря на все ренессансы и эпохи просвещения, безжалостная эксплуатация слабых, прикрываемая обманчивым великолепием и пустопорожними, напыщенными речами.

Ленин поднялся, как могучий дуб, выросший на русской почве, и встал во главе неисчислимой гневной рати, которая потрясла и потрясает старый мир. Пока этот древний мир все еще населяют призраки былого владычества денег и наглой реакционной власти. Но мир этот будет очищен от привидений и от царящего в нем искусственного мрака, ибо людские массы, следующие учению великого человека, полностью осознали свою миссию освободителей рабочих и крестьян. Вопреки создаваемым преградам, вопреки вооруженному сопротивлению господ и возведенной в закон эксплуатации они будут по-прежнему просвещать человека на всех континентах и под всеми широтами, говоря ему об его праве на полное равенство и о величии его судьбы.

Ленин принадлежит всему угнетенному и страдающему человечеству, которое голодает, потому что собранный им урожай расхищается и отвозится в чужие страны, которое испытывает жажду, потому что вода — этот с трудом добытый им пот земли — идет в цистерны и бассейны цивилизации колонизаторов.

Ленин всегда находится в рядах тех, кто ведет неустанную борьбу против всяческих гетто, трущоб, лачуг, против лжи и опиума мелкой худосочной культуры, веками навязываемой в обезличивающих человека школах и в высших учебных заведениях, которые гасят все его порывы к справедливости и к истине.

Вот почему, бывая в Москве, я прихожу без визитной карточки, без партбилета в Мавзолей, чтобы принести ЛЕНИНУ дань своей высочайшей благодарности как навеки свободный человек, на которого уже никогда больше не наденут ни колодок, ни цепей.

Он открыл мне как человеческой личности истинные мои возможности, научил распознавать пределы предрассудков и глупости, указал, что так называемые небеса — обман, скрывающий за молитвами, эйфорией прощения и показной благотворительностью бесстыдный грабеж материальных благ, которые могли бы лечь в основу счастья на всей земле.

Ленин выковал оружие, которое обеспечивает победу революции. Хронологически он первый возвестил «своевременность революции».

Яростные споры, сокрушительные нападки, проповедь выжидательной политики, скрытая тактика отречения... Ленин крепко стоит на ногах перед лицом всей этой бури, его пиджак расстегнут, высокий лоб — под кепкой рабочего. Он утверждает, что организация неотделима от теории, ибо без овладения ею массами, все большим числом людей, у революции не будет завтрашнего дня.

Ленин не совершил насилия над волей масс, опрокидывая установления царизма и структуру средневекового общества. Мысль его предвосхищала будущее открытие космоса. В голове этого светоча науки, в гениальном интеллекте созидателя нового мира уже зарождалась идея расщепления атома.

Слава Ленину!

Перевод с французского О. МОИСЕЕНКО

г. Дакар

■

МИЛАН ЛАЙЧИАК

С МЫСЛЬЮ О ВОЖДЕ

Личность Ленина — не та тема, которой можно заниматься без подготовки, без паузы, без запасов личной и общественной энергии...

Удивительна всесторонность Ленина... С позиции узких специалистов, нужду в которых предопределило наступление научно-технической революции — в особенности после второй мировой войны,— не познаешь сущности ленинизма, методологии и принципов его применения. Невозможно без последствий для себя «попросту» листать труды Ленина с тем, чтобы их популяризировать. Есть ряд ступеней, с которых можно осмотреть это учение, и все они — реальные ступени жизни. Нет и не может быть взгляда сверху. Есть постепенное приближение к высокой, труднодоступной вершине. Каждая ступень радует нас каким-нибудь даром. На одной мы постигаем вопросы ленинизма, на другой — открываем ответы на них. И это, как правило, происходит в наиболее острых критических ситуациях личной или общественной жизни. Мы возвра-

---

МИЛАН ЛАЙЧИАК — MILAN LAJČIAK (род. в 1925 г.).

Словацкий поэт, лауреат Государственной премии. Автор многих сборников стихов, в том числе «Судьбы» («Osudy», 1964), «Обнаженная нежность» («Nahá neha», 1965), «Письма Седовласой» («Listy Sivovláske», 1974), «Из новых писем Седовласой» («Z novych listov Sivovláske», 1978) и др.

В русском переводе выходил сборник его стихов «Лирика». Заметки «С мыслью о вожде» составлены по книге «Осенние очерки» («Jesenné eseje», Bratislava, Smena).

щаемся к Ленину всякий раз, когда возникают поломки в нашем хозяйственном организме или отклонения от курса интернационализма, когда обостряются «детские болезни» революционного движения, когда образуются затемнения в области теории, когда грозит ошибками намечающийся застой или инерция в практической деятельности...

Характерно, что современные идеологи антикоммунизма, которые прячутся под маской демократии и объективности, если и отдают должное роли Ленина, то ограничивают ее лишь сферой политики. Они не желают признать его триумф как ученого, вот уже более полувека тщетно пытаясь противопоставить его теории сколько-нибудь обоснованную аргументацию: достаточно вспомнить блистательное торжество концепции Ленина в теоретическом единоборстве, вершиной которого является «Материализм и эмпириокритицизм»; такого рода поединков в истории насчитываются единицы.

Мы возвращаемся к Ленину с доверием, без боязни, зная, что за этим «сократовским» лбом, которым так восхищались скульпторы, таится философия правды как наивысшего добра, смелость революционера, который предвидел, что должен отвечать и тем, кто родится после его смерти. Смелость пришла к нему в один из тяжелейших моментов в истории мировой цивилизации XX века. Меня тогда еще не было на свете, а брату моему было всего тринадцать месяцев. Теперь оба мы шагнули во вторую половину жизни; республика у нас совсем иная, Словакия — иная, мы сами стали другими.

К человеку, который был «прост, как правда», к человеку, который в отличие от многих терпеть не мог восхвалений и культа собственной личности, мы подходим с уважением, как к учителю народов и поколений, подходим без суесловия и парадных фраз. Потому что только наедине с собой ты можешь осмыслить, чем он был для человечества, а значит, и для тебя.

■ ■ ■

В своих мемуарах старые члены партии помимо скромности и доступности Ленина подчеркивают еще одну его чрезвычайно существенную особенность — не было таких государственных границ, которые отдалили бы его от интересов и психологии рабочих и крестьян. Будучи преподавателем Партийной школы в Лонжюмо, Ленин всегда вел исключительно скромный образ жизни. На десятки километров по тихой тополевой аллее пролегал маршрут его велосипеда от дома до работы. В Париже, на улице Мари-Роз, где он жил со своей женой и другом Надеждой Константиновной Крупской, самым большим богатством были книги, а самым большим событием — приезд связных с родины. И вот что примечательно: чем больше знаний приобретал Ленин, чем более заметной становилась роль, которую он играл в партии и в ее руководстве, тем чаще можно было услышать о его человечности, сердечности, открытости...

■ ■ ■

Маяковский в своей гениальной поэме запечатлел для миллионов читателей не только ленинскую биографию, но вместе с тем и биографию России и революции.

Характерно, что центральное место в этой поэме занимает смерть Ленина, ибо даже сама эта смерть стала великим организатором. Только под пером большого мыслителя могла явиться в свет концепция смерти выдающейся личности как начала горестного, трагичного, непоправимого и одновременно активного, мобилизующего. Не будем сужать понятие «организатор» до представлений банальных, тривиальных, подразумевающих особый талант в области распределения заданий и нечто вроде контроля за их выполнением. Это было бы явной ошибкой. Маяковский понимает под «организатором» вдохновителя и творца, чья кончина означала не гибель его учения, а его дальнейшее развитие и практическое осуществление. Ленин никогда не возвышался как некий символ над рядами революционеров и революционных масс. Он — всегда вместе с ними и в них, не как миф, а как источник силы...

■ ■ ■

Наполеон говорил, что, закончив кампанию в Вандее, он сам превратился в католика; став мусульманином, закрепился в Египте, а обернувшись заальпийским жителем, добыл итальянское герцогство. Если бы он правил евреями, то обновил бы храм Соломона... Ленин — антипод бонапартизма с его взглядом на нации, народ, классы как на «толпу».

Сун Ятсен на митинге в Кантоне, где был провозглашен трехдневный траур по случаю смерти Ленина, сказал: «За многие века в мировой истории выступали тысячи

вождей и ученых с прекрасными обещаниями, которые никогда не осуществлялись. Ленин, ты — исключение. Ты не только говорил и учил, ты свои слова претворил в жизнь. Ты создал новое общество. Ты указал нам путь общей борьбы... Ты будешь жить столетия в памяти угнетенных народов как величайший из людей».

Есенин писал о Ленине:

Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
С плеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

При этом он вел людей за собой, был вождем в самом высоком, самом человечном смысле этого слова. Он стал вождем не так, как становились другие: одни узурпировали власть после смерти предыдущих вождей, пользуясь моментом скорби, когда ослабляется способность трезвого восприятия реальности; другим власть доставалась почти автоматически. Он счел своим долгом разделить ответственность и руководящие функции в партии и государстве среди своих соратников.

Только в таком смысле можно согласиться с Маяковским, который, кажется, первым отождествил партию с Лениным,— эта поэтическая гипербола органична для всей поэзии Маяковского, и ее можно ему простить, это — самоочевидно.

■ ■ ■

Никогда не мог я просто пройти мимо Мавзолея Ленина, хоть и много приходилось бывать там в мои «московские годы» — одному и с официальными делегациями. Мне чужд всякий религиозный экстаз, я отказываюсь исповедоваться в своих грехах какому бы то ни было «божеству». Перед Кремлевской стеной и Мавзолеем Ленина я обращаюсь прямо к своей собственной совести... В длинной очереди граждан перед Мавзолеем и стенами Кремля я словно слышу поступь истории. В любую дождливую или морозную погоду движется эта очередь; сама по себе она — не только символ скорби, но и публичное свидетельство веры или, если хотите назвать это более научным термином, активной убежденности, чувства коллективной ответственности перед людьми — братьями и сестрами. Я думаю о том, что так слушают музыку — Бетховена, Чайковского. Идут сосредоточенные, молчаливые старики, ведя под руку старух и внучат, идут мужчины и женщины, судьбы которых за последние тридцать лет волновали Михаила Шолохова и Константина Паустовского; воины, которые знают, что 1941 год не повторится никогда; идут иностранцы, которые в эти мгновения перестали чувствовать себя иностранцами. Глядишь на алый флаг над зданием Президиума Верховного Совета СССР и вновь осознаешь, сколько же ленинских идей живо и будет жить во всех нас! Камни не мертвы, и это белое лицо не мертво. Все здесь говорит о тех, что были до нас. Я физически ощущаю протяженность истории, преемственность дела Ленина...

...Мавзолей Ленина — мы встречаемся возле него, знакомые и незнакомые, его ученики и недруги, ибо даже недругам его было суждено признать с годами его победу.

■ ■ ■

...Неверно говорить, что Ленин п о р о д и л революционное движение,— он был его к а т а л и з а т о р о м Ленин удивительнейшим образом осуществлял руководство Великой Октябрьской социалистической революцией, но не он ее породил. Ленинизм явился естественным итогом развития мысли, практической деятельности, революционного опыта международного рабочего движения в эпоху, беременную войнами, чреватую сменой общественных формаций. «В Америке думают,— писал Ленин,— что большевики являются маленькой группой злонамеренных людей, тиранически господствующих над большим количеством образованных людей, которые могли бы образовать прекрасное правительство при отмене советского режима. Это мнение совершенно ложно. Большевиков никто не в состоянии заменить, за исключением генералов и бюрократов, уже давно обнаруживших свою несостоятельность» [1].

В стихотворении «Ковровщики из Куян Булака чтут Ленина» Бертольт Брехт сумел

[1] В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 43, стр. 129.

передать высший смысл выражения любви народа к Ленину, подчеркнуть конкретность, правдивость, убедительность, гуманизм учения Ленина.

Туркменские ткачи решили на личные сбережения приобрести бюст Ленина. Они добросовестно трудились сверхурочно, собирая деньги. Кишлак их стоял у края болот — векового источника малярии. И вот, в конце концов, на собранные деньги они вместо бюста приобрели тонну нефти. В день годовщины смерти Ленина из кишлака вышла демонстрация с ведрами, чтобы полить болота нефтью: по мысли ее участников, такая «памятная акция» больше отвечала духу учения вождя. Поэма Брехта основана на действительном факте, она волнует своей убедительностью и яркостью.

Шагая по территории Кремля, я всегда думаю о Ленине — участнике первого коммунистического субботника, который в 1920 году возил здесь тачку, таскал камни, носил вместе с рабочими бревна, способствуя ликвидации разрухи, оставшейся после свержения царизма. Не только о том, чтобы подать пример всем комиссарам, работникам партийного и государственного аппарата, видимо, думал при этом он. Участие в субботнике было для него логичным и закономерным.

Глубоко органичная естественная скромность Ленина восхищает, обязывает. Работать с ощущением необходимости своего труда — человеческое счастье, способное осветить самые мелкие будничные дела. Кто не понял этого, рискует испытать чувство «отчуждения» в зрелом социалистическом обществе. Следует помнить и о том, что если ощущение коллективизма способно выжить в самых тяжелых условиях, то в условиях благосостояния и эгоизм может разрастись как плесень. Это не значит, что скромность — синоним аскетизма. Скромность — это отношение к другим, это качество коммуниста, которое завещал нам Ленин, уходя из жизни.

Он умер, не прожив и 54 лет. Его опыт и авторитет служат нам сегодня, предостерегая против непродуманных теоретических выводов и практических действий, умеряя нетерпение, нетерпимость и грубость, ослабляя нервозность, которая подчас охватывает людей, когда им приходится принимать решения в сложных ситуациях на перепутье исторических дорог.

■ ■ ■

...Когда обращаешься мыслью к тому, что же было важнейшим в заветах Ленина, в первую очередь испытываешь потребность глубоко оценить путь, которым прошла КПСС. Ленинизм стал здесь не одной лишь мерой государственной зрелости и мудрости, но и мерилом индивидуальных качеств каждого, кто принимал его как программу не только политического движения, но и как программу своего жизненного пути.

■ ■ ■

Великая Октябрьская социалистическая революция была вершиной деятельности Ленина; его удивительно продуманная программа построения современной социалистической России, популярно выраженная в формуле «К = С + Э» [1], давно уже стала реальностью; однако борьба за ленинизм далеко не окончена. Порою снова и в новых формах возрождаются давние намерения и попытки замкнуть его в стенах библиотек и в школьных таблицах; кое-кто боится его революционной сердцевины и творческой неуспокоенности... До ленинских норм партийной жизни и до ленинских нравственных норм социалистические нации и их авангарды будут расти долгие десятилетия, ибо речь в этих нормах идет не только о свободе, но прежде всего о взаимной защите свободы каждого ради каждого. Так завещал нам Ленин...

...Ленин и ленинцы соединили в себе особенности ученых и профессиональных революционеров, неразрывно связанных с жизнью рабочих и крестьян. Они не создали «класса» наследственных правителей, среди них не было таких, которые жаждали личного обогащения. А если на долю кого-то выпадали восхваления и крики толпы: осанна! — это оказывалось предвестием его личной и общественной трагедии. Ленинцы обладали могуществом, опирающимся на знание, что позволяло им действовать силой убеждения; по этому признаку их можно узнать и спустя много лет...

Перевод со словацкого И. ТОКСИНОЙ

[1] «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

ПЕТЕР ШЮТТ

ЖИВЫЕ ЗАВЕТЫ

Если верить буржуазным идеологам моего государства, идеи и труды Ленина принадлежат исключительно XIX веку, да и он сам, как государственный деятель — человек «старой школы», который, мол, нечего сказать нашему времени. И все же не проходит и дня, чтобы комментаторы наших буржуазных средств массовой информации не нашли бы повода еще и еще раз предостеречь против применения «устаревших ленинских принципов».

Новейший пример: Афганистан. Столетиями в этой стране, на «крыше мира», властвовали голод, нужда и безграмотность, и все это никогда не беспокоило тех, кто сегодня столь вдохновенно распространяется на тему о «независимости» афганского народа. Но едва лишь прогрессивные силы Афганистана, опираясь на учение Маркса, Энгельса и, разумеется, Ленина, решили покончить со средневековьем, как началось светопреставление: ярость, брань, крик. Другой пример: Эфиопия. Когда несколько лет назад сотни тысяч людей умирали там от голода и недоедания, в нашей прессе появлялись иногда слезливые фото, однако «реальное» участие в судьбе страны «наставники в демократии» из ФРГ приняли лишь после того, как тысячелетиями угнетаемый народ вознамерился по примеру великого Ленина свергнуть власть императора и его опоры — феодалов. То, что происходило в Южном Йемене, Анголе и Мозамбике, так же безразлично тем, кто здесь у нас громко рассуждает о помощи «третьему миру», как трущобы на окраинах Чикаго. Только когда народы этих стран, вооружившись учением Ленина, сумели сами себе помочь, в передовицах буржуазных газет зазвучала «озабоченность роковым развитием событий в отдельных районах Азии и Африки». «Антиленинисты» дошли до того, что не раздумывая вступили в сделку с кровавым режимом Пол Пота в Кампучии, только бы не допустить обращения многострадальных граждан этой страны к «устаревшим революционным теориям Ленина и Хо Ши Мина».

Идеологи ФРГ постоянно уличают сами себя во лжи, утверждая, что Ленин принадлежит XIX веку. Ничего нет для них страшнее распространения ленинских идей во всем мире.

Но ленинские принципы и идеи актуальны не только для «слаборазвитых стран» Азии, Африки и Латинской Америки. Будни капиталистических государств тоже подтверждают их насущность. Нынешний экономический, политический и моральный кризис на Западе, постоянно растущее влияние крупных концернов на жизнь людей, на культуру и политику, растущие агрессивные тенденции во внешней политике — все это изо дня в день подтверждает ленинскую оценку империализма. На мой взгляд, труды Ленина о законах, правящих миром капитала, настолько не утратили своей актуальности, что кажется, будто они написаны в наши дни. Сущность империализма с той поры ничуть не изменилась: доказательство этому я нахожу, листая ежедневные газеты, знакомясь с вечерней сводкой последних известий по телевидению и даже наблюдая обыкновенную жизнь, которая развертывается на моих глазах на улицах Гамбурга.

Несколько дней назад в соседнем доме взорвалась бомба. Отпрыск состоятельной буржуазной семьи, вполне прусской по облику, заделался анархистом и решил взорвать пианино, на котором он ежедневно должен был разучивать «Маленькую ночную серенаду» Моцарта. Над этим можно было бы посмеяться. Но сколько подобных и подлинно трагических эпизодов связано с деятельностью террористов! Они-то невольно и вызывают в памяти слова Ленина о псевдореволюционности анархистов.

ПЕТЕР ШЮТТ — PETER SCHÜTT (род в 1939 г.).

Немецкий поэт, филолог и историк (ФРГ). Живет в Гамбурге. Автор книг стихов и публицистических очерков. В «ИЛ» печатались его стихи (№ 9, 1977) и дневниковые записи (№ 11, 1978). Статья «Живые заветы» получена в рукописи.

За последние годы мне довелось неоднократно побывать как в Советском Союзе, так и в США. Оба эти государства многонациональны. Однако коренное их различие заключается в том, что в одной стране национальный вопрос решен в соответствии с ленинскими принципами, а в другой — в соответствии с практикой капитализма решение его все время откладывается. В США существует только один язык, только одна школьная система, одна признанная культура — культура белого человека. Все другие народы: афро-американцы, выходцы из Мексики чиканос, пуэрториканцы, индейцы, которым некогда принадлежал весь этот край,— угнетаются и экономически, и политически, и в сфере культуры. На просторах континента существуют лишь крохотные островки, гетто и резервации, где национальным меньшинствам, составляющим на деле более 50 млн. человек, удалось сохранить свою национальную культуру, свое национальное своеобразие. «Плавильный тигель» капиталистической Америки переплавил, словно речь шла о свинце, все, что есть в жизни людей оригинального, своеобычного, незаурядного. Насколько же отлично от этого развитие наций в Советском Союзе! Народы Средней Азии и Сибири, большинство которых до Октябрьской революции жило в каменном веке, постигла бы без ленинской теории и практики судьба коренного населения Северной Америки, Бразилии и Австралии. В условиях царизма они были бы истреблены или вымерли. Ленинская политика создала предпосылки для того, чтобы эти народы — некоторые из них численностью меньше самых мелких племен гватемальских индейцев — при жизни одного поколения получили собственную школьную систему, собственную письменность и национальную культуру. Киргизский писатель Чингиз Айтматов, представитель народа, который тысячелетиями находился под чужеземным гнетом и был лишен собственной культуры, стал одной из крупнейших фигур в многонациональной советской литературе, а не уступающий ему талантом афро-американский писатель Джеймс Болдуин был вынужден из-за расовой дискриминации в официальной культуре почти на десять лет уехать во Францию и публиковать свои произведения прежде всего в зарубежных издательствах. Осуществление ленинской культурной революции открыло народам Азии, которые до той поры влачили жалкое существование, доступ к всемирной литературе; я считаю этот процесс одним из величайших культурных достижений в истории человечества. Без ленинской теории, без практической деятельности Ленина это было бы немыслимо. Ленинская культурная революция — пример для всех государств, где разные национальности борются за свои права, и для моей страны в том числе: миллионы иностранных рабочих эксплуатируются здесь, лишая элементарных человеческих и гражданских прав.

Идеи и принципы Ленина сегодня живы так же, как в дни Октябрьской революции, это получило новое подтверждение в советской мирной инициативе, с которой выступил в Берлине Л. И. Брежнев,— акции, в известном смысле потребовавшей не меньшей смелости, чем во времена молодой советской власти издание Декрета о мире. Буквально через несколько дней слово было подкреплено делом: вывод тысячи танков и 20 тысяч солдат с территории ГДР, правда, не смог воспрепятствовать решению НАТО о размещении 572 ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками на территории моей родины, но он дал мощный толчок движению за мир в нашей стране и во всем мире. «У лжи короткие ноги» — гласит пословица. Ложь о советской угрозе после этой инициативы Советского Союза и его союзников совсем охромела. И пусть в дни, когда я пишу эти строки, опять вздымаются валы антисоветизма, пусть поборники «холодной войны», избрав предлогом так называемый «афганский вопрос», действуют так, что кажется, будто Даллес и Аденауэр восстали из мертвых, им никогда не заставить человечество забыть о ленинском завете — мире без войн. Именно благодаря Ленину и миллионам его соратников надежда на мир, разоружение и разрядку впервые в истории человечества получила реальную основу. Вот почему я полагаю, что не мог бы найти лучшего способа выразить свои мысли и чувства по поводу торжественной даты — 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, чем приняв активное участие в движении борцов за мир, которое развертывается и в моей стране и которое приобретает особое значение сейчас, когда НАТО приняло печальной известности упомянутое выше решение.

г. Гамбург

Перевод с немецкого Ф. МИХАЙЛОВА

НИКОЛАЙ ПОЛЯНОВ

БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ НАЧАЛОСЬ

Улыбающееся солнце и звезды на небосклоне. Далекие зубцы гор и готические шпили. Могучий дуб с пышной кроной, словно символизирующий вечную силу жизни. А рядом с ним — монах на коленях: он приподнял краешек небосвода, просунул за него голову и пытается заглянуть в будущее. Безвестный художник шестнадцатого века, изобразивший на гравюре человека и его извечную мечту, оказался бессильным представить себе день грядущий. Монах удивленно смотрит на гряду облаков, на неясные сферы, на таинственное сияние. Похоже, он разочарован...

Будущее манит. Когда-то оно пряталось в двусмысленных предсказаниях пифий: сидя на треножнике над расщелиной в земле, они словно бы внимали божественному гласу Аполлона. Будущее волновало авгуров Древнего Рима, заставляло астрологов вглядываться в магический кристалл и влекло иного простодушного обывателя к кофейной гуще. В течение веков оно выступало под псевдонимом «Утопия» — так называлось сочинение беспокойного британца Томаса Мора, чуть ли не первым ступившего на скользкую дорожку футурологии. Увы, искатели будущего чаще всего недалеко уходили от автора старинной гравюры с его любознательным монахом. Век галер сменился веком паруса, электричество брало верх над паром, а футурологи прошлого, если их так можно назвать, все еще шагали в круговороте утопий, конфликтующих с реализмом.

Спору нет, мечта о прекрасном завтра, очищенная от мистики и мракобесия, будила мысль, помогала нащупать правильную цель, становилась порою прародительницей философии, которая старалась познать истинные пружины истории. Но философы прошлого лишь объясняли мир — чтобы вступить в будущее, мир надо было изменить.

Сейчас, когда до третьего тысячелетия рукой подать, кажется почти невероятным, что восьмидесятые годы еще сравнительно недавно были бесконечно далекими для современника. Кое для кого они и впрямь находились в «стране утопии»: в них всматривались по методе того монаха, который приподнял полог небесного свода. Литературные персонажи западных фантастов предпочитали совершать путешествие во времени не иначе как в свежезамороженном виде. Только так рассчитывали они добраться до грядущего. Сейчас, кстати, тем же рецептом пользуются некоторые предприимчивые американские миллионеры. Отдавая душу дьяволу, они велят упрятать собственные останки в склепы-холодильники — авось медицина будущего разморозит их мертвые тела, поднимет из гроба и воскресит. Словно они когда-нибудь кому-нибудь еще будут нужны...

Новое рождается в муках, и старое редко расстается с современностью без боя. Даже сейчас, в век атома и космических маршрутов, когда и небеса постепенно открывают свои загадки, кое-кто все еще не хочет признать, что не оракулы, пусть и с лучшими компьютерами на свете, прокладывают дорогу в будущее, а передовые общественные движения и революционные перемены.

Вернемся на мгновение к началу столетия, к девятисотому году. Декабрьским вечером в небольшом доме на Руссеншграссе, 48, в Лейпциге над версткой первого номера «Искры» склонялся человек, сделавший больше для будущего, чем кто-либо другой в истории. «Насущные задачи нашего движения» — так называ-

---

ПОЛЯНОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский журналист, лауреат премии Союза журналистов СССР. Автор книг «На Востоке Германии» (1952), «На берегах Матери вод» (1957), «Кто похищает малую Европу» (1962), «Фасад и задворки» (1969), «Конец карнавального принца» (1975), «НАТО: в конфликте с эпохой» (1975), «На рубеже времен» (1978) и др.

лась передовая статья, которую он написал для только что родившейся газеты. Владимир Ильич во избежание опечаток никому не доверял чтение последней корректуры. Он занялся ею сам, внимательно и придирчиво проверял все до последней запятой, и лишь тогда, когда эта работа была сделана, раздался рокот печатного станка. Он звучал, этот рокот, как незабываемый и неповторимый сигнал революционной грозы, собиравшейся над Россией.

С тех пор минуло восемь десятилетий. Мысли о «насущных задачах нашего движения» давно уже стали самим движением — самым могучим из тех, какие знакомы человечеству. Оно не только привело к революционным преобразованиям в нашей стране, но и повернуло в новое русло течение мировых событий. От первой искры, высеченной Лениным и его единомышленниками, до гремящих очистительных бурь столетия — какой это гигантский рывок во времени, какое мощное ускорение для когда-то столь медлительного «дилижанса истории»! Стоит сегодня лишь бросить взгляд на карту полушарий, чтобы увидеть, как в мир современника шаг за шагом вступало будущее. Вступало с тяжкими боями, с пожарищами и грохотом канонады, с восстанием хижин против дворцов, с ломкой замшелых традиций. Если есть имя, которое должно стоять на визитной карточке XX столетия, то это имя Ленина. Он не только предсказал в своих произведениях будущее — он создал науку его завоевания, он его завоевал.

Надо ли удивляться, что старый мир, вынужденный убраться с исторической арены, направляет свои отравленные стрелы прежде всего против Ленина и ленинизма. «Притягательная сила марксистско-ленинских идей, рост авторитета и влияние реального социализма вызывают ожесточенное сопротивление классового противника,— подчеркивается в Постановлении ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина».— Буржуазия и ее идеологи, оппортунисты и ревизионисты всех мастей усиливают борьбу против коммунизма, пытаются фальсифицировать марксизм-ленинизм, выхолостить его революционную сущность, найти «противоречия» между теорией научного социализма и практикой ее осуществления в социалистических странах. Они стремятся принизить всемирно-историческое значение марксистско-ленинского учения, успехи социализма, дискредитировать социалистический образ жизни».

«Аврора» еще не успела дать свой знаменитый залп, возвестивший начало штурма Зимнего дворца, революционные матросы еще не успели спросить: «Которые тут временные?», и некий господин, подстриженный ежиком, еще не успел сменить английский френч на одеяние монашенки, чтобы укатить в автомобиле с американским флажком на международные задворки, а имя Ленина на Западе уже произносили с шипением. Когда же Великий Октябрь свершился, когда человечество узнало о первых его добрых деяниях, когда по земному шару разнеслись слова Декрета о мире и когда молодая Советская республика едва-едва становилась на ноги, на нее сразу нацелились не только пушки интервентов, но и жерла «войны нервов». Даже люди проницательные из числа западных деятелей оказывались жертвами цепких небылиц. Они приезжали в революционный Петроград и не верили глазам: город жил хотя и трудно, но по обстоятельствам вполне нормально. Приходилось же читать дома, на берегах Темзы, Потомака или Сены, что волны Невы «стали красными от крови», что большевики «обобществили своих жен» и что они методично превращают в руины творения Растрелли, а людей возвращают в пещеры!

Когда в 1920 году в Россию прибыл Герберт Уэллс, он всецело находился во власти дурных вестей, коими его два года пичкали английские газеты. Петроград он увидел городом угасающим, с пустыми и безмолвными дворцами, с несколькими трамваями, к тому же битком набитыми, с плохо одетыми людьми. Он сокрушался, что у Максима Горького, его давнишнего доброго друга, только один-единственный костюм — тот, который на нем. И его поразило, что в Петрограде продаются и покупаются цветы — в этом «городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду».

Полный сомнений шел он на свидание к тому, кого называл «кремлевским мечтателем», чтобы в конечном счете сделать грустный вывод: «Ленин, который как подлинный марксист отвергает всех «утопистов», в конце концом сам впал в утопию, утопию электрификации». Осуществление ленинских проектов Герберт Уэллс мог представить себе только с помощью, как он выражался, «сверхфанта-

зии». У него, автора «Борьбы миров» и «Когда спящий проснется», ее явно не хватало. И он говорил, что, в какое бы волшебное зеркало он ни глядел, не мог увидеть Россию будущего. Но зато признавал: «Невысокий человек в Кремле обладает таким даром... И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего провидения».

Почти удалось... Но не настолько, чтобы позволить знаменитому английскому романисту понять, что будущее уже началось. Напротив, он видел лишь исчезновение прошлого, «крушение цивилизации в России и замену его крестьянским варварством на долгие годы». Он боялся даже, что это «отрежет Европу от богатых недр России» и результатом будет «общее обнищание» Запада.

Я напоминаю об этих строках, написанных шесть десятилетий назад, чтобы лишний раз подчеркнуть: даже наши доброжелатели на Западе видели Россию «во мгле», с трудом разбирались в учении Ленина и его делах, находили в революционных поворотах лишь отрицательные черты, сокрушаясь о судьбе свергнутых и нередко протягивая руку отщепенцам. Надо, однако, отдать должное Герберту Уэллсу: уже в те годы, на заре советской власти, он нашел в себе силы в конечном счете восстать против стоустой молвы на Западе, преодолеть инерцию собственного мировоззрения и воздать должное великой исторической роли Владимира Ильича Ленина. Он писал: «Если народы западных стран хотят по-настоящему помочь русскому народу, они должны научиться понимать и уважать убеждения и принципы большевиков. До сего времени правительства западных стран самым грубым образом игнорировали эти убеждения и принципы».

Деликатный и вежливый британец, он употребил слово «грубо» как предельно сильное для характеристики западной стратегии. Но Запад приберег для русской революции не просто грубость, а и дивизии; не одни лишь клеветнические слова, а и пули; не только тайные заговоры, а и официальную дипломатию, которая заговорам не уступала.

Любопытный пример на сей счет воспроизводит в своей книге «Оборотная сторона США» западногерманский профессор Л. Л. Маттиас. Он рассказывает о сомнительных московских похождениях американского посла Дэвида Фрэнсиса в те далекие дни, которые, по словам его соотечественника Джона Рида, потрясли мир. Посол был не карьерным дипломатом, а банкиром. Он знал о «России не больше, чем о Камбодже». Не имел и бледного представления об истории страны, в которой работал (со времен царя и Керенского). Не мог произнести ни одного слова по-русски и наверняка «впал бы в растерянность,— как иронически замечает Л. Маттиас,— если бы у него спросили названия крупнейших русских рек». Его интересовали, собственно, лишь финансовые проблемы, в коих он более или менее разбирался, но этого было «слишком мало для того, чтобы понять ход событий в тогдашней России». Тем не менее он давал этим событиям безапелляционные оценки, отправляя соответствующие депеши в Вашингтон. А сверх того, пытался в компании с целым десантом дипломатов и шпионов «свергнуть Ленина».

«Сообщения этого человека,— пишет западногерманский профессор,— относятся к самым неутешительным документам современной истории. Этот посол сидел в центре событий, которые заставили мир трепетать, и он не видел ничего, совершенно ничего». Когда он был не в духе, то сообщал домой, в Вашингтон, что рассматривает российские события как «нечто отталкивающее», в том числе и «назначение женщины министром народного образования». Если он был в настроении, то характеризовал революцию не как «отталкивающую», а как «смехотворную». Своему другу, американскому генеральному консулу в России, он писал: «Чем смехотворнее становится ситуация, тем быстрее смогут действовать противостоящие силы». В Вашингтон он отправил срочную телеграмму: вся революция — «это вопрос нескольких дней». По-видимому, американский посол полагал, что «противостоящие силы» вот-вот сметут с арены и Ленина и революцию.

Когда другой американец — полковник Раймонд Роббинс — попробовал было разъяснить банкиру его заблуждения, он нашел лишь уши, не желающие слышать. Тогда полковник стал бомбардировать телеграммами государственный департамент. Он требовал немедленного признания правительства Ленина, справедливо считая, что революция совершена всерьез и надолго. Но и в госдепе

наткнулся на те же уши: официальная Америка была глуха к голосу эпохи. Исключение составил, пожалуй, лишь хитроумный сенатор Овермэн. По его требованию в 1920 году была создана специальная сенатская комиссия для расследования событий в России. И что же? Вскоре общественности был преподнесен ее доклад, в котором, по словам одного американского историка, цитируемого западногерманским автором, «Россия изображалась неким сумасшедшим домом, в котором живут угнетаемые рабы, ставшие жертвами нескольких кровожадных злодеев». Революционную Россию предлагалось просто... закрыть!

Каким бы диким ни показался современнику доклад троглодита Овермэна, он долгие годы был чуть ли не политической библией американского обывателя. Когда в Бостоне произошла как-то драка между двумя группами белогвардейских эмигрантов, американская пресса всполошилась: Советы, мол, уже «совершили высадку на побережье», чтобы завоевать Соединенные Штаты. В Вашингтоне поверили нелепой выдумке и на всякий случай послали в Бостон надежные войска. В последующие месяцы между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом полиция арестовала более десяти тысяч человек. То была одна из первых вспышек антисоветского психоза, разразившегося на Западе. Сколько их мы знаем с тех пор! Советская республика находилась еще только в колыбели, Ленину и его соратникам приходилось бороться против полчищ внешних и внутренних врагов, разруха и голод готовы были, казалось, взять верх над самоотверженностью и выдержкой миллионов людей. А американские «ястребы», едва вылупившись из яиц антикоммунизма, уже готовились отражать «большевистские десанты» и искали красных у себя под кроватью. Их нисколько не смущало, что еще вчера они смотрели в рот послу Фрэнсису, обещавшему им, что революция продержится лишь несколько дней.

Логика и здравый смысл никогда не были сильными сторонами твердолобых. Прислушиваясь сегодня к ругани иных вашингтонских политиков в адрес нашей страны, мы можем не удивляться: нынешний их лексикон позаимствован из словаря двадцатых годов, а сегодняшние аргументы не слишком отличаются от тех, которые сочинял сенатор Овермэн. Мир изменился, на календаре год восьмидесятый, а не двадцатый, социализм утвердился в половине Европы, стал реальностью в Азии, шагнул даже в западное полушарие, на остров в Карибском море. А мышление людей вчерашнего дня сохранило девственную примитивность воинствующего антикоммунизма. Его адвокатам безразлично, какой использовать повод, чтобы обрушиться на Ленина, на его дело, на социализм. И если повода нет, его выдумывают. Если одна выдумка лопается, изобретают другую. Только недавно мир убедился: для психических атак против социализма как нельзя более кстати оказались события иранские; прошло несколько недель, и таким же поводом стали события афганские. И те и другие служат в глазах нынешних фрэнсисов и овермэнов вполне достаточным основанием, чтобы посылать дредноуты в Персидский залив, вступать в заговор с пекинскими лидерами, навязывать очередной виток гонки вооружений западноевропейским столицам и толкать мир на грань новых военных конфликтов.

Однако вернемся к главному синдрому буржуазии — ее антиленинскому психозу. Его причины следует искать не только в том, что Ленин развил научный коммунизм, сделал его поистине философией века; не только в том, что Ленин вдохнул в революционеров твердую веру в торжество идеалов социального обновления и мира, веру, которая, как писал Ильич, помогает коммунистам «соединять величайшую страстность в великой революционной борьбе с наиболее хладнокровным и трезвым учетом бешеных метаний буржуазии»; не только в том, что могучее излучение личности Ленина с годами не убывало, а росло и его учение становилось все более привлекательным, все более необходимым для каждого сторонника прогрессивных общественных перемен. Яростные наскоки лидеров старого мира на ленинизм объясняются прежде всего победоносным воплощением этого универсального учения в жизнь на всех меридианах, во всех странах, в любой национальной среде, в разной экономической и политической ситуации. Отношение буржуазии к Ленину — это отношение побежденного и обреченного историей к победителю, открывшему человечеству горизонты подлинного будущего.

Нельзя сказать, чтобы на Западе время от времени не предавались горьким размышлениям, не обнаруживали с ужасом, что шествуют по «дороге в никуда», не делали признаний, которые не лишены проницательности. Генрих Форд II однажды заметил: «Я не знаю, куда мы идем. Хотел бы я знать это. У меня нет никакой уверенности в том, каково именно состояние умов в настоящее время. Имеется два явственных направления, по которому мы можем идти. Одно из них — война. Другое — банкротство».

Один из последних могикан капитализма времен колониальных империй Уинстон Черчилль любил говорить, что он «заглядывает через грань ада». Небезызвестный Питирим Сорокин, еще в бытность свою деканом факультета социологии Гарвардского университета, признал, что «все ценности (старого общества.— **Н. П.**) ниспровергнуты, все нормы нарушены». «Повсюду царит умственная, эстетическая и социальная анархия,— писал он.— Кризис всеобъемлющ, он охватил почти все области культуры и общество сверху донизу».

Речь идет не о причитаниях старцев, уставших от жизни. Не об оригиналах, играющих «на публику». Не кто иной, как президент Джон Ф. Кеннеди, говорил в январе 1961 года: «Еще до окончания моего президентства мы должны будем заново проверить, сможет ли нация, которая организована и управляема так, как наша, существовать и дальше. В результатах проверки я отнюдь не уверен». В свете неожиданного конца его президентства слова эти звучат как злая ирония. Недаром один из его верных помощников, американский историк Артур Шлезингер, впоследствии скажет: «Мы должны признать, что над нашей жизнью нависает импульс разрушения».

Он, наверно, и сам не заметил, как одним взмахом скальпеля открыл и выставил напоказ все нутро старого общества. Оно и впрямь несет в себе импульсы саморазрушения, неотделимые от его сущности, от его природы. Его идеологам потому и невыносим ленинизм, что материализация этого учения — само созидание, что дело Ленина — это могучий импульс революционных социальных перемен, импульс торжествующей жизни.

Казалось бы, нынешнее столетие должно бы и наиболее упрямых консерваторов убедить, что бессмысленно пытаться сокрушить науку, которая каждодневно победоносно подтверждается практикой. Но в том и логика обреченных: сочинительство тех, кто атакует Ленина и ленинизм, не только не хиреет, а, напротив, становится все изощреннее. По ту сторону Атлантики, в Соединенных Штатах, найдется мало университетов, в которых попытки раздробить ленинскую науку на отдельные куски, противопоставить их друг другу и сделать из них некую «гремучую смесь» не были бы возведены в ранг глубокомысленной дисциплины. Еще сравнительно недавно в Колумбийском университете в Нью-Йорке институтом по антикоммунизму руководил Збигнев Бжезинский, нынешний помощник президента по национальной безопасности. В Соединенных Штатах имеется целая «индустрия антикоммунизма» — более ста официальных учреждений, которые в той или иной форме занимаются «ниспровержением Ленина». Одно из них действует при Стэнфордском университете: это институт «войны, революции и мира», в котором работают отборные кадры антикоммунистов.

Подобные же заведения имеются в Западной Европе. Все они изготовляют несметное количество трактатов — по-разному замешанных, на разные вкусы, с разными приправами поострее, покислее.. Их авторов объединяет, пожалуй, одно — полное отсутствие желания понять науку, которая стала для человечества универсальным руководством по переустройству мира. Если пользоваться доказательством от противного, то можно сказать: антиленинское сочинительство в старом мире потому и растет столь быстро, что идеи Ленина овладевают умами все новых миллионов и что они давно и навсегда стали той материальной силой, которая продолжает изменять политический облик планеты.

В одном из учебников по антикоммунизму, написанном группой ведущих американских буржуазных идеологов — профессором Уильямом Миллером, директором русского института Колумбийского университета Генри Робертсом, «кремлеведом» из Гарвардского университета (ныне — советником администрации президента Дж. Картера) Маршаллом Шульманом и руководителем департамента социальных проблем в штате Нью-Джерси Гарри Сэведжем, прямо говорится о ленинизме: «Эти идеи иногда обладают огромной привлекательностью

для Запада». Их «с успехом можно определить как духовное оружие». Посему авторы предлагают воспользоваться учебником антикоммунизма в качестве некоего «контроружия». Одна из основных тем их рассуждений называется «Как Ленин изменил мир». А главный вывод гласит, что, хотя силой победить коммунизм невозможно, над ним все же есть шансы взять верх, если доказывать человечеству, что «взятое на себя Америкой обязательство обеспечить свободу и справедливость для всего мира может стать для него реальностью».

Невероятно, но факт: слова эти были написаны в те самые годы, когда «зеленые береты» — соединения американских головорезов — бесчинствовали во Вьетнаме, когда американский напалм сжигал индокитайские деревни, когда мир вот-вот должен был узнать о трагедии Сонгми, когда слова «Санто-Доминго» стали нарицательными для обозначения вооруженного вмешательства Вашингтона в дела маленького соседнего народа... Похоже, авторы учебника, рекламируемого, кстати, департаментом по делам просвещения города Нью-Йорка как лучшее пособие для учителей средних школ, были не чужды горького юмора. Иначе они не рекомендовали бы американские «свободу и справедливость» в индокитайском, доминиканском, индейском и прочих вариантах в качестве панацеи от распространения научного коммунизма.

Разумеется, с течением времени вносят поправки в свой репертуар и ходатаи по делам антикоммунизма. Шесть с лишним десятилетий, в течение которых успешно претворяется в жизнь учение Ленина, не могли пройти бесследно и для них. Хотя и сейчас встречаются, так сказать, дремучие формы антикоммунизма, они все же постепенно уступают место более утонченным. Зловещим шепотом напоминают о «советской угрозе» и о «нашествии красных», которым надо противопоставить «арсенал идеологического оружия»,— его любезно собирают издатели.

Похоже, собиратели таких арсеналов прямо-таки состязаются в стремлении поразить публику. Если не удается сбить ее с толку выдуманными сюжетами из биографии Ленина — хватаются за миф о «русской опасности», если и он не срабатывает — обращаются к теоретическим диверсиям. Порой весь ядовитый букет преподносится сразу: авось удастся отравить сознание неподготовленного читателя.

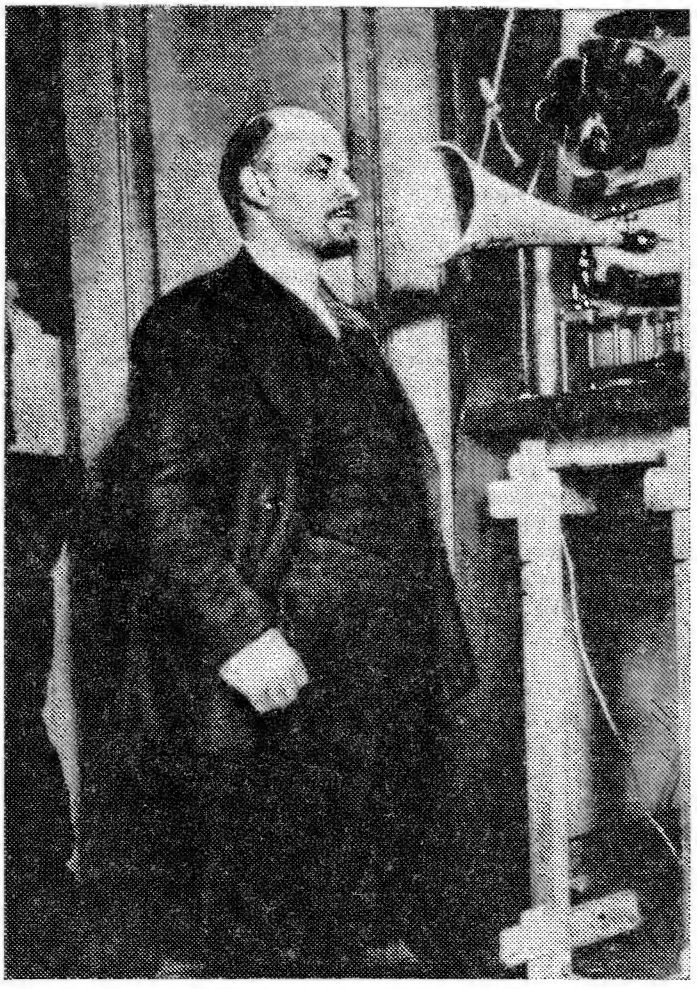
Подобное сочинительство и злонамеренно, и наивно Оно отличается убогостью формулировок, бездумностью доводов, примитивностью мысли, а главное — звериной ненавистью к ленинизму. Образчики этой специфической литературы находятся, увы, во всех странах на Западе. В последние годы, повторяю, наивный антисоветизм все чаще дополняется антисоветизмом тонким, ювелирно сработанным, упрятанным порой в обманчивую упаковку. Его технология может быть изображена по такой схеме: соглашаются, что роль Ленина в истории велика, но тут же добавляют, что «учение его устарело» и поэтому «не может дать ответы» на сложные вопросы современности.. Авторы подобных доводов желали бы отвлечь внимание своей аудитории от того факта, что в мире все еще существует империализм, что правящий класс в капиталистических странах все еще угнетает трудящихся, что на бывшие колонии все еще точат ножи бывшие метрополии. Иными словами, речь идет о лжетеоретиках, которые хотят вырвать Ленина из современности, из будущего и отослать его в портретную галерею времен минувших.

Немалое количество домыслов содержат и сочинения разного рода исследователей, претендующих на причастность к серьезной науке.

Нет нужды опровергать эти построения и домыслы. История давно подтвердила, что без ленинизма, без марксистского учения, развитого Лениным применительно к эпохе социалистических революций, не было бы и революционной практики. Не было бы той оптимальной модели нового общества, к которой приобщается все больше наций. Не было бы развитого социализма, обеспечивающего новое соотношение мировых сил, которое служит могучей опорой социального прогресса на земном шаре и делает реально достижимыми в наше время политику разрядки и прочный мир.

Есть и другая примета времени: немало можно встретить в современной буржуазной литературе о Ленине и вынужденных признаний, авторы коих готовы — воленс-ноленс — подтвердить вечную молодость ленинского учения. Одни это делают с горечью, другие прячутся за частоколом оговорок, третьи,

наиболее искренние и честные, молвят со вздохом: да, против Ленина мы бессильны. Спектр этих авторов достаточно широк: и ученые, и публицисты, и литераторы. Одни из них посвящают себя изучению теоретического наследия Ленина, другие углубляются в биографию самой выдающейся исторической фигуры столетия, третьи стараются понять и оценить секрет удивительного обаяния его личности.



В. И. Ленин в Кремле перед звукозаписывающим аппаратом. 1919 год

Можно без преувеличения сказать: ни о ком не было написано так много, как о Ленине. Когда Манес Шпербер пишет в штутгартском «Меркуре», что «книги Ленина получили распространение, сравнимое разве с распространением Библии», то в устах буржуазного публициста — политического противника ленинизма это звучит как величайшее признание заслуг вождя революции, ответившего в своих теоретических изысканиях и практической деятельности на самые острые вопросы, волнующие людей. Недаром М. Шпербер продолжает: «С 7 ноября 1917 года, официальной даты захвата власти, который во многом был делом его рук, с этой ночи, «которая потрясла мир», Ленин шел от победы к победе». И далее: «Он был... искренний, верный революционер. Он действительно верил, что должно наступить бесклассовое, свободное от угнетения общество, когда сам трудящийся народ силами милиции, постоянно действующих Советов будет осуществлять свою власть».

Даже те исследователи на Западе, которые не отличаются симпатиями к коммунизму, все чаще признают, что Ленин олицетворяет образ вождя нового типа — такого, без которого немыслимо передовое общественное течение. «Его образ жизни всегда оставался неизменным,— пишет Ванда Бронска-Пампух в консервативном гамбургском журнале «Дер монат»,— он всегда был прост и непритязателен, умел говорить с людьми из народа, речи его были ясны и понятны». К такому же выводу приходит западногерманский публицист Карл-Хайнц Янссен в еженедельнике «Ди цайт»: «Даже его враги не могут оспаривать гениальных черт, которые возвышали его над другими как теоретика марксизма, как политического журналиста, как агитатора и оратора... Ему было чуждо тщеславие, всякая поза... Он умел непринужденно беседовать с самым простым рабочим или крестьянином. Его речи были так ясны и чеканны прежде всего потому, что он стремился быть понятным каждому... Ленин верил в свою мечту. Поэтому он изменил мир».

Нельзя забывать: эти строки вышли из-под пера наших идеологических противников. Иным из них было отнюдь не просто преодолеть себя, чтобы прийти к объективному выводу. Если они тем не менее пошли на это, то не в последнюю очередь потому, что не видели иной возможности, не могли не воздать должное бестрепетному рыцарю революции.

Когда в 1922 году французский социалист Пьер Ляфю побывал в Москве, он был принят Лениным, выздоравливавшим после покушения эсерки Каплан. Впоследствии французского визитера спросили:

— Ну, так как же вы понимаете Ленина?

— Я думаю, что это человек действия, который никогда не перестает стремиться к поставленной им цели.

Вдумаемся: это было сказано в годы, когда для многих было еще неясно «кто—кого», когда правда о социалистической революции и первых шагах Советской республики попадала на Запад в гомеопатических дозах и многие, в том числе объективно настроенные наблюдатели, сомневались и в правомочности, и в эффективности «русского эксперимента». С тех пор прошло более полувека. Но слова Пьера Ляфю, видевшего в Ленине персонифицированную революцию, не случайно воспроизводятся во Франции сегодня: его вывод и по сей день не утратил своей актуальности, ибо коммунисты всегда были, есть и будут «людьми действия», и они никогда «не перестают стремиться к поставленной цели».

При всей своей противоречивости буржуазная литература о Ленине имеет некую общую движущую силу: она пишет о нем, о его деле, о его учении, поскольку и то, и другое, и третье вызывает возрастающий интерес у современной читающей публики. Ленин и сегодня находится в центре острейшей идеологической борьбы между социализмом и капитализмом. Доморощенные «ниспровергатели» никак не хотят обратить внимание на простую истину: если бы идеи Ленина утратили злободневность, если бы они не имели значения для будущего, то едва ли ими стали бы заниматься буржуазные идеологи, едва ли их сочинения вдохновляли бы крупнейшие издательства Запада и Японии на многотысячные тиражи, едва ли литература о Ленине стала бы на буржуазном книжном рынке ведущей в сфере политологии, социологии, экономики.

В данном очерке автор не касается обширной литературы о Ленине, издаваемой за рубежом коммунистическими и рабочими партиями,— она всегда была настольной для борцов за новое общество. Обзор ее — важная специальная тема, неоднократно находившая освещение в нашей печати. Каждая коммунистическая и рабочая партия вносила свою лепту в великую сокровищницу марксизма-ленинизма, по-своему осмысливая общие закономерности социалистического обновления, открытые и развитые Лениным. Если мы на сей раз уделили особое внимание тому, как выглядит эта тема в трактовке буржуазных идеологов, то прежде всего затем, чтобы показать, какое мощное воздействие оказывает ленинизм на сознание старого общества, какие глубокие бреши пробил в его духовном мире, какое внес в него смятение.

Ни один серьезный ученый на Западе, занимающийся политическими, социологическими или экономическими проблемами, не обходится ныне без Ленина. В последние годы все больше внимания обращают на его теоретическое наследие и искусствоведы. Жан-Мишель Пальмье выпустил недавно в Париже объемистую

монографию под названием «Ленин, искусство и революция». Автор ее ставит себе целью шаг за шагом проследить процесс создания социалистической эстетики. Он углубляется в исторические документы, анализирует десятки статей Ленина, цитирует поэзию и прозу, на которую Ленин ссылался в своих работах, воспроизводит и комментирует его мысли об искусстве.

«Читатель первых томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина заметит,— пишет Жан-Мишель Пальмье,— что в его статьях часто встречаются литературные реминисценции, что он употребляет выражения и вспоминает типы Щедрина, Гоголя, Тургенева, а также старается определить точное место того или иного произведения русской литературы». Обращаясь к ленинской оценке жизни и творчества Льва Толстого, автор пишет: «Статьи Ленина о Толстом — пример точного использования марксистской мысли применительно к литературе».

Повторим еще раз: правда о Ленине прокладывает себе дорогу и в буржуазном мире. В год, когда отмечается 110-й день рождения Владимира Ильича Ленина, современники становятся свидетелями удивительного феномена: сама жизнь, поиски выхода из ее тупиков как бы толкают и представителей старого общества к имени Ленина, к его мысли — даже тогда, когда они и не хотят в этом признаться. В час откровенности они горестно кивают головой: да, да, язвы капитализма Ленин видел ясно, вскрывал их безжалостно, ставил диагноз точно.

Размышляя о будущем и исследуя болезни Америки в прошлом и настоящем, бывший министр юстиции при президенте Линдоне Джонсоне Рамсей Кларк признает, что «одна десятая часть» его соотечественников живет «ныне ниже уровня прожиточного минимума». Соглашается, что «ни одна страна мира не гарантирует своим гражданам столь малой безопасности против насилия, нападений, шантажа и убийств, как Америка». Сетует на то, что «ни в одной другой стране власти так открыто не вступают в союз с преступностью, как в Америке». У непредубежденного читателя складывается ощущение: мистер Кларк шествует по правильному пути, пусть идет дальше, делает необходимые выводы! Но бывший министр не собирается переходить Рубикон. Не хочет заглядывать в будущее. А главное, вовсе не намерен — при всей остроте своей критики Америки — ставить под сомнение ее социальный строй. Как известно, такая позиция вообще типична для критической мысли на Западе. Подчас она может оказаться достаточно сильной в анализе недугов буржуазного общества, но останавливается перед поисками конструктивных путей для его преобразования, тем более революционного. Некоторые ее представители исповедуют даже своеобразную философию «непознаваемости будущего». Известный западногерманский публицист Томас фон Рандов пускается, например, в такие рассуждения:

«Тот, кто не верит в божественное провидение, как Гитлер, или в предсказуемость судьбы по звездам, как Валленштейн, знает, что будущее принципиально непознаваемо и поэтому только в той мере предсказуемо, в какой существуют четко видимые цепи причинных связей, значения которых всем известны. Погоду завтрашнего дня можно кое-как предсказать, потому что метеорологи знают параметры, определяющие завтрашние погодные условия, такие, как давление воздуха и распределение температур, силу ветра и время года. Но уже предсказание на послезавтрашний день сопряжено со значительной неясностью. Ибо даже в таком строго определенном физическими законами явлении, как погода, значительную роль играют непредвиденные факторы. На протяжении одной недели или одного месяца влияние их может стать столь значительным, что прогноз погоды на такой период может стать лишь игрой в загадки, несмотря на наличие спутников погоды и компьютеров». И продолжает: «Только человек, верящий в чудеса, может надеяться на эффективность прогностики, рассчитанной на год или на десятилетия, на предсказание хода событий, зависящих в существенной мере от людей, то есть не только от чистого разума, а и от фантазий, честолюбия, настроения, мод, болезней и капризов бесчисленных индивидуумов, не говоря уже о случайных факторах, таких, как неурожай, стихийные бедствия, катастрофы, эпидемии и — не в последнюю очередь — изобретения».

Боясь увидеть в завтрашнем дне устрашающую для себя картину социальных бурь, большинство западных футурологов — с учеными степенями и без таковых — совершают путешествие лишь в будущее науки и техники. Подобно д-ру Олафу Хелмеру из калифорнийской «Рэнд корпорейшн» в Санта-Монике, они мо-

билизуют виднейших экспертов на «мозговой штурм», чтобы получить ответ на вопрос, как через полстолетия будет выглядеть экономика, военная техника, численность населения или урожайность в том или ином регионе земного шара. Но никто из них не пытается выяснить: как будет выглядеть политическая его карта, какими будут социальные параметры общества. Несколько лет назад они с величайшей точностью вычислили объем добычи и потребления нефти к началу восьмого десятилетия века. Но никто из них не предусмотрел возникновения иранской революции и свержения шаха, их не волновали социальные проблемы Ирана. Никто не подумал о возможности американо-иранского кризиса со всеми его рискованными последствиями. А он разразился, как известно, по причинам не технологическим (о коих беспокоился д-р Олаф Хелмер), а социальным и политическим: пророк-технарь оказался жертвой собственной узости взглядов.

Надо ли удивляться, что прорицания буржуазных футурологов становятся все более туманными. От научного коммунизма открещиваются, как от дьявольского наваждения, а доморощенными средствами найти ответ на вопрос: «Камо грядеши?» — не удается.

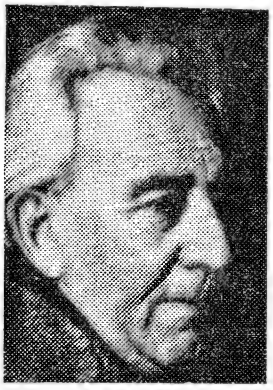
В работе «Можно ли делать социальные прогнозы», воспроизведенной в сборнике «Путь в год 2000-й», известный американский ученый Фрэд Чарльз Айкл пишет: «В средние века философы размышляли насчет того, не умрет ли с голоду буриданов осел, если он будет находиться на равном расстоянии от двух охапок сена,— ведь объективная ситуация не подскажет ему, в какую сторону податься — налево или направо. Более часто, чем мы полагаем, находимся и мы в таком же положении, что и буриданов осел: стоим перед разными альтернативами действия, в отношении которых знаем лишь одно — они лучше, чем бездействие. Мы не умеем выбрать нужную альтернативу... Когда мы начинаем осознавать эту дилемму, то бросаем вверх монету; правда, мы и не пытаемся делать при этом вид, будто орел или решка «предсказывают» нам наиболее выгодный путь. Мы просто признаем, что предоставляем случаю или трюку возможность преодолеть нашу нерешительность».

Меланхоличный Ф. Ч. Айкл принадлежит к знаменитой «Комиссии двухтысячного года», созданной в свое время Американской Академией искусств и наук для целей «большой прогностики». Его печальный вывод не должен удивлять. Ему — представителю старого общества — и впрямь трудно преодолеть в себе буриданова осла. Он не знает, куда идти.

Обреченные боятся увидеть свое будущее.

То самое, которое, в сущности, уже началось, когда в бурные дни 1917 года не старый еще человек в серой кепке и в повидавшем виды пальто возглавил Великую Революцию, которой суждено было изменить мир.

Рисунок чешского художника Мих. Ромберга к книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».



ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА

С португальского

Жозе Гомеш Феррейра — патриарх сегодняшней португальской поэзии.

Некоторые считают, что главная задача и основное занятие патриарха — это спокойно и величественно восседать на своем уютном поэтическом Олимпе, время от времени изрекать оттуда более или менее изящные истины, изредка допускать в свою замкнутую обитель особо настойчивых поклонников и — еще реже — снисходительно похлопывать по плечу очередное подрастающее дарование.

В общем, быть не просто старым и уважаемым поэтом, а этаким легендарным полубогом, усталым гением, прижизненным памятником самому себе, короче — патриархом.

Ежели так, то Жозе Гомеш Феррейра — патриарх странный, можно даже сказать — нетипичный.

Во-первых, он вовсе не желает замечать собственного «патриархального» возраста. (Тут надо добавить, что, знакомясь с новыми стихами Гомеша Феррейры, этого возраста не замечают и читатели!)

Во-вторых, Жозе Гомеш Феррейра — человек, в котором врожденная экспансивность удивительно сочетается с приобретенной, специально воспитанной дотошностью. Ему мало только увидеть и почувствовать. Ему всегда необходимо п о н я т ь. Он открыт ветрам и дорогам, дождям и солнцу, сомнениям и надеждам. Но прежде всего он открыт людям. И поэтому люди открыты ему.

А в-третьих, перед вами — фрагменты из новой поэмы Жозе Гомеша Феррейры. Она — о поездке в Советский Союз.

Это не только поэтический рассказ о путешествии по огромным пространствам нашей страны. Это еще и путешествие по огромному бурлящему времени. Путешествие в собственную молодость, собственную боль, собственную мечту и надежду. Трудная и долгожданная дорога к Ленину, к Революции. И одновременно — дорога вместе с Лениным, вместе с Революцией...

В сердце патриарха португальской поэзии Жозе Гомеша Феррейры нет ни капли усталости или равнодушия. Вы прочтете эту поэму и ощутите, что его сердце заполнено яростным и пронзительным светом поэзии, светом убежденности. А еще обязательно почувствуете в каждой строке всепобеждающую любовь к людям Земли.

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА — JOSÉ GOMES FERREIRA (род. в 1900 г.).

Португальский поэт. Автор поэтических книг, в том числе «Горные лилии» («Lirios do Monte», 1918), «Вдали» («Longe», 1921), «Поэзия I» (1948), «Поэзия II» (1950), «Поэзия III» (1961) — удостоена Большой поэтической премии, «Поэзия IV» (1970), «Поэзия V» (1973), «Поэзия VI» (1975) и др.

Пишет также прозу и выступает как публицист. На русский язык переведен его роман-аллегория «Чудесные приключения Жоана Смельчака», в «ИЛ» напечатан рассказ «Серебряные руки» (№ 9, 1976).

Публикуемая поэма была напечатана в третьем томе полного собрания поэтических произведений Жозе Гомеша Феррейры «Сражающийся поэт» («Poeta militante». 3° Volume. Lisboa, Círculo de Poesia, 1978).

В СССР

— стране, где свершилась Октябрьская революция, ставшая самым значительным событием XX века...

ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ

I

(Вчера мы прибыли в Москву: Мария де Фатима Велью да Кошта, Розалия[1] и я. Сбылась наша всегдашняя мечта.)

MOSCOVO

МОСКВА

Лишь вступил я на эту землю,
как почувствовал: в груди моей, в старом сердце Антея,
пламя, зажженное Лениным, полыхает по-прежнему,
а может быть, даже становится ярче.

Двадцатилетним юношей я осознал:
эта страна для меня недосягаема и священна,
как алтарь и родник,
как неведомое мне божество, вступившее в схватку,
словно доблестный воин,
перешедший на ту сторону по мосту́,
с мечом, карающим измену и ненависть, ярость враждебных светил,
которые расцвечивают своим сиянием пустоту.

Весь советский народ
— это Ленин,
отдающий себя без остатка.

II

Аэропорт

МОСКВА

Поначалу я в полной растерянности разглядываю алфавит,
который мне непонятен
и незнаком,
остается одно: угадывать надписи на дверях.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНО ЧТО.
(Может быть, курить, а возможно, плевать.)

ВЫХОД.

ВХОД.

В жизни
запрещенных вещей предостаточно.

[1] М. де Ф. Велью да Кошта — современная португальская писательница. Розалия — жена поэта.

© by Moraes Editores, 1978.

Есть, к примеру, страны,
где под запретом находятся корни,
питающие розовые лепестки
и дающие жизнь ароматам, дремлющим в шелковой колыбели бутона.
В других государствах детям дозволено видеть только
кошмарные сны
и растить в себе ненависть к миру,
живя в окружении
фантомов и монстров,
от которых волосы становятся дыбом.

Но эта страна — иная.
В ее азбуку не вмещается слово «война»,
известное из других алфавитов.

III

Теперь, когда я уже в Москве
— городе, где восемь миллионов ртов
сводит от боли, если боль они причиняют другим,—
мне кажется странным,
что я сразу же не разгадал
тайну надписей
на постаментах и пересечениях улиц,
на табличках со стрелками,
приводящих в магию замков,
где прячутся призраки в черных ретортах.

Вот он — алфавит народа, придумавшего невероятные вещи,
научившегося электронной кистью
рисовать на лунном диске
молоты и серпы,
рассыпающего в пространстве,
словно розовую пыльцу,
блеск, от которого меркнет
вечный ужас Земли, затерянной в круговороте планет.

IV

MOSCOVO

MOCKBA

Это Ленин
льдом своей пылающей крови
высветил скрытый смысл
русского алфавита —
его подлинный смысл,
недоступный царю и дворянам,
изъяснявшимся по-французски,
чтобы возвыситься над непокорными рабами.

После Октябрьской революции
этот смысл — как подземный поток —
начал исподволь растекаться по планете,
наполняя светом, огнем и мечтами
все алфавиты мира.

V

(На Выставке достижений народного хозяйства СССР, незадолго до встречи с Мариу Невешем[1]. Я вижу высокую и крепкую женщину с двумя детьми. И внезапно вспоминаю фигуру Русской Матери из берлинского мемориала, памятника миллионам советских людей, погибших во второй мировой войне ради спасения Европы и всей планеты.)

Русская Мать,
несущая бремя скорби и холодов,
впредь тебе не грозит
страшная участь — рожать сыновей,
обреченных на смерть
в лапах кровожадных чудовищ.

Русская Мать,
ты плачешь,
убаюкивая на груди миллионы убитых младенцев,
и мечтаешь, чтобы будущее подарило мир другим матерям,
чтобы в мире вскормило оно их детей,
еще не рожденных.

VI

(Утро я провел в гостинице «Пекин»: писал небольшую речь, с которой выступил 24 сентября 1975 года в Союзе писателей на вечере памяти Пабло Неруды, проходившем под председательством Константина Симонова. После моего выступления раздались аплодисменты, а Симонов сделал мне комплимент: «Ваша речь была очень романтичной».)

Я всегда считал, что поэзия смертна.

Она исчезает, выветривается, растворяется, гибнет со смертью ее творцов.

Слова ссыхаются и превращаются в музейные мумии на страницах хрестоматий для школьников и осыпанных пылью фолиантов библиотек.

Очень редко самые сильные из поэтов озаряют грядущее — но не ярче, чем кладбищенские огоньки.

Лишь немногие избегают забвенья, которое, хоть порой и украшено пышными статуями, озвучено славословием и окружено величальными ритуалами, все равно остается забвеньем.

Думаю, что Пабло Неруда — один из этих немногих счастливцев.

Смерть Неруды, совпавшая с гибелью Чили, его любимой родины, задушенной костлявой лапой фашизма, сегодня представляется нам невозможной и преходящей.

Поэзия Неруды остается живой в сердцах чилийцев и в наших сердцах. Она — я уверен — будет пылать во все времена, пока мир продолжает бороться, чтоб человек не эксплуатировал человека.

Я отчетливо помню, как будто это было вчера, удар, который мне нанесла блестящая шпага его по-новому звучных стихов, написанных во время гражданской войны в Испании.

Удар, потрясший меня, разумеется, несравним с ударом, нанесенным врагу. Я, запертый, словно в клетке, в стране, ставшей, против воли народа, официальной союзницей фашистской Испании, мысленно

[1] Мариу Невеш был в то время послом Португалии в СССР.

был всегда вместе с Пабло Нерудой. Я горжусь, что принадлежу к поколению этого человека — отважному поколению в капиталистическом мире тридцатых годов. Поэты этой эпохи не боялись делать стихи оружием. Пабло Неруда, несомненно, первый из них: он превосходил других воображением, смелостью и прежде всего страстной любовью к народу. Народ в его стихах показан таким, как он есть, а следовательно, показана красота народа.

Этой любовью проникнуты книги, которые он нам оставил в наследство. И не только его гениальная эпопея «Всеобщая песнь», но также и стихотворения, кажущиеся на первый взгляд всего лишь красочными зарисовками,— такие, например, как оды в честь лука и другой традиционной народной пищи.

Когда до него доходило известье, что где-то, в самой далекой стране планеты, завязывается схватка за будущее рабочих и крестьян, он сразу же мчался туда, чтобы помочь им своими стихами, полными гнева, отваги и нежности.

Порой я думаю, что Пабло Неруда — воспевший некогда красоту весеннего Лиссабона — сумел бы помочь сегодняшней Португалии, упрямой и одинокой, отчаянно сражающейся за социализм на самом западном западе Европейского континента.

Возможно, он научил бы нас — этому научить способны лишь такие поэты, как он,— что̀ нужно сделать, чтобы Португальская революция не соскользнула в ту же самую ужасную пропасть, где погибла его родина.

...обращенная в пепел...
...обреченная на страданья...
...которая однажды воскреснет...
...воскреснет!..

Слышишь меня, Пабло Неруда?
Слышишь меня, Пабло Неруда?
Ты воскреснешь!

VII

(Я не знаю русского языка и даже не могу разобраться в названиях улиц — и поэтому очень редко рискую ходить по городу в одиночку.)

Я соскучился
по газетам
и по маленьким приключеньям
больших городов,
где обычно немало подъездов, ведущих
в лабиринты нецеломудренных лестниц.

Здесь же я изъясняюсь только при помощи жестов и знаков.

Если б я вздумал
преследовать женщин на улице,
ориентируясь по компасу сердца
или слепящему солнцу их глаз,
мне бы пришлось
обрывать лепестки ромашек,
чтобы затем по белому следу
находить дорогу обратно.

Но в Москве интересует меня лишь Великое Приключение
Красной площади,
на которой стою

как изгнанник, вернувшийся
к истокам самого первого солнца,
горящего в плитах ленинского Мавзолея
и в переплетениях красок на Покровском соборе.

Здесь, где в Октябре
наконец сбылась
Революции
волшебная сказка.

VIII

(Мудрое невежество в области истории Москвы.)

На древней площади путаюсь в золоченой вязи, в неизвестных мне
битвах,
во вторжениях то ли гуннов, то ли татар — я забыл названья и
даты,
а выдумывать не хочу, хотя известно мне, что во время
раскопок находят
доспехи, датированные днем сотворения мира,
и громадные загадочные топоры, которыми рубили стволы
с вековыми корнями и тесали бревна,
чтобы построить Кремль
(позже его стена была сложена из камней, вцепившихся
друг в друга мертвой хваткой медведя).
Все это было здесь: первый пожар Москвы,
тройки, летящие так, будто запряжены в них разъяренные волки,
голод крепостных, утоляемый плетью,
золото корон на высоких башнях,
красные знамена восстаний
и царевна с медовыми волосами,
истребленная жалами
солнечных пчел.

Потом пришла Революция.
Камни Кремлевской стены окрепли, схваченные, как цементом,
прахом героев.

...Так я думаю в этот сентябрьский день 1975 года, стоя на
Красной площади;
мимо, вдоль стены, проходят люди, мужчины и женщины,
следуя друг за другом, словно страницы календаря;
многие из них и понятия не имеют, что, подобно своим отцам,
они тоже созидают грядущее.

IX

(В доме Максима Горького, бывшего чуть ли не богом моего отрочества.)

Старушка у входа в музей
— одна из жриц этого Голубого Пролетарского Храма —
помогла натянуть мне тряпичные тапочки:
наверное, для того, чтобы я не заглушил на паркете
отзвуки раздольных дорог,
навечно приставшие к горьковским сапогам —
вон тем, с полуметровыми голенищами,

на их подошвах еще и сегодня видны отпечатки грязного
волчьего следа,
налипшего в степях, что измерены верстами слез
до самых неведомых далей, покрытых испариной неба.

Теперь сапоги эти для будущего берегут — на географической
карте навощенного пола,
в особняке, построенном в стиле модерн,
который был подарен Горькому Революцией.

Ты и Ленин — сколько раз
вы сгибались под тяжестью долгих раздумий
за шахматами
— здесь, у этой музейной витрины,—
постигая, как гибнут короли, королевы и офицеры
и как, после шаха и мата,
воскресают убитые пешки.

В этом доме жил Горький, мой любимый писатель,
которого я читал в плохих переводах,
чьи книги, изъеденные тараканами, я покупал в дешевых
букинистических лавках.
Но пусть слова были неточны —
они ковали в сердце моем, в душе человека, привыкшего
сражаться только в мечтах,
оружие, чтобы избавить мир, никого не убив
(по крайней мере, умерщвляя плоть),
орошенное родниковой водой,
которую я не называю слезами лишь потому, что мне стыдно.
Ведь современный поэт должен петь, любить, бичевать,
призывать... Но не плакать.

XIII

(...Но как же там, в Португалии?
Ответьте мне: что происходит в Португалии?)

Быть может, как раз
от недостатка решимости
молнии Португальской революции
мало-помалу меркнут и молкнут?..

Хоть и бурлит толпа в Лиссабоне,
бряцая мечами
и коней на дыбы поднимая
— подобно тому, как это описывал
Фернан Ло́пеш [1],—
она бессильна
перед серебряными клинками
старинной ковки.

(Так дрожит в полете
стрела,
боящаяся поразить врага.)

Наша Мечта о Грядущем нежна и изящна.
Мы лелеем ее, как лелеют красивую женщину.

[1] Фернан Лопеш (1380? — 1460?) — португальский историк, автор хроник, в которых описываются, в частности, события, связанные с народными антифеодальными восстаниями 1383—1385 гг.

XV

(Возвращаясь в Лиссабон на борту советского самолета.)

Здесь, в этих рощах, покрытых
позолотой летящей пчелы и опавшей листвы,
вы —
Павел, Соня, Владимир и Лилиана,
и другие дети, в чьих именах тогда еще бились живые сердца,
бегали, протягивая друг другу ладошки,
слушали птиц, узнавая о том, чего птицы и сами не знают,
лазали на деревья, на лугу кувыркались
и играли в прятки, зарываясь в траву.
Там, чуть поодаль, в селении у окраины леса
Николай и Людмила
вьюжной зимой
лежали на теплой печи, в которой всегда полыхали дрова,
и целовались, распаленные незатихающим жаром,
а снаружи, среди белизны, предвещающей зелень весны,
медленно плавилось сердце
снежного великана.

Как вдруг
— будто треснули скалы со скрежетом —
в просветах меж облаков и воронках от взрывов
распахнулись врата преисподней,
изрыгая лавины безглазых чудовищ,
пришедших, чтоб убивать, убивать, убивать,
убивать...
...Солнце видело сквозь нависшие тучи:
Павел, Соня, Владимир, Лилиана, Дмитрий, Иван, Сергей
и Борис
разлетелись, как пыль и пыльца, по просторам славянской
равнины.
Мне понятен и близок поэт, который, встав, произнес:
«Я хотел бы без парашюта броситься вниз —
пусть мое тело
разобьется о землю,
рот и глаза будут стерты с лица,
сердце выпадет из груди,
мозг смешается с грязью, червями и перегноем —
прорастая цветами на могилах
Павла, Сони, Владимира, Дмитрия, Лилианы, Ивана, Сергея,
Бориса,
принявших чистую смерть
ради того, чтобы мир стал добрее,
чтобы продлилась в веках
красота этой бабочки недолговечной
там, внизу, разрезающей воздух
легкими взмахами ножниц
и опускающейся на цветок».

Перевод ВЛАДИМИРА РЕЗНИЧЕНКО

■

РЕЗНИЧЕНКО ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ (род. в 1945 г.).

Советский поэт-переводчик и журналист. В его переводах публиковались стихи испанских, португальских, латиноамериканских, африканских поэтов.

АЛЕКС ЛА ГУМА

Время сорокопута

РОМАН

Перевод с английского ВИКТОРА РАМЗЕСА

К советским читателям

Если не считать книги путевых очерков об СССР, со времени моей предыдущей встречи с советскими читателями прошло восемь лет. Мне хотелось бы, чтобы новая работа расширила ваши представления о моей стране. Действие предыдущих книг развертывалось в городах; «Время сорокопута» переносит читателя в сельскую местность, давая, таким образом, возможность для сравнений и сопоставлений.

...Я прочитал об этом в южноафриканских газетах в конце прошлого года. Представители властей прибыли в одну из деревень с намерением переселить ее жителей, но они нашли пустые, покинутые дома. Бросая вызов правительству, люди ушли в горы. Эпизод этот весьма типичен для сегодняшней Южной Африки. Крестьяне энергично противятся расистской программе создания бантустанов.

Нынешний режим возник в стране в 1910 году. Одним из первых законов, принятых парламентом, состоявшим только из белых депутатов, был Земельный акт, по которому бóльшая часть всей территории тогдашнего Южно-Африканского Союза — 87 процентов — объявлялась «белой», а миллионы африканцев, живших на этой земле, превращались в «иностранцев», лишенных гражданских прав. Этот закон наряду с множеством других уложений, регламентирующих жизнь черного населения, несомненно, лежит в основе апартеида. Остальные 13 процентов территории отводились под африканские хоумленды, или, как их теперь называют, «бантустаны».

Существует, на мой взгляд, устаревшее представление о том, что рабочий в Южной Африке, надорвавшись от непосильного труда и разочаровавшись в городской жизни, якобы возвращается в деревню, на землю предков, к своим истокам. На самом деле ничего подобного давно уже не происходит. Миллионы черных рабочих родились и выросли в городах, здесь они живут и умирают. Они-то и составляют современный пролетариат, по существу утративший все связи с деревней. В наши дни из городов против их воли высылают революционеров. И если герои книги Ма-Тау и Муриле оказываются в сельской местности, то у каждого из них имеются на это особые причины.

С тех пор как к власти пришла националистическая партия, проповедующая крайний расизм и апартеид, политика бантустанов непреложно и последовательно проводилась в жизнь. Хоумлендам, созданным по племенному признаку, планировалось предоставить независимость и переселить в бантустаны всех «избыточных» африканцев из «белых» районов. В пятидесятые годы правительство приступило к созданию марионеточных племенных администраций в хоумлендах, что привело, по свидетельству журналиста Гована Мбеки (отбывающего пожизненное заключение на острове Роббен-Айленд), к крестьянским восстаниям. С того времени и по сей день в бантустанах не

© Alex La Guma, 1979.

АЛЕКС ЛА ГУМА — ALEX LA GUMA (род. в 1925 г.).

Южноафриканский писатель, лауреат литературной премии «Лотос», Генеральный секретарь Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Начал печататься в 1956 г. За литературную и политическую деятельность неоднократно подвергался арестам. Его книги запрещены в ЮАР. В настоящее время живет в эмиграции.

Советские читатели знают Алекса Ла Гуму по напечатанным в «Иностранной литературе» повестям «И нитка, втрое скрученная...» (№ 12, 1965), «В конце сезона туманов» (№ 12, 1972), роману «Каменная страна» (№ 11, 1969). Недавно в русском переводе вышла книга А. Ла Гумы «Путешествие в Советский Союз» (М., «Прогресс», 1979).

Мы предлагаем вниманию читателя его новый роман «Время сорокопута» («Time of the Butcherbird». London, Heinemann, 1979). Об этом романе см. в «ИЛ» статью К. Чугунова «Час возмездия» (№ 2, 1980).

затихают волнения. Однако, несмотря на это, правительство упрямо цепляется за идею бантустанов и продолжает насильственное удаление так называемых «черных пятен» из белых районов.

Сопротивление африканцев восходит к первым дням колониального закабаления, когда белые пришельцы — буры, или, как их еще называют, африканеры,— продвигались в глубь страны с целью захвата земель. Буры, вбившие себе в голову, что им якобы принадлежит данное от бога право «цивилизовать» страну и спасти «белую» Южную Африку от «варваров», стали носителями идей махровой реакции и расовой нетерпимости. Именно они составляют основной костяк националистической партии, являются ее массовой опорой. Белые фермеры при попустительстве расистских властей чинят кровавые расправы над африканскими батраками, так что события, описываемые в книге «Время сорокопута», основаны на реальных и типичных фактах.

Экстремизм буров даже другим белым группам южноафриканского населения кажется чрезмерным. Трения, существующие между англоязычным населением и потомками голландских эмигрантов, объясняются не только культурными различиями. И дело не в том, что буры когда-то потерпели поражение от англичан. Конфликт возник еще во времена британской оккупации Капской провинции и Наталя в начале XIX века и обострился в связи с освобождением рабов в 1834 году. Белые, говорящие по-английски, являются сторонниками более утонченных форм угнетения черных, полагая, что методы буров возбуждают среди коренного населения опасные настроения. Однако же перед лицом черной оппозиции буры и англичане как правило выступают единым фронтом.

В романе рассказывается о небольшой африканской общине, которой грозит переселение из родной деревни в бантустан. По отзыву одного рецензента, «книга воплощает в художественной форме газетные сообщения, поступающие почти ежедневно из Южной Африки. Действие развертывается на фоне нарастающей освободительной борьбы коренного населения. Мы встречаемся на ее страницах с представителями белого меньшинства — как горожанами, так и сельскими жителями...»

Работая над романом, я считал необходимым сделать одним из центральных персонажей женщину. Женщины были и остаются среди самых активных борцов за освобождение южноафриканского народа. Вряд ли мне удалось воздать им должное. Надеюсь, однако, что читатель разделит мое восхищение их безграничной отвагой.

Птица сорокопут пожирает ядовитых насекомых, но, по африканским верованиям, она уничтожает также злых колдунов, злодеев и притеснителей. Каждый, кто следит теперь за развитием событий в Южно-Африканской Республике, не может не сознавать и не чувствовать, что для расизма и национального угнетения в этой стране настает «время сорокопута».

АЛЕКС ЛА ГУМА

Правительственные грузовики укатили, и поднятая ими пыль повисла над равниной, заслонив и размазав свирепое полуденное солнце. Сквозь колеблющуюся пелену оно напоминало гигантскую каплю расплавленного металла. Пыль витала в воздухе, постепенно оседая на серую землю. Равнина была плоской и монотонной, лишь две дороги, проложенные бульдозерами крест-накрест, подобно шрамам от каленого железа, рассекали ее точно изрытую оспинами, припудренную кожу. Вдали, на стальных опорах дыбился новый водонапорный бак, будто железная перчатка, сжатая в кулак на фоне плоского и пустого неба. Пыль садилась на стенки бака, на поверхность солоноватой воды в нем, которую качали из-под песка трудяги-насосы; на грубые кубистские нагромождения скатанных палаток, которые как попало побросали с грузовиков; на хмурые лица людей, стоявших подле того скудного скарба, что им позволили прихватить с собой. От пыли лица делались серыми; она забивалась в потные складки вокруг рта, глазные впадины, садилась на неопрятную, измятую в пути одежду, придавая людям сходство с выкинутыми за негодностью чучелами. Чья-то рука на пробу подхватила пригоршню песка и просеяла его сквозь заскорузлые пальцы, песок ссыпался по залатанным коленям, возвращаясь на землю. Почва непригодна для плуга и сеялки. В ней и могилу-то не отроешь. Люди стояли на полуденном, плавящемся солнце, обжигающий воздух превращал пот и пыль на их лицах в подобие гипсовой маски. Они переминались с ноги на ногу, загребая подошвами пыль, и постепенно разбредались по сторонам, задумчиво поглядывая вокруг. Заскулил измученный жаждой младенец, привязанный к материнской спине, еще один ребенок захныкал: кто-то, сплюнув в пыль, затянул песню,

ее подхватили другие, и вскоре все уже пели — петь, оказывается, можно везде, даже на этой убогой, мертвой земле.

«Пора мне сменить эту колымагу на что-нибудь поновее»,— думал Эдгар Стоупс. Видавший виды «стейшн-вэгон» трясся и дребезжал на ухабистой дороге, а когда Эдгар прибавил газу, возник металлический перестук. Наверное, подшипник, хотя на последней остановке он долил масла. Делать нечего — расстраивайся не расстраивайся, а надо дотянуть до городка, где он назначил привал. Будь поласковей с ней! Черт, последний перегон затянется на несколько часов, он доберется до городка только к вечеру, все уже будет закрыто, придется снова ночевать в этой загаженной гостинице. Но ничего не поделаешь, сбрасывай скорость, чтоб тарахтело поменьше, и уповай на то, что старая кляча не развалится, не откинет копыта прямо здесь, посреди этой чертовой пустыни.

«Стейшн-вэгон», подрагивая, кое-как катился вперед. Стоупс поглядывал по сторонам, выискивая приметы, свидетельствующие, что он приближается к цели. На западе бронзовое пятно солнца плавало в подернутой пылью синеве. Вдали прогудел пассажирский поезд, убегая на север. Шины, убавив прыть, стучали по выбоинам в асфальте. Покрышки совсем новые, но двигателю от этого не легче; пружины, рычаги, оси, ремни— все в нем на последнем издыхании. «Стареем,— подумал Стоупс с невеселой ухмылкой,— заездили нас вконец». На этой скорости в открытое окно сквозило меньше, и Стоупс снова ощутил под одеждой испарину.

Равнина, громыхая, убегала назад: красная, бурая, розовая. Наконец он заметил признаки человеческого жилья — впервые за многие часы тряски — и испытал облегчение, хотя это были всего лишь несколько чернокожих, идущих гуськом по обочине. На торчащих из лохмотьев загрубелых плечах — лопаты, точно ружья. Они не обернулись, не свернули с тропы, заслышав автомобиль, а все шагали вперед с каким-то механическим упорством. Песчинки и бурая пыль клубились, как дымовая завеса, пришлось поднять стекло. Жара окутала его влажным коконом. Еще один перегон, а там уж рукой подать до Хоум Джеймса. Дыра, конечно, а все же хоть что-то. Вообще у него нет дома, где можно было бы отдохнуть, насладиться уютом, посидеть у приемника, послушать репортаж о регби, собрать друзей на вечеринку. Дом его годен лишь на то, чтобы принять ванну, переодеться, опрокинуть стаканчик на скорую руку, прежде чем отправиться в контору. Дома — Мейзи с недовольной миной, лениво листающая иллюстрированные журналы. Все остальное — мишура, никчемные безделушки вроде никелированных колпаков на колесах или кукляшки, болтающейся над баранкой.

За покрытым пылью лобовым стеклом дорога стрелой пронзала покоробившуюся от зноя степь. Медленно проплыли еще несколько миль. Наконец железнодорожный переезд, «стейшн-вэгон» с грохотом подпрыгнул на рельсах. Не гони — будет обидно, если машина сейчас откажет, до мастерской-то рукой подать... Стоупс не преминул помахать стрелочнику в будке, его профессиональный долг — располагать к себе окружающих. Стрелочник, узнав «стейшн-вэгон» и водителя, помахал в ответ. Его каштановые волосы прядями свисали с темени, розовое лицо стало одутловатей, пшеничные усы словно оседлали широкий, улыбчивый рот.

Поворот дороги — и будка стрелочника исчезла из виду. Эдгар Стоупс заметил чернокожего, сидевшего на краю сточной канавы. Шевеля голыми пальцами ноги, тот разглядывал снятый ботинок. Потом снова открылись поля, в них догорал день; показались жмущиеся друг к другу побеленные домики железнодорожников с курами в палисадниках, пустой загон, сарай для стрижки овец. Вокруг

построек и предметов сгущались тени. Но, скатываясь на запад, солнце все еще жгло огнем, предвечерняя знойная дымка подрагивала над плоской вершиной желто-бурого холма, на склоне которого побеленными камнями было выложено название городка.

Вот и единственная здесь станция обслуживания с бензоколонками и пропыленными флагами на крыше. Стоупс направил машину на бетонный фартук перед воротами мастерской, где стоял разбитый фермерский грузовик с вывороченными наружу внутренностями; вокруг него валялись запасные части, перепачканные машинным маслом инструменты. Стоупс погудел и вышел из кабины, вытирая пот с лица.

Впереди лежала главная улица городка, оживающая после дневной духоты; привокзальная гостиница, подернутая предвечерними тенями; белые коттеджи за высохшей живой изгородью; у амбара — два запыленных грузовика и телега, запряженная мулами; монумент памяти англо-бурской войны и старая церковь с бетонной паперть, обращенная фасадом на площадь. Солнце над плоской вершиной холма, усеянного валунами, медленно собиралось в подрагивающий красный диск, похожий на раскаленное ядро. Из амбара вышла цветная старуха и принялась мести двор; со стороны площади по безлюдной улице, петляя, проехал мальчишка на велосипеде, оставляя за собой шлейф бурой пыли.

Эдгар Стоупс сунул руку в окно кабины и снова погудел, из полумрака мастерской показался человек, на ходу вытирая руки комком технической ваты. Дородный, с могучей мускулатурой кузнеца под пропотевшей майкой и замасленным комбинезоном; рыжие, коротко подстриженные волосы. Он улыбнулся, обнажив крупные желтоватые зубы, улыбка словно осветила загорелое, в складках, лицо.

— Миддаг, Клаас, добрый день, — сказал Эдгар Стоупс. — Как дела?

Он говорил на африкаанс с явным затруднением, проистекавшим, главным образом, из неприязни. Здесь в провинции он чувствовал себя как на чужбине, давно уже поняв, что с этими людьми дела не сделаешь, если не потрафить их косному высокомерию. Себя-то он почитал человеком широких взглядов: живи и жить давай другим, но почему, черт возьми, приходится вместо собственного языка прибегать к этой дурацкой тарабарщине! В конце концов он такой же гражданин, как они, и ведь не они ему, а он им нужен. И все-таки, желая проявить дружелюбие и сбыть побольше пластмассовых гребешков, буксирных тросов и электрических лампочек, он должен жертвовать своим «я», превращаться сам в подобие этих гнусных буров. Отерев губы несвежим платком, он улыбнулся рыжему.

— Снова в наших краях? — сказал механик. — Бегает ваш драндулет?

— Едва доехал, — пожаловался Стоупс. — Чертова колымага дребезжит, как погремушка. Подшипники, наверно.

Механик обошел «стейшн-вэгон», открыл капот и, уставясь на двигатель, сказал, не повернув головы:

— Заведите-ка ее, мистер Стоупс, послушаем.

Эдгар Стоупс снова залез в кабину, включил зажигание, нажал на стартер, прибавил обороты.

— Ну что, слышите?

Рыжий прислушался, подкрутил что-то в двигателе и сказал:

— Отпустите акселератор, погоняем ее немного на малых, а потом опять прибавьте газку.— Послушав еще двигатель, он наконец выпрямился, опустил капот и снова вытер руки о вату.— Да, верно, скорее всего подшипники. Видать, масло на них не попадает.

— Ей капут, — спросил Стоупс, вылезая из кабины, — или еще можно исправить?

— Придется вам ее оставить,— ответил механик.— Надо слить масло и заглянуть внутрь. Иначе не определишь, что стряслось.

— Она прошла больше пятнадцати тысяч миль, это не пустяк.

— Попытайтесь ее загнать,— ухмыльнулся рыжий,— правда, много за нее теперь не выручишь.

— Так что же, старина,— повторил свой вопрос Стоупс,— займетесь ею? Мне бы завтра ее забрать. Получу тут у вас заказы, и надо возвращаться в контору.

— Завтра?— рыжий покачал головой.— Нет, менир, послезавтра — да. Завтра все будет закрыто: магазины, лавки и все прочее. Так что уж придется вам задержаться.

— Закрыто?— переспросил Стоупс.— С чего бы это? Разве завтра праздник?

— Да вроде того,— усмехнулся рыжий.— На завтра назначена особая служба в церкви — молебен о дожде. Видели, какая засуха? Вся страна завтра будет молить господа, и, пока не кончится богослужение, лавки будут закрыты. От этого никому не удастся увильнуть.— Он покачал головой.— Нет, завтра вы здесь каши не сварите, мистер Стоупс, так что придется вам отложить отъезд.

«Господи, пустая трата времени,— подумал Стоупс,— целый день угробят на дурацкий молебен, а я буду вынужден бить баклуши в ожидании их чертовых заказов. А вдруг местные кретины и не закажут ничего в этот раз? Две ночи в такой дыре!..» Он вытер потную шею и через силу улыбнулся рыжему.

— Что ж, ничего не поделаешь, верно? Не страшно, в конце концов отдохну денек.

— Да, вам так и следует поступить. Хорошая идея.

— Позвольте, я возьму свои вещи.

Он обошел «стейшн-вэгон», чертыхаясь про себя: «Дьявол, молебен о дожде!» — открыв багажник, достал сумку с образцами и свой чемодан.

— Все будет в порядке,— забирая у Стоупса ключи, пообещал рыжий.— С утра ею и займусь. В гостинице как будто ни единого постояльца. Знаете что, зайду-ка я к вам вечерком и тогда скажу наверняка, что с ней.

— Отлично, буду вас ждать,— с напускной веселостью закивал Стоупс и, подхватив в обе руки багаж, зашагал от мастерской к гостинице со стилизованным голландским фасадом. На его мятом костюме выступили темные разводы пота, рыжие усы пожухли, он чувствовал горький привкус во рту. «Чего только не приходится терпеть и сносить,— думал он.— Придет же такое в голову — молиться о дожде!» Газет он не читал и поэтому о засухе не слышал. «Брать бы заказы на дождь,— кисло улыбаясь, фантазировал Стоупс,— уж я бы его доставил в лучшем виде, но, увы, дождь — не твой товар, ты торгуешь булавками, глянцевыми открытками с видами, презервативами, микстурой от кашля. «Универсальные товары», все что душе угодно — от иголки до катерного якоря. А вот дождя в каталогах нет,— цинично думал Стоупс,— кому он нужен, дождь? Во всяком случае не мне, на кой черт он сдался! Что мне действительно нужно позарез, так это принять ванну и хлебнуть пива». Белье прилипало к телу, голубой костюм из тропической ткани стал влажным под мышками и в шагу; несмотря на сгущавшиеся тени, неподвижный воздух окутывал тело, как ватное одеяло. Из бакалейной лавки вышел мужчина в несвежей рубахе цвета хаки, сел в пропыленную машину и покатил к площади. Мулы лениво шевелились в упряжи, склонив морды к земле. Эдгар Стоупс, волоча чемодан, проковылял мимо. У входа в здание суда, расположенного по соседству с полицейским участком, на пыльной мостовой стояли двое черных в обносках, отбрасывая длинные тени. Небрежно побеленный фасад гостиницы с зашторенными окнами был уже в тени. За живой изго-

родью — пластиковые столики для посетителей бара, за ними пока не было ни души. Вход вел в желанную прохладу. Внутри все тоже было побелено. Старинный комод, железнодорожное расписание, выцветшая фотография Дракенсберга — одного из бывших президентов страны; невысокая стойка, перед ней на полу медная плевательница. Слева — стеклянные двери маленькой столовой, справа — вход в бар. Позади стойки еще одна дверь с засиженной мухами шторой из деревянных кругляшей вела в узкий короткий коридор. Там находились кухня и лестница на второй этаж, где помещались четыре тесных номера для постояльцев. Эдгар Стоупс мог найти здесь дорогу с закрытыми глазами. Он знал, что белила и штукатурка осыпаются, стены пачкаются, если ненароком задеть их; знал, что цветного слугу зовут Фани, что в соломенной кровле водятся мыши. Уж и не счесть, сколько раз он бывал здесь во имя процветания «Универсальных товаров». И сейчас, сняв в полумраке холла темные очки, он не испытал восторга от перспективы провести здесь целые сутки, слушать дурацкую болтовню о мериносах, шансах городской футбольной команды в первенстве провинции, о несбыточных проектах залить асфальтом городскую площадь.

Постучав по стойке влажными от пота костяшками пальцев, он стал ждать появления хозяйки с ее гнусным, действующим на нервы смехом и тугим пучком седых волос на затылке. Вот и она, семенит из столовой. Маленькая, похожая на птичку, с резкими чертами лица, кожа красная, хрупкое тельце упрятано в темное, как у вдовы, одеяние; а муженек ее еще в полном соку, вечно красуется за стойкой в баре. Всплеснув тонкими и красными, точно рачьи клешни, ручками, она затрещала как сорока:

— О менир Стоупс! Снова к нам пожаловали? Как поживаете? А мы вас заждались, я Гендрику говорю, менир Стоупс будет у нас со дня на день. Ну и жара стоит, адово пекло!— Она взвизгнула и, зайдясь пронзительным смехом, порхнула за стойку.

— Да, снова я здесь, миссис Кронер,— промямлил Эдгар Стоупс,— снова у вас. Как ваше здоровье, миссис Кронер?

— О, грех жаловаться, только вот суставы.— И снова визгливый смех.— Мы не становимся моложе, дело к старости идет, не так ли?

Взяв протянутую ему шариковую ручку, Стоупс расписался в регистрационной книге и спросил:

— Верно ли, что завтра все закрыто? Неужто мне придется задержаться еще на день?

— Да, мистер Стоупс, все будет закрыто, пока не кончится молебен. У нас тут небывалая засуха — сами видите!

«Ничто ее не берет,— думал Стоупс,— ни жара, ни возраст, ни больные суставы, все тот же гнусный, скрипучий голос...»

— ...Будем молить господа нашего о дожде. Овцы околевают, река пересохла, водохранилище у плотины обмелело... Помещу-ка вас в третий номер... Зоммерман всего за пару месяцев потерял половину своей отары...— И снова режущий уши визг — что она находит смешного в происходящем бедствии?— Завтра все пойдут в церковь, преподобный Виссер вразумит нас. Так что дел не сделаешь, пока не кончится служба. Ну ничего, погостите у нас лишний денек, верно?

— Да, передохну немного,— Эдгар Стоупс фальшиво и приторно улыбнулся.— У вас есть другие постояльцы?

— Ханнес Меулен занял комнату. Вы его не знаете? Это внук старого Джоханнеса Меулена. Ездил в столицу по делам и только что с поезда. Слыхали, он выдвигает свою кандидатуру в парламент.

Стоупс не имел ни малейшего представления, о ком идет речь, но улыбался и кивал:

— Как же, как же, кто о нем не слышал!— Таковы уж законы профессионального этикета. От ее визга у него разгулялись нервы, хотелось подняться в номер, залезть наконец в ванну.

— А вода хоть есть?— спросил он. Обидно платить этим чертовым бурам по полной стоимости, если даже ванны нельзя принять.

— О да, конечно, можете искупаться. Только вот сад поливать не разрешают. Все цветы завяли. Засуха длится уже несколько месяцев, и Совет провинции требует, чтобы мы экономили воду.

И опять повизгивание, серые глазки блестели, как бусинки, на узком лице.

— Будем надеяться, что погода скоро переменится,— промямлил Эдгар Стоупс. Женщина повернула головку с тугим пучком, похожим на куриный гребешок, к шторе из деревянных кругляшей и пронзительно закричала:

— Фани, иди-ка сюда! — и продолжала, обращаясь к Стоупсу:— Если будет на то господня воля. Нам надлежит во всем полагаться на его милосердие. Фани! Где этот бездельник? Снова отсиживается в холодке, от работы отлынивает!

— Я здесь,— отозвался голос,— здесь я, миес Кронер.— Кругляши застучали, появился цветной мужчина средних лет в перепачканном клеенчатом фартуке, надетом поверх старой рубахи и брюк, и несколько раз поклонился хозяйке и гостю.

— Господи,— завизжала женщина,— вечно я должна надрываться, не дозовешься тебя. Отнеси вещи бааса в третий номер и не забудь открыть окно, чтобы проветрить.— Она снова улыбнулась Эдгару Стоупсу, обнажив мелкие зубы.— Извините, мистер Стоупс, что сама не провожаю вас — суставы замучили. В последнее время совсем жизни от них не стало. На ужин у нас сегодня домашние котлеты — хоть и засуха, а без баранины не сидим,— сосиски с рисом.— И снова идиотский хохот!

Стоупс вслед за слугой прошел сквозь постукивающую, как кастаньеты, штору. «Суставы тут ни при чем,— думал он,— голос твой тебя доконает!»

В конце короткого коридора через распахнутую заднюю дверь был виден уголок увядшего, пропеченного слепящим солнцем сада. Несмотря на скученность и тесноту, в помещении было все-таки прохладнее, чем снаружи. Поднимаясь вслед за цветным по лестнице, Стоупс мечтал о ванне.

Наверху слуга отпер полутемную комнату, как две капли воды похожую на ту, в которой Стоупс останавливался в прошлый раз. Побеленные стены, над туалетным столиком литография с обложки железнодорожного расписания — заросли цветущих алоэ; треснутое зеркало в гардеробе· железная односпальная кровать, наверно купленная в больнице при распродаже.

Слуга поставил чемодан и сумку на пол, подошел к окну, поднял занавеску и распахнул створки. В комнату ворвался нагретый желтоватый воздух. Стоупс устало плюхнулся на кровать.

— Опусти штору, хочешь, чтобы я здесь изжарился заживо? — Он вытер платком шею.— Принеси мне пива со льда, слышишь?

Слуга зашаркал ногами, обутыми в сандалии.

— Бар открывается только в половине пятого, маста.

— Господи,— застонал Эдгар Стоупс.— в половине пятого! — Он взглянул на часы.— Ладно, принесешь, как только откроется. Я пока приму ванну. Только не забудь — со льда!

Он запустил руку в карман пиджака, достал кошелек, долго копался в нем и протянул слуге мелкую монетку.

— Это вот тебе. Не забудь про пиво.

— Не забуду, маста.— Слуга, осклабившись, несколько раз поклонился.— Как можно!..

Оставшись один в затемненном номере, Стоупс поставил чемодан на кровать и рывком открыл его. «Если бы колымага не подвела, я добрался бы сюда к обеду и вечером уже выехал назад. Опять застрял в глуши среди этих дикарей, буров. Они не такие, как мы, от-

стали от времени. Черта с два пойду я на их дурацкую службу!» Эх, сколотить бы по-быстрому несколько тысчонок, и тогда — прощай, дорогая. Он пошлет куда подальше эту идиотскую работу, начнет все заново.

Вывалив на кровать содержимое чемодана, он достал из-под вороха грязного барахла последнюю чистую пару белья и чудом уцелевшую свежую сорочку. Хорошо хоть нет здесь безмозглой Мейзи с ее ехидным языком. Что может быть гаже второразрядной хористочки, возомнившей себя звездой и мечтающей купаться в лучах славы! Приятный сюрприз — в чемодане он наткнулся на полбутылки коньяка, о котором совсем забыл. Вечером будет весьма кстати!

Раздевшись догола, он запахнулся в тонкий купальный халат и, прихватив бритвенные принадлежности, вышел в коридор. Снизу донеслись резкие, пронзительные вопли хозяйки. Он заперся в тесной клетушке ванной комнаты с заляпанными стенами. Вода, которую качали с вокзала, была не прохладной, как он рассчитывал, а тепловатой и ржавой. Всклокоченный, он сел на край ванны, горько скривил рот, покусывая ус, и предался невеселым думам. Что за жизнь собачья, как отвратно устроен мир! Его мелкие невзгоды обретали для него масштабы мировых, вселенских проблем.

Контора комиссара по делам туземцев помещалась в одном из административных зданий, стоявших в ряд: тут и торговая палата, и управление по электроснабжению и водопроводу. Всюду двойные стеклянные двери, завешенные выгоревшими до неопределенного цвета шторами. В конце ряда красовался полицейский участок с кирпичным фасадом и лакированными дверями из тика, хотя лак, впрочем, почти весь облупился. Соединяла административные службы веранда, над которой помещался зал суда. Учреждения глядели окнами на пыльную площадь с церковью и лавками.

Горячий воздух струился над гравием мостовой. Двое черных мужчин стояли на самом солнцепеке перед входом в контору по делам туземцев. Один из них поправил на голове пожелтевшую от времени панаму и сказал:

— Я наперед знал, они и слушать нас не станут.

— Зато ты ему все выложил,— похвалил его второй.— Комиссар корчит из себя белого бога. Важный, как слон.— Он заразительно рассмеялся. Стайка птичек вспорхнула с засохших дубов, пересекла площадь и уселась на перила веранды.— Им до нас столько же дела, сколько этим пичугам.

Оба были уже в летах, одеты бедно, в руках — посохи, выструганные из веток. По такому случаю они повязали засаленные галстуки, застегнули пиджаки на все уцелевшие пуговицы. Убогость их костюмов бросалась в глаза: бахрома на брючинах, мятые, застиранные сорочки; тот, что в панаме, нацепил еще булавку на воротничок. Жалкие потуги на респектабельность перед лицом белых хозяев.

Прежде чем войти в комиссариат, они тщательно отерли пот с лица — ведь им пришлось проделать долгий путь пешком. С улицы они попали в комнату для посетителей: голые стены, никакой мебели, только деревянная скамья, придвинутая к стене возле матовой стеклянной двери. За железным барьером у стола с пишущей машинкой сидел клерк. Он печатал что-то, перечитывал написанное и хмурился, посасывая костяшки пальцев. На нем была спортивная рубашка с расстегнутым воротом, и виднелись завитки светлых волос на груди. Он даже не взглянул на вошедших. На полке в углу жужжал электрический вентилятор, размеренно поворачиваясь из стороны в сторону. Двое черных не сели на скамью, как им бы следовало, а

подошли к барьеру, сжимая посохи. Сняв шляпы, они застыли в бесстрастных позах, ожидая, чтобы клерк обратил на них внимание.

Минутная стрелка настенных электрических часов беззвучно скакнула, и тогда мужчина, старший из них, с умыслом уронил на пол посох.

Клерк злобно воззрился на пришельцев. Он учуял, как запахло пóтом и пылью — особый запах черномазых. Ему и в голову не пришло, что они проделали долгий путь по жаре; клерк был убежден, что все кафры воняют. Он собирался помурыжить черных, прежде чем заговорить с ними,— эти дикари другого обхождения не заслуживают.

— Почему вы не ждете, когда вас позовут? — процедил он.— Что у вас за дело? Пропуска? Вы должны были уплатить налоги еще в прошлом месяце.

Старший наклонился за посохом, потом выпрямился и сказал:

— Дело не в пропусках и не в налогах. Мы пришли по поводу переселения.

— Так вы из деревни Хлангени? Но ведь большой начальник уже объяснил все вашему старосте.

— Мы получили письмо,— продолжал старший.— Ответ из столицы. Нам велено явиться в вашу контору.

— Письмо? — переспросил клерк хмурясь.— Ты что, умеешь читать?

— Умею,— ответил черный мужчина, невесело улыбнувшись.

Снаружи солнце закатывалось за церковный шпиль.

— Подождите здесь,— буркнул клерк, вставая из-за стола. Он вышел в стеклянную дверь, а двое посетителей снова застыли в ожидании. Муха, застрявшая между оконным стеклом и занавеской, жужжала, как пила; прыгала минутная стрелка на стенных часах. Наконец дверь распахнулась, и клерк пропустил вперед самого комиссара.

Комиссар, являвшийся также мировым судьей, уставился на черных. Он старался держаться на расстоянии, побаиваясь запаха, приставшего к ним в пути. Если не считать пиджака из альпаки, в который он облачался, приходя в контору, комиссар был воплощением накрахмаленной чистоты и изысканной элегантности, от лысеющего черепа до начищенных до блеска башмаков. Жара, казалось, на него не действовала, он выглядел неутомимым и выносливым, как аравийский верблюд. Воротник сорочки слепил белизной, восковато-розовые щеки с сеточкой кровяных сосудов тщательно выскоблены. Он глядел на двух оборванцев с презрением — как они смели явиться перед ним в этих неописуемых лохмотьях!

И заговорил он с ними, как с непослушными, провинившимися детьми:

— Ну, с чем пожаловали?

— Письмо,— терпеливо ответил старший.

— Какое еще письмо?

— Ваша милость, мы получили письмо, где говорится, что вы дадите ответ на поставленные нами вопросы.— И прибавил бесстрастно: — Так уж заведено столичными властями. Мы обращаемся к ним, они отсылают нас за ответом к комиссару. Довольно странный способ, ответ доходит до нас окольным путем, но не нам судить об этом.

— Ты не имеешь права говорить так,— изменив тон, перебил его комиссар, все еще стоя на пороге.— Как твое имя?

— Кобе, меня зовут Кобе.

Комиссар, держа в руках картонную папку, посмотрел на черного и что-то записал на листке.

— За ответом пусть приходит Хлангени. Он ваш староста.— Комиссару стоило немалых усилий не сорваться на крик, в голосе его сквозил оттенок праведного возмущения. Туземцы как дети, их надо

время от времени ставить на место, напоминать, кто правит в стране, кому принадлежит власть. Но черный снова заговорил, и комиссар вытаращился на него, отказываясь верить своим ушам:

— Хлангени, вечно он! Но на этот раз выбрали меня.

— Выбрали? Да кто вам дал такое право? Как это так?

— Все в один голос высказались за то, чтобы послать меня.

Голова белого задергалась от нетерпения.

— Никогда вы ничего не поймете, ничему не научитесь. Я и говорить с тобой не стану, потому что ты не староста. Скажи спасибо, что не выставил тебя за дверь.— Папка в его руках заходила, он поднял ее, будто целясь в пришельцев.— Так вот, заявляю вам в последний раз: вы обратились в правительственный департамент с прошением отменить указ о вашем переселении, поскольку земля, на которой вы живете, якобы испокон веку принадлежала вам. Вы направили три письма и даже наняли в городе адвоката. Где это вы берете деньги на такую роскошь? Но правительство приняло окончательное решение, и я уполномочен сообщить его вам. Переселение состоится, как и было намечено. Это все.— Снисходительная сдержанность сменилась острой, как бритва, неумолимой суровостью.— Так и передайте своим землякам, а старосте скажите, что я на него сержусь за то, что он не пришел ко мне сам.

Кобе, вертя ветхую панаму в расплющенных пропыленных пальцах, негромко ответил:

— Мы передадим Хлангени все слово в слово. Но и вы, ваша милость, послушайте, что мы вам скажем от имени тех, кто нас прислал.— Он сделал паузу, перевел дыхание, взгляд его стал серьезным.— Нам объявили, что мы должны покинуть свою землю, землю наших предков. Нелегкое это дело — свалить вековой дуб. Корни у него глубокие. Можно, конечно, взять топор и срубить дерево, это легче легкого, но только корни все равно останутся, их не выкорчуешь. Так что дуб по-прежнему будет жить на старом месте.

— Что ты такое мелешь? — сузив глаза, прошипел комиссар.

— Это все, что нам поручено сказать.

— Ну вот что,— отрезал комиссар,— с меня довольно, не желаю слушать этот вздор!

— Мы пойдем теперь,— сказал Кобе.— Всего доброго, ваша милость.— Он нахлобучил пожелтевшую панаму, его спутник шагнул в сторону, пропуская старшего вперед, и они вышли из конторы на площадь, освещенную косыми лучами солнца.

— Ты ему все сказал,— повторил тот, что был помоложе.

— Да,— вздохнул Кобе,— я все сказал.— Приложив палец к ноздре, он высморкался в пыль. Мимо, озорно звеня, промчался белый мальчишка на велосипеде, обдав их клубами бурой пыли, и злорадно рассмеялся через плечо. Они отряхнули пыль с ветхой одежды, и второй мужчина проворчал:

— Никакого уважения к старшим.

— Какой с ребенка спрос,— отозвался Кобе.— Пойдем-ка, путь не близкий, надо быть в деревне к закату.

— Пойдем, ты ему все сказал.

Они пересекли площадь, вздымая фонтанчики пыли; оседая, она затягивала следы их дырявых башмаков.

Черный человек, который сидел на обочине, разувшись и опустив ноги в канаву, снова натянул ботинки и тщательно зашнуровал их. Он встал во весь рост в сухой канаве, пошевелил пальцами обутых ног, затем поднял с земли куртку и вскарабкался по склону канавы к проволочной изгороди. За нею в послеполуденном зное колыхались прокаленные солнцем поля. Он нагнулся и подлез под прово-

локу, стараясь не зацепиться за ржавые колючки. На нем была застиранная рубаха цвета хаки, прохудившаяся у воротника, и добела вылинявшие вельветовые брюки с бахромой на манжетах, покрытые въевшимися пятнами. Только грубо сколоченные ботинки были в порядке, и, когда он зашагал по вельду, ломкая корка бесплодной земли крошилась под их подошвами. Впереди и вокруг него простирались длинные, сухие полосы красновато-желтой почвы, окаймленные на горизонте невысокими скалистыми буграми, поросшими терном. Перекинув куртку через плечо, он шагал вперед, не замечая палящего солнца над головой, окрасившего дневной свет зловещей медью. Куртка была из саржи, армейского образца, один погончик оторвался, на локте — дыра. Ткань была слишком плотной; днем по жаре в куртке не походишь.

Прокладывая себе путь в пыли, человек узнавал редкие, памятные ему приметы. Здесь мало что изменилось, думал он. Плоская, скучная равнина, поросшая чахлым кустарником, хрустящим под ногами, как валежник; вокруг сплошной базальт и известняк. Когда-то здесь водились куду с ветвистыми рогами и леопарды, а сейчас среди колючих кактусов и железняка лишь изредка проскользнет зеленая или коричневая мамба; красные тараканы сливаются с потрескавшейся красной землей, из которой, точно наперекор безжалостному светилу, торчат побеги боярышника. Местные жители, должно быть, все еще охотятся на антилоп и газелей. Но в основном пастбища заняты домашним скотом: коровы той породы, что белые называют «африканер»; местные толстозадые овцы щиплют жесткую траву вместе с завезенными сюда из Европы испанскими эскориалами и саксонскими мериносами. В сезон дождей, точно по велению добрых духов, ливни обрушиваются на низкорослые деревья и длинные стебельки молочая, напоминающие острия копий; на хлебные деревья — ровесников каменного века. Дождь кончается, и наступает время медового канюка, птицы дринго, трясогузки; время цветения колючих алоэ, са́говника и подсолнухов.

Человек вспоминал добрые времена, когда вставали на полях колосья в человеческий рост, пастбища покрывались сочной травой, а овцы — густой шерстью. Белые помещики, жившие в далеких городах, приезжали на фермы — посудачить об урожае, ягнятах, ценах на овчину и каракуль. Черные слуги обносили хозяев и гостей шипящим, поджаренным на огне мясом.

«Но я сюда ненадолго,— думал он,— не задержусь здесь». Он глядел на подрагивающую в знойном мареве землю и шагал вперед, время от времени меняя направление. От ходьбы он вспотел, рубаха потемнела на спине и под мышками. Он накрыл голову курткой, рукава болтались за спиной. Впереди показались росшие в ряд карликовые деревья. Он вспомнил, что растут они вдоль старого русла, туда-то ему и надо. Солнце нещадно палило, в голове слегка шумело. Странно, как это наряду с важными вещами память хранит всякие мелочи, хранит вечно. Бурая пыль взметалась из-под подошв, забивалась в ноздри и рот, но он привык и не замечал ее, пыль — это пустяк, ему не до нее, у него совсем другие заботы.

Ботинки скрипели по сухой земле, и он подумал: прямо удивительно, как человек может привязаться к своей обувке. Все детство он проходил босиком, да и юность, пожалуй, тоже. Ступни затвердели, заскорузли. Когда его впервые обули, он испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Конечно, поначалу было непривычно, ботинки натирали ноги, но потом не мог понять, как это раньше без них обходился.

Солнце клонилось все ниже к западу, постепенно приобретая четкие очертания, превращаясь из расплывшегося, бесформенного пятна в оранжевый диск. От колючего кустарника и покрытых пылью валунов поползли удлиняющиеся тени.

Наконец он достиг деревьев. «Ну и ну,— подумал он с ухмылкой на пересохших губах,— они и не изменились вовсе». Эти деревья вечные. Если их не трогать, простоят и тысячу лет. Под корявыми стволами было прохладно, пятнистая тень пестрела пурпурными бликами. Деревья росли на краю длинной впадины, вдоль русла высохшего ручья. Он съехал по склону вниз, отчего пыль красным туманом повисла в воздухе, и, плюхнувшись на землю в тени деревьев, прислонился спиной к крошащемуся береговому выступу. Стянув с головы куртку, он вытер ею потное лицо, свернул ее в комок, подложил под голову вместо подушки, вытянул ноги, устраиваясь поудобнее на песчаном ложе, расслабился и затих.

Среди пучков осоки копошились насекомые. Муравьи и красные пауки пошли на него в атаку; рассекая желтый воздух крылышками, скакали кузнечики; черные жуки с блестящими круглыми спинками косолапо взбирались на горки мелкого, точно просеянного, песка. Муравьишка торопился спрятаться от солнца в тени колючей веточки. Он полз так ловко, что на песке не оставалось следа. «А ведь эта букашка не просто так ползает,— подумал путник,— знает, куда и зачем ей надо. Вот и я, как этот муравьишка, знаю, куда иду и что мне делать. Полагалось бы по прибытии отметиться у комиссара по делам туземцев. Об этом специально предупреждали, вручая железнодорожный билет третьего класса. Но мне осточертели комиссариаты, осточертели белые! Я сделаю то, зачем приехал, и плевать мне на все остальное!» Муравей взобрался на кучку песка и юркнул в едва заметную норку, не больше спичечной головки.

Путник поднялся на ноги, постоял, отряхнул пыль с одежды и зашагал вдоль высохшего русла. Куртку он теперь накинул на плечи. Он был черный, лет тридцати, с широкими выступающими скулами и короткой бородкой. Пропотевшая рубаха плотно облегала могучие плечи, из закатанных рукавов торчали мускулистые руки с шишковатыми пальцами, загрубевшими от ссадин. Шел он слегка сутулясь, словно сгибаясь под тяжестью плеч и рук. Ботинки, ступая по слежавшемуся песку, вздымали шлейф пыли.

Русло петляло, то сужаясь как щель, то расширяясь в складчатые отмели, сохранявшие волнистый отпечаток высохшего потока. Из-под ног катились камешки и остатки водорослей. Подошвы оставляли смазанные, нечеткие следы. Неглубокие ложбинки на другом берегу начали розоветь по мере того, как солнце катилось вниз, к горной гряде на горизонте.

Впереди послышалось блеяние овец, резкий, пронзительный свист, а за ним крик. Но он не поспешил на шум, шел все тем же размеренным шагом, следуя изгибу русла, вновь раздавшегося в ширину. На берегу, сбившись в кружок, стояли колючие деревья. Дно мертвого ручья заросло сорняками: кактусом-опунцией, шершавой бурой травой. Несколько отощавших овец, припудренных красноватой пылью, щипали жесткую, лишенную влаги растительность распухшими от жажды языками. Маленькая отара негромко блеяла, овцы жались друг к другу. Лежавшая в тени берегового утеса дворняга с порванными ушами и колючками в жесткой шерсти, учуяв незнакомца, ощетинилась, часто задышала, вскочила на ноги.

Человек поравнялся с отарой, овцы, испугавшись, пустились наутек. Собака глухо зарычала, шерсть на ней встала дыбом. Но тут кто-то окликнул собаку, и, обернувшись на голос, путник увидел на противоположном берегу дырявое одеяло, накинутое на ветви терновника, и сидящего в его тени на корточках пастуха. Сложив руки на коленях, пастух глядел в его сторону. Свернув, путник еще издали разглядел подобие фетровой шляпы и протертые штаны. Пастух был костляв, но, несмотря на худобу, казался жилистым и крепким, точно вяленое мясо. Испещренное морщинами лицо было покрыто слоем пыли, точно разлиновано красными штрихами. Яркие и влажные глаз-

ки, как две вымытые изюминки; курчавые седые волосы закрывают сморщенные уши; редкая бороденка тоже припорошена пылью; сквозь прохудившиеся штанины торчат костлявые колени. Посасывая пустую трубку с высокой чашечкой и длинным мундштуком, он следил за путником, взбиравшимся вверх по крутому берегу. Зрачки в пропыленных глазных впадинах точно застыли, зубы сомкнулись на мундштуке.

Путник подошел к нему вплотную; большая, тяжелая тень упала на пастуха. Отерев потный лоб рукавом куртки, он заговорил:

— Как живешь, старина? Я тебя узнал, ты Мадонеле.

— И я тебя узнал,— отозвался пастух.— Твое имя Мурилe, а белые фермеры дали тебе кличку Шиллинг. Шиллинг Мурилe.

— Ох уж эти белые,— буркнул тот, кого звали Шиллинг Мурилe, и сплюнул в сторону ручья.

— Белый нехорошо обошелся тогда с тобой и твоим братом,— глядя перед собой, сказал пастух.— Тебя отпустили? — Он вскинул глаза на молодого человека.— Садись, не стой на солнце, ты проделал долгий путь.

— Со станции иду.— Шиллинг Мурилe присел на корточки возле старика.

Мадонеле, пососав трубку, спросил:

— Ты сейчас прямо оттуда?

Шиллинг порылся в карманах военной куртки, поглядывая в сторону овец, рассыпавшихся среди песчаных кочек русла. Собака, снова распластавшись в тени, следила за отарой сонными глазами.

— Да, прямо оттуда,— ответил Мурилe, доставая из кармана уже распечатанный бумажный пакетик с табаком. Обертка была оранжевого цвета.— Кури,— сказал он, протягивая пакетик старцу.— Что за радость сосать пустую трубку?

— Хоу,— удивился пастух, подставляя сложенные совком ладони,— табак! Уж и не вспомню, когда видел его последний раз.— Он захихикал, как ребенок, и, развернув пошире упаковку, запустил в пакетик тонкие пропыленные пальцы. Насыпав табак в высокую чашечку трубки, он тщательно, не торопясь примял его, предвкушая радость первой затяжки.— Добрый возили когда-то табачок из Магалиесберга,— сказал он с грустью в голосе.

— Эта марка называется «Боксер».— Мурилe протянул пастуху коробок, тот чиркнул спичкой, затянулся, пуская клубы дыма, все не гася спичку, так что она, догорев до конца, едва не обожгла ему пальцы. Наконец бросив ее, он вынул трубку изо рта и замурлыкал от удовольствия.

— Хоу, хоу, хоу, вот это табачок! — Отвернувшись, он сплюнул, и Мурилe увидел натянутые сухожилия и шелушащуюся кожу на дряблой шее старика. Пастух заворочался, устраиваясь поудобнее, зарыл в сухой прибрежный песок мозолистые разлапистые ступни с короткими пальцами и обломанными, похожими на ракушки, ногтями. Он все попыхивал трубкой и молчал, пьянея от затяжек, задумчиво уставясь в подернутую дымкой даль. Так они и сидели рядышком. Шиллинг Мурилe не докучал старику расспросами. Достав из истончившихся штанов аккуратно сложенный листок папиросной бумаги, он оторвал от него полоску с неровными краями, остальное спрятал в карман, свернул самокрутку, лизнул ее по всей длине, чтобы ровно горела.

По ту сторону пересохшего ручья выжженная земля покрылась багровыми и лиловыми узорами, тени заползли в ложбины, горизонт плавился в розовом мареве.

Первым нарушил молчание пастух, задумчиво попыхивая трубкой:

— Плохо обошелся с вами белый человек, особенно с твоим братом.

Муриле не повернул головы, но глаза его сузились, он поднял камень и швырнул им в овец.

— Уж эти белые,— отозвался он негромко.— Я с ними больше не желаю знаться, нет мне до них дела.

Овцы, блея, медленно бродили по песчаному руслу, купаясь в пыли.

— Они — сила,— вздохнул пастух.

— Там, где я сидел, были такие — их тоже туда белые упекли,— что призывали нас бороться. Я часто слушал их речи.

— Бороться с белыми? — переспросил пастух.— У нас тут тоже появилась одна...

Шиллинг Муриле, затянувшись дымом, сказал:

— Я-то сделаю свое дело. Затем и пришел сюда, отец.

— Что ты замышляешь? А я-то решил: парень домой вернулся.

— Да есть одно дельце,— повторил Муриле, вращая черными, как жуки, глазами.— А дома у меня теперь нет.

— Раз брата не стало, так и дома нет? А как же родственники, соседи? — возразил пастух.— Все мы твои братья. Я и тебя помню, и брата твоего. Вы были парни не промах, все делали вместе. И за скотиной приглядывали, и все прочее по хозяйству. Помню, когда вы проходили обряд посвящения в мужчины, вас так и не дождались из леса, отправили даже охотников на розыски.

— Мы наткнулись на следы леопарда и пошли по ним. Но мне неохота вспоминать те времена.

— Почему бы нет? Может, и предков забыть прикажешь?

— Я ничего не забыл, все помню, просто говорить об этом не хочу.

Солнце приближалось к узкой гряде бурых гор на западе, и земля подернулась рыжеватым цветом, синими, лиловыми, муаровыми полосами; тут и там торчали серые глыбы железняка и колючий кустарник; тени все удлинялись. Пастух поднялся на ноги, и его худоба стала еще явственнее, под запыленной кожей проступали ребра.

— Пойдем — старый Хлангени собирает на закате сходку. Правда, сходки теперь не те, что раньше. Его ведь турнули, назначили обычным старостой.

— Хлангени, значит, теперь уже не вождь?

Пастух цокнул языком, покачал головой:

— Не вождь. Во всяком случае, белые его не признают. Для них он — только староста деревни, хотя мы-то по-прежнему считаем его вождем.— Пастух снова покачал головой.— Сегодня будет о чем поговорить, не опоздать бы. Да и поесть пора бы, хотя не знаю, осталось ли что в котелке.

— Ни семьи, ни родни у меня нет,— сказал Муриле, вставая с земли.— Но я пойду с тобой — нам по пути.

— Хоу,— сказал пастух,— вроде память у тебя хорошая, как же ты забыл, что оставшиеся без отца дети усыновляются деревней?

— Свое дело я сделаю сам, без посторонней помощи,— огрызнулся Муриле. Пастух тем временем снял с ветвей одеяло, надел его как пончо, просунув голову в дыру посредине. Он отер пальцем пот с подкладки шляпы и снова нахлобучил ее на голову.

— Все равно пойдем в деревню. Мы ведь свои люди. А там поступай как знаешь.— Пастух ухмыльнулся и добавил с хитринкой:— К тому же, молодой человек, у тебя водится табачок.

Он съехал с берега к руслу на босых пятках, свистнул собаке и, помахивая прутиком, погнал овец вперед. Овцы не торопясь, с ленцой семенили вдоль русла, и облако пыли тянулось вслед за ними. Собака, высунув язык, прыгала вокруг старика. Шиллинг Муриле подобрал с земли свою куртку и пошел следом, зарываясь подошвами в мягкий песок. Пройдя немного вдоль русла, пастух, все так же попыхивая трубкой, произнес:

— Я слышал, там, где ты был, с нашим братом обходятся круто.

— Это так,— подтвердил Муриле и посуровел.— Но там учишься ждать и помнить.— Старая ярость забурлила в нем.— Лучше ждать и помнить, чем языком трепать. Там живо попадешь в беду, если сболтнешь лишнее. Так что оставалось ждать.

— Если тебе неприятно, можешь об этом не говорить,— сказал пастух и тут же спросил смущенно, точно не в силах был совладать с искушением:— А табак вам давали?

— Этот я купил, когда вышел оттуда. Но и там выдавали такой же, редко, правда. Ботинки тоже мне выдали...

— Хоу,— изумился старик.— Таких ботинок здесь не видывали, даже у белых фермеров похуже. Мы тут и жрем-то не досыта, а уж об обувке и не мечтаем. Дождя давно не было, вот дела и пошли из рук вон плохо. Видишь, это все как есть деревенские овцы. Молодежь ушла на заработки, и пасти отару, кроме меня, некому.

Над пологими берегами ручья, на всем пространстве до самого горизонта подрагивали, переливаясь, коричневые, бежевые, бурые полосы, испещренные блеклыми пятнами. Солнце садилось и грело уже не так свирепо; стучавшая в виски жара спала, хотя воздух еще не остыл.

— Почему колодец не отрыли?— спросил Муриле.— Под высохшим руслом есть вода. Если копнуть поглубже, сама хлынет наверх.

Пастух выдохнул дым, поглядывая в сторону собаки, усмирявшей отбившуюся овцу.

— Одно время поговаривали о ветряке и насосе, но вдруг комиссар велел переселить нас отсюда. Кто бы дал кредит такой деревне, как наша? Да и не сеяли мы ничего из-за комиссарского приказа. Пришла бумага со списком выселяемых, чиновник пометил краской их дома. Об этом-то и будет говорить сегодня старый Хлангени.

— Люди живут здесь со времен наших дедов,— возмутился тот, кого звали Шиллинг Муриле,— да и раньше жили.— Он помолчал, точно прислушиваясь к тому, как гложет его старая ярость.— Разве мой брат не похоронен здесь?

Пастух согласно кивнул и щелкнул языком, стегая на ходу песок прутиком.

— Да, это так. Твой брат похоронен здесь.

Дальше они шли молча. Потом собака, хорошо знавшая дорогу, взбежала по едва заметной тропинке на косогор. Овцы, блея, затрусили следом. Люди тоже вскарабкались наверх и оказались среди низких дюн и каменистых холмиков. Колючие деревья и томимые жаждой ивы припадали ветвями к иссушенной земле. Вдали клубился дымок от костра; судя по всему, поля вдоль берега когда-то возделывались, теперь же здесь торчали только редкие сухие колоски. Они побрели по дюнам, принюхиваясь к запаху дыма; где-то неподалеку перекликались дети. Овцы медленно свернули к загону из столбов и колючих веток, устроенному на пологом склоне холма.

Когда Стоупс спустился вниз, солнце уже ушло из холла; засохший сад, видневшийся в прямоугольнике задней двери, тоже был в тени. Из кухни доносился обычный перезвон кастрюль, стук ножей. Навозная муха сердито жужжала у стены. Где-то вдали прогудел поезд. Но все эти звуки не доходили до сознания Эдгара Стоупса, он направлялся к бару, ни о чем постороннем не думая. Ванна не принесла облегчения, желанной прохлады; тело снова было липким. Ему пришлось долго ждать в тесной ванной комнате, прежде чем в тепловатой воде, льющейся из крана, исчезли хлопья ржавчины. Черт, застрять в такой дыре из-за проклятого молебна, будь он неладен!

В крохотном холле со старинным комодом и портретом экс-президента на стене Эдгар наткнулся на Фани, собравшегося подмести па-

радное крыльцо. Из бара слышалось звяканье расставляемых стаканов.

— Эй, ты,— напустился Эдгар на слугу.— Я велел тебе принести пива. Ты что, совсем безмозглый? Я жду-жду, и никакого пива! Что с тобой стряслось, черт тебя побери!

Слуга явно оробел, смутился, защелкал языком, завертел красным веником.

— О маста, я начисто забыл. Простите, забыл, как о смерти. Миес Кронер дала другое поручение, и ваше пиво вылетело у меня из головы.

— К черту! — в сердцах выпалил Стоупс.— А я еще дал тебе пять центов на чай. Скоты неблагодарные!

— Маста, совсем забыл,— шаркая ногами в сандалиях, скулил слуга.

Стоупс сокрушенно покачал головой. Распахнулась дверь, ведущая в столовую, и в холл впорхнула госпожа Кронер, птичья головка настороженно поворачивалась от одного к другому. Сжимая в кулачке салфетку, она завизжала:

— Что такое? О, это вы, менир Стоупс! Что-нибудь не так?

— Да вот,— хмуро буркнул Стоупс,— попросил этого увальня принести мне бутылку пива, а он, конечно, забыл.

— Осел,— взвизгнула хозяйка.— Этим болванам хоть кол на голове теши! Целый день я с ним мучаюсь. Не можешь запомнить, что тебе велит баас?

Слуга выглядел пристыженным, несчастным, и Стоупс сказал:

— Да ладно уж, выпью пива в баре.— Он поморщился, когда мерзкая баба внезапно разразилась своим дурацким смехом:

— Ох уж эти мужчины, жить без пива не могут!

Стоупс прошел через завешенную кругляшами дверь в бар, а хозяйка снова напустилась на слугу, коря его за глупость и нерасторопность.

Оказавшись в полутемной комнате с жалюзи на окне и низким потолком, Эдгар отер пылающее лицо чистым носовым платком — это последний. Снаружи солнце таяло, но было еще довольно светло. Из-за жалюзи и раскрытой настежь двери в баре было достаточно прохладно, хотя подвешенный к потолку электрический вентилятор едва вращался, лениво разгоняя воздух. Пол только что подмели, и медный желобок, уложенный вдоль стойки, сверкал чистотой. У стены стояли два столика, а под окном — длинная скамья. На стенах — картины; полки, уставленные бутылками. Над стойкой — зеркало и увеличенная фотография в старинной золоченой раме, запечатлевшая группу мужчин подле крытого фургона. Одни стояли, другие сидели на корточках. Почти у всех бороды, одеты в старомодные костюмы, опоясаны патронташами, кое у кого в руках ружья. При увеличении их лица расплылись, мужчины походили на призраки. Стоупс уже знал, что это отряд лазутчиков, героев англо-бурской войны. На противоположной стене — портрет Кооса де ля Рея примерно такого же формата, что и фотография, борода лопатой, застегнутый на все пуговицы сюртук. Рядом с ним два окантованных эстампа, напечатанных отделом железнодорожной рекламы,— ландшафты работы художника Пирнифа.

Угасающий свет дня, пробивавшийся в щели жалюзи, расчертил пол блеклыми линиями. За стойкой возился сам Кронер в сорочке без пиджака. Заученными движениями он вытирал прилавок тряпкой, как это делают все бармены на свете. Это был крепкий на вид мужчина с толстой шеей и чисто выбритыми красными щеками. Стоящие торчком русые волосы были похожи на соломенную крышу туземной хижины; пухлые руки, бегающие по прилавку,— в коричневых пятнышках, точно обсыпаны гречкой. Как это такой верзила, недоумевал Стоупс, мог жениться на своей кудахчущей пигалице? Еще хуже Мей-

зи, хотя, казалось бы, хуже не бывает! Но в голубых глазах Кронера ни намека на тоску и смирение, присущие подкаблучникам. Напротив, когда он протянул Стоупсу влажную пятерню через прилавок, в них вспыхнуло озорное лукавство.

— Менир Стоупс, снова в наших краях? Какими судьбами?

— Обычная поездка, и, как всегда, остановился у вас. Мечтаю о ледяном пиве.

— Что там моя «половина» разворчалась? — спросил Кронер, доставая из-под прилавка бутылку. Он ловко откупорил ее о специальный крючок, привинченный к деревянной колонке, и налил пенистого пива в высокий стакан.

— Ах,— Стоупс блаженно вздохнул и надолго припал к стакану, потом отер пену с усов.— Вот чего мне недоставало! Ваша супруга распекала бо́я. Я заказал пива, когда приехал, а этот болван забыл принести. Пришлось на него пожаловаться. Кстати, почему бы и вам со мною не выпить, угощаю!

— О, спасибо, с удовольствием,— ответил бармен и продолжал, качая головой:— Видите, на этих чертей совершенно нельзя положиться. Все на свете забывают. Нет, правда, они не такие, как мы. Постоянно приходится водить их за руку, все показывать и разжевывать. У жены просто иссякает терпение. Но ведь от них не избавишься.— Он налил себе пива, поднес стакан к губам.— А как ваш бизнес?

— Нормально,— ответил Стоупс.— Главное — завести постоянных клиентов, а дальше все идет само собой, предлагай новые образчики и собирай заказы, сами знаете. Ну, а как ваши успехи?

— Потихоньку. В нашем захолустье все по-старому, никаких особых событий не происходит. Слыхали о завтрашнем молебне?

— Да, мне, видно, придется задержаться. Моя колымага рассыпается, а гараж завтра закрыт.

— Ну, передохнете,— Кронер ухмыльнулся тонкогубым ртом.— Здесь у нас уютно, спокойно, ничего не происходит.

«Уютно, спокойно, ничего не происходит»,— повторил про себя Эдгар Стоупс.— Торчи тут с этой деревенщиной, такие же тупые, как их овцы!» В бар вошли двое мужчин и направились к стойке, пересекая бледные линии света на полу. Стоупс улыбнулся им, они кивнули в ответ и встали в дальнем конце бара. На них были рубахи с открытым воротом, шорты цвета хаки и сыромятные сапожки со шнуровкой, покрытые дорожной пылью. Облокотившись на стойку, они поздоровались с Кронером, который уже ставил перед ними стаканы, зная наперед, что они закажут,— это были завсегдатаи. А вот Стоупс здесь чужой, посторонний. «Господи,— думал он, отирая пену с усов,— держатся со мной так, словно я черномазый. Чертовы буры, у них только волы и плуги на уме! В конце концов чья это страна, кто ею правит?» Он стоял поодаль от вновь пришедших, наедине со своим стаканом, чувствуя себя всеми покинутым, заброшенным, и вспоминал ярко освещенные бары в его городе, рев музыкального автомата, разговоры о скачках, зазывной смех женщин... И снова подумал о Мейзи. Чертова кошка, всегда хмурая, вечные капризы, точно балованный ребенок. Ничего не хочет понять! Они могли бы отлично ладить, но ей невдомек, что он из кожи вон лезет, чтобы содержать ее, чтоб жить не хуже людей. Не его вина, что приходится заниматься таким делом. Он ведь не миллионер, не богатый наследник, кому-то надо быть и коммивояжером, сбывать лавочникам всю эту дребедень. До свадьбы Мейзи была шелковой, а теперь пилит его без передышки, особенно когда выпьет. Все ей не так. Надо что-то предпринимать, может, развестись?.. Позвоню-ка ей, предупрежу, что задерживаюсь. А к чему? Можно подумать, она тебя ждет не дождется. Держи карман шире! Небось сидит сейчас в киношке, пялит глаза на Стива Маккина и жалеет, что у нее не такой муж... Понача-

лу они находили общий язык, все было нормально, а теперь прямо сучка злая! Да ну ее к черту!

Маленький бар между тем заполнялся, мужчины говорили на африкаанс; на их лицах — следы небывалой жары: бронзовый загар, носы шелушатся, губы потрескались. Почти все в рубашках без пиджаков, в брюках либо шортах цвета хаки. Ни одной женщины — в этих краях их в бары не водят. Слыханное ли дело, чтобы мать семейства пила спиртное в общественном заведении! Эти парни держат своих баб взаперти, почтенных бурских матрон прячут от нескромных глаз, хранят под семью замками. Зато в церковь завтра все, как одна, явятся.

Он не случайно вспомнил о церкви — двое мужчин рядом с ним обсуждали завтрашний молебен.

— Нынешняя засуха прямо из ряда вон. Наказание господне! Чем мы только провинились перед ним? — говорящий был в клетчатой спортивной рубашке, редкие пряди светлых волос зачесаны на затылок. Шея над воротничком обгорела, покрасневшая кожа шелушилась.

— Я вложил деньги в овец,— отхлебнув пива, вступил в разговор второй.— Пастор наш, преподобный Виссер, надеюсь, не подведет? Только бы проповедь не была чересчур длинной. Мне надо отогнать отару на север, путь не близкий!..

— Преподобный обычно говорит долго, но в его проповедях много толковых мыслей. Послушаем, что он завтра нам скажет.

Стоупс подозвал Кронера и заказал двойную порцию коньяка. Стоявший к нему спиной фермер обернулся на звук незнакомого голоса, посмотрел на Стоупса, потом вновь перевел взгляд на собеседника, и оба перешли на полушепот, словно бы опасаясь чужих ушей. И опять Стоупс почувствовал себя отверженным и поспешил укрыться за поношенной кольчугой своего цинизма, проклиная про себя этих дураков, их овец, затеянный ими молебен — всю эту показуху и лицемерие.

Однако кто-то из собравшихся в баре узнал его.

— Менир Стоупс,— раздался за его спиной голос,— добрый вечер! — Это был Клаас, рыжий механик из гаража, сменивший замасленный комбинезон на чистую рубаху цвета хаки и брюки, едва сходившиеся на внушительном животе. Обветренное лицо, казалось, долго драили щеткой, розовый гладкий череп просвечивал сквозь подстриженные бобриком рыжие волосы.— Я еще разок слазил под капот,— он покачал головой.— Придется с ней повозиться, мистер. Само собой, я постараюсь, чтобы все было в лучшем виде.

— Лишь бы мне до дому добраться,— сказал Стоупс.— Езды тут от силы полдня. Буду вам очень благодарен.

— Не могу ничего обещать заранее, посмотрим, как пойдет дело. Но дома вам придется основательно ею заняться.— Он отпил глоток из стакана, который сжимал в огромной ладони.— Примусь за нее завтра после молебна, как условились.

Он собрался было что-то добавить, но дружки с хохотом оттащили его за рукава рубахи.

— Айда, Клаас,— закричал один из них,— Дирк Нелс хвастается, что он сильнее тебя. Не подкачай, мы на тебя поставили дюжину пива. Дирк утверждает, что припечатает твою руку в две минуты.

Рыжий Клаас загоготал, обнажив прокуренные зубы, и, отвернувшись от Стоупса, потопал за дружками.

Половину стойки очистили от стаканов и придвинули к ней два высоких табурета. На один плюхнулся толстяк с круглым, как блин, румяным лицом и бритой головой, добродушно улыбаясь столпившимся вокруг мужчинам. Клаас сел на второй табурет. Эдгар Стоупс, потягивая из рюмки, протиснулся поближе. От коньяка внутри сделалось тепло, захотелось быть приветливым, общительным. Мужчины,

похлопывая силачей по плечам, подбадривали своих любимцев. Соперники обменялись рукопожатием.

— Клаас, старина, готов ли ты помериться силой?

— К твоим услугам, Нелс,— осклабился рыжий,— к твоим услугам.

— В прошлом году на празднике ты, говорят, одолел того парня из Марицдорпа. Только, смотри, со мной у тебя этот номер не пройдет, во мне веса побольше.

— Может, и так, старина, только не в весе дело.

— Сейчас узнаем, кому раскошеливаться на пиво для всей честной компании.

Уперев левую руку в бедро, они сомкнули правые, сцепили пальцы, и поединок начался. Зрители окружили их плотным кольцом, оттеснив Стоупса. Он встал на цыпочки, пытаясь заглянуть через головы сгрудившихся болельщиков, потом с напускным равнодушием отошел в сторонку, думая про себя: «Дети, ну прямо как мальчишки!»

На свободном конце стойки высокий светловолосый мужчина беседовал с Кронером:

— Этот Нелс — крепкий орешек. Однажды на соревнованиях он одолел всех.

У говорящего была осанка игрока в регби, и держался он с завидной непринужденностью. На нем были тщательно отутюженные брюки и легкая куртка. Гладкое красивое лицо; ясные глаза излучали жизнерадостность. Он учтиво улыбнулся Стоупсу, вставшему рядом с ним у стойки, обнажив при этом ровные белые зубы.

— Вы, как видно, гость в нашем городке,— произнес красавец, и Стоупс сразу уловил знакомую профессиональную интонацию. «Коллега, тоже из тех, кто лезет людям в душу, хочет всем понравиться. Небось ломает голову, зачем я сюда пожаловал и нельзя ли меня использовать в своих целях. Интересно, чем он торгует, что всучает простофилям?» Вечный страх перед конкурентами научил Стоупса подозрительности, он не верил приветливым излияниям, обезоруживающим улыбкам и похлопываниям по плечу. Но этот парень местный, и воспевание зубных щеток фирмы «Смайлбрайт» или взбивалок для яиц — явно не его бизнес.

Стоупс кивнул, ответил улыбкой на улыбку, в то время как Кронер, стараясь перекричать болельщиков, представил ему красавчика:

— Это менир Меулен, Ханнес Меулен, наш кандидат в парламент.

«Ага,— подумал Стоупс,—так это себя он хочет сбыть местному быдлу!» Протягивая руку, он вслух сказал:

— Рад с вами познакомиться, сэр. Моя фамилия — Стоупс. От души желаю удачи на выборах.

Эдгар ощутил крепкое, уверенное рукопожатие, в ясных глазах играла улыбка, белые зубы пленительно сверкали.

— Спасибо,— поблагодарил Меулен.

— Что вы выпьете? — предложил Стоупс.

— Благодарю вас, пожалуй, пива.— Стоупсу понравилось, что этот тип принял угощение не кочевряжась. «Я для него не соперник,— догадался Стоупс. — Сегодня здесь, а завтра и след мой простыл, и никаких споров насчет того, чьи пластмассовые чашки лучше».

— Мистер Стоупс снабжает наш городок товарами,— пояснил Кронер, потягивая пиво,— следит за тем, чтобы в магазинах всего было в избытке.

На другой половине бара поединок продолжался под аккомпанемент взволнованных выкриков болельщиков.

— Самое главное, мистер Стоупс,— изрек Меулен,— это не отрываться от простых людей, таких вот фермеров, как мы. Вам повезло, что по роду своей деятельности вы бываете у нас. Я придаю

особое значение контактам между населением, говорящим по-английски и на африкаанс. В нынешние нелегкие времена нам, как никогда раньше, необходимо держаться вместе, быть заодно.

Отерев пену с усов, Эдгар Стоупс ответил:

— Я с вами совершенно согласен.

— Вы принадлежите к какой-нибудь партии, менир? — спросил красавчик.

— Сказать по правде, нет,— ответил Стоупс.— Видите ли, при моем занятии...

— Я прекрасно понимаю. Партии лишь разделяют людей. У всех у нас одна общая забота — будущее и целостность нашей нации. Мы живем в тревожные времена. Если вы следите за газетами...

— Верно, верно,— тряся русой копной, поддакивал Кронер за стойкой.

—... лишнее доказательство того, что нам следует забыть старые обиды и помышлять только об общем благе, о сохранении нашего уклада жизни. Наш народ не поскупился на жертвы, чтобы сделать эту страну столь гордой и великодушной.

— Целиком разделяю ваше мнение,— ввернул Стоупс.— Сам я далек от политики, но вам желаю всяческих успехов.

— Как долго вы у нас пробудете?

— Мой автомобиль в гараже... э-э... нуждается в ремонте. Очевидно, я задержусь здесь на день, другой.

— Может быть, у нас будет случай поговорить поподробнее,— Меулен вытер губы белоснежным платком.— Я тоже остановился у Кронеров, завтра пойду на молебен. Надеюсь, мы еще встретимся. Спасибо за пиво.

— Не стоит благодарности.

Белозубо улыбнувшись Стоупсу, Меулен обратился к бармену:

— Если меня будут спрашивать, скажите, что я в Стинхаузе.

Он направился к толпе болельщиков, поединок все еще продолжался. Стоупс заметил, что мужчины расступаются перед красавчиком, улыбаются, кивают, пожимают руку своему кандидату.

— Мистеру Меулену принадлежит одна из овцеводческих ферм в округе,— заговорил Кронер.— Вернее, владелец — его дед, а Ханнес ведет дела. Старику это уже не под силу.— Он ткнул пальцем в сторону фотографии с ветеранами англо-бурской войны.— Вот тут старый Джоханнес Меулен. Он ушел из дому подростком, вступил в отряд конницы де ля Рея. Когда вернулся с войны, англичане едва не расстреляли его за измену, но потом отпустили, оставили в покое.

Эдгар Стоупс уставился на фотографию, но не мог, как ни старался, разглядеть лица на мутном снимке. Видны были лишь бороды, патронташи и ружья системы «маузер». Он отыскал глазами Ханнеса Меулена, который перешучивался с болельщиками, и подумал: «Напыщенный, самовлюбленный осел. «Англичане и буры, соединяйтесь!» — а сам по-английски и слова не сказал. Ему небось это кажется унизительным». Стоупс решил, что его первое впечатление о Меулене было ошибочным.

— Да уж, правильный человек,— положив толстые веснушчатые руки на прилавок, говорил Кронер.— Во всей округе лучше депутата не сыщешь. Искренне печется о нас. Несколько лет назад у него приключилась неприятность с черномазым, и Меулен был условно осужден, но дело не стоило выеденного яйца, сейчас его никто и не вспоминает. Парень что надо, это я вам говорю, далеко пойдет!

Снаружи день догорал, и бар погружался в полумрак. Стоупс подумал, что настало время отведать наперченных котлет госпожи Кронер. Он допил свой стакан, помахал бармену рукой и пошел к стеклянным дверям. Позади него раздались крики, улюлюканье, хохот — поединок завершился,— но он даже не обернулся, чтобы узнать, кто же победил.

Вокруг шахтных терриконов испокон веку валялись груды ржавых обломков, темные скелеты отработавших свое подъемников. Отсюда начинались захламленные улицы, застроенные одноэтажными домишками и грязными гостиницами с железными балкончиками. После нашумевшей стачки жившие здесь белые шахтеры почти все уехали, но ее отец остался, словно было бы предательством бросить крошечную лавку, загроможденную батареями банок с джемом и бутылей с подсолнечным маслом, пирамидами зловонных кусков хозяйственного мыла.

Память о том, как правительство при помощи артиллерии одолело бунтовавших горняков, вооруженных допотопными обрезами и динамитными шашками, сохранилась лишь в учебниках истории, а лавка все стояла. Отец иногда показывал дочери отверстия от пуль в наружной стене с таким видом, словно принимал участие в перестрелке. На самом деле он запер тогда лавку и укрылся в своей квартирке наверху. В то время как он отважно поглядывал на улицу сквозь щель в оконном ставне, его супруга в ужасе забилась в платяной шкаф.

Впоследствии он мог с гордостью утверждать, что видел все своими глазами, от начала до конца, более того, сам принимал во всем участие. Иногда даже хвастался, будто был лично знаком с Таффи Лонгом,— заведомая ложь! В действительности же дело обстояло иначе. Незадолго до бурных событий он приобрел лавчонку со всеми припасами и потрохами у наследников ее бывшего хозяина-сирийца. Ему было начхать на забастовщиков, бросивших вызов правительству. Он решил, что ему здесь ничто не угрожает и незачем отсюда уезжать.

Белые постепенно оставили этот район, поселившись в других частях города, но Барендс точно прирос к лавке, хотя сюда переехали кули — цветные и китайцы, и он оказался в их плотном кольце. Но ведь им тоже надо есть, не так ли? Он бойко торговал сгущенным молоком, пряностями, сеточками для волос и прочей мелочью.

И все же здесь стало не так, как было прежде. С нынешними клиентами душу не отведешь. О чем говорить с этими косоглазыми? Потом от какой-то желудочной хвори умерла его жена, и Барендсу все опостылело, он забросил лавчонку. Товары на полках покрывались пылью, дела шли все хуже — кули пооткрывали собственные лавки. Стройные ряды консервных банок и бутылок исчезли под обрывками бумаги, пустыми картонными ящиками, наваленными до потолка; на полках сыр лежал вперемежку с мылом, табак — с коробками сардин. Лавка напоминала укрепления, зарастающие травой в мирное время. Квартирка наверху пришла в запустение, на замызганном буфете выстроилась батарея пустых бутылок из-под шерри.

— Тебе надо взять себя в руки,— увещевал Барендса приезжавший погостить брат. Сам он работал на железной дороге. Начинал стрелочником. Потом правительство решило постепенно заменить всех черных служащих белыми или, как тогда говорили, «цивилизованными кадрами». Так он стал бригадиром, а со временем вырос до десятника.— Годы идут, дела у всех поправляются, а ты прозябаешь тут, в этой богом забытой дыре. Посмотри на чумазых кули и негров — даже они тебя обскакали.

— Как-никак, а лавка-то еще моя. Значит, я сохранил свой бизнес.

— Да твой бизнес гроша ломаного не стоит. Знаешь что, старина, тебе просто необходимо жениться. Бог свидетель, в этом твое спасение.

Брат и познакомил его с Элизабет Грей. Втроем они провели несколько вечеров в холле гостиницы за праздной болтовней. У нее были вставные челюсти, и она громко клацала ими при разговоре. Ее муж помер от чахотки; она, как и Барендс, страдала от одиночества,

но по-своему. Грандиозная дамочка, с рыжими волосами и лицом, похожим на меловую гору. Хлебом ее не корми — дай покомандовать, навести порядок. Баренде не успел оглянуться, как оказался у нее под каблуком, она проглотила его вместе с лавкой.

Под ее неусыпным оком бизнес пошел на поправку. Она быстро прибрала все к рукам, навела образцовый порядок, и лавка стала снова процветать, невзирая на конкурентов. Она рассталась с большинством бакалейных товаров — их ведь можно купить где угодно; освободившееся место заняли бутылки с прохладительными напитками, стопки свежих газет, в том числе специально издававшихся для цветных; журналы мод, комиксы, развлекательные книжонки, киножурналы. Кроме того, всякая всячина, необходимая в хозяйстве: ножи, чайные ложки, наборы гребней и расчесок, пробочники — индийские лавки таких товаров не держали. Наняли нескольких туземцев прибирать в лавке, разносить покупки. Раз в неделю приходила черная толстуха прачка. Со всем остальным бывшая вдова, а ныне миссис Баренде управлялась сама. Она заказывала товар, оформляла витрину, сидела за кассой, вела учет. Ее супруг, оттесненный на задний план, проводил все больше времени наверху. Он стал похож на тень, привидение в замке; жалкий, замкнувшийся в себе человечек, скорее незваный гость, чем хозяин.

Каково же было его изумление, когда супруга вдруг подарила ему дочь! Не меньшим сюрпризом явилась эта новость и для знакомых, с которыми поддерживала отношения миссис Баренде. Все было обставлено ею таким образом, словно речь шла о доставке партии телятины.

— Назовем ее Мейзи,— не терпящим возражений тоном объявила она мужу, лежа на больничной койке.— Мне нравится это имя.

Баренде был другого мнения, но спорить не стал. Он робко сидел на краешке кровати, смущенно держа на коленях пакет с бананами и коробку печенья «ассорти». Ребенок на старости лет! Его появление на свет пугало Баренде. Лиззи, можно сказать, тоже уже не девушка, хотя фигура ее хорошо сохранилась, держится прямо как амазонка.

Когда кончилась война, город снова захлестнула стачка. Теперь бастовали уже черные углекопы. Баренде жадно читал газетные отчеты, вспоминая былые времена. На сей раз все пошло иначе. Солдаты выступили против забастовщиков с примкнутыми штыками, у черных же не было ни ружей, ни динамита. Их нетрудно было сломить, и полиция арестовала зачинщиков-коммунистов.

— Мне нет дела до политики,— заявила миссис Баренде.— Пусть правительство разбирается с кафрами. Для нас важнее всего наш бизнес.

Ребенка держали наверху, в комнатах, обставленных по последней моде. Старинный буфет и платяной шкаф, в котором пряталась покойная миссис Баренде, новая хозяйка выбросила. Соседские дети — не компания для нашей дочери! Когда настало время учить Мейзи, мамаша определила ее в отдаленную школу «только для белых», отец каждый день провожал и встречал дочь, они ездили в сегрегированных трамваях. После уроков девочка сидела с матерью в лавке. Отец охотно показывал ей пулевые пробоины в стене. То и дело позвякивал кассовый аппарат, мать отпускала товары черным покупателям. Девочка накачивалась лимонадом, листала комиксы, журналы мод, альбомы с фотографиями кинозвезд. Среднюю школу она не кончила, одолела только начальную ступень. Потом ученье ей наскучило, она забросила учебники и провалилась на экзаменах.

— Будет помогать мне в лавке,— решила миссис Баренде.— Не такая уж премудрость подсчитать сдачу, хотя арифметика и не ее конек.

Мейзи поначалу новое занятие нравилось. Отпустив покупателя, можно было читать про кинозвезд, разглядывать последние модели платьев для девочек. Но и это ей вскоре приелось. К счастью, по субботам лавку закрывали к обеду, и Мейзи отправлялась в киношку «только для европейцев». Она знала назубок всю подноготную кинозвезд, особенно мужчин; делала прическу, как у самых знаменитых актрис. Одну неделю она была Элис Фэй или Джун Оллисон, следующую — Гриир Гарсон, Элис Смит или Ланой Тернер.

Наверху, в тесной, заставленной мебелью комнатенке, она раздевалась донага и часами вертелась перед зеркалом. «Господи, неужто это я!» Упругий бюст был предметом ее особой гордости. «Я, пожалуй, смахиваю на Ронду Флеминг»,— решила Мейзи.

За занавесками из вощеного ситца виднелись трущобы, крытые ржавым гофрированным железом, простиравшиеся до самого горизонта, до прямоугольных коробок небоскребов, воздвигнутых в центре города. В отдалении громыхали сегрегированные трамваи.

— Господи,— все чаще бранилась мать.— У тебя все мысли о кино да чертовых актрисках. Приглядывала бы за лавкой, это же в твоих интересах. Когда нас с отцом не будет, она ведь тебе достанется.

— Большая радость,— позволяла себе огрызаться Мейзи,— всю жизнь прислуживать черномазым!

Она грезила яркими огнями и неоновой рекламой центральных улиц.

— Ты такая же неблагодарная, как твой отец.

За окнами лавки шныряли цветные и черные, в воздухе вечно носился запах восточных пряностей.

Со временем у нее стали появляться ухажеры, киношные знакомства. Поцелуи в затемненном зале. Все зависело от того, на кого из киногероев смахивал очередной парень. Сначала она втрескалась в «Тони Кэртиса», но потом каждый второй мальчишка завел себе такую стрижку. Другой был вылитый Алан Лэдд, третий — точь-в-точь Оди Мэрфи.

По субботам ей, как правило, удавалось стянуть фунт-другой из кассы; после дневного сеанса можно было зайти в молочный бар или сосисочную, украдкой выкурить сигаретку и даже пропустить джина с лимоном. Мятная жевательная резинка отбивала запах спиртного. Мейзи стала возвращаться домой все позже, к вящему неудовольствию матери.

Однажды она лихо прокатилась в автомобиле с компанией подростков. Сплетенные ноги, ищущие руки, игривый хохоток. Мальчишки с длинными напомаженными волосами припасли вина. Запахло весельем, самодельными сигаретами. Мейзи помнила, что они доехали до Зоологического озера уже в темноте, помнила смех, визг и кутерьму; потом она захмелела, вела себя чересчур фривольно. Ее парень был копия Роберта Митчема.

— Эй, не очень-то!..

Ее высадили недалеко от дома. Прежде чем войти, она кое-как привела в порядок смятое платье. Запершись в своей комнатке, она подошла к зеркалу, стала разглядывать себя со смутным беспокойством. Вроде ничего не заметно. Слава богу, ничего и не было. Она дала себе слово — таким прогулкам конец!

— Придется взять тебя в ежовые рукавицы, юная леди! — не раз и не два грозилась тучнеющая, вечно хмурая миссис Барендс, щелкая вставными челюстями.— Изволь прямо из кино возвращаться домой. Дождешься — подкараулят тебя кафры! Если у тебя завелся парень, приведи его сюда, покажи матери. Так поступают приличные девушки. Нечего нас бояться, мы его не съедим.— Она говорила о себе «мы», на королевский манер, вовсе не имея в виду безгласного старика, который слонялся по дому, словно призрак.

Господи, кого сюда приведешь! Ведь они живут на самом краю гетто для черномазых. Днем белые забулдыги распивают вино в переулках прямо из горлышка, индианки в сари трещат с соседками на тротуарах. Она никому не разрешала себя провожать, бежала одна несколько кварталов от трамвайной остановки до дома, чтобы не дай бог кавалеры не узнали ее адрес.

А потом на сцене появился Эдгар Стоупс. Их прежний поставщик ввалился к ним как-то к вечеру в лавку и весело затараторил:

— Добрый день, леди, познакомьтесь с моим коллегой, теперь он будет обслуживать ваш район. Зовут его Эдгар, Эдгар Стоупс. Уверен, вы будете им довольны так же, как были довольны мной.

Малость смахивает на Вана Джонсона, решила Мейзи Баренде, разглядывая нового коммивояжера поверх раскрытого журнала. Или нет, скорее на Брайана Донлеви, а впрочем, и на того, и на другого. Она подошла поздороваться. Стоупс пожал руку матери и дочке, расточая лучезарные улыбки: пусть клиенты видят, что он всегда в прекрасном настроении! А эта куколка хоть куда, блондинка, бюст, словом, все на месте! Отец семейства к гостям не вышел, сидел наверху и слушал репортаж о регби.

Стоупс стал регулярно наведываться к ним. Раз в месяц миссис Баренде делала ему заказы, пополняя запасы товаров в лавке.

— Славный у вас бизнес, леди,— улыбался он, смачивая во рту кончик химического карандаша.— Что еще человеку надо! Деньги в кассе, значит, и в банке — счет. Сразу видно, хозяева вы крепкие, с головой! — Он постучал по своей каштановой шевелюре.— Мой девиз: «Верим мы только богу, с остальных берем наличными!..»

— У этого молодого человека есть хватка,— высказала свое суждение Элизабет Баренде.— Я ее выше всего ценю в мужчинах. Он далеко пойдет, вот увидишь! Не то что твой папаша.

— Пойдет — из одной лавки в другую! — съязвила Мейзи.

— Ты не разбираешься в людях,— заклацала вставными челюстями мать.— Точь-в-точь как отец. Вспомнить страшно, что здесь творилось до меня,— ну прямо индийская забегаловка. Помяни мое слово — Стоупс не век будет собирать по лавкам заказы. Быть ему управляющим или директором.

Пышные формы Мейзи произвели должное впечатление, и однажды Эдгар Стоупс пригласил все семейство провести вечер в холле одной центральной гостиницы.

— Черт побери,— с напускной веселостью начал он.— Нельзя же в лавке век вековать. Работа, работа, а развлекаться когда? — Стоупс делал вклад, как бы помещал капитал под будущие проценты: Мейзи достаточно смазлива, но ведь надо задобрить и толстуху, и старого монстра.

— Пожалуй, быть по-вашему,— заклацала миссис Баренде, звук этот всегда возникал, когда она была взволнована или же источала редкие улыбки.— Можно и отдохнуть вечерок. Но вы, конечно, понимаете, наша девочка совсем не приучена к спиртному.

— Ничего,— засмеялся Стоупс,— в крайнем случае отнесем ее домой.

В переполненном шумном зале с лампами в синих абажурах им был оставлен столик. Известковое лицо мамаши зловеще голубело в полумраке. Она чопорно цедила имбирную шипучку. Отец семейства отрешенно горбился над стаканом пива, и Эдгар испытал жалость к несчастному старику. Сам он пил виски, прижимаясь коленом к колену Мейзи; та лукаво улыбалась ему, потягивая шенди, заказанное с соизволения старой фурии. Родителям было, конечно, невдомек, что дочь предпочла бы джин с лимоном. Прямо куколка, думал Стоупс, только вот глаза странные, точно зеленые камушки. Улучив момент, он поймал под столом ее ладонь, делая при этом вид, что внимательно слушает мамашины благоглупости.

Несколько дней спустя, застав Мейзи одну в лавке, он сказал ей серьезным тоном:

— Послушай, такой красотке, как ты, не место в этой дыре. Что за жизнь — торчать целый день за прилавком. Тебе надо удрать отсюда, повидать мир. Понятно, не одной.

— О, мир повидать,— ответила она с ехидством, холодно посверкивая зелеными глазами.— Думаешь, я нигде, кроме этой лавки, не бывала? Да у меня полно знакомых парней!

— Не сомневаюсь,— засмеялся он.— Хочешь, я попрошу старуху, чтобы она отпустила нас вдвоем в субботний вечерок? Хочешь?

— Куда пойдем? В киношку, кафе, бар?

— Бар! — воскликнул он с беззлобным сарказмом.— Эка невидаль! Можно махнуть на танцы в Загородный клуб. Роскошное местечко, прямо создано для тебя,— он подмигнул ей,— ну, что ты на это скажешь?

— Загородный клуб? Ты что же, состоишь в нем?

— Спрашиваешь! Стал бы я тебя иначе звать!

— Ладно, я подумаю. Вот заказы — мать оставила, ей надо было уйти, родню проведать.

Стоупс все не уходил, глазел на ее волосы. В тот раз они были модного пепельного цвета.

— Я не возражаю,— сказала миссис Баренде, оскалив зубы, похожие на миниатюрные надгробия.— Полагаю, вам можно доверить нашу девочку.

— Еще бы, вы же меня знаете,— хихикнул Стоупс, в очередной раз записывая ее заказы в свой блокнот.— Мне доставит несравненное наслаждение сопровождать очаровательную мисс Баренде.— Он украдкой бросил взгляд на манящий бюст девушки.— Ну а как ваш бизнес, дела идут?

— Ничего, ничего, грех жаловаться.

— Ну и прекрасно. Вы продаете людям то, в чем они испытывают потребность, и они довольны. Это главное. Только не давайте клиентам чрезмерных поблажек. Вы не можете себе этого позволить. Не советую, например, отпускать товары в кредит.— Он захлопнул блокнот, надел на обложку аптечную резинку.— Люди не ценят доброго отношения. Посмотрите на этих — извините за выражение — безмозглых туземцев. Они отказываются ездить в городском транспорте. Им, видите ли, не нравятся автобусы «только для черных», они их бойкотируют, и цена билетов их не устраивает! А мы платим за проезд и не жалуемся. Ну и чего же они добились? Ходят пешком и натирают себе мозоли.

— Но они вроде бы бедные,— сказала Мейзи, отрываясь от иллюстрированного журнала.— А цены за проезд подскочили, я в газетах читала.

— Бедные? — пожал плечами Стоупс.— А кто им велит быть бедными? Вот вы — бедные или я — бедный? Нет, потому что мы обладаем инициативой, у нас котелок варит. «Всегда и во всем стремись быть первым!» — вот мой девиз. Если бы не мы, эта страна никогда не стала бы цивилизованной. Кому охота натирать мозоли? — Он игриво потрепал Мейзи по руке.— Тебе, девочка, это во всяком случае не грозит, поскольку у меня есть машина...

— Он производит самое благоприятное впечатление,— рассуждала вслух миссис Баренде, расставляя коробки с жевательной резинкой «Ригли».— У него блестящие перспективы. Подумать только, такой молодой, а думает о будущем. В тот вечер, когда мы ходили в гостиницу, он рассказал мне, что оформил пожизненную страховку. Умница, не хочет, чтобы его вдова на старости лет осталась без куска хлеба.

— Господи, что мне надеть? — простонала Мейзи.— Плевать мне

на страховку, у меня нет приличного платья, а ведь он ведет меня в Загородный клуб!

— Так и быть, в субботу с утра поедем в центр, что-нибудь присмотрим. Надеюсь, отец управится в лавке один. Правда, он стал совсем рассеянным, а этот чертов негритос Исмаил ворует конфеты... Надо же, если он умрет естественной смертью или, не дай бог, погибнет в аварии, его вдова будет обеспечена. А в фирме у них свой пенсионный фонд... Платье тебе подберем, по такому случаю можно и в дорогой магазин сходить...

Когда Эдгар Стоупс подкатил к лавке на своем «шевроле», Мейзи уже ждала его, разодетая в пух и прах. Губы в оранжевой помаде призывно улыбались; правда, цвет помады не очень гармонировал с отбеленными, тщательно уложенными волосами. Зато платье в обтяжку, подчеркивает юную крутизну бедер, на груди — низкий вырез. Как эта ведьма мать только разрешила? Стоупс остался доволен туалетом Мейзи. «Готов поспорить,— сказал он себе, распаляя воображение,— она еще девственница!»

Они миновали трущобный район и оказались в запруженных машинами городских каньонах, среди гигантских каменных махин: учреждения, отели, жилые дома, расцвеченные скачущим неоном. На тротуарах толпы людей, разодетая публика у театральных подъездов. Мейзи пожирала глазами «настоящую жизнь».

— Скоро поменяю свою телегу,— говорил тем временем Эдгар,— фирма дает мне дотацию.

В раскрытом перчаточном ящичке лежал блокнот для заказов.

Загородный клуб был расположен на окраине, среди зеленых лужаек и деревьев. На стоянке для машин — гирлянды разноцветных лампочек. Из здания доносилась музыка, оркестр играл самбу. В вестибюле Стоупс подвел ее к дамской комнате — пусть зайдет поправить прическу, а он тем временем договорится о столике. Ему надо было ее спровадить, чтобы она не видела, как он покупает билеты,— он ведь бахвалился и вовсе не был членом клуба. Потом они прошли в танцевальный зал, снова разноцветные гирлянды, китайские фонарики. На эстраде — музыканты в костюмах, усеянных блестками, за стеклянной дверью — веранда. Индус-официант в красном смокинге и белых перчатках проводил их к столику у стены.

— Нравится тебе здесь? — спросил Стоупс, заказав ей джин с лимоном, а себе бренди.

— Мм, еще бы! Никогда не бывала в таком местечке.— А про себя подумала: «В кино показывают ночные клубы и пошикарнее. Взять хотя бы тот фильм, с Ритой Хейворт и Джин Килли...»

— Что за жизнь у тебя, дорогуша,— начал он, когда принесли спиртное,— целый день в лавке и видишь-то одних черномазых. Ты стоишь большего.

— В самом деле?

— Истинная правда! Надо позаботиться о будущем. Ну, как тебе джин с лимоном?

— То, что надо, спасибо! — Она повела обнаженными плечами.— Разве это от меня зависит, видно, уж так на роду написано.

Он заказал еще выпивки.

— Вот-вот, я так и думал. У тебя в корне неверный подход. Торопись урвать от жизни кусок пожирнее, каждый за себя, к черту сомнения!

— А ты — парень не промах,— в ее зеленых глазах сквозила насмешка.

Он хихикнул и лукаво подмигнул в ответ:

— Хочешь, потанцуем?

Встав из-за столика, они протиснулись на середину зала, оказавшись в плотном кольце танцующих пар.

— Значит, я, бедняжка, стою большего? — переспросила она, припав к его плечу. От джина ей сразу сделалось весело.

— Я хотел сказать одно: тебе надо чаще бывать на людях.

— И это все?

Он провел ладонью по ее спине, теснее прижался к ней.

— Гадкий шалунишка,— она притворно надула губки.— Знаю я, что ты имел в виду под жирным кусочком.

Они вернулись за столик и допили спиртное.

— Здесь чересчур шумно,— сказал он.— Пойдем на воздух, я покажу тебе парк.

— Зачем? Чего я там не видела?

— Пойдем, я так хочу.

Она покорно поплелась за ним мимо веселящихся за соседними столиками компаний к стеклянной двери.

На веранде было еще больше цветных огней, чем в зале, словно забыли снять рождественские украшения; кричащая, безвкусная мишура. Они спустились к теннисным кортам; среди зеленых лужаек с ветвистыми деревьями находились бассейн и площадка для гольфа.

— Пройдемся,— вкрадчиво сказал он, обвив рукой ее талию.

— Куда еще? Мы уже все видели.

— Просто так, прошвырнемся. Разве обязательно на что-то глазеть?

Она улыбнулась накрашенным ртом, равнодушно поглядывая зелеными глазами.

— Ох и проказник! Думаешь, накачал девочку джином с лимоном? Нет, меня не проведешь, приятель!

— К черту, Мейзи,— он даже покраснел от злости.— Могла бы смекнуть, что я не из таковских.

— Откуда мне знать? Можно сказать, первое свидание, ты многого от меня хочешь. Лучше дай-ка Мейзи сигаретку.— Оранжевые губы улыбались с лукавой надменностью.

— Я ведь в тебя втрескался,— осклабился он.— Как увидел в первый раз, сразу подумал: эта девочка по мне!

— Ах, мистер Стоупс, все мужчины говорят одно и то же.

— Нет, правда, Мейзи, поверь...

Оркестр в танцевальном зале наяривал твист. Она уставилась в темноту изумрудными глазами. Площадка для гольфа, теннисные корты, силуэты деревьев, точно притаившиеся драконы, напомнили ей Зоологическое озеро, ту возню в машине, первый грубый, безрадостный опыт...

— Если тебе здесь надоело,— неуверенно предложил он,— поедем ко мне, выпьем чего-нибудь.

Все точь-в-точь как в старых фильмах. Она представила себе огромный многоквартирный дом, холостяцкую квартиру, мебель «модерн». Только Эдгар Стоупс вовсе не Кэри Грант, а задрипанный приказчик, жалкий коммивояжер, хотя вроде и с будущим. А, все лучше, чем возвращаться домой к этой старой калоше с клацающими зубами, как у динозавра из фильма ужасов...

Его конура оказалась на задах чьего-то бунгало. Они прошли к ней по выложенной плитами дорожке через поросшую жесткой травой узкую лужайку. Он жил в пристройке, явно предназначавшейся для слуг. Комнатушка доверху забита всякой дребеденью, на которую так падки холостяки: непременный бар на колесиках, кофейный столик с испорченной окурками полировкой; на стене эстамп, скорее всего доставшийся Стоупсу от предыдущего жильца. Не сам же он купил эту картину — фургон, запряженный волами, катит по вельду. В нише стояла смятая незаправленная кровать, на ней груда несвежих рубашек и грязных носков.

Он выставил заранее приготовленный джин с лимоном, и вскоре она уже была в его объятьях.

— Только не обмани меня, ладно? — услышала она собственный голос, звучавший как бы издалека, точно чужой.

У него же осталось свербящее ощущение, будто не он одержал над ней победу, а скорее наоборот.

Миссис Баренде не возражала против их регулярных встреч. Мейзи давно пора обзавестись постоянным дружком — пусть развлекает ее, лишь бы отвечал за свои поступки. У Стоупса есть цель в жизни и сила воли, он далеко пойдет: сначала коммивояжер, потом районный представитель фирмы, а там и управляющий. В один прекрасный день он, глядишь, и директором станет, почему бы нет? Эдгара же распирало самодовольство: с этой куколкой нигде не стыдно появиться, правда, голова у нее набита ерундой, роскошь ей подавай, всякие там фейерверки. Зато темперамент зверский, ее порывистость подчас даже казалась ему чрезмерной. Ну ничего, лишь бы клиент был доволен!..

И вот достукался! Она сидит рядом с ним в машине, на переднем сиденье. Убогая, неосвещенная улочка, лавка давно заперта.

— Я наверняка попалась,— объявляет Мейзи,— что скажешь, как ты собираешься поступить?

«Господи, господи»,— про себя взмолился он, а вслух сказал:

— Как же так, ведь мы предохранялись?

— Ну и что? — перебила она.— Нельзя же вечно об этом думать.

— Что ты предлагаешь? — простонал он.

— Интересно! А сам не догадываешься? Представляешь, что устроит старуха, если пронюхает? Ты ее плохо знаешь — она может пожаловаться твоему боссу.

— О дьявол!

— Ты что, не рад? Я думала, у нас это всерьез, всякие там планы строили. В конце концов какая разница — сейчас или потом? Короче, нам надо поторопиться со свадьбой.

— Ну и дела,— промямлил он.— Боже праведный!

Она улыбнулась — в тот вечер помада была не очень ядовитой, но в глазах все те же зеленые льдинки — и передразнила его:

— «Торопись урвать от жизни кусок пожирнее, каждый за себя!» Выходит, я — твой жирный кусок? «Что за жизнь у тебя, дорогуша, целый день в лавке и видишь-то одних черномазых!» — говорила она дерзко, вызывающе.— Думаешь, мне охота гробить здесь молодость? И я тоже хочу чего-то добиться. Я не сомневалась, что мы поженимся, а раз так — не беда, если у нас будет ребенок. Я давно мечтала о парне вроде тебя, чтобы увез меня из этой гнусной лавки, от моей старой коровы и высохшего сморчка. А ты хочешь смыться и бросить меня!..

Миссис Баренде недоумевала, почему они так торопятся со свадьбой. Первая мысль, конечно, была, что Мейзи в интересном положении, но дочь отчитала ее за подозрительность и объяснила, что дело вовсе не в этом. Просто Эдгар со дня на день ждет повышения по службе, перевода в другой город. Вот они и решили оформить брак. Эдгар говорил то же самое. Надо, мол, смотреть в будущее, под лежачий камень вода не течет, они хотят идти по жизни вместе, рука об руку, ну и так далее.

Матери ничего не оставалось, как признать их правоту. Разумный подход, ничего не скажешь! И все же им не удалось до конца развеять ее сомнений. Оказалось, однако, что они беспочвенны. Прошло несколько месяцев после свадьбы, а у Мейзи — никаких признаков беременности.

— Не пори вы такую горячку, мы бы устроили все как подобает, поместили бы ваше фото в «Вименз мейл»,— ворчала старуха и почему-то при этом даже не клацала зубами.

Некоторое время спустя Стоупса действительно перевели в другой город, правда, без всякого повышения. Внешне они с Мейзи как

будто ладили, супружеская пара — не хуже других, но вся эта история произошла помимо его воли, опрокинула все планы...

Они достигли места, где сухое русло делало излучину. Показались первые хижины. Деревья, росшие здесь, еще не потеряли листву, горбатые, причудливые кроны выделялись на фоне муарового, сумеречного неба. Дома стояли под деревьями, прячась днем в их тени. Некоторые постройки были круглые, с соломенной кровлей, но преобладали дома прямоугольной формы; их ставили по мере того, как приходили в ветхость стародавние хижины с каркасом из ветвей и глинобитными стенами, расписанными узорами еще по сырой глине. Вокруг них виднелись грядки с чахлыми побегами, загородки кое-где обвалились, точно мор перекинулся с растений на бурую глину. В жалких пустых двориках от сложенных из камней очагов поднимался дым. Оставив детей приглядывать за огнем, взрослые потянулись на лужайку перед домом Хлангени.

Вдоль дорожек, точно туман, повисла пыль, оседая на цветастые платья старух, припорашивая шкуры собак, подрагивающих в тени, ложась — слой за слоем — на ржавые крыши. На краю деревни стайка детей с ведрами, кастрюлями и жестянками ждала под деревом телегу, на которой возили воду в бочках с железнодорожной станции.

Тот, кого звали Шиллинг Мурилe, заметил, как много домов построили в его отсутствие; многое из того, что он помнил, исчезло. Кое-кто вместо уличных очагов готовит теперь на плитах, во дворах видны кухонные столы, городская утварь. Восемь лет — немалый срок, сказал он себе. Но ненависть осталась, как ссадины на коленях, как мозоли на загрубелых пятках от многолетнего хождения босиком по шершавой земле. Это его ненависть, чувство сугубо личное, отъединявшее его от земляков, у него с ними нет теперь ничего общего. И он зашагал в обход, словно опасаясь — а ну как встреча с кем-то из бывших знакомцев притупит горечь его ненависти.

Пастух семенил за ним в сгущавшихся сумерках, край рваного одеяла хлопал его по ногам.

— Индаба может затянуться,— бормотал он,— речь вождя, наверно, будет долгой, так что надо набить трубку доверху. Табачок, он и мысль прочищает, и слух.

Мадонеле боялся отстать и лишиться доброго курева. Денег ни гроша, а лавочник дает в кредит только тем, у кого родня в городе на заработках. Слов нет, парень этот со странностями, да и немудрено свихнуться за столько лет неволи. Бывало, братья Мурилe своими проделками потешали соседей. А теперь он вроде чужак, от прошлого осталась одна тень.

— Будет тебе, старый, табак,— ответил Мурилe сухо, но без злобы, и пастух обрадовался.

Они шли в сторону лужайки, где была назначена сходка. Вдруг молодой человек остановился, прислушиваясь к детским голосам. За покосившимся забором ребятишки сгрудились вокруг очага. И у Шиллинга Мурилe в памяти всплыло прошлое: девичий смех, туго заплетенная косичка, застиранное платьишко, коленки, серые от остывшей золы; протертые до дыр шорты цвета хаки; детские прибаутки и загадки.

«У одной матери детей сто и пятеро. Они бродят по пустыне, мать идет посередине. А как выглянет папаша, прячется семейка наша».

«Ну, это просто! Луна, звезды и солнце».

«А вот отгадай: черный ворон с белой грудью».

«Миссионер!»

«Почему?»

«Они же ходят в черной сутане с белым воротничком. Я этих птиц хорошо знаю».

«Ну а про такую птаху слыхал — сорокопут, «мясник»?»

«Знаю, птица-охотник, она воюет со злыми колдунами и чародеями, истребляет вредных насекомых»...

— Мы так опоздаем, брат,— окликнул его пастух с легким беспокойством в голосе.

— Послушай, старик,— нахмурился молодой,— мне дела нет до вашей индабы и речей Хлангени. Я просто приехал потому, что жил здесь когда-то, дай, думаю, гляну на знакомые места, а там уж пойду дальше.

— Куда же ты путь держишь?— спросил пастух, когда они достигли гребня холма, у подножия которого собирались жители деревни.

— Не знаю,— Шиллинг Мурило пожал плечами, не вынимая рук из брючных карманов.— Мне все равно. Только б покончить сперва со своим делом.

— Что за дело такое?

— Ты, старик, слишком говорлив, точь-в-точь, как ваш вождь.— Он горько ухмыльнулся, скривил губы и снова посерьезнел, стуча по пыльной земле толстыми подошвами ботинок. Старая солдатская куртка плотно облегала его широкие плечи. Он посмотрел вниз, на лужайку.

Люди заполняли пропыленный пустырь перед усадьбой Хлангени. Дом, стоявший на невысоком бугре в тени старых эвкалиптов, возвышался над соседними постройками. Крыльцо, сложенное из камней, покосилось. Когда-то двор был окружен забором, но глина потрескалась, рассыпалась, от забора уцелели лишь жалкие остатки, ворота исчезли. И все же это был дом вождя, и толпа хранила уважительное молчание. Люди расселись прямо на земле. Пришли все больше женщины с малыми детьми да старики. Когда Хлангени появился на крыльце и с ним двое советников, его приветствовал нестройный хор голосов.

Вождь, сухонький старик, несмотря на жару был в темном костюме, сорочке со стоячим воротничком и в смятом галстуке. С годами квадратные прежде плечи его ссутулились, выглядел он жалким. Широкое лицо обмякло, изборожденное, точно оползнями, темными складками. Белая шапка волос — будто заснеженная вершина. Казалось, старик прячется в старом костюме, ищет в нем убежище. Правительственный указ, превративший его в простого старосту, совсем подкосил его. И пусть земляки по-прежнему считали его вождем, предписание белых начальников словно выбило у него почву из-под ног. Он застенчиво переминался, как бы тщась удержать съезжавшую с плеч тогу былого величия, истончившуюся до дыр. Его карие глаза, похожие на пожухлые прошлогодние листья, щурились от солнца. В них тлели сомнение, неуверенность. «Я теперь вождь над женщинами»,— с грустью подумал он. Эта мысль напугала его, он попытался прогнать ее, вспомнив другое, далекое время, юношеские мечты о ратных подвигах.

— Пора,— шепнул один из советников.

Вождь вскинул на него изумленные глаза и спросил:

— Разве не ты начнешь, Кобе?

Тот, кого звали Кобе, потупил взор. По обычаю ему полагалось представить Хлангени, произнести величальные слова в его честь. Так обставлялось всегда публичное появление вождя перед соплеменниками. Кобе — толмач при правителе, его глашатай — не испытывал нынче особой охоты расточать похвалы жалкому, перепуганному старцу. Поэтому он был краток:

— Вот Хлангени, ваш вождь.— Потом добавил: — Мы снова побывали у комиссара, и он подтвердил, что приказ окончательный, нам придется уехать отсюда.

Прошли те времена, думал Хлангени, когда у вождя была власть и сила, когда племя величало его. Мысль эта задела его за живое, и он заговорил так громко, что сам удивился собственному голосу:

— Видите, день кончается, солнце уходит на покой.— Он повел черным рукавом в сторону запада, где за околицей, на горизонте, заходящее светило плавилось в оранжевом, розовом и золотом мареве.— Похож ли один день на другой? Я еще помню, когда вся земля здесь была нашей. Как наши отцы и деды, мы выращивали на ней зерно и пасли овец. Наши предки погребены тут, в этом холме. Здесь танцевали наши парни и девушки. Бывали и добрые и дурные дни, обильные и худородные годы. В хорошие времена смеялись дети, тучнели овцы, зеленела трава, золотились колосья, сверкали бусы и звучали веселые песни. Но и в лихолетье предки не оставляли нас — мы выживали. Плохо ли, хорошо ли жилось нам здесь, в довольстве ли, в голоде — это был наш дом. Здесь мы делили друг с другом и радость, и горе. Увы, злой жребий, выпавший нам нынче, невозможно отвести. Его навлек на нас белый человек со своими законами, ружьями и деньгами. Белый человек твердит, будто закон одинаков для всех, но это его, а не наш закон. Белые отняли у нас наших юношей, заставили их батрачить на себя, а мы глядели на это молча, ибо таков закон белого. Наши поля поросли чертополохом, чахнет наш скот, потому что черные мужчины гнут спину на полях белого, стерегут его стада. У белых несметные урожаи, гладкие коровы. Таков их закон, но не наш.

Теперь же их закон гласит, что наши дома и земля наша больше нам не принадлежат, она понадобилась белым. Их воля — закон для нас, и мы обязаны повиноваться. Когда-то вся эта земля была нашей. Потом пришли белые, они разгромили наших предков, отняли у них землю, оставив нам лишь жалкий ее клочок. На нем жили мы с вами, наши отцы и деды. А теперь они намалевали крест на наших дверях и повелели нам: «Убирайтесь прочь!» Дверь — это вход в жилище человека, в его дом. Разве любовь к своему дому — преступление? Однако таков закон белых, который, по их словам, одинаков для всех. Но нет, это не наш закон!

Мы на горьком своем опыте убедились, что закон их, их ружья, их деньги сеют не братство, а вражду между людьми, разлагают их. Нам остается лишь склонить головы перед ними, встать на колени и кануть в небытие, как канет сейчас во мрак дневное светило.

Голос его дрогнул, и он умолк, стараясь зарыться поглубже в свой видавший виды черный костюм. Гордость, возродившаяся на миг, вновь покидала его. Толпа безмолвствовала, слышалось лишь сухое покашливание, шарканье босых ступней по пыльной земле. Где-то залаяла собака. Постепенно люди пришли в движение, зашевелились, толпа распалась.

— Что за речь! — раздался женский голос.— Такие слова хороши на похоронах. Разве завтра солнце не взойдет снова?

— Женщина! — сурово одернул ее Хлангени, стоя в тени на крыльце.— Опомнись, сестра, кто дал тебе право...

— Право? Ведь мы собрались на сходку, и я буду говорить. Дайте мне слово.

— Пусть говорит! — вступился за нее Кобе, стоявший за спиной Хлангени.— Это же твоя родная сестра, вождь.

— Не пойму, при чем тут солнце! — продолжала женщина, протиснувшись вперед, но не взойдя на крыльцо.— Солнце садится и восходит. Стоит ли нам из-за этого лить слезы? Люди рождаются и умирают, но роду человеческому нет конца.

Сестра Хлангени словно вырастала на глазах толпы, затмевая, отодвигая на задний план своего брата. Дородная, приземистая, будто вытесанная из мореных бревен. Лицо — словно на скорую руку сработано резчиком по дереву: глазные впадины, переносица, ноздри,

скулы, широкий, как на отполированной до блеска маске, рот. На голове пропыленная косынка; просторное, словно шатер, платье перехвачено старым сыромятным ремнем; на ногах стоптанные, потрескавшиеся мужские ботинки.

— Долго ли будем мы все терпеливо сносить? — восклицала она, как лопатой, рубя ладонью воздух.— Мы боимся их, как овцы стригаля, как коровы дояра.

Обращалась она к Хлангени, но слова ее предназначались всем собравшимся, голос разносился над толпой, как барабанный бой.

— Что и говорить, закон белого человека, его ружья, его деньги ожесточили его душу. Жаль, конечно, но он и впрямь променял на них людское братство, он в самом себе убил человека. В себе, но не в нас! Мы-то остались людьми. Законы, ружья и деньги — для него все, он слеп и не видит за ними человека, попирает человеческое достоинство. Слепота вводит его в заблуждение, сбивает с толку. Где ему понять самые простые вещи? И потому терпит он поражение. Знайте же, в нем не осталось ни сердца, ни достоинства, ни чести. Все непонятное пугает, страшит его. Он старается заглушить свой страх громким смехом и издевками. Но это смех побежденного, делающего вид, будто у него все идет как надо. Зло тщится прикрыть смехом свое бессилие, оно бряцает оружием, упивается мнимой своей властью над людьми. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, и зло отступает, ибо ему не дано ничего понять. А значит, мы можем совладать со злом. Человеческая воля и достоинство — вот наше оружие. Людские сердца живут надеждой. Поверьте, еще настанут добрые времена, придут изобильные годы...

Тот, кого звали Шиллинг Мурилe, стоя с пастухом на вершине холма, внимательно следил за происходящим внизу.

— Хоу! — буркнул он.— Я ее помню. Это Ма-Тау, львица, такая же свирепая, как прежде.

— Опасная женщина,— эхом откликнулся Мадонеле.— Я стараюсь держаться от нее подальше.

Пастух, заметив, что его собеседник снова достает из брюк пачку табака, кашлянул и затоптался на месте. Парень, искусно свернув самокрутку, облизнул бумагу и, не сводя глаз с лужайки, передал пакет пастуху.

— Не раз мне от нее доставалось,— сказал он, чиркнув спичкой и закуривая.— Уж она-то своего добьется, одним своим рыком заставит всех повиноваться.

Мадонеле, счастливый, набивал трубку.

— Да, Ма-Тау такая,— заговорил он, пуская клубы дыма.— Она уехала было в город, и у нас наступила тишь и благодать. Жаль, видно, город ее не усмирил, сам небось рад был от нее избавиться...

А внизу, у подножия холма, поросшего неподвижными как изваяние колючками, женщина продолжала свою речь:

— Счастье их призрачно, они живут под охраной своего закона и ружей, смеются невеселым смехом, деланный это смех. Да понимают ли они, что происходит, как непрочно их благоденствие? А суть, она вот в чем: все люди на свете делятся на бедных и богатых. Бедняки своим потом создают все земные богатства; богатым бездельникам все дается даром. Бедные требуют своей законной доли плодов земли, а белые господа отказывают им в этом. Когда же бедняки настаивают на своем, их лишают работы, выселяют из домов. А чуть что — белые господа велят своим послушным солдатам стрелять в бедняков из ружей.

Все, кто способен видеть и слышать, знают, в жизни есть и хорошее, и плохое. Женщины, мужчины, дети, столкнувшись с их законом, натыкаются на их ружья, томятся в их лагерях и тюрьмах и чувствуют, как вскипает гневом кровь в жилах. Это гнев покоренного,

обездоленного народа против кровопийц и поработителей. Гнев — он в крови народной, а в законах и ружьях кровь не течет.

Да, все зло — в законах и ружьях. С их помощью грабят наши дома, пугают до смерти наших детей, бесчестят женщин, оскорбляют стариков, бросают в тюрьмы наших кормильцев и защитников. И теперь вопрос в том, подчинимся ли мы злу или прислушаемся к голосу нашей кипящей крови?

Мой брат Хлангени говорит: повинуйтесь закону, склонитесь перед ружьями, перед силой зла. Но нет, это недостойно человека...

Деревенские жители зароптали, загудели. Над толпой быстро опускались сумерки. Старики поднимались на ноги, отряхивая ладонями пыль с одежды. Оперевшись на корявые посохи, они уставились на женщину. Люди проталкивались вперед, спорили, размахивая руками. Хлангени наблюдал за ними, ощущая горечь измены и поражения. Он знал: люди пойдут за Ма-Тау, а не за ним. Даже его советник Кобе, стоявший сзади, не удержался:

— Хоу! Вот так львица!

— Это неслыханно! — вырвалось у Хлангени.— Женщина позволяет себе такое...

— Но прошлого не вернешь,— возразил старый Кобе.— Так ведь? Былого не воротишь!

— Опомнитесь,— закричал Хлангени с крыльца.— Белый комиссар сказал, что на станцию подадут поезд, который отвезет нас на новое место. А сюда пришлют грузовики — довезти нас до вокзала.

— В грузовиках возят скот,— вырвалось у кого-то.

Ма-Тау обратила свое круглое лицо к Хлангени, во взгляде ее промелькнуло подобие сочувствия.

— Брат мой, мы с тобой родились от одной матери и прожили здесь всю жизнь.— Большие руки ее широким жестом как бы обняли всю деревню, низкорослые чахлые деревья, пропеченные солнцем хижины, подернутые пылью холмы на горизонте.— Ты сам сказал — это наша земля. Разве преступна любовь к собственному дому? Не твои ли это слова? Вспомни, не наши ли предки были вождями до тебя? Не ты ли потомок воинов?

— Времена теперь другие,— воскликнул Хлангени.— Мы у белых в ярме.

— Да, времена другие,— согласно кивнула женщина.— Но в твоих словах есть иной смысл, о котором ты не догадываешься. Скажу без обиняков — я с этой земли никуда не уйду и не уеду. Вот как я понимаю другие времена!

— Никто тебя не поддержит, ты останешься здесь одна!

— Нет, брат, одни последуют твоим советам, но найдутся люди, которые пойдут за мной. Вот до чего дошло.

— Ты всегда была упрямой, противилась обычаям и традициям. Я запрещу людям слушать тебя!

— Брат, люди слушают не меня, они прислушиваются к голосу крови в своих жилах. Ты вождь и должен вести нас не назад, а вперед. Да, двинувшись вперед, мы можем погибнуть, но ту же участь мы уготовим себе при отступлении. Так лучше уж умереть наступая.

— Ты подрываешь уважение ко мне.

— Брат, вождем не становятся лишь по наследству, в силу обычая. Уважение надо заслужить. Докажи нам, что ты вождь и в тебе течет еще кровь наших предков-воинов.

— Одна ты такая безумная, белые сотрут тебя в порошок.

— Ты сам сказал, времена теперь другие. Скоро все это поймут, помоги же людям увидеть правду.

— Слушайте меня, люди,— обратился Хлангени к собравшимся, пропустив мимо ушей призыв сестры,— глупо бросать вызов белому человеку. Завтра мы уходим отсюда, какую бы чушь ни городила эта

женщина, называющая себя моей сестрой. С белыми шутки плохи. Обдумайте мои слова — лучше нам покориться.

Толпа опять забурлила, все говорили разом, перебивая друг друга; пыль, вздымаемая ногами, засверкала в косых лучах заката. И снова над толпой вознесся голос Ма-Тау, заставивший всех умолкнуть и прислушаться...

— Она своего добьется,— сказал Мадонеле попутчику. Табачный дым, приятно щипавший нёбо, привел его в состояние совершенного блаженства.

— Это ее забота,— сухо отозвался тот, кого звали Шиллинг Мурилe, меся пыль толстыми подошвами.— А у меня свое дело.

«Странный парень, но я доволен, что с ним встретился»,— думал пастух, семеня рядом в рваном своем одеяле и невообразимой шляпе, зарываясь сухими узкими ступнями в теплую землю. Они шли в сторону старого кладбища на вершине холма.

...И вот теперь это бунгало из бурого кирпича, крытое гофрированной жестью, с двумя одинаковыми окнами на фасаде, походившем на человеческое лицо, покрасневшее от досады, с надвинутым на глаза железным козырьком. Район, в котором они жили, был, если можно так сказать, средних лет и лежал между бетонными махинами юности и дряхлыми трущобами старости. Улицы по обеим сторонам были обсажены джакарандой, но ярко цветущие ветви не создавали ощущения покоя и уюта, потому что на окнах домов сурово щетинились мрачные железные решетки. Истерические обитательницы их жили как в осажденном лагере, они видели в черных слугах и кухарках лазутчиков надвигающихся орд кровожадных варваров. За нарядными занавесками царило беспокойство; возня мышей в погребе, каждый скрип половицы звучал как тревожный набат. До северной границы было рукой подать, а ведь португальцы в приступе медвежьей болезни пустились оттуда наутек. Страх перед безликой массой туземцев охватил юг континента, свербил, точно зуд в паху.

Мейзи все на свете осточертело. Скуке не было предела, она сводила с ума. Господи, сколько еще лет маяться? Тюремные решетки на окнах, словно пояс целомудрия из старой книжки о менестрелях, игравших на лютнях, и дамах, падавших от их игры в обморок. Был еще старый фильм об этом же с Эррол Флинн и Оливией де Хавиленд. А теперь экран заполонили Клинт Иствуд и Роберт Редфорд, но ее любимец — Стер де Люкс, до чего же он хорош в «Мести мафии»!

Мейзи и соседка, госпожа Мюллер, держали одну черную служанку на два дома. Звали ее Полли, и Мейзи часто срывала на ней свое дурное настроение. Слава богу, старая карга — ее мамаша — теперь далеко, не мешает жить как хочется, думала Мейзи, сидя под полосатым тентом в кафе на открытом воздухе и лениво разглядывая прохожих поверх стульев и пластмассовых столиков. Мать продала лавку, когда новый закон об этнических районах вынудил всех цветных и индийцев покинуть близлежащие кварталы. Там было решено создать промышленную зону. Старуха, конечно, смекнула, что дом лучше загнать в самый последний момент, когда все уедут и одна она будет задерживать строителей. Так что ей отвалили хорошую цену за ее развалюху. «Если этим воротилам нужен мой участок, пусть раскошеливаются!» — рычала миссис Баренде и злобно клацала вставными челюстями. Подлая сучка загребла себе все, до последнего пенни, и теперь жила в безвкусно обставленном приюте для старух, изображая из себя этакую светскую львицу, ушедшую на покой.

«Пусть не рассчитывает на визиты доченьки по воскресеньям! — зареклась про себя Мейзи и отхлебнула молочного коктейля.— Господи, неужто всю жизнь нести мне этот крест — томиться среди бесчувственных, неотесанных болванов?»

Под корсетом ручейками заструился пот. На тротуары и мостовую, на бетон и стекло зданий желтой пылью падал яркий солнечный свет. За спиной Мейзи кто-то включил радио, передавали программу «Анни, где твой револьвер?» — диктор объяснял домашним хозяйкам, как обращаться с оружием. «Кольт «вудсмен» — пистолет калибра два-два,— бубнил диктор,— пожалуй, великоват для дамской сумочки...» Одно время Мейзи посещала стрелковый клуб, занятия вел гнуснейший тип — полицейский инспектор. От него пахло лежалым табаком, на скуле вечно цвел очередной фурункул. Показывая, как целиться из пистолета, он придвигался вплотную, что-то там объяснял про «смит и вессон», а ее всю передергивало от смрадного его дыхания.

«Не дергайте курок, опускайте плавно»,— гундосил он с сильным бурским акцентом. Он был так омерзителен, что она перестала ходить на тренировки. И вообще, она не ковбой, чтобы таскать повсюду кольт, как Джон Уэйн. Все же она купила миниатюрный пистолетик, его можно сунуть в лифчик или за чулочную подвязку. «Никогда не знаешь наперед, что может взбрести в башку какому-нибудь кафру»,— с притворным испугом твердила одна из женщин в тире. А у самой резиновые затычки в ушах — просто умора! «Ты бы небось обрадовалась, старая шлюха, если бы на тебя напали, кому ты нужна»,— подумала тогда Мейзи и все же приобрела себе «беретту», прямо как у Джеймса Бонда. «Ну, если дойдет до худшего, можно и в армию вступить»,— рассуждала она про себя, вертя в руках соломинку.

— Когда наводите оружие, цельтесь не в голову, а в грудь, эта мишень удобнее. Следует привыкнуть к отдаче...— продолжал диктор, но Мейзи не слушала. Ее вниманием целиком завладел мужчина, вошедший в кафе и усаживавшийся за столик. Длинноволосый брюнет, модная прическа, лицо как будто знакомое, где она его видела?

— Дональд, Дональд Харрис! — окликнула она.

Мужчина обернулся, посмотрел на нее с легким недоумением, потом улыбнулся, как на рекламе зубной пасты. Мейзи по привычке начала прикидывать, на кого из звезд экрана он смахивает.

— Мейзи, не может быть, это ты, крошка Мейзи!

Он направился к ней, продираясь сквозь футуристический подлесок из нержавеющей стали и пластмассы. Официант-индиец маячил где-то у стенки, точно в засаде.

— Бог свидетель, это Мейзи из киношки «Плаза»,— выпалил мужчина.— Только вот я не Донни Харрис, а Уолли Бессон.

— Конечно же, Уолли Бессон! Я рада, что ты меня узнал.

— Как же тебя не узнать? — Сверкающие белизной зубы, летний костюм спортивного покроя, ладно сидящий на сухопарой фигуре. Так и есть, Уолли Бессон.

Он подсел к ней, не спрашивая разрешения. Держался игриво, даже развязно, лихой флибустьер из фильма о пиратах. Подлетел официант в перчатках, подал меню и винную карту, словно повестку в суд, но Уолли театральным жестом осадил его — меня, мол, не проведешь!

— Ради бога, никаких молочных смесей, приятель! Принеси-ка нам рому со льдом.

— Ром в такую жару? — взмолилась Мейзи.

— Плевать нам на жару. Я и сам могу поддать такого жáру, что солнце позавидует, ты меня понимаешь?

Рекламная улыбка, глумливый взгляд. Мейзи пошла припудрить нос и щеки. Парень не промах, сразу видно. Она старалась припомнить, каким он был тогда. Господи, неужто это она сиживала с мальчишками на ступеньках кинотеатра, сколько времени прошло!

— А я-то приняла тебя за Дональда Харриса,— сказала она, вернувшись за столик.— Кстати, ты давно его не видел?

— Да пошел он к черту! Ты-то как поживаешь, Мейзи, крошка? Выглядишь, между прочим, отлично.— Его глаза, лучистые, страстные, были похожи на игральные кости, в них сквозила дерзость, бравада, вызов.

— У меня все в порядке. Помнишь, мы всегда держались вместе в «Плазе» — ты, я, Донни, другие ребята. Так что же все-таки с ним?

На противоположной стороне улицы в тени прямо на земле сидела черная женщина с младенцем, привязанным к ее спине шалью. Проезжавшие машины сверкали на солнце, точно усыпанные драгоценными камнями. Мейзи заметила полицейского: белый шлем, бриджи, ботинки, кобура, темные очки. Точно космонавт из фантастического фильма «Пришельцы с Марса», рассеянно подумала Мейзи. Поравнявшись с черномазой, он склонился над ней, ткнул дубинкой — этаким механическим продолжением своей руки. Женщина тяжело поднялась, поправила шаль, удерживающую ребенка, и заковыляла по тротуару среди пешеходов в темных очках и летних рубашках с короткими рукавами. Робот-полисмен зашагал дальше. Все так же искрились на солнце хром и никель автомобилей.

— Чертов дурак, угодил в каталажку,— буркнул Уолли Бессон, протягивая ей пачку сигарет.

— Что-что? Это ты о ком? — переспросила Мейзи, беря предложенную сигарету и любуясь его золотой зажигалкой.

— Да твой Донни Харрис. Сидит в тюряге, бог свидетель.

— Не может быть! Такой приятный, воспитанный мальчик.

— Связался с черномазыми ублюдками. Решил помочь им с профсоюзами, что-то в этом роде. Им, видишь ли, живется несладко. Политика! Я в газетах читал, но подробностей не знаю. Нелегальная организация, коммунистическая деятельность. Словом, схватил десятку или даже двенадцать лет.

— Связался с черными? — повторила она, задохнувшись от отвращения.— Но ведь он же белый, как мы с тобой! — Она вспомнила черную мать с ребенком, которую только что видела.— Что у него общего с ними?

— В чужую душу не влезешь,— пожал плечами Уолли.— Все это попало в газеты.

— Я такие вещи пропускаю, просматриваю лишь страницы для женщин и комиксы в воскресных номерах. Надо же, Донни Харрис, славный Донни сморозил такую глупость!

Подошел официант с их заказом, и незадачливый друг детства был тут же забыт, зачем думать о неприятных вещах! От рома Мейзи быстро захмелела, она хихикала невпопад, зеленые глаза отсвечивали холодом, как фольга.

— Э, да ты хочешь меня напоить!..

Так все и началось. Теперь, когда Эдгар бывал в отъезде, они с Уолли ходили в роскошные кинотеатры, бары, дискотеки; ездили в соседнюю провинцию к морю. «Сулящие прохладу волны, первоклассный отель на самом берегу, золотые пляжи». Мотались через границу в Свазиленд — сыграть в казино. А вот в Мозамбик, как раньше, теперь не съездишь! Уолли устраивал у себя на квартире вечеринки: самая дорогая выпивка, хоть залейся, ну а потом кое-что еще. Все произошло стремительно, прямо-таки молниеносно, но Мейзи было наплевать. Чертов ублюдок Эдгар! Ей так хотелось порвать с прошлым: лавка, родители, отгороженное от мира бунгало с решетками на окнах. Она все средства от скуки перепробовала. Даже бывала на шабашах в покинутых домах-развалюхах. Заправлял ими бывший студент университета. «Сатана на самом деле существует. У меня полно друзей, которые только в него и верят». Но вскоре и это ей опостылело. У студента была необставленная комнатенка, конура с продранным матрасом на полу, усеянном хрустящими крошками жареного

картофеля. «Есть ли загробная жизнь?» — вопрошала воскресная газета. Да кому до этого дело?..

И вот появился Уолли Бессон со своей ослепительной улыбкой — точь-в-точь реклама зубной пасты «Маклин», которую сбывает Эдгар.

— Мейзи, нам надо держаться друг за дружку, и мы далеко пойдем.

— Куда, например? — зеленые глаза буравили его, она подозревала, что Уолли влип в какую-то передрягу.

— Все выше и выше, крошка. Единственное, чего нам не хватает, это небольшого первоначального капитала, ты понимаешь?

— Вот оно что! Значит, ты банкрот?

— С чего ты взяла? Ничего подобного. Просто я маленько продулся в эту новомодную рулетку.

— Нечего было садиться, ведь ты в нее не играл никогда.

— Никаких особых премудростей в ней нет, надо только набить руку.

— Я ничем не могу тебе помочь. Все семейные деньги прикарманила старуха.

— Да я знаю, знаю, крошка.

Ей стало страшно, вдруг он собирается ее бросить! Видно, она ввела его в чрезмерные расходы. Так что никаких теперь казино, скачек, роскошных отелей, где собираются сливки общества; никаких поездок в сверкающем лаком «мстителе». Ее охватила безысходная тоска, прямо-таки отчаяние при мысли о зарешеченном бунгало, чемоданах с образцами товаров, разглагольствованиях Эдгара. «Деловому человеку необходимо расти, каждый за себя!» Он-то не вырос, не преуспел, ничего путного не добился. Да и тебе, Мейзи, кукла чертова, похвастаться нечем! Как ты живешь? На подачки улыбчивого игрока. Хоть бы ее Эдгар, подонок этакий, окочурился, она бы получила четыре тысячи рандов страховки. Это же две тысячи фунтов!

— Надеюсь, все обойдется? — спросила она.

— Конечно, Мейзи, не сомневайся! — бодренько ответил Уолли, ущипнув ее за руку.— Но мы должны работать вместе, сообща.

— Ты же знаешь, Уолли, я с тобой.

— Ну и умница. У меня такие планы — закачаешься! Бог свидетель!

— Планы?

— Только послушай. Мы с тобой любим красивую жизнь. Так или не так? Рестораны, клубы, поездки за границу.

— Естественно.

— Но это стоит денег, верно? Стало быть, надо изобрести какой-то способ прикопить их.

— Пожалуй, так.

— Вот видишь! Мы понимаем друг друга. Ты вообще понятливая девочка, бог свидетель.— Он разгладил складку на газете.— Вот как я себе это мыслю. В тех местах, где мы бываем, полно тугих кошельков, верно? Богатые ублюдки наверняка не прочь еще и дополнительно поразвлечься, и мы можем им это обеспечить.

— Что ты имеешь в виду?

— Взять нас с тобой. Ты такая хорошенькая, можно сказать красотка. А у меня есть эта вот квартира. Предположим, кому-то охота провести тихий вечерок, по-семейному, наедине со славной девочкой. Вот и на здоровье, я мог бы отлучаться...

— Господи!..— ее голос стал ледяным.

— Ну что ты, дорогая,— продолжал он,— ведь это ради нас обоих, верно? И потом, такие солидные, респектабельные придурки, разные бизнесмены, может, даже члены парламента, заезжие толстосумы...

— Неужели ты всерьез?

— Как тебе сказать, не совсем, конечно. Просто идейка, бог сви-

детель. Ты... я хотел сказать — мы, мы с тобой можем ее обмозговать. Беды нет — прикинуть сообща.

Он как ни в чем не бывало развернул газету и углубился в программу скачек, водя по строчкам пальцем с перстнем из оникса. Мейзи бросился в глаза заголовок: «Угроза забастовки».

Она прошла из спальни в гостиную с пушистым ковром на полу. С полосатых обоев улыбалась индийская девочка — портрет работы Тречикова,— ее восточные глаза взирали с легким презрением на буфет, используемый вместо бара, кофейный столик, уставленный липкими стаканами, чулки, похожие на сброшенную змеиную кожу. За стеклянной дверью, ведущей на узкий балкон, над задымленным горизонтом янтарным камнем висело солнце. На севере раскинулись богатые пригороды: низкие и широкие коттеджи, утопающие в зелени лужаек; по ночам разноцветные огни отражались в глади бассейнов.

Она вышла на балкон и глянула вниз с высоты одиннадцатого этажа. Тропическая жара, такое чувство, точно к телу прикоснулись раскаленным железом. Небо дрожало и подергивалось. На крыше соседнего девятиэтажного дома играли дети в шортах, плавках и игрушечных касках, отливавших бронзой. Прячась за будочкой для прислуги, они палили друг в друга из пугачей. Цветным слугам недавно было запрещено проживать на крышах, и поднебесные гетто превратились в площадки для игр. Ватага мальчишек метала «водяные бомбы» на тротуар, прислушиваясь к разрывам бумажных пакетов.

Если бы он сыграл в ящик, она бы отхватила четыре тысячи рандов. Держи карман шире — Эдгар здоров как бык... Тут ее словно осенило: в одном фильме показывали, что компания выплачивает двойную сумму, если застрахованный погибает при несчастном случае. Итак, две тысячи фунтов помножить на два. Господи, с такими деньгами, девочка, ты могла бы ни от кого не зависеть. К черту никчемного пустомелю Эдгара, к черту старую жадину мать. К черту этого подонка Уолли Бессона — у тебя и без него будет красивая жизнь. Независимость! Эдгар вечно твердит, что своя рубашка ближе к телу... Стало быть, несчастный случай. Ее прошиб пот, но она не уходила с балкона. Боже, время идет впустую, пора делать что-то. Внизу, на расстоянии одиннадцати этажей бурлила, шумела улица. Они-то с Эдгаром живут в одноэтажном бунгало. И вообще, что это за жизнь: бурые джакаранды, без умолку болтающие соседки, дети возятся на тротуарах, черные служанки на задних двориках лопают хлеб со сгущенкой. С соседней крыши снова донеслись хлопки игрушечных ружей... А за случайную смерть от огнестрельного оружия тоже дают двойную страховку? Надо все сначала разузнать, внимательно изучить страховой полис.

У нее сохранился пистолетик еще со времен стрелкового клуба. Можно притвориться, что она не знает, как обращаться с ним, попросить Эдгара помочь, и тут, совершенно случайно, пистолет выстрелит. Что-нибудь в этом роде... Нет, нет, прочь дурацкие мысли! Несмотря на жару, ее зазнобило от страха, она с трудом оторвалась от перил, точно примерзла к ним, и пошла в ванную одеваться.

Уолли, голый, липкий от пота, все еще листающий программу скачек, крикнул ей из спальни:

— Что за спешка, куколка? Твой старик приедет только завтра.

— Нам бы следовало сходить в церковь,— она засмеялась надтреснутым смехом, в горле что-то дрожало, точно в лягушачьем зобу.— Вспомни-ка, сегодня молебен.

— К черту, найдем себе занятие повеселее.

— Да я шучу.

Она взглянула в зеркало и, как обычно при этом, задвигала лицевыми мускулами. Стареем. Без косметики вид у нее как у застиранной, полинявшей скатерти. На скулах прорезались складки. Она провела пальцем по подбородку, наткнулась на вмятину. Вот так это начи-

нается. Ямочка превращается во впадину, у рта ложатся морщины и все, ты — старуха. Старость крадется за тобой, как оборотень, точно ненасытный вампир. От жалости к себе на глаза навернулись слезы.

— Включи радио, крошка,— крикнул Уолли. «Наглец, раскомандовался,— подумала она,— точно в армии... Кстати, не записаться ли в добровольцы? Такие времена настали, что и женщин берут. И не надо ни над чем ломать голову, там все решают за тебя».

По радио передавали концерт О'Салливэна. На песню наползла рекламная вставка: «Упругие шины фирмы Келли! Самые прочные и твердые»... Вот и тебе, девочка, надо быть твердой, иначе — крышка.

На улице было темно, редкие электрические фонари не рассеивали тяжелого мрака. В окнах домишек, стоявших по одной стороне, кое-где горел свет, но он не достигал мостовой. Ночь была теплой, из-за домов, с задних двориков доносился хор цикад, в воздухе мерцали светлячки. Когда-то Агтерстраат была главной улицей городка. Было это давно, еще до того, как проложили железную дорогу и построили гостиницу, лавки с пластмассовыми ставнями и уродливыми витринами, коттеджи для семей железнодорожников, комиссариат по делам туземцев, почту, полицейский участок, гараж. Но начиналась застройка именно отсюда, с Агтерстраат.

Шагая в вязкой темноте, Ханнес Меулен подумал, что надо бы заняться городским освещением, поставить этот вопрос в административном совете. Сжимая крепкими зубами мундштук пустой трубки, он направлялся к Стинхаузу, легко ориентируясь во мгле. Негромко поскрипывали по гравию резиновые подошвы туфель для гольфа. Очень уж неприглядна улица без огней. Старики скажут ему спасибо, можно будет без опаски прогуливаться по вечерам. Но общественные заботы могут подождать. Сейчас его переполняло предвкушение встречи с Риной. Даже уезжая ненадолго, он болезненно переживал разлуку. Ханнес не мог дождаться дня, когда они наконец поженятся. Решено — они сыграют свадьбу еще до выборов: член парламента должен быть женат.

Они знали друг друга с детства, вместе росли и разлучились только на время учебы в колледже. Потом встретились вновь и сразу сблизились. Все восприняли их помолвку как нечто совершенно естественное. Они всюду бывали вместе, ходили на регби, занимались в кружке народных танцев. Он с волнением вспоминал их детство: мальчишка в шортах цвета хаки, с копной нечесаных волос; она стройная, как газель, с длинной бронзовой косой, в голубых глазах веселые чертики, на щеках веснушки; лазила по деревьям, ни в чем ему не уступала.

Он был фермерским сыном, она же — дочерью самого Каспера Стина. Ее отец рано удалился от дел, получив огромное наследство. В молодости Стин тоже занимался разведением овец, но без особого энтузиазма, и как только стал богатым наследником, продал ферму и поселился с дочерью в старинном особняке. Ханнес Меулен жил с отцом и младшей сестрой на ферме. Мальчик во всем подражал отцу, человеку разностороннему и одаренному.

После того как умерла при родах дочери его жена, Кристофель Меулен с головой окунулся в общественные дела. Городок рос, прибывали новые поселенцы, семьи железнодорожных служащих. Строилась церковь, возникла локация для цветных. Меулен-старший внимательно следил за новостями из столицы, участвовал в предвыборных кампаниях, добиваясь того, чтобы интересы местных жителей представлял в парламенте достойный человек. Политика на первый взгляд не была непосредственно связана с заботой об овцах, овинах и стрижке шерсти. На самом же деле она влияла на закупочные цены, стоимость перевозок, отражалась на мировой конъюнктуре.

Еще мальчишкой Ханнес постиг все секреты овцеводства и внимательно ловил каждое слово отца, вникая во все дела и заботы этого крепкого мужчины с обветренным мясистым лицом и проседью в черных волосах. Отец любил землю, для него родина была не только географическим понятием, не только национальным гимном, Днем Дингаане и годовщиной битвы при Кровавой реке [1]. Родина — это плоские желтые равнины, кудрявые холмы, трава и вода. Это наследство завещано предками, полито их священной кровью, даровано милостью божьей. Деды и прадеды завоевали ее мушкетом и Библией. Подобно воинам Иисуса Навина, они пришли на эту землю как носители слова божия. Любое иное толкование их миссии объявлялось анафемой.

Каждое воскресенье семья отправлялась в церковь. Ханнес, облаченный в черный сюртучок, искал глазами Рину. Она приходила в нарядном платье с низкой талией и с бантом в волосах, ее мать — вся в черном. Отец Ханнеса надевал стоячий воротничок и галстук-бабочку. После церковной службы мужчины собирались на площади. Дети порхали вокруг монумента памяти англо-бурской войны.

По субботам в помещении школы устраивались собрания. На них ходили одни мужчины, политика — не женское дело. Приходили фермеры и городские жители, все были одеты одинаково — в жокейских бриджах и серых рубахах. Отец на этих собраниях всегда выступал. Мужчины были против войны с Германией. Немцы ратовали за чистоту расы божьих избранников. Война против Германии будет лишь на руку тем, кто призывает к кровосмесительству. Эти либеральные идейки проповедуют англичане и евреи. Друзьям отца импонировали взгляды Гитлера. «Африканеры — божьи избранники,— выкрикивал отец, и лицо наливалось краской от обуревавших его страстей.— Мы победим!» Мужчины громко аплодировали, вскидывали правый кулак.

Когда Ханнесу исполнилось пятнадцать, отец погиб. Лошадь, чего-то испугавшись, встала на дыбы и скинула седока. Батраки, посланные на поиски, когда хозяин не пришел к обеду, нашли его бездыханным, распластавшимся в красной пыли, с переломанной шеей. На похороны съехались фермеры со всей округи. Соратники отца, точно бросая вызов остальным, надели бриджи, серые рубахи и салютовали над могилой сжатым кулаком. После гибели отца фермой снова стал управлять дед, но тому все было безразлично, он с тоской вспоминал добрые старые времена, не заботясь о сегодняшнем дне. Постепенно дед окончательно замкнулся в себе, живя в мире грез, существовавшем лишь в его старческой слабоумной голове.

«Мне почти сорок,— думал Ханнес Меулен,— настает мое время». Ферма занимала его все меньше, правда, вот засуха нынче, но так и раньше бывало. Сестра давным-давно вышла замуж и ни в чем не нуждалась; сам он шел вперед семимильными шагами. После окончания колледжа, следуя заветам отца, вступил в националистическую партию, и вот теперь он единственный претендент на место в парламенте от их округа. Впереди — женитьба на любимой девушке, незаурядная политическая карьера.

Вот и дом Стинов: высокое крыльцо с каменными ступеньками; белый островерхий фасад, украшенный лепными пилястрами; широкие окна с переплетами; надежная соломенная кровля — старый Стин сам регулярно проверял ее. За шторами горели огни, играла музыка. Ханнес постучал бронзовой колотушкой и стал ждать, сердце учащенно забилось. Нет, Рина не пошлет служанку открывать, ведь она знает о его приезде. Каспер Стин наверняка развалился в кресле, слушает

---

[1] Битва при Кровавой реке состоялась 16 декабря 1838 года; бурские переселенцы разгромили войско зулусов, возглавлявшееся Дингаане, верховным правителем зулусского народа. До сих пор в ЮАР этот день отмечается официально, белые расисты видят в нем символ торжества над африканским населением *(прим. перев.)*.

радио. Раздались торопливые шаги, дверь отворилась — на пороге стояла Рина.

— Дорогой, это ты!

Он взял ее за руку, нежно поцеловал в подставленные губы, потом в щеку.

— Нехороший,— переведя дыхание, сказала она,— почему не приехал к нам прямо с вокзала? — Она увлекла его в прихожую, громко возвещая на весь дом: — Папа, это Ханнес, Ханнес пришел!

— Я решил закинуть вещи в отель, отмыться от паровозной сажи и дорожной пыли.

— Жара невыносимая, правда? Ну пойдем, ты должен рассказать нам все по порядку.

Он все держал ее за руку, с восхищением разглядывая девушку. Упругая грудь, ни унции лишнего веса, подросток превратился в великолепно сложенную женщину. Кудри отсвечивают бронзой; нос немного облупился от загара; чистая, целомудренная линия рта. Словом, прекрасный образчик благовоспитанной бурской девушки из хорошей семьи.

Из нее получится отменная жена, подумал он радостно. Он любит ее, она станет матерью его детей. Они поселятся на ферме, будут путешествовать по стране, вместе совершать деловые поездки. В остальное время Рина будет приглядывать за фермой, копаться в огороде, разводить цветы — это ее любимое занятие,— стряпать блюда по замысловатым рецептам, готовить сухарики, вяленое мясо, варить варенье, устраивать генеральные уборки в доме.

Сияя от радости, она провела его в гостиную. Несмотря на вечернюю духоту, девушка благоухала свежестью.

— Вот и папа.

Большая комната, куда они попали из прихожей, была заставлена креслами, пуфами, огромным резным буфетом работы прошлого века; над камином — зеркало в золоченой раме; с высокого потолка, покоящегося на балках, свешивалась старинная люстра.

Каспер Стин, отложив чтение, поднялся навстречу гостю. Он был небольшого роста, коренастый, редкие седые волосы зачесаны назад, тяжелые челюсти, мясистый нос, под влажными глазами мешки. Взгляд как у матерого волка. Несмотря на жару, на нем был строгий темно-серый костюм; крахмальный воротничок и манжеты сверкали белизной. Весь его вид говорил о том, что он решительно порвал со своим фермерским прошлым. Я, мол, вам не деревенщина, овчар, пропахший навозом! Он ежедневно читал газеты на африкаанс и книги, оставшиеся у дочери еще со школьной поры. Будущий тесть сдержанно улыбнулся Меулену, показав искусственные зубы. Он избегал чрезмерных проявлений чувств, они нарушали то впечатление, которое он желал производить на людей.

— Вот и ты, Ханнес,— произнес он.— Как поживаешь?

— Дядюшка Каспер! — ответствовал молодой красавец, пожимая руку будущему тестю. Ему бы впору называть его «отец», как делают женихи, уже принятые в доме, но Ханнес не мог решиться на подобную фамильярность. Традиционное обращение «дядя» к пожилым людям — единственная вольность, которую он покуда себе позволял. Хорошо бы поторопиться с формальностями, поскорее увезти Рину к себе на ферму, чтобы не приходилось терпеть общество этого сухаря всякий раз, когда хотелось повидать ее.

— Рина,— обратился Стин к дочери,— принеси-ка нам персикового бренди.

— В жару да еще перед ужином? Духота такая, что вороны зевают.

— А, пустяки, уверен, твой молодец не прочь пропустить стаканчик.— Рина пошла к буфету, а он снова с улыбкой обратился к Меулену: — Поездка прошла удачно?

— Как будто все складывается для нас весьма благоприятно. Что вы читаете, дядя?

Стин покосился на книгу, которую держал в руке.

— Роман Потгиетера, остался у Рины еще со школы.— Он указал Меулену на кресло.— Усаживайся поудобнее. Ты ведь знаешь — здесь ты у себя дома.

Он опустился в свое кресло, где читал до прихода гостя. Меулен сел рядом, скрестив ноги.

— Можно мне закурить?— он всегда спрашивал разрешения, тщательно скрывая свою неприязнь к старику. Подошла Рина, поставила на столик бутылку и рюмки. Ханнес улыбнулся девушке.

— Ужин будет скоро готов, я позову вас.

Легкой походкой она направилась к двери, потряхивая золотистыми кудрями. Меулен проводил ее исполненным томления взглядом и, налив себе и старику бренди, поднял рюмку.

— Ваше здоровье!— воскликнул он, пригубив, поставил рюмку и принялся набивать трубку табаком из кожаного кисета.— Так вот, корпорация одобрила заключения геологического отчета. Они не сомневаются в том, что земля, о которой идет речь, содержит залежи ценных минералов.

— Отлично, отлично,— закивал Стин.— Благодарение богу!

Меулен поднес зажигалку к трубке, раскурил ее.

— Они создадут акционерную компанию. Пятьдесят два процента акций оставит за собой правительство, а сорок восемь процентов будут пущены в продажу. Я, естественно, поставил их в известность, что мы с вами заинтересованы в приобретении значительной доли.

— Превосходно, ты просто молодчина, сынок.

— Как только переселят кафров...

— Их теперь следует называть «банту», сынок,— хмыкнул Стин, — времена другие...

— Как только переселят банту,— понимающе усмехнулся Меулен, — начнется освоение района. По просьбе наших сограждан я побывал у верховного судьи и потребовал, чтобы переселение ускорили. Он передал дело главному комиссару, и тот затребовал полный список имен. Список был составлен, и вопрос рассматривается теперь в департаменте по делам этнических общин. Нет нужды говорить, что авторы геологического отчета сыграли нам на руку.

Тут Меулен спохватился — он взял слишком уж официальный тон, впрочем, умение четко излагать мысли и факты — необходимое качество для парламентария.

— Эти черные твари, я полагаю, подчинятся?— изрек Стин.

— Ну конечно же! Департамент договорился с управлением железных дорог о специальном составе для них. Местные фермеры предоставят грузовики, чтобы довезти туземцев до станции. Отъезд назначен на завтра.

— Ну и слава богу!— воскликнул Стин и подлил в рюмки бренди. — Эта акция, несомненно, поднимет твою популярность, сынок. Как видишь, оппозиция даже не решилась выставить своего кандидата в нашем округе.

— Мои предки поселились тут одни из первых, нашу семью все знают.

— Верно! Кстати, как твой дед? Я что-то не слышу о нем в последнее время.— Бренди сделало свое дело, мужчины расслабились, повеселели.

— Да все по-прежнему. Ни за что не желает перебираться в новый дом, и я решил оставить его в покое. Когда мы с Риной поселимся на ферме, ей, наверно, придется приглядывать и за стариком, но он больше всего дорожит одиночеством и не будет ей обузой.

— Увы, он и впрямь не молод.

В гостиную, широко улыбаясь, вошла Рина.

— Прошу, ужин уже на столе.

Мужчины поднялись, Меулен выколотил пепел из трубки. Стин слегка раскраснелся. Рина взяла Меулена под руку, и вслед за отцом они прошли в столовую.

Такой же потолок с балками. Солидная, громоздкая мебель из местного ореха сверкала полировкой, на столе искрилось серебро. Две картины в дорогих рамах, изображавшие цветущий вельд, подсвечивались особыми лампами. Сквозь настежь распахнутые стеклянные двери, ведущие на веранду, в столовую вливался свежий ночной воздух, стрекот насекомых. За раздвинутыми тяжелыми портьерами лежал сад, и яркий свет луны играл на увядших стеблях гренадиллы.

Мужчины уселись в разных концах стола, друг против друга, Рина заняла место посредине. Цветная служанка внесла супницу.

— Возблагодарим бога всемогущего,— произнес Стин. Они склонили головы над тарелками, старик пробормотал молитву, потом налил вина Меулену и себе.— Винцо недурственное, белое, но не слишком сухое. В Западном Кейпе отменные виноделы, от импортного не отличишь.

— Ханнес,— в разгар трапезы обратилась к жениху Рина,— ты должен мне помочь.

— С удовольствием, моя девочка.

— Департамент охраны природы обратился ко мне с просьбой возглавить кампанию по спасению растений и цветов от засухи.

— Задача, достойная тебя,— улыбнулся Меулен.— Я не сомневаюсь — ты справишься. Продолжай, пожалуйста.

— Ты же знаешь, в вельде сотни и даже тысячи видов диких цветов, они погибнут от засухи, если не перевезти их в специально оборудованные места. Предстоит пересадить алоэ, саговник, орхидеи. Необходимо снарядить экспедицию в вельд, отыскать растения и цветы, над которыми нависла угроза, и перенести их в общественные сады и парки. Только так их можно сохранить.

— Чрезвычайно интересно! Я уже читал об этом в газетах. Итак, дело поручено тебе?

— Одна я не справлюсь. Хочу вовлечь знакомых, создать специальный комитет. Понятно, вам, мужчинам, достанется самая тяжелая работа — копать землю, таскать тяжести. Представляешь, сколько весит, например, хлебное дерево?

— Мужчинам к тяжелой работе не привыкать,— хмыкнул старый Стин,— у нашей молодежи крепкие мускулы.

— Кроме того,— продолжала Рина, вытирая рот салфеткой,— понадобятся грузовики, джипы. Можно ли рассчитывать на тебя, Ханнес?

— Пару грузовиков я вам подкину,— ответил Меулен. Служанка внесла второе.— Но не сейчас, а позже, когда у вас все будет готово. В настоящий момент мой транспорт перевозит овец на дальние пастбища, где еще осталась вода. Кроме того, я обещал комиссару два грузовика на завтра, чтобы довезти кафров до станции.

— Время еще есть, но я хочу выяснить заранее. Значит, так и запишем: менир Ханнес Меулен дает грузовики. Твой пример поможет раскачать других.

— Берегись, сынок,— вставил ее отец.— Твоя будущая жена еще заткнет тебя за пояс — видишь, какой общественный деятель!

— Будет речи за меня писать,— пошутил Меулен.

— Про дикие растения — охотно! — подхватила Рина, и все рассмеялись.

На второе были котлеты, вареный желтый рис с изюмом, овощи, салат из свеклы, острая абрикосовая приправа. Стин велел служанке принести из гостиной начатую бутылку персикового бренди.

— Не сомневаюсь,— сказал он, накладывая себе салат,— ты станешь членом парламента, и произойдет это в ответственный момент

нашей истории. Мир изменяется, и мы должны изменяться вместе с ним.

— Все дело в том, как понимать перемены. Мы могли бы взглянуть на вещи по-новому, если это не нанесет ущерб нашей культуре, нашему достоинству и чести. В городах зашевелились черные, они недовольны зарплатой, жалуются на бесправие. Туземцы не ценят того, что мы для них делаем.

— В колледже,— заговорила Рина,— находились студенты, предлагавшие несуразные вещи. Они утверждали, что, поскольку белых в стране всего три миллиона, нам не удастся вечно держать банту в узде и потому следует передать им власть, а самим приспосабливаться к новым условиям.

— Эти либеральные идейки, импортированные из-за границы, получили теперь хождение даже среди бурской молодежи,— заметил Стин, потягивая бренди.— Возможно, это знамение времени, не берусь судить. Но на что способен народ, еще сто лет назад не знавший колеса? Страны, где к власти приходят варвары, обречены на гибель. Мы знаем это из истории. Вспомните, что было на севере Африки, когда оттуда ушли европейцы. Хаос приближается к нашим границам — португальцы дрогнули. Неужто теперь наша очередь? Ты верно сказал — черные бунтуют, несмотря на все, что мы для них делаем. Только сила и преданность великой цели могут спасти наш народ и нашу цивилизацию.— Он достал из нагрудного кармашка свежий носовой платок, вытер вспотевший лоб. За стеклянной дверью мерцали светлячки.

— Жаль, наши заморские друзья, которых мы пустили на готовенькое, не понимают, что здесь их подход неприемлем, мы не можем принять их рецептов,— сказал Ханнес Меулен.— Они, как говорится, хотят и невинность соблюсти, и капитал приобрести.— Подцепив вилкой котлету, он посмотрел на сидящего напротив Стина.— Нам ни в коем случае нельзя подпадать под влияние того, что происходит в других странах. У нас свой путь. Любые отступления и колебания вроде тех, которым были подвержены однокашники Рины, носят, я уверен, сугубо поверхностный характер. В конечном счете идейные и нравственные устои нашего народа прочны, как цемент, как тот памятник, что воздвигнут в столице в честь наших предков. Расовая, культурная и религиозная чистота наша нерушима.

— Сдается мне,— сказал Стин, отодвигая тарелку,— что проблема, стоящая сегодня перед нами, не из легких. Я имею в виду безудержное стремление к так называемой свободе от всех запретов и норм, дисциплинирующих человека. Дух либерализма, как эпидемия, охватил миллионы людей во многих странах, симптомы этой болезни проявляются и у нас.

Ханнес Меулен улыбнулся Стину через стол, заставленный тарелками. Он вспомнил своего отца, его мясистое лицо, наливавшееся кровью от волнения; вспомнил мужчин в серых рубахах у могилы за церковной оградой и то, с каким любопытством поглядывали на них из толпы, шедшей за гробом; он, мальчишка, не пролил ни слезинки, стараясь не спасовать в присутствии взрослых...

— Африканеры — богом избранный народ,— воскликнул он, поглядев на Рину.— Мы своего добьемся!

— Аминь! — гаркнул Стин. Служанка поставила перед ними фруктовый салат и сливки.

Рина больше в разговоре не участвовала, слушала молча, зная, что политика — мужское дело. Она носила кольцо, надетое ей Ханнесом в день помолвки. Стало быть, она всегда рядом с ним, во всех его начинаниях. Это ее долг. Ей спокойно подле него; ее образование тоже сослужит ему службу. Она будет ему верной женой и доброй матерью его детям, будет гордиться его положением в обществе, радоваться его успехам.

— Ну, так,— произнес Стин, доев салат и отодвигая стул.— Пойду к себе, почитаю, оставлю вас, голубки, вдвоем.

— Не выпьешь ли чашечку кофе? — спросила Рина.

— Вели служанке подать кофе в мою комнату.

— Мы, конечно, увидим дядю на завтрашнем молебне? — спросил Меулен.

— Заезжай за нами,— предложила Рина,— и отправимся в церковь вместе.

— Прекрасная мысль! Ханнес, налей-ка себе еще бренди. Спокойной ночи, дети.

— Доброй вам ночи, дядюшка!

Рина поднялась и, как подобает, чмокнула отца в щеку, проводила его до двери. Распорядившись насчет кофе, она вернулась к Меулену, стоявшему у стола с полной рюмкой в руке.

— За тебя, мое сокровище! — Свободной рукой он обнял ее за талию, ощутив трогательную хрупкость девушки, уловив, как бьется ее сердце. Лицо Рины покрылось робким румянцем, его пальцы коснулись ее груди...

— Мой милый,— шепнула она, откинув со лба бронзовые кудри,— это ты мое сокровище!

На склоне, среди колючек, валунов и чахлого кустарника, похожего на клочки обуглившейся бумаги, виднелось кладбище. Его можно было распознать по невысоким холмикам сухой земли, покосившимся крестам и треснувшим табличкам, по кучкам камней, пустым банкам и потрескавшимся горшкам для цветов. Свежие могилы сразу бросались в глаза, земляные холмики не успели высохнуть, букеты полевых цветов не совсем еще завяли, с деревянных табличек, где были тщательно выписаны имена покойников, еще не облупилась краска. Валуны и кресты отбрасывали теперь длинные тени. Над могильными холмиками сумерки развернули свое алое покрывало.

Пастух Мадонеле, присев на корточки в пыли подле куста кару, безмятежно посасывал длинный мундштук, наслаждаясь вкусом табака, набитого в высокую чашечку трубки. Время от времени он блаженно почесывался, запуская костлявые пальцы под прохудившееся одеяло; маленькие глазки задумчиво глядели из-под старой шляпы. Вокруг него уже завели свои песни цикады, но он не обращал на них внимания, давно привыкнув к их треску. Он не глядел в сторону Шиллинга Мурилe, понимая, что в такие минуты человеку надо побыть наедине с собой.

Шиллинг Мурилe, оседлав небольшой валун, расшнуровал ботинки, скинул их и, вытянув ноги, шевелил вспотевшими ступнями. Отсюда вся окрестность была как на ладони: далекие мазки гор; над ними в сгущающейся мгле уже бледно мерцали первые звезды; низкие желто-бурые холмы в складках и трещинах подернулись тенями; деревья в станционном поселке, водокачка, церковный шпиль; приземистые строения фермы Меулена. Первая волна ночи плавно накатывалась на землю, измученную долгим знойным днем.

«Я сделаю свое дело»,— думал он, смакуя горечь во рту. В помутневших карих глазах сквозила ненависть; ненависть была другом, нуждавшимся в надежном убежище. Он лелеял ее, как заклинатель — ядовитую кобру. Ненависть, точно леопард, припавший к земле, изготовясь для прыжка, замерший, но живой, со стучащей кровью, подгоняемой горькими воспоминаниями. Мурилe как бы слился воедино с осыпающимися могилами и выцветшими табличками. Смерть лежала у его ног, ожидая, когда он окликнет ее.

Когда-то тут в одну из могил закопали любовь; любовь сгнила, истлела, остались лишь оскаленные в мстительной ухмылке зубы. То, что было его братом, превратилось в кучку костей и праха, без души,

без имени — только отдельные буквы на сгнившей, покосившейся дощечке.

Кровавая капля солнца зависла над краем неба, удлинилась, качнулась вниз и исчезла. Горизонт вспыхнул пламенем в том месте, где она канула в темноту, тьма поползла по небу, упала на землю. Холмы медленно попрятались за кусты кару и терновника, за бастионы из базальта и известняка, и земля казалась гладкой и ровной под мягким покрывалом ночи.

Мы часто здесь гуляли, вспоминал Шиллинг Мурилe. Они выросли вместе, вместе пасли овец на шершавых склонах, вместе прошли обряд посвящения в мужчины, выдержав нелегкие испытания. Они присматривали и за стадами белых фермеров, ставили изгороди, не отдавая себе отчета в том, что таким образом у их народа отбирают землю.

Иногда они варили пиво, устраивали веселые попойки. Мать бранила их, а они закрывали рот руками, чтобы не прыснуть. Ходили на охоту с белыми, таскали за ними ружья и добычу.

Брат всегда был слабогрудым, вспоминал Шиллинг Мурилe, таскать тяжести ему было не под силу. Зимой он вечно бывал простужен, надрывно кашлял, кутался, носил башмаки. Нет, Тими не стал крепышом и нуждался в защите и покровительстве брата.

Когда внучка старого Меулена выходила замуж, кафров позвали помочь с приготовлениями к свадьбе. Шиллинг Мурилe привел на хозяйскую усадьбу брата. Им велели зарезать баранов, привезти со станции ящики с вином, вымыть окна в доме, разбить большой полотняный шатер. Черные работали весь день и всю ночь накануне свадьбы, и к утру все было готово.

Центром праздника стал новый дом, построенный отцом невесты, умножившим богатство семьи. Но старый Меулен ни разу не переступил его порога. Дряхлый, высохший, он сидел на полуразвалившемся крыльце старого дома, который он сам поставил давным-давно, когда только поселился в этих краях. Забившись в старинное кресло, укрытый пледом, он внимательно наблюдал за всем полуслепыми слезящимися глазами. Старик не любил нововведений, но никогда не перечил решениям и поступкам своего сына. Пережив его, он как бы лишний раз доказал порочность и несостоятельность современного уклада. В свое время он сражался против англичан и по сей день не примирился с их присутствием в стране. Он допускал к себе лишь слугу по имени Коос из племени нама, такого же дряхлого и высохшего, как он сам. Коос жил в лачуге на задах старого дома. Меулен-дед был жилистым и жестким, как вяленое мясо, которым он питался в молодости, и, судя по всему, не торопился покидать эту грешную землю.

Внуки, Ханнес и Берта, пошли не в него, не стали его продолжением, плотью от плоти. Одно название — родня, а на поверку чужие. Что им до его хрупких воспоминаний о далеких годах? Он знал от Кооса, что молодая хозяйка намерена после свадьбы переехать в город. Ничего другого он не ждал; девчонке следовало хотя бы испросить его согласия. Но не эта новость привела его на крыльцо. Сами приготовления к свадьбе подогревали его любопытство, они раздували угольки в его едва тлеющей памяти, воскрешая совсем было забытые события собственной молодости.

Гости начали съезжаться с утра. Они проделали длинный путь, кое-кто приехал даже из дальних городов. Подкатывали легковые машины, пикапы, грузовики; на некоторых были столичные номера; лак потускнел от бурой пыли. Старик, сидевший в одиночестве на ветхом крыльце, видел лишь размазанные силуэты, но его уши улавливали громкие приветствия, смех, нарастающий гул голосов. От открытых жаровен потянуло запахом мяса. Для гостей было припасено капское вино, бренди, пиво, заморское виски и шампанское.

Черные, кому не выпала честь прислуживать за столом, наблюдали за весельем со стороны, через распахнутые настежь широкие двери амбара и потихоньку напивались краденым вином.

— Что это за свадьба,— икая, сказал один, утирая рот рваным рукавом.— Почему нет танцев? Так не веселятся!

— Танцы будут потом,— отозвался Тими.— Хозяин пригласил оркестр из города.

— А почему заправляет всем молодой баас? Ведь ферма-то все еще принадлежит деду. Посмотри, вон он сидит точно ворон на ветке! Нет, не похоже на свадьбу, танцев нет...

После нескольких бутылок капского шерри кое-кто из черных, вороша и раскидывая люцерну, пустился в пляс, решив исполнить обрядовый свадебный танец.

— Да и выкупа не видать,— рыгая, снова заговорил ворчун.— Что за свадьба без выкупа, без танцев? Эти белые все делают не так.

— Хватит вам, задохнемся от пыли,— крикнул Шиллинг Мурилe танцующим.— В конце концов это не ваша свадьба!

Тими захихикал, приложился к горлышку бутылки, пустил ее по кругу и сказал весело:

— Повезло жениху — отдают невесту без выкупа! Помните Ндалу, он уехал в город на заработки, чтобы расплатиться с родителями своей будущей жены.

— Говорят, в городе наши женщины тоже теперь выходят замуж без выкупа,— сообщил ворчун,— и к тому же в белых платьях.

— Другие времена,— заплетающимся языком вставил еще кто-то.— Свадьба без танцев, неслыханное дело!

— Говорят же вам,— повторил Тими,— будут танцы, вон там, в шатре, даже пол специально настелили, вы сами же его клали.

— Не нравится мне это,— с пьяным упорством твердил ворчун,— белые платья...

Старые добрые времена. Это о них с болью думал сейчас Меулен-дед. И тогда гости тоже начали съезжаться с восходом: экипажи, фургоны, телеги; всадники, расседлав лошадей, повесили сбруи в ряд на стену дома. К полудню все собрались... Гостей немного — в округе пока лишь горстка белых семей,— все пожимают друг другу руки, угощаются кофе; пожилые женщины, большие и грузные, как ломовые лошади, потеют под капорами; девушки щебечут, обмениваются новостями. Дети держатся стайкой, порхают, как голуби, слуги приглядывают за ними. Все с нетерпением ждут, когда вернутся из дальней церкви молодые. От очагов долетает запах праздничных блюд, слуги разносят кофе в кружках. И вот наконец появляется он с молодой женой. Гордо восседая в фургоне, запряженном парой лошадей, они въезжают во двор среди криков и ружейной пальбы. В воздухе пахнет порохом, жарящимся мясом и пылью, вздымаемой копытами.

Старик пробуждается от сладких грез и наяву слышит похожие крики и возгласы — прибыла его внучка с мужем,— но слепнущие глаза не видят кортежа машин, подвенечного платья с волнистым шлейфом и фатой. Подружки невесты в неярких нарядах, мужчины — в строгих городских костюмах. Но для старца все это только расплывчатые призраки, в памяти же снова возникает он сам и его невеста. Они торжественно поднимаются на крыльцо, входят в дом. Вот и спальня молодых, брачное ложе утопает в цветах. Их подводят к стульям. Гости в выходных костюмах старинного покроя, хранящихся в деревянных сундуках и извлекаемых лишь по таким торжественным случаям, подходят к ним по очереди, поздравляют, желают счастья.

Угощение — барашек с тыквой, бобы, варенье, домашняя наливка. Гуляют гости за столом в парадной зале, а танцуют во дворе, очищенном от навоза, при свете сальных свечей под аккомпанемент скрипки и концертины. Кто же играл тогда? Молодые пары кружатся и подпрыгивают; бородатые старцы и матроны в капорах любуются

ими, притопывая ногами. Подошвы взбивают землю, точно масло; все кашляют от мелкой пыли.

В полночь пожилые родственницы невесты отводят ее в спальню и гасят свечи. Его самого, изнывающего в тесном костюме и галстуке-шнурке, провожает до дверей спальни дружок, недавно отпустивший бороду и бакенбарды. Вид у Карела, вспоминает его имя старик, напыщенный, торжественный. Бедняга погиб при Спионкопе несколько лет спустя... Заперев за собой дверь на засов, он стоит в темноте, прислушиваясь к веселью снаружи. Гулянье продлится до утра...

Вот и теперь веселье в самом разгаре. Звучат тосты. Толпа гостей осаждает бар, устроенный прямо на лужайке у входа в шатер. Прибыл из города нанятый оркестр «Гендрик Смит и его парни». Послеполуденный зной оглашает музыка, крики, смех, счастливые возгласы. Нет ни скрипки, ни концертины, вместо них труба, саксофон, аккордеон, контрабас, ударные. Всех птиц распугали... Играют старинные танцы вастрап и тикерджраай вперемежку с рок-н-роллом и ча-ча-ча. Кружащиеся гости в испарине, лужайка усеяна пустыми бутылками и банками из-под пива. Под деревьями устроили состязания в перетягивании каната и метании колец.

Старику, свернувшемуся калачиком в кресле, является видение. Из облака ржавой пыли возникает девушка в широком белом платье; он не может разглядеть счастливого румянца на ее щеках, лица стоящего рядом молодого человека, его смущенной улыбки, вежливого, слегка чопорного поклона. Девушка подходит ближе, старик слышит ее учащенное дыхание. Он не знает их, должно быть кто-то из новоселов. Где Карел? Почему он не представит гостей? Как мило с их стороны, что они пожаловали к нему на свадьбу, о них позаботятся, на славу угостят.

— Дедушка,— мягко говорит видение в белом, в ее голосе смешались любовь и грусть. Она берет его за руку, похожую на высохшую куриную лапку.

— Детка моя,— каркает старик, почти узнав ее теперь,— внученька...

Длинные тени ложатся на лужайку, снова раздаются приветственные крики. Раскрасневшиеся жених и невеста садятся в машину, отправляясь в свадебное путешествие. После их отъезда веселье вспыхивает с новой силой, теперь уже гуляют без удержу.

Почти все черные батраки в амбаре, накачавшись вином, спят вдоль стен на раскиданном сене, среди покосившихся кип люцерны. Спят, точно рухнувшие на землю чучела. Одна из служанок стянула со свадебного стола две бутылки бренди, их мгновенно распили, и вот теперь мужчины храпят и бормочут что-то в тяжелом забытьи. Из шатра, пересекая обширный двор, сюда доносится веселый гул, слышатся глухие удары шаров с площадки для игры в джунскей, голоса ребятни, резвящейся на автомобильной стоянке.

— Пойдем.— Шиллинг Мурилe, пошатываясь, расталкивает заснувшего брата.

— Где? Что? Куда? — спросонок бормочет тот, тяжело дыша и сплевывая.

— Надо пройтись после такой выпивки, и музыка мне эта осточертела.

— У меня голова кружится,— Тими прячет лицо в колени.— Лучше здесь поспать. А у тебя, я вижу, еще бутылка в кармане.

— Остатки вина. Пошли, нечего нам тут делать. У меня тоже башка трещит и в горле пересохло. Если молодой Меулен пронюхает, что мы свистнули вино и бренди, нам несдобровать. И этим всем болванам достанется.

— Ого, ну и крепкая же у них выпивка! Злая, как токолоше, верно? У меня в голове точно духи бегают наперегонки.

— Айда, проспимся где-нибудь в другом месте.

— Только держи меня покрепче, брат.

Они выбрались из амбара через лаз в задней стене и, качаясь из стороны в сторону, потащились вверх по склону холма босиком. Звуки свадебного веселья остались позади. Пройдя немного, они присели передохнуть, рыгая и сплевывая. Тени уже густели в холмах. Приложились по очереди к бутылке. Для них вино было редкостью, с непривычки им сделалось дурно, зато обуяла безудержная отвага. Кое-как поднявшись на ноги, они, спотыкаясь, побрели дальше. Тими вдруг запел:

— Эй, женщина, ты чем гремишь так громко?

— Я выколачиваю пыль из одежонки! — заплетающимся языком подхватил брат.

— Что это? — спросил Тими, разглядев впереди движущиеся тени.

— Овцы,— ответил Шиллинг Мириле.

Прислонившись к столбу, они уставились на овец, мирно топчущихся в обнесенном колючей проволокой краале. Из-за хлебных деревьев и колючих алоэ в предвечерней тишине все еще слышались музыка и смех гостей. Овцы насторожились, учуяв близость людей.

— Что у тебя за одежонка, которая гремит так громко? — пропел Тими дурным голосом и захихикал: — Бедные овцы, на свадьбу вас не позвали, поплясать не смогли.

— Айбо,— поддержал брат.— Как только не стыдно хозяевам!

— Ну, мы это сейчас исправим,— Тими еле ворочал языком.— Раз все танцуют, то пусть и овцы тоже.— Он погрозил кому-то пальцем.— Все так все!

— Верно, пусть повеселятся,— захохотал Шиллинг Мириле, распахнул ворота и, размахивая полупустой бутылкой, врезался в середину отары.— Пляшите, пляшите, овечки, все пляшите!

Захмелевшие парни закружили по краалю, хохоча, размахивая руками, и овцы, налетая друг на друга, устремились в открытые ворота. А оба парня подгоняли их криками: «Эйапи, эйапи!» Пыль столбом взметнулась над загоном, братья зашлись кашлем, а овцы бросились врассыпную между деревьев и кактусов. Разогнав отару, братья побрели прочь, гогоча, качаясь, хлопая друг друга по плечу, горланя обрывки песен.

Солнце зашло, поднялся холодный, пронизывающий ветер. Усевшись передохнуть на обочине проселочной дороги, братья мелко дрожали в своих дырявых рубахах. Вдоль дороги были вкопаны столбы для строящейся изгороди. Издалека все еще доносились звуки оркестра, небо багровело, звезды еще не зажглись; ветер ерошил жесткую траву, гнал клубки колючек по темнеющим полям.

Младший из братьев, Тими, чихнул, высморкался в пыль, снова чихнул.

— Выпей еще,— предложил Шиллинг Мириле.— Сразу согреешься, это лучшее лекарство.— И сам отпил, запрокинув бутылку.

— С меня хватит,— Тими неуклюже покачал головой.— У меня мозги кружатся.— Он снова покачал головой, и она стала болтаться из стороны в сторону так, словно вместо шеи у него была веревка. Из носа текло, ему хотелось одного — забиться куда-нибудь в тепло, заснуть и спать долго-долго. Подтянув колени, он обхватил их и застучал зубами.

— Тогда я ее прикончу,— икнув, Шиллинг Мириле допил вино.

На дороге вдруг закипела пыль, взвиваясь вслед за автомобилем; засверкали, приблизившись, фары. Они услышали гул мотора, лязг передач, зажмурились от яркого света, зачихали от пыли. Маленький фермерский пикап, проехав юзом, затормозил — водитель заметил их.

Оставив включенными фары, из кабины выскочили двое мужчин и подбежали к братьям. Шиллинг Мириле, узнав их, помахал бутылкой.

— Мои господа, вот и вы,— захихикал он.— Очень рад вас видеть.

— Господи,— возмутился один из белых.— Вот эти мерзавцы. Они выпустили овец,— сказал Опперман, управляющий с фермы, грузный, краснолицый, с усами, в чистом спортивном костюме.— Вон, у одного из них бутылка.

— Дерьмо! — выругался Ханнес Меулен.— Все кафры напились до бесчувствия краденым вином, а бедные овцы так и будут бродить до завтра. Ищи их потом.

— Это вы разогнали отару? — закричал он.— Сознавайтесь!

— Баас,— отозвался Шиллинг Мурилe,— господин молодой хозяин, мы хотели, чтобы они поплясали.

— Они оба пьяны,— нагнувшись, чтобы лучше их разглядеть, с отвращением воскликнул Опперман. Он выхватил бутылку из руки Мурилe и разбил ее оземь.— Что с ними делать? — Он оглянулся на Меулена.— Надо бы отвезти мерзавцев в полицию.

— Ну и денек,— вздохнул Меулен.— Я сегодня выдал замуж сестру, в доме полно гостей. Некогда мне возиться с этими ублюдками. Дерьмо, пускай побудут здесь, утром свезем их в участок.

— Здесь?

— У тебя найдется веревка в кузове? Свяжем их — никуда не денутся.

Опперман пошел к пикапу, а Меулен, стоя в свете фар, глядел на двух оборванцев, сидящих на обочине. На нем был выходной костюм с белой, уже увядшей гвоздикой в петлице. Гнев и ярость исказили его красивое лицо, налившееся темной кровью.

— А ну вставайте, кафры,— сжав кулаки, заорал он,— не смейте сидеть в присутствии белого.

— Баас,— повторил Шиллинг Мурилe,— мы только хотели, чтобы они поплясали.

— Вы у меня сами попляшете,— Меулен повернулся и зашагал к пикапу — Опперман все копался в кузове,— залез в кабину и появился вновь, держа в руке ружье.

— У, обезьяны проклятые! — он ткнул дулом в лицо Мурилe, помахал им перед Тими, который все трясся и чихал.— Встать, живо, вы, мразь!

От вида оружия и боли в щеке Шиллинг Мурилe сразу протрезвел, он встал на ноги, держась за столбик ограды, и, качая головой, забормотал:

— Нехорошо это, баас.

Опперман вернулся с мотком электрического провода.

— Думаю, подойдет. А ты, черная образина,— напустился он на Мурилe,— попридержи-ка язык, твое дело — помалкивать.

Издалека все еще доносилась музыка вперемешку со стрекотом цикад и резкими порывами студеного ветра. Меулен навел на них ружье.

— Вы, кафры, совсем обнаглели, сперва вино украли, а потом и овец.

У Тими голова от выпитого была тяжелой, ноги не держали его, вдобавок он все чихал и шмыгал носом.

— Опперман, вяжи этих макак,— велел Меулен своему управляющему.— Ничего с ними до утра не случится.

Опперман уставился на братьев, краснея от гнева,— охота была мараться о черномазых!

— Баас, вы же знаете меня,— обратился Мурилe к Ханнесу Меулену.— Не поступайте с нами так, баас. Помните, я нес подстреленную вами антилопу, чистил ваши ружья.

— Не знаю тебя и знать не хочу,— процедил с презрением Меулен.— Дерьмо, с каких это пор я вожу знакомство с кафрами! По

мне — все вы на одно лицо.— Он перевел взгляд на Оппермана.— Ну, давай живее!

Опперман, когда злился, делался жестоким. Он подтолкнул братьев к изгороди и, ругаясь последними словами, накрепко привязал их к столбам; электрический провод впился в тело, сдавил кости. Меулен держал ружье наготове.

Пикап подал назад, развернулся и покатил прочь по проселочной дороге; песком из-под колес обдало обоих пленников. Автомобиль с грохотом канул в ночь, красный огонек мигнул и растаял в облаке пыли.

Братьев душил кашель. Тими харкал мокротой и стонал, бессильно повиснув на проводе, притянувшем его к столбу. Шиллинг Муриле отчаянно извивался, стараясь освободиться от пут, но свирепый Опперман не поленился, затягивая узлы, и провод в резиновой оболочке вонзился в кожу, сдавив жилы, мускулы и кости. Каждое движение отзывалось мучительной болью. Поняв, что все усилия тщетны, он стал ждать утра.

Ветер усилился, нагоняя стужу. Непроглядная ночь окутала вельд, застывший серебряный слиток луны не мог рассеять невероятный мрак.

— Утими, как ты там? — спросил Шиллинг Муриле в темноте и испугался собственного голоса — карканье какое-то.

Брат издал странный звук, что-то среднее между хрипом и шипением. Провод препятствовал притоку крови, все тело затекло. Шиллинг Муриле прислушивался к похожему на стон дыханию брата: тяжелые свистящие звуки, так хрипит поломанный насос. Зуб на зуб не попадал, он трясся от холода. Муриле знал: к утру будут заморозки, поэтому спать нельзя. Он совсем протрезвел, хотя голова раскалывалась и мучила жажда.

— Брат,— окликнул он Тими, стуча зубами,— не спи, нельзя спать, ты уж постарайся!

Но в ответ услышал только мучительный присвист, заглушаемый воем ветра...

Муриле сам не заметил, как задремал, и теперь, очнувшись, скулил и трясся от холода. Рваная рубаха и штаны стали жесткими от леденящей сырости. Его бил озноб, а в груди точно бушевало пламя. Он различил силуэт Тими, неподвижно висящего на столбе.

На востоке забрезжила серая заря, тусклый свет пасмурного утра разлился по плоскому вельду, окрасив его в розовый цвет.

Послышался гул мотора, и на дороге показался пикап. Роса еще не высохла, пыли было немного. Машина плавно затормозила у изгороди, из кабины выскочили Меулен и Опперман и подошли к двум чучелам, привязанным к столбам.

Выпутавшись из высокой густой травы, на дорогу выполз красный паук, Опперман раздавил его каблуком. Оба были теперь в костюмах цвета хаки: Меулен в куртке и брюках, а управляющий — в шортах и рубахе с закатанными рукавами. Меулен курил трубку и держал ружье наперевес.

— Ладно, развяжи этих обезьян,— велел он Опперману, тот вытащил из кармана кусачки и подошел к пленникам.

Электрический провод ослаб и сполз; Шиллинг Муриле повалился на землю, как манекен. Когда кровь снова побежала по телу, он застонал от боли. Тими упал в траву без звука, как подкошенный, неуклюже подвернув затекшие конечности.

Опперман пнул его ботинком, качнулся, заглядывая в лицо, потом сказал Меулену:

— Господи, менир, этот загнулся.

— Черт возьми, одни неприятности от этих кафров!

Лежа в дорожной пыли, Шиллинг Муриле ждал, когда голова прояснится. Смутно уловив смысл слов Оппермана, он посмотрел

налитыми кровью глазами мимо двух белых туда, где лежал Тими, похожий на поломанную куклу. Потом, превозмогая боль, встал на ноги. Он хотел подойти к Тими, узнать, что с ним. Неожиданно он нагнулся, и в его руке заблестело отбитое горлышко винной бутылки со зловеще ощерившимися острыми зазубринами. Меулен крикнул: «Берегись!» — и оба белых повернулись к нему, упреждая неуклюжее нападение.

Все-таки острое стекло успело пропороть левое предплечье Оппермана до самой кости, он закричал от боли, с ужасом уставясь на бившую фонтаном кровь; и тут подоспевший Меулен уложил Шиллинга Мурилe ударом приклада по голове.

— Господи, он едва не убил меня,— визжал Опперман, сжимая локоть, чтобы приостановить кровотечение...

Окружной судья снял с банту по имени Шиллинг Мурилe обвинение в краже овец, зато нашел его виновным в покушении на жизнь Оппермана и приговорил к десяти годам каторжных работ.

Касаясь обстоятельств смерти банту Тими, судья отметил, что менир Меулен был спровоцирован хулиганской выходкой покойного. В намерения Меулена не входило лишать этого банту жизни, но ему, однако, следовало поступить с ним более благоразумно. В наше время белые граждане должны во всем являть собой пример для черного населения, а поступки менира Меулена расходятся с этим. Либеральные элементы и коммунисты могут раздуть этот инцидент; внешние враги: социалистические страны, Организация африканского единства, ООН — не преминут воспользоваться им для новых нападок на нас. Менир Меулен — добропорядочный, всеми уважаемый человек, и ему следовало проявить больше осмотрительности. Справедливый и нелицеприятный суд обязан вынести Меулену суровое порицание и оштрафовать его на значительную сумму...

В хижину долетали голоса соседей, жалобное блеянье овец в краале. Жители были заняты домашними делами, в окнах горели огни. Кого-то окликал женский голос, залаяла собака, донесся чей-то хриплый говор. В темноте надрывались сверчки. Ночь была душной, с заходом солнца не наступило облегчения. Темнота упала на землю тяжелым покрывалом, пот заливал глаза. Круглая луна, заняв место солнца, казалось, палит, как дневное светило; в небе далекими кострами мерцали звезды.

Хижина пастуха была круглой, с деревянным каркасом, снаружи к стене привалены камни. Так строили в старые времена. Сквозь щели в стенах залетал ветерок, чуть смягчавший духоту. В центре глинобитного пола, в холодной золе очага стояла почерневшая кастрюля. Мадонеле, орудуя деревянной ложкой, ел из нее застывшую кукурузную кашу. Он сбросил с себя одеяло, снял фетровую шляпу и в свете огарка, прилепленного к камню, казался сказочным гномом — дряблое, высохшее тело, морщинистое лицо, седые патлы, сморщенные уши.

— Поешь и ты,— сказал он с набитым ртом, указывая на вторую ложку, торчащую из загустевшей каши.

— Не хочется,— отозвался Шиллинг Мурилe. Он был занят тем, что связывал порвавшийся шнурок.

— Хватит обоим,— уговаривал пастух.— Женщины дают мне несколько горстей крупы за то, что я пасу овец. Времена сейчас тяжелые, хлеб из-за суши не растет, а белый лавочник ничего не отпускает в долг. Зерна нет — нечего продать перекупщику. Только те семьи, где мужчины на заработках в городе, могут кое-что покупать в лавке. Хотя эта львица Ма-Тау утверждает, будто и в городе теперь дела не лучше.

— Она, видно, много чего знает,— сказал Шиллинг Мурилe.

— Ей приходят письма даже из столицы, она и сама там жила. А ты бывал в тех краях?

— Случалось. Жить там здорово, не соскучишься.

— Думаешь туда вернуться?

Шиллинг Мурилe пожал широкими плечами, натянул мозолистыми пальцами шнурок, пробуя, крепок ли узел.

— Кто знает? — ответил он.— Может, и вернусь, когда здесь с делами управлюсь.

— Поешь,— снова предложил пастух.

— Сам ешь досыта,— отказался Мурилe.— У тебя такой вид, словно ты недоедаешь.

— Я стар,— вздохнул пастух, счищая кашу с ложки о край кастрюли.— Много ли мне нужно?

— Был бы табачок,— ухмыльнулся Шиллинг Мурилe и продел шнурок в ботинок.— У тебя же овцы, жрал бы их.

— Женщина не позволит, их надо сохранить.

— Какая женщина? Ма-Тау?

— А кто же еще? Она здесь у нас сила, главнее Хлангени. Говорит, если съедим овец, ничего не останется на развод, когда снова пойдут дожди. В засуху столько овец подохло, а что нам делать без отары?

— Ну а если все околеют, что тогда?

Старая собака пастуха, лежавшая у стены, встрепенулась и глухо зарычала, повернув исполосованную шрамами морду к двери. Они услышали звук шагов по сухой земле, потом зычный женский голос, заглушивший звон цикад:

— Эй, ты! Выходи!

— Ма-Тау, легка на помине,— морщинистое лицо пастуха нахмурилось.— Что ей от меня надо? Небось отчитывать пришла. Львица, не могла до утра подождать!

— Выходи! Мне не влезть в твою жалкую конуру.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал Шиллинг Мурилe, поднялся на ноги и, пригнувшись, шагнул к порогу. Мадонеле успокаивал собаку.

Лунный свет превратил кроны терновника в затейливые кружева. В краале на склоне ближнего холма щипали траву овцы. Внизу, в деревне, все еще продолжалась возня. Выйдя за порог, Шиллинг Мурилe увидел грузную женскую фигуру на фоне дальней зарницы. Она заслоняла звезды, в черной канве неба образовалась как бы прореха.

— Вот и ты,— сказала она.— А я по твою душу, не нужен мне пастух — это жалкое пугало. Сакубона, я рада тебя видеть.

— Кунжани, как поживаешь, Ма-Тау? — ответил Шиллинг Мурилe.

— Ты узнал меня?

— Разве львицу можно забыть?

Женщина громко рассмеялась, сверкнув мелкими зубами, сделала шаг вперед. Теперь он мог разглядеть ее: широченное платье, как палатка, перехвачено кожаным ремнем, массивные руки, глазищи на пол-лица.

— Пришлось взбираться в гору,— сказала она, часто дыша.— А я не так легка на подъем, как прежде.— Она оглянулась, заметила валун, подошла к нему и села.— Погоди, дай дух перевести.— Большое лицо было залито лунным светом, широкий рот улыбался.— Я видела, как вы с пастухом шли к кладбищу, и сразу тебя узнала.

На пороге хижины показался Мадонеле. Прищурившись, он вглядывался в темноту.

— Уходи, пастух,— прикрикнула на него Ма-Тау,— не то раздавлю тебя, как блоху. Я пришла поговорить с этим парнем.

— Чего тебе от меня надо? — настороженно спросил Шиллинг Мурилe.

Женщина опустила свои ручищи на могучие колени.

— Как же, ты ведь наш, деревенский. Сколько лет прошло с тех пор, как ты здесь куролесил? Привязывал пустые жестянки к собачьим хвостам, яйца воровал. Почему же мне не поздравить тебя с возвращением в родные края? Жаль, не осталось у нас жирных телят, а то бы зарезали в твою честь, как учит Библия.

— Думаешь, я насовсем вернулся? — Шиллинг Мурилe тоже сел, прислонившись спиной к стене хижины, глядя на женщину тяжелым взглядом.— Поглядел на могилу и пойду дальше.

— О да, мы ведь превыше всего чтим предков, покойных родичей, братьев, сестер. А я-то увидела издалека, как ты шагаешь рядом с этим убогим пастухом, и подумала: «Нет, он вернулся не для того, чтоб побывать на могиле брата. Они ведь так любили друг друга, он не простил его смерти — пусть теперь кое-кто ждет беды».

— Беды?

— Уж я эти вещи чую издалека,— сказала женщина с серьезным видом.— Говорят, месть сладка. Ты здесь, чтобы насладиться ею?

— Тебе-то что? — огрызнулся Шиллинг Мурилe.— Просто хочу взыскать должок.

— Вот-вот,— согласилась Ма-Тау.— А сколько таких неоплаченных долгов. Я тебе не помеха, только послушай сперва. Народ решил взыскать долги, близится время сводить счеты. По всей стране люди чувствуют это. Тебя долго не было, вот и не знаешь, как бурлит каша в горшке. Конечно, долг, за которым ты пришел, важен для тебя, но много ль он значит в сравнении с общим нашим, главным долгом?

— Не суйся в мои дела,— перебил ее Шиллинг Мурилe.— Разве не моего брата убили?

— Так-то оно так, ты имеешь полное право на возмездие.

— Я восемь лет просидел в тюрьме у белого человека.

— Все знаю, парень, только наш народ томится в этой тюрьме всю жизнь. Наши вожди в застенках, все мы в заточении. Вся страна — сплошная тюрьма. Люди мрут с голоду, их убивают, стреляют и вешают.

— Зачем ты говоришь мне это?

— Ты можешь принести пользу. В тебе сидит злоба, крутая ненависть, желание добиться справедливости. Но мало справедливости для одного себя, даже если твой замысел удастся. Это пустяк, нужна справедливость для всего народа. Человек с твоей жаждой мести может всем сослужить службу.

— Да на что вы мне дались! — буркнул Шиллинг Мурилe.— У меня свое дело, покончу с ним и пойду своей дорогой.

— Куда?

— Все равно, куда глаза глядят.

— У тебя есть пропуск?

— Плевать мне на их пропуска, обойдусь без бумажек.

Женщина рассмеялась, крупное тело ее заходило ходуном.

— Вот видишь! В тебе сидит дух неповиновения.— Она покачала головой.— Айи, только без этих бумажек далеко не уйдешь. Когда женщин впервые заставили носить их, я была среди тех, кто устроил поход протеста в столицу. Тысячи женщин шли с нами, это придавало сил. Чем нас будет больше, тем трудней совладать с нами.

— Ты, видать, опасная женщина. Тебе место в городе, а не здесь.

Она снова рассмеялась:

— Ба, белые сочли меня слишком опасной, поэтому я опять тут. Поехала в столицу учиться на медсестру, а они рассудили иначе. Им же хуже, сами лезут в капкан, смутьянов из города отправляют по деревням. Но разве тут царит покой и местные жители всем довольны? Голодных африканцев, сидящих без работы, выпроваживают из города — пусть голодают в деревне. Если крестьяне и рабочие объединятся, выступят заодно, капкан захлопнется и белым крышка!

— Ты опасная женщина, а еще сестра вождя! — сказал Шиллинг Муриле. Он не придавал особого значения ее словам, просто слушал из вежливости, чтоб не обидеть собеседницу.

— Сестра вождя,— повторила она грустно, не меняя позы, сложив тяжелые руки на коленях.— Он незлой человек, но не такой, как ты. Свято верит в силу правительственных бумажек, склоняет голову перед законом, и они заметили это. Его понизили, сделали старостой, но не лишили жалованья. Он благодарен им и не смеет ослушаться. Но даже ему они не доверяют до конца — потому-то и низложили.

— Вождь из него никудышный,— мрачно сказал Муриле.— А еще в школе учился, даром потратил столько лет.

— Школа! — ухмыльнулась женщина.— И я в нее походила. Вышагивали оба — шесть миль туда, шесть обратно, школа-то была при миссии.— Она покачала головой.— Нет, там не научат быть вождем. Он ведь и в колледже учился... И все же я не теряю надежды, он образумится...

— Ты долго жила в городе?

Женщина снова рассмеялась:

— Вот где жизнь бьет ключом! Шум, суета, все мечутся, спешат. А мне в городе нравилось. Что мы там выделывали! — Глядя куда-то мимо хижины, в непроглядную тьму без звезд, она погрузилась в воспоминания: — Я вступила там в организацию взаимопомощи Уконго и в профсоюзную ячейку. Когда мне пришлось уехать, друзья в складчину устроили вечеринку в мою честь. Хой, вот это был праздник! Веселились всю ночь и весь следующий день. Собралось много народа, одни гости уходили, другие приходили — я жила в пригородной локации. Никто не являлся с пустыми руками. Хочешь танцевать — клади монетки на поднос, оркестр играл только за деньги. Хочешь выпить или рассказать забавную историю — гони монету. От пива и бренди все разгорячились, языки развязались, деньги текли рекой. Хоу, песни и танцы чередовались с тостами. Знаешь, как затягивается индаба. Парочка драчунов затеяла было потасовку, но я живо привела их в чувство. Один старик — его звали, кажется, Молвене — рассказал притчу о крокодиле. Не помню ее всю, очень уж длинная была притча, но его пример соблазнил многих — у каждого была наготове история. Старика прервали, он разобиделся и ушел. Рассказчики состязались во дворе, а танцы устроили в доме. Об этом вечере долго еще говорили. Я до сих пор получаю письма. А собранные деньги пошли в фонд нашей организации, и скажу тебе... Ну, ладно, разболталась, как старуха. С чего мы с тобой начали?

«И впрямь несет околесицу,— подумал Шиллинг Муриле,— стоило тащиться на край света, чтобы слушать ее трескотню; мне пора».

Но женщина не умолкала:

— Ах, да, мы толковали о Хлангени, моем брате.— Она прищелкнула языком и посерьезнела.— Иногда мне бывает стыдно за него. Вот, например, пожаловал сюда комиссар по делам туземцев со списком подлежащих выселению, а с ним его помощник. Так именно мой братец повел их по деревне — указать нужные дома. Помощник комиссара метил краской двери, а Хлангени молча наблюдал за ним. Хотя вид у него был жалкий, да и не позорно ль участвовать в таком деле!

— Чего ты добиваешься? — неохотно спросил Шиллинг Муриле. Он не хотел встревать в чужие дела, но любопытство взяло верх.— Я слышал твою речь на сходке.

Женщина развела большими руками, точно обнимая темноту.

— Вся эта земля была нашей, она завещана нам предками. И в этом мой брат прав. Поля, пастбища, холмы — все это наш дом, несмотря на законы белого человека. Так вот, мы избрали комитет, выслушали всех и приняли решение.

— А твой брат? Он знает о комитете? Это ведь подрывает его власть.

Женщина пожала похожими на две горы плечами.

— Может, знает, а может, нет. Мы держим это в секрете, но не исключено, что кто-то из женщин или стариков проболтался. Впрочем, если бы брат донес на нас, здесь бы уже были войска. Скорее всего он знает, но не решается предать, боится вконец осрамиться, прослыть гиеной; его плечи и без того согнулись под бременем стыда.— Она пристально глядела на Мурилe, белки ее глаз выделялись на широком темном лице.— Я и тебе сперва не думала открывать секрет, но в тебе я уверена. Ты — наш, даже если на словах и отрицаешь это. Твоя ненависть к белым делает тебя нашим сообщником.— Она улыбнулась, мелкие белые зубы сверкнули в свете луны.— Ты неплохой парень, только вот хмурый очень. Если думаешь...

Она смолкла на полуслове — внутри хижины снова зарычала собака, послышался треск раздвигаемых веток, хруст кустарника. Из темноты выбежала девчушка в драном платьице, с туго заплетенными косичками.

— Это ты, малышка, что еще стряслось? — спросила Ма-Тау, и голос ее заметно смягчился.

— Ма-Тау, скорее, тетка Тсоане зовет...

Женщина не торопясь встала, тряхнула тяжелыми руками.

— Йох, не вовремя. Иду-иду, детка.— Она взглянула на Шиллинга Мурилe, девочка тем временем снова исчезла во мраке.— У роженицы начались схватки.— Она покачала головой, прищелкнула языком, сказала сухо: — Ее муж ушел на заработки. Великодушный закон позволяет жене раз в год погостить у мужа, провести с ним семьдесят два часа, трое суток, чтобы понести. Так было и с Тсоане. Что ж, пойду помогу явиться на свет ее чаду.— Повернувшись к двери хижины, она повысила голос: — Мадонеле, ты слышишь меня, старый? Не забудь, что я тебе велела!

Пастух появился на пороге и поклонился ей.

— Как можно, Ма-Тау, как можно! — Седая его голова белела в лунном свете.— Все сделаю, как ты наказывала.

Тяжелая рука похлопала Шиллинга Мурилe по плечу. Парень встал, он все еще был босиком, не успел обуться.

— Ну что же, прощай! Возможно, мы больше и не увидимся... — Она покачала крупной головой, обнажила в улыбке зубы.— Мир с тобой, ты парень что надо!

Тяжко ступая в темноте, она направилась в деревню, где все еще не затихала жизнь. Шиллинг Мурилe вернулся в хижину пастуха. Огарок, совсем оплыв, светил еле-еле, круглые стены окутал полумрак. Он сел поближе к свету, отряхнул пыль с босых пяток. Пастух, согнувшись в три погибели, наблюдал за гостем.

— Уходишь? — жалобно спросил он.

— Давай покурим с тобой напоследок,— сказал Мурилe, надевая ботинки.

— Львица эта кого хочешь заговорит,— хмыкнул Мадонеле, думая о табаке.— Ишь раскомандовалась! «Сделай то, сделай это!» Никак ей не угодишь. Хоу, рычит все время...

— Трубит, как слониха,— подхватил Мурилe,— и весит небось не меньше.

— Айи, что за женщина! Как тебе понравились ее речи?

— Да я слушал вполуха.— Не глядя на старика, Шиллинг Мурилe достал из кармана куртки табак и папиросную бумагу.— У меня своих дел хватает.

Он вызывающе глянул на пастуха, ожидая, что тот начнет ему возражать, но Мадонеле молчал, пряча похожие на изюминки глаза и водя гощей пятерней по собачьей шерсти. Мурилe, присев на корточки, скрутил сигарету. Тщательно облизнув ее, придал нужную

форму и передал пакет с табаком пастуху. Тот принял его в сложенные чашечкой ладони, вежливо поблагодарил, стараясь скрыть волнение и радость. Молча набив трубку, он вернул пакет Муриле, не мешая гостю перебирать свои мрачные мысли. Вдруг молодой человек вскочил на ноги.

— Я теряю здесь время, старик,— выкрикнул он.— Ночь надвигается, мне давно уж пора идти.

— Ну извини,— простодушно сказал пастух.

Шиллинг Муриле зыркнул на него глазами, щурясь от табачного дыма, пожал плечами и, подхватив куртку, вышел через низкую дверь хижины.

— Иди с миром,— пробормотал пастух,— доброго тебе пути.

Муриле натянул на себя куртку, она затрещала на его могучих плечах. Было по-прежнему душно, зажглись звезды, далекая луна катилась по нависшему небу, как плоский камешек, запущенный ввысь великаном. Вокруг трещали сверчки, в деревне догорали головешки в очагах. Тяжелые ботинки поскрипывали по мелкому песку и редкой сухой траве.

Пастух, сидя в хижине, прислушивался к удаляющимся шагам гостя. Жилистая пропыленная рука поглаживала спину собаки. В другой он сжимал трубку с длинным мундштуком и высокой чашечкой. Задумчиво попыхивая, он глядел вдаль. Огарок дрогнул и угас, старик повернул белую голову и успел разглядеть пакет с табаком, оставленный ему Шиллингом Муриле.

Тяжелые доски потолка провисли, в нем появились трещины. И все же — какая ни есть, а крыша над головой! В комнате был старинный буфет с литыми чугунными ручками на дверцах и ящиках, опоясанный поверху фарфоровым орнаментом. В хрустальной вазе пылились искусственные цветы. На побеленной стене, в облупившейся багетной раме — большая выцветшая фотография мужчины в старинном мундире, похожем на адмиральский. Это был отец Хлангени, который сподобился однажды побывать на аудиенции у самого генерал-губернатора. Рядом еще одна фотография — на ней Хлангени, совсем юный.

Хлангени забился в потертое кресло, отдаленно напоминавшее трон. В нем трудно было узнать юношу, который позировал фотографу на фоне пальмы в кадке, облокотясь на высокую тумбу. Он сидел без пиджака, накинув на сутулые плечи старый плед. На резном столике горела керосиновая лампа с бронзовой подставкой, хранившаяся в доме еще со времен его матери. Свет лампы играл в его седых волосах; в глазах табачного цвета видны были гнев, заботы, усталость и печаль. Темные пальцы перебирали ворсинки пледа, глаза, прикрытые складками кожи, уставились в пространство. Обеденный стол и стоявший на нем графин с водой тонули в полумраке. Несколько дверей вели в другие помещения; из-за зашторенного окна доносились приглушенные голоса, стрекот сверчков и стук топора. Хлангени удивился: и кому это приспичило работать среди ночи?

Входная дверь внезапно отворилась, в комнату проник отблеск звездной ночи, запах костра. Потом на пороге выросла дородная фигура его сестры. Хлангени разглядел ее сверкающие белизной мелкие зубы.

— Можно к тебе? — спросила она, затворяя за собой дверь.

— Ты и так уж вошла,— ответил он не без раздражения и потупился.— Приходишь и уходишь когда пожелаешь, говоришь что тебе вздумается.

Тяжело ступая, она приблизилась к нему, мужские ботинки застучали по утрамбованному земляному полу.

— Тсоане родила двойню, нашла время! Муж-то ее в городе.

— Близнецы? — буркнул Хлангени.— Раньше бы все радовались доброму предзнаменованию. А теперь это два лишних рта. Твоими ерундовыми проповедями их не накормишь.

Она грузно опустилась на кушетку рядом с его креслом.

— Придется поручить Тсоане с новорожденными твоим заботам.

— Мне теперь только и дел, что стирать пеленки да возиться с младенцами...

— И стариками! — сурово закончила за него сестра.— Ни на что другое ты не годен. Кто знает, может, двойняшки, когда подрастут, станут твоими послушными подданными. Роженица не в состоянии идти с нами; те, кто остается, должны будут приглядеть за нею.

Он посмотрел на сестру, подпоясанную мужским ремнем, и губы его скривились в ухмылке.

— Ты их всех приведешь прямиком в преисподнюю, вот увидишь!

— А не лучше ли,— резко перебила его Ма-Тау,— угодить в ад, но сохранить достоинство, чем терпеть унижения в ихнем раю? Если они хотят прогнать нас отсюда, пусть явятся и побегают за нами по горам.

— Что это там рубят? — спросил Хлангени, пальцы его все бегали по пледу.

— Мужчины строят баррикаду,— ответила сестра.— Мы не пропустим сюда их грузовики.

— Какая глупость! — вскричал Хлангени.— Что это вам даст?

— Найди, наконец, в себе хоть каплю мужества,— ответила она, печально глядя на брата.— Твои предки выходили с копьями против ружей.

— И были истреблены,— внезапная вспышка гнева прошла, голос его снова стал тусклым, бесстрастным.

— Да, они были разбиты, но не истреблены. Ты знаешь это не хуже меня. Настанет день, когда и у нас будут ружья.

Лампа закоптила, запахло гарью. Протянув большую руку, она привернула фитиль.

— Глупости,— повторил Хлангени в сгустившемся мраке.— Всей этой ерунды ты нахваталась в городе. Уж оставалась бы там. Ты наш злой дух.

— Меня, как тебе известно, оттуда выслали.— Она уставилась в дальний угол, окутанный мраком, словно увидела там кого-то.— Я полюбила город. Мне не хватает его шума, ощущения кипучей жизни.— На мгновение она словно отключилась, погрузившись в свои мысли. Калейдоскопом мелькали воспоминания...

Вот она едет в пригородном поезде, длинная вереница вагонов третьего класса грохочет на стыках. Как обычно, вагоны битком набиты черными рабочими; после трудового дня их развозят по локациям и отдаленным поселкам. На жестких деревянных скамьях и в проходах яблоку негде упасть, люди сидят даже в окнах, выставив наружу зады. Смельчаки едут на буферах и сцепах, держась за каждый выступ. Поезд раскачивается на стыках, пассажиров швыряет из стороны в сторону, они толкают друг друга, цепляются за соседей, стараясь удержать равновесие, чертыхаются, хохочут, лица блестят от пота, воздух в вагоне тяжелый, спертый, пахнет немытыми телами. За окнами проносятся богатые предместья, чистенькие коттеджи под черепичными крышами с аккуратно подстриженными живыми изгородями; иногда попадаются особняки, окна в них сияют, вокруг — лужайки и клумбы. За предместьями начинаются пустыри, городская свалка, автомобильное кладбище, похожее на поле битвы. Поезд сбавляет скорость возле покосившихся бараков и лачуг. Они жались друг к другу, словно боялись упасть. Вечернее солнце играет на ржавых крышах и бочках для воды под уродливыми навесами. Трущобы остаются позади. Раскачивающиеся вагоны, набирая скорость, рассе-

кают акр за акром, точно лесной пожар несутся мимо застывших сомкнутых рядов унылых двухкомнатных коробок из прессованных блоков, крытых асбестом и жестью; серые, безликие геометрические фигуры под нестираным покрывалом туманной дымки, повисшей в сумеречном небе.

У замусоренной станционной платформы двери вагона распахиваются, точно раскрывшиеся раны, люди темными сгустками вываливаются наружу и, переводя дух, устремляются к выходам. Топот множества ног заглушает смех. Работяги торопятся засветло добраться до своих лачуг.

Женщина с сумкой, набитой каким-то хламом, толкает Ма-Тау в бок; впереди мужчина в драном комбинезоне балансирует с грузом досок на плече. Он свистит и покрикивает, требуя, чтобы ему уступили дорогу. Все спешат, людской поток обтекает ее, словно речной валун.

Людям сегодня повезло — нет проверки пропусков, и толпа растекается во все стороны к разбросанным черным гетто под недреманным оком двух дежурных полисменов, сидящих в кабине «лендровера». Стекла машины затянуты толстой проволочной сеткой. Черный констебль с копьем в руке стоит снаружи, поставив ногу на бампер.

Она игриво здоровается с констеблем, но толпа уносит ее мимо патрульного автомобиля, увлекая в улицу, образованную двумя рядами совершенно одинаковых кубиков. Она частица толпы, ее дом — в одной из этих конурок с пыльным клочком земли перед входной дверью, обнесенным изгородью из прутьев и проволоки. Вдоль дорожки — кучки сланцевой золы, битая черепица, пустые консервные банки. Внутри — копоть и сажа по углам, стены в трещинах.

Иные из работяг плетутся следом за голопузыми малышами, которые тянут их за руки. Дети постарше — в отрепье с родительского плеча, купленном в свое время на дешевой распродаже. Толпа бурлит — точь-в-точь беженцы, спасающиеся от наводнения.

Это ее кровное: усталость, смех, возвращение домой, жареное тесто, размякший рубец, кислая каша, ломти вчерашнего хлеба, дети в лохмотьях за заборами, запах дыма с пропыленных дворов.

Людям все это до смерти надоело. Они изнемогают от усталости, вечного безденежья, постоянных облав и проверок. Изголодавшийся человек среди бела дня зашел в лавку в центре города, схватил с прилавка цыпленка, выскочил за дверь и съел его тут же, на тротуаре, на глазах у окаменевших от изумления покупателей и продавца. «Они устали голодать»,— думала она. Об этом говорят в замызганных заводских столовках, у фабричных ворот, во дворах, на митингах; пишут об этом на стенах кровоточащей краской...

— Вождя положено слушаться,— сказал Хлангени, прервав ее мысли.

Она очнулась, вновь услышала треск цикад и стук топоров, поглядела на брата с кушетки, на которой едва умещалась. Он маячил перед ней в полумраке, забившись в кресло, беспокойно поводя руками, словно пытаясь собрать в кулак остатки мужества, гордости, достоинства. Осунувшееся лицо подергивалось от напряжения, на нем не осталось и следа былой величавости.

— Вождь, конечно, вправе рассчитывать на послушание,— сказала она с оттенком сострадания.— Но ведь сам ты смирился, когда тебя назначили старостой. Позволил им отнять у тебя звание вождя. Сначала тебе дают права и власть над людьми, потом отбирают. И ты ждешь от них послушания.

— Времена изменились.

— Эве, это так, теперь другие времена. Раньше вождь прислушивался к словам своих советников. Потом пришли белые, и вождь стал в их руках кнутом, чтобы стегать людей. Вот народ и говорит: «Если вождь — это только кнут, отшвырнем его!»

— Я ограждаю их от неприятностей.

— Вот как? Почему ж мы тогда не вылезаем из бед?

— Но нам дают новую землю взамен этой,— беспомощно пробормотал Хлангени.

— Новая земля? А ты видел ее? Растет ли на ней трава? В ней ли зарыты кости наших предков? Там ли прах нашей матери? Что, если ты захочешь посидеть и поразмыслить у могилы отца,— он ведь тоже был вождем. Пойдешь к ним за разрешением? «О великий хозяин и господин,— скажешь ты смиренно,— я хочу побывать на отцовской могиле, дайте мне клочок бумаги, который доведет меня туда». А еще твердишь: я вождь! — Она резко поднялась, хоть ей это стоило немалых усилий. Учащенно дыша, она посмотрела на него сверху вниз.— Найди же в себе мужество, хоть каплю!

Тяжело ступая, она подошла к двери, опустила руку на засов и оглянулась на брата. Его силуэт расплывался в мерцающем свете лампы. Приоткрыв дверь, она сказала:

— Я велела пастуху отогнать овец в горы.

И прежде чем выйти, еще раз пристально взглянула на ссутулившегося в кресле старика.

— Чудеса,— хмуро произнесла она, точно рассуждая вслух.— Когда мы поем гимны богу дождя, белые нас высмеивают, а теперь сами устраивают молебен...

Луна была похожа на серебряную монету, брошенную на черное сукно неба, звезды погасли и попрятались. В воздухе разлилась предутренняя прохлада, смягчив слегка духоту ночи. Вокруг старого, покосившегося фермерского дома все еще пели на разные голоса сверчки; в ломкой траве шевелились ночные насекомые. Фермерская овчарка, спавшая под домом, проснулась, насторожила уши и глухо зарычала. По гравию заскрипели шаги, собака неслышно поднялась, принюхиваясь. Шаги замерли в темноте, но запах человека усилился, и овчарка, оскалив клыки, бросилась на пришельца, распоров лаем ночную тишину.

Лежа на широкой допотопной кровати, старик заворочался, забормотал, не желая расставаться с недосмотренным сном. В прогнившей соломенной кровле шуршали крысы, балки перекрытия поскрипывали от дряхлости и перепада температур. Несмотря на душную ночь, старик был укутан в одеяла, жизнь незаметно ускользала из тела, и истонченным костям недоставало тепла. Беззубый рот на сухом, как пергамент, морщинистом лице судорожно ловил воздух. А за старыми глинобитными стенами в жесткой спутанной траве все громче лаяла собака.

Задремав, он снова видел себя мальчишкой. Другая собака беспокойно мечется в высокой траве. Бородатые, обветренные всадники в одеждах из шкур и парусины, пахнущие сыромятной кожей и потом, едут по вельду, сняв ружья с натертых плеч и держа их на луке седла, зорко поглядывая по сторонам из-под широких полей старых фетровых шляп. Подстреленная лань перекинута через хребет запасной лошади, ее поводья доверили ему.

Перед ними волнистая, поросшая желтой травой равнина уходит вдаль, к самому горизонту. Осадив лошадей, всадники чутко прислушиваются... Он рядом с ними на гнедой кобылке, держит поводья вьючной лошади. Беспокойные собаки скачут между ними, чудом не попадают под копыта. Далеко позади осталось их селение: лавка, домики под цинковыми крышами. Отряд взял с собой мальчишку, выучившегося стрелять и ездить верхом, чтобы испытать его в настоящем походе,— пусть наберется у старших опыта и сноровки.

Один из всадников сплюнул табачную жижу и сказал:

— Это бывшая страна бушменов; их давно уже загнали в пустыню, но изредка они охотятся здесь.

Остальные промолчали; это были люди неразговорчивые, более склонные к решительным действиям, чем к пустым словопрениям. Беседы уместны у костра на привале, на крыльце или веранде, в праздники. Они заселили и освоили эту землю, вплоть до самых отдаленных границ, где теперь кочевали со скотом отважнейшие из пионеров.

Мальчик в новенькой жесткой касторовой шляпе, сидя в седле, наблюдал за темным пятном, маячившим на горизонте,— стадо антилоп-гну. Вдруг сорвавшись с места, оно ринулось на восток, и стук копыт донесся отдаленной барабанной дробью.

Собаки, оторвавшись от всадников, помчались к волнистым, поросшим травой буграм.

— Назад!— крикнул им жующий табак мужчина и отдал приказ отряду:— Врассыпную!

Всадники пришпорили сбившихся в кучу коней, и тут один из них, издав короткий стон, повалился с седла — маленькая стрела вонзилась ему под лопатку. Мальчик, испугавшись, отпустил поводья вьючной лошади, все поскакали в разные стороны, стрелы падали в траву рядом с ними. Мужчины вскинули однозарядные ружья; выцветшие от солнца глаза припали к прицелам. У мальчика заколотилось сердце, в высокой траве он увидел крошечные фигурки с луками в руках. Обе собаки замертво рухнули на колючую траву.

Луки дрогнули — расстояние было велико и звона тетивы не слышно,— всадники дали ответный залп, пустили коней галопом, на скаку перезаряжая ружья.

Мальчик заметил, как голые фигурки пустились наутек. Всадники, обгоняя их, окружали налетчиков и стреляли с седел. Фигурки неуклюже падали, катались по траве. Отряд мчался вперед, обшаривая высокую траву, топча трупы крошечных людей в набедренных повязках и накидках из шкур. Внезапно на флангах отряда снова поднялись маленькие фигурки, и в этот раз он услышал пение тетивы. Рядом с ним, захрапев, рухнула лошадь, увлекая всадника за собой, и опрокинулась кверху брюхом, подминая седока. Еще один бородатый воин, перепоясанный патронташем, упал с седла навзничь. Полуголые лучники ростом были не больше детей. Пораженные пулями большого калибра, они падали, дергаясь всем тельцем. Некоторые туземцы успели добежать до леса, и вожак окликнул всадников, прекращая погоню.

Упавшая лошадь околела, ей в холку угодила отравленная стрела, погиб и всадник — у него был переломлен позвоночник. Мужчина, которого ранило первым, промучился еще час, яд действовал не сразу.

— Дьявол!— чертыхнулся вожак, сплевывая табачную жижу.— Они спугнули стадо, чтобы отвлечь наше внимание. Наверно, охотились здесь, а мы им помешали.

— Собак убили,— с грустью сказал мальчик.

Один из мужчин носком сапога перевернул крошечный труп туземца, из раны вывалились внутренности, и мальчика стошнило. Невидящие маленькие глаза убитого уставились в небо, на кривой шее болталось ожерелье из скорлупы страусиного яйца.

— Возьми себе,— сказал мужчина, протянув ожерелье трясущемуся от страха подростку,— на память о первом бое.

— Маленькие дьяволы с отравленными стрелами,— сказал кто-то.— Мы-то думали, с ними давно покончено.

Над свежими могильными холмиками в высокой желтой траве вожак прочел подходящую к случаю страничку из старой Библии, которую возил в переметной суме вместе с вяленым мясом и кофейными зернами. Потом они снова пустились в путь, ведя на поводу лошадей убитых товарищей. Вожак выставил дозорных, и мальчик обрадовался, когда и на него пал выбор. Он отъехал в сторону, и взрослые не

заметили ни его трясущихся рук, ни землистой бледности его лица под широкополой касторовой шляпой. Мужчины насупились, скорбя по погибшим, думая о скорой неизбежной войне с англичанами.

В подернутых паутиной уголках его старческой памяти хранилась груда лоскутов и обрывков прожитой жизни, и лишь изредка в ней возникало какое-то подобие порядка. Но сейчас он снова погрузился в черную трясину сна. Смерть притаилась, ждала в ногах кровати, терпеливо снося упрямство старика, цеплявшегося за жизнь, позволяя ему иногда роскошь сновидений. Неизбежная вечность надвигающегося безмолвия будет суровой расплатой за вереницу неясных образов и видений, возникавших на дырявом, мутном экране памяти.

Ворочаясь в измятой постели и безуспешно пытаясь согреться, он бормотал сквозь сон: «Они убили собак». Скорее всего воспоминание это было навеяно предсмертным хрипом овчарки, донесшимся со двора. Когда она метнулась из-под дома, руки Шиллинга Мурилe ловко сомкнулись на горле собаки и прервали ее лай, сжимаясь все крепче. Овчарка забилась, роя когтями песок, и замертво повалилась на землю.

Бледный свет луны заливал двор дома Меулена-деда, построенного хозяином много лет назад. Крысы возились в соломенной кровле, на крыльце догнивало плетеное кресло — старик настолько ослаб, что был уже не в состоянии до него добраться. Изрытый колдобинами двор граничил с широким газоном и клумбами перед новым домом.

Новый дом в плане напоминал букву Н. В старину фермерские постройки обычно были Т-образные, но у нового дома было еще одно двухэтажное крыло с башенками по бокам. Наверху помещались спальни, внизу — большая кухня и кладовая. С фасада к этому крылу была пристроена веранда с красными полированными перилами и остроконечной крышей в стиле барокко; по бокам изгибались высокие своды. Входные двери были из мореного тика, по обе стороны от них — окна просторной прихожей, вернее, переднего зала, украшенного инкрустированными панелями из ореха. Справа находилась парадная гостиная, где принимали посетителей, и столовая. По другую сторону — кабинет хозяина, его библиотека (будущему члену парламента необходимо иметь под рукой подшивки правительственных ведомостей) и оружейная (Ханнес Меулен, несмотря на занятость, выкраивал время для охоты).

Новый дом неслышно плыл в белом лунном свете, отражавшемся в оконных стеклах второго этажа. Где-то в траве трещали ночные насекомые, и старик, ворочаясь в провисшей кровати, бормотал как индюк, отхаркивая мокроту.

— Пусти меня к нему,— захныкал Коос, услышав стариковское кряхтенье. Он был сморщенный и маленький, точно пигмей, обезьяньего личика почти не было видно в темноте под шапкой седых курчавых волос. Он корчился в тисках — огромная рука крепко держала его за ворот заношенной шинели.

— Иди, иди!—ехидно сказал тот, кого звали Шиллинг Мурилe.— Раб, следовало бы и тебе свернуть шею, как хозяйской овчарке.

— Зачем ты убил собаку? Она состарилась тут вместе с господином...

— Всех бы вас так,— буркнул Мурилe и затряс слугу, точно пустую тыкву.

Услыхав предсмертный хрип овчарки, Коос вышел из своей конуры при кухне на задах старого дома, и тут его сграбастала возникшая из тьмы рука.

— Ты не убьешь его?— скулил он.— Пожалуйста, не трогай старого господина!

— Господин! А ты его раб и был рабом всю жизнь!

За темным окном снова закашлялся старик.

— Он и так скоро помрет,— зашептал Коос.— Мы с ним свое отжили, наше время пришло, ты уж оставь его в покое.

— И ты будешь сидеть у его постели, пока он не испустит дух, а потом омоешь его слезами.— Внезапно вскипев, Муриле грубо ухватил за ворот трясущегося Кооса, едва не придушив дряхлого слугу.— Так и останешься рабом до конца! Забыл, что они вытворяли? Как обошлись с твоим народом?— Последнее слово, непривычное для его языка, он выговорил с трудом, ощутив во рту странный привкус.

— Это было давно, зачем ворошить старое? А со мной хозяин был добр.— Хрупкие пальцы, как сухие веточки, забегали по могучей руке Муриле.— Что ты тут ищешь?

Муриле невесело ухмыльнулся:

— Не для того проделал я долгий путь, чтобы свернуть шею паре старых петухов. Говори, раб, молодой господин спит в том красивом доме?

— Он в городе. Должен вернуться завтра к вечеру. В городе он ночует в гостинице для белых.

— А Оттерман?

— Он уже несколько лет, как умер.

— Умер, говоришь? Что ж, ему повезло. Значит, в том доме никого?

— Никого,— прошамкал беззубый рот.— И взять тут нечего. Новая мебель, но ничего такого, что можно унести. Женится молодой господин, тогда накупит дорогих вещей.

— Собака, раб!— процедил Муриле.— Ты принял меня за вора?— Он зловеще оскалился, и его зубы засверкали в лунном свете.— Неужто не помнишь — я работал здесь много лет назад.

— Сдается мне, что я тебя видел когда-то, но никак не припомню где,—пробормотал Коос, с беспокойством поглядывая на темное окно старого дома.

— А ты вспомни,— продолжал Муриле,— нет ли и моей заслуги в том, что эта ферма стала такой, как теперь? Не ходил ли я по пятам за молодым Меуленом? Мальчишкой я таскал его ружья, когда он шел на охоту.

— Потом ты исчез,— пискнул старик со сморщенным, как у мумии, лицом.— Зачем ты вернулся?

— Увидеть места, где прошло детство. Никому не заказано вернуться на землю своей юности. А тебя не тянет в родные места, старик? Ах да, ты ведь раб, следующий как тень за хозяином, вплоть до могилы. Но я, я проделал этот путь, чтобы...—И снова в нем что-то закипело:— Чтобы побыть со своим народом.

Вдруг тон его резко изменился, и, приблизив свое лицо к сморщенной маске над стянутым в узел воротом шинели, он гаркнул:

— Пришел полюбоваться на здешнюю красоту, давненько ее не видел. Что, молодой господин не выкинул ружья, с которыми охотился? А чучела куду? Взглянуть бы одним глазком, вспомнить, как таскал их...

— Меня выпорют, если узнают, что я тебя впустил. Мне доверяют все ключи. Я прибираю, мету полы, вытираю пыль. Но если впущу тебя, порки мне не миновать.— Сморщенное личико искривилось, как у ребенка, из глаз покатились слезы.

— Ба! — сказал Шиллинг Муриле.— Я могу сломать тебе хребет, словно ветку, кто тогда будет у постели твоего обожаемого господина, когда он отдаст богу душу? Я могу силой отнять ключи, могу поджечь дом. Вот будет потеха, станет светло как днем.— Он хохотнул.— Устроим пикничок, баранинку поджарим...

Старый слуга застонал, а внутри покосившегося дома за зашторенным окном снова зашелся кашлем старик, забормотал во сне:

— Карел, эй, Карел, прости меня. Я буду за тебя молиться... Странно, почему Карел в том же костюме, что и тогда на моей свадьбе? Только лицо чужое, мертвое, пустой, невидящий взгляд, на шее ожерелье из скорлупок страусиного яйца, и трава вокруг вся в крови...

Старик проснулся и, лежа в темноте, все вспомнил. Карел, его закадычный друг, неуклюже распластался среди подлеска на северо-восточном склоне горы Спионкоп. И был он тогда не в выходном костюме, а в комбинезоне из «чертовой» кожи и жилете в горошек, перехваченном патронташем. Одежда на нем, казалось, была с чужого плеча, потому что лежал он неуклюже, убитый пулей «лиметфорда», угодившей ему в голову. На светлых волосах запеклась кровь. Склон был сплошь усеян трупами, но старик, совсем еще юный солдат, не замечал их, рыдая над другом; слезы застилали взор, стекали по коротко подстриженной бороде. «Карел, ах, Карел, мне так тебя жаль, я буду молиться...» Он бормотал молитву на староголландском языке, а вокруг все еще шел бой. Потом другие солдаты оттащили его от трупа, и он снова пополз вверх по склону под огнем ланкаширских стрелков.

Они с Карелом участвовали во многих кампаниях, сражались с туземцами и англичанами. Лунный свет, проникнув в тесную комнатку через щель в шторах, повис над ним, как костлявая пятерня безжалостной смерти. Когда же она опустит свою длань? Он готов, он не раз смотрел ей в лицо... Бедный, бедный Карел... Река Моддер. На ней была искусно устроена засада. Англичане держали правый берег Риета, притока Моддера, полагая, что дороги и город неприступны. Левый берег занимали буры, он был изрезан окопами, в каждом по шесть человек, брустверы замаскированы камнями и ветками. Раньше, у Эслин Хугте, они выстояли, несмотря на ураганный обстрел, заставили англичан выйти на открытое место и смяли их. И сейчас они снова ждали под огнем британских пушек, паливших с противоположного берега. Никто не знал замысла генералов — у буров был Коос де ля Реи и несколько германских советников; англичанами вроде командовал Метуен. Всю ночь просидели они в окопах, ожидая противника с восходом.

Едва забрезжило утро, появились шотландские гвардейцы. Буры потешались над ними — вояки в юбках! Старик вспомнил, как вспорхнули птицы над вельдом, когда шотландские цепи пошли в атаку.

Противник не видел их. Припав к прикладам ружей «маузер», буры ждали их приближения. «Подойдите ближе, милые дамы, смелее, девочки! Пожалуйте на бал!»

Во главе рот скакали верхом бравые офицеры, подкованные каблуки пехотинцев мяли траву. Восемьсот ярдов, ближе, еще ближе и вот — залп! Землю покрыли мертвые и раненые. Но уцелевшие шотландцы шли и шли вперед, как безумцы, под смертоносным огнем. Старик и Карел были ранены. Их вынесли из окопа еще до конца боя под грохот ружейных выстрелов и уханье «пом-помов»...

Карела убили. Может, оно и к лучшему — он так и не узнал, что войну они в конце концов проиграли. Веселый Карел, закадычный друг! Старик уже не плакал — у него больше не было слез. Осталось лишь одиночество, такое же беспросветное, как эта посеребренная луной темнота. Даже проклятого Кооса рядом нет. Куда он запропастился? Не дозовешься, когда нужно!..

Джаап Опперман считал, что никаких привидений, заклинаний и прочей чертовщины не бывает, но его покойная мать, тетка Фелипа, свято в них верила и волей-неволей кое-какие суеверия внушила сыну. Она была набожной христианкой и не пропускала церковных служб, пока ревматизм не приковал ее к постели. Однако вера в бога не мешала ей верить и в черта, дьявольский промысел, колдовские

чары, наговоры и проклятья, в злых духов и добрых фей. В конце концов, это оборотная сторона той же медали! Она была не единственной среди белых, рассуждавшей так, и, когда речь заходила о чудодейственной силе африканских знахарей, колдунов и прорицателей, она отбрасывала расовые предрассудки, без колебаний обращалась к ним за советом, когда что-нибудь случалось с нею или с кем из родни или когда заболевала корова; да и сама она знала множество снадобий.

Джаап в детстве страдал от желудочных колик, и мать уверяла всех, что это она вылечила его, зарезав и освежевав кота и наложив сыну на живот еще теплую шкурку. Средство хоть и не слишком гигиеничное, но действенное!

Слов нет, травы и коренья, которые тетка Фелипа собирала и высушивала, могли обладать целебными свойствами. Но мало кто верил ей, когда она утверждала, будто можно предсказать будущее, заглянув в потроха только что зарезанного цыпленка.

Стоило самой тетке Фелипе захворать, она обряжалась в свое лучшее платье и ехала поездом туда, где принимал страждущих знаменитый черный ведун. Среди его пациентов не было недостатка в представителях избранной расы. У дома его теснились автомобили с номерными знаками всех провинций, двор был забит толпами паломников, стремившихся узнать судьбу при помощи куриных косточек.

— Не смейся над колдовством кафров,— наставляла сына тетка Фелипа.— Они могут сотворить такое, о чем мы даже не подозреваем. Не дай тебе бог причинить черному вред. Помни, он и с того света сведет с тобой счеты. И вообще, если ты веруешь во всемогущего господа, нельзя отмахиваться и от языческих тайн. А уж черные-то наверняка в родстве с князем тьмы, оттого у них и кожа такая.

Кафры умеют приручать змей,— не унималась тетка Фелипа.— Они со змеями закадычные друзья. Как говорится, спят на одной подушке. Черные вечно таскают с собою обезьяний хвост и змеиную кожу. А ведь змея — символ первородного греха, в ее обличье дьявол прокрался в сад Эдема и совратил прародительницу Еву. Запомни мои слова!

Преподобный Виссер, естественно, не соглашался с тем, будто черные наделены особой, сверхъестественной силой. Напротив, бескультурье этих язычников является вызовом просвещенным народам. Но на мелкие проступки членов своей паствы он закрывал глаза и лишь смиренно вздыхал по поводу предрассудков и суеверий тетки Фелипы.

— А еще держись подальше от Оврага,— твердила она сыну.

— Какого Оврага? — спрашивал с любопытством мальчик.

— Того, что виден с дороги. Близко к нему не подходи. Это заповедная земля черных. Говорят, их великий вождь похоронен там. Кафры утверждают, что его привидение стережет Овраг, не спуская глаз с потомков. Даже черный слуга старого Меулена не смеет к нему приблизиться. Пастух из деревни кафров всегда обходит его стороной. А белым там и подавно делать нечего. Так что держись от того места подальше.

Овраг, как потом узнал мальчик, был темой многих местных преданий. С виду ничем не примечателен, просто расщелина в каменистых холмах. Вход в него издалека походил на бурый шрам, заставший с годами терновником и карликовыми деревьями. В преданиях упоминались племенные распри, которые белые называют «кафрскими войнами», но при чем тут Овраг, толком никто не мог сказать. Историй было множество, одна причудливее другой.

Тетка Фелипа не любила сидеть дома и день-деньской торчала у соседей. По воскресеньям Джаап возил ее в городок — ему приходилось бывать там и в будни по делам,— мать тем временем судачила с госпожой Кронер, хозяйкой привокзальной гостиницы, и другими знакомыми.

А Овраг все время напоминал о себе, незримо присутствовал в его жизни. Черные, заметил Джаап еще в детстве, никогда не пасли в той стороне свой скот. Мальчик посматривал на узкую расщелину в холмах с суеверным страхом: мать, пожалуй, права, это место и впрямь заколдовано. От черных детей, с которыми он играл, доводилось ему слышать все новые небылицы про Овраг. Ребенком он мог общаться с африканскими сверстниками, но когда подрос, этому пришел конец: каждый взрослый должен знать свое место.

Оппермаиы были мелкими фермерами — клочок земли, несколько коров, овцы, куры. Когда старшего Оппермана втоптал в пыль разъяренный бык, ферма отошла его вдове и сыну.

— Должно быть, его напугала змея, не иначе,— утирая слезы, объясняла происшествие тетка Фелипа, имея в виду быка.

Работа на ферме помешала учебе. Хозяйство требовало слишком много забот, а доходы все падали. В конце концов ферму продали Меуленам, и те присоединили ее к своим владениям, а юный Джаап поступил к новому хозяину на службу и стал у него со временем управляющим. Работа эта была ему не в тягость; собственно, все, что приходилось делать,— это присматривать, чтобы черные батраки не лодырничали и все шло своим чередом.

— Будь с ними строг, но справедлив,— советовала Джаапу мать.— Никогда не знаешь, какую беду они могут на тебя накликать.

Тетка Фелипа быстро сдавала, водянка сделала ее совсем беспомощной. И до последнего дня за ней ходила молодая цветная служанка из локации.

Джаап имел веские причины не возражать против постоянного присутствия черномазой в доме. Самочка с круглыми бедрами, прыгающим выменем, вьющимися волосами и пустым взглядом. Если не выставлять ее напоказ, никто ничего и не узнает. Но вскоре вышел закон, запрещающий межрасовые половые отношения, и обстоятельства осложнились. Он стал отсылать ее на ночь домой, в локацию. Приходилось быть начеку: в газетах писали о белых мужчинах, попадавших в передряги из-за черных баб, кое-кто даже кончал самоубийством.

— Ты с этой бушменкой лап не распускай,— постанывая, бубнила мать с постели.— Я все вижу. Бросишь ее потом, а она нашлет на тебя порчу. Уж я-то их знаю.

Когда тетка Фелипа умерла, держать девчонку в доме стало неудобно, и ему пришлось распрощаться с ней, отправить насовсем в локацию.

— Ты знаешь что-нибудь о привидении в Овраге? — спросил он ее однажды, уединившись с ней в амбаре.

— А, все это россказни старух,— рассмеялась она.— Неужто и ты боишься призраков?

— Тебе и твоим собратьям туда ходить не положено, верно?

— Предрассудки,— махнула она рукой.— Суеверия. А белому и совсем уж негоже в это верить.

— Баас,— напомнил он ей, нахмурившись.— Не забывай называть меня баас.

Джаап рассердился — черномазая осмеливается ему перечить! Но если даже она не верит в колдовство, может, и впрямь нечего думать об этом. И он все реже вспоминал про Овраг. Девчонка, вопреки опасениям матери, не была ворожеей и, когда он ее оставил, не наслала на него порчу. Дел у Джаапа хватало — Меулен затеял строительство нового дома.

В день свадьбы молодой госпожи произошел тот самый случай с напившимися до чертиков братьями. Джаап с Меуленом привязали их к столбам изгороди и оставили на ночь в открытом поле. И надо же — младший взял и окочурился! А второй рассек Джаапу руку. Ну, помер кафр, его не воскресишь, да и невелика потеря, но судья был

чересчур уж суров с Меуленом. Зато второму ублюдку впаяли срок, и поделом! Ведь он покушался на его, Джаапа Оппермана, жизнь! Врачи наложили двенадцать швов на рану, несколько недель он носил руку на перевязи, не мог работать в полную силу, а чертовы кафры еще глядели на него исподлобья, с укором.

Как будто Джаап виноват. Разве он знал, что черный околеет? Он ведь не забыл, как суеверная мать, вечно возившаяся с травами и кореньями, поучала его: «Будь с ними строг, но справедлив! Никогда не знаешь, какую беду они могут на тебя накликать».

Все это чепуха, ни один черномазый не может причинить ему никакого вреда. Привидения, призраки — все это дурацкие россказни. И все же ему становилось не по себе от хмурых взглядов батраков. Он ведь начальник над ними, они должны ему в рот смотреть.

— Черные дружат со змеями,— бывало, твердила мать.— Можешь мне поверить!

Так оно и случилось: черная змея ужалила его в руку; острое стекло — вместо змеиных зубов. И когда рука зажила, он решил отправиться в Овраг, так долго распалявший его любопытство, чтобы раз и навсегда покончить с этой пыткой. Джаап никого не посвятил в свой план — к чему ненужные кривотолки.

День обещал быть жарким, он облачился в шорты цвета хаки, старую фетровую шляпу и сыромятные сапожки, прихватил флягу с водой и бутерброды. Путь был неблизкий, землю украсила весна, повсюду в вельде распускались цветы.

К полудню он достиг невысоких отрогов бурых гор, приплюснутых плоским бледно-голубым небом, и вскоре отыскал тропу, покрытую рыжеватым песком и мелкой галькой, ведущую ко входу в расщелину. Ничего сверхъестественного он пока не обнаружил и снова — в который раз — подивился, откуда все эти суеверия и страхи!

Одинокий коршун лениво покружил над ним и улетел прочь. Вход в Овраг зарос пурпурным вереском и колючими кактусами, пробившимися из каменистой земли между валунами. Тропинка не обрывалась, а полого спускалась на дно. Словом, решительно никаких оснований для беспокойства. Птица с длинным хвостом выпорхнула из зарослей вереска и стала парить над землей, точно аэроплан, идущий на посадку. Раздвигая кусты, Джаап спускался по хрустящей под ногами гальке все ниже. Нет никаких следов древних захоронений. Разве что эта вот куча камней на плоской плите — чья-то могила. Самая обычная расщелина, усеянная камнями, поросшая вереском, колючками и дикими цветами.

«К черту все эти басни о призраке черного вождя!»— подумал он, отер пот со лба и напился из фляги. Потом прошел еще немного вперед, поглядывая по сторонам. Жаль, он не прихватил с собой кого-нибудь, одному ему могут и не поверить...

Сделав еще несколько шагов, он отбросил ногой небольшой камень и вдруг услышал леденящее душу шипение: старая кобра, дремавшая за камнем, проснулась, и в мгновение ока ядовитые зубы впились в его обнаженную голень...

Лишь тем, кто встает затемно, дано любоваться этим несравненным зрелищем. Небо становится похожим на огромную перевернутую чашу, до краев наполненную пенящимися розовыми волнами. Волны катятся к западу, разбиваясь на горизонте у скалистых отрогов невысоких гор, и земля окутанная крупитчатой дымкой, встречает зарю нового знойного дня.

Когда Эдгар Стоупс проснулся, солнце уже сплело решетчатые узоры на грязно-серых стенах тесной комнатенки, на шкафу, на выцветшем эстампе. Он лежал на узкой железной кровати в вязкой и липкой испарине. Доносившиеся с первого этажа звуки лишь смутно

доходили до его сознания. Накануне он допил свою бутылку бренди — это после пива,— и голова теперь была словно ватная. За окном вскрикнула птица — точно рашпилем провели по нервам. Превозмогая головную боль, он вспомнил: госпожа Кронер просила спуститься к завтраку раньше обычного, она торопилась на молебен.

Безвольно распластавшись на влажных от пота простынях, он думал: «К черту завтрак, могут скормить его свиньям!» Ему и рот открывать неохота. В памяти замелькали дешевые гостиницы, где он обычно останавливался, горы тарелок с кукурузными хлопьями, жирный бекон, пережаренная яичница, точно отлитая из пластмассы. Что ему действительно нужно сейчас, так это опохмелиться. Пиво вмиг бы поставило его на ноги, и он снова исправно затикал бы, как часы. Но чертов бар внизу, конечно, закрыт. Вот и валяйся в этом отвратном номере, как в одиночке, за решеткой из желтых солнечных лучей. Ком ваты в голове таял мучительно медленно. Донесся резкий голос хозяйки, отдающей какие-то распоряжения насчет маисовой запеканки к обеду. В довершение всего в церкви на площади ударили в колокола.

Их металлический перезвон спугнул птиц, сидевших на крыше собора, они поднялись в небо, пронзительно крича, и перелетели на карнизы лавок, стоявших рядком напротив. Площадь и главная улица постепенно заполнялись пикапами, «лендроверами», пропыленными легковыми машинами, фургонами, телегами. Под деревьями выстроились в колонну грузовики, отряженные фермерами для перевозки выселяемых туземцев. Полицейский сержант, оставив вместо себя в участке констебля, собирался лично сопровождать колонну. Но сначала он пойдет в церковь — все сановные лица городка примут участие в молебне о дожде.

Гравий на площади заскрипел под подошвами прохожих; горожане и жители близлежащих ферм потянулись к красным бетонным ступеням паперти.

Женщины в наглаженных выходных платьях, дети в нарядных костюмчиках, вынутых из нафталина. Пожилые матроны в старомодных шляпах, какие носили в начале века, под руку с мужьями, потевшими в строгих парах из флотской саржи погребально-черного цвета. Приподнимая твердые фетровые шляпы за широкие поля, они раскланивались со знакомыми. Черные галстуки и бабочки стягивали загорелые шеи Мужчины помоложе в модных смокингах робели, опасаясь вызвать нарекания хмурых чопорных старцев. Кое-кто из женщин достал из сундуков свадебные наряды, хранившиеся для подобных случаев. Девушки в скромных ситцевых платьях и соломенных шляпках от солнца, загорелые, свежие и бодрые; отмытые дети с прилизанными вихрами изнывали от жары в плотных костюмчиках и тесных башмаках.

Прихожане задерживались у входа, обмениваясь приветствиями, любезностями, последними новостями, полезными советами. Горожанки приглашали фермерских жен после службы к себе на чай с сухариками; взрослые покрикивали на детей, затеявших возню у монумента памяти англо-бурской войны. Мужчины подавали друг другу сильные, загрубевшие от работы руки, испещренные белыми морщинками.

— Доброе утро, тетушка!

— Что за погода, просто наказание. На какие только хитрости не пускаемся, лишь бы спасти урожай.

— Вон Пайет пробурил артезианский колодец и поставил насос, чтобы напоить бедных овец.

— Засуха отразится и на ценах, вот увидите.

— Доброе утро, Ханнес, как твоя предвыборная кампания?

— Полагаю, все пройдет без сучка без задоринки. Голосование будет лишь простой формальностью.

— Как поживаешь, Рина? Господи, ты все хорошеешь. Жаль, Ханнес, что твой дед не смог приехать.

— Да, он слишком стар для этого. Я, пожалуй, попрошу настоятеля навестить его.

Рина висела на руке Меулена, заливаясь краской от сыпавшихся на нее комплиментов. Будущая супруга будущего члена парламента! Их окружили плотным кольцом, все кивали, улыбались, пожимали руки.

Подошел полицейский сержант, тяжелый и плотный, точно мешок с песком, в щеголеватой форме, которую он явно предпочитал штатскому одеянию.

— Менир Меулен, я вижу, ваши грузовики уже здесь. Большое спасибо!

— Достаточно ли у вас транспорта?

— Да, должно хватить, у кафров не так уж много барахла.

— Называйте их банту,— поправил Каспер Стин.— Так их теперь положено величать.

Сержант перевел взгляд на старика.

— Совершенно верно, менир, банту.

— Знаете, до чего они додумались? — вставил присоединившийся к ним комиссар по делам туземцев.— Вчера снова прислали ко мне двух бездельников. Несли околесицу про «глубокие корни» и прочую чепуху. «Глубокие корни» — как вам это нравится?

— Что они имели в виду?

— Одному богу известно.

— Неужто замышляют недоброе? — спросил Стин.

— Не беспокойтесь, ваша честь,— заговорил сержант,— мы полностью контролируем положение. Да и что эти болваны могут предпринять? Горстка стариков и старух. Предоставьте их мне, они приучены уважать закон.

— Хочется верить в это,— сказал комиссар.— Итак, положимся на блюстителей порядка.

Церковный колокол все звонил, дьякон распахнул широкие белые двери, и прихожане медленно и чинно потянулись внутрь, радуясь, что наконец-то могут укрыться от зноя.

В церкви на них обрушилась торжественная, всепоглощающая тишина. Толстые ковровые дорожки заглушали шаги. Все совершалось здесь по издревле заведенному порядку, женщины сидели отдельно от мужчин, передние скамьи отводились самым влиятельным семействам, щедро жертвовавшим на храм. Строгое и дорогое убранство, стены отделаны полированным орехом, высокие стрельчатые окна; впереди дубовые скамьи; простой же люд довольствуется сосновыми.

Служба началась. Зазвучал орган, точно возговорили ангелы небесные. Проповедник в траурно-черной рясе с двойным рядом кистей поднялся на кафедру, словно мрачный посланец, пришедший возвестить о смерти господа. Птицы на площади вновь вспорхнули и улетели в опаленные солнцем поля.

Органист сыграл первый гимн. Проповедник дождался, когда страдавший одышкой инструмент стихнет, уляжется движение и шум. Его бесцветные тевтонские, слегка навыкате глаза изучали лица прихожан. Он знал, что паства ловит каждое его слово с благоговением и что в местной иерархии ему отводится место чуть ли не полубога. Он для них выразитель воли господней; истина в последней инстанции, непреложная для всех, глаголет его устами. И вот воцарилось безмолвие, изредка нарушаемое лишь приглушенным покашливанием. За окнами желтое, как кадмий, знойное солнце терзало городок...

«О цари иудейские и жители Иерусалима!.. Я наведу бедствие на место сие,— о котором кто услы-

шит, у того зазвенит в ушах, за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские; наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу... чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне; за то вот, приходят дни... когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения».

Прочтя отрывок из Ветхого завета, преподобный Виссер отложил Библию и посмотрел поверх пенсне, потом снял его и судорожно вцепился в поручни кафедры, точно выжимая из них духовную поддержку.

— Дети мои, все вы знаете, зачем мы собрались здесь, в этом святом месте, в столь знаменательное утро. Вот уже несколько месяцев, как господь всемогущий лишил эту землю благостного дождя, от которого зависит наш хлеб насущный, сама наша жизнь. Он отнял у нас животворящую влагу. Земля измучена жаждой, гибнет скот. За что, задаемся мы вопросом. Скажи нам, Господи, за что? Мы молимся тебе.

«О цари иудейские и жители Иерусалима!.. Я наведу бедствие на место сие,— о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах...» — Так говорил Господь Иеремие, и так говорит он нам. Ибо мы отвернулись от Господа. «Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь посекать о, Меч Господень!»

«Но что за грех мы совершили? — вопрошаем мы.— Разве не шли мы денно и нощно по стезе господней?» Могу ли я указать на вас перстом и заявить: ты и ты впали в грех? Дети мои, каждый из нас исполнен богоугодных намерений, но разве этого достаточно? Оглядимся вокруг, присмотримся к себе и ближним. Мы как жители Иерусалима, и эта возлюбленная нами земля — разве она не наш с вами Иерусалим?

А ведь города наши разъедает скверна. Суды завалены делами; из алчности и похоти совершаются вопиющие преступления. Недавно в одном из городов была выставлена для публичного обозрения непристойная и богохульная мазня, именуемая «произведениями искусства». В ночном клубе, где бывает наша молодежь, некая, с позволения сказать, женщина танцевала нагишом со змеей — воплощением греха! Наших подростков захлестнула волна самоубийств — пятьдесят пять тысяч смертей за последние пятнадцать лет! Многие молодые люди злоупотребляют наркотиками. Женщины, злонамеренно оскверняя свое целомудрие, носят обнажающие их тело платья.

Говорят ли подобные примеры о нашей праведности и богобоязни? Делает ли это честь нашей цивилизации? Чего же удивляться, если Господь бог не спешит даровать свои милости нашей земле? Добрый ли пример подаем мы тем, кого бог вверил нашим заботам и кого надлежит нам наставлять на путь истинный?

«Горе Невѣ! он опустошен...» Никто не может почивать на лаврах самодовольства, говоря: «Я этого не совершал, я без вины». Мы все в ответе за прегрешения ближних. Или не сторож я брату своему?

Проповедник в порыве чувств молотил по кафедре кулаком, как бы ставя ударение на каждом своем слове.

— Разве грехи отцов не падают на детей? Упадок цивилизаций, размывание общественных устоев не всегда лишь следствие проигранных войн и одержанных побед. Язычники, с которыми мы здесь сосуществуем, бросили нам вызов, они испытывают нашу веру еще со времен дедов наших, завещавших нам эту землю. Победители греши-

ли, нарушая непреложный завет чистоты крови. Кровосмешение — столь же великое зло, как грехопадение Адама, вкусившего запретного плода. Оно ведет к вырождению расы, а в нем причина гибели всех прежних цивилизаций. Дело не в проигранных войнах, а в неспособности сохранить незапятнанной расовую чистоту. Только взгляните на север, помогла ли португальцам их хваленая «ассимиляция туземцев»?

Залог успеха нашей исторической миссии в чистоте нашей крови. Наш общий долг — свято и бесповоротно служить великой духовной цели: сохранить для наших детей эту богом данную нам землю. Лишь в этом наше искупление за содеянные грехи. Очистим же кровь нашу во имя господа и народа нашего! Наши отцы сражались за эту землю с язычниками не на жизнь, а на смерть. У нас есть одно лишь оружие, чтобы уберечь ее ныне и вовеки,— слово божье!

Преподобный Виссер сделал паузу, чувствуя, что утратил логическую нить. Впрочем, успокил он себя, его слушателям стройная логика ни к чему, они и без того ловят каждое слово, точно завороженные. Это все люди простые, принимающие его откровения на веру.

— Мало прийти сюда и молить господа, взывать к его доброте и щедрости. Бог воздает нам по делам нашим.

Язычник стучится копьем в нашу дверь. Филистимляне вновь навязывают нам своих идолов, требующих страшных жертвоприношений. Они бросают вызов нашей цивилизации, затуманивают самые просвещенные умы, от них исходит смертельная опасность. Мы же закрываем на это глаза. Вот почему господь и наслал на нас засуху, это — напоминание. Господь жив, а мы забыли о нем! Бог справедлив, он карает нас за леность и распущенность.

«Радость и веселье отнято от Кармила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах; не будут более топтать в них с песнями; крик брани будет, а не крик радости».

Дети мои, я призываю вас: воспряньте из лени и невежества. Поднимите вновь меч ваших предков и защитите землю от неверных во имя Господа и народа нашего. Лишь тогда он вернет нам изобилие. Так помолимся же о его милосердии и всепрощении...

На площади водители сели в кабины грузовиков, затарахтели моторы. Полицейский сержант вместе с клерком из комиссариата по делам туземцев забрался в бронированный «лендровер». Преподобный Виссер, стоя на паперти, пожимал прихожанам руки. Щурясь от мерцающего, слепящего солнечного света, мужчины провожали взглядом выруливавшие из тени грузовики.

Пожилой фермер с красной чешуйчатой кожей поздоровался с Ханнесом Меуленом.

— Замечательная проповедь,— сказал он,— весьма своевременное предупреждение. По мне, пусть уж я лучше слыву закоснелым расистом, чем предателем белой цивилизации.

Он, приподняв шляпу, поклонился Рине, та весело улыбнулась в ответ:

— До свиданья, дядюшка!

Старик зашагал через площадь, ступая осторожно, нащупывая дорогу тростью из красного дерева, а Рина, обмахиваясь платком, как веером, сказала Меулену:

— Не забудь, дорогой, ты обедаешь у нас.

Грузовики повернули с площади на главную улицу и, оставив городок позади, покатили по шоссе, подымая облако бурой пыли, медленно оседавшей на зеркальные стекла в окнах, двери и стены придорожных домов и запертых лавок.

На площади вновь взревели моторы, залязгали передачи, фермеры, приехавшие в городок на молебен, разъезжались по домам. Не-

которые собирались еще задержаться, навестить знакомых, посплетничать на веранде за чаем со сливочным тортом, обсудить разбередившую всех проповедь, поговорить о погоде. Непривычная одежда стесняла их, отглаженными носовыми платками они то и дело утирали потные лица. Родители, пожалев детишек, позволили им сбросить тесные, неразношенные башмаки и побегать босиком по пыльной траве. Остаток дня будет отдан визитам. Раз уж выбрались в город, как не воспользоваться случаем!

Владельцы городских лавок и иных заведений спешили возвратиться к обычным делам: открылись небольшие кафе, лавки, гараж, зерновой склад, конторы местной администрации.

С улицы в окно доносились голоса, точно птичий гомон. Эдгар Стоупс сидел на смятой, незаправленной постели, убеждая себя, как только лавки откроются, обойти их и собрать заказы. Он надеялся, что к тому времени, когда он с этим покончит, механик отремонтирует его колымагу. Все равно надо как-то убить время, торопиться некуда; подмазываясь к лавочникам, он поболтает о засухе, о делах, осведомится о здоровье их жен, посоветует взять у него оптом партию чайных ситечек — на них можно недурно нажиться.

«Никуда тебе от этого не деться»,— думал он. Ощущение краха, безнадежности пристало к нему, как въедливый запах средства для ращения волос. «Покупайте новый аэрозоль для неудачников, оптовая цена — тридцать пять центов за штуку! Торгуя им в розницу, можно здорово нагреть руки на чужом несчастье!» Безнадежностью веяло от замызганных стен гостиничных номеров, от эстампов с цветущими алоэ, от девиц на календарях, от рассохшихся створок шкафов. Безысходность и крах всех надежд глядели на него из треснутых зеркал над пыльными туалетными столиками; свербили зудом на влажных простынях, отороченных горечью и залатанных отчаяньем.

Плавящееся золотом солнце заливало увядший от зноя сад под окном. Он сидел, заросший щетиной, немытый, хмурый, в затхлой комнате, увешанной железнодорожной рекламой. Чемодан был доверху набит грязным бельем, в сумке — скоросшиватели с каталогами сбивалок для яиц и будильников.

Потом прежний дух, стремление преуспеть вновь зашевелились в нем, поверхность заросшего тиной стоячего пруда подернулась рябью от налетевшего ветерка, и он сказал себе, потягиваясь: «Ну-ну, вперед, старина, под лежачий камень вода не течет! Эти простофили тебя заждались, жить не могут без твоих вешалок для одежды!» Он кисло ухмыльнулся и сказал вслух:

— Черт возьми, я все тот же, старый добрый Эдгар Стоупс!

Накинув халат, он отыскал сумку с бритвенными принадлежностями и вышел в коридор, направляясь в ванную.

Чуть позже выбритый, пахнущий одеколоном он вышел из номера в отутюженном костюме, с каталогами и блокнотом для заказов под мышкой. Внизу гремели кастрюли на кухне, пронзительно кричала госпожа Кронер: «Ах, боже, чудо что за проповедь!.. Опять этот чертов Фани куда-то подевался, будь он неладен!» Голова все еще была тяжелой, но несмотря на это его обуяло злое веселье.

«Всех к черту — дылд, коротышек, тощих и толстых»,— замурлыкал он себе под нос. Дверь соседнего номера отворилась, и на пороге показался давешний смазливый бур. Заперев дверь, этот шут обратился к Стоупсу:

— Это вы, менир, доброе утро!

— Привет, мистер Как-вас-там! — улыбнулся Стоупс в приливе обычной для него профессиональной общительности, искрометной и легкой, как связка разноцветных воздушных шаров.— Как себя чувствуете? Я слышал, молебен удался на славу.

— О, его преподобие был в ударе,— ответил Ханнес Меулен.— А вы отправляетесь по делам?

Эдгар Стоупс постучал пальцем по блокноту, который держал под мышкой.

— Лавки, должно быть, уже открылись. Мой долг — обеспечивать местных жителей всем необходимым, не так ли? Чтобы, не дай бог, не было перебоев.— Он засмеялся.— А вы, я полагаю, решили задержаться до обеда и отведать запеканку нашей дорогой госпожи Кронер?

Меулен в свою очередь улыбнулся, ровные белые зубы напомнили Эдгару Стоупсу браслет из искусственного жемчуга, «изящное украшение вечернего туалета».

— Нет, я обедаю в городе, приятель, так что не видать мне запеканки. Да и в любом случае сегодня я еду домой.

— Давно пора. Этот клоповник неподходящее место для такого человека, как вы.

— Надо все-таки отдать должное госпоже Кронер — она не жалеет сил.

У лестницы, ведущей вниз, Эдгар Стоупс склонился с шутливой почтительностью, пропуская Меулена вперед.

— Честь превыше красоты, мой петушок! — воскликнул он, а внутри его так и распирало: «К черту их всех — дылд, коротышек, тощих и толстых! Из него член парламента, как из меня король! Что в нем такого особенного, чего во мне нет?»

— Надеюсь снова видеть вас в наших краях,— сказал Меулен.— Вы, должно быть, уже всех тут знаете.

— Только торговцев,— ответил Стоупс, спускаясь вслед за ним по ступеням.— Хотя, впрочем, этого достаточно, чтобы составить представление о городе. По местным дельцам можно судить об экономике, объем поступающих заказов говорит о многом...

Достигнув первого этажа, они никак не могли разминуться в узком коридоре.

— Ну что же, до свидания, сэр,— снова улыбнулся Меулен.— Я выйду через черный ход, мне так ближе.

«Иди ко всем чертям,— подумал Стоупс,— тоже мне, корчит из себя невесть что! Наверняка наше непросвещенное общество утомило вас». Но вслух сказал:

— В таком случае желаю всего наилучшего!

— Ты картошку почистил? — снова донесся из кухни визг госпожи Кронер.

За спиной Меулена в конце короткого коридора ярко горел на солнце прямоугольник распахнутой двери, ведущей в изнывающий от жажды сад. Меулен повернулся, зашагал к выходу, и в этот момент в дверном проеме, заслонив солнечный свет, возник силуэт черного мужчины. Меулен не узнал его.

Не узнал Ханнес Меулен, вернее, не успел разглядеть и свой автоматический карабин самой последней марки, не успел удивиться, откуда у черного ружье, ведь им запрещается носить оружие! Эдгар Стоупс через плечо Меулена увидел искаженное злобой лицо кафра, тотчас сверкнула яркая вспышка, грохнул выстрел, и послышался глухой стук падающего тела. Что-то влажное коснулось щеки Стоупса. Голова Меулена разлетелась, как разбитая тыква, побеленная стена заалела кровавыми лепестками, покрылась кусочками мозга, осколками костей и зубов, похожих на семечки граната.

Эдгар Стоупс с каталогами и блокнотом под мышкой, обалдев, уставился в жерло карабина, из которого вился дурно пахнущий дымок. Вновь раздался скребущий нервы птичий крик, вызвавший беспокойное ощущение под ложечкой, в голове родился вопль — он звал Мейзи, — но в ответ снова услышал птичий стон, и тут второй выстрел уложил его наповал.

Конвой фермерских грузовиков с полицейским «лендровером» впереди катил по проселку, колеса шуршали по сухому мелкому песку, песчинки стучали в лобовые стекла и днища. Сбоку от дороги, в полях торчали терновые деревья с ветвями, похожими на скрюченные руки. У неровного, скомканного горизонта, окутанного голубой дымкой, знойное марево отплясывало джигу. Грузовики, точно под хмельком, покачивались вдоль осыпающегося берега высохшего ручья, пока не произошла вынужденная остановка. На окраине деревни, недалеко от крайних домов, дорогу преградили поваленные камедные деревья.

Сержант, ехавший впереди, разглядел за баррикадой несколько сгорбленных старческих фигур — точно грубо, наспех вырезанные из дерева, они сидели на порогах глинобитных построек. Но тут прямо на его глазах в тени деревьев выросла толпа, привлеченная шумом моторов. Сержант с беспокойством подумал, что все это неспроста.

— Пошли,— буркнул он клерку из комиссариата по делам туземцев и выскочил из «лендровера». Клерк, успевший переодеться после молебна, был уже не в строгом костюме, а в спортивной рубашке и шортах цвета хаки. Он с некоторой опаской взглянул на сержанта, затем выбрался из машины с другой стороны, прихватив папку с официальными бумагами.

При виде двух непрошеных гостей толпа под деревьями затянула песню, сразу взбесившую сержанта. Ему было не по нутру их пение. Если черномазые горлопанят, непременно жди беды. Грузной походкой он подошел к поваленным деревьям, глаза, как две росинки, заискрились злобой из отвисших складок кожи, похожих на использованные пакетики для заварки чая.

— Что это все значит? — крикнул он туземцам.

Полная женщина в домотканом платье, перехваченном кожаным ремнем — он узнал в ней сестру старосты,— замахала большими черными руками, и толпа смолкла. До него донесся ее зычный голос:

— Не советую вам подходить ближе.

Сержант как вкопанный застыл у баррикады. Он невольно подчинился ей и сразу осознал, что допустил ошибку: ему надлежало при любых обстоятельствах сохранять присутствие духа и невозмутимость, одним своим видом внушать уважение к закону. Чтобы исправить положение, он притворился, будто не узнал женщину:

— Ты кто такая? Я с тобой говорить не желаю. Где Хлангени? Разве вам не известно, что сегодня вы должны покинуть деревню? Почему навалены деревья на дороге? Мы пригнали за вами грузовики.

— Они не понадобятся,— крикнула женщина, и шага не сделав в его сторону.— Никуда мы отсюда не уедем.

— Я не буду тебя слушать,— холодно процедил сержат.— Где староста, где Хлангени? — спрашивал он уже у толпы.— Не обращайте внимания на эту женщину, она только сеет смуту и неприятности.

Ему ответил черный мужчина, которого звали то ли Кобе, то ли как-то еще в этом роде.

— Нет больше Хлангени, мы отказываемся его признавать.

Толпа пришла в движение, потом черные снова запели.

— Что здесь происходит? — Сержант едва не шагнул вперед, но спохватился.— Вам не раз и не два было сказано: сегодня вы перебираетесь на новое место.— Он ткнул пальцем в сторону клерка с папкой.— Со мной приехал начальник с правительственной бумагой. Хлангени уже читал ее.

— Начальник,— глядя на клерка без всякого почтения, заметил Кобе.— Молод еще для начальника!

— Ты обязан уважать представителей правительства,— резко одернул его сержант.— Хватит валять дурака, вели своим людям грузить вещи в машины.

И тут женщина громко расхохоталась:

— К чему эти лишние разговоры? Убирайтесь-ка сами отсюда!

Толпа снова запела, раскачиваясь в такт мелодии. Сержант, выйдя из себя, схватился за кобуру, стал ее расстегивать.

В толпе поющих вдруг раздался воинственный клич, улюлюканье, какой-то юнец запустил в сержанта камнем. Камень пролетел мимо, но клерк струсил и побежал, роняя бумаги из папки, официальные документы разлетелись во все стороны по песку. Выхватив револьвер, сержант пальнул в воздух, в ответ на него обрушился град камней. Клерк как ужаленный вскочил в кабину «лендровера», и в этот миг увесистый камень угодил в проволочную сетку на лобовом стекле. Водители впопыхах заводили моторы. Толпа подалась вперед, и камни застучали по кабинам и крашеным кузовам.

Сержант, красный как рак, вложил револьвер в кобуру и, повернувшись, заковылял к «лендроверу». Одному ему с ними не справиться, надо вызывать подкрепление. Кто мог подумать, что проклятые кафры так обнаглеют! Он спасовал перед этими бабуинами в отрепьях. До чего же мы докатились!..

Камень сбил с его головы форменную фуражку, и она покатилась в пыли вместе с бумагами клерка. Он добежал до «лендровера» и тяжело плюхнулся на сиденье, прячась в бронированной кабине. А камни летели из-за поваленных деревьев, звонко стуча по металлическим частям грузовиков, которые неуклюже разворачивались, буксуя в песке. Колонна покатила назад в город. А толпа грянула им вслед причудливую, чуждую уху белого песню.

Кока-кола выплеснулась через край стакана, но Мейзи, погруженная в свои мысли, и бровью не повела. «Одно дело, когда видишь такое в кино,— думала она,— но в жизни это, знаете, уж чересчур».

Она сидела в кафетерии, официанты позвякивали приборами, убирая со столов остатки поздних завтраков: бумажные стаканчики, недоеденные эклеры, кусочки поджаренного сыра; на скатертях пятна от пролитого чая. Музыкальный автомат негромко наигрывал популярные мелодии, поздние посетители в летних рубашках, с короткой стрижкой переговаривались за столиками, источая запах дезодоранта.

— ...Я ей высказал все, что о ней думал...— донесся до Мейзи чей-то голос.

Ее цветная служанка — чертова кукла! — не явилась утром и не подала Мейзи завтрак в постель.

Напротив кафетерия была установлена красочная реклама, приглашающая совершить воздушное путешествие в Европу; на перекрестке, за светофором стояло угрюмое, давящее здание фирмы «Понте», похожее на бочку. Вокруг него колыхалась знойная дымка. Где-то в отдалении нестройно ударили церковные колокола. Кафетерий помещался на втором этаже универсального магазина, выстроенного на самой границе старой части города. Отсюда был виден железнодорожный мост и кусок загородки из колючей проволоки вдоль полотна, верхушки рекламных щитов на насыпи.

«Господи, ты должна гнать от себя эти мысли,— думала Мейзи.— Тебя вздернут за убийство — женщинам не делают снисхождения. Повесят, как миссис Ли...» Нет, с нее довольно — она порвет с этим подонком Уолли Бессоном, достаточно он помыкал ею! Хотя до поры до времени ей с ним было не так уж плохо. Эдгар ведь ее никуда не возил, не развлекал... «Ну и что же ты намерена дальше делать? Может быть, всерьез подумать об армии? «Страна в опасности, сомкнем ряды»,— она посмеивалась над собой. Нет уж, старушка, ни за что на свете! Ах, черт, если б Эдгар сам откинул копыта, без посторонней помощи, скончался бы, как говорится, естественной смертью...»

За столиками парочки, одетые по-летнему, потягивали охлажденный сок. Жара тряслась и плясала за балконом. В дальнем конце улицы послышалось пение, словно бы церковный хор грянул псалом.

Что и говорить, она не колеблясь променяла бы этого жалкого никчемного трепача на две тысячи фунтов. Рассеянно водя глазами, она наткнулась на свое сдвоенное, искаженное отражение в стекле: две пары зеленых фальшивых камешков-глаз, два ярко-красных напомаженных рта. Два кукольных личика с горечью взирали на нее.

Шеренга полицейских в бледно-голубой с черным форме нестройно промаршировала по мостовой, мимо входа в универмаг, направляясь к перекрестку. А дальше, в самом конце улицы, как будто возник затор, виднелись размазанные расстоянием человеческие фигурки, сбившиеся в кучу.

«Итак, ты снова одна, если не считать Эдгара,— думала Мейзи.— Ничего, авось ненадолго, надеюсь, кто-нибудь еще подвернется». Она рассеянно потягивала кока-колу, вспоминая Загородный клуб, джин с лимоном, оркестр под гирляндами разноцветных лампочек. Люди, оставив на стульях свертки с покупками, выходили на балкон.

— Это, наверно, процессия в связи с сегодняшним молебном,— предположил кто-то.

Дорожный регулировщик в белом шлеме и крагах останавливал машины, расчищая путь грузовику, в кузове которого рядами сидели полицейские в пятнистых маскировочных комбинезонах и тропических шлемах. Объехав застывшие по жесту регулировщика легковые автомобили, грузовик затормозил у тротуара, и полицейские в своей мешковатой форме, с автоматическими винтовками через плечо спрыгнули на мостовую. Подъехал еще грузовик и «лендровер» с железной сеткой на стеклах. В нем оказались овчарки с проводником.

Там, где образовалась пробка, скопище голов вдруг приобрело четкие очертания, и пение стало внятным. Черные пели марш.

Люди, вышедшие на балкон, заметили еще одну колонну поющих мужчин и женщин, приближавшуюся с другого конца улицы. Полицейский офицер на перекрестке выслал несколько констеблей навстречу второй колонне. Появились солдаты особого отряда для разгона демонстраций в шлемах и с длинными дубинками.

— Дамы и господа,— обратился к посетителям кафетерия запыхавшийся от быстрой ходьбы управляющий,— пожалуйста, покиньте балкон. Оставаться на нем в возникшей ситуации э... небезопасно.

— Ни за что не уйдем,— засмеялся кто-то в ответ.— Разве можно пропустить такое зрелище!

На балконе уже яблоку негде было упасть, все смотрели вниз. Мейзи сама не заметила, как оказалась зажатой со всех сторон зеваками, пахло пудрой и одеколоном. «Мне здесь нечего делать,— подумала она,— не люди, а быдло...»

— Извините, позвольте пройти.— Она пробиралась к выходу.

— Надо же, в день молебна,— сказал кто-то,— устроили чертову кутерьму! Проклятые негритосы совсем распоясались.

— Может, они просто-напросто идут в церковь?

— Ничего, полиция живо наведет порядок!

— Хочется в это верить, не зря же мы платим налоги.

— Дамы и господа,— взмолился управляющий,— пожалуйста, вернитесь за столики.— Он повторил свой призыв на африкаанс для того, очевидно, чтобы придать ему большую официальность.

Колонна поравнялась с балконом, впереди нее шагал черный мужчина с флагом. У светофора демонстрантов поджидала цепочка полицейских в зеленом и хаки. Колонна, спускавшаяся с другого конца, уже сцепилась с блюстителями порядка, улица взорвалась, замелькали дубинки, рычащие овчарки метнулись на людей. Оставив свои наблюдательные посты на тротуарах, зеваки бросились наутек.

Управляющий, придя в совершенное отчаяние, завопил:

— Администрация снимает с себя ответственность за все последствия, в случае если посетителям будут нанесены увечья! — Казалось, он читает вслух объявления, которыми пестрят железнодорожные

платформы. Не успел он договорить, как полицейские бросили несколько гранат со слезоточивым газом. Гранаты прыгали по мостовой, плюясь белой, похожей на вату пеной. Отряд по разгону демонстраций в масках, размахивая дубинками, атаковал колонну.

— Вот видите, вас же предупреждали! — закричал управляющий.

Мейзи протиснулась к выходу. Она разглядела, что строй черных сломался, одни обратились в бегство, другие наседают на полицейских, несмотря на ядовитый туман, повисший над улицей. Раздался звук разбитого стекла, точно кто-то уронил колокольчик. Вдали завыли полицейские сирены. В сточных канавах и на тротуарах она увидела, как ей показалось сперва, ворохи тряпья, потом разглядела — из них торчат руки, ноги, лица, похожие на размалеванные алой краской маски. Мейзи вспомнила почему-то ряженых на святках, над которыми потешалась в детстве. По мостовой проковыляла женщина, прикрывая ладонями кровоточащую рану на щеке. Пробившись наконец сквозь толпу у входа, Мейзи подумала без всякой связи с происходящим: «Бедный старый Эдгар, видно, никуда мне от тебя не деться!..» В ней, словно червь, зашевелилась жалость к нему, к себе самой. Она смирилась с незавидной своей судьбой. «Видно, это надолго!»

Зевак на балконе душил кашель, а управляющий все твердил:

— Я же говорил — мы не несем никакой ответственности!..

Откатившись к железнодорожному мосту, черные люди, кружась как в водовороте, построились в ряды и снова пошли вперед. Полиция в маскировочных комбинезонах со слезоточивыми гранатами наготове решительно двинулась им навстречу.

Давным-давно ветер, дождь и журчащие ручьи изрезали землю сетью лощин — где узких, а где широких, похожих на переплетение вен. Сухие, как пергамент, поля по обоим берегам высохшего русла переливались в знойной дымке. Лощины и трещины в твердой каменистой почве убегали к подножию дальних гор. Похожий на засохшую рану Овраг, перед которым местные жители по неясным причинам испытывали благоговейный ужас, был виден издалека. Существовало множество историй, связанных с ним. Одна из них, пожалуй самая давняя, родилась несколько поколений тому назад. Со временем она обросла другими легендами. Люди всякий раз добавляли кое-что от себя, и первооснова была утрачена, точно береговая галька, погребенная под толстым слоем нанесенного ветром песка. И теперь никто толком не знал, почему именно эта расщелина в скалах стала объектом мифотворчества,— с виду она ничем не отличалась от множества других. Так уж случилось, на нее было наложено табу, и с тех пор никто не смел к ней приближаться.

Пастух Мадонеле, гоня тощих овец в горы по песчаному ложу высохшего ручья, увидел вход в Овраг сбоку, он словно сместился по склону скалы в сторону, и это навело его на мысль, что недурно бы и самому придумать какую-нибудь историю про это заповедное место. Помахивая хлыстиком, он не позволял овцам разбредаться в разные стороны. Позади отары бежала вприпрыжку старая собака, зорко наблюдая за порядком. Они ушли уже далеко от деревни, пустившись в путь еще затемно, огибая холмы и кручи сильно пересеченной местности. Подходящая история, однако, не шла в голову — слишком заняты были его мысли другими заботами.

Овцы месили и взбивали песок копытами, там и сям облачками взлетала бурая пыль. Красновато-желтая земля вокруг запеклась, стала твердой и жесткой из-за засухи. На горизонте виднелись отроги гор, невысокие скалистые холмы, сложенные из песчаника и базальта, поросшие чахлым терновником. Высокий клин обнажившейся

породы был похож на огромный ломоть зачерствевшего слоеного пирога.

Пастух знал место, где в тени ветвей когда-то плескался водоем. Стоит разломать верхнюю, затвердевшую корку и копнуть, как наткнешься на воду, собравшуюся над слоем глины. В сезон дождей это углубление в земле всегда наполнено до краев. Просачиваясь сквозь песок и гравий, влага накапливалась в глиняной чаше на сравнительно небольшой глубине.

Мадонеле, думая об этом, заметил вдруг человека, сидящего в тени карликового дерева на берегу высохшего ручья.

— Опять ты со своими овцами,— насмешливо приветствовал Муриле пастуха, напуская на себя веселость. Он сидел прислонившись спиной к шершавому стволу, подтянув колени к груди. На его рубахе проступили темные пятна пота, у него такой был вид, словно он долго бежал без передышки. Скинутые ботинки стояли рядом, босые ступни он зарыл в сыпучий песок.

Мадонеле свистнул, приказывая собаке остановить отару, и, помахивая прутиком, заковылял в пыли к осыпающемуся берегу. Глазки его ярко засверкали под изорванной шляпой.

— Это ты,— сказал он, присев на корточки рядом с парнем, покачал головой и похожим на сучок пальцем выковырял пыль, забившуюся в уголки его маленьких карих глаз.— Обогнал меня, вон куда забрался.

— Еще бы, я ведь налегке, без овец,— отозвался Шиллинг Муриле,— и шел напрямик.

— Видать, не забыл ты эти края.

— На то и дана человеку память, чтобы помнить...

Пастух запустил руку под одеяло и извлек бутыль с водой, не спеша откупорил ее и протянул парню.

— Промочи горло. Небось все в тебе пересохло, пока шел.

— Сначала ты, старик,— натянуто улыбнулся Муриле.

— Экий ты уважительный!

Пастух запрокинул бутыль, забулькал водой, икнул и сказал:

— Я рад, что ты цел и невредим.

— Невредим? — Муриле взял бутыль, пополоскал рот и проглотил воду, потом вернул бутыль старику.— Смотри не сглазь!

Пастух заткнул горлышко пробкой и спросил, отведя глаза:

— Ну, сделал дело, ради которого пришел?

— Неохота сейчас говорить об этом. Одно скажу: мой брат Тими может спать спокойно.

Из норки вылез муравей и потащился по песку. Узкая полоска, которую ему надо было пересечь, наверняка казалась бедняге бескрайней пустыней.

— Они устроят за тобой погоню.

— С чего бы? Разве кто-нибудь знает обо мне?

— Хм! Тогда возвращайся к нам, живи среди своих земляков, мы тебя не выдадим. Впрочем, в деревне теперь добра не жди. Ма-Тау говорит, на нас нашлют войска и даже летающие машины.

Муравей обогнул сломанную травинку и исчез из виду.

— Где они теперь — наши люди?

— Ма-Тау ведет их в горы.

— Им там долго не продержаться, полиция всех переловит,— сказал Шиллинг Муриле.— Так что зря они устроили весь этот балаган.

— Люди хотели показать, что не желают больше быть рабами,— пастух нахмурился, и его старческое морщинистое лицо погрустнело под дырявой шляпой.— В конце концов, это — наша земля.

— Если вернусь, эта баба заездит меня,— вздохнул Шиллинг Муриле. Он протянул руку и достал из-под брошенной на землю куртки новенькое автоматическое ружье, еще недавно принадлежавшее Ханнесу Меулену.— А с этим что делать? — спросил он.

Мадонеле вытаращил глаза.

— Хоу! — В его голосе был благоговейный трепет, он робко выставил пропыленный палец.— Можно потрогать? — Коснувшись винтовки, он тут же отдернул руку, словно металл жегся, сунул палец в рот.— Хочешь оставить его себе?

Мурилe положил ружье поверх куртки и стал натягивать ботинки.

— А почему бы и нет? — пожал он плечами.— Мы еще найдем ему работенку, у меня есть несколько патронов.

— Тогда припрячем его до поры,— сказал Мадонеле и добавил, пристально глядя на молодого человека: — Ты сказал «мы». Значит, ты пойдешь с нами, со своим народом?

Шиллинг Мурилe поднялся, держа в руках винтовку, завернутую в куртку, посмотрел на пастуха, и его широкое, лоснящееся от пота лицо озарила лукавая улыбка.

— Скажем так, я пойду с т о б о й, старик. Ты не забыл, ведь у тебя мой табак!

Пастух хихикнул и, обернувшись, свистнул собаке. Овцы снова побрели по пыльному руслу. Шиллинг Мурилe съехал с берега вниз — рыхлая земля кусками обваливалась под тяжестью его тела — и зашагал вслед за пастухом, скрипя подошвами по сухому песку.

Суровое солнце палит нещадно, при каждом шаге пыль взлетает ввысь, как дым от костра. Земля вокруг оцепенела под гнетущим зноем. Вдали, за синим маревом видны расплывчатые очертания гор. Бронзовый солнечный блин окрашивает весь мир в резкий цвет плавящегося в домне металла. Наступает самое жаркое время дня. Выжженные засухой поля, дымчатое марево на горизонте, все живое превращается в прах.

Постепенно воздух, отяжелевший от зноя, как будто приходит в движение, сначала медленно и беззвучно, словно собираясь с силой, потом жаркое покрывало опадает под его крепнущим напором. Горячий воздух пробивается наверх, уступая место у земли более прохладным потокам. С тихим стоном поднимается ветер, на глазах крепчает, разнося острые, как жала, песчинки. Вуаль из пыли накрывает землю, как дым артиллерийских разрывов; стенания ветра переходят в рев; так шумит раскаленная домна, извергая мириады огненных игл. Земля прогибается и оседает под гнетом пришедшего в движение жара. Потом ветер ослабевает, и снова можно жить, дышать; рев утихает.

Послеполуденное солнце золотит поля. Косяк птиц, рассекая крыльями воздух, устремляется вниз, к воде.

■

РАМЗЕС ВИКТОР БОРИСОВИЧ (род. в 1940 г.).

Советский переводчик. В его переводе выходили произведения африканских прозаиков, пишущих на английском языке: Алекса Ла Гумы, Нгуги Ва Тхионго, Чинуа Ачебе, Меджи Мванги и др.

Рассказы молодых венгерских писателей

С венгерского

Последнее десятилетие в культурной жизни Венгрии было ознаменовано интенсивным притоком в литературу новых имен, свежих сил. Это явление вызывало — и вызывает до сих пор — столько разных споров, что само понятие «молодые писатели» мало-помалу приобрело смысловой оттенок, выходящий за пределы своего «номинального» значения. Обозначилась даже тенденция относиться к этим писателям чуть ли не как к особому направлению в литературе, противопоставляя их, вместе взятых, старшим поколениям.

Время внесло ясность и в этот вопрос, показав несостоятельность подобного противопоставления. Накопившиеся за десять — пятнадцать лет художественные ценности, созданные молодыми художниками слова, дают все основания сказать: стать писателем и тем более сказать новое слово в литературе, развивающейся в социалистической стране, в обстановке строительства зрелого социализма, можно, лишь опираясь на то лучшее, что было создано в прежние годы, при условии творческого освоения прогрессивных традиций отечественной и мировой литературы.

За последние годы молодые венгерские писатели издали множество авторских сборников прозы и стихов, около десяти антологий: они издают свой журнал, их произведения регулярно публикуются в «толстых» журналах и в периодической печати. Они внесли немало свежего и ценного в литературу, «открыв» новые темы, новые характеры, немало сделали они и в плане стилевых, композиционных поисков. Молодые писатели, в частности — тут им действительно и карты в руки,— отразили в литературе мироощущение, чувства и помыслы современной молодежи, поиски ею своего места в жизни, в обществе, в процессе созидательного труда. Но имеющиеся достижения еще и еще раз убеждают: за какую бы тему ни брался молодой художник, какую бы точку (предельно субъективированный фокус авторского «я» или позицию объективного наблюдателя) ни брал он центром своей системы координат — главным условием творческого успеха обязательно являлось желание (и, конечно, умение) найти, показать существенные особенности жизни и борьбы человека в нашу эпоху, его мироощущение, отношение к действительности. А ведь это — один из критериев реалистического метода.

Рассказы этой небольшой подборки не могут, разумеется, отразить все разнообразие путей, которыми идут в литературе молодые венгерские прозаики. Они лишь дают примерное представление об этих путях — но притом, мы считаем, наглядно иллюстрируют сказанное выше.

Рассказ Андраша Шимонфи как бы создает временну́ю перспективу для всей подборки, обращаясь к тем, не столь уж и далеким годам, когда на земле Венгрии, на теле ее еще зияли раны страшной войны, в которую страна была втянута из-за преступной, безответственной политики и ее реакционных правителей. Рассказ Шимонфи звучит как напоминание о прошлом — напоминание тем более мрачное, даже жестокое, что оно доходит к нам через бесхитростное детское мировосприятие, где проржавевший фаустпатрон — не более чем игрушка, которую не хочется отдавать сопернику.

Призрак прошлого — в лице опустившегося бывшего помещика — появляется и в рассказе Йожефа Балажа «Тени отчего дома». Но здесь оно, это прошлое, уже не жестоко, оно не страшит; оно возникает здесь именно лишь как нелепый, грустный призрак, вызывающий презрение и жалость (чем-то рассказ Балажа напоминает повесть Дюлы Ийеша «Обед в замке»). Оно, это прошлое, лишь оттеняет жизненность, реальность — но вместе с тем и относительность, разрешимость — новых, сегодняшних забот и противоречий. В частности, Балажа занимает противоречие между мировосприятием, подходом к жизни современного крестьянина и современного горожанина, противоречие, которое представляется, может быть, не таким уж и болезненным, не таким уж и трагическим рядом с тусклой безнадежностью оставшегося далеко позади, полного унижений и несправедливости бытия. Рассказ этот свидетельствует о незаурядном писательском мастерстве, художественном чутье Йожефа Балажа, не так часто встречающемся у молодых писателей.

Крестьянская психология — объект художественного осмысления и в рассказе Сильвестера Эрдёга «Море и чайка». Пафос этого рассказа — сострадание к труженикам, чья жизнь, заполненная работой, едва не отняла у них способность радоваться тому, что стало им доступно нынче. За этим состраданием, однако, прячется вера в то,

что способность жить полной, светлой жизнью, которую, может быть, более других заслужили эти люди, станет и их достоянием.

Наконец, рассказ Петера Хорвата снова возвращает нас к молодежи, показывая ее отношение к жизни, представления о морали, в которых пренебрежение ко многим, освященным веками нормам сочетается с поисками истинных, лишенных фальши критериев, с поисками чистоты, человечности.

Представленные в подборке авторы различны и по возрасту, и по накопленному писательскому опыту, и по жизненному пути, приведшему их в литературу. Андраша Шимонфи можно уже назвать (пусть здесь странно звучит подобное определение) «ветераном» среди молодых писателей: он начал публиковаться еще в начале 60-х годов. Несколько позже стали известны имена Сильвестера Эрдёга и Йожефа Балажа; оба они пришли к писательской профессии практически уже сложившимися мастерами, со своим стилем, своими темами. Особенно стремительным был взлет Йожефа Балажа, за несколько лет издавшего целый ряд книг, которые встретили единодушное признание венгерской критики и читателей. Петер Хорват появился на литературном горизонте сравнительно недавно, успев издать лишь один сборник рассказов.

Но, несмотря на различия, все эти четыре автора прочно связали себя с литературой. Конечно, им еще расти, учиться, накапливать мастерство и, главное, находить пути все более и более глубокого проникновения в сущность современной действительности. И все же им — и многочисленным их ровесникам, собратьям по перу — принадлежит завтрашний день литературы социалистической Венгрии.

Ю. ГУСЕВ

АНДРАШ ШИМОНФИ

Ямы той поры

Яма эта больше всего походила на воронку от бомбы. Сходство усиливалось тем, что края ее представляли собой почти правильный круг, и еще тем, что она заметно сужалась книзу, заканчиваясь на дне маленькой лужицей. Изнутри она тоже была бы круглой, если бы ее округлость не нарушал удивительно живучий куст бузины. В жаркую, сухую погоду вода со дна ямы по невидимым протокам уходила в грунт, оставляя после себя илистую жижу. Но в том году погода не очень благоприятствовала этому: не было настоящего лета, чуть ли не каждую неделю шел дождь, над крышами грохотали грозы, город был дочиста омыт ливнями. А однажды и град выпал — величиной с орех,— он засыпал улицы и фруктовые сады. Газеты поместили тогда фотографию старого дворника, который своей ветхой, сильно поредевшей метлой

© Magvetõ Könyvkiadó, 1976.

АНДРАШ ШИМОНФИ — SIMONFFY ANDRÁS (род. в 1941 г.).

Венгерский писатель, лауреат премии им. Аттилы Йожефа. Печатается с начала 60-х годов. Автор сборников рассказов «Бунт до утра» («Lázadás reggelig», 1965), «Великолепный день» («Egy remek nap», 1973), романа «В чужом городе» («Idegen városban», 1976). Рассказ «Ямы той поры» («Egykori gödreink») взят из антологии «Панорама 76» («Körkep 76». Budapest, Magvetõ, 1976).

пытался расчистить дорогу от выпавшего града. Яма уже несколько лет уродливо зияла посреди пологого, поросшего травой и кустарником склона горы, где когда-то была комфортабельная вилла, от которой уцелели ступенька лестницы и обломки парапета. Правильную и красивую воронкообразную яму очень портили эти ливни и грозы: потоки воды проделывали по бокам воронки желобки и дорожки, образуя вымоины, и, к великому огорчению мальчика, приносили в воронку всякий хлам и мусор. Разумеется, и этот хлам таил в себе немало загадочного: на дне, как раз в самом центре, лежал чайник, довольно хорошо сохранившийся; по нему лучше всего можно было определить уровень воды в воронке. После сильных дождей чайник скрывался под водой — не видно было даже черной его ручки; в более сухую погоду он резко выделялся своими четкими формами на фоне илистого дна, напоминая высохший человеческий череп, бог весть как попавший туда.

Еще в яме можно было найти осколки цветных изразцов — одни сверкали на солнце ярким глянцем, другие же, скромно притулившись на склонах воронки, показывали свою ребристую тыльную сторону. Валялся там и один беспризорный полуботинок; можно было подумать, что кто-то нечаянно ступил в яму и, чтобы высвободиться из нее, предпочел оставить на вязком дне свой полуботинок, который с тех пор как бы врос в грунт и уже не отличался от него по цвету. Были среди хлама и тряпки, и поржавевшие железные обручи, обломки кирпича и осколки стекла, обрывки бумаги и старая, полуистлевшая дамская сумочка.

Но самой удивительной особенностью этой ямы было то, что она и теперь напоминала собой воронку от бомбы — впрочем, она таковою и была. Некогда красивой, безупречно круглой воронкой с лужей на дне и с кустом бузины на склоне.

Мальчик больше всего опасался Ференца Биса. Бис не щадил чужие ямы. Конечно, мальчик мог бы найти себе и другую воронку, более правильной и строгой формы, или такую, которая была бы ближе к дому. Мог бы найти воронку без дождевых промоин, без куста бузины и увязшего на дне полуботинка — и все же он привязался именно к этой. После уроков, распрощавшись с приятелями, он шел не домой — дом был в двух шагах,— а совсем другой дорогой, петляя и кружа (вдруг за ним следят!), он шел к этой воронке и садился на плоский камень у самого ее края. Здесь, сидя на камне, он часами мог наблюдать за «жизнью» ямы. После сильных дождей в ней появились и лягушки.

Яма была надежно укрыта и хорошо замаскирована. Каменная ограда бывшей виллы сохранилась, уцелели и железные решетчатые ворота, но они были навечно закрыты. Однако «отдушины» — маленькие окошки в ограде, в самом низу совсем невидимые за бурьяном,— были открыты; мальчик мог еще протиснуться, взрослому же или старшекласснику этого никогда не суметь. Сад, оставленный без присмотра, буйно зарос, и мальчику, чтобы добраться до заветной воронки, приходилось буквально продираться сквозь заросли. Он обламывал ветки, чтобы, согнувшись в три погибели, достичь своей цели — воронки. Он был осторожен и следил за тем, чтобы даже здесь не оставлять после себя заметных следов. Он уже знал, что многие ребята рыщут в поисках новых ям, знал тех, кто спекулирует ими; они наперебой хвастаются своими ямами, выменивают их, а кое-кто — по праву сильного — просто отбирает себе лучшую. У некоторых четвероклассников было даже по три, по четыре ямы, а о некоторых ямах уже никто не мог сказать, кто первым их «открыл» и кому они принадлежат. Несколько раз ребята из его школы — каждый на условиях «строжайшей секретности» — показывали мальчику одну и ту же воронку, предлагая ему вступить в «кооперацию» по совместному владению ямой. Однако потом выяснялось, что эту

«надежно укрытую секретную» воронку знают уже несколько поколений и давно ее обчистили, даже кусочка изразца в ней не найдешь. Редкостными считались и такие ямы, на склонах которых или в густой траве поблизости можно было найти боевые патроны. Ну а если находились конские кости — это уже было верхом всяких ожиданий! Не говоря уже о том, что настоящая яма должна и располагаться в хорошем месте. В надежном, хорошем месте. Случалось, что взрослые, никого не оповестив о своих намерениях, вдруг начинали что-то строить на том или ином участке. В этом случае они, не долго думая, засыпали старые ямы, сравнивали их с землей, предварительно вытащив из них и сложив в углу сада битый кирпич; потом с кирпичей сбивали молотком засохший раствор и те, которые еще можно было снова пустить в дело, использовали на стройке.

Сад мальчика казался недоступным чужому глазу — это была заброшенная местность, кругом одни развалины; даже асфальтовое покрытие дороги здесь потрескалось.

Если б только не было этого Биса! Мальчику казалось, что Бис и его дружки что-то подозревают. Бису, завзятому драчуну и забияке, разумеется, принадлежали самые лучшие воронки от бомб. Бис был на несколько лет старше и умел не только драться. Он знал толк и в том, как обвести вокруг пальца маленьких мальчишек, считавших его своим атаманом. Бис мог наобещать с три короба тому, кто найдет ему новую воронку. Сам же для этого и шага не делал со двора. «Мелкотня», что называется, все ему на блюдечке подавала. Бисы жили в нижнем этаже разрушенного дома, где раньше помещался магазин. Ему стоило лишь переступить порог — и он уже оказывался на улице.

— Ну, что там, клопик?

— Послушай, Бис,— шептал ему кто-нибудь из первоклашек,— я знаю, где есть для тебя воронка.

— Ну-у? — подозрительно тянул Бис. — И где же эта твоя ямочка?

Там-то и там-то.

— А-ах, эта... Да я ее уже два года, как всю перекопал. Предложил бы что-нибудь новое, клопик.

Разумеется, он об этой воронке и понятия не имел. Зато на следующий день он ее действительно перелопачивал. И надо сказать, у Биса был хороший нюх — он всегда что-нибудь находил. Однажды он нашел даже пистолет. У него всегда были и порох, и патроны. И он не боялся копать и рыть, он не боялся — это надо признать. И как только Бис находил новую воронку, он не успокаивался до тех пор, пока всю ее не выпотрошит.

Но эту воронку Бис никогда не найдет!

Она была не похожа ни на какую другую!

У воронки имелись две особенности, о которых мы пока еще не говорили:

1. Сантиметрах в восьмидесяти над чайником, служившим мерилом уровня воды,— но даже при самом большом подъеме воды сантиметров на пятьдесят выше этого уровня,— на стороне, поросшей сорняком, торчал немецкий фаустпатрон, слегка прикрытый кустом бузины. Величиною с арбуз.

2. Справа от фаустпатрона и немножко ниже его временами была видна наполовину засосанная илом искусственная челюсть — словно усмешка самого фаустпатрона.

Другой такой воронки просто нельзя было и сыскать нигде в округе. Да пожалуй, во всей округе. Подобная яма могла быть только предметом мечтаний. И все это принадлежало и будет принадлежать ему одному, если у него хватит выдержки не проболтаться. Правда, это очень трудно. Никому не говорить о такой яме — очень трудно!

Однажды Бис догнал мальчика, когда он шел домой.

— У меня есть свежий порох,— сказал Бис как бы между прочим,— и совершенно сухой. Подорвем?

Мальчик настороженно слушал его. Потом спросил:

— Сейчас? Днем?

— Если хочешь, можно и сейчас. Подпалим жучка. Ну, как, согласен?

— Мне нужно идти домой. В прошлый раз мне здорово влетело.

Он чувствовал, что Бис хочет перевести разговор на другое.

— У тебя есть сейчас яма? — спросил неожиданно Бис.

— Есть... — вырвалось у мальчика,— то есть нет...

— Е-есть? А где?

— Бы-ла,— запинаясь, пролепетал мальчик.— Была одна. Но я ее выменял.

— Выменял? На что же?

— На игрушечный автомобиль.

— На игрушечный? — недоверчиво переспросил Бис.— И где же этот твой автомобиль?

— А я его тоже уже сменял,— неловко солгал мальчик.

— Ладно, хватит! — оборвал его Бис и враждебно насупился.

С того дня мальчику пришлось придумывать новые обходные пути, чтобы незамеченным добираться до своей ямы. Впрочем, около недели он вообще не отваживался туда идти. Наугад брел он по незнакомым улицам и проходным дворам, кругами приближаясь к саду с заветной воронкой. Но он чувствовал, что Бис или кто-то из его дружков наблюдает за ним, следит за каждым его шагом, и он не осмеливался пролезть в сад через «отдушину» в стене.

В конце концов однажды, после сильного дождя с градом, он решился туда пойти. Еще накрапывал дождь, и улицы казались безлюдными. Рубашонка на нем насквозь промокла, пока он пробирался через кусты. Дно воронки было наполнено водой, в которой плавали градинки; они таяли и превращались в серовато-белую кашеобразную массу. Наружу торчала голько ручка чайника. Дождь прошел сильный. Град сбил сорняк и словно открыл для обзора фаустпатрон; теперь его ребристое металлическое тело казалось устрашающе большим. Крупные — с орех — градины лежали полукругом вокруг фаустпатрона, словно кто-то обложил фаустпатрон льдом. Ухмылки искусственной челюсти не было видно — она только угадывалась под кашицей тающего града.

Мальчик сидел, промокший и перепуганный, на краю воронки. Он боялся за фаустпатрон и страшно жалел, что не может ничего ради него сделать. Не испортился ли он от воды? Что будет, если фаустпатрон заржавеет или пропитается весь сыростью? И потом вдруг выяснится, что вот уже несколько месяцев он ходит сюда на свидание с проржавевшей железкой?..

— О, боженька, боженька, последи за ним,— бормотал мальчик. Тут он подумал, что хорошо было бы подкатить фаустпатрон совсем близко к кусту бузины, который его надежно укроет и от дождя, и от посторонних глаз. И тогда только он один будет знать, где спрятано это оружие, которое без него никто никогда не найдет. Только один человек на свете будет знать эту тайну. Только он один.

Мальчик сполз ниже по склону воронки — он никогда еще не отваживался так близко подползти к фаустпатрону — и легонько коснулся его пальцем. «Миленький ты мой»,— ласково и в то же время с трепетом обратился он к фаустпатрону, но когда он дотронулся до холодной металлической поверхности, дрожь пробежала по всему его телу. Сдвинуть фаустпатрон с места мальчик так и не посмел. Фаустпатрон не был для него игрушкой. Он был источником силы, он вселял веру в себя. Мальчик хорошо понимал, что одно неосторожное

движение — и фаустпатрон может взорваться. Сколько раз их предупреждали об этом и дома, и в школе. А также о том, что каждый, кто обнаружит мину, снаряд или взрывчатку, немедленно должен доложить об этом. Но никто никогда не докладывал. Патроны собирали — ведь почти каждый третьеклассник знал уже, как следует вытряхивать из них порох. Говорили, что в одном из садов нашли даже неразорвавшийся фаустпатрон. В связи с этим снова предупреждали: может, еще где-нибудь в округе найдется фаустпатрон. Если кто вдруг на него «наткнется», пусть сразу без оглядки бежит прочь. Ни в коем случае не приближаться к нему! В школу, в их класс, приходил офицер, так он даже на доске нарисовал фаустпатрон, чтобы легче можно было его распознать.

— Бегите от него во всю прыть, не останавливаясь до самого дома — и сразу же сообщите о находке. Сразу же!..

Мальчик еще посидел несколько минут на корточках, совсем рядом с фаустпатроном, ласково разговаривая с ним. И снова осторожно дотронулся до него. Но фаустпатрон никак не реагировал. Словно это всего лишь мертвый кусок железа.

Мальчик наломал веток и, стоя на краю ямы, стал бросать их на фаустпатрон. Теперь он был укрыт зеленью бузины.

— Ну, до свидания, мой миленький! Завтра я снова приду.

Мальчик чувствовал теперь свою власть над всеми. Тайную власть. Он не собирался воспользоваться этой властью, но приятно было думать о том, что... Что он может теперь расправиться с каждым, с кем пожелает. Впрочем, он не испытывал жажды мести, не хотел ничьей гибели. Порою даже собственная бессмысленная смерть казалась ему привлекательной. Вот была бы героическая смерть!

А что, если бы он заявился с фаустпатроном домой и положил бы его на кухонный стол. Будто хлеб из булочной принес. Скажем, положил бы его как раз тогда, когда родители скандалили между собой. «А ну, поцелуйтесь, иначе вместе со мной сейчас же взлетите на воздух!» — сказал бы он им... Или и того проще: «мой миленький» лежал бы на столе; в кухню вошел бы отец и спросил: «Ну, ты приготовил уроки?» А он бы этак небрежно: «Какие еще там уроки?» Старик взглянул бы тут на фаустпатрон и...

И все же больше всего мальчик думал о Бисе. Если бы Бис знал, какая у него яма! И в то же время мальчика кидало в дрожь от одной только мысли: а вдруг Бис, несмотря на все старания, выследил его?

Во сне мальчик отваживался осторожно гладить своего «миленького». Словно ежика ласкал. Ежика ведь трудно гладить, но не невозможно.

А может, ему закопать фаустпатрон? Почему он раньше об этом не подумал?..

Неделю спустя Бис и его дружки поймали мальчика на улице. Их было пятеро или шестеро. Они прижали его к стене и полезли на него с кулаками.

— Ну, так где твоя яма, клопик? — пытал его Бис.

— Нет у меня ямы.

— А я знаю, что у тебя есть яма. Ведь мы следим за тобой.

— Значит, вы и так знаете.

— Короче, есть у тебя яма, щенок, или нет? — И удар в солнечное сплетение.

Но он не признался.

— Ничего, рано или поздно ты все равно проболтаешься,— убежденно проговорил Бис как раз в тот момент, когда мальчик после точно рассчитанного удара ногой в берцовую кость уже готов был признаться.

Сразу идти домой он не мог. Губы разбиты, распухли, под глазом ссадина и синяк. Мальчик решил, что должен пойти к своей яме. Он

правда, понимал, что сейчас ему не следует туда идти, что вообще надо выждать несколько дней, а если и пойти, то только вечером, когда стемнеет. Но он не мог противостоять искушению. Он постарался замести следы — забежал к одному однокласснику, потом к другому, ополоснул лицо, охладился немного. Затем сел на трамвай, спрыгнул на ходу между остановками, сделал крюк и прокрался к саду проходными дворами.

«Миленький» встретил его равнодушно, холодным серым блеском стали. Фаустпатрон словно загорал в лучах сентябрьского солнца, ветки бузины уже завяли и пожухли, ветер сдвинул их в сторону. Лужа на дне высохла, и челюсть снова ухмылялась в оскале.

Фаустпатрон выглядел покорным и беззащитным. Нужно было действовать.

Мальчик никогда не подумал бы, что фаустпатрон может быть таким тяжелым. Он не рискнул его катить — нужно было поднять. Мальчик с трудом смог удержать равновесие на крутом склоне воронки. И все же ему удалось перенести свой груз — фаустпатрон лежал теперь в надежном укрытии: у самого куста бузины. Только с одного-единственного места можно теперь увидеть его. И то, если очень искать и знать, что это темное пятно — не дырявая кастрюля, не старый ночной горшок, а...

Мальчику сводило шею от страха. Но вот опасность миновала.

— Я перенес его,— ликовал он.— Перенес!

Однако его ликование продолжалось недолго. «А что, если это оружие уже вовсе не оружие? — подумал он.— Что, если это давно железный лом и ничто больше?» Он задрожал, мучимый неопределенностью. Что же это такое? Неужели он мучается, лжет, свято хранит тайну — и все ради этой старой поганой железной «дыни»?! Он ведь так верил в нее!

Мальчику не пришлось долго мучиться сомнениями.

На следующий день жители близлежащих домов услышали странный гулкий звук. Будто где-то невдалеке ветер с силой захлопнул массивную железную дверь. И в воздухе поплыл какой-то тяжелый удушливый запах... От Ференца Биса на месте происшествия не осталось даже обрывков одежды. Мальчик никак не мог понять, почему хоронят пустой гроб? Имре Тоот, из пятого «Б», оказался осторожнее: он не рискнул вместе с Бисом спуститься к самому кусту бузины; он ожидал наверху, примостившись у края воронки, рядом с камнем, на котором обычно сидел мальчик. Имре остался в живых — ему только оторвало правую руку и осколком выбило один глаз.

Вся школа участвовала в похоронах.

— Война все еще требует от нас новых и новых жертв,— сдавленным голосом проговорил директор.— И вот сейчас самые дорогие жертвы: жизнь наших ребят...

«Бис — самая дорогая жертва?» — не укладывалось в мозгу у мальчика, стоявшего в задних рядах среди чужих могил — там, где неровными шеренгами сумели построиться классы. Стоящим сзади почти ничего не было слышно и уж подавно ничего не было видно. Многие переговаривались, а те, кто оказался впереди, сурово цыкали на них, возмущенные таким поведением.

Стоявшие рядом с мальчиком, очень удивились, когда он вдруг начал всхлипывать. Они и не предполагали, что он плачет от бессильной ярости — до него вдруг дошло, что это могли быть его похороны. «Бис,— бормотал он,— всегда этот Бис! В моей воронке, моим фаустпатроном, моим...»

Мальчик чувствовал себя горько обманутым и беззащитным.

Перевод О. ГРОМОВА

ЙОЖЕФ БАЛАЖ

Тени отчего дома

Еще в дороге он подумал, что перед выездом следовало бы написать. И теперь, когда был уже дома, когда машина въехала на мосток перед отцовскими воротами, даже рассердился на себя: «Старики-то могут быть сейчас в поле либо на винограднике...»

Он посигналил, но тщетно: во дворе никакого движения. Глаза мимоходом отметили свежие следы граблей на песке. Он знал: с утра отец непременно убирался во дворе, лишь после того побрели они с матерью на полевые работы. Последнее время они ни за что не уйдут со двора, не управившись сперва с домашними делами: вдоволь зададут корму скотине, все колоды, все щербатые миски наполнят водой до краев, двор подметут да еще пройдутся по нему граблями. Потом тщательно, не торопясь запрут все, что можно: дом, погреб, обе калитки — на улицу и на огород... Он словно наяву видел сейчас и отца, и мать, видел, как они напоследок еще раз оглядываются на свой дом, удовлетворенно оглаживают его взглядом.

Не выходя из машины, он раздумывал, ехать ли дальше в деревню, или поспрашивать у соседей, где вернее искать родителей. Глянул мельком налево: за забором, вцепившись в планки, стоял сосед и смотрел на него. Он подивился даже, как это сразу его не заметил; впрочем, старый Якаб такой коротышка, из-за штакетника только лоб и виден. Едва глаза их встретились, старый Якаб сказал:

— Отец твой с матерью на виноградник подались...

Старик дышал тяжело, голос хриплый, движения вскинувшихся рук неуверенны; даже из машины было видно, как дрожат его пальцы, обхватившие просмоленные планки забора.

Он поспешно вылез из машины, перебежал по мостку через канаву и остановился перед стариком. Поверх забора пожал ему руку. Стоял и не верил собственным глазам: лицо старого Якаба обрюзгло, лоб покрылся желтушными пятнами, рот — уж лучше бы ему этого не видеть! — перекосило на сторону. Он не знал, как теперь быть, что делать, что сказать... только что все было так легко, и вдруг словно по голове шарахнули. Захотелось вернуться в машину.

— По... подались на виноградник... мать да отец твой. А я вот стою. Доктора говорят...

Он терпеливо ждал: пусть уж старик закончит фразу.

ЙОЖЕФ БАЛАЖ — **BALÁZS JÓZSEF** (род. в 1944 г.).

Венгерский писатель. Его первый роман «Копортош» («Koportos») появился в 1976 г. С тех пор вышло несколько его романов и повестей, в том числе «Венгры» («Magyarok», 1977) и «Безвинный» («Ártatlan», 1978).

Рассказ «Тени отчего дома» («Otthoni árnyékok») был напечатан в журнале «Кортарш» (№ 2, 1978). Он войдет в сборник «Посреди земли», готовящийся к печати в издательстве «Художественная литература».

— ...доктора говорят, чтобы здесь и стоял... либо сидел во дворе. Под деревом. Так и наказывали...

Кивнув старику, он заторопился к машине.

Дав задний ход и вырулив на дорогу, по которой приехал, он не удержался, оглянулся на соседский забор. Старый Якаб провожал машину взглядом, его глаза блестели. Сзади него, посреди двора, стояло наполовину высохшее ореховое дерево.

«Потому, верно, и не срубили, чтобы было где старику посидеть»,— подумал он. Порядочно отъехав от деревни, он свернул с шоссе на широкий проселок. И только теперь заметил, что по обе стороны дороги цветут акации: их аромат вдруг волнами хлынул в окно машины, и оттого на душе сразу повеселело; он ехал и напевал себе под нос какой-то шлягер:

Улиц в Лондоне не счесть,
и на каждой угол есть,
всё углы да уголки...

«Вот дуралей, дался мне этот Лондон, когда через неделю я еду в Италию!»

Собственно, он и домой прикатил, чтобы сказать о том старикам. Раз уж за границу съездить собрался, надо хоть попрощаться чин чином. Старики затем ведь и помогли ему машину купить, чтобы почаще домой наведывался.

В поле он никого не увидел и, свернув на виноградники, поехал еще медленней. И на этой дороге, в эту самую минуту поклялся себе, что станет наезжать домой чаще. Будет ходить на виноградник, мотыжить, опрыскивать... «Вообще поселюсь здесь в тишине, построим с отцом какую-нибудь халупу, а там, как только смогу, раз — и сюда... Бриться не стану, питаться буду птичьими яйцами да морковкой. Про меня и так все говорят, даже Бетти с ее-то куриными мозгами — Бетти, ну и имечко! — будто я по натуре отшельник».

Нынче, когда он отправился домой, в деревню, Бетти ехала с ним до самой городской черты. Всю дорогу ныла, что у нее-то нет ни машины, ни гарсоньерки, ни дома за городом. «Не то что у тебя,— орала она ему прямо в ухо.— Ты вон и квартиру отхватил в своем институте, гарсоньерка, правда, но все же отдельная квартира, а я — как жила, так и живи, с мамашей... Вот вернешься, а меня уж не будет, отравлюсь, и все».

Он слышал это от нее сотни раз. Всякий разговор у нее сводился к этому.

Но сейчас он вдруг ясно понял, что очень хотел бы приехать сюда с нею вместе. «В институте все считают тебя отшельником. Тебе тридцать лет, а ты до сих пор не знаешь, чего хочешь...» Он ответил ей, что самое важное знает: «На тебе не женюсь никогда». Тут-то Бетти и выскочила из машины, побежала к конечной остановке автобуса. «Ну и ну! — подумал он сейчас с удивлением.— Даже не обернулась!»

Добравшись до отцовского виноградника и заглушив мотор, он первой увидел мать. Она всплеснула руками, крикнула отцу и бросилась было к сыну, но тут же остановилась. Отец и мать воткнули мотыги в песок и стояли теперь в нерешительности, не зная, как поступить; лица у обоих светились. Они двинулись было к машине, которой гордились больше, чем сын, но виноградник не отпустил их: «Надо бы еще несколько рядков промотыжить, чтоб другой раз не приходить».

Он постоял немного. Перебрасывались словами — о том о сем, вдруг он торопливо разделся до пояса, взял у матери мотыгу и принялся за работу. Отец довольно посмеивался — не забыл, как мотыгу держать! Потом почесал затылок, надвинул кепчонку на лоб и, сощурясь, проговорил:

— Дома-то в последний раз зимой был, а нынче уж май на дворе... Для того и машина у тебя, чтоб домой почаще заглядывал.

Но он пропускал эти слова мимо ушей. Знал, что хочет сказать отец и почему говорит так. Пройдет какой-нибудь час, день, и все станет на свои места, словно бы он и не уезжал отсюда. С родителями у него полный контакт. Вся деревня знала, как они его любят, как им гордятся. Правда, о работе его им только то и известно, что трудится он в каком-то исследовательском институте, где изучают растения и вообще серьезным делом занимаются, ставят опыты. Однажды он и сам слышал, войдя в деревенскую корчму, как кто-то сказал за его спиной: «Это Миклош Чисарик, ну, знаете, тот, ученый...» Интересно, от кого это пошло — «ученый». Скорей всего от отца. Верно, расхвастался однажды в корчме, ну, а люди такое помнят.

Мотыги, кошелку и лейку он сунул в багажник, мать посадил сзади, отца — на переднее сиденье, рядом с собой. Перед виноградником развернулся. Мать попросила: сперва давай к кладбищу, а потом уж домой.

— Там, у дороги под деревом, Бела Касон полеживает, заедем за ним... с собой прихватим. Как жена у него померла, мы его к себе взяли. Так он каждое утро на кладбище ходит...

Миклош остановил машину, повернулся к матери. Он не верил собственным ушам.

— Чего удивляешься? Бела Касон у нас живет... в задней комнате. Там его и поселили.

— Белу Касона? У которого хутор был?..

— Нет у него теперь ничегошеньки. Ходит в отрепьях, рад бывает хоть раз в день поесть чего-нибудь. А так-то и ему лучше... Все не один. Мать твоя и обстирывает его, и кормит,— обстоятельно рассказывал отец.

Миклош Чисарик, усмехаясь, облокотился на руль.

— Чего удивляться-то,— опять заговорила мать,— никому до него не было дела... ему теперь только с нами и хорошо.

Они свернули на дорогу к кладбищу. Бела Касон лежал на придорожной аллее, спиной к кладбищу, надвинув на глаза шляпу.

Миклош Чисарик подошел к нему вместе с отцом. Бела Касон встрепенулся, тяжело приподнялся, пробормотал что-то невнятное, наконец, признал и отца, и сына.

— Я тут раздумывал... как бы это уйти куда глаза глядят,— проговорил Бела Касон.

— Во сне, видать, раздумывали? — спросил старый Чисарик.

— Нет, почему же,— отозвался Бела Касон.— Я не спал.

— Поедемте с нами! — Подхватив сидевшего на земле старика сзади под мышки, Миклош помог ему встать на ноги.

Бела Касон — в зимнем пальто, в высоких растоптанных башмаках и старых, залатанных галифе — на мгновение потерял равновесие.

— А все ж таки вы спали,— не преминул заметить старый Чисарик.

Бела Касон сел на заднее сиденье, как раз за спиной Миклоша, и проговорил:

— Ну, хороша машина? Вот что, поезжай-ка на кладбище.

— Еще чего... Может, уж прямиком на небо,— огрызнулась мать Миклоша.

Бела Касон замолчал, плотней запахнул свое зимнее пальто. «Верно, испугался, когда мы его разбудили,— подумал Миклош.— Да, состарился наш бывший помещик, теперь ему, должно быть, за семьдесят...»

— Сколько вам лет, дядя Бела? — спросил он.

— Не называй меня Белой! Препоганое имя. Бывший помещик по имени Бела!.. В жизни всякое ко мне приставало, вот и к лохмотьям этим привык, но имя мое... Собаке и то лучше кличку дают. Редкостный чудак был отец мой. Нынче уж и цыгана Белой не нарекут...

— А папеньку вашего как звали?

— Отца моего? — глянул на Миклоша Бела Касон.— Моего отца звали Венделем — Вендель Мухараи-Касон. Как и ты, университетский диплом имел... В Кашше[1] университет окончил... Остановиська,— сказал вдруг Бела Касон Миклошу.— Вот здесь.

Дорога в этом месте, подойдя вплотную к огромному фруктовому саду, сворачивала к деревне. Бела Касон поглядел на сад, потом ткнул Миклоша в спину.

— Вот, видал, все это мое было... Самый большой сад в округе.

— Он и нынче большой и красивый,— вмешалась мать Миклоша.— Давно уж дело-то было, отобрали, чего теперь оплакивать,— прибавила она.

— Поглядеть-то можно,— тихо сказал Бела Касон.

— Поглядеть, поглядеть... а на кой шут! Работать надо. Да и что бы вы делали в этаком громадном саду да в одиночку! — не без раздражения оборвала Касона мать Миклоша.

А Миклош вдруг пожалел старика: обернувшись, увидел, как поглаживает он давно небритый подбородок, как поеживается, будто от холода. Старик скрестил руки на груди; исполненное величия движение, при обносках его, выглядело жалостным, как на похоронах. Только сейчас до Миклоша дошло, что живет так Бела Касон уже лет тридцать. «Или около того, все равно... прожить почти три десятка лет, во все более разрежающейся атмосфере... Вот оно, истинное одиночество, это вам не одиночество гарсоньерок!»

Он опять стал присматриваться к Беле Касону. Бывший помещик сжался весь, как будто угадывал, что думает сейчас о нем этот молодой человек. Угадывал, быть может, и какую жалость к себе вызывает, и что все это выглядит довольно смешно: он — в этой машине, чужой машине, позади сына старых Чисариков, про которого, если б не знал его с малолетства, и не подумал бы, что он здешний, здесь увидел свет божий,— так сильно он отличался от тех, что живут в этой деревеньке или родом вышли отсюда. И не потому, что одет этот парень так, как одеваются нынче в городах всего мира, а потому, что есть в нем нечто такое, из-за чего он, Бела Касон, его опасается, но и тянется к нему тоже. Старик уверен был, что Миклош Чисарик понимает и судьбу его, и всю его жизнь, понимает важность мелочей, будто бы незначительных, замечает в его жизни и то, чего сам он стыдится, хотя жизнь его давно вся состоит из таких вот постыдных мелочей. И этот молодой человек, ученый, как говорят (что за ученый, неизвестно, но молва такая идет), этот молодой человек — сын старых Чисариков, тех самых, которые в былые времена куда как рады были за третью часть урожая арендовать у него, Касона, хоть малый клочок земли. Либо насобирать хоть сколько-нибудь сливовой падалицы вот в этом его саду — теперь-то здесь одни яблоки, а у него прежде сколько слив было! Да как еще радовались, если, конечно, он разрешал им. О чем только не раздумывал Бела Касон, оглядывая бывший свой сад и украдкой, с опаской засматривая молодому Чисарику в лицо: он вдруг понял сейчас, что никогда, ни в прежние времена, ни в будущем, не найдется подле него человека, кто лучше бы понял его, Белу Касона, нынешнее его положение и необычайную историю его жизни, чем этот тридцатилетний юнец в клетчатом пиджаке.

И Миклош Чисарик только сейчас по-настоящему заинтересовался бывшим землевладельцем. «Само собой, он одинок. Но проклятое одиночество не искрошило его, как не сломали и бесчисленные пинки, полученные, надо думать, вполне по заслугам. Конечно, поначалу все это было для него просто кошмаром... Ну, а потом? На что способен человек в одиночку? Совсем в одиночку, голенький, да еще выставленный всем ветрам, дождю, погибели, равнодушию. Выходя из дому, подходя к своему забору, он вполне мог ожидать, что люди с ним да-

[1] Ныне Кошице, входит в состав ЧССР.

же не поздороваются. И не здоровались — да и с какой стати, ведь еще несколько лет назад он сам встречал людей пинками да окриком, в грош их не ставил».

В деревне все еще помнили, как Бела Касон, бывало, с крестьянами, став у окна, разговаривал — в дом не пускал: пришел, мол, с просьбой, проси издали, со двора.

«Но почему он не покончил с собой? В самом деле... Вот о чем спросить бы... Почему он не покончил с собой? Нет, остался в деревне, чтобы в лохмотьях этих век доживать, словно пугало огородное, чтобы сгинуть, в конце концов, где-нибудь. Под забором. Чем душа-то его держалась?»

Миклош Чисарик отвернулся от Белы Касона и, еще не включив мотор, спросил:

— Бывали вы за границей, дядя Бела? Ну, в старые времена...

— Конечно, бывал. У меня старший брат за границей помер, вот я к нему и ездил,— отозвался старик.— В Ассизи. Брат решил паломничество совершить, да простыл по дороге. А я за ним поехал, но помочь ему уж не мог. Он священником стать хотел. Там я и похоронил его, в Ассизи.

— Но ведь тогда... тогда это...— Миклош не находил слов.

— Побывал я и в Риме, в Венеции, потом...

— Где ж еще? — быстро спросил Миклош Чисарик.

— Давно это было... Сам посуди, пятьдесят, шестьдесят лет уж тому. Много ли упомнишь через столько-то лет? Да и потом, коль уж спрашиваешь, могу я и так ответить тебе: какой мне прок — помнить? Это для меня, прошу прощения, непозволительная роскошь... Чем воспоминаниям предаваться, я себя к будущему моему приучаю. Мне теперь для этого и подзорной трубы не требуется... С каждым днем я различаю его все лучше, оно, можно и так сказать, оно мне теперь лучший друг. С ним иной раз обсуждаю делишки мои да заботы, хотя не так-то их у меня и много. Ну, там погода, косточки мои больные, все ж таки... Больше всего я от погоды терплю. Смешно, правда? Может, помаленьку и до конца века этого доживу, как дожил до конца прошлого века один из предков моих — можешь сам посмотреть, на кладбище сохранилось его надгробие, из гранита тесано. Он родился в 1810 году и почти девяносто лет прожил. Так же вроде бы получается и со мной, только на сто лет позже... Я о нем часто подумываю: что, и ему под конец жизни тоже одна погода досталась.

Бела Касон зашелся таким долгим, хриплым смехом, что мать Миклоша только что не подскочила, будто полоумного увидела. Повернулся на сиденье и старый Чисарик, сигарета застыла в его руке. С этой стороны он еще не знавал своего бывшего помещика, да и речей таких длинных от него, как видно, не слыхивал.

— Что ж это за будущее такое... к которому вы себя приучаете? — спросил Миклош.

А на Белу Касона напал жестокий приступ кашля. Им казалось уже, что он вот-вот задохнется. Старая Чисариха расстегнула толстое пальто у него на груди.

— Ну, видишь, вот так и я получаю весточки,— сказал, отдышавшись, Бела Касон сидевшему впереди него молодому человеку.— Морзянка смерти. Ты про будущее спросил, ну, так это оно и есть...

— Оставь ты его, не расспрашивай! Видишь, совсем уже спятил, бедняга, несет невесть что.— Мать подтолкнула сына в плечо. Мол, поехали уж, день-то на исходе, а мы уши развесили, старого дурня слушаем.

Миклош поспешно дал газ, в последний раз оглянулся на огромный сад; деревья красиво убегали назад, ряд за рядом, и скоро отстали совсем. Тогда он в зеркальце стал наблюдать за Белой Касоном. Ему видны были только глаза его да узенький лоб. Потом старик пере-

менил позу: сложив руки, как малый ребенок для молитвы, он неотрывно смотрел на проносящиеся за окном придорожные акации.

До самого дома никто не сказал ни слова. Вероятно, и Белу Касона утомили непривычно долгие речи, а может быть, он уже сожалел, что разговорился перед этим молокососом, вроде как выдал ему себя, рассказал про заветное, такое, о чем до сих пор никому ни разу не проговорился в деревне.

— Дядя Бела в задней комнате живет, там, где когда-то дедушка твой,— еще раз сказала во дворе мать.

— Вот мы купим ему какую-нибудь одежонку. Если у тебя что найдется, пришли, а мы приспособим на него, так-то негоже ему на люди появляться.

— А что же сталось с домом его? — тихо спросил Миклош у матери.

Бела Касон уже отошел от них и медленно брел по двору к заднему крыльцу.

— Сейчас-то пустует, но он на нас его перепишет,— вмешался старый Чисарик.

Ошеломленный, Миклош остановился в дверях.

— На вас? Зачем вам это? В нем и жить уже нельзя!

— А люди деньги за него суют наперебой,— возразил старый Чисарик и пояснил: — Ничего, глядишь, окупится, там ведь и фруктовых деревьев много, и огород есть.

— Да и от господа бога зачтется нам,— добавила мать.

— Мы ведь как думали... на твое имя бы записать,— нерешительно промолвил отец.— Дачу иметь ты можешь, закон такой есть. Вот и будет тебе дача...

— Да что это вы надумали? Люди что скажут? — Миклош просто не хотел верить услышанному и делал вид, что все принимает за шутку.

Но, посмотрев на отца, понял, что этим обидел его. Миклошу было ясно: усадьбу Белы Касона родители прибрали к рукам. Конечно, она теперь не та, что была до войны, большой плодовый сад поделили, нарезали наделы, на них уже выросли новые дома, однако ядро прежнего обширного подворья осталось. И теперь отец и мать на нем — господа. Распоряжаются садом, двором по-своему, строят планы. Должно быть, взяв Белу Касона к себе, родители достигли предела своих мечтаний. Так уж они устроены.

Мать вскинула голову; колебания сына, молчание отца придали ее голосу твердость.

— Работать мы еще можем. От тебя только и требуется — посмотреть, оглядеть все. Тебе ничего не придется там делать, покуда у нас руки еще не отвалились... Ну! Чего думаешь-то? — прикрикнула она, не выдержав, на сына.

Миклош Чисарик счел за лучшее сделать вид, будто не придает всему этому особого значения, и рассмеялся. В конце концов, родители желают ему добра. Вот, заполучили знаменитейшую на деревне усадьбу. Полуразвалившиеся стены, старые плодовые деревья, запущенный, заросший кустарником сад...

— Ну ладно, пока мама ужин готовит, съезжу, погляжу... И старичка с собой прихвачу, дядю Белу...

— Прихвати,— смягчилась мать.— Посади в машину, свези.

Миклош отправился за Белой Касоном. Старик сидел в задней комнате на кровати, сцепив руки; пальто он снял, положил на кровати рядом с собой. Когда молодой Чисарик вошел к нему, он сидел, уставясь в тряпичный коврик под ногами.

— Поедемте со мной, я хочу ваш дом посмотреть. Поедем вместе, дядя Бела.

Старик взялся за свое ношеное-переношенное пальто. Миклош стоял у двери, опершись о косяк.

— Вы бы свет включили,— подсказал он Беле Касону.

Старик махнул рукой, снял с кровати зимнее пальто. Медленно поднялся, накинул пальто на плечи, потом передумал, просунул руки в рукава. Застегнулся, выудил откуда-то из-под кровати узкий ремешок, подпоясался.

Миклош понял: старик хочет этим пальто хоть как-то прикрыть ту рвань, в которую был одет.

Бела Касон вышел во двор, в нескольких шагах от Миклоша вдруг остановился, глянул на свою тень, потом опять на Миклоша.

— Не люблю на свою тень смотреть,— сказал он.

Миклош не ответил, отошел от двери и оказался возле стариковской тени.

— Не наступи,— заметил тот.— Тень защищаться не может.

Молодой Чисарик обошел тень, поглядывая то на землю, то на старика. Бела Касон засмеялся, шагнул вперед, назад.

— Постойте минутку, я сейчас обведу вашу тень!

Миклош бросился в конец двора, подобрал у забора обломок планки, с вершок, не больше, бегом вернулся к старику, стал обводить контур его тени.

Бела Касон стоял неподвижно, а когда Миклош кончил, отступил немного назад.

— Вот он, выходит, и весь человек,— заметил он.— Кривая линия, хе-хе-хе!

Миклош разглядывал свой неуклюжий рисунок.

— Да, кривая линия... хоть и в Южной Америке, все то ж! — проговорил старик.

К ним подошла мать Миклоша.

— Ну, езжайте уж, чего ждете? — заторопила она сына.— Пока вернетесь, совсем завечереет.

Она успела переодеться: на ней был фартук в горошек, голова повязана зеленым платочком.

Миклош только сейчас увидел, что мать все еще полна силы, упорной воли. «Она всегда добивалась чего хотела. Правда, и хотела всегда только того, чего могла добиться...»

Они сели в машину. Подождав, когда машина, наконец, тронется, мать заспешила на задний двор, чтобы поймать куренка сыну на ужин.

Забор бывшей помещичьей усадьбы давно растащили либо его порушило время. Оградой служили густые кусты сирени, ворота упали — прямо во двор. Миклош наклонился было к дощатой трухлявой створке, но тут же ее и бросил.

— Сколько лет этим воротам? — спросил он старика.

— Даже не знаю. Еще с довоенных времен... Плотник из Наменя ставил.

Вошли во двор. Изгородь кое-где все-таки сохранилась, так что можно было догадаться о расположении старой усадьбы: здесь был слишком уж большой «малый сад», там — задний двор, за ним — огород...

— Да, не так выглядела эта усадьба в прежние времена... вот здесь — цветы, деревья, кустарники... все расчищено, ухожено, люди нарочно крюк делали, чтобы полюбоваться...

Миклош подошел к колодцу, заглянул; к короткой двухметровой цепи была прикручена проржавевшая проволока.

— Падалью он набит, колодец,— проговорил за его спиной Бела Касон.

Миклош Чисарик обошел двор, а старик так и остался возле колодца. Молодой человек изредка поглядывал на него, но слова как-то не шли на язык. Ни жалеть его он не мог, ни оставаться равнодуш-

ным. Вспомнилось детство: вот он едет на велосипеде мимо усадьбы Белы Касона, и то, что за оградой, кажется таким таинственным... и еще сохранилась в памяти картина, как посреди двора, на сверкающем белой краской стуле восседает спиной к улице он, бывший помещик. Стул свой Бела Касон ставил всегда в центре сплошь поросшего мальвой двора, на солнце,— Миклош никак не мог взять в толк, почему хозяин сидит на солнцепеке, а не в тени.

Дом Белы Касона был заперт на висячий замок; краска на дверях облупилась, окна заклеены были синей, давно выцветшей оберточной бумагой.

«Ничего особенного,— думал Миклош,— обыкновенный заброшенный дом, таких в деревне полно...»

Он направился в сад — и тут Бела Касон оторвался наконец от колодца.

— Погоди-ка,— бросил он молодому человеку вслед.

Миклош остановился.

— Слышал я, будто ты в птицах да в растениях разбираешься... Так вот, здесь, за этим орехом, большая старая груша, и на ней уже много лет гнездится птица одна... поет она обычно вечером, поздним вечером. Вот здесь, на этом самом дереве... А что за птица, не знаю...

— В птицах я не разбираюсь,— негромко ответил Миклош.— Растениями, правда, занимаюсь, но не так, чтобы по полям или там по лесу бродить... Мы ставим опыты.

Не слушая его, Бела Касон шел к груше и говорил про свое:

— Сперва я думал было, сыч это, смерти моей вещун, но потом сообразил: нет, не то. Иначе он за мной и в дом твоего отца перелетел бы. Понимаешь?.. А он не полетел за мной. В сад отца твоего разве что кобчик залетит либо иволга насмелится с песков... Ну, и диких голубей много... С тех пор как я поселился у вас, все мне по ночам эта желтая птица мерещится. Вот и давеча от того проснулся, будто пенье ее услыхал, она даже и говорила со мной... Я тогда подхватился и — сюда. А здесь в густом тумане все. Я — к груше, а птица-то как раз и улетела. Отец твой пришел за мной следом, здесь меня и увидел. Я под грушей сидел, на земле...

Они подошли к груше. Миклош оглядел ветки, но ничего не увидел.

— Ее здесь нет,— сказал он старику и, повернувшись, зашагал на передний двор.

Бела Касон поспешил за ним, он почуял, что у молодого Чисарика внезапно испортилось настроение.

— А сад и не посмотришь? Отец твой с матерью по нему уж с мотыгой прошлись... Все здесь будет, они и дыни посадили, хоть говорил я им: напрасный труд, все равно растащат... Но отец твой сказал, что забор поставит, и сад обнесет, и с улицы огородит...

— Поехали, пора домой... Сюда бы бульдозер,— вдруг сказал он прямо в лицо старику,— и снести все подчистую — и дом, и то, что во дворе, все с землею сровнять!

— Что это с тобой? Почему? Отец у тебя еще молодой, мать тоже, работает не хуже двадцатилетней... Они мне сказали, что это для тебя — загородный дом у тебя будет...

— Да зачем это мне, вы вот что скажите? Дом у нас есть, к чему же еще-то? Я ведь никогда не вернусь сюда жить насовсем... Никогда... У отца моего тоже, видно, ума палата, просто хоть на стену лезь...

— Ты своего отца не обижай! — вдруг приосанился старик.

Но продолжать не стал. Он опять застыл там же, где давеча. Его тень падала на сруб колодца. Миклош стоял к нему спиной, ждал, когда он сдвинется наконец с места, чтобы ехать домой.

— А на чердак не подымешься? — спросил вдруг старик.

— Чего ради? — повернулся к нему Миклош.

— Стоит у меня на чердаке картина одна... портрет. Бабки моей. Я тебе его отдам.

«Н-да, тут не откажешь, надо лезть — а там видно будет. Может, мазня, а может, и шедевр какой».

И все-таки он, наверное, не полез бы, если б не увидел вдруг глаза старика. Взгляд этих глаз заставил его призадуматься. До сих пор — как ни тревожила его мысли судьба старика, безнадежность, сквозившая в каждом его движении,— Миклош смутно понимал, что нет ему все же никакого до Касона дела. Знал, что стоит ему сесть в машину, выехать из деревни, вернуться на свое рабочее место, в свою квартиру, к Бетти, к лучшему другу Дьоваи — и старик тут же выветрится у него из памяти. Ему было стыдно признаваться в этом самому себе, но ведь и вся здешняя жизнь представится ему в городе чем-то таким, что существует, конечно, но вместе с тем словно бы уже и кануло в вечность, и нужно ее, эту жизнь, рассматривать как некий анахронизм.

Но при всем том, бывая здесь, в деревне, узнавая свою улицу, останавливаясь перед отчим домом, завидя мать и появлявшегося откуда-то из глубины двора отца, непременно с инструментом в руках, он все-таки чувствовал, что жизнь эта еще никуда не сгинула, и то, что он видит, есть самая что ни на есть неоспоримая действительность, и не может он повернуться к этому миру спиной. В новом, городском его бытии труднее всего было именно удерживать в душе вот эту родную жизнь, эти бурные ощущения от его наездов домой.

И когда ему не спалось по ночам, он часто размышлял о том, в чем же тут причина: едет он в деревню, домой,— радуется; уезжает — радуется тоже. Однажды он прочитал где-то о человеке, который лучше всего чувствовал себя в пути и потому при первой возможности отправлялся в дорогу. «Оттого, видно, и у меня эта мания путешествовать. С тех пор как я купил машину, мне тоже ужасно хочется всегда быть в пути». Всего несколькими часами ранее он ехал за родителями на виноградник и думал о том, как построит себе здесь какую-нибудь халупу и будет в ней тихо-мирно жить. «Но долго ли я выдержал бы?.. Вообще, сколько можно выдержать такую жизнь? А теперь вот эта усадьба Белы Касона. Живи... стоит только слово сказать, и отец все приведет тут в порядок...»

Миклош смотрел на стену соседнего дома: с нее тоже осыпалась штукатурка, и в кровле зияли дыры.

— Кто там живет? — спросил он старика.

— Чужаки... переселились с хутора.

Молодой человек пошел вдоль дома, вдоль длинной его стены, ища лестницу. Старик понял: он хочет подняться на чердак за картиной.

— Лестница в хлеву,— сказал он.

Миклош стал осторожно подыматься на чердак. Уже ступив на лестницу, сбросил на траву пиджак, на каждой перекладине выжидал немного: любая из них вполне могла и сломаться.

— Как же так, бывший помещик — и пользуетесь этакой рухлядью?

— Не такой уж крупный я был помещик... Один хутор имел... да еще фруктовый сад тот. А вот дом был вдвое больше, но — растащили... Только это вот и осталось. Кирпич унесли, балки, все...

— Наверное, нужно было,— уже с верхней ступеньки заметил Миклош.

— Наверное,— отозвался Бела Касон.

Чисарик замер, у него даже руки дрогнули, когда он услышал ответ старика. Он чувствовал: старик сказал искренне. Сказал так, с такой интонацией, словно и сам считал это естественнейшим делом на свете.

Молодой Чисарик спустил картину вниз. Во дворе смахнул с нее пыль. Картина изображала пожилую женщину с крестьянским большеротым лицом; волосы заплетены в косы, совсем как у нынешних десятилетних девчушек.

— Она уже старушкой была, ваша бабушка, когда ее писали,— заметил Миклош.

— Я отдаю картину тебе,— проговорил старик.

— Повесим ее лучше у нас, в вашей комнате. Над вашей кроватью. Ей тоже полезно воздухом подышать...

Бела Касон как будто успокоился.

Когда они прибыли домой, ужин был готов. Отцу и матери хотелось, чтобы сын поговорил с ними об усадьбе Белы Касона. Прочили то ее ему! Но Миклош отмалчивался, только нахваливал материнскую стряпню. Затем повернулся к отцу:

— Нельзя, чтоб старик в таких отрепьях ходил. Что люди скажут!.. Вы уж дайте ему что-нибудь из своего. А там и я пришлю.

— То, что на нем, тоже мое. У него своего ничего не было... Да откуда и быть-то? — сказал старый Чисарик.

Ужин Беле Касону отнесли в заднюю комнату.

— И пусть с этих пор он ест вместе с вами,— сказал Миклош матери.

— Как же, допущу я его к нам! — оскорбилась мать.— Ему и там хорошо! Живет в чистоте, все у него есть... Уж ты о нем не беспокойся!

Миклош вышел к машине, наполнил водой бутыль, попинал ногой шины. Отец стоял рядом. Он догадывался, что сын собирается уезжать.

— А я было думал, заглянем с тобой в корчму... Дело-то обговорить нужно. Чего там мне делать, какой, значит, ремонт затевать?..

— Про что вы? — вскинул Миклош глаза на отца.

— Да про Касонову усадьбу. Я ж не о том, чтобы тебе жить в ней... Когда наезжать будешь, все равно ведь у нас остановишься. А в порядок привести следовало бы. Чтоб была, значит, как новенькая...

— Ну что ж, если силы есть,— не стал спорить сын.— А по-моему, так лучше бы продали. Зачем она вам?

— Ежели до дела доведу, так и продать можно дороже... А с этакого сада-огорода я двух свиней запросто выкормлю... Эдак-то каждый год — деньги немалые...

— Воля ваша,— отступился сын.— Ну, надо ехать... Кликните матушку.

Жена старого Чисарика уже стояла рядом с мужем.

— Мне пора. Я ведь только сказать вам хотел, что еду на днях в Италию... Будете, думаю, писать мне, так чтоб знали...

— Куда-куда? — глянула на него мать.

— В Италию... Венеция, Рим... К папе римскому, словом.

— Нам папа без интересу, мы протестанты,— отрезала мать.

— Ну, а все ж, да хранит его бог,— засмеялся отец.— Коли повстречаешься с ним...

— Что ж, сыночек, не успел приехать и сразу назад? А я-то надеялась, денька хоть на два останешься,— говорила мать.— Ежели тебе деньги нужны...

— Нет-нет, не нужно. Денег у меня хватит. Так что теперь уж я вам подарки привезу. Туфли, кофты, ну, что там...

— Только особенно-то нарядное не привози, сынок. Куда нам его? Разве только в церковь! И денег зазря-то не трать...

— Ладно, не буду,— кивнул Миклош.

Тем временем с заднего крыльца к ним подошел Бела Касон.

— А вы бы присели, вы ж старенький,— обратилась к нему мать

Миклоша.— Стариковское дело такое: то перед домом посидеть, то перед воротами. Тащите сюда стул и сидите себе, посиживайте.

Бела Касон не слушал ее. В руках у него была картина.

— Значит, не возьмешь? Тебе дарю. А я повесить ее на стену не могу,— сказал он Миклошу.

— Что это за диво такое у вас? — спросила хозяйка.— Экая страшила, меня чуть родимчик не хватил...

— Она мне как мать была,— глухо проворчал Бела Касон.

Мать Миклоша заливисто рассмеялась. Старый Чисарик докурил сигарету, бросил на землю окурок, взял картину у старика. И долго, с мудрым видом ее рассматривал.

Конечно, Миклош еще мог бы остаться. Он с тем и ехал, что побудет дома денек-другой. То же твердил и Бетти несколько дней подряд. «Осточертел мне город, в печенках сидит... С загранпоездкой все улажено, в институте полный порядок, работа идет быстрей, чем я думал, съезжу домой, проветрю мозги...» Но сейчас, стоя во дворе со своими, он все же решил возвратиться немедля. Он знал, что, оказавшись в городе, прежде всего отправится к Бетти, что застанет Бетти у телевизора и в руке у нее будет книга, а на коленях — тетрадь... Знал, что ее мать будет сидеть в своем кресле, торчать у него перед глазами, пока в телевизоре не погаснет последний кадр... Впрочем, вполне возможно, что Бетти ждет его... Бетти знает, она-то лучше всех знает, чем оканчиваются эти его затеи. Уже не первый раз уезжал он домой с твердым решением пожить у своих несколько дней — но, приехав, через два-три часа начинал собираться обратно.

Теперь Миклошу хотелось уехать как можно скорее, поспеть в город засветло. Пожалуй, будет еще не поздно пойти куда-нибудь с Бетти. «Если, конечно, с ходу не примемся грызться, с того самого места, на котором остановились... Я сказал, что никогда на ней не женюсь... Но ведь по ее же вине! Не будь она такая настырная, не стремись во что бы то ни стало выскочить замуж... Правда, как-то она мне сказала, что лучше всю жизнь с матерью пробедует, чем со мною жить, и что не любит она меня и никогда бы с моим характером не свыклась. Что я невыносим... тут мы опять поцапались... Потом она все же поднялась ко мне и осталась на ночь... А утром ее мать звонит — я, мол, поступаю с ней так же, как Келемен: она к нему каждую ночь таскалась, а он все равно на ней не женился... Из-за этого мы опять сцепились. И выяснилось, что у Бетти не один Келемен был, но и другие тоже... Хорошо еще, что не с Дьоваи...»

— Что ж, сыночек,— сказала мать,— привез бы уж кого-нибудь с собой, как опять приедешь...

— Да, тебе бы самое время жениться,— деловито поддакнул отец; картину он поставил возле машины.

Миклош ничего не ответил, он был занят машиной. Потом обернулся к Беле Касону.

— Что, дядя Бела, может, поедем со мной?

Старик согнулся, поднял портрет, повернулся и побрел за дом, к себе в комнатушку.

— Смотрите же, дядя Бела, никуда от наших не уходите! В следующий раз, как приеду, непременно сфотографирую вам ту птицу, а потом разузнаю, что она такое...

— Хорошо бы,— тихо отозвался Бела Касон, но не обернулся.

«Рассердился, верно, что не взял я у него эту мазню. Но куда мне с нею?»

Миклош распрощался с матерью, с отцом, весело уселся в машину, во дворе развернулся, перед крыльцом остановился еще раз.

И, оглянувшись, увидел: у заднего крыльца, где он какой-нибудь час назад обводил контуры тени Белы Касона, не было уже ничего, кроме следов от колес его машины.

Попрощаться со стариком он уже не мог. Но ясно представил: вот старик вошел в свою комнату, снял тяжелое зимнее пальто, сел, положив его рядом с собой на кровать, и, сцепив руки, неподвижно уставился в темноту.

Перевод Е. ЖМУРКИС

ПЕТЕР ХОРВАТ

Любовь

Бывают дни, когда чувствуешь себя страшно одиноко, хотя рядом и отец, и мать, и друзья, и подруга. В такие дни перебираешь в памяти всех, кого только можешь,— даже тех, с кем перекинулся лишь парой слов, и тех, кого уже бог знает сколько лет не видел. И сдается тогда, что именно среди них нашелся бы тот, с кем хорошо бы выпить по кружечке пива в каком-нибудь кабаке по соседству и, заделавшись этаким пророком, устроить бы разнос миру, которому наплевать на твое одиночество. Но кто же захочет слушать твою болтовню, да и разнос надо бы устроить, по правде говоря, не миру, а себе самому, так что и это отменяется.

В такой-то вот день, под вечер, когда деваться было некуда, и началась эта история. Думал в кино сходить, посмотреть какой-нибудь цветной широкоэкранный фильм, чтоб были море, пляжи, солнце и побольше женщин, но ничего такого не нашлось. Что делать, пошел слоняться по Ракоци, глубоко нахлобучив на голову шапку и подняв воротник зимнего пальто. Стоял декабрь, снег еще не выпал, но ветер пронизывал до костей.

И вдруг гляжу — Косичка. Она торчала перед обувной витриной, переминаясь с ноги на ногу, дуя попеременно в ладони. Делала вид, будто разглядывает выставленную обувь. Однако, думаю, занятие это ей должно было бы уже опротиветь, ведь перед тем, как подойти, я за ней минут пять наблюдал из-за столба.

Мне она очень обрадовалась — по крайней мере сделала вид. Я ж обрадовался ей взаправду. Старая знакомая, шляется по Ракоци, как и я, когда мне тоскливо, и никого нет, на кого бы эту тоску свалить.

Мы вместе кончали гимназию в Сегеде. После Сегеда я ее не видел. Она была пышкой с длинными каштановыми волосами, почти всегда распущенными, если только Маца не успевала заплести их в косу. У Мацы, нашей учительницы и старой девы, был легкий сдвиг — заплетать девочкам косы, потому что волосы, свисающие на глаза, якобы портят боковое зрение. Словом, и ей тоже эта Маца часто за-

© Horváth Peter, 1976.

ПЕТЕР ХОРВАТ — HORVÁTH PÉTER (род. в 1951 г.).

Венгерский прозаик. Первый сборник рассказов Петера Хорвата «Мышиное время» («Egéridő»), откуда взят рассказ «Любовь» («Szerelem»), вышел в 1976 г.

плетала волосы, откуда и пристало к девчонке имя Косичка. Училась она довольно плохо. Чем это объяснить? Не то чтобы она была глупа и не то чтобы не учила уроков. Когда ее вызывали, начинала хорошо, но потом вдруг на середине предложения спотыкалась, замолкала и за весь урок уже больше ни слова. В классе ее доводили — дразнили дурочкой. Но я-то знал — по крайней мере мне казалось, что знал, когда решил подойти к ней перед обувной витриной,— что это не так, но в школе я гулял с другими девчонками, а ее отсеял: боялся, наверно, что, если ее раскрутить, она такого намелет, что мне станет не по себе. Нет, я боялся не того, что она окажется болтушкой. Тут другое — ведь если в ком-то столько незаконченных предложений, то такому человеку должно быть очень тоскливо.

А тоскливых женщин я не люблю.

Позднее стал обрывать предложения и я сам. Верно, и с тобой бывало такое: начнешь что-нибудь объяснять, приятели тебя слушают, кивают, ты и заводишься, и вдруг — бац, замечаешь, что ни на грамм не понимают они того, что им втолковываешь, и черт знает почему, то ли у тебя самого не варит — ну уж какой есть,— то ли у них. А то, может быть, просто не хотят и вникать. Обрываешь тогда на половине и посылаешь всех в баню.

Словом, прежде чем подойти к витрине, минут пять я был на стреме: не ждет ли она кого-нибудь. Не хотелось заводить новых знакомств. Бывает ведь такое, что не хочется. Есть, впрочем, люди, которых хлебом не корми, дай только познакомиться. Они знакомятся постоянно, но мне кажется, что ни с кем они не знакомы по-настоящему. Я сам таких знаю, да и ты тоже. Но вот постоянный набор вежливостей для знакомства есть у всех. Знакомясь, люди говорят на темы, которые их самих нисколько не интересуют. Чтобы собеседник скучал не в одиночку.

Что толковать, зашли мы в ближайший ресторанчик, взяли по кружке пива, но на душе стало как-то еще тоскливее. Вот, казалось бы, женщина, посланная мне самим господом богом, и полупредложения наши могут сложиться в целые. Всегда вот так думается, а потом выясняется — промашечка. Но на этот раз вышло по-другому.

Перебросились несколькими обычными словами. Вроде для приличия, что ли. И потом — как не спросить, где нас носило три года? А разве важно это? Нужно следить за пальцами, за руками собеседника — как водят они по краю пивной кружки, потом, как бы опомнившись, отдергиваются к краю стола, складываются, зная, что кроме как друг от друга тепла им ждать не от кого. Следить нужно за глазами — за тем, как украдкой ловят они твой собственный взгляд.

— Давай переспим.

Не умею я ухаживать. Если чувствую, что с женщиной что-то выйдет, всегда говорю ей: давай переспим. Это она может посчитать и за шутку. В таком случае мы преспокойненько расстаемся. Чаще всего так и бывает.

— Давай,— ответила она.

Всегда боюсь утра. Открываешь глаза — и сразу же тебе ясно, чувствуешь ли ты себя в комнате, где проснулся, как дома, или надо скорее прочь отсюда: тысяча дел — вспомнил, мол, только сейчас,— потом, дескать, позвоню.

Но то утро оказалось отличным. Ночью выпал снег, первый снег в ту зиму.

В комнате беспорядок. Знаешь, какой беспорядок может быть у женщины, когда она одна и давно уже никого не ждет. Комната такая маленькая, что меньше не бывает, и кавардак в ней — закачаешься. Шкафа никакого, он бы и не поместился. На кровати лежали мы, на спинках двух стульев платья, трусики и всякое такое. На столе высокие груды книг, хлебные корки и прочий хлам. По стенам полки, забитые черт знает чем; вдоль стен на полу большие деревянные ящи-

ки, прикрытые занавеской,— в них она хранила свою одежду. То немногое, что имела. Спокойно и обстоятельно рассмотрел все. Ничего неожиданного — будто в этой комнате я просыпался всегда.

Повернулся к ней.

Момент тоже не из легких: увидеть лицо, которое еще полностью во власти сна; черты вне самоконтроля — этой электронно-вычислительной машины, автоматически рассчитывающей выражения для физиономии на все случаи жизни.

Лицо было красивым и нисколько не чужим.

Просыпаешься в кровати женщины, пропитываешься ее запахом, и не надо воротить нос! Пока я об этом думал, она не просыпаясь уткнулась мне под мышку своей колкой головкой — длинных волос у нее уже не было. Я осторожно отодвинулся, сел, прислонился к стенке, обхватил колени. Хотел закурить, но передумал и, посасывая сигарету, стал смотреть на Косичку. Не просыпалась она еще минут десять.

На улице опять повалил снег, наяривал и ветер. В комнате было тепло, я сидел на кровати посапывающей девушки, рядом с той, с кем ночью летал над страною нашего детства. Во сне — если перед этим все получилось как надо, а у нас, можешь поверить, именно так и получилось — я всегда попадаю в те края.

Три дня не ходил я в университет. По ночам мы снова и снова попадали в страну детства. Странное дело — в Бекешчабе, на канаве, прорытой вдоль улицы Каштей, очутилась и она, и с камышовых снопов мы вместе летели в снег...

Я женился на ней.

Обошел все исполкомы райсоветов, пока в шестом районе не согласились зарегистрировать брак перед рождеством. И в Бекешчабу понадобилось съездить за свидетельством о рождении. Время переиграть было, но я им не воспользовался. Только вечером накануне нашего бракосочетания подумал, а не послать ли все к черту — вдруг ошибка, да к тому ж в двадцать один год бросать якорь!.. Предостерегали меня от этого и отец, и мать, и приятели. Но с чего бы мне их слушаться! Отец и мать развелись, когда я был еще карапузом, но счастья никому из них это не прибавило. Приятели шляются по улицам как неприкаянные, на что ни попадя пялятся, во все встревают — тоже мне, пижоны! — две кружки пива, и у них уже водянистые, пустые глаза, как у бездомных калифорнийских мадьяр. Не по мне это...

Итак, я стоял на Восьмигранке, или на площади Седьмого Ноября, если так тебе нравится больше, перед рестораном «Аббазия». Была половина второго. Косичка сказала, что кончает работу без четверти два, и через несколько минут мы встретимся, как раз успеем дойти до исполкома. Обоих свидетелей выловил я в университете, обсуждать мне с ними было нечего, и я наказал им приходить к двум прямо на место действия.

Стоял, ждал.

По мере того как большая стрелка электрических часов приближалась к двенадцати, во мне нарастало желание бежать, бросить все это, пока не поздно. «Опомнись! — слышал я предостерегающий голос.— Родится ребенок, вот тогда запоешь!» Смешно, но мысль о малыше, отцом которого буду я, а матерью она, была мне приятна. Но никакой возможности побыть одному, ни одной свободной минуты! Это представлялось куда менее приятным. А ведь бывает так нужно никого не слышать и, когда ешь, чтоб никто не совал носа тебе в тарелку и не спрашивал, чистил ли ты зубы. «И в самом деле! — распалялся я.— Жил до сих пор со своими полупредложениями, проживешь и дальше. Что тянешь? Еще успеешь на этот трамвай и прямо — в общежитие, скажешь вахтеру, что тебя нет дома, кто бы там ни

спрашивал, и быстренько забудешь эти несчастные три дня и дурацкие камышовые снопы вдоль канавы...»

С другого конца площади махала рукой Косичка. Я перебежал к ней на красный.

Мы расписались.

Слово «обещаю» говорить не понадобилось, и это несколько успокаивало. Завотделом гражданских регистраций намолола-таки, однако, глупостей с три короба: «Во благе и неблаге...». Заведомая фикция. Во благе, то есть при деньгах, жить мы все равно не будем. Учиться мне еще полтора года. А с тысячью восемьюстами форинтов Косички мы спокойно можем отбросить копыта. Ну да ладно. Завотделом, толкая речь все в том же кондовом стиле, посматривала на меня неодобрительно, потому что перед началом церемонии я попросил ее говорить покороче. Она как бы намекала и на то, что я несерьезный человек, но она надеется, что бури жизни меня кое-чему научат и я еще сто раз пожалею, что добронамеренную даму, которая кто знает сколько сил вложила в сочинение своей красивой речи, я попросил говорить покороче. Может, она и права. Пусть себе говорит. Все мы счастливы лишь тогда, когда думаем, что делаем хорошо то, что делаем. Большинство людей так устроено. Я бы тоже злился, если кто-то тыкал меня носом в мои собственные промахи, особенно если этот кто-то прав.

Первые два месяца нашего супружества были замечательными. Потом в один прекрасный день я зашел в общежитие, встретил свою старую подругу и переспал с ней. С камышовых снопов Бекешчабы никуда мы не летали, что, впрочем, ничего не значит. Могли бы полетать. Все время, что мы были вместе, я чувствовал себя мартовским котом.

Когда мы оделись, девица предложила спуститься поужинать в ресторанчик на углу. Я не пошел, что с моей стороны было свинством, но как я мог пойти ужинать туда, где Косичка сказала: хорошо, давай переспим.

Оттого, что я все время думал о Косичке, случившееся представлялось законченным свинством. Домой я ночевать тогда не пошел. Пил и думал, что вот я и стал взрослым.

Косичке ничего не сказал, понятно тебе почему. Какой бы свойской ни была женщина, подобной истории не сможет она простить, строй ты при этом из себя хоть самого невинного из всех грешников. Если же она ничего не знает, дело поправимо. Ну, может быть, и не совсем поправимо, но не в этом суть.

Через две недели моя жена начинает вдруг марафетиться. Надевает самое красивое платье. И глаза размалевала, чего раньше я за ней не замечал.

— Куда идешь? — спросил я.

— К любовнику,— улыбнулась она.

Старик, много бывает разных улыбок. Но та была не самой усладительной, можешь поверить.

— Куда? — улыбнулся я тоже.

— К любовнику,— повторила она и принялась красить ногти.

— Куда ты идешь?

Мне казалось, что я кричу.

Я остался один в крошечной комнате, в которой чувствовал себя дома. Вконец извелся, выкурил десять сигарет, потом лег и заснул. Невероятно, что человек может спать в такой ситуации, но я спал. Проснулся рано утром, когда она пришла. О тишине не заботилась и даже свет зажгла. Села на стул и уронила руки на колени. Когда заметила, что я проснулся, не сказала ни слова. Она была прекрасна: бледная, безмолвная — прямо картина Модильяни.

Странное наступило утро. Конец февраля. За окном белым-бело, как в том декабре на рассвете, когда я впервые проснулся в этой ком-

нате; шел снег, в небе носились тощие вороны, все было черно-белым, как на плохо проявленной пленке, будто и не утро это, а сумерки невесть какого белого дня. Я сидел голышом на кровати, недалеко от меня на стуле безмолвная картина Модильяни, моя жена, которая чуть свет пришла домой от своего любовника.

Я не знал, чего она хочет, не знал, чего хочу я.

Так прошло довольно много времени.

Я вспомнил, что и моя мать изменила своему первому жениху, Ричи. «Мне было любопытно, что чувствуешь, когда изменяешь любимому человеку»,— объясняла она. «Если ты могла это сделать, значит, не любила»,— ответил я. «Еще как любила».

Может быть, и эта безмолвная картина Модильяни стала мне неверна потому, что ей было любопытно?

— Почему ты ушла? — после долгого молчания спросил я.

— Я никого не люблю,— сказала моя жена и разрыдалась.— Никого я не люблю,— повторила и бросилась мне на шею.

— Не плачь,— утешал я ее, будто был ее отцом.

Так у меня в объятиях она и заснула.

О том, что случилось, мы никогда больше не говорили, но всякий раз, как вспоминаю об этом, у меня мурашки по спине бегают. Не могу я в этой женщине разобраться. У нас уже есть мальчик, которому отец я, а мать она; не ухмыляйся, это точно, малыш похож на меня. Так вот, говорю, есть уже у нас маленький сын, а я все еще не могу разобраться в этой женщине.

Может быть, ты считаешь меня болваном, но я люблю ее. Иногда я думаю, что у нее был один из тех ужасных дней — помнишь, я говорил тебе в начале? — когда человек чувствует, что даже самые близкие недостижимо далеки...

Вот история, которую я хотел рассказать. Возможно, она тебе не так уж и интересна, но на сердце у меня полегчало.

В этом году снега еще не было.

Перевод А. НАУМЕНКО

СИЛЬВЕСТЕР ЭРДЁГ

Море и чайка

Вот они и поехали. Была не была. Ринулись в неизвестное как в пропасть. Граница осталась позади. «Говорю тебе, Имре, поезжайте! Покажи Этушке море!» — уговаривал их Винце Арендаш. Поначалу Имре думал, что Винце просто так, ради

© Magvető Könyvkiadó, 1978.

СИЛЬВЕСТЕР ЭРДЁГ — ORDÖGH SZILVESZTER (род. в 1948 г.).

Венгерский писатель. Лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Известность С. Эрдёгу принесла его первая книга рассказов «Жеребенок» («A csikó», 1973), которая была признана лучшей книгой года. Рассказ «Море и чайка» («Tenger és siraly») взят из антологии «Панорама 78» («Körkép 78». Budapest, Magvető, 1978).

шутки, их подначивает. На кой ляд оно нам сдалось? Вода и вода. И чего на него пялиться? «Послушай, Имре, ведь море же! И Этушка еще никогда его не видела! Отвези ее! Иначе какого черта ты покупал машину?» — «Чтобы свиньям помои возить»,— уколола Этушка. Ах так, ну что же, поехали, посмотрим белый свет.

Хотя все это блажь. А между прочим, как еще он должен возить свиньям помои? На велосипеде много не перевезешь. Надо делать три-четыре ездки. А где взять время? При трех-то сменах. Теперь уж все равно. Он покажет жене море. Пусть себе налюбуется. Ведь поехали уже.

Они не знали, о чем им говорить. Женщина пыталась читать вывески на чужом языке. Щурила глаза, словно это могло ей помочь. «А как мы там объясняться-то станем?» — волновалась Этушка. «Да что у вас, рук, что ли, нет: на пальцах и объяснитесь!» Винце бы только посмеяться. «Как глухонемые, выходит, да?» Этушка даже покраснела, то ли от смущения, то ли обидным ей это показалось. «Во-во, как глухонемые!» Арендаш продолжал смеяться. «Хороши же мы будем! — пришлось и Имре вмешаться.— На бумаге нам, что ль, море рисовать, будто мы недоумки какие? Ну нет. Лучше совсем не говорить». И вообще общаться они ни с кем не станут. И в ресторан тоже не пойдут. Сами себе сготовят. «Там есть кухня»,— сказала жена Винце. Они везли с собой картошку, сало, лук, еще кое-что из продуктов. А мясо и хлеб уж как-нибудь купят. Это с собой везти не имело смысла. Ничего, как-нибудь перебьются. На худой конец с морем говорить будут. Уж с ним-то сговорятся. Ведь для того и едут. Чтобы вместе своими глазами увидеть море.

Они по-прежнему не знали, о чем им говорить друг с другом. Мужчина внимательно всматривался в дорогу. У него даже руки от напряжения начало сводить. Ведь за границей, неровен час, и машины-то водят как-нибудь иначе. И знаки-то, может, другие, и вообще все по-другому. Это вам не помои для свиней дома возить. По чужим-то странам колесить! Да и ни к чему ему это. Поскорей бы добраться до моря, чтобы вся эта дорога осталась позади. А то еще, чего доброго, страх зрение ослабит и так уж вон руки парализовал. Но говорить он об этом не станет, лучше помолчит. Ведь они как-никак к морю едут отдыхать. Вместе, в первый раз в жизни. Он хотел было сказать: «Свадебное наше путешествие. После тридцати лет совместной жизни». Но ничего не сказал.

Да нет же, они вовсе и не хотели ехать одни. «А вам почему бы с нами не собраться? Все бы уместились!» — «А мы в другое место собираемся. В Вену! Там, говорят, больно красивые вещи купить можно. Только вот дороговизна, конечно».— «Да, сейчас ведь оно везде дорого,— подтвердила Этушка, повернувшись к жене Винце, словно убедилась в этом на собственном опыте.— Это точно... ну хотя бы посмотреть и то стоит!» Семейство Арендашей в Вену подалось. Что ж, их дело. А нас уговорили к морю поехать. Обратно не повернешь, поздно. Подумают, струсили. И то сказать, Этушка ведь вправду моря не видела, пусть посмотрит. Только бы поскорее доехать до места. И обратно бы поскорее, и чтобы беды никакой, упаси бог, с нами не стряслось.

— Кукуруза,— женщина показала глазами в сторону поля.

— Да,— моргнув, ответил мужчина.— А там вон картошка, видишь?

Женщина кивнула. В этом-то их никто не проведет. Но вот что им за комнату положат да за хлеб, за мясо? Тут еще по пять раз придется переспрашивать. На бумажке писать. Пускай презирают, только бы не обманули. А то ведь случается, что и дома обсчитывают. Нынче все так и норовят тебя обмануть. Положиться не на кого. У всех только деньги на уме, как бы побольше урвать. Порядочные люди почитай все перевелись.

Мужчина вздохнул; надо бы все же сказать: «Знаешь, это наше свадебное путешествие. С опозданием в тридцать лет».

Глупость. Чушь какая. Этушка, верно, и сама это знает. Не может не знать. Неспроста же она сказала после долгих уговоров и увещеваний: «Я согласна».

Машин становится все больше и больше. Мужчина сильнее сжимает руль в руках, сбрасывает скорость. Не дай бог столкнуться с кем-нибудь. Что тогда будет? И денег-то мало, и языка ихнего не знаем, ничего... Как тогда домой вернемся.

Не надо бы им ехать. Одни заботы да волнения. Арендаши-то совсем другие. Винце еще в плену научился говорить не по-нашему. И всю-то жизнь свою крутился среди незнакомых людей, ему бы только раскатывать туда-сюда, бродяжничать. Они ему нисколько не завидовали, а все же поддались маленько, когда Винце стал их подначивать: «Ну, Имре, или Этушка не заслужила такую поездку? Заслужила ведь!» — «Да брось ты! Жила я без этого моря и дальше как-нибудь проживу».— «Э-э, не так все просто! Раньше у вас и денег не было да и времени тоже. А теперь? И машина хорошая, и все...»

«А на кого сад бросишь, скотину?» — «Так ведь Имре свиней недавно продал, ну а куры, им и сын корм даст, да и за садом он присмотрит, раз уж на то дело пошло».— «Он и без того занят!» В это время сын как раз вернулся домой, а Арендаши сразу же взяли его в оборот.

«Ну наконец-то! Да все я сделаю, только решайтесь поскорее да поезжайте!» Выходит, и сын взял сторону Арендашей. Теперь вроде бы и сослаться было не на что. Волей-неволей пришлось решиться.

Чистая блажь все это. Зачем крестьянам море?

Женщина, крепко сжав губы, сидела молча и не отрывала глаз от чужого, незнакомого вида за окном. «Хоть бы разок один в горах побывать. Тишину горную послушать». Этушка никому и никогда не рассказывала об этой своей мечте, которая была для нее такой же святыней, как первое причастие. Этушка и сама не понимала, почему она так мечтала о горах, гораздо больше, чем о море. И то сказать, какой прок ей от этого моря? Купаться она все равно не будет. У нее ноги болят. Надо бы к горячим минеральным источникам поехать. Словом, о море она вовсе и не думала. Вот горы — дело другое. Там можно бы побыть совсем одной, ей это много раз снилось. Горным воздухом подышать, руку протянешь — облака.

— Картошку убирают,— теперь заговорил мужчина. Да! Каждому овощу свое время. Думал ли он когда-нибудь, что вот так, на своем автомобиле поедет отдыхать к морю. А еще надо бы спросить у Этушки, помнит ли она те первые их летние месяцы. Помнит ли 42, 43, 44 годы? Да стоит ли расспрашивать ее? Дело прошлое, что о нем вспоминать. Теперь надо о чем-нибудь повеселее говорить, они отдыхать едут на море.

Женщина разглядывала поля, согнувшихся, копавшихся в земле людей. Они стояли тогда с Имре во дворе, а телега была завалена картошкой. Центнеров этак двадцать. Этушка улыбалась даже, пока муж открывал ворота. Потом внезапно подняла руку, словно защищаясь: «Господи Исусе!» Смотрела и не верила своим глазам, а потом кинулась перебирать картофель. «Господи, твоя воля!» На глазах у нее выступили слезы. Мужчина ничего не сказал, провел лошадь в конюшню, напоил ее, задал корму. И после того уж подошел к телеге, облокотился о край. «Жук колорадский! Труха!» У женщины тряслась голова. «Всю как есть надо выбросить».— «Я тут ни при чем! Это, черт побери, земля такая!» Землю эту им выделил кооператив под приусадебный участок; уж как они ей радовались, шутка ли, больше хольда. Но из 20 центнеров картошки пятнадцать оказалось порченой. Продать нельзя, разве что свиньям скормить. Женщина заплакала. «Не реви! Этим горю не поможешь!» В конце концов они приня-

лись сортировать ее, раскладывая на три кучи: на продажу, для себя и свиньям. За работой не заметили, как стемнело.

— А здесь ведь крестьяне-единоличники,— заметил мужчина.

— Не агитировали их, что ли? И коллективизации, стало быть, не было?

— Стало быть, не было.

И снова оба замолчали. Они так и не знали, о чем говорить друг с другом. Хотя теперь бы в самый раз потолковать о том, о сем. Вспомнить жизнь свою с самого начала. Ведь они вместе и совсем одни. Сидят себе в красивом автомобиле и едут к морю, любоваться им едут. Свадебное путешествие. После тридцати лет совместной жизни. Поболтать бы надо, и время есть, ничем другим все равно ведь не займешься. «Этушка», «Имре». Слов этих было бы достаточно. Тридцать лет — срок немалый. Или просто дотронуться до ее руки. Чтобы почувствовала, здесь он, рядом. Но мужчина все крепче, судорожней сжимает руль, а руки женщины по-прежнему скрещены на груди.

Им это не пристало. Состарились уже. Все больше к недугам своим прислушиваются. А если все же сказать? «Ты помнишь, Этушка?» Чего ей помнить-то? Дни, ночи? Радости? А были ли вообще радости? Ведь вот и дети от них улетели, словно птицы перелетные. И видят они их теперь издали, как птиц в осенних сумерках, когда те, исчезая в облаках, оглашают окрестности своими криками. Вот только младшенький пока что с ними. Да и он, того гляди, уедет.

И вовсе не нужно им это море. Не для них оно. Сидеть бы дома: там по кухне да по саду походишь, в свинарник заглянешь, на худой конец до ближайшего перекрестка можно прогуляться. А перед сном, чего уж лучше, телевизор посмотреть, усталость снимает. А что они на том море не видели, друг друга, что ли? Так это им без надобности. Ничего им уже не нужно. И ничего уж не добиться. Нет у них сил. Надо молчать научиться. А в море вода ледяная. А у них ведь и кости ломит, и суставы болят.

Машина медленно движется на запад, они в ней что твои господа. Судьбу-то зачем искушать? Участью своей они довольны. Живут, как никогда раньше не жили. Грех жаловаться. А у моря будут чувствовать себя не в своей тарелке.

— Здесь земля не лучше ли?

— А кто ж ее знает, пока сам не опробуешь.

Земля. С тех пор как он ушел из кооператива, откуда ему знать, что такое земля. Уж восемь лет прошло. Теперь он знает, что такое три смены. С шести утра до двух дня, с двух дня до десяти вечера и с десяти вечера до шести утра. Вот об этом теперь он имеет понятие, а вовсе не о земле. Разве этого мало? Мужчина покачал головой.

— Что это с тобой? Никак глаза болят?

Он отрицательно промычал в ответ:

— Здесь очень уж большое движение: надо смотреть в оба.

— Устал поди?

— Нет.

«Этушка, ты меня любишь?» «А ты меня, Имре?» Откуда взялись они, эти слова? Из того ли далекого вечера, из той тишины? Где вы, те акации, цветущие акации? Где вы, те росистые зори? Да полно, их ли то были голоса?

Нечего сказать, удружили им эти Арендаши. «Ну наконец-то вы взялись за ум!» — «По мне, так мы его вовсе лишились». Они вертели в руках бумаги, заграничные паспорта, водили пальцем по карте автомобильных дорог. «Сам увидишь, дело стоящее. Знаешь, какие там дамочки? На берегу моря? Там даже пляж нудистов есть!» — «Это еще что такое?» — спросила Этушка. У Винце загорелись глаза. «На том пляже все загорают в чем мать родила!» — «Может, вы сами там бывали?» — «А что вы думаете, Этушка, почему бы и не заглянуть туда, раз уж я поблизости очутился. Любопытно мне было!» — «Боже пра-

ведный, вот срам-то». Этушка отвернулась, а Винце подмигнул Имре: «Эх, Имре, ты там такое увидишь! Только держись! Какие дамочки! Мой вам совет, Этушка, с Имре глаз не спускайте, не то его в момент окрутят!» — «Окрутят, так окрутят. Мне-то что».— «Больно уж легко ты меня отдаешь,— попытался пошутить Имре.— Мне, к примеру, другой товар не требуется. И никогда не был нужен, могла бы, кажется, понять». И опять установилась тишина, которую ни он, ни она не осмеливались нарушить.

Женщины? Еще большая блажь, чем море. А море-то он уже видел, знает, какое оно. В плену это было, привели их однажды на берег моря, весной, в воскресенье, чтобы и они выходной день почувствовали. Пленные слонялись по берегу, одни орали что-то, пытаясь перекричать гул прибоя, другие лезли в воду, прыгали, спасаясь от волн. Он тоже ходил по берегу, потом нагнулся, поднял с земли несколько ракушек. Думал домой их привезти, на память. О том, как в плену был. Но они раскрошились у него в кармане еще до того, как он попал на родину. Бродя по берегу моря, Имре смотрел на бесконечное водное пространство и все повторял про себя: «Море, море». Но оно ему было ни к чему. Даже глаза заболели. Если бы смотреть на поле, на то, как ветер колышет пшеницу, как бежит по ее рядам. А это огромное серое водное пространство казалось Имре враждебным. Он видел тогда и чаек над белыми от пены гребнями волн. Но и они ничуть его не радовали. Чайки напоминали ему голубей, заставили вспомнить маленькую голубятню на чердаке родного дома, а морская пена навела на мысль о лошадях с пеной у рта, когда туго натягиваешь поводья. Вот какой была его встреча с морем. Хотя он старательно пялил на него глаза. Ничего не поделаешь. Такой уж он есть. Ему так не хватало тогда Этушки, их маленького. И как скучал он по дому, по всему, что осталось там. По земле, лошадям, плугу — по всему. С какой же стати было ему радоваться морю? Он бессмысленно смотрел на него и не видел.

— Погода портится.— Женщина подалась вперед и стала всматриваться вверх, сквозь ветровое стекло.

— Увидишь, над морем тучи будут, это уж точно.

— А Винце с женой почему-то говорили, что там все время солнце светит. Вот чудно-то будет, коли мы даже пойти к нему не сможем.— Женщина боялась, что не увидит чаек. Почему ей так хотелось посмотреть на них, она и сама не понимала, белые, белоснежные чайки.

— Кто его знает, может, там и впрямь светит солнце и в небе ни облачка. Но над тем, другим морем тучи были.

Взгляд женщины застыл на лице мужа. Ей послышался гул в небе, плач, а глаза словно заволокла пелена. Она вновь почувствовала затхлый запах подвала. «Над тем, другим...». В тишине раздался тонкий детский плач. Она попыталась заставить ребенка замолчать. «Не реви, да не реви же ты». Она боялась, что крик сына выдаст их. Этот жалобный детский плач. И даже обрадовалась, когда начали рваться бомбы, в их грохоте потонули звуки плача. Однако вскоре вновь наступила тишина, мертвая тишина, самолеты улетели. А ребенок плакал все сильнее. «Может, он чует что?» В руках у свекрови замерли четки. Этушка чуть рассудка не лишилась. «Замолчи, не плачь, перестань, сыночек, ну не плачь же!» Она трясла ребенка, прижимала к себе, ласкала его. А маленький человечек по-прежнему закатывался, не умолкал. Этушка сама расплакалась, закусив губу, скулила: «Замолчи, малыш! Не плачь! Нельзя! Пожалей меня, сыночек!» Она трясла младенца. Свекровь опять начала перебирать четки. «Верую во единого бога». Лицо у ребенка покраснело. «Видит бог, чует он чего-то».— «Да ну же, оставьте, будет вам, мама!» И она отчетливо увидела Имре, вот он встает из-за стола, берет походную амуницию и выходит за калитку. Она запела: «Спи-усни, мой сынок, пусть тебе приснится

небесный ангелок!» И пела все громче и громче. А ребенок продолжал кричать, и лицо у него стало багровым. А свекровь чаю принесла понапрасну, ни к чему тот чай был. «Ну не плачь же, Христом богом молю!» У Этушки по лицу катились слезы. Она решила дать ребенку грудь, да молока не оказалось, пропало. Голова кружилась, уже и сил не было держать младенца. Ночь. Врача бы... Да где же его найти и как привезти сюда? «Верую... Верую...» — «Ох, мама, прошу вас, мама, молитесь про себя, не то я ума решусь!» — «Коль так-то, вслух надо, дочка, вслух...» И все же свекровь перешла на шепот. Ребенок скулил, хрипло взвизгивал. Когда, наконец, забрезжил рассвет, они увидели, что маленькое его личико и вовсе уж посинело. Этушка, себя не помня, схватила малыша, прижала к себе: «Не плачь, ну не плачь же! Жив твой отец! Ничего с ним не случилось!» Теперь она слышала только крик младенца, а близкие разрывы бомб воспринимала как глухое гудение осиного гнезда. Свекровь положила на младенца четки и иконку девы Марии. «Это поможет, беспременно поможет. Пресвятая дева поможет дорогому нашему Имрушке».— «Уберите это отсюда!» У нее и вправду, верно, рассудок помутился, потому что Этушка вдруг страшно закричала. И вновь перед глазами ее всплыло лицо Имре, походное снаряжение, калитка, которая захлопывается за ним. Лицо у ребенка стало совсем синим. У Этушки вырвались рыдания. «Ну чего ж ты не замолчишь никак, чего? Я же здесь, сынок, вот она, здесь же я!» Но слез у нее не было. Слезы тоже пропали, иссякли. Свекровь, забившись в угол, зажмурившись, вздрагивала всем телом. «Святая дева Мария, спаси и помилуй Имре и малыша нашего...» Бомбы вдруг перестали рваться. Наступила тишина, тяжелая и вязкая, словно топь. Только ребенок надрывался от крика, он сорвал голос, и плач его напоминал теперь скрип колодезного журавля, которым играет ветер. Потом она потеряла сознание. Трое суток держалась, а тут сдала враз. Увидела багровое личико сына с белоснежным нимбом над головой, а потом все померкло перед глазами. Мальчик тихо отошел. Устал от крика. Уснул от крика. Уснул без чая, молока, без песни колыбельной Свекровь привела ее в чувство. «Теперь уже он, поди, с ангелочками играет...» И тогда Этушка заметила: личико у Имрушки не багровое, а белое-белое Неподвижная чайка. Шелестели бусины четок... «Спи спокойно, первенец мой... спи спокойно...» Она и не знала, что беззвучно раскрывает рот. На кладбище отдыхали русские солдаты, что-то ели там. Маленький белый гроб. Его нес осторожно под мышкой сосед. Могила была неглубокой, почти как картофельная ямка.

Над тем, другим морем, были тучи. Над другим морем.

Но здесь светит солнце! Летают чайки! Белоснежные!

Надо что-то сказать.

— Я позабыла мальчику объяснить, в какую корзину складывать яйца.

— Как-нибудь разберется.

— Пятьдесят штук я отложила на тесто — лапшу месить. Коли перепутает все, не знаю тогда, что и делать.

— Разве не все равно, из каких яиц делать тесто?

— Как же это все равно!

Муж того не понимает, что мальчик, он ведь забыть может. Хотя она все ему прописала. И записку ту на буфет положила. Что и когда есть, что в кладовой, а что в холодильнике, когда надо в магазин сходить и что купить там. Молоко, к примеру, покупать надо. В субботу пойти на кладбище, полить там все. А вот о яйцах она позабыла. Что же теперь будет?!

Нет, зря они все же поехали. Не нужно им это. Арендаши — совсем другие. У них ни детей, ни скотины, ни сада. «Этушка, там же вода голубая! Чистая-чистая, прозрачная вода! А улицы! Магазины, витрины!» Но Этушка все думала о чайках. В горах ведь нет чаек. По-

тому она и согласилась поехать к морю. Из-за чаек. Потому что в горах их нет. Но о чайках она никому ни словом не обмолвилась. Сидя в машине, она считала иностранные деньги, прикидывала.

Мужчина совсем замучился. Руки у него сводило судорогой, глаза слепли от напряжения. По крайней мере говорить надо, а то сидят в машине словно как немые. Коли уж поехали, пересилили себя, надобно улыбаться, веселиться. Нет, он все же скажет, право слово, скажет.

— А знаешь, это ведь наше свадебное путешествие...

— Да опомнись, что ты говоришь? Ведь тридцать лет уж вместе прожили.

Что правда, то правда. Выходит, надо было промолчать. «Этушка, ты красивая! Я тебя люблю. И мы с тобой будем счастливы, вот увидишь!»

— Небось эту ерунду про свадебное путешествие Винце Арендаш придумал? Здорово, нечего сказать. Ай да парочка — баран да ярочка.

Само собой, это у Винце Арендаша с языка сорвалось. Он шутил, конечно, но в общем-то был прав. «Ну и потом, ты сможешь в кои-то веки побыть с Этушкой наедине! Ведь вы же еще молодые!» Имре тогда лишь рукой махнул.

Он продолжал сжимать руль. «На берегу кругом дамочки красивые в купальниках!» Вот какой этот Винце! Ему-то легко, он совсем другой. «Имре, ты ведь любишь меня, ты никогда меня не бросишь?! Я твоя, а ты мой, ведь правда?!» Откуда доносятся сейчас эти слова? Говорили ли они когда-нибудь подобное? Он словно видит тот полумрак, их жаркие объятия, как им хотелось скрыться тогда от посторонних глаз. Днем и ночью. Какими жадными они были, какими ненасытными.

— Осторожней! — вскрикнула женщина.

Он не заметил грузовик с прицепом, который его обгонял. Мужчина провел ладонью по лбу.

— Носятся как угорелые! — Женщина едва пересилила себя, чтобы не расплакаться.

Чего уж тут, сам виноват. Не посмотрел в зеркало.

— Говорил я тебе, что к морю на машине ехать — дело непростое. Вон какое движение тут, да и гонят не так, как у нас, дома.

— Теперь уж поздно. Был бы ты порешительней, мы бы и вовсе не поехали.

— Но мне ж хотелось, чтобы ты море увидела.

— До него еще доехать надо.

Что ждет их? Пять дней — срок ужасно долгий. А у моря они будут обречены на бездействие, одни среди чужих. О чем они станут говорить друг с другом, чем будут заниматься? Сидеть на берегу и смотреть на море. На чаек. Слушать шум прибоя. Тридцать лет. Но что они увидят в этом море, что? В море, как в зеркало, не посмотришься.

— Адрес-то у тебя?

— Какой еще адрес?

— Ну, тот, что Арендаши дали.

— Конечно.

«Ты для меня прекрасней чайки!» Уж не Имре ли произнес это? «А ты чайку-то видел когда?» Это уже Этушкин голос? «Не видел, но говорят, они очень красивые. Белоснежные, хрупкие. И верны морю». Неужели это он сказал? «Хорошо, тогда я буду чайкой. А ты кем же?» Неужели Этушка так заигрывает с ним? «Знаешь, давай ты будешь морем!» — «Я огромный и сильный! Непобедимый!» И тут они оба смеялись бы. Конечно, смеялись и целовались бы, а как же без этого!

Он замечает облака.

— Вон там оно — море.

— Да ведь солнце светит.

— Ты сама попробуешь: вода в море соленая.

— Тогда чего мне ее пробовать?

— Чтобы самой убедиться.

Женщина махнула рукой. Блажь. Она хочет видеть только чаек. Только их. «Это будет здорово, Этушка, вот увидишь. Замечательно. Городки, магазины!»

Машин стало еще больше. Они движутся еле-еле. Здесь уж начался город.

— Как чисто.— Женщина снова всматривается в вывески.— «Мясо».

— Где? — мужчина не отрывает глаз от дороги.

— Вон там. А еще «Ювелирный магазин».

— Так и доедем до самого моря. Винце говорил, что тот дом на самом берегу.

— Не знаю, ты ведь с ним договаривался.

Машина медленно ползет вперед, дорога забита автомобилями. Наверное, море в той стороне. Женщина облизала пересохшие губы. Правда, магазины, кругом чистота, красивые дома, улицы. Мужчина все время представлял себе тучи над морем, хотя солнце светило по-прежнему. И вот они выехали на большую площадь, сразу за ней виднелся бульвар. А дальше переливающаяся на солнце водная гладь.

— Это и есть море?

— А чего же еще? Оно и есть. Сейчас где-нибудь поставлю машину.

Он медленно завернул на стоянку. Нашарил в кармане бумажку, на которой был записан адрес.

— Попробую узнать, где этот дом... хотя он, стало быть, где-то рядом. Винце так объяснил.

Женщина молчала. Она опустила стекло. Всматривалась в море, не слыша его гула.

— Вот эта улица, напротив, и рядом угловой дом. Винце все точно растолковал.

Женщина по-прежнему сидела неподвижно, слегка сощурив глаза, вглядываясь в бескрайнюю водную гладь. Она искала чаек.

Машина остановилась перед домом.

— Здесь он. Приехали! — Мужчина смущенно улыбнулся. Добрались. Вот они и на месте. Вдвоем. Ему бы сказать: «Этушка, милая моя Этушка! Ты видишь море! Думала ли ты об этом когда-нибудь!» И почти слышит, как они оба смеются! И почти чувствует: они непроизвольно берутся за руки и сжимают их до боли, так, что слезы выступают на глазах.

Имре бросает взгляд на жену. На губах у него улыбка. Затем открывает дверцу и выбирается из машины. И только теперь ощущает боль во всем теле. В пояснице, ногах, занемевших руках.

— Ну вылезай же,— мягко говорит он.

Женщина покачивает головой. И по-прежнему зачарованно смотрит в сторону моря.

— Тебе что, плохо?

Она ничего не отвечает. Рядом с машиной прямо с асфальта взмывает вверх чайка и скользит в сторону бескрайней дымки над морем.

— Она не белая, а серая.

— Что ты говоришь? — спрашивает нетерпеливо мужчина.

— Ничего, ничего.— И она тоже открывает дверцу.

Перевод С. ФАДЕЕВА

РИКАРДО БОГРАНД

■

С испанского

Незначительное происшествие

(1932 год)[1]

Только дерево оставалось на багровом закате,
да колючая ветка,
да обшарпанное надгробье, исцарапанное ногтями.
Только человек оставался посреди израненных полей.
Только тощий бык, бредущий по улице
под нищим солнцем,
и битый, голодный пес.

Только обобранное, развалившееся, оцепеневшее ранчо оставалось,
ранчо, рассказывающее о скорбном мертвеце —
о новорожденном мертвеце,—
о сухом листе
опавшем,
об изломанной ветке,
о сне, вынутом из петли,
и еще о многом.

О многом таком, что сорвано ветром,
о том, что каждый год становится все суровей,
каждый голодный год в моей стране —
в стране богатства и нищеты,
в стране, где дети
никогда не улыбаются.

В стране монашек и генералов,
в стране священников
и угрюмых женщин,

[1] В январе 1932 г. в Сальвадоре вспыхнуло крестьянское восстание, которое было жестоко подавлено войсками диктатора М. Эрнандеса Мартинеса.

РИКАРДО БОГРАНД — RICARDO BOGRAND (род. в 1930 г.).

Сальвадорский поэт, автор многих поэтических сборников, в том числе «Очертания корня» («Perfil de la raíz», 1956), «Пена рождается одинокой» («La espuma nace sola», 1969), «Союз моих рук» («Alianza de mis manos», 1970) и др.
Печататься начал в 50-х годах. С 1972 г. живет в эмиграции в Мексике.
Публикуемые стихи взяты из сборника «Союз моих рук», стихотворение «Незначительное происшествие» («Acto menor») прислано в рукописи.

в стране феодалов
и землепашцев,
в стране неизлечимых болезней,
в стране, где все получает тот, кто богаче.

В моей стране —
о, вслушайтесь, люди, люди с сильными руками, люди,
готовые переиначить мир,—
в моей стране романтических палисандровых деревьев
и разноцветных птиц.

В стране военщины
и дозированной культуры.
В моей стране, еще вмещающей таких людей,
но уже не вмещающей *такую* тоску.

Только дерево оставалось на мертвом закате,
у заболоченных копей, где добывают
селитру,
только голодная страна нам оставалась,
молящая о долгожданном дожде,
чтобы засеять поля.

И шли мы по этой стране, по земле иссохшей,
и огрубевшие руки тянулись к нам сквозь ее листву,
сквозь каменные ее скелеты,
сквозь слезы ее и стоны.

Перевод В. ЛУНИНА

Роза - смерть Микаэлы

Тени!
Мельканье теней!

Тени!
Мельканье теней!

Мельканье теней... мельканье, мельканье!

Смерть приближается — тени
танцуют свое умиранье.
И Микаэла вдохнула дымную тень.

Смерть промелькнула.
И Микаэла узрела три гроба
в мутных наплывах
размытого йода и крови.

Тени... Предсмертная пляска...
Женщина, плача, стала безглазой...

Вечер стоит за плечами
рядом со смертью и тенью.
Розой утерла глаза Микаэла.
Смерть умирает без смерти,
маки плывут над расплывчатой сьеррой.

Женщина пальцем оранжевым трогает персик,
смерть, умирая, коснулась бессмертья.
Тень на губах Микаэлы.

Мимо идут три солдата —
три силуэта невнятных.
Сумерки смерть окропила дождем розоватым.
Смерть и солдаты
уходят куда-то,
куда-то...
Красные зерна заката
растоптаны, смяты.

Тени!
Сгущаются тени без тени.

Смерть
умирает.
Роза — увядшая смерть —
умирает.

Фонтан

Над фонтаном, где золотые камни
ярче заката,
где песок пестрей леопарда,
где солнце на трассе небесной застыло;

над розой бессильной,
над площадью темной, незрячей
замшелое время подобно плите могильной.

Горящая роза —
комок истерзанной плоти.
Вода замерла в полете,
капли повисли сонно,
каменно и беззвонно.

Голые плечи статуи старой,
лист винограда, упав с ограды,
парит над фонтаном,
где красный
язык заката
лижет мокрые камни.

Ты — тихая гавань

Ты — тихая гавань,
ты — нежность.
Мой парус порвался,
плыву еле-еле,

но ветру попутному
ты повелела
нести меня к белой
твоей параллели.

Ты сладкий тростник,
ты сосуд драгоценный
ты песня прилива,
ты голос, порой серебристый,
порою звучащий
на низких регистрах.

Ты — гавань, ты — пристань.
Ты руку простерла над морем,
чтоб нежно коснуться
тоски моей горькой.

Над чертой

Все это упражненье,
годами длящееся упражненье.
Постройку возвести,
прямую провести
и в одиночество уйти...

А надо жить открыто!

Меня порой слепят слова,
от фраз, дающихся легко, кружится голова.

Но так нельзя.
Нельзя все бросить вдруг,
беспомощный, игрушечный мирок
однажды ночью возведя.
Я это зданье потому хотел сложить,
что было мало матерьяла,
чтоб просто жить.

Поэзия уходит,
теряется за далью дней,
я раздружился с ней.

Так, значит, надо жить открыто —
открыв себя для боли, знаний, снов,
для голосов чужих и слов.
Открыться, чтоб простая песня полюбилась
и стала вдруг основою основ.

Сейчас я понимаю это
острее, чем в былые времена.
Такое упражненье нелегко —
вот-вот исчезнет новизна,
а впрочем,
помани ее,
лишь помани...
и в сердце прорастет она.

Ну что ж, посмотрим, жизнь,
дружище-жизнь, посмотрим...
Черту прямую снова проведем
и зданье возведем.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

Не умерло мое слово

Пусть говорят, что мертвый я,
пусть говорят, что я родился, комки земли в руках сжимая,
пусть каждый день и каждый час ножи мне всаживают в спину,
пусть вырывают мой язык
и пламя сердца пусть затушат,
пускай сотрут мое лицо с морщинами, древнее моха,
лишь одного бы не сказали — что слово умерло мое.

Пусть душу грешную мою двойной решеткой окружают,
пусть душат голос и на волю в безбрежный мир не выпускают,
пусть говорят, что знают день рождения моей печали,
пусть говорят, что умираю я каждой ночью от тревоги,
что глина, из которой строят, меж пальцев падает на землю,
лишь одного бы не сказали —
что слово умерло мое.

Я — древний знак, тоскою согнут,
я — дерево, меня срубили, когда еще пожар не вспыхнул.
Я — соль, и руки миллионов касаются моих кристаллов.

Я — у взывающего моря песок,
краснее крови алой.
Я — бездна долгожданных снов,
посев, израненный до всходов.
Но умирает утром смерть во мне,
как зерна умирают без воды.

Гляжу я — мои ногти кровоточат,
и крови с грязью пополам
уже я вдоволь нахлебался.
Но я не одинок.
Я счастлив, я пою — я все-таки не одинок на свете.

Пусть не идет никто искать меня,
коль я умру до наступленья дня
перед началом долгожданным боя.

Пусть говорят, что умер я от собственных свинцовых слов,
мне разорвавших горло.

Я — слово, обращенное к собратьям,
я свет стремлюсь нести,
и я борюсь за то,
чтоб солнце и любовь светили
на веки вечные народу моему.

И я пою сейчас. Я для него пою,
и я умру с ним до того, как ветер
мое разрушит слово.

И пусть меня пойдут искать в тот день,
когда взойдет посев освобожденья.

И пусть меня пойдут искать в тот день,
единственный, навек неповторимый,
и пусть найдут развеянное в мире мое живое слово.

Перевод В. ЛУНИНА

КНУТ ФАЛДБАККЕН

Страна заката

РОМАН

Перевод с норвежского К. ТЕЛЯТНИКОВА

20

Над головой Аллана медленно вращались лопасти вентилятора. Дверь была открытой. Аллан сидел за стойкой на венском стуле и ел. В воскресенье в первой половине дня на бензозаправочной станции было не так уж много работы. Нормирование бензина довольно основательно ударило по воскресному туризму, а те автолюбители, которые могли не обращать внимания на повышение цен и призывы властей экономить горючее, предпочитали Автостраду.

Откинувшись со стулом назад, он положил ноги на стойку, а головой уперся в старый календарь, рекламирующий синтетическую автомобильную резину. Вентилятор на потолке по-прежнему вращался. Кондиционер теперь уже больше не починят. Аллан ел без всякого аппетита — просто потому, что надо есть. Какой может быть аппетит в такую жару! В ларьке он купил пачку печенья и бутылку лимонада. Вместе с тюбиком масляной смеси и плиткой шоколада это составило его сегодняшний обед. В ларьке у Дж. К. Свитнесса ассортимент продуктов тоже становился все хуже и хуже. Сам Свитнесс, большой и жирный, сидел в своем узком закутке на низком табурете и весь кипел от возмущения: пусть скажут спасибо, что он хоть это сумел достать; с этим дурацким ларьком не оберешься хлопот...

Большую часть закупок на следующую неделю Аллан делал в маленьком магазине самообслуживания рядом с конечной остановкой, где ему приходилось ждать автобуса около сорока пяти минут. Однако и здесь все больше ощущалась нехватка многих товаров. Полки, которые еще совсем недавно ломились от изобилия, вдруг стали пусты. Но что касается шоколада, печенья и сигарет, а также кофезаменителя и разных синтетических смесей, то в них, во всяком случае, недостатка не было.

Вентилятор жалобно поскрипывал, словно вот-вот готов был оставить свои попытки создать хоть какую-то циркуляцию перегретого солнцем воздуха. Кондиционер был гордостью Янсона. Вчера перед уходом домой он еще раз повторил: деньги на починку он даст из собственного кармана, вот так обстоят дела... Теперь Янсон больше всего говорил о жаре. Он не выносил жары, не мог из-за нее заснуть. Порядочные люди лишены даже права пользоваться собственными ваннами, чтобы обрести хоть немного прохлады. В прежние годы, когда бывало особенно жарко, Янсон любил посидеть этак с полчасика в теплой ванне, после чего сразу же ложился в постель. Ничто так не освежает, как теплая ванна. Но теперь, когда введено это дурацкое нормирование всего, даже воды... А ведь раньше жара была не такой изнурительной и не стояла так долго. Неудивительно, что пожилые люди мрут как мухи. Аллан, вероятно, слышал, что от воспаления легких старики гораздо чаще умирают летом, чем зимой, и это происходит как в домах для престарелых, куда их отправляют доживать свой век, так и в собственных жалких каморках и тесных квартирках, где они предоставлены сами себе и едва решаются вылезти на улицу, чтобы пойти в магазин. А если они не умирают от воспаления легких, то их приканчивает грипп, который больше не поддается лечению, поскольку бациллы (как называет их Янсон) привыкли к всевозможным лекарствам, которыми людей пичкают с того самого мгновения, как они делают свой первый вздох. Гонорея, то есть самый обычный триппер, тоже стала неизлечимой, сколько бы антибиотиков в тебя ни впрыскивали... Да, да... Может быть, Аллан не ве-

Окончание. Начало см. в № 3.

рит? Не верит, что умершие старики лежат неделями и даже месяцами в своих квартирах, пока соседи не почувствуют трупный запах? А чего ж тут удивительного — теперь ведь никто ничего не знает, наиболее интересные сведения держатся в тайне, тогда как средства массовой информации разыгрывают жалкий фарс, продиктованный якобы требованиями кризисной ситуации... Янсон энергично лязгнул зубными протезами и, скорчив свирепую гримасу, чуть ли не с нежностью прижал руку к левой стороне своего костлявого тела, как раз под ребрами, словно хотел прощупать сквозь кожу и одежду язву желудка. Затем повернулся и пошел, все еще что-то бормоча, тяжело ступая по раскаленному асфальту,— седой, сутулый, озлобленный. Он оставил на стойке деньги: три-четыре купюры и несколько монет — плата за работу в прошлый уик-энд. Никаких ведомостей, никакой бухгалтерии. Аллан работал на бензоколонке «по-черному», то есть получал жалованье гораздо более низкое, чем положено по тарифной ставке, но зато не платил налогов. А Янсон мог не работать по выходным дням и вносил сущую ерунду в фонд социального страхования. На таких мелких противозаконных комбинациях держались многие предприятия в Свитуотере.

Аллан жевал печенье со сладковатой смесью, по вкусу напоминавшей сыр, и с трудом проглатывал его, прихлебывая тепловатый лимонад, от которого ему еще больше хотелось пить. Еда эта оставляла у него во рту какой-то отвратительный привкус, от которого, казалось, он никогда не избавится. Он смотрел в открытую дверь, сквозь трепещущий от зноя воздух, на длинный ряд домов по другую сторону улицы. Старые четырех- и пятиэтажные дома. Витрины магазинов на первом этаже были забиты досками. Остальные этажи были отведены под квартиры. На некоторых окнах висели шторы, но за ними не было заметно никакого движения. Внезапно Аллану пришла в голову фантастическая мысль, что эти дома уже давно стоят пустые. Но если их обитатели незаметно покинули свои жилища, то когда же это произошло? Когда он в последний раз видел людей, входивших в эти дома или выходивших оттуда? Когда он вообще видел здесь кого бы то ни было?.. Он проработал на бензоколонке уже четыре года, но ни разу не говорил ни с одним человеком, живущим напротив. Разумеется, он видел людей, шедших по тротуару по той стороне улицы, но очень давно, еще до того, как закрылись магазины. А когда, собственно, их закрыли? И что в них продавалось? Он знал это, конечно, знал, сейчас он все вспомнит... Но память его была бессильна против бесчисленных крошечных изменений, которые медленно происходили вокруг, так что менялся облик домов и улиц, кварталов и целых городских зон — сначала совсем незаметно, потом чуть заметнее, но так, что этому никто не придавал сколько-нибудь серьезного значения, и вот, наконец, хорошо знакомые районы превращались в нечто совершенно неузнаваемое, словно содержание зрительных образов куда-то медленно выливалось и его заменяло что-то новое и инородное, и эта инородность выступала теперь как нечто холодное и враждебное, хотя все эти превращения совершались незаметно для посторонних глаз. В воскресенье утром на Эббот-Хилл-роуд, бывшей главной магистрали в юго-восточной части города, было так же тихо, как на Насыпи.

Услышав звук машины, Аллан слегка вздрогнул. Не потому, что боялся чего-то определенного,— просто ему был неприятен шум; приближаясь, он врывался в его мысли. Через мгновение появилась длинная низкая машина, украшенная никелированными завитушками,— дорогая старая модель; она снизила скорость, но не остановилась, а, свернув с шоссе, медленно, почти бесшумно подкатила к бензоколонкам и проехала дальше; сидевшие в ней люди с ничего не выражающими физиономиями внимательно оглядели помещение станции. Молодые ребята. Бледные лица и темные очки за цветными, солнценепроницаемыми стеклами машины. Аллан приоткрыл ящик кассы. Там лежали газовая капсула и отвертка. Хранение оружия было запрещено. Однако для защиты от бандитов рекомендовалось применение газовых капсул, а отвертка была не менее эффективна, чем нож, но ее владельца никак нельзя было обвинить в хранении оружия, предназначенного для нападения. Бензозаправочные станции были излюбленной добычей бандитов. Однако машина снова прибавила скорость. Шофер дал газ, и роскошный лимузин, пронзительно заскрипев шинами по разбитому асфальту, исчез в отдалении. В последнюю секунду Аллану показалось, что ему знакомо одно из этих лиц, но, вероятно, он обознался. Кто из его бывших знакомых мог разъезжать в такой машине? Никто. И он выкинул эту мысль из головы.

Хотя Аллан и не собирался придавать какое-либо значение этому эпизоду, он долго еще не находил себе места после того, как машина уехала и на Эббот-Хилл-

роуд опустилась воскресная тишина. Он взглянул на электрические часы, вмонтированные в стену: до конца дежурства оставалось еще шесть часов. Аллан поднялся и, выйдя в знойное марево, прошел мимо овальных бетонных возвышений с тремя бензоколонками, над которыми бессмысленно светились красными и бирюзовыми буквами, состязаясь с дневным светом, рекламные призывы. Заложив руки в карманы, он вышел на проезжую часть улицы, посмотрел направо и налево: никого. Ни души. Ни одного автомобиля, ни одного звука, кроме слабого отдаленного воя сирены: какая-то машина мчалась по экстренному вызову... Даже ларек Свитнесса был закрыт. Переходя наискось улицу, Аллан чувствовал себя маленьким и совершенно одиноким в этой гнетущей воскресной тишине, воскресной пустоте, неуклюжая неопрятная фигура в комбинезоне, рубашке и сандалиях, лицо заросло щетиной, волосы тоже порядком отросли; он чувствовал себя чужим и беззащитным между этими грозными, мертвенно тихими рядами домов. И тут ему пришла в голову одна мысль; он пошел быстрее.

От некогда великолепного входа в Парк остались лишь два столба, на которых раньше держались ворота. Портал и сами ворота из кованого железа давным-давно исчезли; их, очевидно, украли те, кому понадобилось железо для ремонтных работ. Или какой-нибудь спекулянт: по словам Дока, металлический лом поднялся в цене. Они же иногда видели людей, приходивших на Насыпь в поисках автомобильных деталей или другого ходового товара, но, к счастью, эти люди никогда не приближались к району, где расположился Аллан с семьей, так что их это не волновало.

Войдя в ворота, Аллан сразу же заметил, что и в этой части Парка, которую некогда содержали в образцовом порядке, все пошло прахом. Высокая трава на газонах от жары стала ржаво-бурой, пожухла, а более выносливые стебли с такими же выносливыми листьями выползли на давно запущенные дорожки. Воздух был весь пропитан запахом засыхающих цветов, которые теперь росли не только на клумбах, но и далеко за их пределами. Несколько собак неопределенной породы, увидев Аллана, немедленно разбежались. Вокруг не было ни одной живой души.

Кожаные сандалии Аллана мягко ступали по ломким бурым листьям под высоким рододендроном. А раньше он бывал в этом Парке? Да, скорее всего бывал; он кое-что здесь узнавал, вспоминал... Когда же это было? И при каких обстоятельствах? Вот этого он не мог вспомнить. Ему становилось все труднее и труднее извлекать из памяти воспоминания о том, что было до их переезда на Насыпь. Картины минувшего всплывали в его мозгу, совершенно неподвластные его воле. Внезапно он увидел свою мать, усталую и надушенную; она угрюмо сидит в конце стола возле плиты в тесной кухоньке, где они всегда обедали: «А теперь, Аллан, поешь овощей. Вот твоя морковь...» Аллан ненавидел овощи, ненавидел до сих пор, что бы там ни говорил Док, но блюдо с дымящейся вареной морковью (самое худшее!) вдруг возникло перед его внутренним взором; он даже ощущал ее запах: она пахла вовсе не так уж неаппетитно... Он почувствовал голод почти сразу же после того, как набил живот сладким печеньем и всякой синтетической дрянью.

Там, где лесопарк переходил в выжженную солнцем и поросшую бурой травой равнину, которая в свое время была излюбленным местом для всевозможных пикников и прогулок, Аллан увидел первые огороды. В основном это были вскопанные клочки земли, кое-где огороженные временными заборами из досок и стальной проволоки; большинство заборов было повалено, а большинство участков — запущено, земля высохла, и все заросло жесткой, цветущей, сильно пахнущей сорной травой. Однако изредка попадались огороженные участки, на которых грядки были аккуратно прополоты, и, судя по всему, время от времени их даже поливали. Немного дальше — там, где начинался пологий подъем, переходивший в низкие холмы,— заборы вокруг огородов стали выше, солиднее, за ними виднелись маленькие сараи и хижины. Отсюда начинались садовые участки. Здесь обработанной земли было больше, чем в других районах Парка, а на некоторых участках росли декоративные кустарники и даже большие деревья. Участки были распланированы четко и симметрично, и кое-где еще сохранились дорожки, которые проходили между рядами всевозможных заборов и загородок, в основном повалленных, ведя к воротам и калиткам, многие из которых уже давным-давно не открывались. Лишь за некоторыми участками, по-видимому, регулярно ухаживали, а в общем весь район производил впечатление ужасного запустения, почти одичания.

Аллан шел вдоль изгородей, поглядывая на ряды растений там, где их еще можно было различить и где они не заросли и не были оплетены сорной травой, всевоз-

можными цветами и листьями. Он ничего не знал о растениях. Аллан свысока смотрел на Дока, когда тот восхищался своим великолепно обработанным огородом за сараем, однако голод, желание съесть еще что-нибудь, хотя он только что поел, делало его внимательным наблюдателем. Он отметил, что идет и все время думает: это можно есть? А это? Это поразило и встревожило его, потому что у него вызывала отвращение самая мысль о необходимости есть траву. Но здешние запахи еще более разжигали его аппетит и упорно гнали его вперед и вперед; он хотел и не хотел в одно и то же время, не решался, не знал, что здесь можно есть и чего нельзя, ведь все срослось и превратилось в благоуханные соблазнительные заросли...

Внезапно он остановился. Из густого кустарника высотой в человеческий рост через узкую тропинку тянулись ветки толщиной в палец. На ветках висели большие красные ягоды, некоторые были такие спелые, что приобрели почти синеватый оттенок. Аллан завороженно смотрел на ягоды. Ему очень хотелось сорвать их и съесть, хотя он смутно помнил, как его всегда предупреждали, чтобы он не ел то, что нашел неизвестно где... От земли, где гнили упавшие с веток переспевшие ягоды, исходил сладковатый запах. Этот запах казался Аллану чрезвычайно соблазнительным. Маленькая серая птичка с темно-коричневыми полосками на головке и крылышках подлетела и села в нескольких шагах от того места, где он стоял. Аллан посмотрел на птичку и внезапно с каким-то очень теплым чувством вспомнил о любви Дока к своей зеленушке; сейчас она высиживает птенцов, и Док наверняка знает где... Прыгая по дорожке, маленькая птичка клевала зернышки — или что-то там еще,— разыскивая их среди гравия. Потом она приблизилась к одной из ягод, лежавших на земле, и принялась ее клевать. Аллан с интересом наблюдал за птичкой: можно ли есть эти ягоды без вреда для себя...

Он протянул руку и осторожно сорвал с ветки ягоду. От его движения птичка вспорхнула и улетела, и Аллан почти пожалел о своем решении. Он подозрительно сжал ягоду пальцами, она оказалась мягкая на ощупь. Тогда он медленно раздавил ее, так что на землю упало несколько капель красного сока, понюхал... Запах был свежий и сладкий. Он лизнул и проглотил немного сока. На вкус он оказался кислее, чем Аллан ожидал, тем не менее показался ему приятным. Теперь Аллан положил ягоду в рот, немного пожевал и проглотил. Сорвал еще одну и снова положил в рот. Потом еще одну. А потом еще и еще, одну за другой, множество ягод — обеими руками рвал красные ягоды и жадно глотал их; вязкий сок стекал по его подбородку, а он все ел и никак не мог остановиться. Никогда в жизни он не пробовал ничего более вкусного и освежающего! Он ничего больше не хотел, как только стоять и есть, есть до тех пор, пока не утолит своего голода, если только его можно утолить! Он наклонился над ветхой полусгнившей изгородью, чтобы достать ягоды, которые висели выше и казались еще более соблазнительными... Там, за изгородью, их было больше, гораздо больше, чем здесь, и они были краснее и крупнее! Он все ел и ел, и у него даже слегка закружилась голова, так что он не заметил, как на небе появилась туча и набежала на подернутое химической дымкой солнце; послышался отдаленный грохот: гром! Гром, предвещающий дождь. Первый дождь в Свитуотере почти за четыре месяца.

— Какие красивые туфли,— сказала Мэри Даймонд.— Это настоящая кожа?

Она заглянула в фургон и увидела Лизины туфли на высоком каблуке.

— Да, думаю, что настоящая. Я купила их довольно давно. До нормирования...

— Ах, какие туфли! — повторила Мэри Даймонд.— Теперь таких не достать. Если только у тебя нет чертовски сильного блата.

— Тебе они малы...

Лиза посмотрела на широкие ступни Мэри Даймонд в розовых пластиковых сандалиях. Ей очень хотелось сделать что-нибудь приятное для своей новой, большой, темнокожей подруги, хотелось отдать ей эти черные лакированные туфли, которые она все равно больше никогда не наденет, потому что туфли только напоминали ей об ужасной поездке в город, но они казались до смешного маленькими, когда Мэри Даймонд взяла их за тоненькие ремешки своими короткими толстыми пальцами с темной каймой под покрытыми лаком ногтями.

— Ты думаешь? У меня совсем не такие большие ноги, как кажется...

Она оперлась рукой о фургон, сбросила одну сандалию и сунула в узкую изящную туфельку большой палец ноги, стараясь втиснуть за ним и всю ногу. После нескольких энергичных попыток ей это удалось. С другой туфелькой дело пошло легче.

И вот она уже прохаживалась, хотя и нетвердой походкой, но с решительным и довольным видом взад и вперед по неровной плотно утоптанной земле.

— Посмотри... они совсем не малы мне!

Ремешки на лодыжках и пятках глубоко врезались в мягкую плоть. Все тело ее, включая и ноги, казалось мягким, словно набитым ватой, пышным и сочным. Какая красивая женщина, думала Лиза, полулежа на матрасе, и, следя за каждым движением этой темнокожей женщины своими большими серо-голубыми голодными глазами, мечтательно поглаживала уже чуть округлившийся живот. Скольких мужчин, должно быть, тянет к такой женщине! Интересно, а Аллан?.. Она фантазировала, ни капли не ревнуя, а Мэри Даймонд все расхаживала, семеня, как балерина, и любовалась сама собой.

— Послушай, можно мне взять их у тебя поносить? Понимаешь, там, где я работаю, иногда надо быть немного... немного элегантной.

— Конечно, можешь их забрать...

— Забрать? Ты, наверное, хотела сказать — купить? Я могу достать тебе кое-что за них...

— Нет, можешь их забрать. Мне они не нужны. Они мне надоели...

Последнюю фразу Лиза произнесла, словно стараясь как-то оправдать свою щедрость. Глаза ее наполнились слезами, и она ничего не видела, кроме этой крупной женщины, стоявшей перед ней с выражением крайнего изумления на широком лице. Лиза вдруг почувствовала себя совсем маленьким ребенком, который ищет утешения и защиты, и ей очень захотелось изо всех сил прижаться к Мэри Даймонд и на ее груди забыть обо всем на свете — забыть, кто она, где находится, что ей предстоит. Подобный страх не раз охватывал ее в последние дни в промежутках между периодами ленивого и расслабленного благодушия, того ложного ощущения благополучия, которое порой бывает при беременности.

— Но, девочка моя...

Мэри Даймонд встала возле нее на колени.

— Девочка моя, нельзя просто так отдавать хорошие туфли. Хорошие туфли, которых больше ни за какие деньги не достанешь. Я могу раздобыть тебе за них кое-что... Может быть, витамины... Тебе они обязательно понадобятся. У Смайли есть связи...

Однако Лиза ничего не хотела за свою щедрость.

— Н-нет... Нет, спасибо.— Она говорила шепотом, словно стеснялась своих слов.— В этом нет необходимости. По-моему, мне ничего не нужно... Но если ты... Если бы ты могла...

И она в отчаянии покачала головой, заметив, что снова начинает плакать; горечь нахлынула на нее так неожиданно, что она ничего не могла с собой поделать. Слезы внезапно навернулись на глаза.

А Мэри Даймонд прижалась щекой к ее щеке и крепко обняла Лизу своими сильными руками.

— Ну, будет, будет тебе, девочка моя. Успокойся. Я буду часто приходить к тебе. Ты только не бойся. Все будет хорошо. В Палисадене дети иногда родятся прямо на земляном полу. Я сама видела много раз. И лежат на голой земле, как только что освежеванные кролики. У меня было восемь братьев и сестер. Сейчас их разнесло по всему свету, а двое умерли, но все они родились в Палисадене в нашей маленькой хижине. И разве от этого стали слабее? Я расскажу тебе немножко о том, каково нам всем приходилось...

Она говорила низким голосом, который звучал ласково и тепло; от нее пахло потом, жиром, крепкими духами, и вся она, стоя на коленях на Лизином грязном матрасе и баюкая ее, как баюкают маленьких детей, была словно сама земля.

— Когда отца уволили с фабрики, ему пришлось стать червячником. Ты, верно, никогда не видела червячников. Во время отлива они бродят по мелководью, там, где находится Сарагоссова банка, выкапывают из ила песчаных червей и продают рыболовам. Песчаные черви — самая лучшая в мире наживка... вернее, они были самой лучшей наживкой, пока в море водилась рыба. Отец руками разрывал ил, засовывал в яму руку по локоть и копался в грязи, ища драгоценных белых червей; один червь на три-четыре ямы — не так уж плохо: это позволяло нам не умереть с голоду. Кроме того, у нас было несколько кур, мать стирала, мы, дети, собирали всякую зелень, а моя сестра притворялась припадочной, и мы получали помощь от социального ведомства... Так мы и жили, пока весь этот яд, который спускали в море, не убил и червей, и рыбу, и все остальное, а соль и кислота не разъели кожу на ногах у отца... Но братьям моим

было тогда уже одному двенадцать, а другому тринадцать лет, они с бандами молодежи совершали небольшие набеги на Свитуотер и никогда не возвращались домой с пустыми руками. И вообще всегда можно получить работу, от которой все открещиваются. Одна из моих сестер начала прогуливаться перед конторами в городе... Все это, может быть, звучит довольно грустно, и мы действительно не были счастливы, но кое-как сводили концы с концами, нам удалось выжить, а это — главное...

Она рассказывала мягко и певуче, на своем диалекте, и слова, которые она шепотом произносила, служили Лизе утешением, хотя она и понимала их лишь интуитивно,— то были слова, которые может прошептать только женщина женщине...

Прохладный ветерок вдруг коснулся их лиц, солнце скрылось за тучей, и на выжженную зноем Насыпь набежала тень. Скоро по тенту дробно застучали крупные капли дождя, а Лиза, прижав руку к животу, изумленно сказала:

— Мне кажется, он шевелится!

Она смотрела в пространство отсутствующим взглядом, который тем не менее был осмысленно сосредоточенным.

— Да, теперь я знаю! Он шевелится!

21

Первый дождь принес облегчение. Теплый и благотворный, он лился на горы отбросов, приглушал контрасты, смягчал контуры, дарил свежее дуновение задыхающемуся Свитуотеру и окутывал влажной пеленой его уходящее величие. Все твердое и жесткое тонуло в мягкой водяной мгле; железные скелеты машин и механизмов, которые еще сохраняли свою постоянную, раз и навсегда отработанную форму, а местами и полировку и до сих пор гордо отстаивали свое право на существование, сейчас все больше сливались с окружающим ландшафтом, их очертания становились расплывчатыми, призрачными и нереальными, теряя четкость и назойливую предметность, присущую им при свете солнца. Что же касается более близких человеку вещей, таких, как одежда, мебель, предметы домашнего обихода, то они первыми подвергались разрушению и постепенно исчезали, обретаясь теперь лишь как неуловимая тень и послушное подобие того, кто оставил их здесь, обрек на уничтожение под действием времени и стихий и сам был уничтожен этим городом, одержимым мечтой о безудержном росте и процветании, уничтожен безжалостно и безоговорочно.

Совершая все эти удивительные, хотя и почти неуловимые превращения, дождь, казалось, проникал в самую структуру того, что было создано человеком, и осторожно проводил там свою разрушительную работу. Сваленные в кучу обломки бетонных плит и битый кирпич жадно всасывали в себя после долгой засухи живительную влагу, пока поры их не наполнялись водой, и тогда начиналось разрушение и они вновь превращались в землю и песок. Металл тоже хотел пить. Куски металла в виде пластин, балок, брусьев и труб, искореженные так, что порой они напоминали человеческую фигуру, зловеще торчащие в разные стороны, яростно кричащие о своей ржавой боли, отчаянно стенающие под тяжестью накопленного ими солнечного тепла,— эти куски металла поливал и поливал дождь, смывая с них слой за слоем ржаво-бурую коросту, очищая их, обнажая годичные кольца и проникая в нервную систему, в магическую молекулярную структуру, которая хранит в себе всю тяжесть нашего века и теперь, усталая и истонченная, медленно засыпает в глубоком и невозмутимом симбиозе с землей, готовой на вечные времена принять в лоно свое эти символы жестокости и грубой силы и больше никогда не выпускать их на свободу. Во всяком случае, в этом мире.

Так дождь постепенно размывал искусственные границы, которые человек столь упорно и трудолюбиво проводит между природой и культурой, наглядно показывал, что по существу нет никакой разницы между городом и Насыпью, ибо и в городе, и на Насыпи человеческое существование легко может быть низведено до самого жалкого и примитивного уровня.

Дождем прибило пыль, так отравлявшую жизнь во время засухи. Обрывки бумаги и всякий мусор, которые при каждом порыве ветра летели в глаза, теперь намокли и спокойно лежали, затянутые тонкой пленкой грязи, словно пот, проступивший из земли,— больная и измученная после долгой засухи, она была вся в трещинах, шрамах и рубцах, и когда внезапно пошел дождь, у нее начался жар, она тяжело дышала и покрывалась испариной, постепенно возвращаясь к жизни.

Аллан и Лиза собирали дождевую воду в кастрюли и лоханки и вообще во все, что вмещало хотя бы несколько пригоршней. Для них это была игра, разрядка после большого напряжения сил, в общем, им не нужно было так много воды, потому что колодец Дока все равно теперь быстро наполнится, но им доставляло детскую радость собирать и снова расплескивать драгоценные капли. А дождь продолжал лить как из ведра, и на небе не было видно никакого просвета. Но это было чудесно, значит, еще долго продлится удивительное ощущение счастья, которое охватывало их, когда они чувствовали, как теплые и тяжелые капли дождя ласково стучат по их разогретой солнцем коже, как медленно и приятно промокает на них одежда, совсем как в далеком и уже каком-то неправдоподобном детстве, когда они нарочно промокали до костей...

Сняв платье, Лиза стояла, наклонившись над тазом, и намыливала свои давно не чесанные волосы старым обмылком, который нашла среди еще сохранившихся у нее предметов туалета. Аллан сидел в дверях и молча разглядывал жену. Дождь гулко стучал по навесу, который теперь стал укрытием от непогоды. Лиза сильно изменилась. Благодаря беременности она пополнела, и за последние две-три недели у нее значительно вырос живот. Ему нравилось, что тело ее становится больше, шире. Ее изменившаяся фигура, которая в первый раз пугала его, вызывала неприязнь, даже отвращение, теперь почему-то казалась ему весьма привлекательной: тяжелый, большой, прямо-таки монументальный живот, выпукло выдававшийся вперед под талией; все более круглые и полные груди с темными кругами вокруг сосков; неторопливая плавность в каждом движении, во всем теле — все это представлялось ему чем-то удивительно изысканным, вожделенным, каким-то новым обольстительным состоянием, воплощенной женственностью.

Лиза выпрямилась и опрокинула таз себе на голову, так что мыльная вода потекла по лицу и плечам, груди и спине; потом наклонилась и налила из полного ведра чистой воды, снова подняла обеими руками таз над головой и с наслаждением опрокинула его на себя. Так Мэри Даймонд умывалась в бухте в то утро, когда Аллан впервые увидел ее — большую, смуглую, с красиво округлым животом...

Копна волос закрывала Лизино лицо, так что она не увидела первобытного желания, которым вспыхнули его глаза при взгляде на нее. Но интонацию его нельзя было истолковать превратно, когда он закричал:

— Лиза, иди сюда...

Она вся сжалась и сразу перестала наслаждаться этим первым своим купанием за много-много недель, вода вдруг показалась ей ужасно холодной, и рука ее непроизвольно опустилась на живот, словно стремясь защитить его от настойчивого взгляда мужа.

— Иди сюда...

Голос приказывал, и когда она взглянула на Аллана, ей показалось, будто длинные темные волосы и длинная каштановая борода, обрамлявшая его лицо, еще более подчеркивают нетерпеливые нотки, прозвучавшие в тоне приказа. Она уже научилась уклоняться, избегать, следить за тем, чтобы не возбуждать в нем желаний, когда нужно было оберегать свое беременное тело. Но бывало, что он приказывал, и ей ничего другого не оставалось, как повиноваться...

— Сейчас...— пробормотала Лиза, не глядя на него.— Я только смою мыло...

Она стояла под дождем, босая, в грязи.

— Я жду тебя в фургоне,— сказал он, бросая последний взгляд на Лизину полуженскую-полудетскую фигурку, которая словно медленно наливалась чем-то все более тяжелым и сочным.— Ты идешь?

— Сейчас,— сказала она упавшим голосом, глядя на воду в старом эмалированном тазу, который все еще держала в руках.

И вдруг она поняла, что немного боится его. Случалось, она вдруг ощущала его руку на своем животе неожиданно, днем, когда чем-нибудь занималась,— это было словно нападение, короткие, сильные пальцы, жадные, ищущие... Он больше никогда не прикасался к ней ночью, как это часто бывало на Апрель авеню (вспомнила она внезапно); тогда он ласкал ее, пока она не проснется. Теперь же он приставал к ней среди бела дня, нередко в присутствии ребенка, не обращая на него внимания, а по ночам спал мертвым сном, неподвижно и, наверное, без снов (она сама не знала, снится ли ей что-нибудь с тех пор, как они перебрались сюда), потому что, когда он лежал, свернувшись в своем углу на матрасе, прикрыв рукой лицо, дыхание его было ровным и спокойным, почти неслышным.

Выливая воду себе на голову, Лиза дрожала и от холода, и от отвращения, которое нарастало в ней при мысли о потном, тяжело дышащем муже, который ее ждет. У нее часто бывали боли в животе, и ей стало страшно. Неужели он хотя бы сейчас не может подождать, пока она снова войдет в норму? Три-четыре месяца пролетят быстро...

Она собиралась поговорить с Доком Фишером, спросить его, не опасно ли это. Ей хотелось, чтобы Док побеседовал с Алланом, объяснил ему, что это вредно. Она думала о Доке только хорошее. Он был другом. Она возьмет с собой две маленькие шкатулки и покажет ему. Доку они понравятся. У него самого так много всяких красивых вещей. Док наверняка ей поможет.

На открытой двери фургона висело рваное полотенце. Лиза начала медленно и тщательно вытираться, хотя от этого было мало толку, так как полотенце уже промокло и не могло вытереть волосы досуха; длинными мокрыми прядями они свисали ей на лицо, с них скатывались и бежали по телу капельки воды. Лиза слышала, как Аллан возится в фургоне, поджидая ее... Она пыталась справиться с непослушными волосами, раздраженная тем, что никак не удается вытереть их насухо, а кроме того, ей совершенно не хотелось ложиться в постель сейчас, когда в любой момент мог вернуться Бой. Как обычно, он ушел с Рен-Реном. Они стали теперь неразлучны. Но как раз в это время Рен-Рен с Феликсом обычно отправлялись в город. «Искать работу». И всегда они уходили вечером, когда смеркалось. Никогда не уходили днем. А возвращались, случалось, только утром, на следующий день...

Так что Бой мог вернуться в любой момент. Ее бледные губы вдруг задрожали: она не хочет, не хочет! Приняв решение, она повернулась и пошла обратно, под дождь, снова натянув на себя мокрое платье, потом побежала вниз по тропинке, только чтобы быть подальше от него. Впервые она оказала неповиновение, впервые бросила ему вызов, но это было необходимо. Она чувствовала, как снова промокает до костей. Она боялась раздражения Аллана, его гнева, но нисколько не жалела, что поступила так, а не иначе. Она пойдет к Доку, вот что она сейчас сделает. У него она найдет утешение и защиту.

Через щель в стене за кроватью Марта видела все, что делают Док и Лиза в тесной комнатенке.

Видела, как он осматривает ее, ощупывает своими огрубевшими от тяжелой работы руками ее живот, бедра, и Марта содрогалась, потому что никак не могла забыть незаконные аборты, которые он делал в своем кабинете в их доме на Парк-роуд, в прекрасной уединенной вилле с большим уютным садом... Марта страдала почти физически при мысли об этой бедной девочке, которая забеременела здесь, на убогой Насыпи, где Марте суждено провести последние горькие дни своей несчастной, напрасно прожитой жизни. Когда-то Марта верила в бога, верила в смысл жизни, в то, что все, кому дарована жизнь, обязаны прожить ее правильно и достойно; но это был идеал, привилегия, счастье, в котором ей было отказано, которое он разрушил своими преступными деяниями; он совершил преступление и против нее, и против закона, преступление, которому нет прощения.

Но разве не было своеобразным утешением, светлым пятном то, что здесь, на Насыпи, скоро родится ребенок и именно Док, специалист по абортам, будет принимать роды? Как ни странно, именно эта мысль больше всего выводила ее из себя. Быть может, это была своеобразная ревность, вызванная доверительной близостью между Доком и Лизой, которая все росла? Она не думала о физической близости, неизбежно возникающей при осмотре. Гораздо хуже было то, что происходило после осмотра: нечто вроде детской игры, которой Марта не понимала, но чувствовала, что в этом есть что-то неприличное, извращенное. Все началось с того, что на консультации с Доком Лиза стала приносить всякие безделушки: шкатулочки, украшения, игрушки. И он, пожилой человек, смотрел на все это с явным интересом и даже вытаскивал свои собственные побрякушки: украшения или части украшений, которые ему удавалось найти, небольшие шарики, бусы из цветного стекла, бижутерию... Он собирал их все эти годы, проведенные на Насыпи, он собирал мелкие и крупные предметы, вещи, которые ему нравились, потому что они были красивы, а также все то, что, казалось ему, когда-нибудь может пригодиться. И Марта презирала его за это, ибо знала, что несмотря на все его великолепные теории, замечательный дар предвидения, старомодное стремление всегда находиться в оппозиции к властям, и бегство в нищету, и убоже-

ство ради сохранения своей честности — все, что он собирал и хранил, было частью прошлого, словно он ждал, что прошлое когда-нибудь вернется и снова предложит ему место в жизни. Да, она презирала его, ибо она-то верила и надеялась, она любила жизнь такой, какая выпала им на долю, и не хотела ничего другого, и она-то и была бессовестно обманута и предана. Она-то как раз понимала, что хорошие времена безвозвратно прошли и скоро они умрут здесь, на Насыпи.

Марта страдала. Страдала в дождь так же, как страдала в жару. Жару она переносила очень тяжело — каждую ночь обливалась потом, а днем появлялась изнуряющая слабость, зуд, потрескавшаяся кожа и неутолимая жажда. Док же как раз объявил, что они должны бережно расходовать эту горькую грязную воду, потому что ею, видите ли, надо делиться с другими: у всех общая судьба... Слишком слабая, чтобы подняться с постели, она ругала и проклинала его, молила и упрашивала, даже рыдала, выжимая из глаз последние капли влаги, унижалась. Но у него были принципы, и он оставался непоколебим, утверждая, что ей вредно так много пить, и она лежала, умирая от жажды, а он обменивался в это время глубокомысленными фразами с этим угрюмым Алланом, который являлся к ним через день и как ни в чем не бывало уносил с собой целый бочонок их драгоценной воды...

Однако с дождем пришла сырость, и ей стало еще хуже. От сырости в доме все пропахло плесенью —мебель, даже постельное белье. Мягкая серая гниль медленно ползла по тканям и дереву. Казалось, сырость проникала и в ее тело, выворачивала ее измученные подагрой суставы, принося ей все новые боли из своего неиссякаемого репертуара, новые страдания и старую бессонницу. Марта ненавидела мужа и за это, хотя понимала, что он непосредственно не виноват в ее болезни и делает все от него зависящее, доставая ей болеутоляющие лекарства. Недавно к ним пришел и что-то принес какой-то странный человек с бледным лицом, в черной шляпе и черном костюме. С ним был мрачный молчаливый спутник. Док хорошо им заплатил: бритвенные лезвия, духи, две зажигалки — все это высоко котировалось в Свитуотере, где ощущалась острая нехватка большинства товаров. У человека в черном были хорошие связи, и таблетки, которые он принес, сразу же подействовали. Впервые за бог знает сколько месяцев Марта спала глубоким, спокойным сном, и ей снились два мрачных субъекта в черных шляпах и черных костюмах, которые то сливались, превращаясь в одного человека, то разъединялись и снова сливались...

Несмотря на боль в суставах Марта лежала, прильнув к щели, и наблюдала, как Док и Лиза занимались своей двусмысленной детской игрой, разложив на столе какие-то шарики, стекляшки и раскрашенные шкатулки. Кроме того, она слышала обрывки разговора — какая-то ребяческая болтовня, смех. Она сама не знала, что́ причиняет ей больше страданий: их манерничанье или смех. Вот сейчас девчонка наклонилась к Доку и что-то шепчет ему на ухо, словно стесняется говорить вслух... Сидят, как папа с дочкой...

У самой Марты не было детей, и тоска по детям, даже воспоминания об этой тоске были давно забыты. Но теперь пустота, которую она все эти годы носила в себе, вдруг превратилась в ревность, в ненависть к Лизе, этой женщине-ребенку, которая проникла в их дом и нарушила установившееся равновесие — равновесие взаимных обид и горечи,— да к тому же вынудила его снова взяться за свое ремесло, изменила всю его жизненную символику, дала возможность искупить старые грехи и даже заставила его, старого дурака, смеяться... А остывшее сердце Марты трепетало, когда она думала о новой маленькой жизни, доверенной этому человеку.

— Тебе бывает больно? Каждый раз больно? — услышала она ласковый голос Дока.

А маленькая девочка с блестящими пуговками и стеклянными бусами говорила, кивая головой:

— Да, я думала, может быть... Может быть, это опасно...

— Бедняжка...

Стремясь успокоить Лизу, он положил свою руку на ее руку и сказал своим мягким, умиротворяющим, почти вкрадчивым голосом:

— Как ты понимаешь, я непременно поговорю с этим ужасным человеком и скажу ему, чтобы он не смел обижать нашу маленькую девочку...

Он улыбнулся и погладил ее по щеке, бледной и грязной. В нескольких местах вода капала с потолка в кастрюли, которые будут стоять так до тех пор, пока он не

починит крышу. Маленькие оконца тоже пропускали воду, которая собиралась в лужи на облупленных подоконниках.

Больше Марта вынести это уже не могла. Она застонала. Она корчилась на кровати, и ее как огнем жгли влажные простыни, прикасавшиеся к истерзанным болью суставам. Волосы, густые роскошные волосы, которые когда-то были ее гордостью и украшением, теперь свалялись и как пакля падали на глаза. Почему она должна так страдать? У нее была вера, муж, дом, покой, достаток — одним словом, жизнь, за которую она была благодарна судьбе. А теперь она лежит здесь, на мусорной куче, старая, больная и вонючая, и ждет с тоской и ужасом, когда же придет смерть.

Голоса... Боли были мучительными, и она знала, что ей все равно придется попросить у Дока таблетку, хотя время еще не пришло. Хотя их осталось совсем немного. Хотя ей вообще противно просить у него что бы то ни было. Она подождет пять минут, а потом позовет его. Нет, не так долго. Так долго она не выдержит. Конечно, она презирает его, но не должен же он забывать, что она лежит здесь одна и ей больно. Она будет считать до ста, медленно, очень медленно, сосредоточенно, не думая о боли... Нет, почему медленно? Почему она всегда должна заставлять себя сдерживаться? Десять — двадцать — тридцать — сорок... С бешеной скоростью шевелились ее губы. Снова смех... Марта закрыла глаза и что было силы закричала:

— Док!

22

Дождь превратил запущенные и сожженные засухой садовые участки в край сказочного плодородия. Когда выяснилось, что никто больше не ухаживает за этими участками и не собирает урожая, Аллан, отправляясь по субботам на работу, стал брать с собой большой мешок, который наполнял всевозможной съедобной зеленью. Эти еженедельные вылазки в Парк вносили приятное разнообразие в их меню. Аллан не раз обращался за советом к Доку, и тот рассказывал ему, как выглядят основные полезные растения, однако, когда Док просматривал ту часть добычи, в которой Аллан не был вполне уверен,— это было надежнее всего. Несколько раз Док пытался поговорить с Алланом о других вещах, в частности, о его супружеской жизни с Лизой, но в таких случаях Аллан резко обрывал разговор. Он не желал ни с кем обсуждать свою личную жизнь, и его очень раздражало то, что Лиза, по-видимому, все время на что-то жалуется и беседует с Доком о вещах, которые никого не касаются, кроме них.

Тем не менее это открытие, очевидно, само по себе достаточно сильно подействовало на Аллана, потому что теперь он стал гораздо сдержаннее в своих притязаниях. До него, наконец, дошло, что необходимо в какой-то мере обуздывать себя.

Он собирал все, что, по его мнению, было съедобным. Некоторые овощи он узнавал, потому что видел их когда-то в магазинах, где полки всего несколько лет назад ломились от всевозможной зелени, а некоторые растения, похожие на овощи, он срывал просто потому, что они аппетитно выглядели, хотя там, где они росли, уже не осталось ни грядок, ни клумб. Нередко на помощь ему приходило обоняние или даже просто какой-то инстинкт; иногда под действием запаха он вырывал растение с корнем и жадно жевал его, хотя это были маленькие невзрачные стебельки, которые раньше он ни за что не отличил бы от обыкновенной травы.

Дóма, на Насыпи они старались есть как можно больше сырых овощей, а из того, что успело завять, варили нечто вроде супа. Это тоже было вкусно — и утоляло голод, во всяком случае на некоторое время. Один раз на прошлой неделе с ними ел Рен-Рен. Он появился вместе с Боем, а в руках у него была большая охапка всяких растений, которые они собрали на Насыпи и на берегу, где после дождя тоже все зазеленело. Лиза как раз начинала готовить еду. Рен-Рен сделал знак, и Бой объяснил, что растения, которые они принесли, нужно положить в суп. Никто не знал, что это за растения, но они придали супу приятный вкус, а стебли и корни можно было жевать, что значительно продлевало ощущение сытости.

Рен-Рен сидел прямо на твердой земле, выпрямившись и скрестив ноги по-турецки, в руках держал большую чашку с супом и ел благоговейно, маленькими глотками, чуть прикасаясь губами к краю чашки. Глаза его были полузакрыты, и даже вечная широкая улыбка исчезла с сосредоточенного лица. От него исходил какой-то звериный запах, движения были четкие и размеренные, словно трапеза была для него ритуалом, который не терпел никаких неточностей или отклонений от принятого порядка.

Аллан и Лиза вовсе не считали, что Рен-Рен пришел в неподходящий момент, поскольку они как раз собирались садиться ужинать,— после эпизода с розмарином Лиза совершенно перестала бояться его. Правда, порой она с дрожью вспоминала о том, что он опасный человек, убийца, и в то же время он проявлял к ней как к женщине гораздо больше интереса, внимания и такта, чем Аллан, ее муж. Бой сидел возле Рен-Рена и с обожанием смотрел на своего большого молчаливого друга.

...Была суббота. Тихий предвечерний час над низким серым небом, которое грозило снова разразиться дождем. Аллан тяжело дышал, таща на спине мешок с растениями. Он был почти полный, и Аллана это радовало, но вдруг он вспомнил, что слишком надолго бросил бензоколонку. Время пролетело быстро. Изредка он слышал, как по шоссе проезжала машина с туристами — мимо вывески «Закрыто», которую он повесил перед уходом. Если Янсон узнает об этом, Аллану несдобровать. Слишком уж он расхрабрился, никого не боится, и Янсона тоже. А между прочим, своенравный старик уже намекал ему, что в выходные дни выручка стала совсем ничтожной. А вдруг он пришел на бензоколонку, чтобы посмотреть, как идут дела? От него вполне можно этого ждать...

Аллан задыхался. Он чуть не бежал, стремясь поскорее добраться до ворот и посмотреть, не ждет ли его кто у бензоколонки, не «засекли» ли его. Внезапный страх, сознание того, что он пренебрег своими служебными обязанностями, отголосок чувства ответственности, которое ему прививали с детства сначала дома, а потом в школе,— все это заставило его припуститься рысью, хотя ноги у него подкашивались от усталости. Ведь он все еще зависел от этой старой системы принуждения: работа, деньги, которые надо зарабатывать. И все еще не был уверен в том, что они смогут прожить, если у него не будет постоянной работы. Но скоро все изменится...

Он бежал, задыхаясь, с него градом лил пот. Никогда еще марш-бросок не давался ему с таким трудом. Он всегда был в хорошей физической форме, хотя, возможно, и располнел немного перед тем, как они перебрались на Насыпь. Сейчас они питались довольно скудно и однообразно, и он снова стал стройным и поджарым. Аллан пошарил в мешке, нащупал морковку и сунул в рот; он бежал, спотыкаясь, и на бегу жевал, всасывая сок. Было сладко и вкусно. С потревоженной ветки на него вдруг полились остатки утреннего дождя. Аллан жадно слизнул с тыльной стороны ладони крупные капли воды. Они были кисловатые, но хорошо утоляли жажду.

Потом он сидел за стойкой, положив ноги на подставку и откинувшись на стуле, упиравшемся спинкой в полки с товарами для автолюбителей. День был очень тихий, спокойный. Аллану пришлось обслужить всего шесть-семь покупателей (узнав об этом, Янсон по обыкновению начнет горько сетовать: всего год назад, даже если бы покупателей было в десять раз больше, это считалось бы весьма скромным результатом), да еще какой-то тип хотел купить автомобильные покрышки, очевидно, для спекуляции. Но давно прошли те времена, когда автомобильная резина продавалась свободно, и небольшой запас, которым располагал Янсон, разошелся сразу после того, как было введено нормирование. Человек, интересовавшийся покрышками, пожал плечами и уехал на своем сильно потрепанном «пикапе», он явно был из тех, кто компенсировал уменьшение своих доходов за счет черного рынка и меновой торговли.

Под тяжелым небом, затянутым облаками, рано начинало смеркаться. Наступила осень. Капли дождя дробно стучали в черную от вечернего сумрака застекленную дверь, в которой отражались полоски красного и зеленого неонового света, горевшего на последних, еще действовавших четырех бензоколонках. Газовый фонарь (электричество тоже было нормировано) одиноко раскачивался под порывами ветра, отбрасывая на мокрую от дождя разъезженную мостовую белый синтетический свет. Улица была темная и малолюдная. В домах на противоположной стороне свет горел всего в двух-трех окнах. Большинство обитателей Свитуотера старались приберечь отпущенное им электричество для приготовления пищи и отопления: с каждым вечером становилось все прохладнее. Если только в этих темных квартирах вообще кто-то живет...

Аллан сидел, глядя в темноту сквозь стеклянную дверь, и чувствовал себя совершенно чужим в этом коконе из бетона, потускневшего металла и искусственного света. Тщательно спланированные сооружения бензозаправочной станции вдруг начали раздражать его, прежний гипнотический эффект внезапно прошел, и ему открылось нечто чуждое, ужасное, противоестественное — и угрожающее. Запах, исходивший от его

пальцев — едкое химическое зловоние отработанного масла и грязи,— казался ему теперь отвратительным, масло и бензин стали вызывать у него раздражение на коже, а когда он шел по бетонному покрытию стоянки, подошвы его ботинок с такой силой ударяли о твердую поверхность, что у него болели ноги. Мир бензоколонок стал ему чужд и враждебен; этот мир не подходил ему больше ни по своим свойствам, ни по размерам; Аллан знал, что долго он так не протянет.

Ветер снова ударил в дверь. Фонарь закачался и выхватил из темноты какой-то новый контур, чей-то одинокий силуэт на фоне неуловимого блеска, разливавшегося по асфальту... Нет, не может быть. И снова тротуар потонул во мраке ночи. Но в тот же миг сквозь непрекращающийся стук дождя по стеклам он услышал какой-то звук. Крик? Его первой мыслью было не двигаться с места: возможно, кто-то хотел выманить его на улицу и там, в кромешной тьме, разделаться с ним — в последнее время участились налеты на бензозаправочные станции, и ради небольших сумм людей калечили и убивали. Аллан открыл ящик стола, где лежал газовый пистолет,— интересно, как с помощью этой игрушки можно защититься от грабителей? Он сидел, как и прежде, неподвижно, но все чувства его были обострены до предела. Снова послышался крик или зов, на этот раз гораздо ближе и отчетливее, и Аллан невольно приподнялся на стуле, так как в этом звуке было нечто знакомое, нечто такое, что затронуло в нем струну, которая заставила его вести себя вопреки требованиям здравого смысла. Инстинкт, предчувствие оказались сильнее...

Аллан встал и направился к двери, выглянул, придерживая щеколду, посмотрел, что делается за бензоколонками: голос доносился оттуда... И тут он увидел женщину — она медленно шла, сгорбившись, пошатываясь и спотыкаясь на мокром асфальте. Секунды было достаточно, и он уже знал, кто это, и бежал по асфальту сквозь дождь и ветер к этому силуэту, к этому голосу, который его интуиция давно узнала. Аллан добежал до нее в то мгновение, когда она пошатнулась и чуть не упала, он подхватил ее и поставил на ноги.

— Мэри!

Она была одного с ним роста, нет, выше его. Аллан со страхом смотрел на ее изуродованное лицо.

— Мэри, Мэри, что случилось?

— Привет, Аллан...

Хотя голос ее звучал чуть слышно, ей все-таки удалось изобразить на разбитых губах слабую улыбку.

— Я думала, никогда тебя не найду...

— Но что с тобой случилось?

Аллан изо всех сил сжимал ее плечи. Мэри дрожала всем телом. Она была босая, одежда на ней промокла, из ран и царапин сочилась кровь, губы распухли, на лбу была большая ссадина, один глаз заплыл и налился кровью. Аллан беспомощно повторил:

— Что с тобой случилось?

— А, ничего особенного, Аллан. Ничего особенного...

Ей еще раз удалось изобразить подобие улыбки, но глаза ее затуманились, дрожь сотрясала тело. Казалось, она вот-вот потеряет сознание.

— Пойдем,— сказал Аллан и повел ее к помещению станции.

— Эти свиньи избили меня и забрали деньги,— сказала Мэри Даймонд.

Она умылась, но лицо ее было опухшим, а дрожь время от времени сотрясала тело; съежившись и завернувшись в плед, она сидела на единственном стуле, предназначенном для клиентов.

— Кто же это?

— Ну конечно полиция, кто же еще?

— Полиция?

— Да, по-ли-ция,— передразнила она его.

Силы понемногу возвращались к ней, глаза заблестели, и она уже говорила четко и ясно несмотря на разбитые губы.

— Полицейские свиньи. Они все время лезут в наш женский промысел. Не любят свободных художников вроде меня...

Наконец Аллан сообразил:

— Так, значит, ты...

— Ну конечно! — И снова в голосе ее прозвучала обычная ирония.— Я «промышляю» на Автостраде. Надо думать, для тебя это не новость? Или это известие тебя как громом поразило?

Ее сарказм был способом самозащиты и поэтому не обижал так, как мог бы обидеть. Для Аллана это было лишь свидетельством того, что он ей не безразличен, и теперь, несмотря на весь драматизм этой неожиданной встречи, он даже испытывал какую-то своеобразную, хотя и неуместную радость, потому что находился с ней рядом и видел ее полные ноги, которые она поджала под себя, сидя за столом, где лежало несколько замусоленных журналов для автолюбителей и еще стояла пепельница, набитая окурками Янсона и пробками от бутылок.

— Нет, что ты...

Наступило молчание.

Аллан чувствовал, что Мэри несправедлива к нему. Его ведь не касалось, что она делает, чтобы не умереть с голоду. А кроме того, у него не было ни малейшего предубеждения против проституток.

— А как же Смайли?..— спросил Аллан, хотя заранее знал, что́ она ответит.

Возможно, он задал этот вопрос лишь затем, чтобы она продолжала рассказывать о себе. Ему это нравилось, даже как-то возбуждало — не то, что она «промышляла», а то, как она раскрывалась перед ним. Он сознавал, что испытывает необычайно сильное влечение к этой крупной темнокожей женщине, а ведь его собственная жена отвергает его...

— Смайли...— Она снова выжала из себя улыбку.— Бедняга Смайли — это мой импресарио, мой высокий покровитель. Мое утешение и мое бремя. Он подобрал меня в сточной канаве — как он сам любит повторять — и отправил на Автостраду. Поверь мне, это было повышение, шаг вперед по служебной лестнице; во всяком случае, это лучше, чем шататься по темным переулкам и кабакам Северо-Западной зоны или перед фабриками Сарагоссы, где ребята заживо гниют от той дряни, которой дышат в цехах, и им необходимо немного встряхнуться... Мы живем со Смайли лет пять. Иногда лучше, иногда хуже, но в общем живем...

Она осторожно провела пальцами по опухоли под глазом, которая все багровела и становилась похожей на сырое мясо.

— Право же, работать на Автостраде не так уж плохо, как многие думают. Автомобильных клиентов больше не интересует доброе старое «хождение вокруг да около»; любовная игра стародедовским способом для них чересчур утомительна и отнимает слишком много времени. Большинство предпочитает теперь так называемый «гоночный массаж»... Как и бедняга Смайли...

Аллан расхохотался. Ее откровенность приводила его в восторг. А круглые колени гипнотизировали... Мэри Даймонд тоже улыбалась, хотя явно была в полном изнеможении после того, что с ней произошло...

— Скажи, у тебя есть кофе? — спросила она.

— Кофе? Да... конечно!

У него была одна пачка, пачка кофезаменителя, которую он купил и которую сейчас придется вскрыть. Это значит, что на следующей неделе у них будет меньше кофе, чем обычно, подумал Аллан. Но он уже принял решение. Он давно не помнил, чтобы у него было такое приподнятое, почти радостное настроение, а все только потому, что здесь сидела Мэри Даймонд и волновала его своими круглыми коленками и волосатыми ногами.

— У меня есть лишь кофезаменитель,— сказал Аллан, наливая в две кружки дымящийся горячий напиток. Он сварил его на электрической плитке, которую нашел на складе. Ее кружку он поставил на стол рядом с пепельницей.

— Ничего, сойдет,— ответила она снисходительно.— Когда привыкнешь к кофе из коры, листьев и печеной ореховой скорлупы, можно попробовать и кофезаменитель. В Палисадене чаще всего пьют именно такой кофе...

Она сунула руку под плед и вытащила плоскую бутылку.

— Посмотри,— сказала она.— Это немного подкрепит нас. Полицейские свиньи не нашли ее.

Мэри налила по хорошей порции в обе кружки.

— Кава. Ничего другого теперь не достать. Иногда в качестве платы я беру бутылку. Бедняге Смайли завтра придется обойтись без выпивки... Твое здоровье.

Она выпила и даже охнула, когда крепкая жидкость обожгла ее кровоточащие губы, потом проглотила и закашлялась, отхаркиваясь, сплевывая на пол и прикрывая рот рукой.

— Черт возьми! — выругалась она, задыхаясь, между двумя приступами кашля.— Не иначе как проклятые фараоны отбили мне все внутренности...

Приступ прошел. Она жадно ловила ртом воздух.

— Впрочем, мне еще везло... это я первый раз попала к ним в лапы. Я знаю девушек, которые после такой обработки на всю жизнь остались калеками. А некоторые вообще отправились на тот свет...

— А что произошло?

— Они ехали в машине, в частной машине, разумеется, без надписи «полиция», и остановились на обочине, где я стояла. Когда я увидела, что это фараоны, сматывать удочки было уже поздно. Один из них вышел из машины и потребовал, чтобы я показала ему свидетельство. Пока я делала вид, что ищу его, ко мне подошли двое других, схватили и затащили в машину. Я отбивалась, как могла, но толку было мало. Все-таки их было трое. По-моему, одного я все же слегка разукрасила...— Она улыбнулась кривой, жалкой улыбкой и сделала еще глоток из чашки.— Мы поехали в гору.— Она кивнула в сторону Эббот Хилл.— Двое набросились на меня, а один держал. Вернее, один держал, один бил, а один пытался изнасиловать, но у него ничего не вышло, и он тоже принялся меня избивать. А потом я потеряла сознание. Когда машина остановилась, я пришла в себя и услышала, как они спорят, что делать со мной. Кончилось тем, что они меня просто выбросили из машины. Забрали мою сумочку. И еще я потеряла туфли, чудесные туфли...

Впервые за весь вечер похоже было, что она вот-вот расплачется. Рот у нее дрожал, она тяжело и прерывисто дышала.

— Самое скверное было потом. Когда я немного пришла в себя и стала понимать, где нахожусь, я спустилась по дороге вниз к домам, которые стояли немного поодаль. Я думала, мне кто-нибудь поможет, но сколько я ни стучалась, никто не захотел мне открыть. А те, что открывали, гнали меня прочь, а некоторые даже грозились вызвать полицию... Я понимала, что нахожусь где-то на горе, но где именно, не знала. Я просила их сказать, где я и как достать такси, но они захлопывали двери перед моим носом и кричали, чтобы я катилась к чертовой матери. У одного было два огромных пса, и он пригрозил, что натравит их на меня, если я не уберусь подобру-поздорову. Это было так страшно...— И она разрыдалась, опустив голову на руки, а слезы катились на плед в бирюзовую и лиловую полоску.

— На складе есть матрас,— сказал Аллан.

Прошло некоторое время. Мэри Даймонд успокоилась, Аллан налил ей в кружку еще кофе. У него сложилось впечатление, что она уже полностью пришла в себя.

— И несколько одеял,— добавил он.— Если хочешь, можешь лечь и заснуть.

Он даже не взвешивал все «за» и «против». Он был совершенно уверен, более чем уверен: она останется у него ночевать.

— Хорошо, Аллан. Спасибо.

Иначе и быть не могло. Он всегда знал, что когда-нибудь это произойдет, хотя и не хотел себе в этом признаваться; он все время как бы кружил вокруг нее, постепенно сужая круги, с тех пор как в то самое первое утро вдруг увидел ее в воде. Если раньше его связывала элементарная осторожность, если он боялся обнаружить свои чувства, чтобы не создавать на Насыпи для Смайли и Лизы двусмысленной ситуации, то теперь все сомнения были позади. Теперь он просто сидел и восторгался ее огромной притягательной силой, ее вызывающей, почти животной женственностью, хотя ее избили и она, казалось, была при последнем издыхании. Нет, она непременно останется у него.

И, словно она в этот момент подумала о том же самом, у нее вдруг вырвалось:

— Послушай, я ужасно рада, что нашла тебя. Просто не представляю, что бы я сейчас делала, если бы не пришла сюда. Наверное, валялась бы где-нибудь в канаве, пока бы не подохла. Когда я увидела, что нахожусь на Эббот-Хилл-роуд, у меня появилась слабая надежда. Лиза говорила, что ты где-то здесь работаешь. Господи, но как долго я шла...

Они выпили кофе и почти полбутылки кавы. Ссадины на ее лице были кроваво-красные, один глаз совсем заплыл, тем не менее она уже успела оправиться от шока после столкновения с полицией.

— Завтра утром отсюда пойдет автобус до Восточной станции. Если ты будешь хорошо себя чувствовать, то сможешь поехать на нем...

— Ну, как-нибудь я доеду...

Она показала свои выщербленные передние зубы и потянулась.

— Эти суки вытащили у меня сигареты. У тебя, конечно, нет?

— Нет. Я поищу, но не уверен...

— Хорошо, я пороюсь здесь...— Она поковырялась в пепельнице.— Вот вполне приличный окурок. А огонь у тебя есть?

В верхнем ящике стойки лежала газовая зажигалка Янсона. Аллан чиркнул — Мэри низко наклонилась, чтобы прикурить, и глубоко затянулась.

— Ну вот, я, кажется, снова стала человеком. Господи, но как я устала! Где у тебя матрас?

— На складе. Я покажу тебе. Только подожди немного...

Аллан посмотрел на электрические часы на стене. Всего половина десятого. Он вышел и щелкнул тремя выключателями. Потух свет на бензоколонках и над дверью, где раскачивался фонарь. Аллан повернул ключ в двери. Собственно говоря, он не имел права закрывать бензозаправочную станцию до половины двенадцатого.

— Что ты там делаешь?

— Закрываю лавочку. Пора ложиться спать.

Мэри Даймонд встала — босая она была такого же роста, как Аллан.

— Мне очень жаль, Аллан, что я отнимаю у тебя постель,— сказала она, улыбнувшись своими распухшими губами.

— Ничего, мы с тобой придумаем, как поправить дело...

Эта маленькая игра, в которую они решили поиграть, была очень наивной и примитивной. Обоим явно не терпелось заключить друг друга в объятия и как можно скорее завершить прелюдию и переход от прежней отчужденности к новой близости, словно у них было так мало времени, что им не хотелось его терять. Быстрыми, уверенными движениями Аллан запер ящик с деньгами и талонами на бензин, затем повернул ключ в кассовом аппарате. Мэри Даймонд стояла в нескольких шагах от него, она все понимала и по-прежнему улыбалась, хотя усталость как проволока стягивала ее мышцы под золотистой кожей и затеняла живой блеск ее черных глаз, словно их засыпали остывшей золой.

— А ты молодец,— нараспев зашептала она.— Такого сильного мужика я давно не встречала. Я всегда это знала, с самого первого дня. Это написано на тебе.

Аллан с треском опустил штору, закрывающую дверь. Он улыбался ей своими крепкими белыми зубами. Он знал, что она права. Знал, что Свитуотер не успел разрушить все, не успел отнять у него жизненные силы. Знал, что несмотря на плохую пищу, тяжелую работу и однообразие с каждым днем, прожитым на Насыпи, он становится все сильнее. И никогда еще Аллан не чувствовал себя таким сильным, как в те часы, когда был с Мэри Даймонд.

23

Вскоре Аллан сообразил, что Смайли начал преследовать его. Он нисколько не сомневался в том, что причиной были его отношения с Мэри Даймонд, хотя вслух они никогда не говорили об этом между собой.

Собственно, в поведении Смайли не появилось ничего враждебного или угрожающего, по сути дела ничего не изменилось; они встречались более или менее случайно, беседовали, Смайли как ни в чем не бывало излагал свою циничную философию жизни и спрашивал у Аллана совета по разным практическим вопросам. Еще до того, как пошли дожди, «универсал» Смайли испустил дух, и его общими усилиями перетащили на другое место, поближе к фургону, где он не так бросался в глаза. Кроме того, Аллан помог Смайли сделать пристройку из гофрированной жести, чтобы, выйдя из машины, они не мокли под дождем. Из этого можно было заключить, что Смайли жестоко заблуждался, громогласно утверждая, будто они с Мэри на Насыпи не задержатся.

Так они стали почти соседями, и поначалу Аллан не находил ничего особенного в том, что Смайли довольно часто появлялся возле фургона то с каким-нибудь делом,

то чтобы спросить о чем-нибудь, то просто «случайно», чтобы не скучать в одиночестве.

Однако со временем Аллан начал подозревать, что за навязчивым стремлением Смайли установить более тесные отношения кроется нечто большее, какой-то специфический интерес, странная смесь любопытства, неприязни и бессилия.

Аллан считал само собой разумеющимся, что Смайли знает о его отношениях с Мэри Даймонд. Об этом ему могла рассказать сама Мэри, хотя вовсе не исключено, что он прежде задал ей несколько наводящих вопросов. Но даже если их и не «разоблачили» в прямом смысле слова, то, что происходило между ним и Мэри, очень сильно изменило Аллана; эти изменения пронизывали все, что он говорил и делал, проявлялись в каждом изгибе его тела — их нельзя было не заметить и нельзя было объяснить иначе, как только...

Аллан знал, например, что Лиза давно все поняла. В тот вечер, когда они собрались возле фургона и сидели все вместе вокруг печки, в которой горел огонь, Лиза изумленно и испуганно смотрела и слушала, как он говорил с Мэри и Смайли о ремонте их машины. Вот тогда-то она и поняла. Об этом Лизе рассказали его движения, мимика, гибкость, которую вдруг обрело его неуклюжее тело, когда он приближался к Мэри Даймонд, а та делала вид, что ничего не происходит, держалась естественно, непринужденно, но именно это особенно и воспламеняло его чувства. И Лиза, его толстопузая маленькая Лиза, в тот же вечер спросила его напрямик: «Тебе нравится Мэри?» Спросила как о чем-то бесспорном. И он ответил «да», даже не пытаясь успокоить ее.

— Мне она тоже нравится,— сказала Лиза.

Никаких упреков, никаких истерик. Аллану показалось даже, что она сказала это с облегчением, наивная, доверчивая, похожая на девочку несмотря на большой живот.

— Я отдала ей свои лакированные туфли,— продолжала Лиза.— Они ей так понравились. Она очень добрая. Она сказала, что будет приходить и помогать мне, когда родится ребенок... Она такая красивая, такая большая, полная, темнокожая. Ведь правда?

— Конечно.

Больше об этом между ними не было сказано ни слова, однако Аллан замечал, что, когда он возвращался домой от Смайли или просто после очередных поисков каких-то нужных по хозяйству вещей, Лиза порой смотрела на него с таким беспокойством — беспокойством, смешанным с облегчением,— словно боялась, что он ходил на свидание к Мэри, и радовалась тому, что несмотря ни на что все-таки вернулся к ней. И она была права. Он действительно ходил за Мэри по пятам, приставал к ней, упрашивал, а она слабо отругивалась, иронически улыбалась, называла его жадным щенком и тем не менее уступала, уступала во всем и распаляла его страсть своим огнем, который несмотря на усталость и пресыщение все-таки не потух в ее сердце и зажигал угольки в глазах, когда она до боли целовала его в кузове обгоревшего автобуса, где он нашел в углу свернутый резиновый коврик, сделавший этот автобус еще более удобным для любви, хотя время от времени через дырявую крышу на них и текла вода. Как ни странно, на Насыпи было не так-то просто найти время и место, чтобы «уединиться» хотя бы на полчаса, потому что все здесь было неразрывно связано узами неумолимой логики — и поступки, и расположение духа — и направлялось четкой преемственностью событий и явлений, шла ли речь об ожидании, отдыхе, еде или сне.

Однако страх Лизы, если только она действительно боялась, что Аллан уйдет и оставит ее одну, был совершенно неосновательным, поскольку увлечение Мэри Даймонд еще не побуждало его изменить весь свой и Лизин образ жизни, который в общем и целом его вполне устраивал. На этом этапе еще не было сколько-нибудь серьезного конфликта между совместной жизнью их всех на Насыпи и внезапно нахлынувшей на него страстью. Аллан не раздумывал о том, к каким последствиям могут привести его отношения с Мэри; когда он находился рядом с ней, влечение, которое он испытывал, было сильнее голоса рассудка; когда он находился вдали от нее, ему не хватало ее тяжелого, крепко сбитого тела, и это нередко отвлекало его от работы. Однако Аллан еще не стоял перед необходимостью выбора.

Как ни странно, когда Аллан стал удовлетворять свои желания на стороне, он вдруг почувствовал какую-то совершенно особую нежность к Лизе и ребенку, которого она вынашивала. Сознание, что он скоро снова станет отцом, главой все растущего семейства, целого клана, опьяняло его. Радость его была стихийной и безудержной, и так же стихийно становился все более грубым и обыденным, почти примитив-

ным его внутренний мир, словно он тускнел от грязи, слякоти и насекомых-паразитов, от тяжелого труда ради хлеба насущного, от того ужасающе серого однообразия, которым была отмечена вся их жизнь в фургоне.

— Я говорил с этим старым латальщиком,— сказал Смайли,— но для починки масляного насоса у него ничего нет. Эта хитрая лиса сидит на куче запчастей, но черта лысого у него допросишься...

Смайли преследовал Аллана. Он то и дело появлялся у фургона, чтобы побеседовать, попросить совета или помощи, как бы ища любой возможности держать Аллана под наблюдением; можно было подумать, что Аллан вдруг показался ему человеком необыкновенно интересным и даже обаятельным, хотя он по-прежнему при всяком удобном случае пускал в него стрелу своего циничного сарказма. Правда, узнав о том, что Аллан и Мэри встречаются, Смайли стал чуть менее самодовольным, зато более болтливым.

— Вопрос, правда, в том,— продолжал Смайли, ритмично постукивая кулаком по капоту, покрытому пятнами ржавчины,— вопрос в том, имеет ли вообще смысл ломать себе из-за этого голову. Допустим, мы все-таки заставим ее двигаться благодаря техническим познаниям моего одаренного соседа, но далеко ли она проедет? Отсюда до Автострады, а там... трах-бах... полный газ и заклиненные цилиндры. И, вероятно, это далеко не самый лучший вариант, не правда ли, дорогой мой Аллан? Понимаешь, когда дело касается фараонов, мною почему-то всегда овладевает робость. А кроме того, эти проклятые дожди окончательно разрядили мне аккумулятор...

Аллан не раз объяснял ему, что дело не только в испорченном масляном насосе, однако Смайли по-прежнему мечтал о том, чтобы отремонтировать свою старую машину. Хотя Смайли постоянно доказывал, что единственно мыслимый и самый надежный способ существования — жизнь на Насыпи за счет того, что выбрасывает человеческое общество, раз уж все равно ты паразит и тунеядец и этому нет сколько-нибудь убедительной альтернативы, поскольку «в результате крушения общественного сознания все теории окончательно и бесповоротно потерпели фиаско»; хотя он упорно называл себя идеалистом, эстетом и художником, который хочет «сидеть на безопасном расстоянии и смотреть, как горит Рим», а потом написать импрессионистскую картину, отобразив на полотне экскременты технической цивилизации, разбросанные вокруг,— ему явно становилось не по себе при одной мысли о том, что этот традиционный способ связи со «старым, вонючим, разлагающимся миром» отказал окончательно и бесповоротно.

Аллан слушал этот нескончаемый поток слов, пока хватало сил. Как правило, подобные беседы завершались тем, что Аллан начинал отчаянно скучать и презирать Смайли. Хотя Смайли был начитан и сообразителен и умел в нескольких словах охарактеризовать явление, свидетелями которого они стали, тем не менее его напыщенные тирады были пустыми и бессодержательными, как церковная служба,— единственной целью их было сбить человека с толку и даже устрашить, чтобы он не утратил окончательно уважения к этому хлипкому импотенту, живому трупу, который посылал свою жену на Автостраду зарабатывать деньги, а сам все говорил, говорил и никогда ничего не делал...

Они сидели, прислонившись спиной к жесткому холодному кузову злосчастного «универсала», и смотрели в серую пелену дождя.

А Смайли продолжал говорить своим блеющим надтреснутым голосом:

— Впрочем, этот старик иногда высказывает довольно забавные мысли... Разумеется, ужасно старомодные, но им нельзя не восхищаться: остался идеалистом после стольких лет, проведенных на мусорной куче... Он верит в какое-то иное общество. И хочет построить его здесь, на Насыпи. С нашей помощью...— И он разразился судорожным, похожим на кудахтанье смехом.

— Ну так что в этом дурного? — спросил Аллан.

То, что сейчас сказал Смайли, в какой-то мере соответствовало его собственным неясным представлениям о том, как они будут жить дальше. Так или иначе между совершенно непохожими и весьма своеобразными по натуре людьми, нашедшими здесь пристанище, наладилось какое-то сотрудничество, взаимопонимание. И сознание этого вселяло бодрость. Бодрость и мужество.

— Я не сказал, что это дурно,— возразил Смайли, глядя в небо.— Но, понимаешь, нельзя махнуть рукой на то, без чего ты не можешь обойтись. Ты бы и нескольких дней не просуществовал, если бы там не было Свитуотера.— Смайли ткнул рукой в туманную мглу.— Он обеспечивает тебя работой, а также товарами и продуктами, которые ты покупаешь, и всякими отбросами, которые потребляешь! Понятно? Ты в такой же мере зависишь от Свитуотера, в какой блоха — от собачьей шкуры!

— Нет! — Аллан напряженно думал. В том, что сказал сейчас Смайли, многое было правдой, многое, но отнюдь не все.— Нет. Возможно, так было вначале, но потом все изменилось. В городе мы покупаем меньше и меньше, потому что там почти ничего нельзя достать. Меньше и меньше продуктов мы находим на Насыпи, потому что почти все съедобное уничтожает дождь. Мы с Лизой и малышом в основном питаемся овощами, которые я нахожу на огородах и садовых участках. На таких же, как у Дока... Скоро мы будем питаться только тем, что сумеем сами вырастить... Мы все меньше и меньше зависим от города, понимаешь?

— Ты в самом деле думаешь, что вы сможете обойтись без города? — ухмыльнулся Смайли. Грязная, засаленная борода рыжеватыми клочьями покрывала его отвислые щеки.— Ни в коем случае, если только вы не вернетесь к образу жизни пещерного человека... Но и у первобытного общества тоже есть своя структура. Ясно? И свои законы, согласно которым оно функционирует, если не хочет погибнуть. Не станешь же ты утверждать, что всерьез решил создать «общество» из восьми-девяти человек, в том числе двух стариков, глухонемого идиота с наклонностями убийцы и совсем молоденькой женщины, которая крайне тяжело переносит беременность...

Аллан стиснул зубы. Смайли снова усмехнулся, на этот раз шире. Он знал, что нанес удар по больному месту.

— Кроме того,— продолжал он,— кроме того, такие, как ты и я, не говоря уже об остальных, вообще не способны создать общество. Мы навечно отмечены тем смертельно больным обществом, из которого вышли. Мы его представители с печатью смерти на лбу. Мы стерилизованы теми разрушительными процессами, которые в нем происходят. Каким же образом мы можем создать что-нибудь новое и совершенное?

— Заткнись, наконец!

Аллан не мог больше слушать эту дурацкую болтовню. Циничный пессимизм Смайли был уловкой, которая позволяла ему скрывать свое невежество и непонимание того, что происходит вокруг.

У Аллана же все было наоборот: он остро ощущал происходящее. Всеобщий застой он воспринимал как процесс, угрожавший ему физически и психологически. Он чувствовал, что прогрессирующее разложение общества ставит под удар все его существование. Он видел — не слишком над этим задумываясь,— что распад охватил почти все стороны общественной жизни, породил уродливые мутации в самой природе человека: унижение, опрощение и ожесточение стали неотъемлемой чертой того существования, которое люди влачили в Свитуотере. Аллан все это увидел и в результате предпринял соответствующие действия: перебрался на Насыпь. И он не ставил перед собой иной цели, иной задачи, как просуществовать еще хотя бы один день, потом еще один... Таково было различие между ним и Смайли.

— Выжить или не выжить...— продекламировал Смайли нараспев, как бы зондируя почву на предмет продолжения беседы.— А не все ли равно? Ведь выживают отнюдь не самые лучшие. Самые лучшие погибают в борьбе, за исключением тех, кто слишком интеллигентен, чтобы лезть в драку. Возможно, они первые подают сигнал, и их первыми пожирают, когда начинается собачья грызня. Нет, выживают не самые лучшие...

— Заткнись же, наконец, Смайли...

Аллан недовольно махнул рукой, словно разглагольствования Смайли вызывали у него физическое отвращение; когда же он снова заговорил, нехотя, с раздражением, казалось, это стоило ему огромного труда.

— Ты так же боишься, как и все остальные. И не морочь мне голову, Смайли. Ты очень храбро предрекаешь нам всем гибель, а на самом деле пускаешь от страха в штаны. Если действительно произойдет катастрофа, ты, как и все мы, будешь вопить и барахтаться, чтобы спасти свою жизнь. Если хочешь знать, ты трус, Смайли, верно? Ты ведь, черт возьми, даже не мужик. И потому всего боишься. И все время проповедуешь, проповедуешь... Ты сам в это не веришь, Смайли, и знаешь, что не веришь!

Аллан замолчал. Он почувствовал, что зашел слишком далеко. Раздражение и презрение, внезапно нахлынувшие на него, заставили его сказать слишком много, и он выложил напрямик все то, что до сих пор оставалось между ними недосказанным. Наверное, не надо было в порыве злости оскорблять мужское достоинство Смайли. И не потому, что Аллан боялся потерпеть поражение в открытой схватке со Смайли; внутренний голос говорил ему, что подобное столкновение преждевременно, так как никто не может предугадать всех его последствий, особенно сейчас, когда все хотят сохранить равновесие, установившееся на Насыпи.

Однако Смайли пропустил это замечание мимо ушей. Больше всего на свете он боялся физического насилия. Его многоопытный здравый смысл с необыкновенной легкостью превращал ярость и оскорбленное самолюбие в иронию, в убийственный сарказм, а его жаждущая мщения язвительная насмешка нередко подбиралась к обидчику долгими окольными путями, прежде чем нанести замаскированный контрудар. Смайли знал, что Мэри Даймонд спала с Алланом, и сам по себе этот факт не был для него хоть сколько-нибудь огорчительным, однако его бесило то, что она отдалась просто так, бесплатно, как влюбленная школьница, и он приходил в неистовство при одной мысли о том, что она могла разболтать Аллану о чем-то сугубо личном. Смайли с силой швырнул железный болт, который крутил в руках. Когда болт ударился о жестяную коробку, раздался грохот, прозвучавший глухо и отрывисто сквозь пелену дождя. Однако лицо Смайли не отражало ни волнения, ни злости. Он только вздохнул, усмехнулся и провел ногтями по бороденке.

— Нет,— произнес Смайли,— в наше время герою приходится нелегко, если ты это имеешь в виду. Нелегко и в постели, и вообще...

Он засмеялся сухим, дребезжащим смехом, удрученно взглянул на пустую бутылку, стоявшую у него между ног, и, увидев, что Аллан немного успокоился, приступил медленно и обстоятельно к акту возмездия. Он зевнул, потянулся, потер ладони одна о другую.

— Ох... Нечем даже подкрепиться.— Пинком ноги он отбросил пустую бутылку.— Нет даже паршивой бутылки кавы. Впрочем, Мэри, кажется, пошла к этому торгашу в шляпе, Феликсу — или как его там зовут? — чтобы достать немного порошка. На прошлой неделе у него был «Дип пёрпл», первоклассный товар. Один бог знает, где он его берет...

— Феликс торгует наркотиками?

Аллан ведь так и не знал, какими «делами» занимается Феликс. Он не раз видел, как уже ближе к вечеру к воротам шел Феликс, а в двух шагах за ним неизменно следовал Рен-Рен, и нередко он встречал их на рассвете, когда они возвращались на Насыпь с самыми разными товарами, в основном, как он догадывался, продуктами, которые они несли в коробках и пластиковых мешочках. Но чем они на самом деле занимались по ночам в Свитуотере, он так и не знал. Когда Смайли назвал наркотик, Аллан удивился только потому, что «Дип пёрпл» считался одним из самых изысканных и дорогих средств и раздобыть его было чрезвычайно трудно. Если Феликс может достать «Дип пёрпл», значит, он может достать что угодно.

— Конечно. Этот малый просто ходячая аптека. А ты разве не знал? Но для тебя это, наверно, не имеет значения, поскольку ты не притрагиваешься к таким опасным субстанциям...

Смайли усмехнулся. Умеренность Аллана тоже была для него неиссякаемым источником издевок.

— А что он берет в уплату за наркотики?

Вопрос был задан автоматически. Однако злорадная усмешка Смайли быстро убедила Аллана, что этот вопрос ему ни в коем случае не следовало задавать.

— Догадайся сам...

Смайли еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Его косо посаженные глаза смотрели на Аллана насмешливо и ехидно.

— Не знаю...

Аллан пожал своими широкими плечами и посмотрел в сторону. Наконец до него дошло. Смайли облизнул губы:

— Как ты думаешь, в чем состоит мой капитал? Где я храню свой страховой полис, где мои долгосрочные инвестиции? Объяснить тебе? Тогда, может, ты поймешь, что моим единственным средством платежа в этом гнусном мире является наша с тобой дражайшая Мэри. Вот так. Тебя это шокирует, не правда ли? Но каким бы отвра-

тительным ни был наш мир, его надо принимать как он есть, если хочешь чего-нибудь добиться...

Сейчас Смайли был невероятно возбужден и от ярости, от извращенной ревности взвинчивался все сильнее и сильнее.

— Аллан, старый дружище, какой-то у тебя уж очень недовольный вид. Ты, наверно, сидишь и думаешь, что я свинья, потому что использую нашу Мэри таким недостойным образом? Но здесь твой маленький, набитый условностями разум допускает серьезную ошибку. Это она мне многим обязана и весьма благодарна за то, что я для нее сделал. Вот что я тебе скажу: я нашел ее лет пять-шесть тому назад в Западной зоне. Она стирала и мыла полы в кафешке с танцами на Северо-Западной авеню, а в свободное от работы время бесплатно обслуживала клиентов своими прелестями, если, конечно, ты понимаешь, что я имею в виду,— но ты уже все понял,— мотоциклистов, шоферов грузовиков и прочий сброд; одним словом, все, кто попадал на Северо-Западную авеню, угощались бесплатно от щедрот Мэри Даймонд...

И Смайли искоса взглянул на Аллана, как бы желая убедиться, что его слова произвели желаемый эффект.

— Да, Мэри... Тогда она была просто грязной маленькой бесплатной шлюхой. Первый раз я встретил ее, когда заскочил в кафешку, чтоб поесть. Я предложил ей работу, и она согласилась. Она мне позировала: в то время я был «художником». А кроме того, согревала мне постель, готовила еду и убирала квартиру. А когда со скульптурой дело пошло неважно, мы постепенно перешли на фотографию, делали по специальному заказу снимки в духе эстетического авангарда, ты понимаешь... А потом мы махнули в Роудсайд-Сити, где у меня были кое-какие связи. Вот так обстояли дела, дорогой Аллан. Не подбери я ее, она бы до сих пор скребла за гроши полы в кафешке. Или ее доконали бы аборты. Девице с ее репутацией не так-то легко улучшить свое положение в жизни. Мэри есть за что благодарить меня. Ведь это я сделал ее такой, какой ты видишь ее сейчас, и хотя это тоже не бог весть что, но все-таки намного лучше, чем было раньше. Я дал ей твердую опору в жизни, нечто более или менее надежное, нежность, когда она в ней нуждается, любовь в меру моих слабых сил; большего ей не нужно, ничего другого она не знает. И это привязывает ее ко мне и в радости и в горе. Как говорится, «в дни радости и горя...».

Он нагло осклабился, глядя на угрюмое лицо Аллана. Самоуничижение было самым действенным оружием Смайли, и он с наслаждением испытывал терпение своего соперника, которое судя по всему имело в своей основе какие-то нравственные причины. Несмотря на ревность и страх Смайли потешался над тем, что Аллан, кажется, влюбился в Мэри Даймонд, и он, как мог, поливал грязью и Мэри, и себя, и их отношения, чтобы только нанести Аллану удар и с этой стороны.

Аллан резко встал, опрокинув ящик, на котором до сих пор сидел.

— Ты гад, Смайли. Грязная, мерзкая жаба.

— Ну-ну, старик...

Когда Аллан вдруг встал, Смайли вздрогнул, увидев гнев в его глазах, услышав возмущение в бессильных ругательствах, и немного испугался, не зашел ли он слишком далеко, поддразнивая Аллана, но уже не мог остановиться, не мог скрыть издевки.

— Успокойся, парень. Неужели ты хочешь, чтобы наша маленькая непринужденная беседа завершилась отвратительной дракой? Битва на кулаках за право сильнейшего говорить то, что он хочет... К этому ты стремишься? Хочешь, чтобы в нашем крошечном раю воцарился закон джунглей? По-моему, драться, защищая честь женщины, довольно старомодно. И подумай о последствиях: чего ты добьешься, если установишь на Насыпи диктатуру мускулов? Только одного: ускоришь свою собственную гибель, друг мой. Стоит тебе только выпустить дьявола на свободу, и за первой же мусорной кучей затаится враг, чтобы прикончить тебя самого. И так далее. У современной цивилизации тонкая скорлупа, скажу я тебе. И здесь, у нас, она вся покрылась трещинами. Нужно немного присматривать за вами всеми, чтобы вы ненароком не дали заднего хода и не отправились прямехонько в каменный век или еще дальше. Раньше...

Опухшее, давно не мытое лицо Смайли лоснилось и горело, на лбу и верхней губе блестели капельки пота. В голосе его вдруг прозвучали примирительные нотки. Он осуществил свой замысел, совершил акт возмездия. А теперь боялся, что Аллан уйдет и оставит его одного на весь вечер, долгий, серый и сырой.

— Ты ведь еще не уходишь, старик? Надеюсь, тот вздор, который я порол сегодня, не испортил тебе настроения?.. А, Аллан?..

Но слова его повисли в воздухе, Аллан не удостоил его даже взглядом. Только буркнул:

— Слишком много ты болтаешь, Смайли. Лучше бы ты занялся делом. Ты сгниешь, если будешь все сидеть и болтать. Пока...

И он решительным шагом вышел под дождь, словно ему стоило огромных усилий вырваться из цепких лап Смайли и он понимал, что должен опасаться этого болота, которое пытается засосать его.

24

Несмотря на подлые наветы Смайли отношение Аллана к Мэри Даймонд нисколько не изменилось. Она приходила к нему почти каждую субботу, и они вместе проводили ночь на складе, где лежал матрас. По ее словам, она приходила к нему, только уступая его просьбам, а кроме того, ей ведь надо быть на Автостраде рано утром в воскресенье, когда люди выезжают за город, и на бензозаправочной станции у Аллана удобно переночевать; что же касается Аллана, то он никогда не требовал от нее никаких признаний. Ему было достаточно, что она утоляет его голод. Во всяком случае вначале. Потому что со временем он стал замечать, что его влечение к ней, которое сначала было только физическим, постепенно стало всеобъемлющим. Мелочи, которые раньше он едва замечал и которым не придавал значения, вдруг стали важными и весомыми; одного присутствия Мэри на станции было достаточно, чтобы работа, которую он уже начинал ненавидеть, казалась ему вполне сносной, а полуразвалившаяся бензозаправочная станция приобрела былую привлекательность.

Они прекрасно подходили друг другу во всем, включая и постель. Ему казалось, что никогда еще у него не было любовницы, которая бы лучше отвечала его представлениям о том, какой должна быть женщина. Она была такая плотная, крепко сбитая и так радостно и бездумно шла навстречу его желаниям. В их любви не было «одичания» или чего-то необузданно «животного», он никогда не раскаивался в том, что они с Мэри зашли «слишком далеко», как это часто бывало в первое время, когда он желал и преследовал Лизу еще до того, как она забеременела и стала избегать его. Когда он был с Мэри, все происходило в какой-то удивительной глубокой гармонии; в этом не могло быть ничего «дурного». Никогда еще ему не было так хорошо ни с одной женщиной, и хотя Мэри не давала ему никаких гарантий на будущее — вот только не брала с него денег, которые он, правда, ей предлагал,— ее тепло и доброта подтверждали то, что ему было так нужно: она принадлежала ему. И этого ничто не могло изменить.

Тем не менее он старался в меру своих возможностей оказывать знаки внимания Лизе, словно и не существовало противоречия между его жизнью женатого человека в фургоне и его ролью любовника Мэри Даймонд, которую он исполнял в ночь с субботы на воскресенье. Он всячески стремился помогать Лизе, своей законной жене, которая все больше и больше становилась для него обузой, поскольку из-за беременности почти ничего не могла делать. Каждую неделю он наполнял до краев бензобак в старой машине Свитнесса без талонов на бензин, а за это получал тюбики с сыром, пищевой жир и растительный бекон. Он тащил домой любые овощи, какие только мог найти, и умудрялся даже доставать на черном рынке витамины в обмен на запчасти, которые крал из того, что еще осталось на складе.

Он не раз консультировался с Доком, чтобы убедиться, что у Лизы все идет нормально, однако Док сказал, что Лиза малокровная и слабая и в оставшиеся до родов несколько недель не должна напрягаться. Разумеется, Док тоже знал о его двойной жизни, и Аллану показалось, что он уловил упрек в голосе старика, когда они слегка коснулись этой темы, но Аллана это не волновало. Он считал нравственные требования Дока старомодными и абсолютно неприменимыми в существующих условиях и даже не совсем понимал, в чем их смысл. Однако забота, которую Док проявлял в отношении Лизы, успокаивала Аллана, и эта забота стала еще сердечнее в последнее время, после того как Док окончательно убедился в его «неверности» (как он, вероятно, это называл). Трогательная дружба, вдруг связавшая Дока и Лизу, снимала в какой-то мере с Аллана ответственность за ее жизнь. Во всяком случае, Аллану так казалось, поскольку, по мере того как ему становилось все труднее с Лизой и опасность, угрожавшая ее здоровью и здоровью еще не родившегося ребенка, как утверждал Док, все возрастала, он все отчетливее сознавал, что ведет себя не так, как сле-

довало бы. Он проявлял и заботу и внимание, но до какого-то предела, после чего вдруг терял терпение. Ему не хватало выдержки, чтобы спокойно относиться к состоянию Лизы и вообще к всевозможным недугам и болезням; это раздражало его, выводило из равновесия, заставляло чувствовать свою неполноценность и даже вину, а необходимость сидеть весь вечер в тесном фургоне (теперь он казался тесным, потому что большую часть времени Лиза лежала), чувствовать на себе ее вопросительный укоризненный взгляд, выслушивать ее трогательные просьбы о каких-то совершенно незначительных вещах, о той или иной маленькой услуге — все это нередко приводило его в состояние лихорадочного агрессивного беспокойства. К счастью, Док сам следил за тем, чтобы Лиза получала почти все, что ей было нужно, облегчая тем самым мучительное бремя, которое легло на плечи Аллана.

В сущности говоря, у Аллана не было ощущения, будто он ведет двойную жизнь, и прежде всего потому, что его близость с Мэри никогда не была тайной, и теперь он рассматривал это как неизбежный результат вполне естественного хода событий.

Мимо Насыпи в направлении Восточной станции пока еще ходил рейсовый автобус, на который Аллан садился каждую субботу, но ходил он все менее и менее регулярно, и можно было ожидать, что этот маршрут в скором времени отменят, как и многие другие. Эти еженедельные поездки на автобусе, когда приходилось стоять в тесноте, вдыхая спертый, пропитанный испарениями воздух, были для Аллана мукой. Он знал этот маршрут как свои пять пальцев. И мог бы нанести на карту каждый мучительный метр пути, рассчитав его по минутам.

Аллану все время казалось, что даже в переполненном автобусе пассажиры стараются держаться как можно дальше от него. Возможно, они ощущали его запах. Но ведь от них тоже пахло не слишком приятно — пахло пóтом, дешевым мылом, тесными квартирами и грязным бельем. Но от него пахло Насыпью, а это был совсем особый запах. И хотя перед уходом он мыл лицо, приводил в порядок волосы и бороду, чтобы не привлекать к себе внимания, во всем облике его появилось нечто подозрительное, замкнутое и в то же время настороженное, затаившееся, и люди это чувствовали и старались держаться подальше. Он избегал их — они избегали его...

Чтобы убить время, он думал о Мэри Даймонд, о том, чем они займутся, когда она придет к нему вечером, и радовался этому. В их времяпрепровождении не было особого разнообразия, поскольку на бензоколонке не развернешься. Однако Аллану нравилось именно это однообразие, четкая упорядоченность существования, ограниченность выбора; жизнь его стала проще, яснее по форме и ритму, жить так стало его насущной потребностью. Он не мог бы сейчас разбираться в массе возможностей, делать необходимый выбор, снова приспосабливаться к сумасшедшему хаосу городской жизни. Он думал о радостях постели, которую они расстилали в помещении склада, и ему становилось теплее. Наступила осень, по ночам было холодно, но Аллан на всю ночь оставлял на складе включенной электрическую плитку, и она согревала комнату. Перерасход электроэнергии когда-нибудь обнаружат, но Аллана это нисколько не волновало. Как не волновало и то, что он без талонов отпускал бензин Свитнессу. Или таскал со склада автомобильные пледы в грязно-бирюзовую и синевато-лиловую клетку и затем отвозил на Насыпь в предвидении наступающей зимы. Все равно ему недолго оставалось работать на бензоколонке.

На автобусной станции, где он одиноко сидел и ждал автобуса, его смерила критическим взглядом крупногабаритная шлюха. Ее круглый зад, обтянутый цветастой тканью дешевого платья, соблазнительно покачивался, и Аллан вспомнил Мэри Даймонд.

Через огромный прозрачный пластиковый купол, высившийся над автобусной станцией, пробивался серый, грязный дневной свет. Неподалеку, возле одного из супермаркетов, вдоль погрузочной платформы вытянулась длинная очередь; в основном стояли пожилые люди, изможденные, в потрепанной одежде. В субботу в это время большинство магазинов закрывалось. Эти люди, возможно, ждали, когда начнут увозить контейнеры с мусором, чтобы среди отбросов попытаться найти что-нибудь такое, что можно использовать, продать или просто съесть.

Как обычно, Аллан вышел из автобуса возле трансформаторной подстанции. На последнем отрезке пути он оказался единственным пассажиром, и усталый, неопрятного вида водитель, мельком взглянув на него в зеркало заднего обзора, выпустил его из автобуса. До бензоколонки оставалось еще несколько сот метров, минут семь-восемь

ходьбы, но Аллан любил пройтись, он обнаружил, что с удовольствием ходит пешком, хотя шагать по ровному твердому тротуару казалось ему теперь неудобным и неестественным.

Дождь прекратился, подул свежий, прохладный ветер, который лишний раз напомнил Аллану о том, что наступила осень. А чаще всего он вспоминал о смене времен года, глядя на все увеличивавшийся живот Лизы. По расчетам Дока, она должна была родить где-то в середине декабря. Сама Лиза не умела считать дни и вычислять сроки. Тем не менее день родов приближался.

Мимо Аллана проехала машина, приземистый, мягко урчащий лимузин старой модели, в хорошем состоянии, сверкающий лаком. Аллан лишь мельком взглянул на машину, потому что все мысли его были поглощены предстоящим похолоданием. Машина была битком набита молодыми парнями, и на миг ему показалось, что он узнал одно лицо, скрытое за большими темными очками... Но машина прибавила газу и с шумом понеслась по пустынной улице; рев мотора гулко отражался от молчаливых стен домов. Едва машина скрылась из виду, как Аллан забыл о ней. Он повернул лицо к ветру и стал вдыхать приятный запах осени... или, может быть, дыма? Этот запах щекотал нервы. После стольких недель непрерывного дождя всякое изменение погоды вселяло бодрость. А кроме того, ему показалось, что он видит небольшие просветы в тяжелых низких тучах на западе, розоватый отблеск, возникший на темном небосклоне над Сарагоссой. Неужели прояснело?

Внезапно раздался взрыв, он прогремел глухо, тяжко и так близко, что на миг Аллана ослепило вспышкой белого пламени, а от взрывной волны у него перехватило дыхание. В каких-нибудь двух-трех кварталах к небу взвились огромные клубы черного дыма и языки пламени. Тогда он все понял и побежал туда, где бушевал пожар; он бежал со всех ног, хотя знал, что уже поздно, все равно на бензоколонке ничего не удастся спасти, а приближаться к ней опасно, пока в цистернах еще остается незагоревшееся масло и бензин. И все равно он бежал, бежал, а ноздри его обжигал запах гари, оглушительно трещало и грохотало смертоносное пламя, заглушая все остальные звуки, даже топот его собственных ног, бегущих по асфальту.

Бензозаправочная станция была вся в огне. Языки пламени с треском вырывались из покореженных взрывом бензоколонок. Взрыв разрушил переднюю стену станции, и она с шипением и треском пылала словно гигантский костер. Аллан заметил, что ступает по осколкам — обломки пластиковой крыши, разлетевшейся на тысячи кусков, лежали, плавясь, на тротуаре, прилипали к подошвам ботинок. Не было видно ни души. Правда, в самом конце улицы Аллан заметил человека, который поспешно уходил в противоположном от бензоколонки направлении. С другим Аллан почти столкнулся у самого входа, когда пробегал мимо. Внезапно он очутился лицом к лицу со Свитнессом — тот преградил ему дорогу и, вцепившись в него, что-то порывался сказать; щеки у Свитнесса тряслись, и он все время повторял, хотя его почти не было слышно:

— Мертв. Он мертв. Ему нельзя помочь... Разорван на куски... Мертв...

Снова и снова Свитнесс бессвязно бормотал одно и то же, а глаза у него бегали из стороны в сторону, словно он потерял рассудок.

Аллан вырвался, оттолкнул Свитнесса и побежал туда, где в яме за разломанными контейнерами с мусором, под рекламными щитами, на которых уже пузырилась, шипела и лопалась синтетическая краска, лежало безжизненное тело Янсона. Все лицо его было в кровоточащих ранах и ссадинах, а руки и грудь ужасно обожжены. Волосы и почти вся одежда на нем сгорели. Аллан подбежал к Янсону; от невыносимого жара и дыма слезились глаза, но он схватил старика за изувеченные руки и стал оттаскивать от горящей бензоколонки по тротуару. Тащить Янсона было нелегко, однако страх придавал Аллану силы. Оттащив безжизненное тело старика метров на пятьдесят, Аллан завернул в ворота какого-то дома, заклиная ненасытный огонь еще хоть несколько минут не трогать главную цистерну... В двух-трех окнах появились чьи-то лица, но никто не вышел на улицу. Рев пламени был слышен даже под аркой ворот. Кроваво-красное зарево затягивали клубящиеся облака дыма. Снова начал накрапывать дождь.

Аллан был в полной растерянности. Он оттащил Янсона, все еще не пришедшего в себя, на задний двор, уложил его так, чтобы дождь падал ему на лицо, и с лихорадочно бьющимся сердцем, пересохшим горлом стал ждать. Ведь не умер же он? Через некоторое время с изуродованных губ Янсона сорвался хриплый стон, а несколько секунд спустя открылись глаза, и несчастный посмотрел на Аллана взглядом, полным

дикой, сумасшедшей боли; потом чуть приоткрылся рот, и из него вырвался вой — так может выть только зверь, испытывающий невероятные страдания. Пораженный ужасом, Аллан положил руку ему на рот и слегка прижал голову к земле.

— Это я, Аллан! — закричал он в самое ухо старика.— Это я, Аллан! Что с тобой случилось? Я пойду вызову «скорую помощь»!

Откуда-то издалека донесся звук, похожий на вой сирены.

Аллан весь дрожал. У него было лишь самое неясное представление о том, зачем он рисковал жизнью, пытаясь спасти искалеченного старика. Его мозг все время жег один вопрос: что произошло? Он во что бы то ни стало должен был получить ответ на этот вопрос. Если он ничего не узнает и убежит, как приказывал ему все более настойчиво инстинкт самосохранения, это будет значить, что жизнью его распоряжается слепой случай, как он распоряжается жизнью животного. Несчастье с Янсоном, пожар не имели к нему прямого отношения, и ему было совершенно незачем удирать со всех ног. Он хотел поднять тревогу, позвать людей, чтобы они оказали помощь старику, но почему-то медлил и со все возрастающим ужасом озирался по сторонам: он кожей чувствовал, что должен соблюдать осторожность, что ему грозит опасность, хотя Янсон умирает у него на глазах; он непременно должен узнать, что же произошло на бензоколонке!

— Что у тебя случилось? — еще раз прокричал Аллан, выпуская из рук Янсона. Он осторожно потряс старика за плечо, смочил ладони в луже и положил их ему на лоб. Лицо старика было разбито, а с одной стороны так обожжено, что стало почти неузнаваемым. У Аллана застучали зубы.

Янсон снова застонал, но глаз не открыл. Он пытался что-то сказать.

— Аллан...— наконец произнес он.— Аллан, это ты?

— Да! Да, это я!

— Немедленно уходи отсюда, Аллан...

Голос его перешел на визг, потом на вой; прошло несколько секунд, прежде чем старик овладел собой и снова смог говорить:

— Уходи отсюда... Если фараоны тебя здесь найдут...

— Но что произошло? Расскажи мне!

— Рой Индиана,— простонал Янсон, и боль исказила его и без того обезображенное лицо.— Рой Индиана и его дружки. Они приехали...

Казалось, боль мало-помалу отпускает его измученное тело, Янсон стал четче и яснее произносить слова, но глаза его оставались закрытыми, словно так ему легче было бороться со смертью.

— Они приехали в машине... Свалили меня с ног. И били все вместе... Били руками и ногами... И подожгли... А меня оставили лежать... Я выполз, но потушить не мог... Потом взрыв...

Аллан лежал, приложив ухо к губам Янсона. Рой Индиана! Это его он узнал в машине — и сегодня, и несколько месяцев назад! В той же самой машине. Та же самая банда. Но, разумеется, тогда ему это не пришло в голову. Значит, Рой Индиана вернулся на бензоколонку, чтобы отомстить за увольнение, ограбить и убить беззащитного старика...

— Уходи отсюда, Аллан,— стонал Янсон.

Однако Аллан продолжал лежать рядом, ему хотелось бы заверить старика, что помощь близка и все будет хорошо, но тому никакие заверения уже не были нужны. Его судьба была решена. Голос стал еле слышным. Начиналась агония.

— Уходи! — Старик вложил все силы в этот последний призыв.— Если они найдут тебя здесь, то обвинят во всем, что случилось! С фараонами бесполезно разговаривать; если они найдут тебя здесь, то обязательно арестуют. И на допросе ты признаешься во всем. Эти свиньи! Им все равно... Уходи! Со мной ведь кончено...

Аллан снова услышал вой сирены — на этот раз гораздо ближе — и топот бегущих по улице людей. Может быть, пожар перекинулся на соседние дома? И жители спасаются от огня?

— Уходи,— еле слышно бормотал Янсон.— Торопись... Эти свиньи...

Еще мгновение Аллан в нерешительности стоял возле старика. Потом оторвал взгляд от его обезображенного лица и побежал.

Он вбежал во двор, перелез через ограду высотой в человеческий рост между двумя домами и оказался в огромной луже жидкой грязи — когда-то здесь был огород. Из грязи торчало несколько кочанов капусты. В два-три прыжка Аллан пересек огород,

перемахнул еще через одну ограду и очутился на пустыре. Слева от него ревел пожар. Задыхаясь, Аллан бежал через заброшенные строительные площадки и пустыри, изрытые рвами и канавами. Где-то выли сирены, однако он был уже на приличном расстоянии от горящей бензоколонки. Смеркалось, и едва ли его мог кто-нибудь заметить. Он обогнул кварталы с домами-башнями и побежал наугад, инстинктивно стараясь выбраться на Эббот-Хилл и Автостраду. Он упал в канаву, по которой протекал вонючий ручей, и пополз; он полз вдоль ручья, упираясь в землю руками и коленями, пока не сообразил, что пожарище осталось далеко позади. Потом он увидел решетчатую ограду вокруг сада, домика и маленького заброшенного сарая, за ней еще одну, а потом еще несколько низеньких оград справа и слева и тогда понял, что забрался в район садовых участков. Он перевел дух и побежал дальше, срывая по пути стебли и засовывая их в рот, чтобы пожевать.

25

Аллан решил научить Боя читать. Это происходило уже после пожара, и он с облегчением думал о том, что теперь сможет посвятить больше времени и энергии этому важному делу. Ему всегда хотелось научить сына всему, что понадобится малышу в школе, и эта пора уже подошла... А кроме того, Аллана немного огорчало, что мальчик отдаляется от него и Лизы и все больше времени проводит с Рен-Реном.

Аллан нашел несколько старых еженедельников, которые, как ему казалось, могли пока сыграть роль учебников: в них было много ярких картинок и текстов, набранных крупными, удобными для чтения буквами.

Однако дело шло не так гладко, как он предполагал. Бой не выказывал ни интереса к учению, ни прилежания, да и самому Аллану не удавалось сосредоточиться больше чем на несколько минут. Он ожидал от сына слишком быстрых успехов и не понимал, почему мальчик не может сразу заучить буквы или простейшие их сочетания, составляющие самые элементарные слова, хотя прекрасно сознавал, что не умеет толком объяснить и лишь повторяет уже сказанное, когда Бой его не понимает. Как бы Аллан ни старался, слова и фразы, с помощью которых он пытался что-то объяснить, выходили у него тяжелыми и неуклюжими и словно падали перед угрюмой физиономией малыша, беспомощные и мертвые, а его жесты становились все нетерпеливее, и он все с большим раздражением снова и снова подчеркивал шариковой ручкой сочетания букв, чтобы как-то разъяснить свою мысль. Не лучше у него получалось и в тех случаях, когда, пытаясь заинтересовать сына, он читал ему вслух какие-нибудь тексты из журналов. Во-первых, Аллан обнаружил, что сам читает неуверенно и плохо, а во-вторых, тексты были настолько пустыми, что он быстро замолкал. И потом ему делалось не по себе, когда он рассматривал великолепные цветные фотографии роскошных домов, удивительных белых городов и каких-то странных людей между синим-пресиним морем и синим-пресиним небом в непостижимо далеких странах. Не менее неприятное ощущение чего-то нездорового и нереального вызывали у него фотографии раздетых женщин, даже не похожих на женщин, в неестественно уродливых позах, с лишенными выражения улыбающимися лицами. Как правило, занятия кончались тем, что, разозлившись, Аллан вскакивал, ругал мальчишку на чем свет стоит и прогонял своего весьма обрадованного и ничему не научившегося ученика, предоставляя ему где-то в другом месте заниматься своими таинственными делами.

Аллан довольно тяжело переживал свое неумение установить с сыном более близкий контакт, однако ему едва ли приходило в голову, что причиной этого могла быть разобщенность между ним и Лизой. Нередко на протяжении часов они обменивались лишь односложными словами, что-то бурчали или просто пользовались мимикой и жестами, понятными обоим, поскольку монотонное однообразие их существования не требовало особых изощрений по части языка.

Зато у Рен-Рена Бой приобретал разные навыки, обнаруживая при этом немалое прилежание и завидные способности. Мальчик и немой стали неразлучны; по всей Насыпи они ходили вместе, вместе разыскивали съедобные растения или необходимые в хозяйстве предметы, которые можно было принести домой. Аллан нередко поражался, насколько практичными и полезными были приобретенные мальчиком знания. Например, мальчик научился добывать огонь, ударяя металлом о металл и поджигая синтетические материалы, используемые для набивки мебели, горы которой лежали и гнили по всей Насыпи. Бой научился различать с полдюжины съедобных растений и знал, где их можно найти; он собирал листья, которые можно было сушить и заваривать

как чаи или класть в суп, а также корни и стебли, которые, если их пожевать, заглушали голод и к тому же были приятны на вкус. От сока одного маленького растения, похожего на кактус, даже возникало легкое опьянение, другие растения обладали сильным запахом, третьи были ядовитыми. Кроме того, Бой изготовил себе пару галош, поскольку сандалии, которые сшил ему летом Аллан, сгнили у него на ногах из-за сырости. Для этих галош мальчик использовал резину, срезанную с автомобильных покрышек: он расплющил и размягчил ее и под наблюдением Рен-Рена соединил ремешками резиновые пластинки. Кроме того, он удил рыбу и ставил силки на птиц, однако Аллана охотничьи затеи сына порядком раздражали, так как он считал это бесполезной тратой времени: все знали, что в бухте нет рыбы, а единственной дичью на Насыпи были вороны, которые постоянно кружили над мусорными кучами и громко каркали,— но кому же нужны вороны?

И все равно можно было только удивляться, каким восприимчивым и способным оказался этот еще совсем недавно недоразвитый малыш и какое полное взаимопонимание установилось между ним и Рен-Реном. Казалось, слова были им просто не нужны, а безразличное отношение мальчика к родителям, возможно, объяснялось тем, что общение с немым оказалось интересным и поучительным и этого общения было для него вполне достаточно.

Одну неделю простояла хорошая погода, и им удалось совершить небольшую вылазку в поля, которые простирались от густого кустарника за садом Дока на целый километр или около того до самой Автострады. Здесь росла одичавшая кукуруза, которая, перешагнув через заросшие травой дороги, когда-то проложенные строителями, подошла вплотную к давно заброшенным, обветшалым или совсем разрушенным баракам, построенным на месте двух экспроприированных властями усадеб. Год за годом кукуруза разрасталась, обходясь без удобрений и всякого другого ухода, и в конце концов получились настоящие заросли жестких толстых стеблей высотой почти в человеческий рост, которые давали скудный урожай початков величиной с кулак.

Док, Рен-Рен, Бой и Аллан с мешками под мышкой шли по тропинке, протоптанной через кукурузное поле. Смайли тоже потащился за ними, однако не для того, чтобы, как он выразился, участвовать в их аграрной эпопее, а ради банки кукурузного масла, которое ему было нужно. Они собирали кукурузные початки там, где их удавалось найти, однако, следуя советам Дока, кое-что оставляли, чтобы обеспечить себе хоть какой-нибудь урожай кукурузы на будущий год. Док объяснил им, что с каждым годом кукурузные поля уменьшаются, потому что кустарники захватывают территорию, на которой раньше росла кукуруза. Возможно, им придется взяться за расчистку и прополку... Доку все время приходилось повышать голос, чуть ли не кричать — такой невероятный грохот шел с Автострады у них над головой.

Хотя одичавшая кукуруза давала маленький урожай, они собрали больше, чем могли унести за один раз. Поэтому они пришли сюда и на другой день, и на третий — все, кроме Смайли, который совсем сдал и жаловался на ссадины и волдыри на руках и на ломоту в пояснице.

— Нет, оставьте меня наконец в покое,— ныл он.— И вообще, зачем меня впутали в эту сумасшедшую затею? Я не умею заниматься ни охотой, ни земледелием. А кроме того, есть кукурузу, которая растет под Автострадой, опасно для жизни, потому что в этом проклятом зерне свинца не меньше, чем в ружейной дроби, я в этом нисколько не сомневаюсь!

Нередко случалось, что, срывая почти спелые початки, они спугивали маленьких птичек.

— Кажется, теперь их больше, чем в прошлом году,— заметил Док.— Думаю, число их увеличивается. С тех пор как из-за всевозможных спекуляций стало невыгодно обрабатывать и отравлять землю, количество ядовитых примесей в почве постепенно уменьшается. И машин на дорогах тоже становится все меньше...

Тем не менее ему приходилось кричать, чтобы его услышали.

Аллану казалось, что забота Дока о судьбе птиц была лишь проявлением ненужной сентиментальности и к тому же непозволительной роскошью сейчас, когда они из кожи вон лезли, чтобы добыть себе пищу. С тех пор как сгорела бензоколонка, на Насыпи стало намного труднее с едой, однако Док, натыкаясь на птичьи гнезда, всякий раз старался не повредить их, хотя в это время года они были пусты.

Вчера утром перед ними выскочил заяц. Рен-Рен молниеносно сунул руку под свое длиннополое пальто и выхватил нож, но заяц уже исчез в высокой траве.

— Может быть, оно и к лучшему,— пробормотал Док.— А вдруг это самка и у нее зайчата... На будущий год их будет здесь гораздо больше...

Широко улыбнувшись, Рен-Рен кивнул в знак того, что понимает, о чем подумал Док, и стал показывать на пальцах: десять — двадцать — тридцать...

— Это наша надежда...— Док остановился, распрямил спину, давая ей отдохнуть, и окинул взглядом заросшую кукурузой землю, где некогда намечалось грандиозное строительство.— Наша главная надежда на то, что природа отвоюет обратно весь этот район до Эббот-Хилл и дальше. Жилищное строительство в Восточной зоне давным-давно прекратилось, все, у кого есть возможность, уезжают из города. Скоро трава и кустарник разворотят асфальт и подойдут вплотную к портовым складам, к Восточной автобусной станции...

— Романтический бред! — фыркнул Смайли, когда Аллан рассказал ему, о чем говорил Док.— Такую же чушь несли всевозможные мечтатели пятьдесят лет назад: покинем города, поднимем целину и станем жить натуральным хозяйством в гармонии с природой, вдали от растленной цивилизации с ее техникой, грязью и всякой мерзостью. Эта болтовня давным-давно набила мне оскомину. Тебе известно, что для удовлетворения самых элементарных потребностей только одного человека нужно не менее двадцати молов [1] обработанной земли? Если, конечно, ты действительно хочешь прокормиться... Ты знаешь, сколько людей живет в Свитуотере? Тогда попробуй подсчитать, сколько понадобится обработанной земли, чтобы все они могли уехать из города и жить только за счет урожаев, которые им удастся собрать... А ты знаешь, сколько жителей в нашей стране? И сколько у нас земли? Сколько обработанной земли? И сколько пригодной для обработки земли? Думаю, что не знаешь. А между тем если ты все это подсчитаешь, сложишь и разделишь, то получишь весьма интересные результаты, уверяю тебя. И ты наверняка не сможешь мне сказать, что же делать с девятью десятыми населения, которым не найдется места в твоем натуральном раю на лоне природы. Ну как? Нет, мальчик мой, у нас нет надежды на успех. Лет двести тому назад мы рассорились с природой, и она просто выплюнула нас. С тех пор наши дела идут все хуже и хуже. И что самое скверное — теперь мы целиком и полностью зависим от этого уродливого развития общества, пусть даже оно и катится по наклонной плоскости, зависим от техники, от массового производства и интенсивного скотоводства и всего такого прочего, мы, как и остальные бедняги... Такова печальная истина...

Он умолк и взглянул на Аллана со своей обычной коварной усмешкой.

— Ну, что, скажешь, плохая речь? Прорицатель Смайли, социолог, эколог и историк-самоучка Смайли, студент-любитель Смайли, который в один из периодов своей жизни большую часть времени проводил в библиотеках, потому что там было тепло, решил немного облегчить душу! Ха-ха-ха! Однако до поры до времени мы можем радоваться тому приятному обстоятельству, что находимся здесь, а не там и у нас есть маленький шанс протянуть немного дольше, чем те, кто живет в этой долине плача.— И Смайли кивнул в сторону Свитуотера.— В общем, каждый может позволить себе порассуждать о природе вещей и даже выразить надежду, что, скажем, чума отправит на тот свет девять десятых городского населения или они перережут друг другу глотки, и тогда для нас будет немного больше места. Если только, конечно, мы тоже не перережем друг другу глотку, кто его знает. А между прочим, скажу я тебе, кукуруза, оказывается, очень вкусная вещь, если ее посыпать солью и немного смазать пищевым жиром... Ты ведь еще не запускал лапу в свои зимние запасы? Я свои доедаю уже сейчас — кто его знает, достаточно ли долго я проживу, чтобы успеть воспользоваться ими потом?..

Как всегда, Феликс скромно держался в тени, однако роль, которую он играл в маленькой общине на Насыпи, стала весьма значительной после того, как пожар оборвал весьма важный для них контакт с городом и тем самым прекратил приток товаров, от которых они еще очень зависели. У Феликса связи были всюду, и практически он мог достать что угодно. Любую мелочь он пускал в оборот, как бы это ни было трудно.

[1] Мол — норвежская земельная мера, равная 1000 кв. м.

Феликс и Рен-Рен больше не жили в своем жалком лабиринте из ящиков. Они подыскали себе почти неповрежденный вагон-барак для сезонных рабочих и с помощью остальных членов маленькой общины подтащили его по тропинке примерно к тому месту, где стоял фургон Аллана. Теперь все они жили довольно близко друг от друга, причем фургон был как бы центром этого крошечного поселения. В результате они все немного сблизились и немного больше знали о том, кто куда ходит. Однако Феликс не так уж часто выходил из своего жилища, и никто точно не знал, чем он все-таки занимается. Аллан догадывался, что Феликс тратит немало времени на то, чтобы его одежда всегда была в порядке. Даже в этот неслыханно долгий период дождей, когда все, что обладало четкими контурами и твердой структурой, казалось, вот-вот размокнет и расплывется под потоками воды, он всегда был безупречно одет, а его костюм, хотя и потертый, был чистым и отутюженным. Казалось, будто грязь просто не смеет приставать к этим основательно стоптанным, но всегда начищенным до блеска ботинкам, единственным свидетелям той прискорбной драмы, которая привела этих странных братьев на Насыпь и таким образом свела их всех вместе. Да, ботинки да еще удостоверение личности полицейского Джозефа Бина, которое Аллан тщательно спрятал на всякий случай...

Феликс охотно принимал заказы, доставая необходимое через свои, одному ему известные каналы, а в обмен брал то, чем они располагали или что можно было найти на Насыпи: инструменты, кухонную утварь, сумки, чемоданы и всевозможные украшения, которые, почистив, можно было выдать за «антиквариат» (нехватка товаров, нормирование и «тяжелые времена» отнюдь не ослабили маниакального стремления людей приобретать и коллекционировать вещи). В последнее время Феликс успешно удовлетворял спрос на велосипеды и велосипедные детали, которые снова поднялись в цене на черном рынке, постоянно действовавшем в узких закоулках Свитуотера; кроме того, он принимал одежду в хорошем состоянии, кожу и замшу, не поврежденную плесенью и гнилью, старую обувь, оконное стекло, а также старые граммофонные пластинки и книги. Феликс брался пустить в оборот любой товар, каким бы заурядным или громоздким он ни был. В обмен они получали мучную смесь для выпечки хлеба, суповой концентрат и пищевой жир, банки с растительным беконом, кофезаменитель, стиральный порошок; судя по упаковкам, многие из этих товаров попадали на Насыпь прямо с военных складов, созданных в связи с чрезвычайным положением. Изредка Феликс доставал мясо, свежее мясо, хотя, разумеется, не самые лучшие куски — в основном сало, печень и суповые кости, которые, однако, встречали самый восторженный прием, поскольку в течение многих дней можно было варить всевозможные супы.

Теперь Феликс и Рен-Рен отправлялись в город каждый вечер, едва начинало смеркаться. Впереди по тропинке шел Феликс, с сумкой или чемоданом, набитым товарами, которые он собирался пустить в оборот, а за ним на приличном расстоянии шествовал Рен-Рен с еще более тяжелой ношей. Никто не знал, каким образом они преодолевают трудный путь в двадцать километров до городского центра, где, по слухам, шла самая бойкая торговля; они уходили слишком поздно, чтобы успеть на автобус...

Однажды Бой прибежал домой с большой птицей, которую он поймал. Ее крылья почти тащились по земле, хотя мальчик держал ее, высоко подняв над землей, гордый, с торжествующей улыбкой во все лицо; из клюва птицы вытекла капелька темно-красной крови. Аллан был не в состоянии определить, что это за птица; насколько он помнил, ему никогда не приходилось видеть ничего похожего, правда, он вообще видел не так-то много птиц...

Пока они с сыном стояли, не зная, что делать с этой великолепной добычей, откуда ни возьмись вынырнул Рен-Рен. Достаточно ему было взглянуть на птицу — и он тотчас принялся демонстрировать свой способ приготовления дичи. Он развел большой костер и дал ему выгореть до углей. Потом взял птицу и целиком зарыл в угли. Он стоял и ждал, а Бой и Аллан с удивлением смотрели на него, слегка морща нос от не слишком приятного запаха горелых перьев, поднимавшегося из костра. Наконец Рен-Рен решил, что кушанье готово, выгреб обугленную птичью тушку, подул на нее, чтобы она скорее остыла, и привычными движениями пальцев счистил обгорелые перья и кожу. Мясо прекрасно прожарилось, стало нежным и сочным. Рен-Рен тщательно разделил птицу на несколько частей и подал каждому кусок. Себе он взял потроха.

После этого случая ловле птиц было уделено первостепенное внимание, и хотя их главной добычей были вороны, которые так и кишели на Насыпи, и хотя мясо их было омерзительно горьким, вскоре они привыкли к этому вкусу, и постепенно дичь стала весьма ценным добавлением к их однообразному столу.

26

Бойкая торговля процветала и на самой Автостраде — на стоянках и съездах. Конечно, людям не на машинах находиться тут категорически запрещалось, но еще раньше широкое распространение проституции на шоссе показало, что это один из тех запретов, проводить которые в жизнь чрезвычайно трудно, да, пожалуй, и невозможно. Для всех обитателей Восточной городской зоны с ее обширными кварталами жилых домов Автострада была гораздо ближе, чем официальные рынки на Док-роуд.

Однако многих тянуло на Автостраду по совсем иным соображениям. Например, сюда приезжали машины с грузом, который водителям удалось за день припрятать. Они привозили обувь, одежду и другие товары широкого потребления, которые стали дефицитными, но в основном — продукты питания, главным образом консервы. Несмотря на так называемый «усиленный контроль» и систему рационирования водители грузовиков могли нередко без особых затруднений украсть немалое количество товаров под видом усушки, утруски и потерь, связанных с транспортировкой, а то и просто подкупали инспекторов, предлагая им часть прибыли. Торговля продуктами на черном рынке была для многих весьма доходным предприятием. И никого особенно не трогало, что это воровство и укрывательство краденого; впрочем, никто так и не думал. Люди, приходившие на Автостраду купить то, что им необходимо, были склонны считать, что те, кто занимается незаконной торговлей дефицитными товарами, помогают исправлять недостатки, заложенные в несправедливой системе их распределения между потребителями. А все знали, что отдельные универсальные магазины снабжаются лучше других, хотя формально и те и другие принадлежат государству. Коррупция среди правительственных чиновников стала одной из главных проблем, с которой столкнулась администрация в этой критической обстановке, а хищения, меновая торговля и противозаконный черный рынок фактически уравновешивали несправедливое распределение материальных благ, против которого выступал народ.

Далеко не все, что здесь продавали, отличалось высоким качеством. Например, крупные партии овощей, фруктов и других продуктов, предназначенные для Насыпи, нередко оказывались на Автостраде, на стоянках, где отдельные торговцы, совсем уж обнаглев, поставили постоянные прилавки и даже приладили над ними крышу от дождя. Правда, чаще всего торговые операции совершались непосредственно из машины в машину, из рук торговца в руки покупателя, быстро и незаметно, по достижении договоренности. Большая часть краденых вещей также рано или поздно попадала сюда, и полиция нередко устраивала облавы, тщательно прочесывая эти нелегальные «рынки», во всяком случае, те, что она успевала захватить врасплох, пока не заработал «телеграф джунглей», заблаговременно предупреждая всех,— тогда стоянки пустели и на них оставался лишь мусор, бумага, затоптанные газоны и вонючие испорченные уборные.

С Насыпи можно было попасть на Автостраду по старой дороге, которая шла через пустошь за садами параллельно фундаменту Автострады до тех пор, пока не врезалась в южный склон Эббот-Хилл. Здесь нужно было сойти с дороги (которой пользовался только старьевщик Дос-Манос, когда два раза в месяц наведывался к Доку Фишеру) и подняться наискосок по заросшему кустарником склону до заграждения из двух рядов колючей проволоки, устроенного для защиты дороги и стоянок. В свое время здесь начали строительство огромной автостоянки, предназначенной для желающих полюбоваться развалинами монастыря, силуэт которого вырисовывался на вершине Эббот-Хилл в обрамлении хвойных деревьев. Предполагалось наладить продажу сувениров, а также организовать различные виды обслуживания для автомобилистов, но когда вместе с ухудшением конъюнктуры туризм пошел на убыль, строительство прекратили, и теперь о нем напоминала лишь обширная площадка, наполовину выложенная бетонными плитами там, где были запроектированы ларьки, киоски и станции обслуживания. Вот здесь-то и располагались торговцы и покупатели, приезжавшие по Автостраде.

От Насыпи по Автостраде надо было идти минут сорок, однако Аллан проделывал этот путь иногда по три раза в неделю с тяжелым мешком, наполненным вещами, которые он рассчитывал обменять главным образом на еду. Если же его вещи не находили сбыта, он расплачивался деньгами из кожаного кошелька, но делал это крайне неохотно. В случае необходимости он предпочитал выпросить что-нибудь. Постепенно Аллан примелькался на автостоянке, и те торговцы, которые бывали здесь так же часто, как сам Аллан, начали узнавать его и нередко подбрасывали ему кое-какую мелочь, если торговля шла удачно.

Аллан ни с кем особенно не разговаривал и не смешивался с толпой, заполнявшей этот импровизированный рынок, однако теперь он почти не отличался от массы бродяг, которые, «голосуя» на шоссе, переезжали с места на место, торговали, нищенствовали или воровали и предлагали свои услуги за кусок хлеба. Впрочем, бродяги эти тоже ничем не отличались как от торговцев, так и от тех, кто случайно попадал сюда, стремясь что-нибудь купить или продать. На Автостраде все выглядели более или менее одинаково, и это нравилось Аллану. И еще ему нравилась атмосфера непринужденности и веселья, которая здесь царила. Сердечность и доброжелательность в отношениях между чужими людьми были для него чем-то новым. Хотя деловые контакты проходили, как правило, черезвычайно быстро и по возможности незаметно — люди подъезжали, останавливались, осматривались, заключали сделку и ехали дальше, чаще всего по нескольку человек в загруженной до предела (для экономии бензина) машине,— у торговцев и покупателей всегда хватало времени пошутить, поострить, пожать друг другу руки. Само собой разумеется, могли возникнуть и разногласия, но до ссор дело доходило крайне редко.

Судя по всему, настоящие спекулянты здесь почти не появлялись. Чаще всего сюда приезжали люди с вещами, без которых могли обойтись, чтобы обменять их на то, в чем они нуждались, и этот товарообмен совершался легко и непринужденно. Создавалось впечатление, что необходимость добывать продукты и товары пробудила в людях изобретательность, которая отнюдь не ограничивалась решением вопроса о том, что менять и что требовать взамен; она вызвала к жизни новые виды деятельности и новые формы сотрудничества, развивая инициативу и гибкость, потому что здесь не существовало каких-либо правил и запретов и все определяли лишь находчивость и здравый смысл; да и сами формы общения стали более свободными и разнообразными. Казалось, в людях вдруг проявилась творческая энергия, о существовании которой они раньше даже не подозревали, и они медленно учились ею пользоваться, пуская ее в дело... Они начали понимать, в каком бедственном положении очутились, но еще не почувствовали настоящей нужды. У них хватало жизнеспособности, чтобы, когда потребуют обстоятельства, сойти с проторенной дорожки; у них ещё возникало стремление помогать друг другу — до известной степени, конечно,— еще существовала неукротимость страстей, которую не могли задавить система рационирования и железная необходимость. Пока еще было не так уж плохо, лишь бы не стало хуже.

Никогда в жизни Аллан не видел ничего подобного и смотрел на все как зачарованный. Свой предшествующий опыт общения с людьми он в основном приобрел в жалких увеселительных заведениях Свитуотера, на заполненных шумной толпой тротуарах, в злобной толчее магазинов, в том самом прошлом, которое теперь казалось ему более далеким и более нереальным, чем когда бы то ни было.

Однажды рано утром, когда Аллан пришел на стоянку — судя по оживленному движению на Автостраде, была суббота — и остановился у ларька, где несколько человек сидели на корточках вокруг примуса, на котором кипел в кастрюле соблазнительно пахнущий суп, он вдруг увидел, как из большого трейлера вылезла Мэри Даймонд и трейлер тут же снова тронулся в путь. Она едва держалась на ногах от усталости, и, глядя, как она растерянно стоит на обочине, машинально поправляя прическу и юбку, Аллан почувствовал к ней какую-то странную нежность. Дул промозглый, северный ветер, и Мэри дрожала от холода, потому что поверх тонкой блузки на ней был только короткий расстегнутый жакет. Аллан продолжал неподвижно стоять. Заметив его, Мэри нерешительно двинулась к нему. Не так уж часто им приходилось встречаться в присутствии посторонних.

— Ты замерзла,— сказал Аллан, когда Мэри подошла достаточно близко. Сам он закутался в автомобильный плед и был похож на сельскохозяйственного рабочего, спустившегося с гор.

— Не страшно. Это пройдет.

Порывшись в сумочке, она вытащила сигарету.

— Разве у тебя нет чего-нибудь потеплее? Скоро зима.

Мэри равнодушно пожала плечами.

— Понимаешь, в некотором роде это моя рабочая форма...

— Вот, возьми одеяло.

Аллан захватил с собой два пледа, которые хотел обменять на консервы. Одеяла были сейчас в цене, потому что приближалась зима и уже ощущалась нехватка всех видов топлива, а на нефтепродукты и электричество было введено нормирование.

— А как же ты?

Мэри произнесла это без особой убежденности. Она ужасно замерзла и с благодарностью взяла плед, который Аллан протянул ей.

— Мне пора домой,— сказала она.— Я должна поспать.

— Подожди,— сказал Аллан.— Пойдем вместе.

Разговаривая с Мэри, он одновременно следил за тем, что происходит на Автостраде. Вот у обочины остановилась еще одна машина. Автофургон. За рулем сидел шофер и ждал. К нему подошел человек. За ним еще один...

— Подожди меня здесь,— сказал Аллан.— Я только посмотрю, что у него есть.

Немного погодя он вернулся без одеяла, но с каким-то тяжелым узлом.

— Пошли,— сказал он.

Они стали спускаться по крутой тропе, Аллан шел впереди. Когда они проходили мимо одной из гигантских опор, державших Автостраду, он остановился и повернулся к Мэри, которая, спотыкаясь и скользя, шла за ним. Здесь они были защищены от ветра. Над головой у них с шумом проносились машины. Пыль, смешавшись с дождем, превратилась в липкую пленку, которая затягивала все вокруг. Мэри осторожно спускалась боком по крутой тропинке, упираясь рукой в склон и вытягивая вперед ногу, так что ему открывалась полоска светлой кожи на ее бедре. Каждым своим движением она разжигала в нем страсть. Прошло уже больше недели со дня их последнего свидания. Теперь им было гораздо сложнее встречаться, чем до пожара. Во всяком случае на регулярные встречи больше не приходилось рассчитывать, и это угнетало Аллана.

Мэри ждала этого. Они встречались последний раз так давно, и она понимала Аллана. Но она устала. Она не спала всю последнюю ночь и почти не смыкала глаз уже много ночей подряд, а заработок все равно был скудный: две-три пачки сигарет, несколько купюр и несколько бесплатных обедов — вот и все... Не то что раньше. Когда Аллан прижал ее к холодному бетону, она попыталась уговорить его оставить ее в покое.

— Завтра,— шептала она.— Давай встретимся завтра. Так холодно... Я так устала. Пожалуйста...

Но на Аллана ее слова не оказали никакого действия — он слышал только шум машин на Автостраде и стук крови в ушах. Руки его уже отыскали ее тело. Теперь ничто не могло остановить его. Она уперлась руками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть его, но у нее не хватало сил, слишком она устала, слишком была измучена и, перестав сопротивляться, думала лишь о том, чтобы он поскорее отпустил ее... Ведь она даже не знала, так ли уж ей нравится Аллан. Порой ей казалось, что он груб, эгоистичен и лишен фантазии. В общем, он не слишком отличался от многих других мужчин, которых она знала, не слишком отличался и от Смайли, когда тот еще был в форме, но не обладал его чувством юмора... Однако было у Аллана нечто такое, что резко отличало его от всех остальных мужчин: он хотел именно ее. Ее. И никого другого. Это он сумел высказать в присущей ему немногословной и неуклюжей манере. И сила этого влечения обезоруживала Мэри; она приковывала ее к Аллану даже сейчас, когда у нее отчаянно болела спина, а в глазах стояли слезы от изнеможения.

С этого дня они стали встречаться на Эббот-Хилл более или менее регулярно, главным образом потому, что Аллан этого хотел и настойчиво требовал. А Мэри смеялась, называла его глупым романтиком, который ищет встреч на лоне природы, но в глубине ее темных раскосых глаз вспыхивали дьявольские огоньки, и она приходила, как только ей удавалось вырваться, и они лежали под прикрытием могучих бетонных опор, нередко прямо на мокрой земле, если от нетерпения он забывал прихватить с собой плед.

— Прямо как в дни моей юности в Палисадене,— поддразнивала она Аллана. Но до него не доходил смысл ее слов. Возможно, он даже не понимал ее сарказма. Во всяком случае, он не придавал значения ее прошлому. Прошлого просто не существовало.

Им ужасно не хватало тех спокойных часов, которые они проводили на бензозаправочной станции, когда Мэри не спеша проглядывала иллюстрированные журналы для автолюбителей или кипятила воду и варила кофе, а он присматривал за бензонасосами и нетерпеливо ждал той минуты, когда можно будет закрыть станцию, потушить свет, опустить грязную штору и повернуть ключ в замке.

Теперь насыщения ее телом, обладания ею Аллану было уже недостаточно — это даже не было для него самым главным.

Однажды вечером у Лизы выпал зуб. Они сидели в фургоне, и каждый жевал свою твердую горбушку хлеба, как вдруг Лиза наклонила голову, выплюнула зуб на ладонь, показала его Аллану и, усмехнувшись, сказала:

— Смотри. Скоро я буду такой же красивой, как Мэри Даймонд.

Она шепелявила. Смеялась. Зуб выпал передний, и дырка во рту делала ее похожей на восьмилетнюю девочку в период, когда дети теряют молочные зубы.

Лиза знала, что Аллан и Мэри встречаются на Эббот-Хилл. Об этом знали все. Такие вещи быстро выплывают наружу. Однако Лиза не стала расстраиваться. Лишь бы он не ушел и не оставил ее. Лишь бы Мэри Даймонд изредка заглядывала навестить ее, рассказывала разные истории и давала добрые советы. Кроме того, Мэри помогала ей по хозяйству. Она обладала практической сметкой и сноровкой — во всяком случае большей, чем Лиза, всегда была доброй и дружелюбной. Лиза восхищалась ею и с нетерпением ждала ее прихода.

У Лизы начался тот период беременности, когда женщину вдруг охватывает тяжелое безмятежное спокойствие. Делала она все еще медленнее, чем раньше. И смотрела на происходящее как бы сквозь туманную завесу, приглушавшую контрасты, смягчавшую противоречия.

Лиза откинулась назад и растянулась на матрасе, что-то прошепелявила, проведя рукой по выросшему животу. В печке потрескивал огонь. Теперь, когда с каждым днем становилось все холоднее, они почти непрерывно поддерживали огонь. Кроме того, Аллан укрепил навес и с трех сторон поставил стены, так что получилось что-то вроде небольшого сарая, в котором можно было укрыться от леденящего ветра.

27

Старые опытные руки Дока умело ощупывали Лизин живот, стараясь определить положение плода. Она лежала на спине, согнув ноги в коленях, и искоса поглядывала на свой огромный живот, на эти руки, вопросительно смотрела на его изборожденное морщинами лицо, словно хотела убедиться в том, что он доволен результатами осмотра и все идет, как полагается. Док взглянул на нее поверх очков и дружески похлопал по плечу.

— Кажется, все в порядке,— сказал он.— Он не слишком большой, наш шалунишка, но чувствует себя прекрасно.

Лиза гордо улыбнулась, словно Док был строгий профессор и она только что выдержала у него трудный экзамен.

Во время этих консультаций Док и Лиза продолжали играть в свои детские игры; он вел себя с ней как отец с дочерью — или дедушка с внучкой, часто делал ей маленькие подарки, кормил вкусными вещами, и они все время говорили друг с другом на интимном детском языке.

Порой она мечтала о том, чтобы поселиться вместе с Доком в развалинах этой старой виллы, постоянно пользоваться его добротой и заботой, играть с ним в детские игры, но, разумеется, она знала, что это невозможно. И отнюдь не была уверена, что захочет этого, если ей представится такая возможность, хотя все чаще чувствовала себя одинокой, особенно после того, как поняла, что Аллан начал отдаляться от нее. Через тонкую стенку в комнате Дока она слышала горестные стоны Марты, когда они с Доком смеялись.

Ревность Марты была причиной того, что Док не мог навещать Лизу в ее фургоне, как ему хотелось бы, особенно в последние недели перед родами, когда для нее стало отнюдь не безопасно совершать длинный и трудный путь пешком, тем более что она была такая худенькая, слабенькая и плохо питалась. Однако старая больная женщина так неистово набрасывалась на него с упреками и обвинениями, что Док просто боялся, как бы в припадке ярости и отчаяния она не наложила на себя руки.

Поэтому Лиза сама должна была ходить к Доку. Тяжелая, с большим животом, она каждую неделю ковыляла по тропинкам, утопая в грязи; до родов оставалось совсем немного, и Док лишний раз хотел удостовериться в том, что все в порядке, положение плода нормальное, она здорова, хорошо высыпается и делает только самую необходимую работу. Док думал теперь лишь о том, как помочь Лизе, и она полностью препоручила себя его заботам. Эти консультации связали их такими крепкими узами, что трудно было даже представить себе, как они могут порваться, когда родится ребенок и все невзгоды останутся позади.

На обратном пути Лиза несколько раз останавливалась, чтобы немного отдохнуть. Она послушно жевала петрушку, которую дал ей Док. Была уже поздняя осень, и овощей оставалось не так много. Док заметил, что у нее выпал передний зуб, и долго ругал ее за то, что она забывала грызть мел, чтобы добавить немного кальция в свою скудную пищу. Мел был такой противный на вкус, что Лиза выбросила его, но Доку об этом не сказала. Теперь она усердно жевала петрушку, но петрушка тоже была ужасно невкусная. Больше всего на свете Лиза любила консервы. Все, что извлекалось не из консервной банки или коробки, казалось ей неаппетитным, почти несъедобным. Даже месяцы, проведенные на Насыпи, и почти постоянное ощущение голода во время беременности не излечили ее от излишней привередливости.

Она вдруг почувствовала усталость, от слабости закружилась голова, и ей снова пришлось остановиться. В ее ровное, чуть ленивое безразличие неожиданно закралась одна беспокойная мысль: долго ли она еще будет такой, раздувшейся до неузнаваемости, слабой, неповоротливой и никому не нужной, ставшей тяжким бременем для всех... Она даже не боялась больше родов, настолько сильным стало желание поскорее освободиться от плода, который рос в ее теле. Когда Лиза ждала Боя, мысль о надвигавшихся родах вызывала у нее такое отвращение и ужас, что, не думая о последствиях, она поглощала невероятное количество таблеток. И они не раз обсуждали с Алланом, не отдать ли ребенка сразу же после рождения приемным родителям, избавившись раз и навсегда от забот и хлопот,— вот до чего ее тогда пугала и приводила в отчаяние перспектива стать матерью и заботиться о новорожденном.

Она пошла дальше. Тяжело переваливаясь, она медленно продвигалась по берегу — каждый шаг давался ей с невероятным трудом. Снова стал накрапывать дождь, но погода установилась такая теплая, какой не было уже давно. Она смотрела прямо перед собой, в никуда, смотрела на свои ноги, обутые в слишком большие дырявые сапоги,— шаг, еще шаг, только бы не споткнуться, не оступиться. И поясницу так ломит...

Внезапно она сделала для себя открытие. Она увидела — как же она не заметила этого раньше? — что берег изменился. Он не был больше бурым, желтым и безжизненным, как летом. Теперь голая земля покрылась растениями, травой и зелеными листьями, там и сям из-за камней выглядывали небольшие цветы, вверх тянулись низенькие кустики, и на узких кожистых листочках сверкали капельки дождя... Как завороженная смотрела она на это чудесное превращение. Ведь все это время она была настолько поглощена превращениями, совершавшимися в ней самой, в ее теле, что не видела ничего вокруг.

Она совсем ослабла. Ноги не слушались, и ей пришлось опуститься на колени. Она была совершенно спокойна, но просто обессилела от волнения, увидев эти зеленые растения, маленькие, невзрачные цветочки, длинные вьющиеся стебли, которые ползли по твердой песчаной почве, пускали корни и тянулись дальше. Она почувствовала какое-то необыкновенно глубокое и полное слияние со всем, что растет, ползает и движется. Она проводила пальцами по зеленым растениям, которые дождь словно по волшебству извлек из обреченной на смерть земли. Лиза вяло раздумывала о том, хватит ли у нее сил вернуться домой, к фургону, и в конце концов решила, что не хватит. Но она не боялась. Ее охватил прозрачный, как воздух, покой, и она наслаждалась каждой секундой своего бытия; каждый вздох был для нее как глоток воды, и она знала, что ждать теперь осталось недолго.

Появление человека, который шел по берегу бухты, тоже не взволновало ее. Она продолжала сидеть. Когда он подошел ближе, Лиза увидела, что это Рен-Рен и он что-то несет. Когда же Рен-Рен подошел совсем близко, Лиза поняла, что в руках у него мешок; а в мешке кто-то возится. Рен-Рен остановился в нескольких метрах от того места, где сидела Лиза, кивнул ей и снова занялся мешком. Положил его на землю, развязал и сунул в него руку. Из мешка донесся странный звук, словно кто-то кричал тоненьким голоском. Рен-Рен широко улыбнулся и вытащил какое-то удивительное существо, которое барахталось, стараясь вырваться; животное было величиной с собаку и время от времени жалобно взвизгивало. Придерживая его одной рукой, Рен-Рен другой рукой завязал петлю на конце веревки, которая висела у него через плечо, надел петлю на переднюю ногу животного и отпустил его. Животное сделало несколько неловких прыжков на своих длинных ногах, стараясь освободиться от привязи, потом остановилось, не сводя с Рен-Рена и Лизы больших бесцветных глаз. У него была лохматая серая шкура и угловатое тело. Рен-Рен внимательно смотрел на свою добычу. Потом удовлетворенно хлопнул в ладоши, взял железный болт, привязал к нему другой конец веревки и воткнул в землю. Теперь удивительное животное пошло по кругу; оно осторожно пощипывало травинки и порой вскрикивало жалобным голосом, показывая им узкий жесткий бледно-розовый язык.

Лиза поднялась с земли. Она не могла отвести глаз от бедного животного, которое описывало круги и жалобно кричало, пытаясь освободить ногу. В своем нынешнем состоянии, когда все чувства ее были обострены до крайности, она не могла вынести вида страданий и боли. Это животное на привязи казалось ей дурной приметой, страшным, зловещим предзнаменованием. Последнее время по ночам ее преследовали кошмары: в своих снах она непрерывно рожала, и из ее измученного тела вылезали чудовища одно безобразнее другого. И вот это животное, ковылявшее на привязи по кругу и не похожее ни на одно существо, какое ей когда-либо приходилось видеть, внезапно оживило эти ужасные видения... Лиза прижала руки к животу: она вдруг поняла, что сейчас ей нельзя смотреть на страшное. Она испугалась. Ей надо как можно скорее домой. А там заползти в какую-нибудь щель...

Потом Лиза услышала голос, голос Аллана, который доносился отовсюду сразу и ниоткуда. Она не могла понять, каким образом ему удалось так незаметно подойти, но она знала, что все это время стояла, плотно закрыв глаза, защищая руками живот, а Рен-Рен, внимательно поглядывая на нее, сидел на корточках и кормил животное только что сорванной вкусной зеленой травой.

Аллан подошел со стороны дороги. Услышав блеяние, он насторожился и решил, что на берегу что-то происходит. На Насыпи звуки разносились далеко вокруг. Аллан увидел две фигуры, сразу же их узнал и, выбрав кратчайший путь, поспешил к ним через кукурузное поле и сады за виллами. Подойдя ближе, он увидел, что Лиза стоит, шатаясь, бледная как смерть; он подбежал и подхватил ее, чтобы она не упала.

— Что с тобой? Тебе дурно?

Когда Аллан прикоснулся к ней, она вздрогнула.

— Аллан!

— Ты здорова?

Он держал ее в объятиях, еле удерживаясь, чтобы не встряхнуть. Однако он знал, что так бывало и раньше, потому что она стала очень слабой и впечатлительной.

Лиза смотрела на него в полном замешательстве, словно только что проснулась.

— Тебе надо к Доку? Хочешь, я провожу тебя?

Аллан говорил с ней так, словно она была невменяемой: медленно, внятно. Наконец она пришла в себя и покачала головой.

— Нет... Н-не надо. Я просто очень испугалась. Это. вон там...

Она кивнула в сторону козленка. Рен-Рен по-прежнему сидел на корточках и пытался накормить его, не обращая ни малейшего внимания на них. Аллан с интересом посмотрел на козленка. Он уже слышал, что в Свитуотере продают живых животных, так как доставать мясо становилось все труднее, и решил, что Рен-Рен поступает весьма разумно: на Насыпи очень удобно держать домашних животных, особенно сейчас, когда трава благодаря дождям растет так быстро, словно старается наверстать упущенное.

— Что это, Аллан? Он похож на... я даже не знаю, на что он похож!

— Это козленок,— объяснил ей Аллан. Он облегченно вздохнул, поняв, что ничего

страшного не произошло. И теперь козленок занимал его гораздо больше, чем Лиза.— Это козленок, и он нисколько не опасен.

— А зачем Рен-Рен притащил его сюда?

— Думаю, чтобы он пасся здесь, ел траву, рос и жирел. А когда он подрастет, Рен-Рен зарежет его и съест.

— Нет, замолчи!

Мало того, что ей приходится смотреть на это безобразное существо, так Аллан еще начал говорить всякие ужасы. Она вдруг отчетливо увидела, как Рен-Рен набрасывается на несчастное животное, вонзает в него нож и кровь бьет струей. Лиза со стоном отвернулась. У нее подгибались колени. Живот тянул ее вниз, словно хотел прижать к земле и с помощью силы земного притяжения освободиться наконец от своего бремени. В голове Лизы мелькнула мысль: «Как? Неужели уже сейчас?» Но у нее хватило сил удержаться на ногах, и ничего страшного не произошло. Вот только Аллан, очевидно решив, что теперь она обойдется без его помощи, быстрыми шагами направился к Рен-Рену, который возился с козленком. Увидев еще одного человека, козленок снова испугался и жалобно заблеял. Лиза, оцепенев от страха, не сводила с него глаз, а тот отчаянно метался на привязи в предсмертной пляске. Между тем Рен-Рена и Аллана это зрелище, по-видимому, очень забавляло; раздвинув руки, они приближались к козленку с двух сторон, точно хотели поймать его, и пугали все сильней... Лиза с ужасом смотрела на эту сцену. В какой-то миг ей показалось, что она видит, как из бесчисленных ножевых ран струей бьет кровь, заливая грязно-серую шкуру козленка. В том, что происходило перед ее глазами, было что-то ужасное, угрожающее, зловещее, как предостережение...

Она жалобно вскрикнула и услышала собственный голос, тихий, как голос ребенка:

— Не плачь, Лиза. Не плачь, Лиза...

Ее чувства были в полном смятении.

Внезапно она увидела еще одного человека, приближавшегося к ним. Его она не знала — в этом она была уверена. Сама его походка, манера двигаться говорили о том, что он чужой. Он шел по песку большими шагами, иногда оступался, спотыкался и тут же продолжал идти дальше размеренной целеустремленной походкой, словно не обращая внимания на неровный грунт. Было что-то угрожающее в этой походке, слишком решительной, неуклюжей и неестественной для здешних мест, в манере высоко держать голову, словно он стоял в воде по самый подбородок. Человек быстро приближался, и Лиза заметила, что на нем голубовато-серый мундир, а через плечо переброшен плащ того же цвета. Похожую форму носили чиновники из ведомства социального обеспечения. В одной руке он держал черную плоскую папку для документов, которая сверкала и сияла искусственной кожей и блестящими металлическими застежками. На голове у него была фуражка с козырьком.

Наконец ей удалось собраться с духом и подать сигнал тревоги:

— Смотрите! Вон!

Аллан и Рен-Рен сразу с беспокойством повернулись и увидели человека в мундире. Он уже подошел так близко, что убежать было трудно, а принимая во внимание состояние Лизы, и вообще невозможно. Все трое неподвижно стояли, выжидая, а человек в мундире размеренными шагами приближался к ним.

Когда он подошел совсем близко, Лиза увидела, что вид у него вовсе не такой грозный, как ей сначала показалось,— скорее наоборот: это был человек средних лет, небольшого роста, довольно полный, в плохо отутюженном мундире, в фуражке, которая была ему явно велика, и маленьких круглых очках в стальной оправе; ботинки его и обшлага брюк были сплошь заляпаны грязью после трудного перехода через Насыпь. Лишь на папке из блестящей кожи не было ни единого пятнышка, и она казалась каким-то инородным телом в его руках. Страх Лизы начал постепенно проходить: неужели такой человек может представлять для них хоть какую-нибудь опасность? Внезапный порыв ветра слегка приподнял плащ на его плече, и Лиза увидела нечто такое, что снова возродило в ней ужасное предчувствие, которое словно холодное стальное лезвие вонзилось ей в грудь. Пуговицы! Пуговицы на его мундире ярко блестели, и на них был изображен государственный герб. Она их сразу узнала — такие же пуговицы Бой оторвал от мундира, который был на... трупе!

Незнакомец откашлялся, прикрыв рукой рот, посмотрел сначала в землю, потом на стоявших перед ним людей, снова откашлялся и, глядя между их головами на какой-то предмет позади них, сказал:

— Я из ведомства социального обеспечения, восточный отдел. Занимаюсь изучением жилищных условий среди наиболее нуждающихся... прошу прощения...— Он снова откашлялся.— Мне поручено провести проверку того, что происходит здесь...— Он говорил совершенно официальным тоном, однако в голосе его звучали такие нотки, словно он все время оправдывался и просил извинить его, насколько это было возможно, за вторжение к ним на Насыпь.— Значит, вы здесь живете?

На некоторое время воцарилась тишина; появление незнакомца на Насыпи казалось настолько неправдоподобным, а его речь такой далекой от реальности, что Аллан не сразу сообразил, о чем он говорит. Лишь после того, как незнакомец стал испытующе разглядывать по очереди каждого из них и еще раз многозначительно откашлялся, до него наконец дошло. Он кивнул.

— Да.

— Так. Сколько же вас здесь живет?

Аллан медлил с ответом. Он не любил объясняться с посторонними, особенно если они носят форму. Он вообще старался не иметь дела с властями. Они постоянно задают вопросы, на которые невозможно дать ответ, потому что вопросы эти не имеют к нему прямого отношения. Через все это он уже прошел, пока жил в Свитуотере. Из-за ненависти к вопросам он нередко оставался без пособий, в которых остро нуждался,— таких, как пособие для уплаты за жилье, пособие на детей... Правда, эти вопросы наверняка совершенно безобидны, убеждал он себя, просто обследование жилищных условий для каких-то статистических отчетов. И тем не менее он опасался сообщать какие бы то ни было сведения государственному чиновнику, и его настораживало то, что чиновник этот забрался ради таких сведений сюда. Аллану это не нравилось.

— Сколько, вы сказали?...

В голосе чиновника послышались нетерпеливые нотки.

— Ну... Человек шесть — восемь...

— Вы сказали восемь?

— Да... Всего человек шесть — восемь...

— Так.

Незнакомец сразу весь ушел в работу. Он поднял правую ногу, уперся ею в левую, положил на согнутое колено папку, открыл ее, отрывисто щелкнув обеими застежками, вытащил целый ворох разноцветных бумаг и принялся их листать, бормоча что-то про себя на своем раз и навсегда заученном, четко отработанном языке, который, однако, уже напоминал Аллану не человеческую речь, а песню, песню, состоявшую из каких-то неразборчивых слов, где главное — повышение и понижение звука, как в птичьем пении:

— Та-ак... Гм-м... Во-от... Посмо-о-отрим...

Чиновник вытащил из вороха два листа, остальные положил обратно в папку, щелкнул замком и выудил из натрудного кармана сверкающую авторучку; все это время он стоял в неудобной позе на одной ноге, балансируя папкой на колене. Казалось, ему доставляет удовольствие устроить им это маленькое цирковое представление.

— Ваше имя?

Он держал ручку наготове. Она сверкала, как кинжал. Папка для документов превратилась в письменный стол.

— Зачем вам мое имя?

Теперь Аллан насторожился всерьез. Он чувствовал, что любой ценой должен сохранить свое имя в тайне.

— Я заполняю на вас вот эту форму,— терпеливо объяснил чиновник.

— Что это за форма?

— Это заявление в жилищно-посредническое управление о предоставлении вам жилья.

— Мне не нужно новое жилье.

— Но, дорогой мой...— Незнакомец недоумевающе поднял руку, в которой держал авторучку. Если бы он развел обеими руками, папка его упала бы на землю.— Не можете же вы оставаться здесь вечно... На Насыпи! — В птичьем пении прозвучали нотки, выражающие недоверие и вопрос.

— Почему?

— Нет, послушайте...— Голос человека в мундире зазвучал чуть строже: — Во-первых, вы не имеете права жить здесь. Это место принадлежит городскому муниципалитету, и никто не имеет права жить здесь без соответствующего разрешения. Если я сообщу о вашем пребывании на Насыпи, вас могут оштрафовать. Думаю, вам это понятно. Кроме того, в социальной политике правительства есть один важный пункт, смысл которого сводится к тому, что все, именно *все*, независимо от своего материального положения, имеют право на приличное жилье. Несмотря на определенные трудности с осуществлением этого права в создавшейся обстановке, наше ведомство делает все от него зависящее. Мы полагаем, что только таким образом можно покончить с социальными недугами. Такими, как преступность, социальная апатия, падение нравственности...

Его взгляд упал на Лизу, на ее огромный живот. Он изумленно уставился на нее, словно впервые такое видел.

— Это... ваша... А?

— Это моя жена.

— И она живет вместе с вами здесь, на Насыпи?

— Да.

— Но в ее положении! — Птичий голос повысился на целую октаву: — Ведь до тех пор, пока вы живете здесь...— Он посмотрел вокруг с выражением крайнего отвращения.— Пока живете в незарегистрированном жилище, вы не можете получать пособие! Вы об этом подумали? А ваша жена должна находиться под наблюдением врача. Вы договорились об оказании ей медицинской помощи при родах? Или, может быть, связались с какой-нибудь клиникой, располагающей соответствующим транспортом?

— Нет.

— Но, дорогой мой...— На какое-то критическое мгновение его голос замер, потом вновь обрел звучность и силу: — Но ведь это преступная халатность! У вашей жены нездоровый вид. И...

— У нас все в порядке.

Теперь чиновник явно рассердился. Он резко опустил на землю ногу, на которой держал папку. Его голос сразу понизился на две октавы.

— Поймите одну вещь,— сказал он почти угрожающе.— В нашем обществе никто не должен болтаться без дела и делать лишь то, что он хочет, во вред себе и другим лицам, а также всему обществу. Ясно? И еще вы должны понять, что я не могу оставить все, как было; я обязан подать заявление о предоставлении вам жилья. Если вы станете мне мешать, я буду вынужден обратиться к властям с просьбой о вашем насильственном переселении. Итак...— Он снова приготовился записывать.— Ваше имя, пожалуйста...

Аллан молча стоял перед ним мрачнее тучи. Ему было совершенно ясно, что произошло самое худшее: власти заинтересовались их пребыванием на Насыпи. Представитель властей находился на Насыпи, и все в нем — форма, походка и манера говорить — казалось здесь чем-то нелепым, уродливым и неправдоподобным... Квартира от ведомства социального обеспечения — это две комнатушки в одном из полупустых блоков-небоскребов в Северо-Западной зоне, где находится большинство городов-спутников, где совершается больше самоубийств, чем в любой другой зоне Свитуотера, и откуда они еле-еле удрали, переехав на Апрель авеню...

Но что было делать? Позади, оцепенев, стояла Лиза, бледная как смерть, и глаза ее говорили о том, что едва ли она понимает, что происходит. За ней стоял Рен-Рен с угрюмым лицом. Козленок, которого наконец оставили в покое, ходил по кругу и щипал траву.

— Итак?

Голос этого человечка в мундире звучал угрожающе. Аллан смотрел на него с презрением и чувствовал, как в нем нарастает злость. Перед ним стоял Враг! Но что он мог поделать? Можно, конечно, одним ударом свалить этого типа на землю, только чего этим добьешься? В душу закралось чувство беспомощности, коварное, опасное чувство: какие у него могут быть шансы? Если он откажется выполнять то, чего требует этот идиот, за них возьмется полиция. Если же он назовет свое имя, их все равно переселят отсюда. А если этот смешной маленький человечек в измятом мундире ведомства социального обеспечения вообще не сможет никому сообщить о том, что

здесь происходит?.. Что тогда? Аллан скорее ощущал, чем видел, что в нескольких шагах от него стоит Рен-Рен и вбирает в себя каждое их слово, неподвижный и настороженный, как хищный зверь. Никто не знал, в какой мере он понимает происходящее... И еще Лиза. Она словно окаменела и смотрела на чиновника пристальным, застывшим взглядом, будто его мундир приковал к себе все ее внимание.

Между тем, прочитав в глазах Аллана отчаяние и растущую ненависть, чиновник несколько сбавил тон, и в его блеющем голосе послышались примирительные нотки:

— Разумеется, принудительное переселение — вещь малоприятная. Я прекрасно понимаю, что некоторые... так сказать, не любят подчиняться подобным постановлениям. Я знаю это... По роду своей работы мне приходится встречаться со многими людьми, скажу я вам. Мы могли бы договориться с вами о некоторых деталях... Допустим, я мог бы устроить, чтобы ваше дело отложили на время... Как вы понимаете, мы рассматриваем множество подобных дел. Может пройти немало времени, прежде чем очередь дойдет до вас,— год, два... И кто знает, вдруг вы передумаете за это время?

Аллан сообразил, что человек в мундире хочет прийти с ним к соглашению, которое устроило бы обоих. Чиновник явно чувствовал себя неважно, а кроме того, время близилось к обеду, и, вероятно, он предпочел бы находиться сейчас у себя в конторе, а не здесь, на Насыпи. Он готов был проявить гибкость в толковании требований закона — прежде всего ради собственной выгоды. Однако он все же поставил одно условие:

— Тем не менее вы должны сообщить мне ваше имя и некоторые другие сведения, чтобы я мог заполнить эту форму. Порядок есть порядок...

Он снова положил папку на колено, чтобы было удобнее писать. Дождь ненадолго прекратился, но теперь пошел опять. Дождевые капли оставляли крупные круги на желтом бланке.

— Итак, ваше имя...

Перо выжидательно замерло в нескольких сантиметрах от бумаги.

— Аллан Юнг...

Ему надо было выиграть время, чтобы подумать и решить, что делать дальше. И это решение надо было успеть принять за те несколько секунд, пока человек в мундире писал.

— Аллан Юнг...

Кончив писать, чиновник нахмурил лоб и испытующе посмотрел на Аллана.

— Аллан Юнг. Знакомое имя. Должен вам сказать, я никогда не забываю имен, которые хоть раз услышал. За все пятнадцать лет моей службы в качестве инспектора по розыску не было случая... Да, что-то связанное с этим именем я уже слышал!

Он приоткрыл папку с документами, сунул в нее два пальца и извлек оттуда два-три скрепленных вместе листа бумаги с напечатанными на них с обеих сторон плотными колонками слов (имен?). Его палец пробегал сверху вниз вдоль колонок, переходя от одной к другой, губы беззвучно шевелились. Когда он нашел наконец то, что искал, лицо его просветлело.

— Аллан Юнг. Вот, пожалуйста! Я знал, что где-то видел это имя...

Аллан чувствовал себя как хищный зверь, готовый к прыжку. Петля затянулась. Его имя было в списке! Что это может значить?..

— Вас разыскивает полиция, Аллан Юнг...

Голос чиновника звучал преувеличенно спокойно и приветливо.

— Что вы сказали?

— О, ничего особенного. Они просто хотели бы выслушать ваши показания, больше ничего. Чтобы вы объяснили кое-что,— добавил он, увидев угрюмое, расстроенное лицо Аллана.— Вероятно, речь идет о пожаре на бензозаправочной станции в Восточной зоне...— Прищурившись, он читал мелкий типографский шрифт.— Как сообщил некий господин Свитнесс, вы были свидетелем всего, что там произошло, и наши войска по поддержанию спокойствия и порядка, разумеется, заинтересованы в том, чтобы получить максимум информации...

Перекошенное злобой лицо Аллана, очевидно, испугало чиновника, и он без промедления уточнил все тем же наполовину бодрым, наполовину успокаивающим тоном, точно врач, беседующий с пациентом:

— Как вы наверняка знаете, наши два ведомства до известной степени сотрудничают друг с другом. И особенно в тех случаях, когда речь идет о людях, пропавших без вести или подлежащих розыску, аппарат ведомства социального обеспече-

ния может оказать немалую помощь войскам по поддержанию спокойствия и порядка. В основном это касается самых обычных дел вроде этого...

В обезоруживающей любезности чиновника ведомства социального обеспечения чувствовалась какая-то торопливость, почти лихорадочная поспешность.

Аллан еще не произнес ни слова. Свитнесс! Свитнесс донес на него. Он был в смятении и чувствовал, что у него путаются мысли. Он заметил, что постукивает ногой о землю, словно разъяренный зверь перед тем, как напасть. Человек в мундире, видно, тоже заметил это. Продолжая убеждать Аллана в том, что он должен дать следователю самые обычные показания, которые отнимут у него максимум четверть часа, чиновник быстро уложил бумаги в папку, защелкнул замки и приготовился убраться восвояси.

— Думаю, нет никакого смысла терять понапрасну время, мокнуть под дождем и заполнять все эти формы,— бодро проблеял он.— Вот как мы поступим: когда вы придете в управление войск по поддержанию спокойствия и порядка — а вы должны явиться туда в трехдневный срок,— зайдите заодно и ко мне. Мы сделаем вам прививку — мы всем делаем сейчас в обязательном порядке прививки от гриппа, вы, конечно, об этом слышали? Мой кабинет находится в том же здании — наши ведомства работают в самом тесном контакте, образец административной рационализации,— седьмой этаж, комната сто семь. Легко запомнить, не правда ли? — Он говорил, тщательно подбирая слова, как говорят с детьми; он боялся обидеть или напугать собеседника. — Итак, социальный центр «Восток», седьмой этаж, комната сто семь. В трехдневный срок. Вы знаете, таков закон. Ваш долг явиться и сообщить все, что вы знаете как свидетель. А теперь я ухожу. Всего доброго...— Он повернулся, улыбаясь и как бы извиняясь за то, что ему надо уходить; потом снова обратился к Аллану:— Вы в самом деле не хотите, чтобы я устроил вашу жену в больницу? Она действительно выглядит неважно...

— Нет!

И маленький толстопузый полицейский шпион с блестящей папкой отправился в обратный путь. Четким размеренным шагом он шел по берегу бухты, покидая Насыпь.

Лиза скорее чувствовала, чем видела, насколько разъярен Аллан. В его гневе всегда было что-то необузданное, неистовое, и сейчас на него было просто страшно смотреть: он стоял бледный — это было заметно несмотря на всклокоченные волосы и бороду, закрывавшие лицо,— и рыл ногой землю, так что в разные стороны летел песок.

Но Лизу пугало кое-что еще: немного поодаль стоял Рен-Рен, слегка наклонившись вперед, словно готовый к прыжку, напряженный и сосредоточенный, и она чувствовала, что их с Алланом объединяет сейчас глубокое интуитивное взаимопонимание и непреклонная решимость совершить что-то ужасное — предчувствие того, что должно произойти, преследовало ее словно кошмар с тех пор, как она ушла от Дока. Она не должна допустить, чтобы это случилось, но что она может поделать?

Лиза видела, как они обменялись взглядом. У обоих движения были настороженные и гибкие, точно у зверей. Она заметила, как Аллан кивнул своему безмолвному, все понимающему союзнику; это был легкий, почти незаметный кивок, который в любом другом случае вообще ничего бы не значил и ни к чему бы не обязывал, но в этот момент говорил о заключении чудовищного договора и подтверждал ранее принятое отчаянное решение.

И, не мешкая ни секунды, Рен-Рен тотчас двинулся в путь; он шел большими пружинистыми скользящими шагами — не шел, а почти бежал, описывая широкую дугу вправо от берега, чтобы обогнать этого слишком решительного неуклюжего чиновника, чья спина уже еле виднелась за низкими дюнами, и преградить ему путь, как только он дойдет до первых мусорных куч... И словно в ужасном вещем сне Лиза снова и снова видела то, что должно было совершиться, и в памяти вдруг возникли добрые, заботливые слова, которые он сказал перед уходом (конечно, лишь по долгу службы, заметив, что она уже на сносях),— нет, невозможно, немыслимо то, что задумали Аллан и Рен-Рен.

Лиза не могла этого допустить, во что бы то ни стало она должна помешать, закричать, предупредить... И она уже открыла рот, закричала... Но Аллан как бешеный

набросился на нее, зажал ей рот рукой, опрокинул на землю и, шипя в ухо какие-то неразборчивые слова, навалился на нее всем своим тяжелым телом, так что она не могла вздохнуть...

Однако в конце концов он все-таки ослабил свою хватку, и она сумела вырваться из его рук, поднялась на ноги и вдруг почувствовала, что ждать осталось совсем недолго, и мысль о маленьком чиновнике вылетела у нее из головы под влиянием гораздо более сильного побуждения, которое приказывало ей немедленно возвращаться домой, ложиться в постель и готовиться к решающему моменту, и она побежала домой так быстро, как только могла, хотя колени у нее подгибались... И когда она упала, то даже не заметила, что лежит на земле; потом попыталась двинуться дальше на четвереньках...

Она ползла и ползла, упираясь в землю коленями и локтями, во рту у нее был песок, из носа на грязные руки капала кровь (кровь на грязно-белой шкуре козленка!), а из горла время от времени вырывались какие-то гортанные, невнятные звуки.

Аллан попытался поставить ее на ноги, просунув руку ей под мышку, но она вдруг повисла на нем так тяжело и бессильно, что ему пришлось подхватить ее и, прижав к себе, положив ее руку себе на плечо, двинуться в путь. Так они ковыляли по берегу, а он бормотал ей на ухо:

— Он полицейский шпион, понимаешь, Лиза? Мое имя было у него в списке тех, кого разыскивает полиция! Свитнесс донес на меня, и теперь они думают, что я замешан в этой истории с пожаром! Разве ты не видела, как он торопился уйти, чтобы поскорее выдать меня фараонам? Если они схватят меня, я погиб, Лиза. Понимаешь? Это враг, Лиза! Если бы мы отпустили его, с нами было бы все кончено! Ты понимаешь, что я говорю?

Она не могла произнести ни слова и едва ли слышала, что он говорил. Все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы переставлять ноги и прислушиваться к голосам, звучавшим у нее внутри. Она только что почувствовала первые схватки, первое мимолетное прикосновение наступающих родов, слабый отзвук боли, легкую дрожь, неприятное ощущение в пояснице. Неужели начинается? Да! Она не ошиблась.

Она еще раз поставила правую ногу перед левой. Теперь левую ногу вперед. Опять правую. Началось. Возможно, пройдет еще много часов, целый день и еще целая ночь, но все равно уже началось. А она шла, еще находила в себе силы, чтобы идти, опираясь на Аллана. Нужно успеть домой до того, как пойдут воды. Она не хочет, чтобы, когда это произойдет, он был возле нее. Она попросит его позвать Мэри Даймонд. И Дока

Он все еще бормотал какие-то слова ей в ухо, но она не слышала его. Все ее восприятие снова было обращено внутрь, на то, что свершалось сейчас в ее измученном, готовом разорваться от напряжения теле.

28

Мэри Даймонд позаботилась о том, чтобы им хватило горячей воды. Она послала Боя и Аллана за топливом для костра, хотя шел сильный дождь и надежды на то, что удастся разыскать в темноте что-нибудь сухое, было мало. Когда Мэри не нужно было отдавать им приказания, она сидела в фургоне, положив голову Лизы себе на колени, что-то мелодично напевала и вытирала пот с бледных щек роженицы, а в перерыве между схватками старалась успокоить ее.

В углу сидел Док с часами в руках и следил за частотою схваток. Его карманный фонарь бросал яркую, режущую глаза полосу света на пол и матрас, где под пледом лежало бесформенное тело, похожее на тюк, и стонало. Док не возражал против присутствия Мэри Даймонд, хотя чувствовал, что эта крупная темнокожая женщина благодаря своим чисто интуитивным познаниям лишала его той руководящей роли, на которую он в этой критической ситуации мог претендовать. По правде говоря, его даже несколько успокаивало присутствие Мэри. Иначе вся ответственность за благополучный исход родов тяжким бременем легла бы на его слабеющую память и почти уже утраченное искусство врача.

Аллан и Бой сидели под навесом и приглядывали за костром. Было темно, дождь непрерывно стучал о гофрированную жесть у них над головой. Оба молчали. Аллан сидел неподвижно и утрюмо, взволнованный тем, что происходило в фургоне, хотя и не хотел признаваться себе, что испуган: в конце концов роды — это совер-

щенно естественное явление, роды происходят каждый день, каждую минуту... И тем не менее он вздрагивал всякий раз, когда из фургона доносились стоны Лизы, вздрагивал прежде, чем успевал взять себя в руки и сказать себе, что все это вполне «естественно», и роды всегда происходят именно так и бывают болезненными, и само по себе это не должно вызывать тревоги. С этой мыслью трудно было свыкнуться, так как он вырос в том обществе и в ту эпоху, которые делали все, чтобы замаскировать внешние признаки человеческого страдания и кульминацию страдания, естественную кульминацию всей жизни — Смерть.

Аллан сердито сплюнул в пылающий костер. На листе жести стояли кастрюли с кипятком. Чад ел глаза, потому что печная труба, которая должна была отводить дым в широкую щель между задней стеной и шаткой крышей, опять неплотно прилегала к печке. Бой сидел на корточках рядом с отцом и разрезал кусок заплесневелой кожи на узкие полоски, из которых затем плел крепкую эластичную тесьму. Он тоже вздрагивал, когда слышал стоны; его худое лицо казалось прозрачно-бледным под шапкой грязных спутанных волос, которые Аллан подрезал ножом, когда они начинали падать на глаза. Отчужденность и независимость, в значительной мере определявшие его отношение к родителям с тех пор, как он подружился с Рен-Реном сейчас исчезли, и он снова казался маленьким и беспомощным и явно был подавлен совершавшейся драмой, смысла которой еще не понимал.

— Что с мамой? — внезапно спросил малыш. Он впервые заговорил о том, что должно было произойти, хотя уже давно все подметил.

— Она рожает ребенка,— ответил Аллан.

— Что значит «рожает ребенка»? — удивился Бой.— Это так больно?

— Мама давно носила ребенка в животе,— объяснил Аллан, обрадованный тем, что нарушилось молчание.— Теперь он должен родиться, и маме больно.

Лицо мальчика вдруг просветлело: он понял.

— Это как у крыс,— воскликнул он.— Дети вылезают из живота, как у крыс. Однажды я видел крысу, которая сидела под ящиком, в такой норке, и там было много шерсти и кусочков бумаги. Получилось как постель, а потом вдруг вылезло несколько маленьких крысят, совсем розовых, и они даже не умели ходить... Мне показал их Рен-Рен,— добавил он.

Бой был в таких же дружеских отношениях с крысами, как и со всеми другими живыми существами, обитавшими на Насыпи; зато Аллана возраставшее количество крыс беспокоило и раздражало, и при первой же возможности он безжалостно их уничтожал. Однако, чтобы не нарушить этот столь редкий теперь контакт с сыном, Аллан ответил:

— Да, примерно так же, как у крыс. Только сейчас родится не крысенок, а ребенок, твой брат или сестра!

— Я не понимаю, что такое брат или сестра,— ответил Бой, продолжая зачем-то плести полоски кожи.— Он будет вот такой маленький? — спросил он помолчав и немного расставив ладони.

— Чуть побольше — примерно вот такой,— пояснил Аллан, показывая в воздухе предполагаемые размеры будущего ребенка.

— Тогда неудивительно, что это больно,— сказал мальчик, возвращаясь к своей работе.

Док и Мэри помогли Лизе перевернуться на спину и объяснили как вести себя, когда происходят схватки. Но едва ли она понимала, что ей говорили. Она слишком была поглощена болями, которые как волны прокатывались по ее телу, давали немного передохнуть, а потом опять разрывали ее тело на части.

Еще одна потуга!

Мэри прошептала Лизе на ухо:

— Он здесь, наш бэби! Все в порядке!

Еще одно движение, и гладкое съежившееся тельце оказалось на простыне. Док подхватил его дрожащими руками и поднял высоко в воздух:

— Девочка!

Голос Дока прозвучал хрипло и торжествующе, его душила радость.

— Девочка! — повторила Мэри Даймонд.— Ты слышишь? У тебя родилась девочка, бэби! Теперь все в порядке!

Но Лиза лежала неподвижно, ни на что не реагируя после перенесенных страданий. Лишь через некоторое время она улыбнулась своими искусанными губами

и не потому, что была особенно счастлива, родив наконец на свет этого ребенка, а просто чтобы показать, что она понимает их и благодарна им за помощь.

Тем временем Док нащупал ножницы, которые предварительно прокипятил и положил рядом с тазом. Раньше ему было достаточно двух-трех движений, теперь же прошла целая вечность, а он все возился с ножницами. Ведь девочка еще не закричала! Не начала дышать! Нужно обязательно что-то сделать, чтобы она закричала и с этим криком проснулась жизнь в ее тельце... Док крутил чайной ложечкой у нее во рту, давил на язык, но все было напрасно. Тогда он сунул узкий конец блестящего термометра в крошечный приплюснутый носик, но ребенок не издавал ни звука, ручки и ножки беспомощно висели.

— Иди сюда, дай мне ее.

Мэри Даймонд протянула руки. Док послушно отдал ей ребенка; он был весь мокрый от пота и дрожал, боясь, что сейчас произойдет нечто ужасное,— сейчас, когда самое трудное осталось позади и все в общем прошло так удачно. Он слышал собственное дыхание, похожее на стон. Свет карманного фонаря оставлял острые тени в глубоких морщинах на его лице.

— Осторожно,— заикаясь, пробормотал он.— Осторожно...

Однако Мэри Даймонд схватила мокрого воскового цвета младенца, перевернула его на спинку, подняла на своих широких ладонях, поднесла к самому лицу и изо всех сил дунула на узенькую грудную клетку. Реакция была немедленной: протяжное тоненькое всхлипывание, а за ним жалобный крик, такой слабенький, что он почти потонул в шуме дождя, который не переставая барабанил по жестяной крыше. Девочка жива! Она была в полном порядке! Все прошло как надо!

Док занялся плацентой, а Мэри Даймонд обмыла ребенка, постепенно приобретавшего нормальный розовый цвет.

— Девочка!

Мэри Даймонд появилась в дверях фургона — ее блестевшее от пота лицо радостно сияло. Она увидела их возле очага, Аллана, Боя и еще кого-то третьего — это оказался Смайли. Спотыкаясь и чертыхаясь, он пришел под дождем, чтобы «нанести визит вежливости по случаю рождения ребенка», как сказал он с ухмылкой. Смайли был в хорошем расположении духа; перед тем как прийти сюда, он изрядно «подкрепился» и теперь горел желанием распить с соседями бутылку кавы, которую принес с собой. Он сидел и доказывал Аллану, что чертовски эгоистично и безответственно рожать детей, когда мир столь несовершенен.

— Мы последние из потерпевших кораблекрушение на тонущем гнилом плоту...— декламировал он.— Спасательные жилеты давным-давно выброшены за борт. Все это людям известно по крайней мере уже полстолетия, и тем не менее они продолжают в том же духе... Раньше они находили опору в идее солидарности: это была мечта о справедливом обществе, созданном свободными, равными людьми. Но они упустили из виду, что старое общество, основанное на насилии и состоящее из уже обесчеловеченных людей, медленно, но верно уничтожает все предпосылки изменений к лучшему, подрывает самую основу солидарности и превращает людей в естественных врагов... Об этом я попытался написать в одном из своих стихотворений— ха-ха. Я говорил, что когда-то хотел стать поэтом? Но это было еще до того, как из-за нормирования бумаги печатное слово стало для нас чертовски недоступным. Ха-ха-ха.

Смайли был в прекрасном настроении, но всякий раз, когда из фургона до них доносился какой-нибудь звук, он тотчас замолкал, словно все, над чем он иронизировал, извергая потоки слов, было жалким и ничтожным по сравнению с той жизненной драмой, которая совершалась в фургоне.

Великую новость он встретил с большим восторгом.

— Девочка! Ты слышишь, Аллан? Маленькая куртизанка — дай только срок! Ну, что ты скажешь? Выпьем, старик!

Аллан выпил и подошел к двери фургона, где все еще стояла Мэри Даймонд.

— Ну, как она там? — спросил Аллан, понизив голос, почти смущенно.— Как она себя чувствует? Все в порядке?

— Да. Только очень устала, а в общем все прошло нормально. Сейчас она заснула.

На лице Мэри Даймонд вдруг появилось выражение нежности, что случалось не часто.

— Я был сегодня на стоянке и искал тебя,— сказал Аллан.

— Да? Я не ходила туда сегодня...— ответила она безразличным тоном.

— А завтра мы встретимся?

Аллана нисколько не беспокоило, что Смайли мог услышать его, должен был услышать, если бы только захотел.

— Не знаю, может быть,— ответила Мэри Даймонд, безразлично кивнув; казалось, его вопрос вообще не интересовал ее.

— Я приду туда завтра,— настаивал Аллан.— Ты придешь?

— Я же сказала: может быть...

Ее уклончивые ответы злили Аллана и в то же время еще более разжигали в нем страсть. Он чувствовал, что ее настроение как-то связано с только что закончившимися родами. Он схватил ее за руку и притянул к себе.

— Мэри...

— Нет, отстань!

Ее голос прозвучал резко, но руку она отняла у него мягко, как бы нехотя. Не сказав больше ни слова, она скрылась в фургоне.

Вместо нее в дверях появился Док.

— Привет, вот и наш лекарь! — громко закричал слегка захмелевший Смайли, словно уже давно ждал случая заглушить шепот, который слышался за дверью.— Все сделано как надо. Иди сюда и выпей!

Лицо Дока расплылось в широкой улыбке. Он был бесконечно рад, что все закончилось благополучно. Ребенок родился маленький, но, насколько он мог судить, вполне здоровый. Док взял бутылку, которую протянул ему Смайли, и отпил немного кавы. Она согревала. Костер тоже согревал. И ко всем, кто был здесь, Док чувствовал дружеское расположение. А дождь все лил и лил как из ведра, стучал по крыше, однако под гофрированной жестью было сухо. Док сел на ящик, который Аллан пододвинул к нему. По другую сторону очага у самой стены лежал Бой и спал, завернувшись в одеяло. Время от времени он кашлял во сне.

— Забери его отсюда,— сказал Док Аллану.— Пусть он идет в фургон. Нельзя, чтобы он лежал так на голой земле.

Неожиданно в разговор вмешался Смайли:

— Послушай, ведь ты еще не нашел имени для девочки. Как ты назовешь ее?

Аллан озабоченно посмотрел в землю. Об этом он еще не подумал. Раньше ему было совершенно безразлично, как назвать ребенка. Когда родился Бой, они перебрали с Лизой довольно много имен, прежде чем нашли такое, которое во всяком случае никого из них не раздражало. Но теперь он вдруг почувствовал, что ему предстоит сделать очень важный выбор, словно в имени заключен какой-то скрытый смысл и, однажды произнесенное, оно становится талисманом, который даст ребенку здоровье, силу и счастье в жизни. Значит, нужно сделать хороший выбор, правильный выбор! Имя внезапно превратилось для Аллана в нечто большее, чем просто звук или опознавательный знак; оно приобрело определенное значение. Это имя должно о чем-то напоминать им всем, должно обозначать определенный момент времени и обстоятельства, при которых родился ребенок, определять его личность и быть одновременно и символом и заклинанием.

Аллан оглядел покосившиеся стены жалкой пристройки, в которой кроме него находилось еще два человека: один сидел на автомобильном сиденье, а другой — на ящике; дым от очага немилосердно ел глаза. Потом он повернулся к Мэри Даймонд, которая снова появилась в дверях и сидела, загораживая вход в фургон, словно оберегая сон матери и ее ребенка.

— Я хочу посмотреть на нее,— сказал Аллан.

Мэри тотчас же послушалась, исчезла в фургоне и, вернувшись через секунду, протянула Аллану маленький сверток. Он посмотрел на свое дитя, вернее, на то, что выглядывало из-под одеяла, в которое девочка была тщательно завернута: сморщенная кожа на головке, покрытой пушком, глазки за тонкими веками с множеством морщинок, чуть приплюснутый носик и маленький, удивительно изящный ротик с обиженно поджатыми губками. Она, казалось, ничего не весила. Он сосредоточенно смотрел на нее, но ничего не мог прочесть в этом крошечном спящем личике.

И тут хляби небесные вдруг разверзлись над их ветхой конурой, стук дождя о крышу из гофрированной жести превратился в страшный грохот, а ветер загремел одной из плохо закрепленных стен, ударяя металлом о металл. Шум разбудил малышку. Она приоткрыла глазенки и какую-то секунду, прищурившись, глядела своими черными, бездонными зрачками на зарево костра и раскинувшуюся за ним темноту ночи. Потом снова заснула.

Аллан пристально смотрел на ребенка.

— Рейн [1]...— сказал он.— Я назову ее Рейн. Да, Рейн,— повторил он, подтвердив тем самым, что ребенок получил имя.

29

Последний, рекордный по силе ливень сильно повредил водопровод и канализацию Свитуотера. И хотя сами по себе эти повреждения были не настолько серьезными, чтобы их нельзя было ликвидировать, продолжавшиеся дожди не позволяли приступить к ремонтным работам, и разрушения становились все более тяжелыми и непоправимыми. Стоки, засорившиеся из-за отсутствия систематического ремонта, не справлялись с тысячами кубических метров воды, хлынувших на улицы города. Наводнение, усиленное свежим ветром с моря, вызвало полный хаос в низменных районах Свитуотера, где подвальные и полуподвальные этажи были затоплены, а на нескольких городских магистралях прекратилось уличное движение. Паводковая вода устремлялась всюду, где у нее был свободный сток, размывала мостовые и шоссейные дороги, заливала строительные площадки, разрывала водопроводные и канализационные трубы. Она хлынула в бассейны с питьевой водой, создавая угрозу для здоровья даже тех счастливцев, у кого в кранах еще была вода...

В этой критической ситуации началась эпидемия гриппа. На призывы подвергнуться вакцинации откликнулись немногие. Теперь машицы с громкоговорителями, возвещавшими о новых предписаниях министерства здравоохранения, разъезжали в сопровождении передвижных амбулаторий для вакцинации. И тем не менее несмотря на прививки многие умирали от этого нового вредоносного вируса, против которого еще не успели создать хоть сколько-нибудь эффективную вакцину. Та вакцина, которую в спешном порядке производили, была основана на родственном вирусе, к тому же прививки сделала лишь незначительная часть населения. По мере распространения эпидемии количество распоряжений и постановлений органов здравоохранения настолько увеличилось, что к новым постановлениям в городе относились чаще всего с циничным безразличием.

Кроме того, не совсем ясной оставалась клиническая картина заболевания, вызванного этим новым вирусом. Оно протекало по-разному: в одних случаях легко, в других — более тяжело, у одних начиналась кома уже через день или два после того, как появлялись головные боли или что-то вроде легкого насморка, у других заболевание длилось неделями и сопровождалось высокой температурой и ломотой во всех суставах.

В первую неделю эпидемии умерло сто человек. На следующей неделе — восемьсот. Смертность была невероятно высокой, хотя все в общем уже привыкли к тому, что вирусные заболевания, похожие на грипп, ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. Хуже всего, однако, было то, что различные гриппозные вирусы значительно отличались друг от друга, и таким образом прошлогодняя вакцина в этом году могла иметь лишь весьма ограниченное применение, причем она не приносила сколько-нибудь ощутимой пользы людям со слабой сопротивляемостью организма, которые, кстати, и заражались легче всего, особенно дети и старики.

Бой заболел первым. Он кашлял все сильнее и в конце концов настолько ослабел от сильного жара, что не мог подняться с постели. Потом заболела маленькая Рейн. На пятый день после ее рождения Лиза заметила, что девочка кашляет, она послала за Доком, который немедленно пришел и тщательно осмотрел маленькое дрожащее тельце, уже пылавшее от жара и покрытое испариной.

— Она, наверное, заразилась от Боя,— мрачно сказал Док.

[1] Regn — дождь *(норв.)*.

Бой лежал с блестящими глазами и красными пятнами на щеках и непрерывно кашлял.

— У тебя есть молоко для девочки?

Молоко у нее было. На этот раз у нее было молоко. Однако малышка была очень слабенькая и плохо брала грудь.

— Постарайся влить в нее хоть немного молока,— сказал Док озабоченно.— Выдави несколько капель на ложку и дай ей. Сделай это во что бы то ни стало. В материнском молоке есть антитела, которые могут спасти ее.

Однако на следующий день жар усилился, маленькая грудка тяжело вздымалась, стараясь вобрать побольше воздуха, девочка не открывала глаз и перестала есть.

— Надо попробовать пенициллин,— сказал Док Аллану.— Поговори с Феликсом. Может быть, он сумеет достать.

Феликс сумел. В обмен на два куска душистого мыла — часть содержимого коробки с очень изящными (и потому бесценными сейчас) предметами туалета, которую нашел Аллан,— он принес на другое утро в фургон четыре ампулы с пенициллином, шприц и пачку детской молочной смеси. Он аккуратно разложил все эти предметы на столе перед Доком и Алланом и снова защелкнул черную папку для документов из блестящей искусственной кожи со сверкающими металлическими застежками (машину злосчастного чиновника из ведомства социального обеспечения он отогнал в город и оставил в каком-то гараже после того, как снял с нее все хоть сколько-нибудь ценное).

— Нелегко это было раздобыть,— доверительно сказал им Феликс.— Всем теперь нужен пенициллин. Много больных.

Док наполнил шприц и воткнул его в маленькую сморщенную попку девочки. Малышка только жалобно всхлипнула. Потом им удалось впихнуть ей в ротик несколько капель молочной смеси.

— Теперь нам остается только надеяться,— удрученно пробормотал Док.

Но пенициллин не помогал. На четвертый день болезни у маленькой Рейн началась кома. Лиза, совершенно измученная бессонными ночами и страхом, отчаянно пыталась влить в нее хоть немного молока, которое сцеживала из своих грудей, разрывавшихся от невыносимой боли. Но если ей и удавалось приоткрыть маленький ротик дочери, молока в него все равно попадало чрезвычайно мало.

— Теперь мы можем только ждать,— вздохнул Док.— Она уже получила то количество пенициллина, какое может выдержать ее организм.

Воздух в фургоне был спертый. Повсюду висели и сушились всякие тряпки и одежда. По-прежнему шел дождь. Последнюю дозу пенициллина Док вспрыснул Бою, который пылал от жара и надсадно кашлял; ему не становилось ни лучше, ни хуже.

Аллан только что вернулся с Эббот-Хилл, где он пытался раздобыть какую-нибудь микстуру от кашля, аспирин или еще что-нибудь такое, что могло бы помочь Бою или хотя бы облегчить его страдания, однако лекарств никто не предлагал. Правда, каждый мог получить причитающуюся ему норму обычных медикаментов в многочисленных передвижных амбулаториях, но там требовали справку о том, что данному лицу была сделана прививка от гриппа. А прививки делали только по предъявлении справки с места жительства, которая фактически заменяла удостоверение личности. В аптеках лекарства выдавались лишь по рецептам, и, кроме того, за них надо было платить деньги.

Увидев грустные глаза Дока и бледное апатичное лицо Лизы, Аллан сразу понял, что на улучшение рассчитывать не приходится. Лежа в своей колыбельке, малышка тяжело и неровно дышала, издавая тоненькие свистящие звуки, когда воздух проходил через ее изящно очерченные ноздри. Ее маленькое личико стало красным и воспаленным от сильного жара, глаза были плотно закрыты, руки сжаты в кулачки. Слабая, но уже неискоренимая воля к жизни неистово боролась с превосходящими силами болезни, и с каждым вздохом из груди младенца вырывался едва слышный жалобный стон.

— Я ничего не смог достать,— угрюмо сказал Аллан.

— А ей сейчас ничего и не может помочь,— ответил Док.— На этой стадии болезни — не может. Сейчас нам нужно только ждать.

Послышались шаги. Рен-Рен открыл дверь и заглянул в фургон. В руке он дер-

жал пучок каких-то листьев. Он сделал знак, что хочет заварить чай, как это часто бывало раньше. Аллан безразлично кивнул головой; в их прежней жизни такие несчастья, как болезнь детей, вероятнее всего заставили бы их полностью оттородиться от внешнего мира, словно страх и отчаяние сами по себе требуют так много сил, такой большой сосредоточенности, что общение с другими людьми делается просто немыслимым. Теперь все было иначе. Болезнь детей стала событием, которое затрагивало их всех, никто не оставался безучастным, никто не оставался равнодушным, это было общее горе, которое объединяло их, и теперь оно перестало быть исключительной привилегией родителей. А кроме того, жизнь должна была идти своим чередом: нужно было работать, добывать пищу, бороться за существование, сейчас так же, как и всегда, и ничто не могло изменить ее сурового ритма.

Лиза полулежала, опираясь на кучу постельного белья. После родов ей еще трудно было двигаться. Сюда часто заходила Мэри Даймонд и помогала Лизе ухаживать за малышкой. Ее темнокожее лицо буквально сияло, когда она брала девочку на руки. А в последние дни она стала помогать Лизе и по хозяйству, стирала одежду, готовила для всех еду. Как и на всех остальных, болезнь детей наложила на нее отпечаток беспокойства и тревоги за ее исход, однако всякий раз, когда Мэри Даймонд проходила мимо корзины, в которой, тяжело дыша, лежал младенец, она не могла удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Посмотрите-ка на нее! Она и не думает сдаваться! О нет, подождите еще ставить крест на моей девочке...

Словно она не допускала мысли, что проклятый грипп может задушить это крошечное существо, которому она совсем недавно помогла появиться на свет. А Лиза сидела с провалившимися щеками и глубоко запавшими глазами и как безумная смотрела прямо перед собой. На ее узком лице не осталось ни кровинки. Все мысли ее вращались вокруг того, что лучше бы этому бедному ребенку никогда не родиться на свет, раз им суждено потерять его... А порой где-то глубоко в подсознании возникало невысказанное желание: если уж этого никак нельзя избежать, пусть это случится сразу же, поскорее, чтобы, во всяком случае, можно было поскорее обо всем забыть...

Для Аллана частое появление Мэри Даймонд в фургоне означало новый этап в развитии их отношений. Вскоре он сообразил, что Мэри будет отвергать все его домогательства до тех пор, пока Лиза находится рядом. Сначала он злился, но поскольку, когда они встречались неподалеку от Автострады или в других местах, где бывали наедине, Мэри в конце концов уступала его желанию, он все-таки примирился с ее суровостью, хотя в фургоне ее крепкое, тяжелое тело доводило его нередко до крайней степени возбуждения.

Однако было еще одно обстоятельство, в котором он начал отдавать себе отчет: он увидел, какой она была работящей, как спорилось у нее в руках любое дело, за которое она бралась. Когда она была со Смайли, то большую часть времени лежала на автомобильном сиденье, курила сигареты и красила себе ногти или спала, но в фургоне она развивала бурную деятельность. Аллан с изумлением наблюдал за тем, как быстро и ловко она справлялась со стиркой, уборкой или приготовлением пищи. Сам он старался ей помочь в меру своих сил, но едва Мэри Даймонд появлялась в дверях, как она тотчас же брала бразды правления в свои руки, и ему даже в голову не приходило протестовать. Он понял, что может положиться на нее, что она не подведет в трудную минуту; она оказалась энергичной и находчивой, именно эти качества более всего были нужны здесь, на Насыпи, и будут еще нужнее, если условия жизни станут еще более сложными и трудными. Ее выносливость и сноровка вызывали у него восхищение, но восхищение совершенно иного рода, чем раньше, и если она целый день не появлялась в фургоне, у него было такое чувство, словно ему чего-то не хватает, и чувство это было гораздо более глубоким и всеобъемлющим, чем чисто сексуальное влечение, которое, однако, он тоже постоянно испытывал, когда находился возле этого дородного, крепко сбитого тела, пахнущего землей и влагой.

Рен-Рен возился у очага под навесом. Док сидел и клевал носом. Аллан опустился на корточки и осматривал запас консервов, сложенных в ящик. Из угла все время доносился кашель Боя. Мальчику по-прежнему не становилось лучше.

Рен-Рен открыл дверь; в руках у него была чашка дымящейся жидкости. Он подошел к Лизе и протянул ей чашку. Однако она не сделала ни одного движения, чтобы

взять чашку, казалось, она даже не видит, что Рен-Рен стоит прямо перед ней. Тогда мягко, но решительно он взял ее за плечо и слегка потряс. И снова протянул ей чашку. Лиза приняла ее как сомнамбула. После этого Аллан и Док получили каждый по чашке чая, у которого был какой-то странный привкус, но пить его не было неприятно. Рен-Рен сам подошел к Бою и попытался заставить его выпить немного чая.

В фургоне, где находилось трое взрослых людей плюс Рен-Рен и еще два больных ребенка, было тесно и душно. С них всех градом катился пот.

— Нет, мне пора домой,— бормотал Док.— Начинает темнеть. Нужно посмотреть, что делает Марта. Здесь я сейчас ничем не могу помочь, но если хоть что-нибудь произойдет, приходите за мной, и я тотчас же буду.

Док хотел было встать, но Рен-Рен, протянув руку, остановил его. Он властно указал туда, где в углу лежал Бой в своей беспокойной дремоте.

— Я больше ничего не могу сделать для него,— устало сказал Док.— Он получил пенициллин, и я думаю, что у него есть надежда на выздоровление, но он плохо питался, и его организм слабо сопротивляется болезни. Однако с этими инфекционными заболеваниями никогда нельзя предугадать исход... Все-таки у него есть еще надежда на выздоровление, мальчик оказался сильнее, чем я предполагал. Это все, что я могу сказать.

Рен-Рен, казалось, внимательно слушает, что говорит Док. Потом он указал на Лизу, которая прихлебывала горячий чай и время от времени осторожно проводила рукой по груди, где на мешковатом платье неопределенного цвета выступили два темных мокрых пятна от молока, непрерывно сочившегося из ее сосков. Затем он снова указал на Боя и сунул в рот указательный палец.

Они недоуменно смотрели на Рен-Рена, и он снова повторил свой жест. Но поскольку они все еще никак не могли сообразить, чего он хочет, он подошел к Лизе, которая только сейчас обратила внимание на то, что происходило вокруг нее, слегка прикоснулся ладонью к ее груди, показал на Боя и, сложив руки под своей собственной грудью, стал раскачиваться, словно баюкал ребенка.

— Он хочет, чтобы Лиза дала Бою грудь,— вырвалось у Дока, когда он наконец все понял.

Лиза лишь безмолвно переводила свой ничего не выражающий взгляд с одного на другого, ибо была слишком изнурена и измучена, чтобы понять, о чем они говорят.

— Это — мысль,— подтвердил Док с оживлением в голосе.— Это во всяком случае не повредит ему. Ты можешь уговорить ее, чтобы она дала ему грудь?

Аллан кивнул головой и подошел к Лизе. Рен-Рен отступил к двери.

— Док хочет, чтобы ты попробовала дать Бою немного молока...— начал Аллан, но Лиза не поняла его. Лишь смотрела на мужа отсутствующим взглядом. Тогда он сделал еще одну попытку: — Дай ему грудь... немного молока. Понимаешь? Может быть, тогда ему станет лучше...

— Кому? Бою? — прошептала она, когда смысл его слов наконец проник сквозь немую боль, которая обволакивала ее и делала все остальное малозначительным и не заслуживающим внимания.— Я должна дать грудь Бою?.. Но это же невозможно...

Внезапно она почувствовала невероятное отвращение при мысли о том, что ее сын, уже такой большой, может оказаться возле ее груди. За последние месяцы она так отдалилась от него, он стал для нее почти чужим... А теперь Аллан просит, чтобы она кормила его грудью!

— Нет, это невозможно. Я не могу...— жалобно сказала она и умоляюще посмотрела на Дока.

— Ну, Лиза, пожалуйста!

— Нет, оставь меня в покое!

Тогда Аллан крепко схватил ее за руку. В глазах его вспыхнул недобрый огонек. Лиза всхлипывала:

— Он болен. Они оба больны... Уже ничто не может помочь... Все напрасно... Скоро все будет кончено...

Тогда он ударил ее по щеке тыльной стороной ладони, приподнял и подтолкнул в угол фургона, где лежал Бой. Док сделал движение, будто хотел вмешаться, но потом со вздохом снова опустился на свое место и прикрыл рукой глаза. Это несчастье причиняло ему двойное страдание: обоим детям угрожала смертельная опасность, никакой надежды на выздоровление девочки больше не было, и еще он должен смотреть, как страдает Лиза... Он не знал, сколько еще сможет выдержать...

— Попробуй! — приказал Аллан. Он стоял над ней как палач, наклонив голову под низким потолком.

Всхлипывая, Лиза положила руку под подбородок мальчика и притянула его голову к своей груди. Потом она расстегнула несколько пуговиц на платье и опустила грудь к самому его лицу. Он никак не реагировал, когда сосок проник в его полуоткрытый рот, но после того, как несколько капель молока все-таки смочили его сухие губы, он сделал движение языком и проглотил их.

— Ты должен сосать, Бой,— прошептала она и прижала его голову к своей груди, которая вся покрылась твердыми узелками и ужасно болела.— Соси!

Лиза словно проснулась. Когда она вдруг увидела пылающее исхудалое лицо сына, ее истерическое сопротивление было сломлено.

— Соси!

И Бой еще раз проглотил голубовато-белое сладкое молоко, медленно наполнявшее его рот, и постепенно начал сосать, сначала неохотно, неровно, маленькими глотками, с долгими перерывами, но потом все более энергично и решительно. Временами он вдруг погружался в оцепенение или засыпал, но Лиза держала его голову у себя на коленях и тут же снова давала ему грудь, как только он просыпался.

Рано утром Аллан проснулся и прислушался. Дождь прекратился, и его разбудила тишина. После того как много дней и ночей дождь непрерывно барабанил по крыше фургона и навесу из гофрированной жести, внезапно наступившая тишина была оглушающей. Он слышал дыхание Лизы, которая спала рядом с ним на матрасе, и надрывный кашель Боя. Из колыбельки не доносилось ни звука!

Поднимаясь с матраса, он старался поскорее нащупать спички; как он мог проспать! Он взялся дежурить возле девочки, пока другие спят. И просидел много часов, глядя на несчастное крошечное существо, отчаянно боровшееся с болезнью, которая в любой момент могла одержать верх. Смертельно усталый, он начал клевать носом, но тотчас же выпрямился и взял себя в руки; он должен быть начеку! Нужно следить за малейшими изменениями в состоянии девочки. Док не оставил им почти никакой надежды, но Аллан чувствовал, что этому не следует верить до тех пор, пока она дышит... В конце концов он свалился, но дал себе слово, что только немного отдохнет, чуть-чуть вздремнет...

Наконец он чиркнул спичкой и зажег огарок свечи. Подавленный страхом и сознанием своей вины, он заглянул в колыбель.

Сначала Аллан подумал, что она умерла, настолько сильно изменился цвет ее лица; теперь оно было серовато-бледным, глаза глубоко запали в темных глазницах, их закрывали веки, такие прозрачные, что отчетливо проступал каждый сосудик толщиной с волос. Рот был закрыт, но крошечная, изящно очерченная дуга Амура[1] отбрасывала серо-голубую тень в ямку под нижней губой, и создавалось впечатление, будто ротик у нее полуоткрыт... Однако ведь он был к этому готов, он уже примирился с потерей своей маленькой дочери; он даже утешал себя тем, что это случилось сейчас, так быстро, пока они еще не успели по-настоящему привязаться к ней, пока она еще не стала человеком, как они. И тем не менее миг, когда он увидел ее, когда подумал, что она умерла, запечатлелся в его груди неизъяснимой болью. Но ведь он был к этому готов... Он был готов отнести ее в пластиковом мешке на свалку и похоронить там, где она вскоре будет погребена под все новыми тоннами отбросов; а быть может, он положит маленькое тельце в ящик, чтобы защитить его от проклятых крыс... Он обо всем подумал, все предусмотрел. И составил план. Таков был его метод защиты от грозящего несчастья, от этого и всех прочих несчастий. И все же...

Внезапно старое, рваное одеяло пошевелилось. Малышка глубоко вздохнула во сне: Рейн спала! Она спала мирно и безмятежно как никогда. Она справилась с болезнью! Аллан приложил свою грубую широкую ладонь к ее щеке: она была гладкая и прохладная. Жар прошел. Она выздоровеет!

Аллан закрыл лицо руками и застонал. Вместе с радостью на него нахлынули чувства, которым он больше не мог противиться. Как зачарованный он смотрел на маленькую ручку Рейн, которая поднялась на мгновение и помахала в воздухе: пять крошечных пальчиков с пятью ноготками, таких изящных, словно их вылепили из воска. Он смотрел на эту ручку до тех пор, пока не перестал ее видеть, пока вообще не перестал

[1] Дуга Амура—середина верхней губы.

видеть что бы то ни было, пока не заметил, что стоит перед колыбелью на коленях и плачет, плачет, чего с ним никогда не было с тех самых пор, как он был ребенком, и мог одинаково легко плакать от радости и от горя, и это было давным-давно, в прежней жизни, в другом, далеком мире, картины которого, возможно, промелькнули перед ним в этот миг, но он так и не смог понять, что когда-то этот мир был его...

30

Когда стало ясно, что кризис миновал и Рейн пошла на поправку, старая Марта начала медленно угасать. С нездоровым интересом следила она все это время за тем, как протекали роды, а потом и болезнь: надежда — безнадежность. Она засыпала Дока вопросами и упреками, злорадно обзывала его паршивым знахарем, который не может вылечить несчастного младенца, отданного на его попечение, и одновременно посылала для малышки комплект прекрасных полотняных простынь и пару мягких шерстяных одеял, умоляла мужа устроить девочку в больницу. Док устало отвечал, что ни врач, ни больница ей не смогут помочь, потому что пока еще нет радикального средства от гриппа и к тому же слишком много больных ждет, когда освободится место в каком-нибудь инфекционном отделении. Однако ссылки на факты и призывы к здравому смыслу лишь приводили в ярость старую больную женщину; теперь она не давала ему спать даже ночью. В ту бесконечно длинную ночь, когда у Рейн был кризис, Док вообще не сомкнул глаз из-за ее попреков и злобных выпадов; рано утром, буквально выгнанный из дома, он отправился к фургону и по дороге встретил Аллана, который рассказал ему, что в ходе болезни наступил перелом, и когда Док своими собственными глазами убедился в чудесном исцелении девочки и поспешил домой, чтобы сообщить Марте это радостное известие, истеричная старуха впала в неистовство, рыдала и бесновалась, металась как безумная по комнате, пока, вконец обессиленная, не погрузилась в полную апатию, из которой уже не вышла.

— Она совсем потеряла волю к жизни,— сказал Док, печально качая головой.— Словно собственная жизнь утратила для нее всякий смысл в тот самый момент, когда я сказал ей, что девочка вне опасности. Вы можете это понять? Во всяком случае, долго она не протянет, если мне не удастся привести ее в чувство...

Док и Аллан брели по берегу. Было морозно, ветер кусал кожу, дождевые облака рассеялись, и холодные солнечные лучи пронизывали мглу, которая сегодня висела выше и дальше, чем когда бы то ни было. Сезон дождей кончился. Наступала зима. Даже фабричные здания Сарагоссы вырисовывались на фоне неба более четко, чем обычно, словно вдруг стали ближе. Но вода между Насыпью и Сарагоссой оставалась бесцветной и мертвой как ртуть, если только по ее матовой поверхности не пробегал ветер.

Док попросил Аллана помочь ему собрать последние овощи. Аллан получит половину урожая, ему самому много не понадобится, сказал Док. В глубине души он считал, что скоро останется один.

— Помни, что вы, молодые, должны есть овощи,— увещевал он Аллана бог знает в который раз.— И особенно маленькая Рейн, когда она перейдет на обычную пищу.

Он зашел ненадолго в фургон и лишний раз убедился в том, что малышка чувствует себя хорошо. Она была худенькая и слабенькая, но, насколько он мог судить, болезнь прошла бесследно. Постепенно у нее появился аппетит, она начала сосать... Однако Бой поправлялся гораздо медленнее. Он все еще кашлял, температура то поднималась, то падала, но все-таки состояние его постепенно улучшалось, и Док посоветовал Лизе продолжать кормить его грудью, но следить за тем, чтобы хватало молока и маленькой Рейн. Лиза тоже постепенно приходила в себя. Большую часть времени она лежала и спала либо просто отдыхала, а Мэри Даймонд помогала ей по хозяйству. Она с радостью занималась этой дополнительной для нее работой и ухаживала за малышкой с такой нежностью, словно это был ее собственный ребенок.

Они встретили Рен-Рена, который тащил на веревке козленка. Проходя мимо них, он широко улыбнулся, провел указательным пальцем через горло широкий полукруг от уха до уха, показал на козленка и похлопал себя по животу.

— Что он собирается делать? — удивился Док, когда они прошли дальше.

— Зарезать козленка,— ответил Аллан.

— Он внушает мне тревогу, хотя я ни в чем не могу его упрекнуть,— размышлял Док.— В нужную минуту он всегда поможет, умеет делать кучу важных и полезных

вещей. И все равно он здесь совсем чужой, словно он из другого века, из другого мира. Он напоминает мне первобытного человека, который действует только по наитию и у которого нет ни разума, ни совести. Он как зверь... Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Да, понимаю.

Аллан не стал рассказывать Доку про чиновника из ведомства социального обеспечения. При мысли о случившемся Аллану становилось не по себе, таким чудовищным, таким противоречащим здравому смыслу и в то же время безжалостно очевидным было сознание того, что он сам — активный соучастник... Но потом в ушах его раздавался блеющий голос чиновника, перед глазами четко и ясно возникали листы бумаги с напечатанными на них именами, и он сознавал, что иначе поступить не мог. Но он был не в силах рассказать об этом Доку. И едва ли сделает это когда-нибудь в будущем.

Рен-Рен развил бешеную деятельность. Никто не знал, что творится у него в голове. Никто не представлял себе, в какой мере он понимает слова, мимику и жесты, в какой мере осознает то, что делается вокруг него; он реагировал на происходящее, основываясь на своем собственном толковании событий, в одном случае совершенно необъяснимо, в другом — в соответствии со своей особой логикой, словно он вдруг обретал способность постигать окружающее глубже и полнее, чем другие, и это позволяло ему своевременно вырабатывать правила поведения и принимать меры предосторожности, рассчитанные как на данный момент, так и на более отдаленное будущее. Этот человек, лишенный речи и слуха и едва ли находящийся в здравом уме, добивался нередко превосходства над нормальными, полноценными людьми, потому что полагался только на свою интуицию и остроту восприятия и твердо, без всяких сомнений и колебаний, верил в их непогрешимость.

Вот и сейчас он осуществлял свой замысел четко и уверенно, словно в строгом соответствии с тщательно разработанным планом, однако весьма обстоятельно выполняемые им многочисленные операции не имели никакой логической связи с событиями, которые происходили вокруг него именно в этот день... Сначала он собрал топливо, самое сухое, какое только мог найти, и сложил его между небольшими плоскими камнями в защищенном от ветра месте под прикрытием нескольких высоких куч всевозможного хлама. Потом он разжег костер. Мокрые от дождя дрова загорелись не сразу, но Рен-Рен не оставил попыток развести огонь, отлично зная, что́ в таких случаях нужно делать; он умел разжечь костер в самых трудных условиях. Когда огонь загорелся и вверх весело поднялись языки пламени, Рен-Рен подложил в костер еще дров.

Потом он начал копать. В нескольких метрах от костра он рыл яму совком для мусора, в который вставил длинную рукоятку. Когда яма примерно метровой длины была выкопана на полметра в глубину, он распрямил спину: работа была закончена. Затем он подбросил в костер еще дров и направился своей обычной полурысью по берегу в сторону садов, некогда окружавших виллы. Он прошел между двумя высокими папоротниками и стал озираться по сторонам. Возле скрытых растительностью развалин стен он нашел то, что искал: низкую субтропическую декоративную пальму с толстым стволом и светло-зелеными широкими мягкими листьями. Он срезал ножом несколько листьев, сколько мог донести, и поспешил обратно.

Огромный костер наполовину прогорел, и Рен-Рен подложил в него еще немного дров, после чего все свое внимание сосредоточил на козленке, которого подвесил за задние ноги к палке, привязанной к ржавому остову подъемного крана, одиноко возвышавшемуся неподалеку от них. Из туши капала кровь. Свежая красная кровь медленно стекала в лужу, разливаясь по земле, кровавые капли блестели на ржавом железе. Привычными движениями Рен-Рен освежевал животное, а шкуру свернул и отложил в сторону. Потом он начал мыть тушу в тазу, поливая ее водой, которую сам откуда-то принес. После этого он оставил ее еще немного повисеть для просушки вместе с потрохами, которые засунул обратно в брюшную полость, чтобы потом их съесть. Затем он взял охапку листьев и стал заворачивать тушу в свежие зеленые пальмовые листья. Когда туша вся была в зеленой упаковке, Рен-Рен положил ее рядом с ямой.

Скоро от костра остались одни лишь раскаленные угольев; тогда Рен-Рен взял совок и палку и начал выгребать из угольев горячие камни. Он относил их к яме и сбрасывал на дно. Те камни, которые оказались слишком большими, чтобы перетаскивать их

таким образом, он просто катил по земле, ударяя по ним палкой и подошвами сапог. Скоро дно и стены ямы были сплошь покрыты раскаленными, шипящими камнями. На них он осторожно опустил тушу. Послышался легкий шорох: это листья из наружного слоя сворачивались в трубочку от сильного жара. Теперь он как можно быстрее завалил тушу сверху камнями и землей. Когда работа была закончена, остался лишь догоревший костер и еще небольшая куча земли. Рен-Рен с удовлетворением созерцал это. Вся работа заняла несколько часов.

Через два дня на рассвете, еще до того как завыли первые гудки на заводах Сарагоссы на противоположном берегу фьорда, Марта испустила последний горький вздох и умерла, так и не примирившись со своим мужем и своей горькой судьбой. Док обмыл ее, надел на нее самое лучшее платье, причесал ее жесткие седые волосы и уложил покойницу на расшитое цветами покрывало. Потом он отправился по берегу фьорда на Насыпь, чтобы поговорить с Алланом и попросить его о помощи.

Возле фургона Док долго пытался объяснить Аллану, что ему от него было нужно:

— Она хотела, чтобы ее похоронили на Эббот-Хилл. Она сказала, что хочет лежать в «освященной земле». Помоги мне, пожалуйста, отнести ее туда...

Аллан лишь недоуменно смотрел на него. Похоронили? На Эббот-Хилл? То, что человек может высказывать какие-то особые пожелания насчет того, где его похоронить, было выше его понимания и просто не укладывалось в голове, тем более что вот уж много лет никого не хоронили старым способом: по закону теперь все подлежали кремации.

— Да, я обещал ей позаботиться о том, чтобы ее похоронили на Эббот-Хилл. Думаю, я обязан сделать это несмотря ни на что. Да, я хочу сдержать свое обещание!

Седой, измученный бессонными ночами, Док в это раннее прохладное утро словно стал меньше. Ветер трепал седые космы его волос. Аллан все еще ничего не понимал. Неужели Док считает, что он в долгу перед Мартой? Перед Мартой, которая всеми способами отравляла ему жизнь и теперь умерла? Однако Аллан не стал возражать. Док стоял перед ним постаревший и подавленный и просил об услуге, и Аллан не хотел, да и не мог ему отказать.

Однако ушли они не сразу, и в этот промежуток времени голоса их словно донесли весть о смерти Марты до остальных обитателей Насыпи. Постепенно один за другим появлялись они возле фургона; вот к ним подошли Феликс и Рен-Рен (возвращались с ночного промысла?), Феликс пожал Доку руку, поклонился и сказал:

— Мне очень жаль.

Вниз по тропинке спустилась Мэри Даймонд, чтобы помочь Лизе. Лиза, должно быть, сама услышала, о чем они говорили, потому что внезапно появилась в дверях уже одетая и, очевидно, готовая идти провожать Марту. Даже заспанный Смайли пришел, спотыкаясь, по тропинке и спросил, о чем это они болтают, хотя сказано было совсем немного.

То, что они собрались здесь по случаю смерти Марты, все рассматривали как нечто само собой разумеющееся, и Доку вовсе не надо было объяснять, что он обещал похоронить жену на Эббот-Хилл; все кивали головой, словно сразу все поняли, и даже Смайли оставил на время свою обычную иронию и тоже кивнул головой в знак того, что полностью одобряет задуманное мероприятие.

Наконец все вместе они отправились к дому Дока. Лиза несла Рейн в платке, который завязала, перебросив через плечо. К ней снова стали возвращаться силы, и выглядела она сейчас намного лучше, чем раньше. Бой, который все еще был очень слаб после болезни, сидел, скрестив ноги, на плечах у Аллана. Это было очень странное пестрое шествие, которое медленно двигалось по заросшему травой берегу под холодными лучами зимнего солнца.

Потом Аллан и Смайли несли Марту, а Бой пересел на плечи к Рен-Рену. Сначала они шли по дороге, затем свернули налево, прошли под железобетонной громадой Автострады и начали карабкаться по склону горы с другой стороны, чтобы выйти на тропинку, ведущую к монастырю, на безопасном расстоянии от шоссе и стоянки автомашин. Было нелегко подниматься по довольно крутому откосу, поросшему кустарником и подлеском. Тело Марты было завернуто в ковер, который несли Смайли и Аллан, перебросив концы через плечо. Никто не выражал недовольства таким

необычным способом транспортировки покойника, словно все они были сейчас объединены в усилии добраться до места назначения.

Туристская тропа, по которой они шли на последнем отрезке пути до самой вершины, представляла собой ступеньки из широких каменных плит; по ним было легче идти. Там и сям тропа прерывалась маленькими бетонированными площадками, откуда, по замыслу строителей, туристы могли любоваться открывающимся видом. Прямо под ними Райская бухта простерла свой узкий фьорд, переходящий в более широкий залив. Насыпь казалась огромной пустошью: полоса сильно пересеченной и бесплодной, как пустыня, местности, протянувшаяся вдоль берега. Окованная сталью двойная лента Автострады врезалась в природный ландшафт, вернее, в то, что сверху казалось природным ландшафтом, и исчезала в могучем изгибе моста за бухтой.

Однако этот маленький похоронный кортеж не останавливался, чтобы полюбоваться видом. Они поднимались все выше и выше, задыхаясь от усталости, взмокшие от пота, одержимые одной только мыслью: во что бы то ни стало добраться до монастыря, до кладбища.

За полуразрушенными монастырскими стенами, на площади около трехсот квадратных метров, находилось старое кладбище, со всех сторон окруженное густой живой изгородью, которая хотя бы в какой-то мере противостояла наступлению вьющихся растений и всевозможных сорняков. Надгробные камни покосились и попáдали на неровном грунте, многие были повреждены огнем или эрозией. Некоторые просто лежали на земле. Другие совершенно заросли травой и казались высокими могильными холмиками под толстым покровом похожей на мох травы. У восточной стены расположились самые изысканные надгробья. Здесь было несколько небольших причудливых мавзолеев, построенных в старинном католическом стиле; все орнаментальные украшения были давным-давно обломаны и расхищены охотниками за сувенирами и прочими вандалами, но колонны, своды и массивные каменные гробы оставались, как правило, нетронутыми. Надгробные плиты все еще сверкали своим гладким холодным мрамором.

— Вот здесь,— показал Док.

Он подвел свою маленькую свиту к простому каменному саркофагу без надстройки с простым обелиском из гранита, настолько изъеденного ветром и дождем, что невозможно было прочитать ни одной строчки в надписи, которая когда-то была высечена на камне.

— Здесь она хотела лежать,— сказал Док.— Она сама выбрала это место. Мы иногда приходили сюда погулять, до того как она заболела...

Вместе с Феликсом они начали снимать тяжелую крышку гроба. Смайли и Аллан осторожно опустили тело Марты на землю. Это восхождение было утомительным. Аллан совершенно обессилел, Смайли весь вспотел и тяжело дышал, но когда он посмотрел на Аллана, в уголках его губ снова появилась знакомая дьявольская усмешка.

— Старая Марта не единственная, кто хотел бы, чтобы его усталые члены нашли здесь отдохновение,— пробормотал он, понизив голос, чтобы другие не услышали его.

Лежавший между ними ковер с завернутым в него телом Марты был почти не виден в высокой траве.

— Взгляни на нашу дражайшую Мэри... Она говорила тебе, что это ее излюбленное место для «загородных прогулок» с теми клиентами, которые не любят пачкать сиденья в своих машинах? Ведь так прохладно и приятно лежать на мраморных плитах, когда тепло и светит солнышко...

— Да заткнись ты, Смайли... — отмахнулся от него Аллан, однако его явно задела болтовня Смайли, возможно потому, что последний отрезок пути он шел вслед за Мэри и восхищался ее широким задом и могучими бедрами, которые ритмично напрягались, поднимая по ступенькам ее тяжелое тело...

— Ну-ну, спокойно... Я знаю, что в этом пункте ты все принимаешь слишком близко к сердцу, но мне просто хотелось, чтобы эта грустная церемония открыла тебе определенные перспективы...

Повернувшись к нему спиной, Аллан подошел к Мэри и Лизе, которые сидели на другом надгробье и возились с маленькой Рейн.

Никаких похоронных обрядов не было.

Когда Док и Феликс отодвинули тяжелую плиту, все стали вокруг каменного гроба, который оказался совершенно пустым, если не считать тонкого слоя земли, рассыпанной на дне. Содержимое могилы, по-видимому, давным-давно убрали в соответст-

вии с предписанием властей и из гигиенических соображений. Однако самую могилу оставили в неприкосновенности как «культурную ценность», поскольку на протяжении многих лет город получал немалые доходы от туристов, посещавших монастырь на Эббот-Хилл. Когда Док подал знак, Аллан и Смайли опустили тело, завернутое в ковер, и Марта нашла наконец последнее успокоение на единственном клочке «освященной земли», оставшемся после того, как муниципальные власти взяли на себя распределение мест в колумбариях, а погребальным обрядом стал руководить представитель органов здравоохранения.

После этого все они помогли положить тяжелую крышку на прежнее место. Никто не проронил ни слова. Все оставалось точно таким же, каким было, когда они сюда пришли, вплоть до сувенирного киоска, который рухнул и теперь тяжело опирался о монастырскую стену, и вот уже в течение многих лет медленно сбегали краски с многочисленных рекламных плакатов, которыми он был обклеен. Рен-Рен снова посадил себе на плечи бледного Боя, и они отправились в обратный путь.

Их следы, которые еще оставались на траве, скоро стали неясными и совсем пропали, когда подул ветерок и вдохнул жизнь в густую зелень, выпрямляя стебли растений и разворачивая листья, и уже казалось, что здесь годами не ступала нога человека. Да, годами, а может быть, и столетиями.

Привычными движениями Рен-Рен ловко срыл верхнюю часть земляной печи, разбросал камни, счистил листья, и вот перед ними лежал зажаренный целиком и соблазнительно дымящийся козленок. Рен-Рен достал нож и нарезал каждому щедрые куски свежего вкусного мяса, такого нежного, что пальчики оближешь! Сначала у всех сделались большие глаза, но потом они начали есть и с невероятным аппетитом поглощали это редкое лакомство. Смайли быстро сбегал домой и достал из своего «универсала» бутылку кавы. Док принес кукурузный хлеб и соль. Они сидели вокруг костра, в котором еще потрескивали языки пламени и помогали им не замерзнуть, несмотря на холодный ветер, дававший их даже в этом защищенном со всех сторон месте.

— Лишь высокоразвитая цивилизация сопровождает погребение своих покойников поминальным пиром! — воскликнул Смайли, по грязной бороде которого стекал жир.— Значит, у нас есть еще надежда на спасение!

Он пустил бутылку по кругу. Пили все, кроме Рен-Рена. Рен-Рен сидел на корточках у самого костра и обгладывал верхнюю часть ноги, которую отрезал себе, обгладывал медленно, методично, не жадно, но и не оставляя на кости ни одного кусочка мяса. Лиза сидела рядом с Доком, опустив голову ему на плечо. На руках у нее спала Рейн.

Аллан чувствовал, как ощущение благополучия теплой волной распространяется по телу. Сытная, обильная еда и крепкая водка горячили кровь, он не отрываясь смотрел на Мэри. На Мэри, которая сидела по другую сторону костра и разговаривала с Феликсом. А должна была бы именно сейчас сидеть возле него.

Было уже далеко за полдень. Солнечный диск погрузился во мглу за Сарагоссой. Реактивный самолет провел бледно-розовые полосы у них над головой; высоко-высоко в небе отливал пурпуром и золотом его блестящий фюзеляж. Смайли вдруг вскочил на ноги, замахал руками и заорал:

— Смотрите!

Он имел в виду самолет. Самолет и полосы, которые тот оставлял за собой, рисуя в небе магические узоры.

— Когда бы я ни увидел в небе эту дьявольскую штуковину, мне хочется сбить ее,— прорычал Смайли, изображая на пальцах, будто стреляет из автомата; он кричал и прыгал, исполняя что-то среднее между пантомимой и боевым танцем дикарей под непрерывно меняющимся узором, который рисовал далекий самолет. Его буйство оказалось заразительным; скоро все вскочили на ноги, радостно кричали, вопили, показывая на самолет, и танцевали вокруг костра с поднятыми над головой руками. После обильной еды и крепкой кавы они упивались внезапно обретенной свободой от тягот земных. Они танцевали друг возле друга, и каждый на свой лад выражал то облегчение, которое он вдруг испытал, словно сбросил с плеч какое-то тяжкое бремя. Ими овладевало и их отпускало буйство в едином ритме с танцем и криками, которые становились все неистовей, а потом затихали, словно в изнеможении.

В какой-то момент Аллан и Мэри оказались настолько близко друг возле друга, что он схватил ее за руку и прошептал:

— Сегодня вечером ты придешь ко мне...

Эти слова отнюдь не были пьяным бредом, сватовством захмелевшего мужика; это было совершенно всерьез, это была мольба о счастье; сейчас, когда его желудок был наполнен вкусной сытной едой, а кровь стала густой от выпитой водки, он знал, чего хотел, знал, что ему было нужно... Ему была нужна она, нужна эта женщина, чтобы она всегда находилась рядом, нужна она вся, ее тело, ее практическая сметка, и это стало необходимостью всей его жизни; в этом у него не было никаких сомнений...

— Ты придешь ко мне, слышишь!

Она улыбалась ему, показывая свои выщербленные зубы, улыбалась, но старалась держаться от него на расстоянии, не слишком близко, она все улыбалась, но заставляла его ждать, заставляла просить...

— Ты уверен в этом?

И он, задыхаясь от возбуждения, почти готовый взорваться, говорил:

— Да! Да, Мэри! Сегодня ночью ты придешь ко мне!

— Правда? Ты так в этом уверен?

Она танцевала вокруг него, такая доступная и недосягаемая, покорная и неприступная, обнажая зубы в улыбке и напрягая руку, которую он держал. Она знала, как вести себя с мужчинами, которые не умеют владеть собой. Но он победил, он оказался сильнее, и она поняла это — смиряясь, мягко проскользнула мимо него и шепнула:

— Теперь успокойся...

Это было обещание или предостережение, пока остальные прыгали и плясали в диком боевом танце, а Рен-Рен улыбался во весь рот и подбрасывал дрова в костер, и даже Феликс, захваченный этим безумием, топтался на месте, подпрыгивал и одновременно издавал какие-то высокие пронзительные звуки, похожие на птичьи голоса...

И она пришла к нему, когда стемнело и все остальные разошлись по домам.

Потом Аллан лежал и чувствовал, что больше не одинок в этой темноте, в этой бездонной изначальной кромешной тьме, которая каждую ночь останавливала само Время на Насыпи.

Робинзоны на городской свалке

22 апреля 1977 года из скважины, пробуренной на платформе Браво в норвежском секторе Северного моря, вырвался на свободу мощный нефтяной фонтан, взметнувшийся на шестьдесят метров в высоту. Восемь суток сообщения об этой аварии на крупнейшем норвежском нефтепромысле «Экофиск» напоминали военные сводки, пока наконец известному канадскому специалисту Рэду Эдейру не удалось укротить коварную скважину. За это время из нее выхлестнуло свыше 30 тысяч тонн нефти, образовавшей на поверхности моря огромное «пятно» площадью в пять тысяч квадратных километров. И вплоть до рождества норвежцы пребывали в тревоге, куда сместится смертоносное нефтяное пятно под влиянием капризных ветров: не захлестнет ли оно берега страны, погубив традиционные нерестилища сельди и скумбрии, не обезобразит ли на долгие годы знаменитые фьорды и пляжи?

Это событие — одно из многих в длинном ряду экологических катастроф на морских разработках нефти и аварий супертанкеров — до сих пор оживленно обсуждается в норвежской печати и в стортинге, парламенте страны. Оно подействовало как отрезвляющий душ на тех, кто уже поверил или готов был поверить, что им ниспослана свыше манна небесная в виде нефти. В общественном мнении страны оно стало своего рода рубежом между технологическим оптимизмом и экологическим пессимизмом.

Открытие крупнейших в Западной Европе месторождений нефти в Северном море в конце 60-х годов и еще более заманчивые перспективы на континентальном шельфе Норвежского моря в течение нескольких лет позволяли официальным кругам и буржуазной печати утверждать, что отныне все экономические и социальные проблемы страны можно считать потенциально решенными. Какой смысл препираться о реформах, о том, как перераспределить национальный доход, сколько взять от имущих, чтобы наделить чем-то обездоленных, если благодаря нефти в норвежском «государстве всеобщего благосостояния» и без всякой «перекройки общественного пирога» доля каждого сама собой неизмеримо увеличится! Таков был лейтмотив настойчивой пропаганды как буржуазно-либеральных, так и реформистских партий, размахивавших ключами от природных кладовых Северного моря. И многие норвежцы, причем не только наивные обыватели, уже мнили себя скандинавскими шейхами, сорящими нефтедолларами, уподобляясь тем самым легковерному гамсуновскому Эдеварту, которому проныра и краснобай Август демонстрировал ключи от восьми несуществующих сундуков, «полных всякого добра» и якобы оставленных им на хранение в мифическом Индокитайском королевстве.

Впрочем, в обыденном сознании и повседневном поведении норвежцев, больше чем в какой-либо другой из развитых капиталистических стран, постоянно дает о себе знать своеобразная ностальгия по прошлому: по прежнему, преимущественно сельскому образу жизни, по независимому труду крестьян, рыбаков и ремесленников, по патриархальным и прочным семейным отношениям, по спокойному и размеренному укладу жизни, связанному с близостью к природе и с естественной сменой времен года — то есть по всему тому, чего им столь не хватает сейчас. Ведь большинство норвежских горожан — либо сами выходцы из сельской местности, либо их потомки в первом поколении. Долгое время они мирились с безжалостным и стремительным вторжением в их повседневную жизнь отрицательных последствий индустриализации, урбанизации и научно-технической революции, находя им оправдание, а себе утешение в том, что благодаря им Норвегия вышла на первое место в мире по производству энергии и по количеству изданных книг на душу населения; на одно из первых — по средней продолжительности жизни, по национальному доходу и социальному обеспечению, по образованности и по тиражам газет. Эти статистические показатели, которыми привыкли гордиться в Норвегии, до поры до времени заслоняли теневые стороны «экономического чуда», а именно то, что их стране, увы, принадлежит также одно из первых мест на Западе по темпам инфляции, по национальному долгу на душу, по налогообложению населения, по хрупкости семейных отношений и т. п. Но в последние годы норвежцы начали замечать, что пресловутое «экономическое чудо» явно ускользает из рук: погоня за количеством благ, в значительной мере эфемерных, сопровождается повсеместным и очевидным ухудшением «качества жизни», особенно для рядовых граждан. Именно этот социальный контекст во многом объясняет громадный успех романа К. Фалдбаккена «Страна заката» у читателей не только на его родине, но и во всей Скандинавии.

Кнут Фалдбаккен сложился как писатель в конце 60-х — начале 70-х годов, в период взлета и упадка радикального движения социального протеста молодежи, выступавшей под знаменем «новых левых». Неудивительно, что молодой норвежский писатель не только принял близко к сердцу возмущение, идеалы и чаяния этой протестующей молодежи, но и глубоко переживал ее последующие разочарование, смятение и уныние. Его литературная деятельность в те годы постоянно вращается вокруг молодежи, ее места и призвания в обществе. Уже его третий роман «Мод танцует», где затрагивались эти проблемы, по мнению критики, выдвинул Фалдбаккена «в ряд лучших современных прозаиков Норвегии». Эту репутацию еще более укрепил следующий остросюжетный роман, по форме близкий к детективу,— «Лето насекомых», в котором писатель стремился не только постигнуть глубокие социально-психологические корни так называемого «конфликта поколений», крайне болезненно дававшего о себе знать и в Норвегии, но и в меру своих сил помочь родителям и детям понять друг друга, преодолеть взаимное отчуждение между миром подростков и миром взрослых. Однако подлинный и прочный успех, широкую известность как на родине, так и за ее пределами ему принес роман «Страна заката» (1974), удостоенный общескандинавской литературной премии Северного совета.

Это пока самое значительное произведение Фалдбаккена трудно отнести к какому-либо одному, определенному жанру: в нем органически сочетаются утопия и антиутопия, фантастика и реальность, робинзонада и философская повесть, нравоописание и социальная сатира. «Страна заката» вместе со своим непосредственным продолжением — романом «Свитуотер» (1976) составляет эпическую дилогию «Недород», которую можно назвать своего рода сагой об Аллане Юнге, бросившем вызов разлагающемуся «потребительскому обществу».

Сейчас книжный рынок на Западе буквально наводнен сочинениями на ставшую модной экологическую тематику — от солидных научных трактатов до политических памфлетов, от актуальных репортажей с места природного бедствия до апокалипсических прогнозов о беспросветном будущем, якобы ожидающем человечество. Лучшие из зарубежных научных и публицистических работ, посвященных настоятельной проблеме охраны окружающей среды — книги Барри Коммонера «Замыкающийся круг», Жана Дорста «До того, как умрет природа», Уильяма О. Дугласа «Трехсотлетняя война», Рене Дюбо и Барбары Уорд «Земля только одна» и многие другие,— изданы и у нас в стране. Несравненно меньше повезло художественной литературе на эту тему, которая представлена преимущественно эпизодическими переводами научной фантастики. «Страна заката» Фалдбаккена весьма удачно восполняет данный пробел. Достоинство романа состоит прежде всего в том, что загрязнение окружающей среды автор прямо и недвусмысленно связывает с породившими его социально-экономическими пороками «потребительского общества», основанного на погоне за выгодой,— а не стремится приписать, как это принято на Западе, абстрактной «хищнической природе» человека вообще. Вместе с тем роман начисто лишен всей той ложной риторики, которая типична для подобного рода литературы. У норвежского писателя и другие цели, и иные художественные средства.

Для Аллана Юнга переселение на городскую свалку — не стихийный акт отчаяния, а пролог к самоутверждению и возрождению своей личности. Здесь, на свалке, он, подобно Робинзону, пытается начать новую жизнь, руководствуясь житейской мудростью, приобретенной после долгих мытарств героями вольтеровского «Кандида»: «Будем работать без рассуждений...— это единственное средство сделать жизнь сносной». Вскоре он встречает таких же, как он сам, добровольных и вынужденных изгоев: деклассированных рабочих-эмигрантов, бывших интеллигентов и прочие «человеческие отбросы» современной «западной цивилизации» — людей, потерпевших жиз-

ненное крушение. Постепенно из них складывается микроскопическая община «новых дикарей», зиждущаяся на взаимопонимании, терпимости друг к другу и элементарной солидарности. Совместными усилиями они стараются превратить свое убежище в «островок спасения» от тлетворного влияния выродившейся цивилизации. И их усилия вознаграждаются: сквозь истерзанную землю пробивается свежая поросль растений, становится чище вода в бухте, появляются первые животные, а в искалеченных душах пробуждается человечность, ибо жизнь каждого приобретает значение для остальных. Свою с таким трудом и ценой огромных лишений обретенную независимость и свободу этим робинзонам конца XX века приходится отстаивать не от традиционных кровожадных каннибалов и пиратов, а от посягательств полицейских и чиновников, намеренных обратить их вновь в жалких иждивенцев «государства всеобщего благосостояния», этого, если верить официальной пропаганде, «лучшего из возможных миров».

Эта весьма далекая от идиллии робинзонада на протяжении романа контрастирует с прогрессирующим упадком и разложением «потребительского общества», воплощенного в Свитуотере, мегалополисе с восемью миллионами порабощенных им жителей. От кратковременного периода, когда он слыл «образцом экономического процветания, социального благополучия и политической стабильности», остались разве лишь воспоминания да назойливые и лицемерные казенные лозунги. Ныне Свитуотер олицетворяет собой не только страшное экологическое бедствие, но и социальное зло во всех его обнаженных и скрытых проявлениях: анархия производства, о которой свидетельствуют остановившиеся предприятия, рельсы, нигде не начинающиеся и никуда не ведущие, сама свалка на месте некогда проектировавшихся новых портовых сооружений и верфей, неукротимая инфляция, обесценивающая не одни лишь деньги, но поистине все вокруг — человеческий труд и человеческие отношения, социальные идеалы и социальное обеспечение. На всем давно и бесповоротно лежит печать упадка и опустошения; в городе процветают черный рынок, проституция и воровство. А попытки городских властей спасти положение выливаются лишь в дополнительную удушающую бюрократию и регламентацию жизни, в притеснение на каждом шагу. «Общество потребления» превратилось в гигантскую мышеловку для своих обывателей, которым оно вместо обещанного материального благополучия может предоставить лишь синтетическую пищу, да и то по скудным нормам, а вместо счастья — столь же синтетические радости.

В изображении Свитуотера Фалдбаккен поднимается до уровня блестящей социальной сатиры, пользуясь при этом предельно лаконичными и выразительными художественными средствами. Каким сарказмом веет, например, от самого названия города — Свитуотер, что в переводе с английского означает «сладкая (или пресная) вода» — ведь из водопроводных кранов скупой струйкой льется какая-то химическая жидкость, более зловонная и опасная для здоровья, чем мутная вода в колодце на свалке. С какой зловещей иронией вспоминает Аллан наставления своего отца: «Будь архитектором или врачом! Вся наша цивилизация основана на новых домах и больных людях», когда он, сам архитектор, встречает на свалке врача Антона Фишера, подвергнутого остракизму только за излишнюю гуманность. Постепенно с точки зрения условий для жизни под виртуозным пером норвежского писателя Свитуотер и городская свалка неумолимо меняются местами.

Литературный талант, как известно, представляет собой сложный и неповторимый в каждом отдельном случае сплав эмоциональных и рациональных моментов познания и отражения действительности. Среди его многочисленных слагаемых исключительно важная роль принадлежит творческому обобщению, художественной проницательности и дару предвосхищения. Напомним, что роман «Страна заката» был опубликован в 1974 г., следовательно, написан не только за несколько лет до катастрофы на «Экофиске», о которой шла речь выше, но и до экономического кризиса 1974—1975 гг., потрясшего до основания мировую капиталистическую систему. Разразившийся в конце 1973 г. энергетический кризис был воспринят в Норвегии без особой тревоги, ибо в многократном повышении цен на нефть там, в отличие от остальных стран Запада, усматривали отнюдь не экономический ущерб, а скорее прямую выгоду. Лишь несколько лет спустя стало очевидным, что экономические расчеты, которыми обольщались норвежские предприниматели и правительство, покоились на шатком основании. Добыча нефти обогащала главным образом иностранные корпорации, самим же норвежцам приносила не столько нефтедоллары, сколько новые долги — государственные, акционерные и личные. И тогда фантастическое сочинение о вымышленной стране и отдаленном будущем, каким поначалу воспринимался многими читателями роман Фалдбаккена, стало обретать вполне зримые черты, реально осязаемые острые грани.

Хотя страна, описанная Фалдбаккеном, если подходить к ней со строго географическими и политическими критериями, является литературным вымыслом, она вместе с тем определенно представляет собой художественное обобщение многих типичных черт современного антагонистического государства, рассматриваемого в его исторической перспективе. «Страна заката» как бы органически сочетает в себе социальные пороки, проявляющиеся с наибольшей силой в разных капиталистических странах.

«Роман о будущем, в котором мы живем» — так выразительно и лаконично охарактеризовала произведение Фалдбаккена норвежская газета «Дагбладет». Разумеется, загрязнение окружающей среды, тем более в Норвегии, еще очень далеко от того, каким оно описано в романе. Но разве не напоминает его реальное положение, сложившееся во многих промышленных центрах Западной Европы, Соединенных Штатов и Японии, о чем с возрастающей тревогой пишут ученые и общественные деятели?

Тема кризиса больших городов, особенно в США (также убедительно освещенная

в романе), буквально не сходит со страниц западной прессы, и первым в списке тех, кому уготована участь Свитуотера, значится Нью-Йорк, отчаянно балансирующий на грани финансового банкротства. А за ним уже выстроилась длинная очередь других центров «западной цивилизации» — Кливленд, Чикаго, Лос-Анджелес, Неаполь, Токио...— городские власти которых бессильны справиться с загрязнением окружающей среды, с экономическим упадком и социальным маразмом, с организованной преступностью, наркоманией и прочими пороками капиталистической урбанизации.

Еще два десятилетия тому назад образы Аллана Юнга и других изгоев, описанных Фалдбаккеном, могли рассматриваться как нетипичные для «западной цивилизации». Но вслед за живописными хиппи, появившимися в США в середине 60-х годов, пресловутое «государство всеобщего благосостояния» исторгает из своих недр все новые волны самых разнообразных «неприкаянных», которых порождает индивидуальный протест против социальной действительности, а также массовая, порой даже катастрофическая безработица среди молодежи. По данным западных социологов, в одной лишь Западной Европе ныне насчитывается несколько сот тысяч так называемых «аутсайдеров», похожих и непохожих на Аллана Юнга,— они ищут спасения от «потребительского общества» в создании всякого рода эгалитарных коммун, патриархальных общин, натуральных хозяйств, в экзотичных религиозных сектах либо просто превращаются в отчаявшихся, разочарованных в жизни бродяг.

Все это придает роману Фалдбаккена с каждым годом возрастающую социальную актуальность. В подтверждение достаточно сослаться хотя бы на то обстоятельство, что согласно проведенным на Западе опросам общественного мнения накануне 1980 г. большинство опрошенных было убеждено, что их дети будут жить хуже, чем жили родители, а также выражало нескрываемую тревогу насчет будущего, которое ожидает их самих.

Творчество Фалдбаккена продолжает демократические и гуманистические традиции норвежской литературы XIX—XX веков, благодаря которым она приобрела общечеловеческое значение и обогатила мировую культуру непреходящими художественными ценностями. Гражданский пафос Генрика Ибсена в утверждении идеалов справедливости и эмансипации личности, стремление к гармоничному слиянию с природой, присущее Бьёрнстьерне Бьёрнсону, озабоченность судьбой простого человека и поиски смысла жизни в лучших произведениях Кнута Гамсуна, отстаивание новых социальных ценностей и идея исторической преемственности поколений у Сигрид Унсет — все эти мотивы оригинально преломляются и в романе Фалдбаккена.

«Страна заката» дает некоторые основания говорить об увлечении автора утопическими идеями, популярными среди «новых левых». Дело, разумеется, не в том, что главные персонажи романа — типичные представители тех самых «периферийных социальных слоев» современного капиталистического общества, с которыми Герберт Маркузе и прочие мелкобуржуазные идеологи движения «новых левых» связывали свои надежды на радикальное переустройство «западной цивилизации». Фалдбаккен, несомненно, талантливо и правдиво изобразил противоречивые идеалы, мотивы поведения и образ мыслей этих «аутсайдеров», их анархический протест против всякой власти, разочарование в политике и идеологии, технофобию и антиинтеллектуализм, преклонение перед первобытностью и склонность идти на поводу у чувств. Конечно, несправедливо было бы упрекать автора за сочувствие к своим героям, ибо они на самом деле заслуживают и нашего сочувствия. Но нельзя обойти молчанием, что в «Стране заката» Фалдбаккену, к сожалению, не удалось убедительно опровергнуть весь этот мелкобуржуазный псевдорадикальный синдром, а тем более противопоставить ему реалистическую альтернативу. Естественно, мы не собираемся отождествлять идейные позиции автора с мыслями и поступками его героев: норвежский писатель отнюдь не разделяет взгляды мятущихся мелкобуржуазных радикалов; напротив, он их развенчивает. Внимательный читатель убедился в этом уже по содержанию прочитанного им романа.

Вторая же книга дилогии — «Свитуотер», вышедшая два года спустя, не оставляет уже никаких сомнений в критическом отношении автора к описанной им утопии. Сага об Аллане Юнге завершается гибелью не только Свитуотера, который разваливается как карточный домик под бременем своих социальных пороков, но и противопоставляемого ему «острова отщепенцев», эфемерного заповедника для вымирающих последователей анархистских идей «новых левых». И в целом из дилогии читатель выносит твердое убеждение в том, что реальный путь к спасению от пороков «потребительского общества» заключается не в бегстве от него, а в его преобразовании на разумных и справедливых началах, не в отречении от достижений цивилизации и ценностей мировой культуры, а в их превращении в подлинное достояние человечества, не в движении вспять, а в общественном прогрессе.

Сейчас Фалдбаккен, покинув Осло, поселился неподалеку от небольшого провинциального городка Хаммера, на востоке Норвегии, откуда он сам родом. В этом «творческом уединении» он сохраняет живой интерес ко всему, что происходит в мире, доброжелательность к людям и оптимизм. Его размышления о смысле жизни и будущем цивилизации перекликаются с заключительными словами вольтеровского «Кандида»: «Каждый должен возделывать свой сад», что означает для него не только заботливое отношение к природе, но и культивирование заложенных в каждом человеке способностей и дарований. И мы надеемся, что Кнут Фалдбаккен подарит не только норвежскому, но и советскому читателю новые увлекательные и содержательные книги.

ЭДВАРД АРАБ-ОГЛЫ

■

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

Б. БЯЛИК

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Почему противников коммунизма заинтересовала тема «В. И. Ленин и М. Горький»?

1

Мне придется начать с напоминания о том, о чем я уже когда-то писал на страницах «Иностранной литературы» [1]. Когда-то! Я имею в виду не такие уж давние годы — 1968-й и 1969-й. Но после них в мире произошло столько событий и совершилось столько перемен, что та пора кажется отошедшей далеко назад. Я хочу напомнить о столетних юбилеях М. Горького и В. И. Ленина. Широкая и мощная волна откликов, вызванная этими юбилеями, наглядно показала, как растет в сознании человечества значение великого политического вождя и одного из его последователей и друзей, ставшего родоначальником нового искусства. Правда, были и совсем другие отклики, показавшие, что живет и растет не только любовь к этим людям, но и ненависть к ним. Однако и такие отклики по-своему свидетельствовали о том, что В. И. Ленин и М. Горький — «живее всех живых».

К откликам второго рода принадлежали статьи и книги американских и западноевропейских советологов — те, в которых их авторы, отмечая юбилей М. Горького, уже начинали подготовку к гораздо больше тревожившему их ленинскому юбилею. Именно этой подготовкой во многом объяснялась новая и неожиданная нота в их сочинениях: нота «защиты» М. Горького (в сущности, от нападок самих этих советологов в предшествующий период) и своеобразной его «реабилитации». Прежде советологи дружно повторяли утверждения русских реакционных литераторов дооктябрьской поры, что М. Горького как художника «погубили» партийные «догмы», идеи В. И. Ленина. Теперь советологи стали уверять, что М. Горький не дал себя погубить, преодолев угрожавшие ему «догмы». Суть новых писаний о нем состояла в стремлении любыми способами отделить и отдалить его от В. И. Ленина и от ленинских идей, а главное — от всего того, в чем эти идеи нашли реальное воплощение.

Пожалуй, наиболее полно такое стремление выразилось в книге Бертрама Вулфа «Мост и пропасть» (1967), посвященной (как было сказано в подзаголовке) «беспокойной дружбе Горького с Лениным». Книга начиналась словами: «Между Лениным и Горьким зияла пропасть. Через эту пропасть был переброшен мост дружбы и симпатии — искренней с обеих сторон дружбы, как мне кажется, и искренней симпатии. Но этот мост был таким же ненадежным, как веревочный мостик, переброшенный через лесистый каньон... Этот мост постоянно разваливался и падал в пропасть». А кончалась книга словами: «Все течение их бурной дружбы доказывает ту истину, что ни один из них не нашел в другом того, что искал». Одиннадцать глав книги, расположенных между этим началом и этим концом, по-разному варьировали одну и ту же мысль: как ни старались В. И. Ленин и М. Горький сохранить свою дружбу, из этого ничего не получилось и не могло получиться — слиш-

[1] См. «ИЛ» № 2, 1968 и № 4, 1969.

БЯЛИК БОРИС АРОНОВИЧ (род. в 1911 г.).

Советский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «Эстетические взгляды Горького» (1939), «О Горьком» (1947), «М. Горький — литературный критик» (1960), «М. Горький-драматург» (1962, 1977), «Наедине с прошлым» (1966, 1968), «Судьба Максима Горького» (1968, 1973), «Властители дум и чувств. В. И. Ленин и М. Горький» (1970), «Подвиг литературы» (1973) и других, а также многочисленных статей о русской классической и советской литературе.

ко... «непримиримым» было «различие их натур».

Любой человек, хоть немного знакомый с историей отношений В. И. Ленина и М. Горького, спросит: на что мог рассчитывать Вулф, высказывая такие нелепости? Отвечаю: он рассчитывал на читателей, незнакомых с историей этих отношений. Однако он должен был создать хотя бы видимость доказательств? Создал, указав на расхождения между В. И. Лениным и М. Горьким в годы реакции (когда писатель увлекся «богостроительством») и в 1917—1919 годы (когда он не сразу понял своевременность социалистической революции). Но ведь М. Горький позднее признал ошибочность своей позиции тех лет и решительно ее осудил? И ведь его расхождения с В. И. Лениным охватывали считанные годы, а чувства дружбы и любви прошли через десятилетия, победив все преграды? Да, так это было в действительности, но Вулф ухитрился уподобить эти сохраненные до конца жизни чувства тоненькому веревочному мостику, а временные расхождения — непреодолимой пропасти.

Для чего же понадобилась эта фальсификация? Для того, чтобы искусственно противопоставить М. Горького В. И. Ленину: «Ленин верил в классы, в классовую борьбу... Горький верил в Человека, в свободу, в спасительность искусства и науки, в святость отдельной личности». Так заявил Вулф, когда-то называвший себя коммунистом, а затем занявшийся антикоммунистическим и антисоветским бизнесом. Было бы наивно думать, что к М. Горькому он относился лучше, чем к его великому другу. Как трудно было Вулфу выдавливать из себя комплименты по адресу М. Горького, показывает, например, следующая его фраза: «Великий писатель — правда, никогда не бывший таким великим, каким его сейчас считают...». И если Вулф все-таки выдавливал из себя похвалы, то лишь для того, чтобы обратить их против В. И. Ленина, чтобы заявить, что он якобы не верил «в Человека, в свободу, в спасительность искусства и науки, в святость отдельной личности».

Вулфу и ему подобным надо было доказать (это не было их собственным «открытием», это было «изобретением» всего идеологического аппарата капитализма на новом этапе), что существуют два вида социализма: один — «негуманный» и «недемократический», исходящий из представления о разделении человечества на разные классы и разные социальные системы, другой — «демократический» и «гуманный», отказывающийся от этого «устаревшего» представления и все больше сближающийся с капиталистическим «свободным миром».

Та же мысль легла в основу книги Дэна Левина «Буревестник» (1965), где утверждалось, что М. Горький никогда не сблизился бы с большевиками, если бы В. И. Ленин не воспользовался его «хаотическим юношеским взрывом» и не повернул в нужную ему сторону «незрелый плод горьковского гнева». В конце же жизни, уверял Дэн Левин, М. Горький осознал, что прожил ее «не на той улице», и вложил это трагическое признание в 1932 году в уста... Егора Булычова. А как же быть со всем тем, что говорил М. Горький до последних дней, до последнего дыхания о справедливости и величии дела В. И. Ленина и Коммунистической партии? Как быть, например, с той концовкой, которой М. Горький дополнил в 1930 году свой очерк «В. И. Ленин»? Она ведь звучит гимном тем, кто идет ленинским путем: «Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал». Разве эти слова можно перетолковать?

Перетолковать нельзя, но можно... изъять. Об этих словах в книге Дэна Левина было сказано: «Редакторы говорят, что Горький внес это изменение в 1930 году. Возможно. Однако содержание и стиль этого дополнения, искажающего последнюю фразу очерка, говорят о том, что оно сделано скорее всего от имени Горького после его смерти». То же самое утверждалось в книге Бертрама Вулфа: «Не только мысль, но и стиль новой концовки чужды Горькому». А между тем и Дэн Левин, и Вулф прекрасно знали, что очерк «В. И. Ленин» с новой концовкой был опубликован не после смерти М. Горького, а в 1930 году и потом несколько раз публиковался при жизни автора. Они прекрасно знали, что в 17-м томе 30-томного собрания сочинений М. Горького помещена фотография машинописи очерка «В. И. Ленин», где видно, что новая концовка добавлена автором от руки. Значит, Левин и Вулф лгали. Лгали вполне сознательно, потому что мысль и стиль новой концовки были чужды не Горькому, а им, разрушали их построения, срывали маску мнимой «научности» с их фальшивых пропагандистских писаний. А ведь книги Вулфа и Дэна Левина были изданы в ряде стран и вызвали много рекламных откликов в печати. От этих книг, как и от других выступлений американских советологов на ту же тему и того же научного и морального уровня, стали расходиться круги по западноевропейской прессе.

В виде новейшей сенсации дали в 1971 году материалы на эту тему газеты Италии: 1 октября — «Стампо», 17 октября — «Эспрессо» (целую полосу!), 18 декабря — «Коррьере делла сера». Как мало интересовали авторов публикаций факты биографии М. Горького, показывает хотя бы такой курьез. Помещенная в «Эспрессо» фотография Алексея Максимовича с женой и маленьким сыном, сделанная в 1899 году, была датирована в газете... 1920 годом. Да и вообще, если бы эти газеты испытывали интерес к М. Горькому, они могли бы напомнить своим читателям о более чем пятнадцатилетнем (в общей сложности) пребывании писателя в Италии, о дружеских встречах его с В. И. Лениным на Капри. Но газеты заинтересовались только расхождениями М. Горького с В. И. Лениным в 1917 году. Только этим.

2

А теперь перенесемся с Запада на Восток и обратимся к тем статьям о В. И. Ленине и М. Горьком, которые появились в

1975 году во многих китайских газетах и журналах — появились одновременно, словно по команде (впрочем, нужно ли в данном случае это «словно»?). Эти статьи любопытны и сами по себе, и в связи со всем тем, что им предшествовало в китайской прессе, и особенно в сопоставлении с некоторыми американскими и западноевропейскими выступлениями на ту же тему.

Отношение к М. Горькому претерпело в КНР за сравнительно короткий срок удивительную эволюцию. Еще в 1963 году, когда отмечалось 95-летие со дня рождения писателя, китайская пресса откликнулась на этот юбилей множеством статей. Однако все юбилейные статьи были написаны по одной схеме: революционные традиции Горького противопоставлялись современной советской литературе, которая якобы впала в ревизионизм и отреклась от этих традиций. Но прошло три-четыре года, началась «культурная революция» — та самая «культурная революция», которая была обращена и против революции, и против культуры — и имя Горького исчезло со страниц китайских журналов и газет. Зато на этих страницах появилось нечто другое.

18 апреля 1966 года армейская газета «Цзэфанцзюнь бао» (один из главных рупоров «культурной революции») выступила с программной редакционной статьей об отношении к литературному наследию. В статье говорилось о необходимости «ликвидации слепой веры» в классиков, о задаче разоблачения «буржуазных» взглядов Чернышевского и Добролюбова (злоба против этих «социалистических Лессингов», как называли их основоположники марксизма, возникает везде, где побеждают антигуманизм и шовинизм) и о том, что пора положить конец «преклонению» перед «некоторыми сравнительно хорошими советскими революционными литературными произведениями». Хотя в последнем случае никто не был назван, формулировка носила такой характер, что первым приходило на ум «исчезнувшее» имя Горького.

Когда наступил 1968 год, возник вопрос: какая команда будет дана китайской прессе по случаю нового, гораздо более важного горьковского юбилея? Разыграют ли маоисты еще раз комедию «защиты» горьковских традиций или пойдут в открытую атаку на них? Произошло неожиданное: китайская пресса, отмечавшая с таким шумом и треском 95-летие М. Горького, откликнулась на его 100-летие... полным молчанием. Это кажется неправдоподобным, фантастическим, но дело обстояло именно так. Китайский народ знает и любит творчество М. Горького. Почти все его произведения переведены на китайский язык; многие из них переводились и издавались несколько раз. По свидетельству Лу Синя, нет другого иностранного писателя, который оказал бы такое влияние на китайскую литературу XX столетия, как М. Горький. Мог ли кто-либо предвидеть, что 100-летний юбилей великого писателя не будет отмечен в Китае ни одной строкой, ни одним словом?!

Заговор молчания вокруг М. Горького существовал в КНР до 1975 года, когда был нарушен упомянутой серией статей, прежде всего статьей Жэнь Ду «Уезжайте из Петербурга!», имевшей подзаголовок «Впечатление от письма Ленина Горькому, написанного в июле 1919 года». Статья эта появилась в № 3 шанхайского журнала «Чжао ся» («Утренняя заря») и была перепечатана в «Жэньминь жибао». Затем эта газета опубликовала на ту же тему статью Ни Мояня «Боевой символ марксистов», после чего выступили другие китайские газеты и журналы. Останавливаться на всех этих выступлениях нет необходимости: речь в них шла об одном и том же и в одной и той же связи, а именно в связи с проводившейся тогда в Китае кампанией борьбы «за укрепление диктатуры пролетариата». Чтобы понять истинную суть этой кампании (не менее шумной, чем проведенная до нее кампания «критики Линь Бяо и Конфуция») и чтобы стало ясно, почему маоистам понадобилось вспомнить о Горьком, достаточно обратиться к статье «Уезжайте из Петербурга!».

Жэнь Ду утверждал, что диктатуру пролетариата в Китае надо защищать от нарождающихся снова и снова «буржуазных элементов», которые держатся за «буржуазное право» и требуют оплаты по труду. Требования же такого рода, как и всякая забота о повышении материального уровня, о благосостоянии народа, направлены против диктатуры пролетариата. В порядке доказательства Жэнь Ду привел пример: группе молодых пролетарских литераторов «негодяи» из китайского Союза писателей «подло» пообещали славу и гонорары и тем сбили их с правильного пути. Молодые литераторы направили «все свои духовные силы на индивидуальное творчество... на создание своих личных «творений»...». Засевшие в Союзе писателей негодяи-ревизионисты «усыпляли их сладкими речами, приятным обхождением и даже предоставлением условий для повышения квалификации...».

Смысл последнего «обвинения» проясняли следующие рассуждения Жэнь Ду: «Исторический опыт говорит о том, что в нашем обществе научиться создавать художественные произведения совсем не так уж трудно... Со времени великой культурной революции партия, проявив высокий энтузиазм, вырастила еще один большой отряд рабоче-крестьянских писателей. Не умея раньше создавать художественные произведения, они прошли процесс овладения творчеством...». Но то были другие писатели, изучавшие труды «председателя Мао», а те, которым была посвящена статья Жэнь Ду, желали повысить литературную квалификацию, чтобы создавать «личные» произведения и получать гонорары. Естественно, что их пришлось отправить в специальные трудовые лагеря на перевоспитание, или, как выразился Жэнь Ду, на «переплавку»...

Но при чем тут был М. Горький? А при том, что один из «заблудившихся» молодых китайских литераторов смог избежать «переплавки» благодаря «повторной проработке письма Ленина Горькому». Из этого

Б. БЯЛИК
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

письма он почерпнул для себя спасительный урок: оказывается, Ленин посоветовал в 1919 году Горькому уехать из Петербурга, желая оторвать его от индивидуального литературного творчества и от буржуазной среды. «Совет Ленина Горькому покинуть Петербург и критика председателем Мао китайских «петербургов» 60-х годов,—писал Жэнь Ду,— отделены друг от друга полувеком, долгими годами. Отсюда ясно, какой длительный и извилистый характер имеет подобная борьба в условиях диктатуры пролетариата». Нелепость статьи «Уезжайте из Петербурга!», как и других статей, написанных по той же шпаргалке, очевидна. Известно, что В. И. Ленина волновало не то, что М. Горький создавал «личные» произведения, а то, что он не создавал их, что он поставил себя тогда в Петрограде в такое положение, которое мешало его художественному творчеству: «Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворило бы художника...» [1]. Какое это имело отношение к выдуманной маоистами опасности «индивидуального творчества» и к «буржуазному праву»?!

Вообще в кампании борьбы «за укрепление диктатуры пролетариата» все было насквозь фальшиво. Фальшивой была попытка маоистов найти у В. И. Ленина опору для борьбы против принципа оплаты «по труду» — В. И. Ленин вслед за основоположниками марксизма решительно отвергал уравнительный и «казарменный коммунизм». Еще более фальшивой была их попытка оправдать свою военно-бюрократическую диктатуру тем, как ставил В. И. Ленин вопрос о диктатуре пролетариата в 1919 году в условиях гражданской войны и иностранной интервенции. Но рекордом фальши было все сказанное маоистами об отношениях В. И. Ленина и М. Горького. В отличие от западных советологов, противопоставляющих М. Горького В. И. Ленину, маоисты противопоставляли В. И. Ленина М. Горькому, но и те и другие равно клеветали на великого пролетарского писателя, стремясь вырыть пропасть между ним и его великим другом. И хотя советологи при этом порицали В. И. Ленина за недооценку «отдельной личности», а маоисты хвалили его за недоверие к «индивидуальному творчеству» — и то, и другое было одинаковой по своему смыслу клеветой.

Еще в 1895 году, набрасывая в тюрьме проект программы социал-демократической партии, В. И. Ленин писал о будущем социалистическом обществе: «Продукты, производимые общим трудом, будут тогда идти в пользу самих трудящихся, а производимый ими излишек над их содержанием будет служить для удовлетворения потребностей самих рабочих, для полного развития всех их способностей...» [2]. В 1905 году, обосновывая принцип партийности литературы, В. И. Ленин подчеркивал необходимость обеспечения в литературном деле «...большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» [1]. И разве отношение В. И. Ленина к М. Горькому не показало с полной ясностью, с каким бережным вниманием относился Владимир Ильич к «индивидуальному творчеству», к личности художника и к личности вообще, к ее всестороннему развитию?

Трудно сказать, когда маоисты проявляли большее лицемерие: когда «защищали» М. Горького от «ревизионизма» современных советских писателей или когда уличали самого М. Горького в «ревизионизме». И трудно сказать, в чем было больше лицемерия: во всех этих выступлениях маоистов или в кампании по «реабилитации» М. Горького, предпринятой американскими советологами, например — в статье газеты «Нью-Йорк таймс», имевшей весьма своеобразное название: «Горький — безоговорочно хороший человек».

3

Прежде чем говорить об этой статье, необходимо сделать несколько предварительных замечаний. 70-е годы были отмечены в США и в ряде других капиталистических стран ростом интереса к драматургии М. Горького. Прежде, в конце 50-х и в первой половине 60-х годов, интерес к этой драматургии вырос во Франции, чему содействовал драматург Артюр Адамов, повернувший от «театра абсурда» к реализму. В переводах Адамова на сценах Парижа появились «Мещане», «Васса Железнова», «Дети солнца», «Враги». Из спектаклей 60-х годов особенно много откликов и интересную дискуссию во французской прессе вызвали «Дети солнца», поставленные в Национальном народном театре.

Во второй половине 60-х годов интерес к горьковской драматургии возник и в Англии, где несколько пьес М. Горького поставил на сцене Королевского шекспировского театра режиссер Д. Джонс (он выразил в шутливой форме свое восхищение горьковской драматургией, пообещав основать в Англии... Королевский горьковский театр). Гастроли этого театра в США, прошедшие с большим успехом в 1970 году (особенный успех имел спектакль «Враги»), привели к тому, что и эта крупнейшая страна капиталистического мира, как пишут американские газеты, «открыла» для себя драматургию М. Горького. Что в свою очередь положило начало тому явлению, которое буржуазная пресса окрестила горьковским «бумом» в театрах многих стран Запада.

А в США? До 70-х годов на сценах американских театров ставилась, судя по всему, лишь одна горьковская пьеса — «На дне»; теперь здесь были поставлены «Враги», «Последние», «Чудаки», «Зыковы», «Егор Булычов и другие», причем эти и другие горьковские спектакли вызвали многочисленные отклики в американских газетах и журналах. Отклики были разноречивы, но в своем большинстве они высоко оценивали дарование М. Горького-драматурга (иное говорилось только в бульварных газетах). В них даже выражалось удивление по поводу того, что в его пьесах действуют вовсе не «идеологические манекены», как

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, стр. 26.
[2] Там же, т. 2, стр. 97.

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 101.

уверяли советологи, а живые люди, помогающие зрителям лучше понять мир и самих себя. Например, пьеса «Враги» была названа «пророческой» на страницах таких изданий, как «Вашингтон пост», «Уолл-стрит джорнэл» и др.

Особенно удивителен и вместе с тем характерен успех пьесы «Враги» — произведения острополитического, посвященного главному классовому конфликту эпохи и проникнутого не просто духом первой русской революции, а духом ленинской, большевистской тактики в ней: пьеса сбрасывает с либеральной буржуазии маску «демократизма» и «гуманизма» и разоблачает ее контрреволюционную сущность. Надо при этом иметь в виду, что «Враги» были написаны М. Горьким в 1906 году в США,— нельзя не видеть внутренней связи этой пьесы с созданными тогда же горьковскими американскими очерками и памфлетами, показавшими истинную цену «демократии» и «свободы» в США (эти выступления писателя-революционера сразу вызвали волну злобных откликов со стороны американских сенаторов, мэров и одного епископа, потрясенных недостатком уважения к «величайшему свободному строю Земли»). Нельзя не видеть связи с американскими впечатлениями М. Горького заявления одного из персонажей «Врагов» — реакционера Николая Скроботова: «...социализм очень опасное явление. И в стране, где нет самостоятельной, так сказать, расовой философии... там он должен найти для себя почву». И либеральный буржуа Захар Бардин, хотя и не без лицемерных оговорок, соглашается с ним: «Николай Васильевич говорит: не борьба классов, а борьба рас — белой и черной!.. Это, разумеется, грубо, это натяжка... но если подумать...»

Когда в 1966 году Дрезденский драматический театр поехал на гастроли в ФРГ и показал там свою постановку «Врагов» — этот спектакль вызвал обструкцию. В западногерманской прессе его назвали «троянским конем», с помощью которого артисты ГДР распространяют коммунистическую пропаганду. Участники гастролей рассказали мне, что мэр одного из городов ФРГ спросил у них, зачем они вставили в старую пьесу М. Горького слова о «расовой философии», направленные против фашизма, и придали Захару Бардину черты «мюнхенца». Он был уверен, что дрезденский театр что-то дописал от себя, чтобы «осовременить» пьесу! И вот эту самую пьесу, эту «голую агитку» (так ее прежде называли американские советологи) поставили в 70-х годах в США, одновременно в Нью-Йорке и Вашингтоне, и несколько раз показали по телевидению в программе «Театр в Америке», которую смотрят миллионы американцев (американские газеты признали «Врагов» самой интересной из пьес, показанных в этой программе). А затем «Враги» появились на сценах многих стран Западной Европы, в том числе — на сценах ФРГ. Если за десять лет до этого от нее здесь шарахались как от «троянского коня коммунистической пропаганды», то теперь даже газета «Вельт» одобрила постановку «Врагов» режиссером Франком Гутке. Правда, в рецензии на эту постановку («Враги» под немецкими дубами»), опубликованной 17 февраля 1976 года, «Вельт» определила фигуру либерала Захара Бардина как... «трагическую» и высказала недоумение: почему Горький называл эту пьесу «веселой»? Однако нельзя не видеть, как разительно изменилось здесь за десятилетие отношение к горьковской пьесе.

Что же произошло? На этот вопрос трудно ответить односложно. Я еще вернусь к нему ниже, а пока остановлюсь на отношении к пьесе «Враги» в США. Постановка «Врагов», осуществленная в 1972 году режиссером Эллисом Раббом и труппой Линкольн-центра (именно этот спектакль был показан по американскому телевидению), носила противоречивый характер. Режиссер сделал то, в чем напрасно упрекали дрезденскую постановку: внес «поправки» в текст пьесы. Самой существенной поправкой был отказ от горьковского финала (была исключена последняя сцена, где арестованные рабочие выражают свою веру в будущую победу и где один из них говорит карателям: «Не погасите нас никаким страхом, не погасите»). Эту концовку заменила введенная театром сцена: брат Захара Бардина Яков выходит на сцену и стреляется на глазах у всех, вызывая смятение и сочувствие.

Газета «Нью-Йорк таймс» писала 10 ноября 1972 года в статье «Успех «Врагов», что «в пьесе показана умирающая цивилизация», а в появившейся в тот же день в «Дейли ньюс» статье «Враги» открывают сезон» было заявлено (газета воспользовалась тем, что вместе с отброшенным финалом пьесы исчезла и дважды повторенная реплика жены Якова—артистки Татьяны — о рабочих: «Эти люди победят!»), что в своей оценке рабочих-революционеров, в своем сомнении относительно их способности обновить мир Татьяна была более права, чем автор «Врагов».

Не будем, однако, несправедливы к нью-йоркскому спектаклю «Враги»: он был не совсем таким, каким его изобразили буржуазные газеты. Орган американских коммунистов газета «Дейли уорлд» подвергла критике переделку финала пьесы. Она писала 18 ноября 1972 года, что режиссер Рабб увидел во «Врагах» лишь «исследование гниющей среды», недооценив раскрытую в пьесе историческую перспективу, и что он не случайно ввел сцену самоубийства Якова, «сократив ту часть, за которой уже виднелся Октябрь 1917 года». Выразительным было название этой статьи: «Живая премьера Горького, произнесенная режиссерской пулей» Но при всем том газета считала эту премьеру, эту постановку «живой», утверждая, что режиссер и исполнители «держат зрителей в состоянии волнения на протяжении всего спектакля», и замечая: «Интересно наблюдать, как хорошо понимают и принимают зрители пьесу, запрещенную царем в России, а Джо Маккарти — в Америке».

Эта характеристика может быть в той или иной мере распространена на многие

Б. БЯЛИК
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

постановки горьковских пьес в странах Запада: критическое начало горьковской драматургии, направленное против капиталистической действительности (буржуазная пресса предпочитает говорить об изображении в этих пьесах заката не капитализма, а «цивилизации» вообще), было выявлено с большей полнотой, чем позитивное начало, чем утверждение непобедимого и необратимого революционного развития действительности. Можно сказать, что многие театры Запада, раскрывая реализм горьковских пьес, гораздо реже и слабее выявляли новое качество этого реализма, которое позволяет называть его социалистическим.

Как уже сказано, «Нью-Йорк таймс» откликнулась на постановку Э. Рабба рецензией «Успех «Врагов». Но до этого, 5 ноября 1972 года, непосредственно перед премьерой, газета поместила большую статью Альфреда Кейзина под названием: «Горький — безоговорочно хороший человек». Тот факт, что столь занятая вопросами политики газета сочла необходимым предпослать театральной премьере развернутую оценку М. Горького как писателя и как человека, был сам по себе весьма примечателен. Видимо, возникло опасение, что зрители могут сделать из спектакля не те выводы, какие желательны, и было решено заранее направить зрительское восприятие в нужное русло. В статье говорилось: «Горький полагал, что революции нужны этические нормы... но больше всего ей нужна «творческая интеллигенция», которая всегда была настоящим лидером России». Надо ли доказывать что М. Горький считал «настоящим лидером» России не «творческую интеллигенцию», хотя высоко ее ценил, а рабочий класс? Вся пьеса «Враги» говорит именно об этом.

4

Буржуазная пресса назвала «бумом» победное шествие пьес М. Горького по театрам мира, желая подчеркнуть временный, преходящий характер этого явления. А между тем явление это оказалось очень устойчивым — в целом оно скорее усиливается, чем ослабевает. Недавно в столице Мексики, на сцене Университетского театрального центра, были поставлены «Дачники», причем постановщик — режиссер и драматург Хуан Антонио Ормигон — сказал, что «содержание пьесы выходит за рамки изображения русского общества начала XX века» и что «драма заставляет задуматься над проблемами современности». Те же «Дачники» показаны недавно в Испании, на сцене Национального центра искусства, во Франции, в центре Помпиду, и в Австрии, в Бургтеатре. Свой пятый горьковский спектакль — «Детей солнца» — показал в Англии Королевский шекспировский театр. Этот список можно было бы продолжить: драматургия М. Горького по-прежнему шествует по театрам многих стран, волнуя, вызывая споры и дискуссии, активно вторгаясь в современность.

Это вызвано рядом причин. 70-е годы разрушили в странах капиталистического мира много иллюзий, заставив задуматься над обостряющимися противоречиями действительности, над все более углубляющимся кризисом — кризисом не только экономики, но и духовных ценностей. Буржуазные экономисты, социологи, футурологи уверяют, что надо говорить о кризисе не капитализма, а всего «индустриального общества», независимо от социального устройства, что надо говорить об упадке всей «современной цивилизации». Но эти мифы для многих менее убедительны, чем художественный анализ противоречий XX столетия, данный писателями-реалистами, особенно М. Горьким, внимание которого было приковано к самым острым социальным и духовным катаклизмам. Рост интереса к творчеству М. Горького — одного из величайших борцов за мир — был в 70-е годы связан и с усилением процесса разрядки международной напряженности, с укреплением надежд миллионов и миллионов людей на спасение человечества от термоядерной катастрофы. Горьковский гуманизм и оптимизм воспринимается как приток свежего воздуха в мир, задыхающийся от страха и отчаяния. Но именно рост интереса к горьковскому творчеству побудил врагов мира и прогресса любыми способами пытаться ослабить его влияние — хотя бы с помощью прямой лжи.

Я уже говорил о том, как расходились кругами мифы о Горьком, созданные американскими советологами. Приведу еще один пример. Передо мною программка вашингтонского театра «Арена», выпущенная в 1977 году к постановке пьесы «На дне». Я не видел этого спектакля и не могу о нем судить, но передо мною то, что получали зрители вместе со спектаклем, в качестве добавления к нему: сведения о жизни и творчестве М. Горького, сообщаемые в театральной программке. Не буду останавливаться на забавных фактических ошибках — их много, но не в них суть. В программке, например, сказано, что в 1928 году (?!) Нижний Новгород был переименован в город Горький и что это было «частью сталинской политики по уговариванию Горького вернуться в Россию». Но, пожалуй, самое нелепое — утверждение, что М. Горький в 1935 году «переписал пьесы «Зыковы» и «Последние», так что обе стали отражать его убеждение, что революция пошла не по тому пути». Как известно, пьеса «Последние» была написана в 1908 году, а «Зыковы» — в 1912—1913 годах. Никакого «переписывания» пьес в дальнейшем не было. В пьесу «Последние», освещающую события первой русской революции, М. Горький внес в 30-е годы ряд поправок, но они носили частный характер и не дают ни малейших оснований для заявления, что пьеса стала отражать какой-то пересмотр писателем отношения к революции, тем более — к ее дальнейшему (после 1905—1907 годов) ходу. Откуда же взялась эта чепуха?

Не надо думать, что все это сочинили сами авторы программки театра «Арена»,— они лишь повторили нелепые выдумки советологов. В книге Дэна Левина «Буревестник» утверждалось, что в 30-е годы М. Горький кардинально переделал пьесы «Последние» и «Зыковы», введя в них намеки на советскую действительность, вследствие чего советским читателям и

зрителям «...«Зыковы» почти, а «Последние» совершенно неизвестны», скрыты от них «цензурой». Здесь все являлось чистейшей ложью, и ложью вполне сознательной. Дэну Левину было прекрасно известно, что обе эти пьесы постоянно издаются и ставятся в Советском Союзе (кстати, когда Левин перед изданием своей книги нанес «визит» нам, «Последние» шли в Москве, в Театре им. М. Н. Ермоловой). Для чего же понадобилась эта ложь, дошедшая даже до театральных программ? Для того, чтобы внушить рядовым американцам, что М. Горький пересмотрел в конце своей жизни отношение к революции и к социализму, разочаровался в них. Так «переписывают» на свой лад жизнь Горького антикоммунисты и антисоветчики.

Газета американских коммунистов «Дейли уорлд» опубликовала 20 ноября 1975 года статью «Новый мюзикл оскорбляет память Максима Горького». Речь в статье шла о спектакле театра «Американ плейз» по пьесе Стивена Тезика «Горький». Нет смысла излагать это «произведение». Достаточно сказать, что юный Горький говорит, вернее, поет в этом мюзикле о том, как чудесно было бы уехать в Америку, «замечательную страну»,— вот к чему, оказывается, сводилась его главная мечта (то, что позднее, посетив США, он написал «Город Желтого Дьявола», «Жрец морали» и другие памфлеты, разоблачающие лицемерие американской «демократии»,— это Стивен Тезик счел лишним словом в песне). А Горький-старик поет в этом мюзикле песню о партбилете, погубившем его как писателя, и о том, что в России нельзя быть человечным. «Дейли уорлд» спрашивала: «Зачем ставятся такие спектакли? В период разрядки, когда отношения между двумя народами пронизаны надеждой и доверием, находятся люди, подобные руководителям театра «Американ плейз», которые ставят пьесы, оскорбляющие русский народ, революцию и все человечество. Кто стоит за спиной таких людей?»

Теперь уже ясно, что за спиной таких людей стояли не только откровенные «ястребы», но и те, кто до поры до времени прикидывался сторонником разрядки и улучшения отношений с Советским Союзом, а на самом деле ждал предлога для раздувания антисоветизма и военного психоза и для разыгрывания «китайской карты». Вспомним, что в то время, когда низкопробный мюзикл «Горький» шел на Бродвее, в Пекине был дан сигнал к кампании нападок на Горького.

Но это было в 1975 году, а что происходило в Китае позднее? Позднее в КНР началась кампания разоблачения «банды четырех».

В 1977 году в № 8 журнала «Чайниз литерачер», выходящего на английском языке и предназначенного для иностранных читателей, появилась статья под названием «Реакционный подход «банды четырех» к нашему культурному наследию». В этой статье «четверка» обвинялась в том, что она «не только пыталась отрицать всю старую культуру, но отвергала даже революционную культуру пролетариата, разоружая его тем самым в культурном отношении». В этой связи «банде четырех» ставилась в вину и недооценка творчества М. Горького. 110-летний юбилей со дня рождения М. Горького уже не был так обойден в КНР, как его 100-летний юбилей, но и не отмечался так шумно, как 95-летие. 28 марта 1978 года газета «Гуанмин жибао» выступила со статьей «Великий пролетарский писатель Горький», а 29 марта в той же газете появилась информация агентства Синьхуа о московском Музее Горького. В статье отмечалось, что Горький был «великим другом китайского народа», а в информации рассказывалось о мировой популярности Горького.

Все это можно было бы приветствовать, если бы не попытки противопоставить горьковское наследие современной советской действительности. Информация о московском музее имела многозначительную «пейзажную» концовку: корреспондент агентства Синьхуа писал о «сгустившихся на небе тучах» и патетически восклицал: «Но буревестник тверд: тучам ни за что не закрыть солнца, ни за что!» Нельзя не вспомнить о том, что в КНР уже однажды пытались по-своему, по-маоистски, прочитать горьковскую «Песнь о Буревестнике». В статье «Памяти Горького», напечатанной в № 2 журнала «Вэньсюэ пинлунь» за 1963 год (в одной из многочисленных статей, появившихся в китайской прессе к 95-летию писателя), осмеивались те, кто боится новой мировой войны и «жаждет выжить», и в этой связи говорилось: «...соколы и буревестники будут вечно реять в небесах, не страшась ни туч, ни грома, ни молний, и звать на борьбу: «Пусть сильнее грянет буря!» В контексте статьи это приобретало совершенно определенный смысл: пойдем, отбросив все колебания, навстречу мировой термоядерной войне! Пытаться использовать для раздувания военного психоза творчество великого борца за мир — что может быть более кощунственно!

Теперь уже до конца ясно, почему американские советологи и маоисты так совпали в своем стремлении отделить М. Горького от В. И. Ленина, а современную советскую литературу да и всю советскую действительность — от М. Горького. Это стремление, как и многие другие расчеты врагов мира и прогресса, безнадежно.

В 1909 году, когда газеты стали распространять ложный и провокационный слух об исключении М. Горького из партии, В. И. Ленин писал в статье «Басня буржуазной печати об исключении Горького»: «Напрасно стараются буржуазные газеты...» Мы можем повторить сегодня эти слова, добавив: и маоистские газеты тоже напрасно стараются. А кончалась эта статья В. И. Ленина так: «Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить им иначе, как презрением» [1].

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, стр. 153.

Критика

АМЕРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ ЧИТАЮТ «ТИХИЙ ДОН»

ИОАКИМ Т. БЭР

ШОЛОХОВ В США

Американцы знают Шолохова не так хорошо, как Достоевского или Толстого. Если бы кто-нибудь задался целью установить, сколько человек читало у нас его величайшее произведение — «Тихий Дон» [1], то, вероятно, он насчитал бы всего лишь несколько тысяч. Разумеется, это ни в коей мере не умаляет достоинств великой книги Шолохова. С «Войной и миром» Толстого дело обстоит почти так же. Многие в этот роман заглядывали, но число тех, кто прочитал его от корки до корки, невелико. Я говорю здесь о коренных американцах, родившихся и выросших в США и не связанных культурными узами с Россией или с Советским Союзом. Со стороны американцев русского происхождения интерес к чтению этих произведений более вероятен.

Если бы теперь нас заинтересовал вопрос о том, как те сравнительно немногие кто читал Шолохова, поняли его величайшее творение («Поднятой целины» мы касаться не будем, ибо она известна еще меньшему кругу читателей), то нам пришлось бы иметь дело с двумя группами читателей — профессиональными литературными критиками и специалистами по русской литературе (маленькая группа, насчитывающая, может быть, несколько сот человек) и студентами университетов. Вне этих двух групп фактически говорить не с кем. Даже образованные американцы не проявляют особого интереса к культуре и литературе других стран, а ускоренный темп их жизни и бесчисленные другие отвлекающие моменты оставляют им мало времени для чтения длинных романов.

Что касается американских критиков и литературоведов, то они относятся к Шолохову по-разному. Никто из них не станет отрицать необычайную творческую мощь автора «Тихого Дона», однако, говоря о романе, они обычно высказывают резкие критические замечания, проводят разного рода невыгодные сопоставления и воздерживаются от безоговорочной похвалы. Хотя эти высказывания не лишены интереса, мне представляется более полезным коротко остановиться на том, как реагируют на это великое произведение студенты и как оно им преподносится в лекционных залах американских университетов. Их реакция, пусть менее глубоко продуманная и критическая, отличается одним преимуществом — непосредственностью. На них неизменно производит глубокое впечатление то, как искусно Шолохов переплетает личные судьбы своих героев с историей. В этой связи следует подчеркнуть, что на протяжении семестра, длящегося три с половиной месяца, месяц или полтора совершенно необходимо посвятить внимательному чтению и разбору отдельных сцен романа. Только при

[1] В английском переводе «And Quiet Flows the Don» («И тихо течет Дон»).

ИОАКИМ Т. БЭР — JOACHIM T. BAER.

Американский критик, преподаватель славянских языков и литератур университета штата Северная Каролина. В «Иностранной литературе» печатались его статьи «Фланнери О'Коннор на русском языке» (№ 7, 1977) «О. Генри из Гринсборо» (№ 6, 1978). Статья «Шолохов в США» получена от автора в рукописи.

этом условии студент сможет составить себе какое-то представление о сфере жизни и обстоятельствах, о которых он раньше решительно ничего не знал. Задача преподавателя здесь поистине благодарная, ибо главным образом от него зависит, как отзовется студент, а на такое произведение, как «Тихий Дон», он отзывается неизменно положительно, если раскрыть перед ним масштабы и художественную силу романа.

Для начала следует что-то сказать о жизни казаков и о районе, где развертывается действие,— нижнем течении Дона к северо-востоку от Черного моря. Первые же строки романа знакомят нас с обстановкой — красивой холмистой местностью, полями и пастбищами, между которыми там и сям разбросаны хутора. Шолохов переносит нас в свои родные места, и наше воображение охотно следует за ним. К сожалению, читая «Тихий Дон» в английском переводе, мы лишаемся важного преимущества — ощущения его языка и стиля, ощущения, которое позволило бы нам получить еще большее наслаждение от романа Однако иначе познакомить с ним нерусских студентов невозможно.

Воображение переносит нас в родные места Мелеховых, на хутор Татарский. Студент начинает осознавать, какую роль играет река Дон в жизни этих людей. Дон для них — отец и защитник, а благодаря своим рыбным богатствам он отчасти и источник их пропитания. Читатель узнает, что это богатый земледельческий район, где нередки хорошие урожаи и где многие крестьяне вполне обеспечены. Далее он научается ценить гордость казаков и понимать, какими тесными узами они связаны со своим окружением. Это — сельские жители, и для них земля и животные много значат. Они составляют единое целое с природой, благорасположенной к ним. Важное значение имеют обычаи казаков, их свободолюбие, их настороженное отношение к властям, главенствующая роль отца в семье, распоряжающегося жизнью даже взрослых своих детей, общность традиций, связующая казаков друг с другом и отделяющая их, к примеру, от живущих по соседству украинцев. Многое в их жизни может казаться нам экзотическим, некоторые их обычаи грубы и примитивны, но коль скоро мы почувствовали интерес к казакам, мы захотим более тщательно изучить их, познакомиться с их образом жизни и, наконец, принять его.

Следующий элемент романа — один из трех центральных — действующие лица. Они раскрываются перед нами постепенно: на протяжении тех месяцев и лет их жизни, свидетелями коих мы являемся в романе, они изменяются. Но вниманием нашим они завладевают с первого же момента — семьи Мелеховых и Астаховых, прежде всего Григорий и Аксинья. В Григории есть что-то притягательное, способное вызвать любовь,— мы убеждаемся в этом с первой же встречи с ним. Он молод, смел, лих, бесстрашен — настоящий казак! Он словно бы сросся со своим конем, которым управляет с необычайной легкостью. Как и подобает молодому неженатому казаку, он заглядывается на девушек, а те, в свою очередь, на него. Его тянет к Аксинье, жене соседа, и дерзость, с какою он подступает к ней, когда та спускается к реке, как-то естественна для него. Эта их первая встреча в романе — только прелюдия ко многим последующим, и мы вскоре убеждаемся, что отношения между ними не поддаются рациональному анализу. Они любят друг друга, как иссохшая земля любит дождь. Рассказ об их страсти — одна из величайших любовных повестей в мировой литературе. Они сходятся потому, что испытывают нужду друг в друге, и если бы в романе не было ничего, кроме этой роковой любви двух человеческих существ, любви, которой они не могут предаться открыто, то и тогда это был бы великий роман. Через историю этих отношений, основанных на страсти, но не остывающих и после того, как остывает страсть, Шолохов сумел сказать об одной из великих сил жизни, о силе иррациональной и неукротимой. Тщетно возводить преграды на ее пути — она, как река, снесет их. Разумный план женить Григория на Наталье Коршуновой терпит неудачу, потому что он основан на расчете. Жизнь повинуется своим собственным законам и разрушает людские планы. Встреча Аксиньи, Степана, Григория и Натальи и сложное переплетение их взаимоотношений не могут не тронуть молодого читателя. Каждый из них — по-своему сильный характер, ни об одном нельзя сказать, что автор изобразил его схематично. В нравственном отношении Наталья, несомненно, лучше остальных. Она любит своего мужа, который не любит ее. Ее жизнь с Григорием — бесконечное страдание, в ней очень мало радости, и читателю невольно хочется повторить ее же собственные слова: почему не заслужила она лучшей участи?

Земной характер любви Григория и Аксиньи восхищает студентов: «Григорий, например, вовсе не пытается представить свою любовь к Аксинье в каком-то благородном свете». Другой студент рассматривает любовные отношения героев в прямой связи с историческими событиями: «Григорий оторвался от Аксиньи, Натальи и своей семьи из-за войны, но в конце романа он возвращается домой, к тому, что осталось. Мы видим также, с каким безразличием государство способно разлучать любящих». Эти цитаты из письменных ответов студентов на вопросы о романе показывают, что драма любви и судьбы, изображенная в «Тихом Доне», находит в них отклик. Последняя фраза сформулирована странно, но смысл ее вполне ясен: государство безразлично к любовным чувствам людей и в случае необходимости разлучает любящих.

Иррациональная любовь двух юных существ, не считающаяся ни с разумом, ни с какими бы то ни было людскими расчетами, изображается в тесной связи с силами, пробивающими себе дорогу в истории. Аксинья и Григорий становятся беспомощными жертвами борьбы между двумя могучими противниками — борьбы, которая разрушает до основания их жизнь, разлучает их друг с другом, убивает их близких и опрокидывает привычные институты и привычный

уклад. Такова вторая тема романа — революция и гражданская война, которая на протяжении нескольких лет одну идеологию противопоставляла другой. Американский студент, читающий роман, так же смутно представляет себе, за что борется каждая из сторон, как в свое время представлял себе Григорий Мелехов. Однако от этой ожесточенной борьбы нельзя отмахнуться и попытаться представить ее как второстепенную тему в романе. Пока мы читаем роман, мы все время мысленно участвуем в этой борьбе. Что становится почти невыносимым при внимательном чтении романа — это пугающая жестокость каждой из сторон по отношению к другой, непрерывные убийства, почти полная неспособность героев увидеть в представителе враждебного лагеря беспомощное человеческое существо. Поляризация идеологий превратила бывших друзей в заклятых врагов. Лучший пример этого — изменившиеся отношения между Мишкой Кошевым и Григорием Мелеховым. Американский читатель, чей исторический опыт отличен от опыта русского читателя, склонен взирать на эти годы боев на Дону с грустью и болью, ибо они причинили населению огромные страдания. Каждая из сторон своими действиями опровергает идеализм и справедливость целей, во имя которых она борется, и для такого читателя победа одной из сторон вовсе не обязательно означает победу разумной и доброй идеи. Для него этот момент остается неясным. Жизнь слишком сложна, чтобы делать поспешные заключения относительно правды и справедливости, в чем мы уже убедились на примере личной судьбы Григория и Аксиньи. Если в этих личных судьбах не было логики, почему исторические процессы должны были быть более логичными? Скорее можно утверждать, что цели истории нам не ясны, и события гражданской войны на Дону заставляют нас сострадать жившим там людям, никого при этом не судя. Обе стороны, красные и белые, человечное и бесчеловечное начала, представлены у Шолохова таким образом, что тут допустим широкий спектр возможностей, хотя окончательный результат, по-видимому, предопределен и исторически неизбежен. Недетерминистский взгляд на то, что касается наших личных судеб, и детерминистский взгляд на процессы истории — не находятся ли эти две темы романа в противоречии друг с другом? Мы считаем, что нет, хотя мнения на этот счет могут быть различны. Как художник, Шолохов не связан необходимостью быть логичным и последовательным. Исторически правильная интерпретация событий на Дону интересует нас в меньшей степени, нежели вопрос о том, куда ведет Шолохова его художественное вдохновение и какою он видит — и изображает — правду жизни.

Ответ на этот вопрос, как нам кажется, дает третий элемент романа — безличная сфера, жизнь природы. Ощущение этой сферы и ее художественное воссоздание являются, пожалуй, величайшим достижением Шолохова в «Тихом Доне». Если у Толстого небо давало героям чувство перспективы и помогало вновь найти себя, то у Шолохова эту роль играет река Дон и местность, через которую он протекает. Для казаков Дон — нечто большее чем река, это живое начало в их жизни, и оно несокрушимо. Эта река и окружающая местность, с которой она связана в единое целое, являются постоянными факторами в борьбе человека с человеком. Дон был в начале романа, был в конце, останется он и после того, как все герои сойдут в могилу, а битвы из-за идеологий окажутся давно утратившими интерес для кого бы то ни было. Шолохова интересует не только река, но и природа, как таковая, и тысячи связанных с природой образов и сравнений, которыми он пользуется, служат молчаливым комментарием к шуму и грохоту мира. Эта тишина реки и вообще всей природы особенно важна ввиду ужасающей смуты в человеческих делах. Автор как бы говорит: хорошо бы людям поучиться у этой тишины и перестроить свою жизнь в соответствии с ней!

Природа безразлична к тому, что происходит в людском мире; она безразлична к любви Григория и Аксиньи, у которых болезнь отнимает их дитя; она безразлична к битвам между красными и белыми. Невзирая ни на что, каждой весной она обновляется, птицы выводят своих птенцов, и на реке ломается лед. Так повторяется из года в год: природа никогда не обманывает нас своими звуками и ароматами. Хотя она и безразлична к нам, мы составляем часть ее, и наша физическая и духовная цельность зависит от того, как мы общаемся с ней. Русский читатель все это сознает, он не нуждается в цитатах из романа для характеристики этой стороны шолоховского творчества, а для американского читателя именно присутствие природы и связанных с нею образов восстанавливает в сознании нарушенные элементы жизни. Какая бы судьба ни выпала на долю Григория в конце, когда он вернется домой и ему придется столкнуться с последствиями многолетней борьбы под разными знаменами, река Дон все равно будет *тихо* течь к морю, степь все равно будет цвести весной, одни люди будут рождаться, другие — умирать. Таков единственный неумолимый и неизменный процесс, который мы познаем на своем опыте, все остальное — преходяще. Прямо или в иносказательной форме (нам незачем пытать, каковы в данном случае были мотивы Шолохова)— по-видимому, именно это говорит нам его величайший роман, и именно поэтому он имеет друзей и почитателей во всем мире.

Перевод с английского В. ИСАКОВИЧ

■

Ю. ЛУКИН

КАК ТЕЧЕТ ДОН И КАК РАСТЕТ ТРАВА

С большим интересом и вниманием прочитал я статью профессора Иоакима Т. Бэра, присланную в редакцию журнала.

Особенно заинтересовали меня сведения о том, как воспринимают роман «Тихий Дон», как реагируют на это произведение американские студенты и как оно преподносится им в лекционных залах университетов США.

Очень импонирует глубоко искренний тон статьи профессора Бэра, трезвость ряда содержащихся в нем суждений и оценок.

Автор статьи рассказывает о поучительном методическом опыте изучения советской литературы в условиях США, о предварительном ознакомлении студентов с жизнью донского казачества, с местами, где развертывается действие романа. (Маленькое уточнение: речь должна идти не о нижнем, а о верхнем течении Дона.)

Проникновенно говорится в статье о художественной силе романа, о «Тихом Доне» как о «великой книге», «величайшем произведении» Шолохова, о «масштабах» и «творческой мощи», об искусстве писателя в «переплетении личных судеб с историей», о «наслаждении» от чтения романа, о том, что судьба действующих лиц завладевает читателем «с первого же момента», что сложные взаимоотношения Аксиньи, Степана, Григория и Натальи «не могут не тронуть молодого читателя», а рассказ о страсти Григория и Аксиньи — «одна из величайших любовных повестей в мировой литературе».

Статья содержит немало ценного и заслуживающего уважения. И признательности.

На протяжении последних полутора десятков лет мне доводилось в разное время наблюдать отношение к творчеству Шолохова, к его знаменитым романам студенческой, учащейся молодежи в таких разных странах, как ГДР, Швеция, Япония... Соответственно, очень разными были и впечатления от этого. В шведских университетских городах Стокгольме и Упсале на встречах студентов и преподавателей с писателем зал был всегда полон и беседы проходили живо, аудитория с пристальным интересом слушала гостя, засыпала его вопросами. Японская школьница, узнав из газеты, что маршрут поездки Шолохова по стране пролегает через местность Никко и писатель будет там такого-то числа, несколько часов ждала у ворот старинного храма в надежде получить заветный автограф, так как обычно ни один турист не минует этой достопримечательности. Когда мечта девочки сбылась, она, радостная и смущенная, рассказала окружившим ее корреспондентам газет и журналов: она пришла сюда потому, что Шолохов — ее любимый писатель. И через пять минут, вдвойне смущенная, уже сама... раздавала автографы представителям прессы.

Охотно допускаю, что интерес шведской молодежи к знаменитому советскому писателю был в немалой степени подогрет сенсацией: встречи происходили в дни Нобелевской недели, когда Шолохов стал лауреатом этой премии по литературе. Но в ГДР, скажем, имело место совсем иное.

Множество студентов присутствовало на заседаниях международных научных симпозиумов в Лейпциге, посвященных творчеству Шолохова. И глубоко взволновало меня и моих товарищей то, что увидели и услышали мы в имеющем вековые традиции университете города Йены. Это было заключительное заседание, которое проводили сами студенты из различных университетов республики. Они обсуждали итоги ими же самими проведенных семинарских занятий. А происходило на обсуждении этих итогов вот что: молодежь, избравшая делом своей жизни строительство новой, социалистической культуры в родной стране, готовившая себя к этой благородной работе, стремясь формировать и формулировать свои философские взгляды, морально-этические нормы, укрепиться на четких мировоззренческих позициях, обращалась к творчеству Шолохова как к некоему учебнику жизни, ища в его произведениях ответы на самые насущные, жгуче актуальные для нее вопросы. К примеру, о том, какова степень ответственности человека за судьбу близкого друга, какова степень ответственности самого человека за выбор собственного пути, как следует судить о человеке — по его намерениям, стремлениям или только по его поступкам... и так далее, и тому подобное. Все это обсуждалось на основе анализа шолоховских произведений, анализа взаимоотношений их героев.

И, читая статью профессора Бэра, я мысленно соотносил эти впечатления с его рассказом об американских студентах, изучающих великое творение М. Шолохова. Очевидно, естественно, что некоторые моменты в статье профессора навели меня на размышления о степени подготовленности современной американской молодежи к вос-

---

ЛУКИН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1907 г.).

Советский критик и литературовед, автор многих работ о творчестве М. А. Шолохова, в том числе книг: «Михаил Шолохов. Критико-биографический очерк» (1952, 1962), «Два портрета. А. С. Макаренко, М. А. Шолохов. Критико-биографические очерки», (1975). Как кинодраматург участвовал в создании художественных фильмов по произведениям Шолохова «Судьба человека», «Поднятая целина», «В лазоревой степи».

приятию шолоховского творчества. Видимо, весьма серьезное значение имеет здесь разница в мировоззрении, в политическом, идеологическом «климате», в котором живет эта молодежь, постоянно, повседневно подвергаясь его воздействию. К сожалению, нельзя сказать, чтобы этот климат в США содействовал пониманию истории и жизни советских людей, их борьбы, их идеалов, стремлений, процессов, происходивших и происходящих в нашем обществе. Не этими ли обстоятельствами объясняются многие приведенные в статье суждения американских студентов? Думается, тут не вина, а беда столь далекой от нас молодежи.

Речь идет, к примеру, о суждении одного из студентов о некоем абстрактно понимаемом государстве, о его отношении к судьбам любящих людей. Или о брошенных вскользь замечаниях об Аксинье и Григории как о всего лишь «беспомощных жертвах борьбы между двумя могучими противниками», о «пугающей жестокости каждой из сторон» в гражданской войне, о том, что «каждая из сторон своими действиями опровергает... справедливость целей, во имя которых она борется...»

А ведь образ Григория, например, несет в себе нечто гораздо более значительное и важное, нежели простое сокрушение о человеке как об игрушке или жертве борющихся сил истории. Не зовет ли нас этот образ прежде всего помнить о необходимости для каждого человека верно выбрать свой путь, когда эти силы сталкиваются?

О «пугающей жестокости» борьбы... Разумеется, любая война, в том числе гражданская, мало похожа на японский День любования цветами... Позволительно спросить: как расценил бы американский читатель ситуацию, изображенную, скажем, Лопе де Вегой в его бессмертном творении «Фуэнте Овехуна»? Страшная, испепеляющая лава народного гнева, хлынувшая на правителя-феодала и его приспешников. Но в чем причины этого гнева и что более жестоко: эта расправа или века порабощения народа, надругательств, в частности над любящими сердцами, узаконенных властью таких феодалов? Не сама ли она, эта власть, и породила извержение пламени, клокотавшего в недрах вулкана?

И если руководствоваться не идеалами умозрительными, а критериями жизненной правды и исторической справедливости — да, именно справедливости! — имеют ли право современники грозных событий со спокойствием Понтия Пилата умывать руки, предоставляя мрачным, зловещим силам истории, силам бесчеловечного прошлого вершить свой неправедный суд, чинить свою долгую, освященную государственными правовыми нормами, поистине жестокую, поистине нестерпимую расправу над людьми, над человеком?!

Что же касается революции в России, то разве можем мы не оценить, не осознать всю глубину мыслей В. И. Ленина о ней как об акте высокой человечности, о ее высочайшем гуманизме!

В. И. Ленин писал в марте 1918 года в статье «Главная задача наших дней», что «история человечества проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное — без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно-освободительное — значение. От войны к миру; от войны между хищниками, посылающими на бойню миллионы эксплуатируемых и трудящихся ради того, чтобы установить новый порядок раздела награбленной сильнейшими из разбойников добычи, к войне угнетенных против угнетателей, за освобождение от ига капитала; из бездны страданий, мучений, голода, одичания к светлому будущему коммунистического общества, всеобщего благосостояния и прочного мира...»[1].

И здесь мне хочется сказать о роли пейзажа в романе Шолохова — этому вопросу профессор Бэр уделяет особое внимание. Картины природы могут контрастировать с описываемыми событиями, состоянием души действующих лиц, могут аккомпанировать их переживаниям. Однако совершенно прав профессор, утверждая, что в целом природа в шолоховском романе безразлична к тому, что происходит в людском мире,— как к любви Григория и Аксиньи, так и к битвам между красными и белыми; невзирая ни на что, каждый год совершается цикл обновления природы. Все верно сказано и насчет птиц, выводящих птенцов, и насчет рек, на которых каждую весну взламывается лед; правомерно и логическое завершение сентенции: что бы ни случилось с Григорием, река Дон все равно будет тихо течь к морю, степь все равно в свой срок покроется цветами, люди все равно будут рождаться и умирать.

Да ведь и не одному Шолохову присущ этот философский мотив. Многие великие художники, самые разные, говорили себе и людям об этом. Примеров столько, что приводить их вряд ли имело бы смысл. Напомню лишь дорогие сердцу русского человека строки, принадлежащие «солнцу русской поэзии» Пушкину:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

А вот какой вывод из мотива, общего для творчества многих писателей — может быть, даже подавляющего их большинства,— делает профессор Бэр применительно к автору «Тихого Дона»? Этот единственный процесс неизменен, все остальное — преходяще. «Прямо или в иносказательной форме,— предполагает профессор,— по-видимому, именно это говорит нам его величайший роман». И последний аккорд: «Именно поэтому он имеет друзей и почитателей во всем мире».

В чем же подлинная мудрость? В чем смысл и ценность бытия. Быть равнодушным к добру и злу, как природа? Видеть в этом свою общность с ней? Стремиться к *тихому* течению собственной жизни?

Или наоборот: если дарована человеку жизнь, прожить ее со страстью и мукой, в порывах к лучшему, пусть даже порою и в заблуждениях, но все же в постоянном стремлении к истине, к справедливости в человеческих отношениях, в устройстве общества?

Слово «преходяще» таит в себе много оттенков. Скажем, религия склонна трактото-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36. стр. 78.

вать это понятие, связывая его с представлением о тщетности усилий и суетности стремлений смертного, проповедуя смирение на этой грешной земле во имя вознаграждения праведнику в царстве божием, небесном.

Известно прямое высказывание Шолохова (в речи, произнесенной при вручении Нобелевской премии), в котором заключена абсолютно ясная идея: писатель заявил о себе как о приверженце такого реализма, который несет в себе «идею обновления жизни, переделки ее на благо человеку», реализма, который «выражает мировоззрение, не приемлющее ни созерцательности, ни ухода от действительности, зовущее к борьбе за прогресс человечества, дающее возможность постигнуть цели, близкие миллионам людей, осветить им пути борьбы».

Несколько слов о *тихом* течении Дона... «И тихо течет Дон» — так переводится название романа на английский. В оригинале оно звучит несколько по-иному: «Тихий Дон». Это прежде всего старинное имя, данное народом реке. Но такое название книги не подразумевает ли и некую ироническую метонимию, интонацию полемическую: так ли уж тиха жизнь на Дону в те годы, когда протекает столь бурное действие романа?

И не почувствует ли профессор, какое темпераментное, гордое и убежденное отрицание увлекшей его концепции, претендующей на определение меры ценности жизни человека и его борьбы, звучит в голосе автора внутри самого романа?

В том месте романа «Тихий Дон», где описана тяжкая минута Григория, когда он остро осознает всю степень своего заблуждения, клеймит себя за содеянное, просит друзей-соратников предать его смерти, с горячей силой утверждения вторгается в повествование этот голос автора:

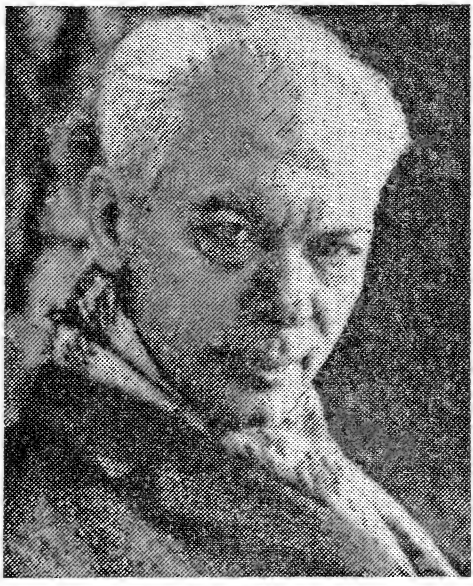
«Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными жизнетворящими соками, покорно клонясь под гибельным дыханием бурь. А потом, кинув по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былинок своих приветствуя лучащее смерть осеннее солнце...» (Книга четвертая, гл. XIV.)

Вот какими соображениями захотелось мне поделиться с читателями журнала, когда я познакомился со статьей профессора Бэра.

И хочется добавить: о вкусах не спорят, но вкусы вкусами, а существует и объективная истина. Думаю, что Шолохов, поистине прекрасный живописец природы, еще более велик в том высоком искусстве, которое Максим Горький назвал «человековедением». Велик тем, что он с таким вдохновением и с такой мощью художественной убедительности, с такой глубиной проникновения показал внутренний мир рядовых тружеников, доказав, что образы этих людей достойны самых высоких жанров искусства. Тем, что его герои не растут, как трава. Что они мучаются, страдают, борются, оступаются, падают, но неукротимо рвутся к справедливости, к счастью — своему и общему — и что ничто человеческое им не чуждо. Homo sum [1].

[1] Человек есмь *(лат.)*.

◆



МАЯ УЛЬРИХ

ВЕРА И СЛОВО ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ

Человек хочет жить ради чего-то большего, чем он сам, так он стремится продлить свое существование.

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ

Лайош Мештерхази привлекал внимание современников незаурядностью своей личности.

Писатель или политик? — часто спрашивали его. Он был партийным работником, редактором, журналистом, художником слова. Он являл собой тип революционного деятеля, в котором сочетались ум и чувство, умение реалистически смотреть на вещи и творчески подходить к решению сложнейших проблем современности. Настольной книгой Мештерхази была работа В. И. Ленина «Государство и революция». В художественном творчестве Мештерхази воплотил свои представления об «идеале человека».

Обладая талантом доброжелательности, Лайош Мештерхази всегда был средоточием самых разных общественных начинаний: людей покоряла в нем простота и скромность, внутренняя культура, энциклопедичность знаний и чувство справедливости, долга. Что-то твердое, сильное, будто вырубленное из гранита было в лице Мештерхази. Но большие, карие, необыкновенно теплые глаза как бы смягчали внешнюю суровость. В соединении мужества и деликатности, требовательности и терпимости — особое обаяние Мештерхази. Он оставил книги, в которых как философ, политик, публицист и художник рассказал о своем

УЛЬРИХ МАЯ ПЕТРОВНА.

Советский критик, специалист по современной венгерской литературе. Печатается с 1959 г. Автор статей, обзоров, рецензий, публиковавшихся в периодической печати.

времени, о себе, о вечном поиске людьми истины.

Лайош Мештерхази родился 3 марта 1916 года в Будапеште, в семье механика, детство его прошло в рабочем поселке. В 1919 году некоторые его родственники вступили добровольцами в Красную Армию Венгерской советской республики, другие пошли служить в учреждения Коммуны. А в 1920 году после падения Советской республики хортистские власти арестовали отца. Жизнь семьи в период между двумя мировыми войнами была нелегкой, но главное, что определяло ее,— это тяга к культуре. Отец писателя читал в подлинниках Платона, Августина Блаженного, Шопенгауэра. Круг чтения Мештерхази на первых порах определяла мать. В отроческие годы его любимыми писателями были Лайош Надь, Ежи Тершански [1], а «руководством к жизни» в семье считали роман Льва Толстого «Воскресение». Очень много читали по вечерам вслух. Некоторое время Мештерхази служил домашним учителем в богатой буржуазной семье; и это заставило его задуматься над социально-классовыми вопросами. Благодаря отцу он приобщился к кружку, члены которого собирались раз в неделю в кафе «Музеум» и обсуждали актуальные, в том числе и политические, проблемы.

Окончив в 1931 году католическую гимназию, Мештерхази принял участие в литературном конкурсе и получил премию за статью «В духе Ростана», а шутливо-иронический очерк о домашнем времяпрепровождении «Развлечение» был опубликован в еженедельном иллюстрированном журнальчике «Толнаи вилаглапья». Нужно было выбирать профессию. От церковного сана он отказался, думал стать врачом, но в конце концов остановился на романской филологии, поступил в университет Лоранда Этвеша и блестяще его окончил, защитив в 1940 году диплом на звание магистра.

Студенческие годы были для Мештерхази временем активного становления его личности, его общественных взглядов. В летние каникулы он обычно путешествовал на велосипеде или пешком по Европе. «Я спал в кухоньках словацких крестьян, в хлевах Тюрингии и Вюртемберга (это была уже гитлеровская Германия), молотил зерно у австрийских и французских землевладельцев, строил ломбарды, даже както выступил в роли режиссера в деревне Доломиты, помогая своему хозяину — сапожнику и драматургу — поставить спектакль «Я видел разное»,— вспоминал Мештерхази в 1957 году.

Один академический год он был студентом Сорбонны и участвовал в забастовке «зачисленных в университет», прошел здесь школу политической борьбы. Сразу же по возвращении в Будапешт он примкнул к студенческому крылу антифашистского движения «Мартовский фронт». «Уже после Парижа,— отмечал критик Жолт Кёхати,— Мештерхази по сути дела является коммунистом, недаром ему не раз в 40-е годы угрожает трудовой батальон для политически неблагонадежных».

Окончив университет, Мештерхази, чтобы иметь возможность содержать семью, служит в банке, а по субботам в его доме на улице Лагоди собираются представители прогрессивной интеллигенции. Известный актер и режиссер Отто Майор много лет спустя будет вспоминать, что это был «Народный фронт» в миниатюре, который предвещал поколение «светлых ветров», именно о нем расскажет Мештерхази впоследствии в трилогии «Свидетельство». Душой этих «субботников» был сам хозяин. Его гости вели не только литературные, но и политические дискуссии, что было небезопасно: шла вторая мировая война и хортистские власти преследовали патриотов.

Спустя двадцать лет, когда Мештерхази был уже известным писателем социалистической Венгрии, в его доме, теперь уже на улице Орсагхаз, литературные вечера возобновились. Здесь спорили о задачах новой литературы, о поисках выразительных средств, отвечающих сути современности, о личности писателя. Дух гармонии пронизывал все эти встречи. Сюда нередко приходили художники, приносили новые работы или эскизы, часто звучала музыка.

Вся творческая работа Мештерхази была, как отметил один из критиков, «зеркалом той напряженной борьбы, которую вели коммунисты за изменение мира, за совершенствование самих себя».

Коммунистом Мештерхази стал в 1943 году. В ту пору он готовился к педагогической деятельности, его избрали секретарем воссозданного с его помощью профсоюза педагогов, одновременно он пытался наладить связь с партизанами, в конце концов поступил на нестроевую службу в части Советской Армии. 1945 год Мештерхази встретил в Будапеште, он был полон радужных планов. На следующий же день после освобождения столицы он идет в районное управление по делам образования, готовый начать педагогическую работу. Там он делится планами будущих статей, очерков для создаваемого молодежного революционного журнала и к тому же доверительно сообщает, что приступает к работе над большим романом о пути своего поколения.

Но жизнь распорядилась несколько поиному: литературные планы и педагогическую деятельность пришлось отложить и включиться в активную партийную работу за претворение в жизнь идей Венгерской коммунистической партии. Он становится секретарем райкома ВКП, организует в районе Союз демократической молодежи, его выбирают вице-президентом районного отделения Национального комитета. И ездит, необыкновенно много ездит по стране. «Знать, верить и действовать»— вот его девиз.

Он видел жизнь во всех ее проявлениях, воспринимал ее не только разумом, а и своей чуткой душой. У него был неподдельный интерес к людям, к их делам, а главное, к образу мыслей. Во время встреч Мештерхази постигал искусство убеждать, располагать к себе, что сказалось прежде

[1] Лайош Надь (1883—1954), Ежи И. Тершански (1888—1969) — венгерские прозаики.

всего на его публицистике. Публицистика Мештерхази бесконечно многообразна: это и письма в газете, и выступления на радио, и участие в телевизионных «круглых столах», и, конечно, статьи. В них он писал о самом разном: о воспитании молодого поколения, о природе социалистической культуры, первых успехах венгерских «стахановцев». Он поднимает значительные нравственные проблемы, размышляет о таких понятиях, как свобода и личная ответственность, богатство индивидуальности и чувство коллективизма. Но одновременно в ящиках его письменного стола накапливались и десятки рассказов, составивших первые две книжки «Без чудес» и «Верность», вышедшие одна за другой в 1951 и 1952 годах и сразу же снискавшие ему популярность.

Велико литературное наследство писателя: он оставил семь сборников рассказов, двенадцать романов, книги публицистики, очерков, избранных статей, пьес, однотомник научной фантастики.

Его творчество широко известно и советскому читателю, на русском языке и языках народов СССР были изданы многие его произведения.

Как художник Лайош Мештерхази вырос в атмосфере преклонения перед античностью, в атмосфере революционных идей. Понять его деятельность в отрыве от революции, от ее высоких целей, от идеалов общечеловеческого просто невозможно. И книги, которые знаменовали его вступление в литературу, уже веско говорили о том, что он с поразительной проницательностью увидел то изначально нравственное, что может быть подавлено, растоптано одними общественными условиями и развито, поднято другими. О чем бы он ни писал: о героической борьбе венгерских коммунистов в условиях хортистской Венгрии («День, когда они были убиты»); о конфликте старого и нового («На озере Ферте»), когда отважный и честный инициатор коллективизации Лайош Давид сталкивается с кулаком Анталом Кренцем; о первом бургомистре-коммунисте Мартоне Андришко («Мартон Андришко, бургомистр»), встретившемся с реальными трудностями строительства социализма; о природе подлинно народного, национального героизма в борьбе за Истину («Дон Жуан, или Истина»)— в сознании читателя остаются два мира людей, каждый с присущим ему складом мыслей и чувств, взглядами на жизнь, но главное—остается ясное впечатление однозначно выраженной программы борьбы за нового человека, за все светлое в нем и совершенное, четко вырисовывается проблематика «доброго человека», доброго с точки зрения этических норм, которые выдвинул на передний план XX век.

Уже ранние рассказы Мештерхази отличались безыскусностью повествования, разговорной интонацией, раскрывающей собеседника мудрого, тактичного, обладающего необыкновенной внутренней культурой. Духовный багаж Мештерхази опирался на латинскую, французскую, итальянскую и русскую литературы. Не без иронии он напишет много лет спустя, что «такому интеллектуальному, образованному прозаику приличествовало вступать в литературу с каким-нибудь модерным трюком»,— и уже совершенно серьезно добавит: «Но не только сердцем, а и разумом своим я избрал реализм». Реализму как эстетическому кредо он останется верен на всю жизнь.

В начале 50-х годов, когда на повестке дня общественной жизни с особой остротой стояли вопросы культуры, Лайошу Мештерхази, по складу характера педагогу и просветителю, отличавшемуся огромной эрудицией, партия поручила возглавлять один из самых популярных журналов того времени — еженедельник «Мювельт неп» («Образованный народ»). С присущей ему энергией Мештерхази сплотил вокруг журнала лучшие литературные силы; здесь печатается много интересного, полемически заостренного материала по самым разным проблемам политики, философии, литературы, театра, педагогики, музыки, живописи, искусствоведения. Публикации эти отличались глубиной и богатством мыслей, они побуждали к размышлению над серьезными проблемами бытия.

Именно в эти годы у него сложился замысел одного из наиболее значимых произведений — трилогии «Свидетельство». Мештерхази очень дорога была мысль о том, что народ не только потребитель культуры, а и ее творец, что творческое начало народа им самим часто бывает неосознанно и художник должен показать это творческое начало так, чтобы читатель узнал себя, был бы этим взволнован, окрылен. Читатели узнавали, узнают и будут узнавать себя в этом произведении и через много лет, потому что его автор наделил своих героев их мыслями и чувствами, их сомнениями и верой.

«Во имя человека»— так называется первая часть эпопеи. Это название можно отнести и ко всем трем частям, и к творчеству Мештерхази в целом. Однако автор не случайно дал своему произведению заглавие «Свидетельство», ибо сам был свидетелем освобождения родного города от господства гитлеровцев, о чем написал объективно и эмоционально. Критики считали это произведение «фактом рождения политического романа в венгерской литературе», писали о нем как об «одном из первых венгерских социалистических романов-эссе».

Главный герой эпопеи — время: исторический период полного краха фашистского режима, победы народно-демократической революции и ее перерастания в социалистическую. Движущей силой «внутри» этого времени Мештерхази делает революционность. Именно она — как лейтмотив — пронизывает произведение, соединяя его части в единой, стройной последовательности. Персонажи трилогии — представители самых различных социальных слоев. Время выдвигает перед ними проблему выбора, который связан с нравственной ценностью действия или безнравственностью поступка.

Приближающееся освобождение Венгрии, несущее с собой общественные перемены, нервирует, бесит судейскую вдову Гизи Шоош, а Мартон Андришко — участник первой мировой войны и обороны Мадрида,

в прошлом узник петеновских концентрационных лагерей — внутренне ликует. Командир отряда «Скрещенные стрелы» парикмахер Янош Шиманди ощущает свое бессилие что-либо предотвратить. Бывшая служанка Аннушка, работница Жужа, сапожник Пал Хайду находятся где-то на перепутье, они уже и не сторонники старого, но еще плохо представляют себе новое, которое должно прийти с победой народно-демократической революции. Таких, пожалуй, большинство. И именно за них предстоит бороться Сечи, Силарди, Денеши, Сигети, вышедшим из революционного подполья и олицетворяющим поколение «светлых ветров». Это они будут вносить коррективы в «Энциклопедию Новых понятий», которую мечтает выпустить страстный поборник нового, но запутавшийся в сетях анархизма Поллак. В том и состояли трудности переходного периода, что создание «Энциклопедии Новых понятий», символизирующей в романе нелегкую борьбу за претворение в жизнь всего истинно демократического, было под силу лишь подлинным коммунистам.

Трилогия «Свидетельство» выходила в первую половину 50-х годов — время напряженное и драматическое, когда, с одной стороны, происходил процесс ломки старого уклада, а с другой, как указывалось в решениях VII съезда Венгерской социалистической рабочей партии, «после ряда лет успешной борьбы партии и хорошей работы, проделанной в области восстановления страны... имел место отход от ленинских норм партийной жизни, нарушения законности», что послужило и одной из причин контрреволюционного мятежа 1956 года.

Личность коммуниста, этика революционера — вот, можно сказать, краеугольные камни творчества Мештерхази. По природе своего таланта Мештерхази прежде всего эссеист. В газетных и журнальных выступлениях тех лет, то обращаясь к философам античности и классикам марксизма-ленинизма, то на примере событий повседневности, делился он с читателями сокровенными раздумьями о месте, занимаемом человеком в обществе, о доверии и уважении к личности при социализме, своим пониманием чувства долга, справедливости, смысла жизни, то есть взглядами на человека как на «homo moralis». Эти различные аспекты «вечной» проблемы «личность и история», излагаемые искренне, метафорично и в то же время доходчиво, делали его публикации необыкновенно своевременными — их ждали, о них спорили, на них ссылались...

И не случайно именно в 1956—1957 годах Мештерхази принимает участие в работе газеты «Непсабадшаг», а затем становится главным редактором литературного еженедельника «Элет эш иродалом», сыгравшего значительную роль в консолидации прогрессивных сил в стране. Люди тянутся к нему, ищут поддержки, приходят за советом — и старые коммунисты, и те, кто только начинает самостоятельную жизнь. Писатель в это время прерывает работу над романом «В нескольких шагах граница» [1] и пьесой «Люди из Будапешта».

[1] Опубликован в «ИЛ» № 7, 8, 9, 1959.

«Я оставил работу над книгой, я стал красным агитатором, поистине это мое призвание»,— заявляет он на страницах «Непсабадшаг» в статье «Письмо к незнакомцу об ответственности». Мештерхази стремится оказывать влияние на общественную жизнь страны и часто выступает на страницах печати. Только перечисление некоторых заглавий дает представление о широте творческих интересов писателя: «Несколько мыслей об агитации», «Заботы и упования венгерских революционеров», «Человечность и правда», «Совесть гражданина», «О социалистическом искусстве», «Рабочий класс и интеллигенция», «О социалистическом реализме», «Некоторые проблемы современного литературного языка». Его перу принадлежат многочисленные рецензии на книги коллег...

Читать эти работы Мештерхази — значит постоянно открывать для себя неизведанное, учиться проницательности и тонкости суждений. Он каждый раз напоминает об органическом единстве революционного «преобразования обстоятельств» и личного самосовершенствования. «В революционной деятельности изменение самого себя совпадает с преобразованием обстоятельств» [1]. Это марксистское положение лежит в основе и таких значительных произведений, как романы «В нескольких шагах граница» (1958), «Пора возмужания» (1967), пьеса «Люди из Будапешта» (1958).

Роман «В нескольких шагах граница» повествует о том, как простые люди Венгрии помогли уйти от хортистских преследований двум коммунистам — участникам революции 1919 года, бежавшим из тюрьмы. Он воскресил атмосферу крепкой товарищеской солидарности, воссоздал облик Венгрии 1919 года. В этой книге была особая, присущая Мештерхази революционная романтика, идущая от преклонения писателя перед самой идеей самоотверженного подвига во имя народа и покоряющая страстной верой в лучшее в человеке, в неодолимость этого лучшего. Мастерски использовав форму приключенческого жанра, захватывающе интересно описав сам побег, Мештерхази, как отмечала газета «Непсабадшаг», «нарисовал очень живой портрет общественного человека, революционера». Писатель умеет полнокровно передать свой опыт чувств, размышлений как через образы и отношения героев, так и в непринужденной беседе с читателем: идет ли речь о природе истинного гуманизма, о свободе в ее ленинском понимании или о постижении самого себя.

Тяготение к диалогу как способу изображения характеров логично и закономерно привело Мештерхази к драматургии. Первые пробы пера в этом жанре относятся к самому началу его творчества. Но одним из лучших его драматических произведений по праву считается пьеса «Люди из Будапешта». В 1961 году она поставлена и Московским театром имени Станиславского.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 201.

МАЯ УЛЬРИХ
ВЕРА И СЛОВО ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ

Было радостно наблюдать, с каким волнением зрительный зал следил за ожившими в воспоминаниях главных героев пьесы Моники и Шандора событиями их жизни и жизни их друзей на протяжении пятнадцати — двадцати лет: приход к власти фашистов в Германии, оккупация Франции, нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, освобождение Будапешта и контрреволюционный мятеж 1956 года. Внутреннее содержание этих катаклизмов мировой истории писатель раскрывает через судьбы, переживания и взаимоотношения героев, принадлежащих к одной общественной прослойке — интеллигенции. При этом Мештерхази выбирает лишь отдельные, решающие моменты в «диалектике душ», моменты, когда человек полнее всего обнаруживает самую сокровенную свою сущность. Семь юношей: Шандор, Бела, Дюла, Дешке, Андраш, Ласло, Тамаш — старшекурсники французского отделения филологического факультета — одновременно были влюблены в первокурсницу Монику. Эта влюбленность связывала «французскую гвардию» добрым, светлым чувством дружбы. Но начавшаяся война разбросала кого куда. И вот после двадцати лет разлуки Шандор и Моника неожиданно встретились, забежав в кафе спрятаться от летнего дождя.

Пожалуй, впервые именно в этой пьесе можно было остро ощутить, как сочетаются в Мештерхази-художнике философ и тонкий лирик, приверженный к сердечной исповеди, понятной и близкой другим.

В общей тональности пьесы, выраженной в подчеркнуто эмоциональной оценке изображаемого — яростной, саркастической, лирической,— Мештерхази обнаруживает свои взгляды на личность. Он гневно осуждает Дешке, ставшего откровенным фашистом, иронизирует над Дюлой, превратившимся в мещанина-коммерсанта; он преисполнен горечи за судьбу Белы — умного, незаурядного, принимавшего активное участие в общественной жизни Венгрии после освобождения, но не сумевшего разобраться в сложной обстановке осени 1956-го.

И он же, Мештерхази, сердечно, с огромной симпатией относится к Андрашу, Шандору и Ласло, нашедшим счастье в добросовестной работе, ставшим стойкими коммунистами. Но особенно нежно автор любит Монику, женственную, олицетворяющую лучшие качества человеческой личности: искренность, терпимость, чувство собственного достоинства.

Когда речь идет о героях, близких душе автора,— интонация повествования приобретает мягкость акварели. В этой интонации чувствуется радость Писателя (самостоятельного персонажа пьесы) за своих героев, одобрение выбранного ими жизненного пути. И воспоминания Моники и Шандора о былой дружбе и годах юности словно вышиты тонким шелком по канве ажурно-легкого летнего дождя, во время которого идет их задушевная беседа. «Писать надо так,— делится Мештерхази мыслями в одной из статей,— чтобы читатель воспринимал текст не только глазами, но и ушами. Я выработал для себя стиль предельно сжатый, строгий, без всяких украшательств. Особенность моей прозы — в скрытом ритме, в скрытой мелодичности. Стараюсь писать так, чтобы читателю было легко, зато сам — признаюсь — в течение получаса подыскиваю синоним для одного-единственного слова. Так что когда легко читателю — трудно писателю» [1].

Истинный художник, Мештерхази рассматривал необходимость единства формы и содержания как один из аспектов эстетической действенности литературы. По праву он мог повторить слова Достоевского: «Я всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления».

Произведения Мештерхази являются примером того, насколько образен, метафоричен может быть писатель не только в художественной прозе, но даже в журнальных и газетных выступлениях. Вот ответ Лайоша Мештерхази на один из вопросов анкеты журнала «Вопросы литературы» о роли сегодняшней литературы в защите мира и гуманистических ценностей, в борьбе за укрепление дружбы между народами: «Я видел сон, что лечу в космосе. В окно пилот показал на маленькую, еле видную точку: «Смотри, это Земля». И меня в ту минуту охватила мучительная, невыразимая тоска по ней, этой Земле. Ностальгия относилась к людям, и мне опять же не пришло в голову, что есть ведь и чужие, даже враждебные мне люди. Еле светящаяся точка в пространстве вдруг стала теплым, родным гнездом, стала со всем, что есть на ней, милым сердцу домом, а все люди любимыми родственниками». Мысль Мештерхази о том, что планета, поделенная на континенты, есть общая родина людей, хотя и размежеванная мирами разных социальных отношений,— не есть мысль абстрактного гуманиста, как это может показаться на первый взгляд. В данном случае она сосредоточена на проблеме мирного сосуществования. «Совещание в Хельсинки,— говорит он в ответе тому же журналу,— показало, что существует понимание: чтобы выжить, есть один путь — взаимное доверие»[2]. Доверие трактуется Мештерхази как мерило оценки личных качеств людей, действующих в поступательном движении истории.

Подлинной духовности, считает Мештерхази, не может быть без высокого художественного вкуса, без «мыслящей совести». Он не признавал «фокусничанья» в искусстве. Мештерхази много занимался и теоретическими проблемами искусства, в частности метода социалистического реализма, который, на его взгляд, наиболее отвечает совести честного художника. По мнению писателя, эстетика социалистического реализма прежде всего должна быть подчинена принципу действенности литературы. Самые различные средства художественной выразительности могут быть использованы автором, если они способствуют более полному восприятию социалистического по духу произведения.

В центре романа «Пора возмужания» (1967) — рассказ о нравственном становлении революционера. Как и многие произведения Мештерхази, он написан от первого лица, что придает ему характер исповеди. ...Ответственный работник мини-

[1] См. «ИЛ» № 6, 1976.
[2] «Вопросы литературы» № 12, 1976.

стерства культуры Венгрии Шандор встречается со своим другом, скульптором Белой, когда тому вручается Государственная премия. «А ведь это ты должен был стоять на моем месте! — бросает Шандору Бела, оставшись с ним наедине.— Эх, дружище, растратил ты свою жизнь на политику!» В молодости Шандор и Бела вместе начинали свой путь в искусстве. Как скульптор Шандор был талантливее Белы. И брошенная Белой фраза разбередила душу Шандору, он вспоминает всю свою жизнь, и это воспоминание превращается на страницах книги в рассказ о себе и самому себе.

У Шандора, выросшего в бедной семье кузнеца, рано проявился талант ваятеля, ему удалось поступить учеником в скульптурные мастерские, а через некоторое время победить на конкурсе скульпторов-подмастерьев. Католическая церковь предлагает Шандору стипендию для учебы в Италии и Франции, но в силу внутренней бескомпромиссности Шандор от нее отказывается. Эта же честность и душевная потребность бороться за справедливость привели его позднее в рабочее движение, он становится коммунистом, а затем профессиональным революционером, учится в партийной школе в Советском Союзе, работает в Чехословакии, Франции, Румынии, Испании, а после освобождения Венгрии становится видным общественным деятелем. На протяжении всего этого времени он часто встречается с Белой в самых разных ситуациях. В частных и откровенных беседах с другом раскрывается страстное желание Шандора разобраться в подлинных конфликтах времени. Сожалеет ли он, Шандор, что отдал жизнь политической деятельности? Нет, нет и нет! Он был честен перед самим собой, он свято верил и верит в социалистические идеи, он боролся за их претворение в жизнь, ведь вне истинно социалистической политики не может существовать истинно социалистического искусства,— с такими мыслями перелистываешь последнюю страницу романа, который остается в памяти прежде всего ощущением времени и образным его показом через судьбы людские.

Можно сказать, что окружавшие писателя люди становились героями его произведений. И это не случайно: Мештерхази всегда находился в гуще событий — его можно было видеть на заводах и в учебных заведениях, в селах и научно-исследовательских институтах, на заседаниях партийных и профсоюзных учреждений. Отсюда — знание действительности. Но тяжелая болезнь все-таки приковала его к креслу, однако он не пал духом, боролся с ней стоически. В эти годы писатель возглавил редакцию ежемесячного иллюстрированного журнала «Будапешт», сразу же завоевавшего огромную популярность среди широкого круга читателей. По образному выражению одного из друзей Мештерхази, теперь уже в редакцию несли ему «мед и яд» насущных проблем люди самых разных возрастов, занятий и убеждений.

Коренной вопрос современной истории, подошедшей к тому рубежу, когда человечеству предстоит решить дилемму своего существования, дилемму войны и мира, лег в основу романа «Загадка Прометея» (1973) [1].

Затрагивая современную злободневную тематику, Мештерхази обратился к одному из замечательных героев античных сказаний — Прометею, олицетворяющему передовые представления о смысле и цели жизни человека, о его красоте и совершенстве, об этическом и философском понятии Добра и Зла, чтобы на знакомых читателю аналогах истории Древней Греции рассказать о сегодняшних людях, ибо «человек трех тысячелетий назад все тот же простой и бесконечно сложный человек». Но рассказать, опираясь на современные идеалы людей, на их современный исторический опыт.

Роман строится по принципу антитезы. Его полюса — Прометей и Зевс — воплощают диаметрально противоположные философско-нравственные позиции. Остальные персонажи распределены между этими полюсами.

Итак, Геракл освободил Прометея, прикованного к скале по распоряжению Зевса за то, что он похитил огонь для людей и во имя их счастья. Освобожденный Прометей хочет знать, что делал человек, овладев дарованным огнем, как он вообще жил, как добивался власти над природой, как он познавал и перестраивал мир. История человеческой личности интересовала Прометея. Что же он видит и какой ответ получает на вопрос, рефреном звучащий в каждой главе романа? Везде сталкивается Прометей с одним и тем же: простые люди использовали огонь для очага, для защиты от зверей, для мирных ремесел. Но верхушка общества, вожди племен, старейшины, обучив слуг кузнечному делу, стали ковать оружие. Оружие для войн, для захвата новых земель, для сохранения власти. Однако изображаемые события для Мештерхази — лишь повод для раздумий. На материале далекого прошлого художник-мыслитель, рассматривая сегодняшнюю политику ряда западных государств, утверждает, что власть, не сдерживаемая чувством ответственности за судьбы людей и судьбы мира, есть власть деспотическая, антигуманная, уходящая своими корнями в идеологию «зевсизма»: низы должны быть обречены на страдания. Таким образом, идеология «зевсизма» выступает синонимом идеологии капитализма, которая несовместима с понятиями Добра и Разума.

Прометей как личность, противопоставленная Зевсу, являет собой пример бескорыстного служения людям, воплощает идею неистребимой тяги к совершенству человеческого духа. Образ Прометея возвеличивает, совестит, обогащает — и в этом непреходящее значение романа, справедливо названного венгерской критикой вершиной творчества Мештерхази[2].

В один из сентябрьских дней 1974 года— когда Будапешт и особенно его будайская

[1] Опубликован в «ИЛ» № 4, 5 за 1976 г.
[2] Об этом произведении Мештерхази см. «ИЛ» № 9, 1974; № 10, 1975.

МАЯ УЛЬРИХ
ВЕРА И СЛОВО ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ

сторона с ее неповторимой красотой архитектурных сооружений утопает в огненно-оранжевой листве, золотом звенящей во время порывов ветра,— я шла в гости к Мештерхази в знаменитый дом на улице Орсагхаз (самое старинное здание в Будапеште, охраняемое государством) и думала о том, как романтическая влюбленность писателя в искусство Древней Эллады с его идеалами гуманизма сочетается в романе «Загадка Прометея» с пониманием самим Мештерхази духовности, красоты, внутренней культуры человека.

Большой кабинет Мештерхази словно сохранил сумрак и прохладу средневекового замка. После сердечных рукопожатий, расспросов Мештерхази о московских друзьях, о литературных новостях, об интересных книгах, появившихся у нас, я в свою очередь спросила писателя: что сегодня больше всего волнует художников Венгрии? Мештерхази, на секунду задумавшись, сказал: «Сознание людей. Вы понимаете,— и глаза его загорелись,— такого материального благополучия наш народ не знал за всю свою тысячелетнюю историю. Но общественный уровень мышления людей сегодня еще не тождествен характеру общественного строя. Мещанская тяга к приобретательству, потребительство еще очень живучи. Машины, загородные дачи сегодня — символы престижа. Они оказывают деморализующее влияние потому, что этот аппарат,— Мештерхази выразительно постучал по лбу,— не подготовлен должным образом. Святая задача художников — сосредоточить все силы на преобразовании человеческого сознания, высвобождении его из пут мещанской психологии».

Спустя два года я вспомнила этот разговор в связи с выходом еще одной примечательной книги Мештерхази — сборника научно-фантастических рассказов «Семпитернин», получившей в 1972 году премию I Европейского конгресса по научной фантастике. «Семпитернин»— название препарата, который практически делает человека бессмертным. Но главное свойство этого вещества не в том, что оно дарует вечную жизнь, а в том, что оно наделяет человека способностью активно трудиться. И тут встает проблема: на что будет направлен труд такого «вечного» человека — на благо людей или во зло им, а это значит, надо решить и другую проблему: кто достоин получить сегодня первые пять тысяч порций этого чудодейственного препарата?

Итак, новая грань все той же проблемы о смысле и ценности человеческого бытия, о качестве человеческой личности.

«Как могла напасть на Социалистическую Республику Вьетнам возглавляемая КПК Китайская Народная Республика? За потрясением, преобладающим в тоне некоторых наших товарищей и стоящих близко к нам людей, скрываются упрощенные представления, которые довлели над нами какое-то время: мысль о том, что надстройка автоматически соответствует социалистическому базису и таким образом исчезают отрицательные традиции, происходящие из определенных особенностей развития отдельных явлений надстройки» — эти строки взяты из статьи Мештерхази «Не карточная игра», в которой он с присущим ему историзмом мышления анализирует причины агрессии Китая против Вьетнама, давая в ней марксистский анализ истоков гегемонистской политики правительства Китая последнего десятилетия. Написанная Мештерхази в марте 1979 года, за месяц до кончины, она стала органической частью публицистики 70-х годов, лучшие образцы которой вошли в последнюю книгу писателя «Слово о несказанном».

Когда мысленно выстраиваешь во временной последовательности все созданное Мештерхази за четверть века его литературной деятельности (о чем совершенно невозможно рассказать на немногих страницах журнала), то начинаешь понимать, что необыкновенный авторитет Мештерхази — в жизнеутверждающем начале его творчества, в его полемической заостренности. Для всех нас он всегда будет мерилом честности, бескорыстия, духовности и человечности.

◆

Публицистика

САВВА ДАНГУЛОВ

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ УЧЕНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ ФРГ

Во время поездки по Западной Германии мне была оказана честь выступить перед студентами древнего Майнца с рассказом о советской литературе. Студенты явили усердие в ознакомлении с нашей словесностью, доклад прошел в споре, что, как мне показалось, устраивало обе стороны. На исходе дня хозяева предложили совершить поездку по Майнцу. Собственно, хозяев представлял в этой поездке сребroглавый муж науки, занимающий, как мне объяснили, пост хранителя университетской библиотеки,— назовем его герр Бауэр. Итак, поездка по древнему городу состоялась, и почтенный герр Бауэр раскрывал перед нами историю города: Майнцу две тысячи лет, здесь были резиденции и архиепископа, и курфюрста, здесь жил и работал первый типограф Европы Гутенберг, именно здесь исконно типографские понятия: пресс, свинец, отливка, тиснение — обрели зримые формы, как впервые именно в этом городе увидела свет знаменитая миниатюрная библия, воссоздающая рукописное издание этой книги, однако выполненная с той точностью и совершенством, какое рукописной книге недоступно. И последнее: университету, в котором я говорил со студентами, без малого пятьсот лет — без самого малого,— эту дату он готовится отметить в ближайший год. Хотя великий Гутенберг скончался до того, как возник университет Майнца, он, Бауэр, убежден, что сам подвиг Гутенберга, масштабы этого подвига, его значение и его резонанс в умах способствовали возникновению университета — кстати, подвиг, о котором идет речь, очень точно соотносится с размахом самой личности Гутенберга, это не просто изобретатель, это ученый со своими неколебимыми принципами — дух Гутенберга хранит древний Майнц.

Я спросил моего собеседника, какой смысл он вкладывает в понятие «дух Гутенберга».

— Верность правде науки, истинное мужество в решимости защищать эту правду,— был ответ моего спутника.— Вы, советские, считаете нас безнадежными идеалистами,— вдруг засмеялся он.— Однако в кодексе науки, как понимаем ее мы, есть немало статей, которые вы не отвергнете, например, доказательность... Нет науки, которая бы была мыслима без доказательства, нет мысли, которая бы была принята на веру... Ничего отвлеченного, ничего такого, что было бы чуждо окружающей действительности, только жизнь, только великая книга мира — природа...

— Да не хотите ли вы сказать, что дух Гутенберга, как он понимается вами, противостоит тому, что мы зовем схоластикой? — спросил я.

— Именно это я и хотел сказать,— ответил мой хозяин.

Не могу утверждать, что поездка по

ДАНГУЛОВ САВВА АРТЕМЬЕВИЧ (род. в 1912 г.).

Советский писатель — прозаик, драматург. Автор романов «Дипломаты» (1966) и «Кузнецкий мост» (кн. 1—3, 1971—1979), повести в рассказах «Тропа» (1960), книги повестей и рассказов «Учитель словесности» (1974), документальной книги поисков «Пятнадцать дорог на Эгль» (1975), пьес «Признание» (1970) и «Неподкупный Горчаков» (1973).

улицам древнего Майнца и разговор о первом типографе Европы привели к знакомству с работой ученого человека из ФРГ, о которой пойдет речь ниже, но в какой-то мере этому знакомству способствовали — полезно узнать человека и в предубеждении, хотя, как говорили во времена оны, предубеждение опровергается много труднее убеждения.

Автор: доктор философии Лео Люкс. Такое впечатление, что предстоит ознакомиться с трудом, в котором знание проблемы сопряжено с глубиной исследовательской — у работы Лео Люкса вполне научное название: «Внешнеполитические концепции Ленина в их практическом осуществлении». Исследовательское начало, как обозначил в заголовке автор, обязывает к тону спокойному — заманчиво принять этот тон, если даже в перспективе спор.

Мне показалась привлекательной проблема, на которой остановил свой выбор автор. В общем комплексе государственных дел главы советского правительства дипломатия занимала свое большое место. Это было определено самим существом обстановки, в которой оказалось советское правительство после победы революции. Известно, что буржуазному миру потребовалось всего несколько дней, чтобы признать Февраль и правительство, созданное Февралем. Вместе с тем на признание правительства, вызванного к жизни Октябрем, ушли годы. Собственно, это были годы дипломатической блокады, которая оказалась для молодой страны тем тяжелее, что сопровождалась блокадой военной и экономической. В той мере, в какой Ленин решал задачи военные и хозяйственные, он должен был ставить и разрешать проблемы дипломатические. Дипломатия испокон веков была уделом избранных и сферой заповедной,— тем интереснее выяснить, как эта сторона государственных дел преломилась в деятельности Ленина. У нас эта проблема исследовалась с обстоятельностью, какой она заслуживает,— немалый интерес представляло, какое решение она найдет в западном мире. Работа ученого предполагает новое слово — закономерно предъявить соответствующее требование и автору.

1. «...У него не было никакого дипломатического опыта,— пишет г-н Лео Люкс.— Этот факт необходимо все время иметь в виду, если мы хотим правильно оценить гений Ленина... Разрушение существующего порядка в России и Европе было его единственной целью. Но после захвата власти он в течение ночи превратился в трезвого и реально мыслящего государственного деятеля. Гениальная внешнеполитическая тактика Ленина — новичка в дипломатии — это, может быть, самая важная причина, почему советский режим в России выстоял...»

Я увидел некое противоречие в этом высказывании автора. В самом деле, если понятие «дипломат», пользуясь терминологией г-на Лео Люкса, синоним трезвого и реально мыслящего политика, то термин «новичок в дипломатии» требует пояснений. Как мне кажется, ничто не готовит государственного деятеля так основательно, как тернистая дорога революционера профессионального. Как можно предположить, история русской революции свидетельствует и об этом. Для тех, кто сделал своим призванием жизнь профессионального революционера, русская революция, например, явилась великой школой, соединившей опыт борьбы с опытом знаний. Окиньте взглядом карту Европы, и вы обнаружите множество небольших городков, а то и сел и местечек, которые, будучи центрами русской революционной иммиграции, одновременно были и центрами русского образования, а еще точнее, самообразования. В Италии — Капри и Кава де Лавания, во Франции—Лонжюмо, в Швейцарии — знаменитый цюрихский квартал Каруж... На земле Европы нет крупной библиотеки, которую бы не обжили в начале века русские гонимые. В Стокгольме, в Королевской библиотеке, мне показали стол, за которым работал Ленин. Очевидно, такой стол можно отыскать и в библиотеке Британского музея, как и в читальном зале Сорбонны. Самообразование — не самая худшая категория образования, тем более когда у него есть столь благородная цель, как формирование собственного образа мыслей, убеждения. У российского самообразования, о котором мы говорим сейчас, было бесценное качество: оно было тем более действенным, что определяло способность человека бороться за истину.

Как свидетельствуют мои наблюдения, русские революционеры были больше гуманитариями — историки, филологи, юристы, знатоки искусств и литературы, хотя многим из них были не чужды науки точные — известна плеяда инженеров-энергетиков, оказавшая заметное влияние на постановку энергетического дела России. Я говорю о Кржижановском, Красине, Воровском. Но даже те из них, кто получил инженерное образование, были недюжинными гуманитариями,— кстати, верность этой мысли можно подтвердить на примере тех трех имен, которые мы привели выше. У этого явления было свое объяснение: революция требовала знания всего, что отражало духовный мир человека, его нравственную суть, его интеллект. Без этих качеств нельзя было постичь ни истинных настроений народа, ни степени его революционного сознания, ни его готовности к борьбе. Русская революция формировалась в интеллектуальной атмосфере. Высокая духовность — ее черта, ее качество. Авторитет Ленина, вождя революции и организатора Советского государства, опирался и на его интеллект. Разумеется, Ленин до того, как стал во главе советского правительства, не принимал послов, не выступал на дипломатических форумах. Однако не этим определялось его понимание того, что есть для Советской страны внешняя политика, а его способностью к стратегическому мышлению, обретшей форму Бреста и Генуи.

Вся плеяда дипломатов, которую на-

род зовет ленинской, считала за честь воспринять многие из черт Ленина-дипломата — к тем именам, которые были уже упомянуты, следует добавить имена Коллонтай, Литвинова, Луначарского. Что это были за люди? Ну, разумеется, это все были политики, для которых доскональное знание того, что происходит в мире, было вопросом профессиональным. Не следует недооценивать и того, что вся группа лиц, о которых идет речь, подолгу жила за границей и знала Запад не понаслышке. В образованности непрофессиональные русские дипломаты не уступали, а превосходили профессиональных русских дипломатов, впрочем не только русских. Кстати, об этом свидетельствует и Ллойд-Джордж, имевший возможность близко наблюдать новых русских дипломатов в Генуе. Конечно, новые русские были новичками в дипломатии, но взгляд этот не определяет существа. Надо говорить не о новичках, а о мужах зрелых, для которых доскональное знание происходящего в мире было обязательным.

И тут нам предстоит сказать главное. Новым русским, которые сплошь были образованными марксистами, выпала единственная в своем роде честь применить Марксовы законы общественного развития к дипломатии. Собственно, усилиями русских дипломатия побраталась с наукой. Ну, разумеется, были вопросы, в которых эти новые русские были несведущи. К ним можно было отнести не столько существо того, что именуется дипломатией, сколько ее приемы, ее заученные веками ходы: зондирование, инспирацию, умение охранить переговоры тайной и т. д. Было принято думать, что все эти качества важны для дипломата, определяя его сноровку, его деловитость, но верно и то, что к вопросам дипломатической стратегии они имеют отношение косвенное.

Если же говорить о главном, а именно о способности анализировать положение дел в мире, правильно его оценивать и обращаться к единственно действенным в этой обстановке средствам, то козыри были тут у тех, кого г-н Лео Люкс зовет дипломатами-новичками. Козыри, смею думать, важные, определяющие исход дела. Таким образом, если взглянуть на дипломатическое призвание Ленина не так узко, как это рекомендует ученый человек из ФРГ, концепция автора опровергается всей логикой фактов.

2. «После захвата власти Ленин в своей внешнеполитической тактике мог лишь импровизировать — у него больше не было образцов. Маркс и Энгельс почти ничего не говорили о внешней политике пролетарского государства, окруженного государствами капиталистическими. Импровизации Ленина оказались успешными».

Не думаю, что «импровизация» является тем самым термином, который здесь наиболее уместен. «Импровизация» — какое объяснение у этого слова? В музыке это сочинение, созданное в момент исполнения, в политике — дело, выполненное экспромтом, наскоро, без предварительной подготовки, плод мыслей случайных. Тот, кто элементарно осведомлен, как готовились главные ленинские внешнеполитические акции, согласится со мной, что тут это понятие вряд ли применимо. Когда дело требовало решений быстрых, не исключено, что и Ленин должен был импровизировать, но не это определяло деятельность Ленина-дипломата. И Брест, и особенно Генуя готовились тщательно и с учетом всех граней проблемы. Документы, опубликованные МИДом СССР, относящиеся к Генуе, например, воссоздают в деталях все этапы подготовки и свидетельствуют, сколь тщательна была эта подготовка. Если импровизация — плод фантазии, наития, экспромта, похоже ли это на Ленина, сознающего, что решается проблема, для страны кардинальная? Решения поэтому и были успешными, а это подтверждает и г-н Лео Люкс, что они не были импровизациями.

3. Есть смысл рассмотреть те места работы г-на Лео Люкса, где ученый человек из ФРГ говорит о своеобычности советской дипломатии, обо всем, что отличает ее от дипломатии западной. Не ясно ли, что новые задачи, которые поставила перед собой страна Октября, вряд ли могли быть решены, если бы тут участвовали старые средства?

«Одной из самых важных основ внешнеполитической тактики Ленина после Октябрьской революции,— отмечает автор,— было использование конфликтов между капиталистическими странами».

В той фразе, которую я привел, как будто бы нет ничего тенденциозного: так или приблизительно так эта мысль выглядит и в соответствующих наших работах. Однако все дело в контексте — если соотнести эту формулу г-на Лео Люкса с тем, что этому в книге ученого немца предпослано и за этим следует, у этой фразы, конечно, свой смысл.

О чем речь?

В определении Лео Люкса есть момент, который мне хотелось не обойти, а обнаружить. Сославшись на стремление большевиков в своих дипломатических акциях использовать конфликты между странами капитализма, Лео Люкс словно говорит: «Вот оно, большевистское миротворчество: вещают о мире и в то же время не скрывают намерения противопоставить одно капиталистическое государство другому...». Быть может, автор помнит известное положение Ленина о солидарности пролетариата против буржуазии и солидарности буржуазии против пролетариата. Да, буржуазия организована, и ее солидарность против пролетариата выражена достаточно мощно. Поход недоброй памяти Антанты против молодой Советской республики — выражение этой солидарности. Как в этой обстановке надлежит действовать Советской стране? Взывать к сплоченности буржуазии или делать все воз-

---

САВВА ДАНГУЛОВ
СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ УЧЕНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ ФРГ

можное, чтобы эту сплоченность поколебать? «...Правильна ли наша политика использования розни между ними, чтобы затруднить для них соединение против нас? Конечно, такая политика правильна»,— говорит Ленин, и ему нельзя отказать в правоте.

4. Мне бы хотелось высказать свое мнение и по вопросу, к которому ученый человек из ФРГ возвращается неоднократно,— я говорю о компромиссе как действенном средстве советской дипломатии. Имея в виду Ленина, г-н Лео Люкс говорит о его «почти неограниченной готовности к компромиссу по отношению к более сильному и бескомпромиссности по отношению к более слабому». Имея в виду В. И. Ленина, автор рассматриваемой работы полагает: «Пока Германия и Антанта были относительно сильны, его готовность к компромиссу была действительно почти неограниченной, однако при первых же признаках слабости он становился жестким и отклонял всякие компромиссы... Он точно знал, когда должен уступить и в какой момент компромисс уже не нужен».

Компромисс действительно является важным средством советской дипломатии, но компромисс, как можно догадаться, особый. Компромисс, как он выражен в практике советской внешней политики, определяет ее добрую волю, желание договориться, а следовательно, предотвратить конфликт, подчас вооруженный. Компромисс, как можно догадаться, вызван противостоянием двух систем собственности, что является фактом историческим и ставит стороны в положение, когда они должны искать пути к согласию, находить общий язык. Но у компромисса, как его понимают в нашей стране, есть обязательное условие: компромисс приемлем, когда он не колеблет суверенности Советского государства, когда он не касается его принципов, когда он, наконец, дает ему возможность совладать с испытаниями, которые возникли, преодолеть их. «Марксизм не зарекается от компромиссов,— говорит В. И. Ленин,— марксизм считает необходимым использование их...». Компромисс — жертва, отход, по крайней мере тактический, от избранного пути. Смешно упрекать государство, обращающееся к компромиссу, что оно учитывает могущество сил, противостоящих ему, хотя справедливости ради следует сказать, что Советская страна обнаруживала стремление локализовать известные противоречия, договориться и тогда, когда его партнерами по договору были малые государства,— укажем на серию договоров с этими странами. ...Все мелкие державы, а они составляют большинство населения земли, тяготеют за мир с нами. Такова была мысль Ленина. Следовательно, нельзя признать состоятельным главный тезис г-на Лео Люкса, смысл которого сводится к тому, что Советское государство шло на компромисс только с сильными.

Впрочем, может быть, стоит обратиться за примером к сегодняшнему дню — он, этот пример, у всех на виду. Что есть политика сосуществования и ее наиболее полное выражение, как договор в Хельсинки, если не форма известного компромисса? Если Советский Союз с его нынешней мощью явился инициатором хельсинкского форума, сел за стол переговоров со всем кругом европейских стран, среди которых подавляющее большинство стран малых, и скрепил своей подписью известный договор, не свидетельствует ли это о его желании найти общий язык с внешним миром, договориться?

5. В работе ученого человека из ФРГ свое большое место занимают Азия и отношения Советской страны с азиатскими странами, однако некоторые тезисы западногерманского автора хочется оспорить.

«Наиболее слабым звеном в империалистической цепи Ленин считал Азию,— справедливо замечает г-н Лео Люкс, но вывод, который он делает, неожидан даже в ряду неожиданных умозаключений автора.— Он разжигал ненависть азиатов против европейцев,— говорит ученый человек из ФРГ, имея в виду В. И. Ленина.— Его целью было покончить с господством европейцев в Азии».

Ленин, насколько нам известно, не противопоставлял европейцев азиатам, да это было не в правилах марксиста. Водораздел шел по иной линии: угнетатели и угнетенные — понятие «европеец» исторически воспринималось на азиатском континенте как синоним слова «угнетатель» или «колонизатор». Обратить гнев угнетенных против их угнетателей — не священная ли это задача революционера? Изобразить дело так, что в данном случае Ленин хотел столкнуть европейцев с азиатами,— значит принять систему доводов угнетателей, которые готовы обратиться к любому определению, лишь бы не произносить слово «угнетатель». Все это элементарно и не нуждается в более пространном пояснении. Недоумение вызывает иное: как западногерманский автор может обращаться к доводу об азиатах и европейцах, понимая, что наше время отстоит от викторианского, например, по крайней мере на столетие и нынешний читатель элементарно знаком с положением дел в мире? Не является ли это показателем того, сколь невысоко мнение автора об уровне читателя? Признаться, меня это изумило тем более, что работа г-на Лео Люкса адресована в первую очередь публике ученой. Неужели ее понимание проблемы столь примитивно, что с нею можно говорить на таком языке?

6. Было бы, пожалуй, нелогично, если бы западногерманский автор при известном тематическом своеобычии работы, соотнесенной с советской дипломатией и Лениным, не обратился к тезису, который есть смысл здесь воспроизвести:

«Большевики, как члены советского правительства, выступали за нормальные, дружеские отношения со всеми государствами мира. Но одновременно те же самые большевики были членами Коминтерна, и их целью было уничтожить господствующую систему во всех госу-

дарствах». Как свидетельствует г-н Лео Люкс, советское правительство именно благодаря этой, как он выражается, «двойственности» своей политики «могло добиться многих успехов».

Итак, «двойственность политики»? Обратимся к фактам — они у всех на виду. Принципы нашей внешней политики были декларированы достаточно широко. Главное положение листовки, обращенной от имени Совета Народных Комиссаров к солдатам Антанты, находящимся в окопах, по существу повторяло соответствующую формулу документа, адресованного правительствам воюющих стран,— адреса были различными, текст по существу один: «Солдаты! Дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира...»

Главная задача, как ее определило советское правительство, состояла в том, чтобы сохранить мир, не допустить развязывания новой войны, то есть подчинить внешнюю политику страны решению задачи, которая, будучи интернациональной, оставалась глубоко национальной,— создание социалистического государства, способного строить общественные институты, экономику, культуру вопреки капиталистическому окружению.

Как отмечалось выше, советское правительство не делало секрета из своей позиции. Все, что оно говорило собственному народу, оно говорило народам внешнего мира. Взяв власть, оно раскрыло перед всем миром содержание государственных архивов. Правительство решительно выступило против тайных договоров, совершив беспрецедентный в истории дипломатии шаг и предав секретные договоры гласности.

Адреса могли быть разными, но существо, как в солдатской листовке, было одним: создание обстановки, способной охранить мир, а вместе с тем, разумеется, и страну Октября от угрозы войны. Поэтому безнадежно искать тут противоречия. Что же касается того, в какой мере искренни стремления Советской страны к миру, то, наверно, лучше всего тут обратиться к недавней истории. Уместно спросить: не будь страны Октября, что осталось бы от суверенной Европы хотя бы в годы минувшей войны? Если же СССР протянул руку помощи Европе в военное время, при этом и странам, чей государственный строй в тот момент отождествлял отнюдь не самые прогрессивные тенденции, то почему он, Советский Союз, должен желать ей гибели сегодня? Принцип политики сосуществования гласит: «...независимо от существующего строя». Этот принцип обязателен для нас, да, кстати, он нами самими и предложен.

Когда речь идет о власти буржуазии, у европейского рабочего может быть свое мнение, как и свои счеты с этой властью, но это старый спор, и тут никто не в состоянии изменить соотношения сил и повлиять на существо отношений между сторонами.

Другой вопрос: сочувствуем ли мы европейскому рабочему? Несомненно, сочувствуем. В силу классовой солидарности, по причине самой нашей родословной, у истоков которой был Октябрь. Однако вопрос, о котором идет речь, является в полном смысле этого слова компетенцией европейского рабочего, и не нам тут вмешиваться в дела, которые являются частью его суверенности. Сказав, что «большевики, как члены советского правительства и представители государства, выступали за нормальные, дружеские отношения со всеми государствами мира», г-н Лео Люкс вынужден был воздать должное нашей лояльности, нашему стремлению соблюдать альфу и омегу принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Что же касается сочувствия борьбе угнетенных, будь то угнетенные Запада или Востока, то этот принцип был написан на наших октябрьских знаменах и всегда будет предметом нашей гордости.

7. У советской внешней политики своя стройная система, своя концепция, в основе которой Марксовы законы общественного развития. «Есть сила бóльшая, чем желание, воля и решение любого из враждебных правительств или классов, эта сила — общие экономические всемирные отношения, которые заставляют их вступить на этот путь сношения с нами»,— подчеркивал Ленин. Вознамерившись опровергнуть внешнеполитическую концепцию Ленина, г-н Лео Люкс должен был позаботиться о том, чтобы у него самого была концепция, опирающаяся на систему взглядов, имеющую хотя бы некоторое отношение к науке. Если бы такая концепция имелась, то приведенных нами примеров было бы достаточно, чтобы определить главные ее черты. Но по всему видно, что такой концепции нет. Великий Гёте был мягок, заметив, что нет ничего опасней для новой истины, как старые заблуждения. Наверно, надо говорить не о заблуждениях, а о ложных идеях, а они, как известно, похожи на «неправильные камни» — по крайней мере теми, кто возводит здание, они, эти «неправильные камни», не ставятся ни в грош и отбрасываются прочь. Г-н Лео Люкс отдал себя во власть этих ложных идей, и они не прибавили славы его затее.

Для работы ученого человека из ФРГ характерно множество назывных фраз и положений, которые, как мне кажется, не должны иметь места в работе ученого человека. Они не усиливают исследовательского пафоса работы и, уж конечно, не прибавляют ей убедительности. Сказать о Ленине «властитель России» или «один из самых фанатичных революционеров Европы» — это значит заимствовать худшее из лексикона западной пропаганды, не ясно ли, что, говоря о Ленине, человечество сегодня обращается к иной лексике, в существе которой сознание факта, что XX век — век Октября, у колыбели которого стоял Ленин. Но возникает и иной вопрос: каким должен

САВВА ДАНГУЛОВ
СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ УЧЕНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ ФРГ

быть политический идеал автора и как далек он должен быть от того, что мы зовем духом времени, если во второй половине века, ставшего волей истории веком раскрепощения, понятие «революционный» повсюду сопроводить термином «разрушительный»? Характерно, чем серьезнее проблема, за решение которой берется автор, тем большим количеством многоцветных эпитетов он ее обставляет, очевидно полагая, что от этого система его доводов будет весомее. Но усиление, а вместе с этим замена одного понятия другим являются не единственным приемом, которыми изобилует труд ученого немца. Другой запрещенный прием — смещение. Доказано всем ходом истории нашего столетия, что большевики и Ленин были принципиальными и последовательными противниками войны. Собственно, иначе и быть не может, неприятие войны как средства решения конфликтов следует из всего строя взглядов марксистов на общественные отношения. Известно Марксово положение о том, что союз рабочих всех стран в конце концов искоренит всякие войны, как широко распространена ленинская формула о войне, вообще противной стремлениям партии коммунистов.

Мнение, подобное тому, которое мы воспроизвели только что, отражает взгляд коммунистов на войну. По Марксу и Ленину, войны возникают из всего строя общества, построенного на антагонизме. В таком обществе человеческие отношения отражают конфликт классов: один выражает господство, другой — подчинение. Стремление господствующей силы охранить классовое существо этого общества, обратив на выполнение этой задачи политические, военные, правовые, философские, религиозные, эстетические институты, лежит в основе конфликта, перерастающего в войну. Совершенно очевидно, что в самой первоприроде советского общества нет причин к конфликту и войне. Маркс смотрел в корень, когда говорил, что союз рабочих всех стран искоренит всякие войны.

В наше время никто больше Советской страны не сделал, чтобы отвратить войну. Но автору рассматриваемой работы надо доказать обратное — иначе он не выполнит программы-минимума. Что же он делает? Используя всуе известное ленинское положение о превращении войны империалистической в войну гражданскую, он стремится доказать, что большевики жаждали европейской войны, больше того, способствовали ее возникновению.

Это столь невероятно, что есть смысл привести высказывание ученого немца из ФРГ полностью:

«В первой фазе своей деятельности до захвата власти Ленин лишь последовательно развивал концепции Маркса и Энгельса... Как Маркс и Энгельс, Ленин страстно жаждал европейской войны и надеялся, что она завершится социалистической революцией...»

Развивая этот тезис, Лео Люкс договаривается до того, что Ленин, вызвав первую войну, очень хотел второй мировой войны, полагая, что сумеет увидеть мировую революцию.

Тут, пожалуй, есть смысл поставить точку. Не скрою, что работа ученого человека из ФРГ вызвала невеселые мысли. Чего-то я ожидал, а что-то, признаюсь, явилось и для меня неожиданным. Ожидал я, что истины, утвержденные г-ном Лео Люксом, будут далеки от наших,— учитывая противостояние наших позиций, это, пожалуй, было бы даже естественным. Неожиданно было, что эта работа, претендуя на научность, будет в такой мере далека от труда ученого, игнорируя анализ проблемы, а в этой связи и элементарную правду.

Вернувшись же к тезису о доказательности, с которого мы начали наш рассказ, есть смысл вспомнить не только свидание с древним Майнцем, но и поездку в не менее древний Трир, а в этой связи обратиться не только к Гутенбергу, но и к Марксу — если говорить о правомерности каждое положение науки проверять единственно действенным средством, средством доказательности, то необходимо обратиться именно к Марксу — никто не умел это делать точнее и надежнее его.

Итак, проследовав вдоль живописного Мозеля и вступив в Трир, где одно за другим возникли древнеримские дива, вопреки стихии лет уцелевшие, вроде каменных врат посреди города и крепостных стен, расцвеченных ярко-зеленым мхом, мы подошли к двухэтажному особняку, наверно типичному для начала века минувшего, с нарядным балконом, фигурными окнами, скорее похожему на большую шкатулку, чем на дом, открыли дверь... Заманчиво описать уютное обиталище семьи Маркса, но пренебрежем этим единственно ради Марксова афоризма, который предваряет осмотр первого зала. Речь в нем о том, что христианство — как это утверждает наиболее солидная и последовательная часть протестантских теологов — не может согласиться с разумом, так как «светский» разум находится в противоречии с «религиозным» разумом...

Вот, пожалуй, все, что нам хотелось сказать, имея в виду доблести ученого человека из ФРГ: в первосути его попыток ниспровергнуть Ленина лежит намерение не согласиться с разумом, не согласиться по той причине, что этот разум, по слову Маркса, «светский», а следовательно, чужд каннибальскому существу врагов революции, к которым причислил себя и г-н Лео Люкс, причислил открыто, больше того, воодушевленно. Впрочем, удивляться тут нечему: слишком явственно социальное лицо тех, кто инспирировал труд ученого человека из ФРГ. Сложнее понять другое: насколько малоинтеллигентна работа г-на Лео Люкса и в каком вопиющем противоречии она находится с темой, которую вознамерился он решить. Говорят, интеллигент — это тот, кто способен взглянуть на себя со стороны. Взгляни г-н Лео Люкс на себя со стороны, катастрофу можно было бы предотвратить.

◆

СТРАНИЦЫ ЛЕНИНИАНЫ

ЛЕТОПИСЬ НОВОГО МИРА

Год 1917-й...

Будущие историки отметят этот день (25 октября 1917 года) как день рождения новой эры.

Лион Фейхтвангер

ЖЮЛЬ ПЕРАХИМ (Румыния).
Иллюстрация к книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

ПЕЧАТАЛОСЬ В «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»...

«Ленин и зарубежные литературы». Такая рубрика появилась четверть века назад в одном из первых номеров только что начавшего выходить журнала «Иностранная литература». Это была заявка на широкую тему, включавшую круг вопросов первостепенного значения, наименее разведанная из многочисленных тем, связанных с ленинскими идеями об искусстве. «Статьи, письма, высказывания Ленина о зарубежных писателях, его воспроизведенные мемуаристами литературно-критические оценки, пометки на книгах, переводы,— отмечал журнал,— не собраны воедино, не систематизированы, даже библиографически не учтены. Ряд документов еще не опубликован»[1].

Сейчас можно сказать, что за прошедшие с тех пор годы внесен немалый вклад в разработку этой темы Среди публикаций, появившихся в журнале,— статьи, раскрывающие отношение Ленина к писателям прошлого и современности, произведения зарубежных авторов, посвященные Ленину, воспоминания о встречах и беседах с ним, обзорные статьи о влиянии ленинских идей на мировую литературу, исследования, посвященные различным сторонам этой проблемы.

Все вместе они складываются в обширную разнообразную мозаику, позволяющую во многом дополнить представления о том, что есть ленинская мысль, образ Ленина, значение и масштаб его дела.

■

Особый интерес представляют материалы из ленинского рукописного наследия, впервые увидевшие свет на страницах «Иностранной литературы».

«...Семь неизданных ленинских рукописей, хранящихся в Центральном Партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,— писала редакция журнала в предисловии к этой публикации,— дополняют известные высказывания Ленина о Парижской коммуне, о писателях и публицистах Запада, уточняют некоторые факты биографии Владимира Ильича, расширяют наши представления о круге его литературных интересов»[2].

К такого рода материалам, в частности, относятся датированные 1921 годом замечания о предисловии Бернарда Шоу к его драматической пенталогии «Назад к Мафусаилу».

Книгу «Назад к Мафусаилу» прислал в подарок Ленину сам автор. Журнал впервые опубликовал факсимиле — дарственную надпись Шоу на этой книге: «Николаю Ленину, который один среди государственных деятелей Европы обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту»[3].

Замечания Ленина о драме Шоу, писал журнал, «перекликаются с другими высказываниями Владимира Ильича о публицистической и общественной деятельности английского сатирика, которые учат бережно поддерживать все прогрессивное в мировоззрении и творчестве художников Запада, критикуя в то же время их идейную ограниченность, политические и философские ошибки»[4]. Эти ленинские замечания противостояли односторонним суждениям тех, кто блестящий памфлет Шоу, обращенный против капитализма, его философии, идеологии, морали, религии, политики, называл «евангелием защиты капитализма», сводя его смысл к утверждению идей «реакционной буржуазной евгеники»[5].

Ленин давно следил за публикациями Шоу, высоко ценил его творчество и общественную деятельность и не раз беседовал о нем с представителями английской культуры. Еще в 1915—1916 годах, конспектируя книгу шведского публициста Густава Стеффена «Всемирная война и империализм. Социально-психологические документы и наблюдения во время всемирной войны 1914/15», Ленин выделил «сочные цитаты Джорджа Бернарда Шоу об английском лицемерии», которое неизменно преследовал сатирик.

В своей речи, произнесенной в июле 1931 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве, Шоу рассказал о том, что он послал Ленину одну из своих книг «с посвящением, полным энтузиазма, в надежде, что это посвящение будет опубликовано во всей Европе» и что надежда его не сбылась — «посвященные мною Ленину строки нигде никогда не появлялись».

Воспроизведенные на нашей иллюстрации строки эти дополняют бывшие ранее известными высказывания писателя о Ленине, которого он считал единственным в мире «человеком, превосходящим всех остальных, человеком, которого можно поставить в один ряд лишь с немногими, но и в ряду этих немногих он на голову выше остальных». Журнал привел воспоминания английского журналиста Артура Рэнсома, автора книги «Шесть недель в Советской России», который в 1919 году беседовал с Лениным о Бернарде Шоу.

Ряд статей и обзоров, появившихся на страницах журнала, был посвящен изучению интересов Ленина в области зарубежной литературы, его высказываниям об отдельных писателях, характеру использования им литературных образов и другим аспектам проблемы. «Сочинения Ленина, в которых по тому или иному поводу упоминаются имена и образы классиков, и обширная ленинская переписка, и воспоминания современников свидетельствуют о поистине всеобъемлющем охвате Лениным явлений мировой культуры»,— писал, в частности

[1] «ИЛ» № 3, 1957, стр 188.
[2] «ИЛ» № 4, 1957, стр. 3.
[3] Там же.
[4] «ИЛ» № 4, 1957, стр. 25.
[5] Там же, стр. 26.

Бернард Шоу

Дарственная надпись на книге „Назад к Мафусаилу"

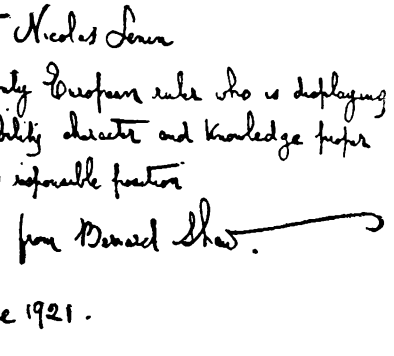
(Перевод с английского)

<Николаю Ленину,
который один среди государственных деятелей Европы обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту.

от Бернарда Шоу

16-го июня 1921.>

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 19379, лист 2.— Подлинник.



Б. Мейлах в статье «Ленин и иностранная литература»[6]. Автор указывал на публицистический характер использования Лениным таких образов зарубежной литературы, как шекспировский Шейлок, мольеровский Тартюф, Дон Кихот Сервантеса.

«Но это лишь один из аспектов темы «Ленин и иностранная литература»,— замечал Б. Мейлах.— Другим аспектом, исключительно важным в обстановке острой политической, идеологической борьбы на международной арене, является привлечение Лениным зарубежной литературы и публицистики не только как познавательного материала, раскрывающего сущность человеческих типов и позиций различных лагерей, но и как ценнейшего средства просвещения масс»[7].

Ряд конкретных наблюдений на ту же тему был приведен в историко-литературном обзоре Б. Яковлева «Ленин и Гёте». Интересны, среди прочего, замечания автора об особенностях ленинского цитирования зарубежных источников. Так, цитируя трагедию Гёте «Фауст», Ленин сам ее переводил, причем его переводы отмечены своеобразием и мастерством. «Он стремился передать поэтическую афористичность Гёте во всей ее выразительности, многозначности, сжатости»[8]. Впоследствии автор расширил и обобщил свои наблюдения в статье «Великая школа (Заметки о ленинских переводах)»[9].

Т. Мотылева в статье «Роллан, Толстой, Ленин» детально исследует не только подход самого Ленина к явлениям литературы, но одновременно и то, как этот его подход сказывался затем на писателях. Статья вскрывала, таким образом, сложное взаимопереплетение литературно-идейных влияний. «Поучительно присмотреться ближе,— писала Т. Мотылева,— каким образом чтение Толстого подготовило Роллана к восприятию жизненного дела Ленина—и каким образом Ленин помог Роллану глубже осмыслить Толстого»[10].

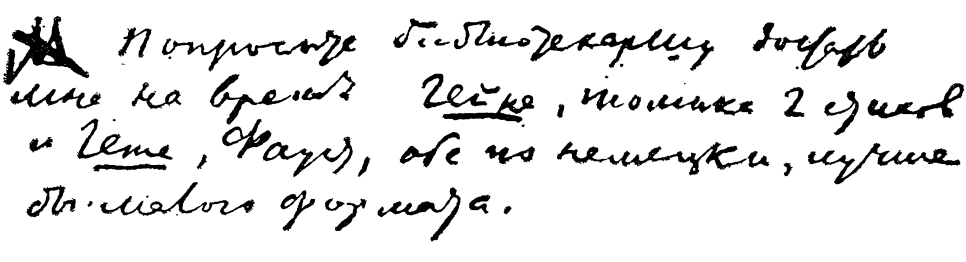
Близкий по характеру круг вопросов на самом разном материале рассматривался в целом ряде других работ. «Ленин и Октябрь произвели революцию в умах, они оставили неизгладимый след в творчестве многих мастеров культуры, решающим образом определили то невиданное расширение идейных горизонтов, которыми отмечена новая эпоха всемирной литературы»,— писал Б. Гиленсон в статье «Я выбираю путь Ленина», где прослеживалась эволюция взглядов замечательного американского журналиста и публициста Линкольна Стеффенса[11].

Стеффенс не раз бывал в России, встречался с Лениным, беседовал с ним и спорил; в конечном счете его убедила и покорила мысль вождя русской революции, которая неуклонно претворялась в дело. «Ленин олицетворял большевиков...— писал он позднее в автобиографии.— Он всегда мог положить конец дебатам и потребовать действия, целенаправленного и единого... Речь Ленина заключала в себе идею».

«Уроки Октября, освещенные ленинской мыслью,— писал Б. Гиленсон,— впервые художественно осмысляются Стеффенсом в малоизвестной у нас книге «Красный Моисей» (1926). Особенно интересно теоретическое введение, в котором он вновь возвращается к разговору в Кремле с вождем Октября, показывая его человеком, постигшим законы революции, умевшим заглянуть на много лет вперед так, как ни один западный лидер».

Влиянию ленинских идей на литературу,

[6] «ИЛ» № 4, 1962, стр. 175.
[7] Там же, стр. 181.
[8] «ИЛ» № 3, 1957, стр. 193.
[9] «ИЛ» № 4, 1961.
[10] «ИЛ» № 7, 1969, стр. 180.
[11] «ИЛ» № 3, 1970, стр. 225—228.



Факсимиле записки В. И. Ленина Л. А. Фотиевой от 6 июня 1921 года.

культуру, общественную мысль всего современного мира были посвящены многие публикации журнала: статьи И. Анисимова «Ленин и новые горизонты всемирной литературы»[12], Е. Книпович «Читая Ленина»[13], Джона Говарда Лоусона «Ленин, СССР, американская культура».

«...Значение Ленина возрастает с каждым днем,— писал, в частности, Джон Говард Лоусон,— никогда еще с его именем не были связаны судьбы стольких миллионов людей... Сейчас, когда мы вступаем в семидесятые годы двадцатого столетия, время настоятельно требует, чтобы мы пересмотрели влияние Ленина на искусство всего мира»[14].

Автор отметил это влияние не только в творчестве таких писателей-коммунистов, как Майкл Голд или Теодор Драйзер, но и в трилогии Дос Пассоса «США», в «Гроздьях гнева» Джона Стейнбека, «у позднего Фицджеральда, у Вулфа, Фолкнера» [15]. Расширяя постановку проблемы, Джон Говард Лоусон писал, что в современном мире ленинские идеи продолжают оказывать влияние через посредство всей советской культуры вообще. По его мнению, настала пора самым серьезным образом «заняться изучением влияния советской культуры на Соединенные Штаты в прошлом и настоящем... Я считаю, что для американцев такое изучение необходимо: оно помогло бы нам понять, как изменилось наше мышление за эти годы. Мир стал другим, и земля ускользает у нас из-под ног»[16].

Джон Говард Лоусон далеко выходит за рамки темы о влиянии ленинской мысли на художников — он хочет установить общность между творчеством Ленина и творчеством художника или хотя бы доказать, что такую общность установить можно. «Революция и искусство,— писал он,— не исключающие друг друга понятия, а связанные кровным родством дети того, что называется творчеством человека».

На этой интересной концепции стоит остановиться подробнее.

«Многих, вероятно, удивит,— писал автор,— что о Ленине можно говорить как о художнике, но мысль эту подал он сам. В работе «Марксизм и восстание» он пишет, что «именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвав восстание именно *искусством*, сказав, что к восстанию надо относиться как к искусству...». Пытаясь проникнуть в смысл этих слов, Джон Говард Лоусон размышляет о своеобразной «драматургичности» ленинского мышления, которая сказывается и в его работах и в практической деятельности.

«Сам Ленин никогда не назвал бы себя художником, потому что он не создавал того, что принято считать произведением искусства. И тем не менее его требование относиться к восстанию как к искусству прозвучало в такой сложный и напряженный момент истории — за несколько дней до захвата власти... Развитие действия должно было завершиться кульминацией, и, назвав восстание искусством, Ленин показал, что обладает даром, который необходим драматургу. Мне кажется, к его чувству драмы ближе всего подходит определение «шекспировское» — настолько оно было ярким, всеохватывающим и безошибочным до мельчайших деталей. Это чувство драмы пронизывает все им написанное, оно определяет его стиль. Он обладал шекспировским знанием человеческой души и ее движений, тех эмоций, от которых зависит развязка».

Многие материалы, увидевшие свет на страницах «Иностранной литературы», в совершенно другой связи подтверждают эти слова о «шекспировском знании души». Прежде всего это воспоминания о встречах с Лениным, из которых встает многогранный образ вождя революции.

■

В журнале были опубликованы воспоминания о Ленине самых разных, непохожих друг на друга людей. Среди авторов — ветеран английского рабочего движения Уильям Галлахер, немецкие коммунисты Альфред Курелла и Вильгельм Кёнен, польская революционерка Хелена Бобинская, английский скульптор, племянница Черчилля Клэр Шеридан[17].

Клэр Шеридан приехала в Москву в 1920 году, чтобы вылепить скульптурный портрет Ленина. Много часов она провела в ленин-

[12] «ИЛ» № 4, 1961.
[13] «ИЛ» № 4, 1970.
[14] «ИЛ» № 3, 1971, стр. 227.
[15] Там же, стр. 231.
[16] Там же, стр. 232.

[17] Уильям Галлахер. Великий гений революции, «ИЛ» № 4, 1958. Альфред Курелла. Незабываемые встречи. Там же. Вильгельм Кёнен. Мои встречи с Лениным, «ИЛ» № 4, 1959. Хелена Бобинская. Из моих воспоминаний о Ленине, «ИЛ» № 4, 1958. Клэр Шеридан. Неприкрашенная правда. «ИЛ» № 4, 1961.

ском кабинете, наблюдая за главой Советского государства во время его повседневной работы, но долго не решаясь с ним заговорить. «Вот он сидит здесь, передо мной, спокойный, молчаливый, небольшого роста, человек с огромным лбом. Ленин, гений величайшей революции в истории человечества,— если бы он только захотел поговорить со мной!.. Лицо его выражало скорей глубокую думу, чем властность. Мне он представлялся живым воплощением мыслителя (но не роденовского)... Он выглядел очень больным... Пуля, пущенная рукой женщины, покушавшейся на жизнь Ленина, все еще оставалась в его теле. Один раз я увидела его с рукой на перевязи. Он сказал, что это «ничего», но был желт, как слоновая кость».

Но вот сломан первый лед отчуждения, и вождь революции предстает вдруг с иной стороны. «Я увидела, что Ленин стал со мной приветливее, и показала ему несколько фотографий своих работ. Хотя он и говорил, что ничего не смыслит в искусстве, однако весьма определенно охарактеризовал «буржуазное искусство», которое, как он сказал, всегда стремится к красивости. Он относится отрицательно к красоте как к абстрактному идеалу. Он заявил, что считает неоправданной красоту, которой я наделила свою Победу. «Милитаризм и война безобразны и могут вызвать только ненависть,— сказал он,— и даже самопожертвование и героизм не могут придать им красоты. Порок буржуазного искусства в том, что оно всегда приукрашивает». Затем Ленин взглянул на фотографию скульптуры «Головка Дика», и выражение нежности промелькнуло на его лице. Я спросила: «Это тоже очень приукрашено?» Он покачал головой и улыбнулся. Затем торопливо вернулся к своему огромному письменному столу, как человек, потерявший слишком много времени, и мгновенно я и моя работа перестали для него существовать».

Совсем с другой стороны предстает перед читателем Ленин в воспоминаниях коммунистов, зарубежных соратников Владимира Ильича. Для них Ленин тогда был старшим товарищем, учителем, подававшим пример коммунистического отношения к делу революции. «В те напряженные мартовские дни Ленин выглядел утомленным от чрезвычайной перегрузки в работе,— вспоминает свою поездку в Москву в 1921 году член ЦК СЕПГ Вильгельм Кёнен.— Он сказал нам об этом сам, очень просто и откровенно. Несмотря на усталость, Владимир Ильич с большим вниманием слушал наши рассказы о разногласиях в немецкой партии... обо всех более или менее важных явлениях в немецком рабочем движении и в культурной жизни страны. Его интересовало буквально все — общие знакомые, позиция крупных деятелей, новые идеи и в особенности уровень промышленного производства в стране»[18].

Мы видим Ленина сурового, порой насмешливого, но всегда принципиального. Он не прощает верхоглядства и зазнайства, когда речь идет о деле революции, способен строго указать на ошибки — однако при этом всегда остается товарищем, умеющим понять и оценить людей. «Когда немецкий делегат, юрист Пауль Леви,— вспоминает Уильям Галлахер о работе II конгресса Коминтерна в 1920 году,— свирепо накинулся на меня и стал сравнивать меня с некоторыми «негодяями-социалистами» в Германии, думая при этом, что делает приятное Ленину, тот резко одернул его: «Нельзя говорить в таких выражениях про товарища Галлахера. У него могут быть ошибки, но он всегда будет верен революции». Я запомнил это на всю жизнь, и воспоминание это всегда подкрепляло мою веру в наше великое дело».

Венгерский писатель Ласло Дюрко никогда не видел Владимира Ильича. В своем интересном эссе он пытается воссоздать человеческий образ вождя русской революции, перелистывая страницы ленинских документов, воспоминаний о нем. Особое внимание автора привлекает удивительное для руководителя столь крупного масштаба ленинское внимание к кажущимся «мелочам», к отдельным человеческим судьбам. Ласло Дюрко усматривает в этом не просто высокую человечность, но и принципиально важное качество деятеля нового типа.

«Нет, речь шла не о мелочах, а... о воплощаемых в отношении к ним основополагающих принципах. Одной из самых страшных раковых опухолей царской России было пресловутое «ничево»... Ленину пришлось стать во главе страны, которая в обстановке невиданного в истории хаоса и разрухи строила общество, утверждающее уважение и внимание к человеку. Из России, погруженной в оцепенение спячки, глубокого безразличия к человеку, нужно было создать Россию революционную.

А к чему может привести принцип *«ничево»* в революции? Это образ мыслей, позволяющий равнодушно, без всяких угрызений совести списать любую «отдельную» ошибку за счет развивающегося в правильном направлении целого. Изгнали Керенского, разбили Колчака — кого интересует крестьянская лошадь или жалоба солдатки? Именно такие рассуждения скрываются за формулой — «пустяками заниматься некогда». Когда в стране все перевернуто вверх дном... ошибки, заблуждения — даже тяжелые ошибки и серьезные заблуждения — неизбежны. Но горе тому руководителю, который, зная об этой закономерности, равнодушно мирится с ошибками... Еще опаснее затыкать рот тому, кто старается привлечь внимание к ошибкам, ибо бессловесность — лучшая почва для злоупотреблений, для произвола, таящих в себе угрозу для дела революции. Если революция не может решительно этому произволу противостоять, она, как правило, терпит поражение. Ленин, который в самые ответственные моменты, в обстановке решающих побед не терял остроты реакции на мельчайшие ошибки, больше всего ненавидел злоупотребление властью, особо предостерегал революцию от произвола»[19].

К образу Ленина еще при его жизни обращались в своих произведениях многие де-

[18] «ИЛ» № 4, 1959, стр. 178.

[19] «ИЛ» № 4, 1965, стр. 241.

ятели искусства и литературы. О некоторых из них писал на страницах журнала И. Голик в обзорной статье «Он дал нам жизнь...» В. И. Ленин в немецкой литературе». Как и многие упоминавшиеся выше авторы, И. Голик говорит о влиянии, которое Ленин, его жизнь, его работы оказали на таких разных немецких писателей, как Иоганнес Бехер, Альфред Дёблин, Лион Фейхтвангер и др., он рассказывает также и о произведениях, где воссоздавался образ вождя русской революции. Первой попыткой такого рода автор назвал драму Франца Юнга «Владыки» (1921), где Ленин был показан в идейном поединке с Гербертом Уэллсом. С большой теплотой писал о Ленине Альфонс Гольдшмидт в книге «Какой я вновь увидел Москву» (1925). Среди других упомянутых работ — в частности, рассказы Анны Зегерс, непосредственно посвященные Ленину. Автор особо отметил большой вклад, который внесли в создание немецкой Ленинианы поэты разных поколений, такие как Эрих Мюзам, Франц Вайскопф, Иоганнес Бехер, Бертольт Брехт. «Немецкую Ленинниану, огромную многоцветную мозаику,— писал он,— дополняют в наши дни молодые поэты Германской Демократической Республики. В их стихах осмысливается путь, пройденный по заветам Ленина, путь, ведущий в коммунизм»[20].

Многочисленны произведения, посвященные основателю Советского государства и опубликованные в разные годы на страницах самой «Иностранной литературы»,— Ленинниана многоязыкая, многонациональная. Среди авторов — колумбиец Луис Техада и француз Жан-Ришар Блок, испанский поэт Рафаэль Альберти и уругвайский Ариэль Бадано, немцы Луис Фюрнберг и Макс Циммеринг, чехи Йозеф Гора и Константин Библ, поляк Мечислав Яструн и малиец Гауссу Диавара, индиец Суканта Бхаттачария, китаец Ли Цзи, кореец Хан Юн Хо, венгр Янош Фёльдеак, болгарин Дамян Дамянов, вьетнамец Те Хань, перуанец Уарак-Ка.

Не отрываясь, читаю Ленина...
В замерзшем окне краснеет
Утренняя заря.

Это трехстишие, присланное в редакцию газеты «Акахата» читателем из Токио Кэйскэ Хатори, привел в своей статье «Японские поэты о Ленине» А. Мамонов[21]. Автор писал: «К ленинской теме в Японии обращаются и поэты-профессионалы, и любители. Хотя эти стихи иногда далеки от совершенства, они подкупают искренним чувством, верой в торжество ленинизма, преданностью идеалам Октября; создавались они нередко в тяжелых условиях»[22]. А. Мамонов указывал на многогранность образа Ленина в японской поэзии; каждый поэт находит в нем свое, по-человечески особенно близкое:

Ленин, будто живой,
Появляется в нашей жизни.
Друзья, товарищи!
Пусть же любовь
Пылает, как пламя!
Будем любить,
Как Ленин! —

восклицает поэт Хидэо Огума[23].

[20] «ИЛ» № 2, 1970.
[21] «ИЛ» № 3, 1970, стр. 236.
[22] «ИЛ» № 3, 1970, стр. 233.
[23] Там же, стр. 235.

Ласло Дюрко в цитировавшемся выше эссе, воссоздавая человеческий облик вождя революции, особо останавливается на последних годах его жизни, на работах, составивших ленинское завещание.

«Великие люди в конце жизни обычно пишут мемуары, в которых они подводят итог сделанному и прожитому. У Ленина для этого не было времени... Когда скованный параличом Ильич диктовал свое политическое завещание, ему приходилось думать не о прошлом, а о настоящем и будущем... Даже с порога смерти трудности не казались ему катастрофическими, а задачи — неразрешимыми, ибо он оценивал эти серьезные недостатки, соразмеряя их с уровнем гигантских свершений...»[24].

Ленин умер, осталось его наследие, его дело, актуальность которого для сегодняшнего дня подтверждают своим опытом, своим творчеством многие деятели зарубежной литературы и искусства.

■

Известный кубинский поэт Николас Гильен рассказал на страницах «Иностранной литературы» об удивительной истории, которая произошла в год смерти Ленина в крошечном кубинском городке Регла. Получив известие о кончине вождя русской революции, алькальд Реглы доктор Антонио Бош издал декрет, который заслуживает того, чтобы его привести.

«ПОСКОЛЬКУ вышеупомянутый гражданин Ленин,— говорилось в этом декрете,— заслужил большую любовь и горячую симпатию со стороны пролетарских элементов и интеллигенции... муниципального округа и следует отметить высокое значение его личности и важность его огромной общественной деятельности во имя самых здоровых и естественных принципов справедливости;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что отдавать почести тем лицам, которые выделяются среди прочих своим трудом на пользу общества, является делом общепринятым, а Ленин своей общественной деятельностью выделяется среди прочих как ВЕЛИКИЙ

Автор этой медали — участник Сопротивления Марсель Эти. Коммунисты секции Роменвиль передали медаль в дар Центральному Комитету КПСС с надписью: «Работа выполнена нашим товарищем Марселем Эти, расстрелянным нацистами в Мон-Валериан 11 августа 1942 года за то, что он укрывал патриотов и среди них брата Генерального секретаря Мориса Тореза».

[24] «ИЛ» № 4, 1965, стр. 245—246.

ГРАЖДАНИН МИРА, заслуживая признания со стороны всех обитателей земного шара, что является достаточным мотивом для того, чтобы воздать ему посмертные почести в знак уважения и восхищения, я, пользуясь полномочиями, вверенными мне населением данного города, облекшим меня званием алькальда,

ПОСТАНОВЛЯЮ: Объявить и объявляю днем отдыха в учреждениях муниципальной администрации ближайший день двадцать шестого числа текущего месяца (суббота). Постановляю настоятельно просить и настоятельно прошу всех жителей вверенного мне муниципального округа, чтобы они посвятили две минуты молчания и размышления столь печальному событию, и постановляю пригласить и приглашаю все население города собраться в пять часов пополудни (время, когда в России будет предано земле тело Ленина) на холме, известном под именем крепость, где будет посажено оливковое дерево в память об этой дате и факте, волнующем наши чувства». (Николас Гильен. В Регле, когда умер Ленин[25]). Эта олива была вырвана через шесть лет войсками, расстрелявшими рабочую демонстрацию. Кубе пришлось пережить долгие годы под гнетом сменявших одна другую военных диктатур. Но продолжала жить память о Ленине. Десятилетия спустя к его имени продолжают обращаться мыслью люди в самых разных странах мира.

«Этот человек продолжает агитировать за дело своей партии — издалека, с другого, незнакомого берега... Он ушел от нас и превратился в тень, но эта тень назло богам живет и говорит о том, что только единство пролетариата может спасти мир от новых катастроф». Так писал Мирослав Крлежа, один из виднейших писателей Югославии, чья публицистическая Лениниана, состоящая из фрагментов, написанных в разные годы, была опубликована на страницах журнала в 1970 году (Мирослав Крлежа, Лениниана[26]).

100-летию со дня рождения В. И. Ленина редакция «Иностранной литературы» посвятила анкету среди зарубежных писателей и деятелей культуры. Анкета содержала два вопроса: «При каких обстоятельствах Вы впервые познакомились с именем В. И. Ленина?» и «В чем Вы видите актуальность ленинизма сегодня?». Сами имена писателей, пожелавших высказаться на эту тему — их несколько десятков, представляющих многие страны мира,— свидетельствовали о широте отклика.

Но дело не просто в географической представительности и не в звучности имен. Характер поставленных редакцией вопросов позволил некоторым из откликов на анкету превратиться во взволнованные автобиографические повествования. Писатели, деятели культуры увидели в этой теме нечто глубоко личное. Болгарин Людмил Стоянов вспомнил окопы первой мировой войны в Южной Македонии, где он в секретном архиве штаба дивизии впервые прочел ленинский «Декрет о мире». Эрвин Штриттматтер (ГДР) — о социал-демократической маевке в лесу. Кубинец Анхель Аухьер — о забастовочной борьбе 20-х годов.

«Моя первая встреча с Лениным состоялась в 1919 году на моей родине в Сицилии, когда мне было семь лет и я стал свидетелем демонстрации крестьян против коммунального налога,— вспоминает известный итальянский художник Ренато Гуттузо.—Впереди несли огромное красное знамя и несколько плакатов, на одном из которых было написано: «Да здравствует Ленин!»

Позднее, прочитав первые книжки о социализме, я понял, что это за человек, он стал для меня критерием нравственности, а его произведения — самым надежным и верным инструментом познания настоящего и будущего.

Имя «Ленин», увиденное мною в детстве на плакате, живет с тех пор в моей душе, оно стало для меня источником света, разгоняющим мрак и рассеивающим сомнения, незыблемой опорой в нашем неустойчивом мире»[27].

Перед нами не просто воспоминания о прошлом, но заинтересованные размышления о жизни, о своем месте в ней, о настоящем и будущем.

«Моей задачей, как писателя, всегда было смотреть в будущее, и я считаю, что у каждого настоящего писателя должно быть это стремление. В этом отношении нет более мудрого советчика и учителя, чем Ленин»,— писал болгарин Людмил Стоянов[28]. И другими словами о том же—французский писатель Пьер Гамарра: «Для меня актуальность ленинизма состоит прежде всего в том, что он помогает нам заслужить высокое и трудное звание гражданина, звание человека, живущего вместе с людьми и озабоченного их общим будущим»[29].

Эти слова выражают чувства многих зарубежных деятелей литературы, искусства, культуры, которые в своей жизни и творчестве обращались и продолжают обращаться к образу Ленина, к ленинским идеям, к многогранному ленинскому наследию.

Н. СМИРНОВ

[25] «ИЛ» № 5, 1967, стр. 272—273.
[26] «ИЛ» № 4, 1970, стр. 245.
[27] «ИЛ» № 4, 1970, стр. 225.
[28] «ИЛ» № 3, 1970, стр. 222.
[29] «ИЛ» № 4, 1970, стр. 233.

◆

ВАЛЕНТИНА НАЙДУС

ЛЕНИН СРЕДИ ПОЛЬСКИХ ДРУЗЕЙ

Краков, 1912—1914...

Решение о переезде Ленина в Галицию было принято после долгого обсуждения возможных последствий и консультации с находившимися в Кракове товарищами. Людмила Сталь, товарищ Ленина по партии, которая жила тогда в Париже, в первых числах июня (1912) обратилась к секретарю Краковского союза помощи политическим заключенным Сергиушу Багоцкому с просьбой помочь Ленину устроиться в незнакомом городе. Парижский межпартийный фонд помощи политическим заключенным и ссыльным сотрудничал с Краковским союзом. Багоцкий, который в то время сдавал выпускные экзамены в университете, предложил встретиться с Лениным на бульваре Планты против Коллегиум Новум.

По пути в Краков Ленин с сопровождающими его женой Надеждой и матерью жены — Елизаветой Крупской — сошел с поезда в Штутгарте, где его ждала Клара Цеткин, секретарь Международного женского секретариата. Клара Цеткин принадлежала к трем доверенным лицам, которым были переданы партийные фонды русских социал-демократов. Спор с меньшевиками относительно этих фондов, необходимость договориться с их хранителями — именно эти причины побудили Ленина остановиться в Штутгарте. Вместе с Кларой Цеткин на вокзале были Адельхайд Попп, австрийская социал-демократка, тоже деятельница международного женского движения, и молодой товарищ, член местной партийной организации, Сепп Хаан. Из его воспоминаний и стало известно о штутгартской встрече. На следующий день Клара Цеткин и Сепп Хаан проводили гостей.

23 июня в воскресном утреннем выпуске ежедневной газеты «Час» («Время») в разделе под рубрикой «В Краков приехали», где перечислялись фамилии остановившихся в гостиницах лиц, прибывших в субботу, 22 июня, появилось сообщение о том, что в гостиницу «Виктория» вселились «супруги Ульянофф из Парижа».

© «Książka i Wiedza», 1977.

Гостиница «Виктория» находилась в доме № 6 по Звежинецкой улице. Звежинецкая выходила на Планты невдалеке от Коллегиум Новум — этим объясняется выбор гостиницы, а возможно, и места встречи. Решающим, несомненно, явилось другое обстоятельство: «Виктория» была самой дешевой краковской гостиницей, отдельную комнату в ней можно было получить за 1 крону 40 геллеров, тогда как в гостинице «Под розой» за самое скромное жилье требовали 1 крону 60 геллеров, в «Краковской» и в «Бельведере» у вокзала — минимум по 2 кроны, в «Грандотеле» — не менее 3,5 крон, в «Саской» — 4 и более кроны.

Гостиница могла служить только временным пристанищем, нужно было снять для Ульяновых какое-нибудь жилье. Квартирная плата в старых районах была высока. Стиснутый австрийскими фортификациями Краков считался одним из самых дорогих городов на территории Австро-Венгрии. В театре «Людовы» на представлении водевиля Стефана Турского «Кроводжские удальцы» зрители аплодировали исполнявшимся на мотив краковяка куплетам:

Огромный город Краков, и каждый согласится,
Что в нем всего огромней огромная Дороговизна.

В предместье жить было неудобно, но дешево, а скромные и нерегулярные эмигрантские заработки вынуждали экономить.

Квартиру для новоприбывших товарищей Багоцкий отыскал в предместье Звежинец, куда вела уже упомянутая Звежинецкая улица, на только что пристроенном втором этаже небольшого каменного дома под номером 218, принадлежавшего Яну Флорчику. Домик Флорчика стоял на единственной имевшей тогда название улице Королевы Ядвиги. Сейчас этот дом обозначен номером 41, однако в те времена, хотя улица и могла уже похвастаться керосиновыми фонарями, а как раз в 1912 году на ней начали укладывать тротуары, нумерация во всем поселке по деревенскому обычаю была единой.

ВАЛЕНТИНА НАЙДУС — WALENTYNA NAJDUS (род. в 1909 г.).

Польский литератор, очеркист, публицист, профессор Варшавского университета. Автор книг и статей по истории рабочего движения в Польше, книги «Ленин в Польше» («Lenin w Polsce», 1953), переведенной на русский язык, книги «Через зеленую границу» («Przez zieloną granicę», 1964), работы «Ленин и Крупская в Краковском союзе помощи политическим заключенным» («Lenin i Krupska w Krakowskim Związku Pomocy dla Więźniów Politycznych», 1965).

Публикуемый очерк составлен по книге «Ленин среди друзей и знакомых в Польше 1912—1914 гг.» («Lenin wśród przyjaciół i znajomych w Polsce 1912—1914»).

Дом Яна Флорчика в Звежинеце.

На поиски квартиры Ленин и Крупская отправились с Багоцким на следующий день по приезде, однако, прежде чем перебраться на новое место, Крупская вынуждена была купить хотя бы самую необходимую мебель. Она призналась в своих воспоминаниях, что столкнулась при этом с немалыми трудностями, преимущественно языковыми. Сохранился заполненный 5 июля 1912 года бланк прописки Ленина в Звежинеце. Там значатся и члены его семьи и отмечено, что въехал он 4 июля. Однако, поскольку правила прописки соблюдались не слишком строго, дата может быть и не совсем точной. 1 июля 1912 года Ленин написал два письма — матери и в Международное социалистическое бюро в Брюсселе (членом которого являлся), сообщая свой новый адрес: Звежинец, 218, Краков, Австрия. Из этого следует, что Ленин вселился в дом Флорчика между 27 июня и 1 июля — вероятнее всего, 1-го, поскольку квартиры в Кракове, как правило, сдавались с начала месяца.

Неоштукатуренный каменный домик Флорчиков, в котором были четыре одинаковые квартиры — по две на каждом этаже, — отличался от окружающих строений опрятностью. Причиной тому были, безусловно, как стабильное материальное положение, так и достаточно высокий культурный уровень семьи Флорчиков. Хозяин-каменщик работал помощником мастера — получить такую должность можно было лишь после долгих лет обучения, завершавшихся сдачей строгого экзамена. Жена Флорчика закончила учительскую семинарию, однако по специальности не работала, воспитывала пятерых детей. Каменщики составляли звежинецкую аристократию, недаром про них пели:

Каменщики, каменщики, вы народ важный.

Аж по шесть крон в день получаете каждый.

Одевались они по-городскому, носили сюртуки, по воскресеньям у каждого на жилете сверкала цепочка от часов. Над чванными помощниками мастеров издевалась местная шпана:

Ежли барин при цепочке,
Значит, барин без часов.

У Флорчика не было нужды прикидываться человеком состоятельным — заработки с хорошо оплачиваемой, хотя и сезонной работы дополнялись продуктами со своего огорода и скромной квартирной платой, получаемой от жильцов.

Занимаемая Ульяновыми квартира находилась по правой стороне лестничной клетки (по левой, если смотреть с улицы). Ни прихожей, ни коридора не было, наружная дверь вела прямо в кухню (10 кв. м), большую часть которой занимала приземистая, топившаяся углем печь. Из кухни попадали в две светлые низкие комнаты. Окна меньшей комнаты (11,5 кв. м) выходили на маленький дворик, большей (22 кв. м) — на улицу. Стараясь создать мужу условия для спокойной работы, а семидесятилетней матери — для необходимого отдыха, Крупская принимала товарищей в кухне. Санитарных помещений в квартире не было. Канализационная сеть еще не дотянулась до Звежинеца. Большой ценностью была вода — дома на улице Королевы Ядвиги начиная с 1911 года подсоединяли к водопроводной сети. Впрочем, в тогдашних условиях не отсутствие ванной, а вход через кухню свидетельствовал о скромном характере помещения.

Квартира Ульяновых не была типичным жильем рабочего — в Кракове того времени каждый второй рабочий, имеющий работу, ютился с семьей в одной комнате, где

находилась и плита, каждый третий имел комнату с кухней, каждый десятый — две комнаты и кухню. Многокомнатные квартиры в рабочей среде считались редкостью; отдельные комнаты и даже углы сдавались жильцам. Первая скромная квартира Ленина в далеком предместье Кракова соответствовала жизненному стандарту квалифицированного рабочего, владеющего неплохо оплачиваемой специальностью, например, печатника, электротехника, слесаря, токаря, плотника, или «умственного пролетария», как называла тогдашняя социалистическая печать низкооплачиваемых работников умственного труда, причем так называемый подканцелярист — обычный писарь — мог позволить себе снимать комнатушку, тогда как заботящийся о своем общественном лице чиновник никогда бы не снял квартиры с ходом через кухню.

Каким же Ленин и Крупская увидели Краков?

(...) После чистеньких швейцарских поселков и окрестностей Парижа Звежинец произвел на Крупскую тягостное впечатление. (...) Однако, вспоминая Звежинец годы спустя, она смягчает свою оценку: «Грязь там была невероятная, но близко была река Висла, где можно было великолепно купаться, и километрах в пяти Вольский ляс — громадный чудесный лес, куда мы частенько ездили с Ильичем на велосипедах»[1]. Этот лес притягивал Ульяновых и после того, как они переселились в другой район города.

По сравнению с Парижем, влекущим к себе снобов и туристов, художников и поэтов, торговцев и политэмигрантов, насчитывавшим в 1911 году 2 888 000 жителей, разноязыким, оживленным, запруженным людьми, где городской транспорт после 1900 года спускается под землю — строятся первые линии метро,— Краков показался им небольшим, спокойным, даже сонным провинциальным городом. В самом деле, старая столица Польши не была даже местопребыванием властей: наместник и сейм находились во Львове. В декабре 1910 года гражданское население Кракова состояло всего лишь из 142 500 человек.

По-видимому, Ленин приобрел план города и с его помощью знакомился с Краковом. Авторы иллюстрированных изданий и кинорежиссеры, пользуясь случаем, охотно показывают Флорианские ворота, знаменитый Барбакан, Марьяцкий собор и т. п., забывая о том, что Ленин не осматривал Краков глазами туриста, а планом пользовался, вероятно, в более прозаических целях, например, чтобы выбрать самый короткий путь на вокзал или на почту, куда ездил на велосипеде, либо отыскать указанный ему адрес товарища. Это, разумеется, не означает, что Ленин не замечал краковских достопримечательностей, но специально он их, конечно, не искал — у нас нет доказательств, что он этим интересовался, кроме единственного свидетельства: жена Антанаса Дидзюлиса (член Заграничного бюро литовской социал-демократической партии) Серафима вспоминает, что Ленин вместе с ней и ее мужем посетил Вавель. Характерно, что в письмах Ленина к матери и родным, а также в письмах и воспоминаниях Крупской есть строки, где говорится о красоте городского луга Блоней и Вольского леса, о Висле, даже о катке, устроенном на бывшей территории выставки, чему Ленин был очень рад и даже уговорил жену купить коньки, однако нигде нет ни слова о неповторимой прелести домов в стиле Ренессанс, живописных оборонительных башен, извилистых улочек старого города. Краков построен таким образом, что бóльшая часть пешеходных трасс проходила через центр, трамвайные линии пересекали рыночную площадь, так что Ленин, безусловно, часто бывал на окружающих центр Плантах, однако жил в пригородах, и больше всего его интересовала жизнь предместий. Вначале Ленин глядел на Краков с другого берега реки Рудава, потом — с другой стороны железнодорожных путей.

Своими первыми впечатлениями от Кракова Ленин поделился с матерью в письме от 1 июля 1912 года: «Из Парижа я нынешним летом забрался очень далеко — в Краков. Почти Россия! И евреи похожи на русских, и граница русская в 8 верстах (поездом от Гра́ницы часа два, от Варшавы 9 часов), бабы босоногие в пестрых платьях — совсем как Россия»[1]. Картинка целиком заимствована с улиц Звежинеца, где женщины носили сильно присборенные в талии клетчатые юбки, клетчатые платки или цветные «турецкие» шали, а ботинки надевали по воскресеньям, собираясь в костел. Это, конечно, не главная рыночная площадь Кракова, но и не санкт-петербургский Невский проспект.

[1] «Воспоминания о Ленине». М., 1968, стр. 371.

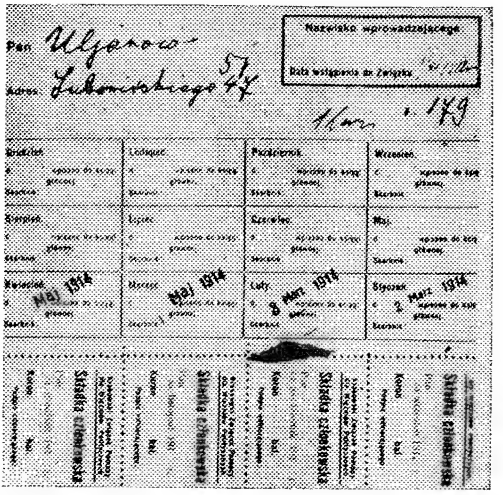
[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т 55, стр. 328.

Уличные торговцы в Кракове накануне первой мировой войны.

7 января 1914 года Крупская пишет матери Ленина — на этот раз из предместья на другом конце Кракова: «...наш град больше смахивает на глухую деревню, чем на город»[1]. Однако, несмотря на все оговорки, Краков Ульяновым нравился, здесь они чувствовали себя свободнее, чем в Париже.

(...) В своих «Воспоминаниях о Ленине» Крупская сообщает: «Краков Ильичу очень нравился, он напоминал Россию. Новая обстановка, отсутствие эмигрантской сутолоки успокоили немного нервы. Внимательно вглядывался Ильич в мелочи быта краковского населения, его бедноты, его рабочего люда»[2]. Наблюдать за жизнью бедняков и в особенности рабочих можно было именно в предместьях. (...) В Звежинеце Ленин познакомился с жившим по соседству дорожным рабочим Юлианом Хростеком и его товарищами. Он заинтересовался положением и профессиональной организацией работников служб магистрата. У Хростека он встретил учительницу народной школы Станиславу Куж. «Ленин расспрашивал о ее жизни и об отношениях между людьми в этой деревне,— вспоминает Хростек,— уговаривал ее заняться революционной работой среди крестьян и сельскохозяйственных рабочих». Народные учителя в Галиции, преимущественно выходцы из крестьян, представляли собой политически активную прослойку, связанную с крестьянским движением. Союз польского народного учительства сотрудничал с деятелями классового профессионального рабочего движения. В Краковском уезде земельная собственность была особенно раздробленной. Бо́льшую часть крестьян скорее следовало отнести к категории «пролетариев с наделом», нежели к самостоятельным хозяевам. В окрестностях Кракова наиболее распространен был тип владельца карликового или малоземельного хозяйства, которому приходилось в дополнение к доходу от своей земли время от времени, а то и систематически подрабатывать по найму. В Краковском уезде кандидат социалистической партии мог рассчитывать на получение большинства голосов именно в деревне. Крестьяне из пригородных гмин[3] неоднократно принимали участие в демонстрациях на улицах Кракова.

Ганецкий пишет: «Помню, как-то у нас дома заговорили о галицийском крестьянине, о его отношении к помещикам, правительству и т. д. Меня поразила необычайная меткость характеристики, данной Лениным. Он великолепно охарактеризовал местного крестьянина, верно отметил специфические черты его быта, сославшись на беседы в разных деревнях, на жалобы крестьян в связи с обременительными налогами и т. п. А происходило это спустя каких-нибудь 6—7 недель после его приезда в Краков». Дело же было в том, что Ленин во время велосипедных прогулок по окрестностям Кракова постоянно беседовал с крестьянами. Он упрекнул Ганецкого, что польские социал-демократы недооценивают работу в деревне.



Удостоверение члена Краковского союза помощи политзаключенным, выданное Владимиру Ульянову на 1914 год.

По мере того как деревня нищала, из нее потянулись в город поденщики и домашняя прислуга. Это была наиболее эксплуатируемая часть населения, нанимаемая на самых кабальных условиях; кроме того, каждому грозила принудительная высылка по этапу в сопровождении полицейских обратно в свою гмину. Отданные в услужение деревенские девушки были беззащитны. В том же 1909 году 65% детей, рожденных в Кракове прислугой, были внебрачными. Внимание Крупской привлекло полуфеодальное отношение к домашней прислуге. «В Галиции прочно еще держались крепостнические обычаи, которые католическая церковь поддерживала. Например, барыня в шляпке на базаре нанимает прислугу. Стоит человек десять крестьянок, желающих наняться в прислуги, и все целуют у барыни руку».[1] Торговля домашней прислугой, так поразившая Крупскую, происходила 1 и 15 числа каждого месяца на Малой рыночной площади у памятника Мицкевичу. Описание этой своеобразной ярмарки оставил нам в книге «Курган воспоминаний» патриот и заслуженный гражданин Кракова Болеслав Дробнер:

«Посреди Рынка со стороны Сенной улицы происходила преудивительная процедура: торговля живыми людьми. Даже когда в 1898 г. там был установлен памятник Мицкевичу, торговля сосредоточилась возле памятника. Это была «ярмарка прислуги». Барыни осматривали живой товар и приобретали его сообразно с «книжечками». Каждая прислуга обязана была иметь «трудовую книжечку», в которую перед ее уходом с работы барыня вписывала, какова оказалась данная белая рабыня. В книжечках были три графы, означенные тремя словами: преданная, трудолюбивая, нравственная. Существовал закон, согласно которому нельзя было портить книжечку, то есть не разрешалось писать, что прислуга воровала, была

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, стр. 348.

[2] «Воспоминания о Ленине», стр. 379.

[3] Гмина — низшая сельская административно-территориальная единица в Польше.

[1] «Воспоминания о Ленине», стр. 380.

ленива и не отличалась высокой нравственностью. Однако достаточно было ничего не писать, а лишь расписаться в каждой графе — и на рабыню падала черная тень. Печальное зрелище представляло собой это торжище бедных девушек, преимущественно деревенских, которых деревня, отказывая в куске хлеба, выталкивала в город «на службу». К словам Б. Дробнера следовало бы еще добавить, что прислуга, бросившая работу до истечения срока контракта, по требованию работодателя могла быть возвращена на место службы при помощи полиции как «беглая» — типичное для крепостного права понятие. В специальных книгах, которые велись в гминных управлениях Звежинеца, встречаются упоминания о подобных полицейских акциях.

Феодальные пережитки, сказывающиеся на условиях найма, послужили причиной тому, что типично капиталистические классовые противоречия в Галиции отступили на второй план перед проявлениями ненависти народных масс ко всему «шляхетскому», перед освободительно-демократическими устремлениями. «...Но зато и ненависть к барам здоровая жила в массах,— пишет Крупская в своих воспоминаниях.— Няня, которую взяли Зиновьевы к своему малышу, каждое утро ходила в костел, была прямо прозрачная от постов и молитв и все же раз, когда разговорилась я с ней как-то, рассказала, что ненавидит она бар. (...) Фанатически богомольная няня говорила, что, если будет революция, она первая пойдет на бар с вилами в руках. Нищета, затоптанность крестьян и бедного люда проглядывала во всех мелочах и была еще больше, чем в то время даже у нас в России»[1].

Социальная напряженность была замечена правящими кругами. В том же 1912 году в Галицию из Вены прибыл бóльший, чем обычно, транспорт кос, что вызвало серьезное беспокойство — потребовалось даже вмешательство властей. Призрак крестьянского бунта еще витал над доставшимися по разделу Австрии польскими землями. В марте 1912 года граф Миколай Рей жаловался в письме к наместнику, что в его избирательном округе «воспоминания 1846 года чересчур еще живы в крови здешнего люда».

Не только воспоминания наводили страх в Галиции. В мае 1912 года промышленники Бялой (Галиция) и Бельска (Силезия) ответили на забастовки текстильщиков локаутом, выбросив на улицу 9 тысяч рабочих. 23 июня 1912 года, в первую годовщину кровавой бойни, устроенной в Дрогобыче во время выборов в парламент, из Борислава, Тустановице, Сходницы, Стебника, Солеца, Модрыча и других центров нефтяной промышленности вышли колонны рабочих и направились к дрогобычскому кладбищу, чтобы почтить память погибших. Происходило это на следующий день после приезда Ленина в Галицию. В Кракове не было так спокойно, как это показалось Крупской после бурлящего Парижа, коль скоро наместник не представлял себе собрания консерваторов в Подгуже — городе железнодорожников, каменщиков и рабочих кирпичного завода близ Кракова — без усиленной полицейской охраны во избежание нападения рабочих, а министр по делам Галиции предостерегал наместника: «Если толпа разбушуется — никто не сможет предугадать последствий».

Разумеется, размах событий в отсталой, всего лишь восьмимиллионной Галиции был не тот, что в Королевстве Польском или в России, да и формы политической борьбы в государстве, как-никак конституционном, были иными. И нарастания волны забастовок в 1912—1914 годах там, как в России и Королевстве Польском, не наблюдалось. Галиция как часть Австро-Венгрии граничила со многими странами, и последствия вооруженных конфликтов были для нее особенно чувствительны: за вступление в Балканскую войну она поплатилась экономической депрессией. Застой в промышленности, замораживание строительства повлекли за собой безработицу и в результате — небывалый рост эмиграции: люди уезжали на заработки. Положение усугубили проливные дожди и паводки осенью 1912 года. Полегли хлеба, картофель гнил в поле, не везде успели посеять озимые. Сев яровых весной 1913 года запоздал из-за небывалых морозов. И лето наступило дождливое, газеты предсказывали неурожай. Дороговизна больнее всего ударила по безработным и тем, кто не имел постоянной работы. Создавшиеся условия не благоприятствовали стачечной борьбе, тем не менее в момент приезда Ленина в Краков в июне 1912 года бастовал коллектив завода машин и стальных конструкций Зеленевского. В ноябре 1912 года забастовала часть рабочих краковского газового завода. Завод был окружен кордоном полиции, по улицам разъезжали конные патрули — опасались забастовки фонарщиков. Вмешательство магистрата позволило прийти к соглашению, однако, поскольку требования трудящихся полностью не были удовлетворены, в январе 1913 года забастовали все рабочие газового завода и фонарщики. Два месяца — с середины декабря 1913 года до середины февраля 1914 года — продолжалась необычайно упорная всеобщая забастовка печатников. Бастовали рабочие мелкой промышленности. Митинговали безработные, в особенности бывшие строительные рабочие. Они требовали развертывания общественных работ. Польская общественность Галиции живо откликалась на события, происходившие на польских землях, включенных в состав Пруссии и России. В 1912 году по всей стране прокатилась волна протестов против отторжения от Королевства Польского Хелмской области. В 1913 году под лозунгами борьбы за независимость отмечалась пятидесятая годовщина январского восстания (1863—1864 гг.). В Кракове празднование носило особенно торжественный характер.

(...) Какое же партийно-организационное значение имело пребывание Ленина в Кракове? Крупская в своих воспоминаниях связывает переезд в Галицию с появлением первого номера «Правды». Заграничное бюро ЦК РСДРП, избранное на январской конференции, находилось в Париже. Против переезда Ленина в Краков выдвигался следующий аргумент: опасность ослабления большевистского ядра в тогдашнем центре

[1] «Воспоминания о Ленине», стр. 380.

политической эмиграции. В письме к Каменеву от 24 июля 1912 года Ленин доказывал, что решение об отъезде в Краков оказалось правильным, связь с родиной упрочилась, и корреспонденция доходит на день быстрее. Появилась возможность организовать нелегальную пересылку писем и газет, наладить прямую связь с российской большевистской организацией, отправляя в Россию гонцов и устраивая встречи (как нетрудно догадаться — в Кракове). 25 августа Ленин написал Горькому: «Вы спрашиваете, зачем я в Австрии. ЦК поставил здесь бюро (между нами): близко граница, используем ее, ближе к Питеру, на 3-й день имеем газеты оттуда, писать в тамошние газеты стало куда легче, сотрудничество лучше налаживается»[1].

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 84—85.

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

СИМ. ДРЕЙДЕН

КРАКОВСКИЕ ВЕЧЕРА

«Театр очень любил — всегда это производило на него сильное впечатление», «Очень любил слушать музыку»,— неоднократно повторяет Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о В. И. Ленине, едва речь заходит о его отношении к искусству. И сопровождает упоминания о неизбежно редких посещениях спектаклей и концертов признанием: «Но всего этого было мало в нашей жизни» [1]. Это словно мельком брошенное замечание как бы вновь напоминает о сложности и многообразии повседневных ленинских дел, оставлявших лишь редчайшие часы для театра, музыки, наслаждения искусством.

В своей двухтомной монографии «В зрительном зале — Владимир Ильич» (1967, 1970) я попытался, идя путями Ленина-зрителя, восстановить образы спектаклей и концертов, на которых он бывал и на родине, и в годы зарубежных скитаний. Особое место здесь занял Московский Художественный театр, благодарным зрителем которого Ленин стал еще в феврале 1900 года, в короткие дни нелегального пребывания в Москве, на пути из одной ссылки в другую. («Превосходно играют в Художественно-общедоступном,— до сих пор вспоминаю с удовольствием свое посещение в прошлом году...» — писал Ленин год спустя родным из Мюнхена [2]). Шел там тогда «Возчик Геншель» Гауптмана. Его следующая встреча с МХАТом состоялась лишь восемнадцать лет спустя, в той же Москве, уже ставшей советской, на постановке «Села Степанчикова» Достоевского... Там же смотрел он в дальнейшем и «На всякого мудреца довольно простоты» Островского и «Дядю Ваню» Чехова, «Потоп» Бергера, «На дне» Горького, «Сверчок на печи» Диккенса. Был он в 1919—1921 годы и в Малом театре — на премьере пьесы Горького «Старик», и на юбилее великой русской актрисы Марии Ермоловой, и в Большом театре, на первом концерте в Москве Айседоры Дункан и на исполнении Девятой симфонии Бетховена, слушал «изумительную, нечеловеческую» (по его словам) музыку Бетховена, и на других концертах.

Неизменное внимание проявлял он к «росткам нового» — в канун первой Октябрьской годовщины побывал на первом отчетном концерте художественной самодеятельности московской рабочей молодежи.

Письма Ленина и Крупской и воспоминания современников сохранили также ряд свидетельств об их зарубежных музыкально-театральных впечатлениях. Правда, замечала Крупская, описывая более полутора десятилетий их жизни в эмиграции, «Мы редко ходили в театр. Пойдем, бывало, но ничтожность пьесы или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. Обычно пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи: зря деньги переводим»[3].

Бывали, однако, и счастливые исключения. Такие, как посещение постановок «Ткачей» Гауптмана и «Фауста 2» Гёте в берлинском «Дойчес театер», «Валькирии» Вагнера в Цюрихе, одного из первых исполнений «Патетической симфонии» Чай-

[1] «Воспоминания о В. И. Ленине в пяти томах», т. 1. М., Политиздат, 1969, стр. 607.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, стр. 204.

[3] «Воспоминания о В. И. Ленине в пяти томах», т. 1, стр. 612.

ДРЕЙДЕН СИМОН ДАВЫДОВИЧ (род. в 1905 г.).

Советский критик, театровед. Автор книг «Ленин и искусство» (1926), «Николай Черкасов» (1937), «Музыка революции» (1966), «В зрительном зале — Владимир Ильич» (1967), «В зрительном зале — Владимир Ильич. Новые страницы» (1970), «Ленин слушает Монтегюса» (1973), «Ленин слушает Бетховена» (1975), «Спектакли. Роли. Судьбы» (1979) и др.

ковского (дирижировал Генри Вуд) в лондонском Куинз-Холле, «Живого трупа» Л. Толстого в Берне, постановки пьесы Бурже «Баррикада» в Париже («Реакционно, но интересно»,— писал Ленин родным о «Баррикаде»). С интересом бывал он и в театриках и кафе-концертах рабочих предместий Парижа, где выступали революционные певцы-шансонье. «Salut, salut à vous... Эх, послушал бы я теперь Montégus' а» [4],— так начинал он вскоре после переезда из Парижа в Краков одно из писем, повторяя слова припева знаменитой песни своего любимого певца — Гастона Монтегюса «Слава 17-му полку» (отказавшемуся стрелять в забастовщиков).

В обширном зарубежном разделе моей книги, освещавшем ленинские посещения спектаклей и концертов в Лондоне, Париже, Берлине, Мюнхене, Цюрихе, Копенгагене, Праге, оставалось, однако, досадное «белое пятно» — Польша, Краков.

Объяснялась такая «фигура умолчания» тем, что слишком уж скудны и порой противоречивы были сведения о театрально-музыкальных впечатлениях Ленина в этот последний, краковско-поронинский, период его эмиграции, хотя и занял тот период не так уж мало времени, более двух лет.

«Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами...» — писала Крупская про краковские годы в своих «Воспоминаниях о Ленине». Когда же выпадали часы досуга, то, как она признавалась в письме, посланном из Кракова в конце декабря 1913 года: «...Мы тут шутим, что у нас есть тут партии «синемистов» (любителей ходить в синема), «антисинемистов»... и партия «прогулистов», ладящих всегда убежать на прогулку. Володя решительный антисинемист и отчаянный прогулист...» И снова: «...синемы страшно тут нелепые, все пятиактные мелодрамы» [5].

Об одном из таких редких посещений «синема» (как тогда назывались кинотеатры) Владимир Ильич писал из Кракова 16/3 марта 1914 года матери: «...видели мы здесь в синема «Дело Бейлиса» (превратили в мелодраму)» [6]. Не тот ли это фильм, о котором говорилось в объявлениях, появившихся незадолго до отправки этого письма в краковских газетах «Нашгуд» и «Иллюстрированные новости»,— о том, что с 27 февраля по 5 марта в «Кинетофоне Эдиссона» будет демонстрироваться «сенсационный фильм в пяти частях «Тайны Киева, или Процесс Бейлиса»?

В том же письме, где упоминалось это посещение «синема», Ленин сообщал: «Были на украинском вечере в честь Шевченко».

Как удалось установить, речь здесь шла о вечере, организованном в ознаменование столетия со дня рождения Тараса Шевченко 9 марта 1914 года в зале Краковского чиновничьего собрания Саской гостиницы. В художественной части этого вечера, устроенного украинскими организациями «Просвит» и «Громада», участвовал краковский рабочий хор «Лютня работнича». Выступление этого хора В. И. Ленин слушал также летом 1913 года в Поронине. Старейший участник хора Ян Видлиньский вспоминал впоследствии о беседе с Лениным на шевченковском вечере: «Ленин высоко оценил этот вечер как признание таланта великого украинского поэта, как настоящее проявление дружбы народов».

В письмах родным Крупская упоминала также, как в конце 1913 года они, по совету Инессы Арманд, взяли абонемент на цикл бетховенских концертов и побывали на одном из тех концертов. Речь здесь шла, по-видимому, о концертах известного брюссельского квартета, гастролировавшего в Кракове в ноябре — декабре 1913 года.

Этим, в сущности, все заслуживавшие безусловного доверия сведения на интересующую нас тему и ограничивались. Сведений же о посещении каких-либо спектаклей в каком-либо краковском театре в письмах Ленина и Крупской, посылавшихся из Кракова, нет вообще, так же как не удавалось встретить о том упоминаний и в опубликованных воспоминаниях их друзей и соратников, встречавшихся там с ними в эту пору. Ничего конкретного не говорится о подобных посещениях и в столь серьезной, богато документированной работе, как вышедшая в 1977 году в Варшаве обстоятельная монография Валентины Найдус, отрывки из которой приведены выше. Хотя, уверен, польскому исследователю (так же как и автору этих строк еще в пору подготовки первого издания книги «В зрительном зале — Владимир Ильич») были хорошо известны появившиеся в свое время в польской мемуарной литературе сообщения о том, что Владимир Ильич не только бывал в Краковском драматическом театре, но и делился впечатлениями об увиденном с одним из самых прославленных мастеров этого театра, патриархом польской сцены Людвиком Сольским.

Причина та же: при всей авторитетности имен мемуаристов, писавших про такие встречи, и прежде всего самого Сольского и драматурга Адольфа Новачинского, в пьесах которого «Царь-самозванец» и «Фридрих Великий» Сольский не одно десятилетие с подлинно триумфальным успехом играл заглавные роли, далеко не все в их сообщениях могло быть принято на веру и настоятельно требовало дополнительного подтверждения. А оно не обнаруживалось. И как ни привлекательна была перспектива написать об этом, возникавшие при тщательном анализе сомнения и выявлявшиеся противоречия поневоле вынуждали приостановить на полуслове рассказ о встречах Владимира Ильича с действительно примечательным искусством Людвика Сольского.

Между тем сведения о подобных встречах впервые появились еще свыше полувека назад — в статье Адольфа Новачинского, которая была опубликована в 1925 году в сборнике «Ludwik Solski. 1875—1925», изданном в Варшаве в ознаменование пятидесятилетия артистической деятельности Сольского. Следует заметить, что независимо от прочего сам факт публикации такого рода сообщений в белопанской Польше со

[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, стр. 304; т. 48, стр. 75.
[5] «Воспоминания о В. И. Ленине в пяти томах», т. 1, стр. 392; В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, стр. 346, 347.
[6] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, стр. 353.

ссылкой на информацию, дополнительно полученную «с того берега», то есть из Советской России, представляет немалый интерес. Говорилось же там следующее:

«Я имел возможность многократно утверждать, что большая часть наших знаменитых людей впервые узнала короля Фридриха по гениальной игре Людвика Сольского, но не только наших,— писал Новачинский.— И вот мой юбилейный подарок Сольскому. Его «Фридриха» и его «Дмитрия» также видели многие известные иностранцы, и прежде всего наши соседи с Востока. А именно — нынешние вожди России. В этих образах его в новейшее время смотрели Владимир Ульянов (Ленин), Анатолий Луначарский и Георгий Чичерин. Как меня недавно информировали «с того берега», оба эти демонических образа Сольского произвели на них неизгладимое впечатление. Луначарский дал выражение этому в большой статье, полемизирующей с автором, но с энтузиазмом оценивающей актера.

Из товарищей Ульянова-Ленина двое как будто пошли после спектакля в Кракове за кулисы, чтобы с другими группами революционеров, временно находившихся в эмиграции под Вавелем, поздравить артиста с гениальной игрой. Нужно немного покопаться в воспоминаниях, чтобы припомнить, как это было во всех деталях.

Ленин аплодирует Сольскому, как Дмитрию-самозванцу! — как бы ни было, это успех нешуточный! И это имеет свою ценность и свои исторические перспективы. Спасибо, благодарю тебя за это, Людвик, в день твоего юбилея!».

Тридцать лет спустя, к эпизоду, описанному Новачинским, возвратился в своих «Воспоминаниях» и сам Сольский:

«Однажды вечером, после спектакля «Царь-самозванец» в Краковском театре, Ян Каспрович [7] привел ко мне в уборную трех человек, предупредив, что один из них — видный русский эмигрант — желает лично поздравить меня с успехом в роли Димитрия. Когда они представились, я не расслышал фамилий, но, естественно, был очень рад похвале. Мы немного поговорили, и наши гости вскоре ушли. На другой день пришел Каспрович и сообщил, что невысокий лысый мужчина — это Владимир Ульянов. Двое других — Луначарский и Чичерин. В то время эти имена мне ничего не говорили. Только много лет спустя я узнал моего бывшего гостя по портретам, помещенным в прессе всего мира» [8].

В том же 1954 году, когда воспоминания Сольского (в записи известного польского историка театра Альфреда Войницкого) еще готовились к печати, в московском журнале «Огонек» появилась статья «Столетний артист на сцене», написанная, судя по всему, на основе бесед с Сольским. И в ней рассказывалось:

«Это было в 1913 году. Однажды к директору и известному артисту Краковского городского драматического театра пришел иностранец поздравить его с успешно и вполне реалистически сыгранной ролью Костюшко в пьесе В. Л. Анчица «Костюшко под Рацлавицами». Гость, как оказалось, жил в Галиции и уже не один раз посетил Краковский театр, в то время лучший в Польше. Слова искренней признательности необычного зрителя запомнились актеру: настолько далеки они были от стандартных восхвалений, которыми завсегдатаи театра встречали артистов. Посетитель, заглянувший к директору Краковского театра, был Владимир Ильич Ленин, а директор — Людвик Сосновский, более известный под псевдонимом — Сольский».

Названы три спектакля, три центральных роли Сольского. Все они — и образ национального героя Польши Тадеуша Костюшко, и острохарактерные, психологически заостренные образы прусского короля Фридриха и русского Димитрия-самозванца — по праву причислялись к его лучшим сценическим созданиям. Нет ли возможности уточнить, когда и в каких условиях мог увидеть Владимир Ильич если не все эти спектакли, то хотя бы тот, на котором сосредоточивают наше внимание и сам Сольский, лишь о нем и пишущий, и Новачинский,— «Царь-самозванец»?[9].

Владимир Ильич, как известно, приехал в Краков летом 1912 года. Сольский, еще с 1905 года руководивший Краковским городским театром имени Ю. Словацкого, по окончании зимнего сезона 1912/13 года оставил Краков и переехал в Варшаву, где стал во главе вновь организованного польского театра. Значит, можно говорить лишь об одном сезоне — 1912/13 года.

Вместе с Б. И. Ростоцким, под редакцией которого изданы в СССР «Воспоминания» Сольского, мы пересматриваем хранящееся у него уникальное издание, выпущенное во Вроцлаве в 1955 году,— фолиант «Role Ludwika Solskiego», где день за днем, сезон за сезоном перечислены решительно все роли и спектакли, сыгранные Сольским, начиная с самых первых и кончая его прощальным вечером, устроенным в 1954 году в ознаменование восьмидесятилетия его артистической деятельности и предстоявшего столетия со дня рождения. Все названные выше пьесы упоминаются там многократно, но если взять данные за интересующий нас сезон, то, как явствует из этой скрупулезно составленной летописи, «Костюшко под Рацлавицами» был сыгран, начиная с августа 1912 года и по май 1913 года включительно, двенадцать раз, «Фридрих Великий» — всего раз (26 мая 1913 года), а «Царь-самозванец» в том сезоне в Кракове вообще не шел ни разу.

При всех поправках на ошибки памяти, когда за давностью времени могло быть спутано название спектакля или одни из спутников Владимира Ильича (если то был действительно он) оказались приняты за

[7] Известный польский писатель Ян Каспрович неоднократно встречался с В. И. Лениным в годы краковской эмиграции, активно содействовал его освобождению из тюрьмы в Новом Тарге (Галиция), куда в августе 1914 года Ленин был заключен под предлогом обвинения в шпионаже.— *С. Д.*

[8] Л. Сольский. Воспоминания. М., «Искусство», 1961, стр. 356.

[9] Говоря о встрече с Лениным, Сольский в своих «Воспоминаниях» подробно описывает эту постановку, впервые осуществленную им в Кракове в 1908 году.

других (ни Чичерин, ни Луначарский в 1913—1914 годах в Краков не приезжали, не обнаружена и упоминаемая Новачинским статья Луначарского о «Царе-самозванце»), доискаться до истины тут трудно. В то же время трудно было допустить, что все приведенные воспоминания о посещении Владимиром Ильичем какого-либо из спектаклей Краковского театра с участием Людвика Сольского не имели решительно никаких фактических оснований и являлись чистейшим мифотворчеством. Где, однако, здесь проходит зыбкая граница, отделяющая действительно происходившее от домысла,— по-прежнему оставалось вопросом. И это невольно заставляло и меня, как, вероятно, и Валентину Найдус, воздержаться от включения в рассказ о зарубежных театральных впечатлениях и встречах Ленина «краковской» главы.

И все же тема эта закрыта быть не могла и сейчас к ней по праву возвращают новонайденные документальные материалы, становящиеся достоянием исследователей благодаря многотомной биографической хронике «Владимир Ильич Ленин», подготавливаемой Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Мы раскрываем ее третий том, значительная часть которого посвящена пребыванию Ленина в Кракове, и на 65-й странице читаем:

«Декабрь, 26 — январь, 1 (8—14 января) 1913.

Ленин руководит Краковским совещанием ЦК РСДРП с партийными работниками, представлявшими партийные организации Петербурга, Москвы, Урала, Кавказа. В совещании участвовали также большевики — депутаты IV Думы».

А вслед за сжатой характеристикой огромной работы Ленина по подготовке и проведению этого совещания: «...Ленин вместе с участниками Краковского совещания посещает театр».

Шифр источника: ЦПА ИМЛ, Ф. 482, оп. 1, д. 41[10].

Под этим шифром в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится рукопись неизданных воспоминаний ветерана партии, члена «большевистской шестерки» депутатов IV Государственной думы (в будущем — «всеукраинского старосты») Григория Ивановича Петровского. Касаясь встречи с Владимиром Ильичем во время совещания в Кракове, он, в частности, пишет:

«Владимир Ильич любил жизнь во всех ее проявлениях. В том же Кракове он гнал нас, делегатов совещания, в театр и музеи. Однажды, идя по настоянию Владимира Ильича в театр, мы его с собой утащили. Он внимательно смотрел спектакль, в антрактах спрашивал наше мнение об игре актеров и содержании пьесы, заставляя нас подумать и высказать свою мысль. С Ильичем всегда было интересно и содержательно»[11].

О каком из спектаклей могла идти здесь речь? Подразумевается, по-видимому, театр имени Словацкого, возглавлявшийся Людвиком Сольским, так как другой краковский драматический («Народный») театр был с осени 1912 года в отъезде. Естественно, возникает вопрос: не окажется ли среди спектаклей, показанных во время Краковского совещания, какой-либо из пьес, названных в воспоминаниях Сольского и статьях Новачинского и Щепанского?.. Я просматриваю по театральным справочникам и объявлениям краковских газет «Час» и «Напшуд» сообщения о подневном репертуаре за тот отрезок времени (включая дни, непосредственно предшествовавшие совещанию и последовавшие за ним), но — увы! — ни одного из этих названий не нахожу. Ни «Царя-самозванца» и «Фридриха Великого» Новачинского, ни «Костюшко под Рацлавицами» Анчица.

В те дни в театре гастролировала известная польская актриса Ядвига Мрозовская, с участием которой шли «Макбет» Шекспира, «Дух земли» Ведекинда, «Богатая вдова» Сомерсета Моэма. Людвик Сольский выступал за время с 1 по 16 января (н. ст.) по меньшей мере в шести спектаклях. Он участвовал во всех трех пьесах историко-романтической трилогии поэта Люциана Рыделя «Зигмунт-Август» и в классической комедии А. Фредро «Пожизненная рента» (Латка), и в комедии В. Грубинского «Дьявол и корчмарка» (Рожник), и в «Польском вертепе» Рыделя (Дед с торбой). На протяжении тех дней также ставились «Пер Гюнт» Ибсена, «Легион» С. Выспянского, «Шпион» А. Кистемелера и ряд других, менее известных пьес, что в совокупности достаточно наглядно характеризует богатство и разнообразие репертуара (четырнадцать названий за шестнадцать дней!).

На каком из этих спектаклей побывали делегаты Краковского совещания во главе с Владимиром Ильичем, мы еще сказать не можем. Но хоть на один из неясных ранее вопросов ответ уже пришел. Авторитетные воспоминания Г. И. Петровского, послужившие опорой для «Биографической хроники», позволяют ныне, уже с полной уверенностью, на карте театральных встреч Владимира Ильича пометить еще один, отсутствовавший раньше адрес: *Краков, Городской драматический театр имени Юлиуша Словацкого.*

И дату: *январь 1913 года.*

Тем самым давно уж разрабатываемая советскими и польскими исследователями тема о связях Ленина с Польшей и об его интересе к польской культуре обретает еще один, дополнительный штрих.

Что же касается дальнейшей конкретизации этого, уже бесспорно ныне установленного факта посещения Лениным театра в Кракове (и — кто знает? — быть может, на спектакле с участием того же Сольского?..) — продолжим, и в СССР, и в Польше, поиски дополнительных документальных сведений. Будем искать, и убежден, так же как в ряде аналогичных случаев, раньше или позже, но и это «белое пятно» будет полностью, окончательно заштриховано.

[10] Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. т. 3. М., Политиздат, 1972, стр. 66.

[11] Воспоминания Г. И. Петровского впервые публикуются в новом, втором издании монографии Сим. Дрейдена «В зрительном зале — Владимир Ильич» (в двух томах), выпускаемом издательством «Искусство» (Москва) к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Антирубрика

ДЁРДЬ БАЛИНТ

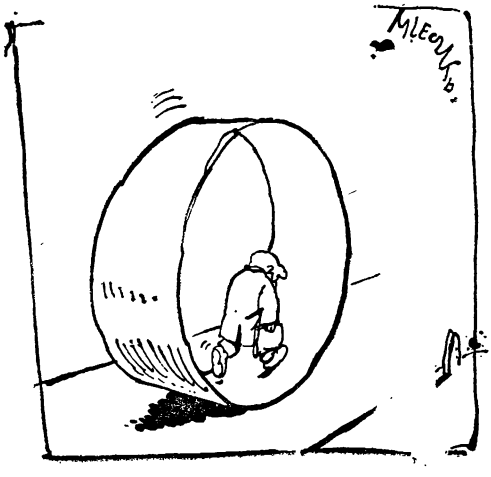
Московские корреспонденты сообщают...

Перевод с венгерского АЛЕКСАНДРА НАУМЕНКО

Уже много лет каждое утро просматриваю все самые важные газеты мира, какие только можно купить в Будапеште. Читаю статьи о России. Из года в год растет число сообщений, которые начинаются словами: «Московские корреспонденты сообщают». Мировая пресса пишет о русских делах уже много лет, и чем дальше, тем объективнее. И чем беспристрастнее она их освещает, тем непонятнее, что же, собственно, творится в России.

Вот раньше все было намного яснее. Когда европейская и американская пресса писала о русских событиях еще с пристрастием. Что позволяло совершенно точно восстанавливать происходящее в России до тех пор, пока мировая пресса не начала изображать Советы объективно. С 1917-го по 1924 год не прекращались сплошные убийства и резня, в результате чего погибло почти все население. Потом среди погибшего населения воцарилась такая беспросветная нищета, что пришлось восстановить капитализм. Это было периодом нэпа, который продолжался с 1924-го по 1928 год. С одной стороны, нэп отчасти облегчил всеобщую нищету — недаром же это был капитализм,— с другой стороны, он потерпел полный провал, ибо был он не совсем капитализмом. Русский народ, следовательно, опять стал терпеть лишения, и вот тогда, в конце 1928 года, в России взялись за пятилетний план. Поначалу мировая пресса ничего не писала о пятилетнем плане, а потом, через несколько месяцев, сообщила, что он с тре-

Рисунки польского художника АНДЖЕЯ МЛЕЧКО.



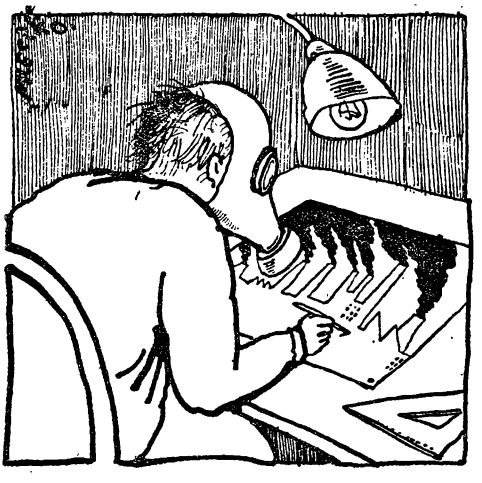
ском провалился. На этом закончился первый этап в корреспонденциях о России в мировой прессе И вот два года назад произошел неожиданный поворот. Начался демпинг. И мировая пресса принялась за русские дела теперь уже с настоящей объективностью, которая с тех пор неослабно растет. О России пишется буквально Все.

Сообщается, например, что пшеничный демпинг угрожает существованию европейских аграрных стран. Сообщается, однако, также, что русская пшеница и прочие сельхозпродукты много недоброкачественнее европейских и серьезной конкуренции, следовательно, не представляют. Далее пишется, что промышленная программа пятилетнего плана обанкротилась. Вместе с тем читатели объективно информируются о том, что за год Советы построили столькото и столько-то заводов, накупили или произвели столько-то и столько оборудования и что если так пойдет дальше и если капиталистический мир не сплотится, то пятилетний план повергнет западную цивилизацию в катастрофу с непредугадываемыми последствиями. Пишется, что в России нет безработных, и на следующий день, опять же объективности ради, сообщается, что в России сейчас больше нищих и проституток, чем когда бы то ни было. Из газет читатели узнают, что безнравственные советские законы о браке и разводе, беспрепятственные аборты рано или поздно приведут русский народ к вымиранию. Но узнают и то, что население Москвы и других русских городов выросло по сравнению с довоенным периодом вдвое, что рождаемость среди русского народа пропорционально растет. Английские газеты пишут, что Советы по демпинговой цене поставляют в Западную Европу сотни тысяч дверей и теннисных ракеток, а французские газеты заявляют, что на советских почтовых марках мало клея, из-за чего их невозможно как следует прилепить к конвертам. Публикуется высказывание Знаменитости, из которого следует, что большевикам никогда не установить связей с Западом, ибо существо большевизма противно принципам европейской культуры. Печатают также передовую статью Выдающегося Ума, из которой явствует необходимость самых радикальных оборонительных мер, направленных против распространения красной опасности. Пишут, что Советы зиждутся на всеобщем равенстве, поголовной униформизации, но в принципе это означает несправедливое господство большинства над меньшинством, однако не поймите превратно — у Советов не может быть и речи о равенстве: незначительное число промышленных рабочих и коммунистическая партия подавляют широкие народные массы — что справедливостью опять же никак не назовешь. Пишут, что в России народные массы недоедают, растет голод. Однако при том, что своим нынешним, относительно добротным жизненным уровнем Россия обязана исключительно демпингу и кратковременному успеху пятилетнего плана.

Но самым ярким примером объективности служит страстный пафос, с каким консервативные капиталистические газеты клеймят позором русский государственный капитализм, существующий исключительно за счет эксплуатации рабочих. Потрясает сближение газет, пасущихся около Уолл-стрита и Сити, с парижской анархистской газетой «Le Libertaire», которая, оказывается, тоже постоянно нападает на Советы лишь за то, что они утвердили у себя не что иное, как капитализм и изощряются во всевозможнейших методах эксплуатации.

Из-за роста объективности мировой прессы я теперь уже окончательно не понимаю, что происходит в России, что там — коммунизм или капитализм, нищета или прогресс, пожар или уже дымящиеся развалины, дверной демпинг или нехватка клея. Теперь уже и догадываться не могу, что правда в корреспонденциях из Москвы и существуют ли вообще в Москве корреспонденты? Понемногу начинаю подозревать, что России на самом деле нет и никогда не было, что все только выдумали, чтобы было о чем писать.

Будапешт, 1932



ЛУИДЖИ МАЛЕРБА

Перевод с итальянского Л. ВЕРШИНИНА

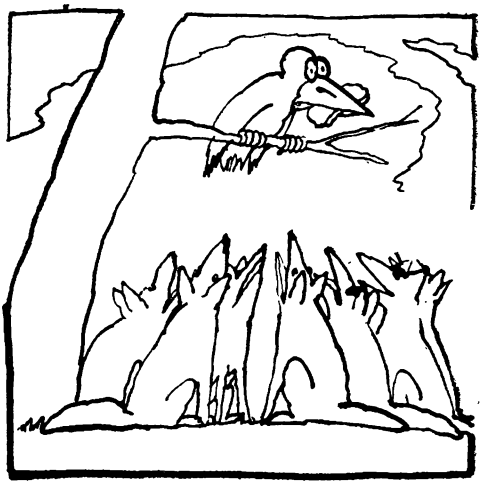
Мафиозо

Вот уже восемь лет я работаю адвокатом по уголовному праву, и мне часто приходится иметь дело с самыми разными людьми, порой весьма циничными. Я неплохо манипулирую статьями уголовного кодекса и в жизни тоже неплохо устроился. Но город, где я живу, маленький, и мне никак не удается в полной мере проявить свои способности, иными словами — сделать карьеру. Надо, однако, признаться, что события последних месяцев посеяли во мне сомнения, заставили задуматься: действительно ли я человек практичный, а не наивный, никчемный глупец.

Уже целых полгода я безуспешно пытаюсь связаться с мафией, но мне до сих пор не удалось не только войти в состав «Достопочтенного общества», но даже отыскать кого-либо, кто бы согласился помочь мне в этом. На первый взгляд мое решение вступить в ряды мафии может показаться скандальным, но это не так. Моралисты, конечно, возмутятся, но ведь доподлинно известно, что многие видные политические деятели, промышленники, лица свободных профессий связали свою судьбу с мафией. В прежние времена политики, промышленники, люди свободных профессий вступали в масонские ложи, добровольно подчиняясь их тайным ритуалам и обрядам, и это тоже казалось моралистам возмутительным. Сейчас над принадлежностью к масонам все смеются. В сущности, все эти тайные общества не что иное, как организации по спасению и поддержке друг друга, так было всегда, еще на заре человечества. Особенно они полезны таким людям, как, скажем, я, которым трудно проявить свои деловые качества. Я хотел бы перебраться в Милан, но попробуйте в большом городе, где вас никто не знает, найти клиентов! Нет, я не намерен ждать долгие годы, чтобы сделать себе имя и заполучить выгодную клиентуру. Потому-то я и решил вступить в «Достопочтенное общество»: ведь мафия сразу сведет меня с людьми, которые помогут мне и возьмут под свое покровительство.

Пока же я работаю адвокатом в маленьком ломбардском городке. Однажды мне удалось добиться полного оправдания мафиозо, который занимался рэкетом в барах. В другой раз я избавил от тюрьмы другого мафиозо, который выстрелил в своего соперника. Словом, кое-какие заслуги перед «Достопочтенным обществом» у меня есть. На свой заработок я могу жить безбедно, но карьеры мне в нашем городишке уж точно не сделать. В городе — два известных адвоката: один — по уголовному, другой — по гражданскому праву. Самые выгодные дела попадают к ним. Ну а нам, молодым специалистам по уголовному праву, остается ждать, когда умрет известный адвокат по уголовному праву, а моим коллегам по гражданским делам — когда умрет известный адвокат по гражданскому праву. Адвокату по уголовному праву всего лет пятьдесят и с виду он здоровяк, хотя поговаривают, будто он страдает диабетом. Он спокойно может проработать еще лет двадцать. Нас, молодых адвокатов по уголовному праву, в городе целых десять, а больших процессов, да и то в удачный год, бывает три-четыре. Понятно, никто из нас не собирается убивать адвоката-монополиста. Вообще-то он этого заслуживает, но еще не было случая, чтобы один адвокат убил другого из-за конкуренции. Такого не бы-

© Casa Editrice Valentino Bompiani.



вает даже у врачей, хотя порой там речь идет о сотнях миллионов лир. Я рассказываю все это не для самооправдания, а чтобы объяснить: у меня нет другого выхода, кроме как записаться в «Достопочтенное общество». И вот я первым делом отправился в Палермо подобно тому, как человек, желающий хорошо изучить английский язык, едет в Оксфорд. В Палермо я остановился в гостинице, которая славится тем, что там собираются главари мафии. Гостиница была для меня дороговата, но я заранее знал, что осуществление моего замысла потребует определенных трат. Я осторожно спросил у портье, не может ли он мне помочь, разумеется, за солидное вознаграждение. Вначале он притворился, будто ничего не понял, а потом сказал, что о мафии ничего не знает и помочь мне не в состоянии. Тогда я обратился к хозяину гостиницы, но с ним вышло еще хуже. Он объявил, что мафия вообще не существует, все это — басни, которые распространяются на континенте. Я настаивал, и тогда он, похоже, рассердился и даже возмутился не на шутку, хоть я и объяснил, что я не журналист и не агент полиции, просто мне тоже хочется стать мафиозо. Для этого я желал бы познакомиться с одним из главарей мафии, а перед тем, как меня ему представят, готов подвергнуться любым испытаниям. И еще я сказал, что по профессии я адвокат и сумел добиться освобождения двух мафиози, а теперь жажду честно послужить мафии, стать одним из членов «Достопочтенного общества». Но говорить с ним было все равно что со стенкой. На следующий день он мне объявил, что дальнейшее мое пребывание в его гостинице нежелательно, так что пришлось мне перебраться в другую.

Вы не поверите, но за целый месяц жизни в Палермо мне не удалось вступить в контакт ни с одним мафиозо. Между тем я не похож ни на полицейского, ни на шпика. Лицо у меня полное и благодушное, как у вполне добропорядочного человека. Хотя, может, они потому и не пожелали иметь со мной дело, что у меня слишком мирный вид? В фильмах у всех мафиози вид подозрительный, а лицо, как правило, в шрамах. Во мне же нет ничего подозрительного, а на лице, увы, ни единого шрама. Но я человек упрямый и так легко не сдаюсь. Я всеми путями пытался войти в контакт с теми, кого газеты и общественное мнение считают членами мафии. Начал с самых известных адвокатов, защищавших мафиози на процессах, затем добился встречи с владельцами строительных фирм, директорами банков, кредитных контор, государственных учреждений, а также с должностными лицами, которые во всем были похожи на героев уже упомянутых мною фильмов. Нередко мне стоило большого труда попасть к ним на прием, приходилось изобретать самые немыслимые предлоги, но результат, увы, всегда был один и тот же. Когда я говорил, что хочу вступить в ряды мафии, больше всего почему-то оскорблялись политические деятели, хотя я сразу добавлял, что готов записаться и в их партию. Одни смеялись мне в лицо, другие приходили в ярость и грозили подать на меня в суд. В конце концов торговец-оптовик фруктами и овощами в порту Палермо посоветовал мне поскорее убираться из города, не то может случиться неприятность. Так я оказался в Риме.

Здесь мне пришлось начать все сначала. Я утешал себя тем, что жители Палермо — народ недоверчивый и к тому же полиция там неотступно следит за каждым. И потом они все-таки сицилийцы. В Риме мои дела сложатся куда лучше, думал я. А вышло хуже некуда. Министр, которого все считают главой мафии, вообще не захотел меня принять. Мне удалось увидеться лишь с его секретарем. У него свой служебный кабинет в здании рядом с министерством. Кабинет роскошный, но я так и не понял, какие он там решает дела. Секретарь министра говорил со мной вежливо, иронично, и, по-видимому, моя просьба его позабавила. Но когда он понял, что я не шучу, то сухо сказал, что я ошибся адресом, и показал мне на дверь. Наконец, мне удалось встретиться с помощником министра, о котором все знают, что он мафиозо, и поговаривают, будто фактически ему принадлежит половина Сицилии. Он выставил меня из кабинета ровно через три минуты, пригрозив принять какие-то меры. Какие, я толком не понял, потому что он говорил на сицилийском диалекте. Удивительнее же всего то, что каждый искренне изумлялся моей просьбе и прямо либо намеком давал понять, что мафии не существует. Все это лишний раз подтверждает, что мафия — вещь серьезная, настоящее тайное общество со своими суровыми законами, которые все его члены обязаны соблюдать беспрекословно. Одного не понимаю, как все эти люди сумели вступить в «Достопочтенное общество»? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь родился мафиозо или что этот титул передается по наследству. Я упорно спрашиваю себя, как же стать мафиозо?

Ясно, что мафиози при встрече обмениваются условными знаками, но если я не подберу к кому-нибудь из них ключи, мне никогда не попасть в «Достопочтенное общество».

Я даже прибег к уловке: дал понять предполагаемым мафиози, что я тоже член мафии, свой человек. Сделал тонкий намек, небрежно бросил пару слов на сицилийском диалекте, многозначительно прищурился. Я надеялся, что кто-нибудь в ответ заговорит со мной откровенно, раскроется. Но наткнулся, как и прежде, на стену недоверия и подозрительности.

Я сказал, что готов бесплатно защищать на суде попавшего в беду мафиозо. А мне ответили, что я зря стараюсь,— мафии не существует, все это вымыслы журналистов.

В какой-то момент я и сам стал сомневаться, существует ли мафия. Я беспрестанно завожу об этом разговор с разными людьми и слышу от них, что крупнейший банк в руках мафии, самая крупная клиника — тоже, как, впрочем, и целая сеть гостиниц, а некое акционерное общество лишь легальное прикрытие для темных дел мафиози. Послушать моих собеседников, так мафия проникла и в банки, и на фирмы, и в государственные учреждения, захватила под свой контроль продажу наркотиков, главные рынки, строительные работы, Анонимную корпорацию похитителей.

Все уверяют, что и крупные политические деятели, и даже служащие полиции и магистратуры связаны с мафией. Но едва я знакомлюсь с этими людьми, как они начинают избегать всяких разговоров о мафии, и все мои надежды лопаются, словно мыльный пузырь. Однако я не сложил оружия. Теперь я из Рима поеду в Милан и начну все сначала. Постараюсь связаться с калабрийской мафией, говорят, что она менее замкнута и консервативна и более активна, чем мафия сицилийская.

■

Два миллиарда

Я сижу у окна и гляжу на серое миланское небо, на падающие с платанов листья и никак не могу отделаться от ощущения, что все еще лечу в самолете из Цюриха. Время от времени я судорожно вздрагиваю, словно проваливаюсь в воздушную яму, хватаюсь за ручки кресла и пытаюсь застегнуть предохранительный ремень. Я не хочу тревожить жену и детей и потому попросил оставить меня одного. Мне приходится беспрестанно повторять себе, что я сижу в кресле у себя в кабинете, что это мой дом под серым миланским небом, что через несколько дней я вернусь в свой оффис и что в конце концов все завершилось наилучшим образом. В окно я вижу четырех агентов в штатском, которые не спеша попарно прохаживаются по двум противоположным тротуарам, усыпанным листьями. Бессмысленная предосторожность — ведь худшее уже позади. Но мне пришлось нанять этих агентов, уступая нажиму профсоюза горилл, который по некоторым сведениям связан с Анонимной корпорацией похитителей. Мои телохранители — полицейские на пенсии, им уже перевалило за шестьдесят, и называть их гориллами по меньшей мере смешно.

Вот уже несколько часов я не могу оторвать глаз от окна и машинально провожу языком по деснам, словно пытаясь отыскать пустоту на месте вырванного зуба, ибо порой мне кажется, что в Цюрихе мне и в самом деле удалили зуб.

Разумеется, я отлично понимаю, что мой язык не может обнаружить то, что всего лишь навсего метафора, к тому же неточная, ибо, если уж идти по пути метафор, я лишился не одного, а двух зубов, ведь я заплатил похитителям выкуп в два миллиарда лир. Но боль я испытываю такую, точно только что вышел от дантиста. Врачи называют ее мнимой болью. К примеру, ампутированная нога продолжает болеть несколько месяцев спустя после операции. То же самое бывает и с зубами, но боль длится всего несколько дней. А вот с потерянными миллиардами дело обстоит иначе, и я все пытаюсь проанализировать свою реакцию.

Впервые за долгие годы я могу спокойно подумать, неторопливо поискать нужную метафору, изменить ее, если она окажется неудачной. Подлинный отдых — это возможность не напрягать ум, только тогда полностью отдыхает и тело. Мое воздушное путешествие в Швейцарию и обратно, точнее сказать похищение, жертвой которого я стал, чудесным образом избавило меня от прежних забот (докучных мыслей о финансовых, административных, налоговых, профсоюзных делах). В моей голове образовалась пустота, которую я могу свободно заполнить плодами своего воображения.

Это не значит, что я хочу таким способом выразить свою благодарность Анонимной корпорации похитителей, до подобного цинизма я еще не дошел. Однако должен признать, что по сравнению с другими моими знакомыми и друзьями, похищенными Корпорацией, я воспринял случившееся намного легче, чем они. Многие из них до сих пор оплакивают утерянные миллиарды, а некоторым после похищения и уплаты выкупа пришлось за собственный счет поехать в Швейцарию, чтобы подлечить нервы. Газеты писали, будто я симулировал сердечный приступ. Но это ложь, скорее всего изобретенная рекламным отделом Анонимной корпорации похитителей. Мне незачем было притворяться больным, потому что похитители обошлись со мной во всех отношениях великолепно. Заплатив относительно скромную сумму и подвергшись лишь минимальному риску, я теперь тоже могу рассказывать друзьям и моим детям о необыкновенном приключении.

Не знаю, в какой мере другие жертвы сказали правду о размерах выкупа. Понятно, я имею в виду цифры, названные в доверительной, частной беседе: публично никто из них не признался, что уплатил столь большую сумму. Никому не хочется объявлять налоговому управлению, что у него имеются такие крупные вклады в банках соседней Швейцарии. На это похитители и рассчитывают. Есть и другая причина, заставляющая жертву молчать,— сумма уплаченного выкупа, даже если все подтверждено документами, также облагается налогом. Во всяком случае, сравнивая свои капиталы с капиталами других похищенных, я не могу не признать, что со мной обошлись по-божески. Например, инженер Дзаннино уплатил лишь миллиард лир. Но для него это огромная потеря, поставившая под удар все дела строительной фирмы «Дзаннино энд Компани». Чтобы как-то уцелеть, ему пришлось просить заем у одного миланского банка, контролирующего Анонимную корпорацию похитителей. Если Дзаннино, мелкий предприниматель, уплатил один миллиард, то с меня похитители могли потребовать как минимум пятнадцать.

Я заранее знал, что рано или поздно настанет и мой черед, что меня схватят и увезут в Швейцарию. На этот случай я положил на свой счет в одном из цюрихских банков шесть миллиардов лир. Полиция через своего представителя сама посоветовала мне держать наготове такую сумму, так же как она рекомендует всем хранить до-

ма наличные деньги на случай ограбления. Похищенный понимает, что нельзя допустить, чтобы похититель вернулся назад с пустыми руками. Работа у похитителей рискованная, она требует больших денежных затрат, и полная неудача способна довести их до крайнего ожесточения. Нередко это люди с неустойчивой нервной системой, и они вполне могут выстрелить в вас или же отрезать ухо, такое случалось уже не раз. Впрочем, я хотел сказать о другом — проведи мои похитители более тщательную проверку сумм, которые я перевел в швейцарские банки, они могли бы получить с меня куда более крупный выкуп. Словом, по моим расчетам я сэкономил по меньшей мере четыре миллиарда. Так что мне жаловаться не приходится, не так ли?

Надо, однако, заметить, что слухи о редкой предприимчивости бандитов несколько преувеличены. Мне, конечно, повезло, но будь похитители моими подчиненными, я бы их всех уволил. Правда, они могут позволить себе некоторую небрежность и изрядную долю дилетантства, так как уверены в молчании и даже сообщничестве похищенных. Те, кто пытался было затруднить этим бандитам задачу, переведя свои миллиарды из Швейцарии в Испанию, Португалию или княжество Лихтенштейн, вынуждены были потом совершить крайне утомительное путешествие в одну из этих стран. Я уже не говорю о трудностях, связанных с перемещением капиталов, и о риске потерять все из-за денежных и политических неурядиц.

На Милан опускается тьма, и небо из серого стало черным, скоро придет врач для очередного осмотра и объявит, что я по-прежнему нахожусь в состоянии шока. Это позволит еще на несколько дней оттянуть допрос в полиции. Тем временем я делаю пометки в блокноте, готовясь рассказать об обстоятельствах похищения. Свой рассказ я выучил наизусть и потом в полиции произнесу монолог без запинки. А так как врач по договоренности со мной заявит, что я еще не вполне оправился от потрясения, мне простятся некоторые мелкие несуразности. Но о Швейцарии и о полете туда я должен забыть раз и навсегда. Во время первых похищений полиция проводила тщательное, серьезное расследование, теперь же допросы свелись к простой формальности. Конечно, я предпочел бы избежать этой все-таки достаточно неприятной процедуры, но моя секретарша слишком сильно разволновалась и сделала то, что ни в коем случае не должна была делать,— после того, как бандиты увели меня из моего кабинета, сразу вызвала полицию. Чрезмерно эмоциональные секретарши — сущее бедствие.

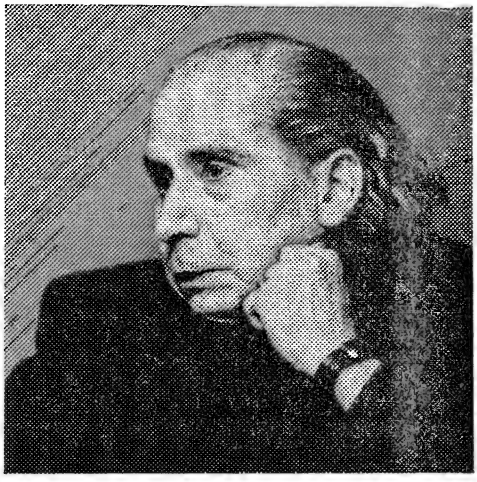
Единственное, что меня смущает во всей этой истории,— это огласка. Из пятидесяти случаев похищений в нашем городе, я говорю, разумеется, о людях, занимающих определенное социальное и общественное положение, газеты сообщили лишь о десяти. Увы, я оказался в числе этих десяти. Остальные рассказывали о своих злоключениях только в частных беседах, и мне точно известно, что многие завышали сумму уплаченного выкупа, а некоторые вообще выдумывали все от начала до конца, чтобы придать себе больше веса.

К примеру, я не верю, будто бедняга Каноби уплатит миллиард лир. Как он мог раздобыть миллиард лир наличными, если ему не удается получить банковский кредит в двести миллионов, чтобы спасти свою фабрику от неминуемого краха? Да он миллиард лир в глаза не видел, бедный Каноби! А историю с похищением и полетом в Швейцарию он придумал, чтобы поднять свой престиж в глазах общества.

А я уже слышу шаги врача, который пришел меня осмотреть! Я должен выказать полнейшее спокойствие, чтобы не смутить его, а главное, не напугать, как это случилось в прошлый раз. Ведь он не только мой личный врач, но и друг. Впрочем, я и в самом деле вполне спокоен. Мне нужно лишь отстегнуть ремень и спрятать его под кресло.

◆

Наши гости



Луис Кардоса-и-Арагон

ГВАТЕМАЛА

Известный гватемальский поэт, эссеист, искусствовед, крупный общественный деятель Луис Кардоса-и-Арагон — очень давний друг нашей страны.

Еще пятьдесят пять лет назад в Париже вышел из печати первый сборник его стихов — «Луна-парк». Неприятие тиранического режима, под гнетом которого страдала его родина, невозможность заниматься там творческой деятельностью приводили Кардосу-и-Арагона во Францию, на Кубу, в Мексику, Чили, во многие страны мира. Но...

— Детство мое,— говорит он,— прошло в Гватемале, а детство — это родина... Второй родины человеку не дано!

На эту родину Луис Кардоса-и-Арагон возвратился сразу же после победы буржуазно-демократической революции 1944 года. Он был избран в сенат, участвовал в создании журнала «Ревиста де Гватемала». После установления дипломатических отношений между Гватемалой и Советским Союзом он впервые прибыл в 1946 году в Москву в качестве посланника своей страны. Одним из многих плодов его деятельности здесь стала интересная книга об СССР — «Возвращение к будущему».

— Эта книга — лишь мой скромный вклад в борьбу, которую ведет ваш народ за лучшее будущее человечества, а в этой борьбе я всегда рядом с вами.

После 1954 года, когда вследствие агрессии империализма США в Гватемале было свергнуто демократическое правительство Хакобо Арбенса, писателю снова пришлось покинуть родину. Он поселяется в Мехико.

Трудно поверить, что этому человеку уже за 75 — так поразителен круг его творческих интересов: стихи, эссе и монографии по различным проблемам и литературы и изобразительного искусства, художественная проза, журналистская работа.

— Последнее время много пишу о мексиканской живописи. Составил сборник писем, статей, выступлений Хосе Клементе Ороско, Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса. Ведь они написали не меньше, чем нарисовали. Я собрал эти материалы в единый том и снабдил его предисловием.

Мы хорошо знаем о любви Луиса Кардосы-и-Арагона к живописи. А что же художественная литература? В одном из своих интервью наш гость сказал: «Литература — это призвание, уйти от которого невозможно, это своего рода волшебный рок, чарующее наказание. Нечто пробивающееся из каждой поры твоего тела, стекающее по кончикам пальцев. Словно от собственной тени, ты не можешь отделаться от нее».

— Недавно мексиканский журнал «Сьемпре» опубликовал подборку ваших стихов. Вы продолжаете их писать?

— Да. И порой по самому неожиданному поводу. Вот, скажем, прошла в Мехико выставка молодого художника Франсиско Толедо. Меня попросили написать заметку о ней. Но я не совсем разобрался в его творчестве и вместо заметки написал стихотворение, отражающее мое впечатление о его живописи.

— А проза?

— Проза у меня несколько фантастическая, одержимая...— смеется Луис Кардоса-и-Арагон. — Вот, например, небольшая книжка «Маленькая симфония Нового Света». Ее содержание, словно вокруг оси, вращается вокруг трех новелл. Одна —

«Данте в Нью-Йорке», я в ту пору увлекался всем, что связано с Флоренцией, много читал Данте, а потом в Гаване Федерико Гарсиа Лорка часто читал нам фрагменты из своей книги «Поэт в Нью-Йорке». Приехав в этот город, я в довершение всего поселился на улице, где стоял памятник Данте, там и началось мое сошествие в нью-йоркский ад. Вторая история о том, как меня подняли на вершину пирамиды майя и... принесли в жертву древним индейским богам. Я написал ее, чтобы глубже прочувствовать, что же такое доколумбова культура. А третья — совсем смешная: во время карнавала больные убежали из сумасшедшего дома, смешались с толпой на улице, и никто не мог отличить их от нормальных людей.

Сейчас я работаю над книгой прозы, где личные воспоминания переплетаются с эссе и литературными портретами. Я определяю ее как «море, реку и рыцарский роман». У поэта испанского средневековья Хорхе Манрике есть такие слова: «Наши жизни — реки, текущие в море, имя которому смерть». Нередко я сам себе напоминаю дельту реки моей жизни. Почему рыцарский роман? Жизнь полна неожиданных приключений. Я много повидал, со многими людьми меня сводила судьба. И в книге приходится очень четко отделять собственно мемуары, которые всегда документальны, от литературных портретов, написанных с изрядной долей воображения, порой по каким-то личным ассоциациям. Скажем, эссе о Габриеле Гарсиа Маркесе я назвал «Сапожник из Константинополя» просто потому, что внешне писатель мне напоминает турка. Есть зарисовки в четыре-пять страничек, а есть и по сотне. Большой литературный портрет Федерико Гарсиа Лорки. Мы были хорошо знакомы еще в тридцатые годы, в Гаване, даже затеяли совместную работу — приспособить одну из глав Библии для... мюзик-холла. Замысел родился под влиянием сатирических произведений Маяковского, с которым кстати, мне довелось однажды лично встретиться в Париже в 1927 году. Во Франции же я познакомился и подружился с Пабло Пикассо. Очень много мне дало общение с Полем Элюаром и Луи Арагоном.

Мы просим нашего гостя рассказать о положении писателей в Гватемале.

— В стране продолжают работать многие писатели и журналисты, хотя, откровенно говоря, приходится им нелегко. Время от времени правительство публикует списки «нежелательных элементов». Это значит, что им лучше уехать из страны, и как можно скорее, если они не хотят быть убитыми. Ведь в Гватемале сегодня нет политических заключенных! Страна настолько «демократизирована», что нет нужды отправлять людей в тюрьмы. Их отправляют прямо на кладбище! Многие спасаются — уезжают, пережидают за границей какой-то срок, а потом снова возвращаются и продолжают свое дело.

В 1967 году жюри латиноамериканского конкурса «Каса де лас Американ» присудило Луису Кардосе-и-Арагону первую премию по жанру эссе за книгу «Гватемала: линии ее руки». Это обширное исследование, впервые опубликованное в Мексике в 1955 году, охватывает историю и современность небольшой многострадальной центральноамериканской страны. Писал его Луис Кардоса-и-Арагон уже в изгнании. «Никто до сегодняшнего дня,— отмечал в предисловии к кубинскому изданию этой книги другой гватемальский писатель, Мануэль Галич,— не сумел выразить любовь к Гватемале с таким трепетом, с таким ясновидением, разглядывая через туннель прошлого мрак ее настоящего и сияние ее будущего».

Перо Луиса Кардосы-и-Арагона не устает сражаться за новую, свободную Гватемалу. Летом 1979 года Ассоциация гватемальских журналистов, действующая в стране, решила вручить ему почетный дар: яшмовую статуэтку священной птицы кетсаль — символа свободы народа майя.

В одном из стихотворений нашего гостя есть слова: «Родина моя нежна, тепла и сурова. Нынче она забыла про смех и забыла улыбки. Песнь застревает в ее горле. Но и к ней придет рассвет!».

Н. БУЛГАКОВА

К нашим иллюстрациям

В. И. ЛЕНИН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ [1]

Образ Владимира Ильича Ленина возникает вновь и вновь в польском изобразительном искусстве, получая глубокую трактовку на фоне различных исторических и бытовых ситуаций. Наметились три основных тематико-иконографических направления. Первое — это портрет или групповая сцена, в которой В. И. Ленин занимает центральное место как с тематической, так и с чисто художественной точки зрения. Направление второе можно условно определить термином «Ленинская символика»: образ Владимира Ильича получает здесь метафорическое звучание, олицетворяя идеи Вождя Революции. Третье направление представляет пейзажная живопись, изображающая места, связанные с пребыванием Ленина в Польше.

Ленину посвятили свои произведения самые выдающиеся представители польского искусства. Достаточно упомянуть Ксаверия Дуниковского, Збигнева Пронашко, Мариана Внука, Эугениуша Эйбиша, Тадеуша Кулисевича и многих других.

Образ Ленина в произведениях польского искусства имеет скорее психологический, чем документально-изобразительный характер. Именно так решает тему старейший польский живописец Алойзий Сивецкий в своем триптихе «Ленин в Кракове». 21 марта 1914 г. в клубе общества «Спуйня» В. И. Ленин выступил с рефератом на тему «Российская социал-демократия и национальный вопрос». Среди присутствовавших был знаменитый ныне художник, а тогда студент Академии художеств Эугениуш Эйбиш. Он вспоминал: «Небольшой зал «Спуйни» был набит до отказа. Пришли студенты и рабочие, пришли и те, кому далеки были идеи Ленина. Но когда этот необыкновенный человек начал доклад, все без исключения слушали его с неослабевающим вниманием. Ибо Ленин говорил так ясно и просто, притом так проникновенно, что могли его слушать одновременно рабочий и студент, крестьянин и философ». Центральная часть триптиха изображает Ленина, выступающего в «Спуйне», левое крыло — Ленина на Флорианской улице, правое — Ленина и Крупскую в Звежинеце, у дома, где находилась их квартира.

Другая работа А. Сивецкого на ленинскую тему — полотно, изображающее совещание в Поронине. С 6 по 14 октября 1913 года на квартире Ленина происходило совещание ЦК РСДРП. Совещанием руководил сам Владимир Ильич, написавший проект резолюции и выступивший с двумя докладами.

К Лениниане обращается и другой польский художник — Ежи Потшебовский в картине «Ленин в гуральской семье». В. И. Ленин во время своего пребывания в Поронине интересовался жизнью гуралей — крестьян горных деревень, посещал их дома, беседовал с ними.

Картины польских художников, посвященные В. И. Ленину, выражают некую общую тенденцию, вытекающую не столько из индивидуальных вкусов художников, сколько из их стремления ярко и лаконично раскрыть тему с помощью чисто пластических средств. Ленин предстает перед нами как глубоко человечная личность, лишенная всякой выспренности и позы. Человечная — значит, близкая и живая.

ЕЖИ МАДЕЙСКИЙ

[1] — См. иллюстрации на обложке.

Среди книг

Издано в СССР

ПРАВДА ЛЕНИНА

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. Издание второе. Том 5. Воспоминания зарубежных современников. Подготовители тома: Д. С. Кислик, А. И. Горбачева. Москва, Издательство политической литературы, 1979.

> Как трудно быть писателем — другом Советского Союза, если приходится работать в капиталистической стране. Препятствия: нет никакой уверенности, только туманная надежда увидеть написанное опубликованным. Всегда против течения — всегда борьба.
>
> *АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС*

Первым иностранцем, принятым главой правительства только что рожденного революцией Советского государства, был американский публицист Альберт Рис Вильямс. Много раз еще он виделся и беседовал с Лениным. И позже признавался: «Простые встречи с ним вселили в меня желание служить революции». Ленин и революция стали главной темой Вильямса-писателя. Верность идеям Октября он сохранил до конца жизни.

Таких простых, но незабываемых для его собеседников встреч у Владимира Ильича было множество.

Воспоминания зарубежных современников составили заключительную книгу пятитомного собрания мемуаров о В. И. Ленине, первое издание которого вышло десять лет назад. К 110-летию со дня рождения Владимира Ильича завершено повторное, дополненное издание этого пятитомника.

В пятом томе о своих встречах с Лениным рассказывают многие ветераны международного рабочего и коммунистического движения, среди них — Георгий Димитров, Клара Цеткин, Марсель Кашен, Луиджи Лонго, Уильям Галлахер, Бела Кун, Уильям Фостер; зарубежные общественные и государственные деятели — финский дипломат Карл Идман, первый чрезвычайный посол Афганистана в Советской России Мирза Мухаммед Яфтали, общественный деятель Индии Махендра Пратап; известные писатели — Мартин Андерсен-Нексе, Герберт Уэллс, Джон Рид, Иван Ольбрахт, Альфред Курелла; журналисты — Артур Рэнсом, Отто Гримлунд, Юкка Латукка. Делятся своими воспоминаниями и награжденный недавно орденом Дружбы народов крупный американский промышленник Арманд Хаммер, и английский скульптор Клэр Шеридан, и венгерская художница Тиборнэ Самуэли, и домашняя хозяйка из Финляндии Мария Усениус. Всего в сборнике около ста материалов.

Разные это материалы — по жанру, по объему, по времени написания. Но в совокупности они создают живой, многогранный образ Ленина — вождя международного рабочего и коммунистического движения, вдохновенного мыслителя и стратега, чуткого, заботливого, «самого человечного человека».

Для каждого из участников сборника встреча с Лениным стала самым памятным, самым значительным событием жизни. Ленин завоевывает их умы и сердца. В высших человеческих качествах, обнаруженных в Ленине, в духовной его красоте они усматривают прообраз новой, социалистической культуры России, новых ее граждан. И после общения с вождем революции многие из них непременно что-то делают для утверждения на земле ленинской правды...

«Сегодняшние новости из Петрограда весьма печальны,— сообщала американская столичная газета «Вашингтон ивнинг стар» 8 ноября 1917 года.— Большевики во главе с Лениным захватили власть...»

«Нью-Йорк таймс» подхватила: «Нам нет нужды указывать на то, что триумф большевиков в России был бы катастрофой для дела союзников... И мы полагаем, что у Рос-

сии осталось достаточно разума и чести, чтобы этот первый шаг не вылился в длительный марш».

На следующий день в той же «Нью-Йорк таймс» прозвучал открытый призыв к контрреволюционным силам России. В редакционной статье газеты выражалась надежда, что в России найдется «сильная личность», способная «взять управление из разрушительных рук большевиков»...

Вскоре в социалистической газете «Нью-Йорк колл» появилась первая статья от ее корреспондента в Петрограде: «Причина поразительного влияния и силы большевиков в том, что правительство Керенского полностью игнорировало народные чаяния, которые нашли свое выражение в большевистской программе мира, земли и рабочего контроля на предприятиях...» Корреспонденция заканчивалась словами привета «от первой пролетарской республики мира». Автором статьи был Джон Рид. А обращение к революционному пролетариату мира ему вручил утром 31 октября (13 ноября) Владимир Ильич Ленин. И вот как лирично Джон Рид начнет рассказ об этом дне в своей великой книге о революции, потрясшей мир: «Рано утром я пошел в Смольный. Идя от внешних ворот по длинным деревянным мосткам, я заметил, что в сером безветренном воздухе порхают первые снежинки. «Снег! — весело улыбаясь, закричал часовой, стоявший у двери.— Здорово!..»

К этому времени правительство США уже прекратило продовольственные поставки в Россию. О советской власти оно и слышать не хотело. Призывы «Нью-Йорк таймс» подкреплялись политикой непризнания, бойкотом, голодной блокадой, активной поддержкой внутренней контрреволюции.

На семнадцатый день революции, 24 ноября, во Владивостокском порту бросил якорь первый корабль интервентов — американский крейсер «Бруклин». Прибывший на нем командующий тихоокеанским флотом США адмирал Найт заверил представителей местных «деловых кругов», что США поддержат любые формы борьбы против правительства Ленина...

А в Михайловском манеже Петрограда перед уходящим на фронт отрядом новой, социалистической армии сразу же вслед за Лениным выступает Альберт Рис Вильямс. С броневика, служившего трибуной, он заявляет о своей готовности с оружием в руках защищать молодую Советскую республику. Ленин помогает ему — переводит, подсказывает нужные русские слова. Шел первый день нового, 1918 года.

По дороге из манежа в Смольный автомобиль Ленина обстреливают. Находившийся рядом с Лениным швейцарский революционер Фриц Платтен заслоняет его собой. В пятом томе публикуются воспоминания Платтена о его первой встрече с Лениным (в 1915 году на Международной социалистической конференции в Циммервальде), в которых он называет Владимира Ильича «самым значительным человеком современности». Включен в сборник и рассказ Платтена о возвращении Ленина из Швейцарии в Россию в апреле 1917 года. Платтен был главным организатором этого исторического переезда.

Отношение Уинстона Черчилля к Октябрьской революции общеизвестно: «Душить в колыбели!..» А его племянница, молодой скульптор Клэр Шеридан, перешагнув через семейные и классовые предрассудки, устремилась в революционную Россию, чтобы создать скульптурный портрет Ленина. «Мне по душе сама сущность происходящего здесь и жизненная энергия народа,— записывает она в своем «Московском дневнике».— Если бы у меня не было детей, я бы осталась в России навсегда. Возможно, здесь недостаточно пищи для тела, но здесь есть пища для души. И я скорее бы предпочла жить, пренебрегая удобствами, в атмосфере гигантских усилий, нежели в роскоши, среди людей, живущих без цели».

Спустя два месяца Клэр Шеридан вернулась домой: «Трудно описать, как по-разному встретили меня в Лондоне: похвалы, упреки, поздравления, брань, панегирики и критика... Я узнала, в какое бешенство пришла моя семья после моего отъезда... Уинстон заявил, что никогда больше не будет разговаривать со мной... Мои тетки ругали и осыпали меня упреками при каждом удобном случае и без конца досаждали мне замечаниями о моих «кровавых друзьях-большевиках». Мне постоянно приходилось выступать в защиту людей, так гостеприимно делившихся со мной тем немногим, что они имели Лишь истощив все свое негодование и гнев, я научилась сохранять спокойствие и оставаться глухой к невежественной болтовне, которую мне приходилось слышать со всех сторон. К концу недели Лондон сделал меня «большевичкой» в гораздо большей степени, чем даже Москва».

Одновременно с Клэр Шеридан находился в Москве Герберт Уэллс. И жил он в том же доме на Софийской набережной. В главе «Кремлевский мечтатель» своей знаменитой книги о России Уэллс дважды, не называя имени, упоминает «молодого скульптора из Лондона».

Ленин беседовал с Уэллсом 6 октября 1920 года. На следующий день в том же кабинете начала работать над скульптурным портретом Ленина Клэр Шеридан. В Москве, в Центральном музее В. И. Ленина хранятся три выполненных ею ленинских портрета.

Книга Уэллса была встречена на Западе почти так же, как работы Клэр Шеридан. Реакция не могла простить именитому писателю, что советское правительство он объявил «единственно возможным в России». А тех, кто пытался его свергнуть, назвал «авантюристами» и «просто бандитами»...

Знойное лето двадцать первого года. Засуха. Голод. Государственный секретарь США Чарльз Юз, бывший адвокат рокфеллеровской нефтяной компании «Стандард ойл», в ответ на предложения советского правительства об установлении советско-американских торговых отношений заявляет, что такие отношения могут быть возможны только при условии «коренных изменений в России, предусматривающих... признание и полные гарантии частной собственности...». Юз всячески препятствует и попыткам отдельных американских предпри-

нимателей завязать деловые контакты с нашей страной.

Тем не менее осенью 1921 года первое концессионное соглашение с иностранной фирмой было заключено. И это была американская фирма. Ее тогдашний секретарь Арманд Хаммер вспоминает: «Я приехал в Россию осенью 1921 года вопреки словам американских друзей, уверявших меня, что в Стране Советов ожидает меня гибель и смерть. Газеты были тогда полны описаниями «зверств большевиков» и изображениями «ужасного» вождя Ленина... К великому моему удивлению и радости, Владимир Ильич сообщил мне, что хотел бы лично повидаться со мной... Мы беседовали в течение полутора часов... Хотя Ленин никогда не бывал в Америке, он был осведомлен о ней более, чем американцы». На столе в кабинете В. И. Ленина и сегодня стоит бронзовая статуэтка — подарок Хаммера.

Пятый том начинается с воспоминаний Клары Цеткин. Созданный ею ленинский портрет проникновенен, всеобъемлющ, убедителен. Полнее, чем у других авторов, предстает здесь и суть ленинской правды — в разительном контрасте с ложью и лицемерием буржуазного мира, с дешевым лицедейством многих именитых политиканов: «...трудящиеся... тонким, инстинктивным чутьем улавливают разницу между правдивым и ложным, между скромным величием и напыщенным чванством, между действенной, обращенной к ним любовью и погоней за популярностью, в которой отражается только пустое тщеславие».

Эти слова открывают сборник, и они — его лейтмотив. Почти каждый из авторов отметит естественность, простоту и общительность Ленина, подчеркнет непринужденность и возвышающую человека атмосферу равенства, свободы, взаимоуважения, доброжелательности, в которой проходила беседа с вождем Советского государства.

Герберту Уэллсу, покидающему Кремль, а в тот же день и Москву, хочется думать только о Ленине, «этом изумительном человеке».

О том, что Ленин «вызывал уважение... своей манерой держать себя», пишет Фриц Платтен.

«Замечательные воспоминания» оставила встреча с Владимиром Ильичем весной 1921 года и у первого посла Афганистана в Советской России Мирзы Мухаммеда Яфтали. Через три с половиной десятилетия он отметит, что яркие впечатления от встречи с Лениным живы в его памяти, и подчеркнет, что и тогда, «несмотря на голод и холод, отсутствие необходимых средств и напряженность общего положения», Ленин выразил готовность «оказывать помощь и поддержку угнетенным народам Востока».

Способность Ленина видеть в людях лучшее, его готовность поддержать человека, заступиться за него почувствовали и многие из тех современников Ленина, кто никогда с ним не встречался.

Бернард Шоу, как известно, приветствовал Октябрьскую революцию, участвовал в движении «Руки прочь от России!», выступал за Советскую республику в печати. Но было и обстоятельство, которое, надо полагать, решающим образом определило его особое, сохранившееся до конца жизни отношение к Ленину.

Воспоминания Артура Рэнсома, публикуемые в сборнике, начинаются с его разговора с Лениным о Бернарде Шоу [1]. Ленин проявляет большой интерес к творчеству Шоу, подчеркивает честность писателя, прогрессивность его взглядов. А когда кто-то вмешался в беседу, назвав Шоу клоуном, Ленин сердито отрезал:

— Он, может быть, и клоун для буржуазии в буржуазном государстве, но в революции его не сочли бы за клоуна.

В 1919 году Рэнсом выпустил свою книгу о Советской России, включающую эту сценку. Шоу книгу Рэнсома безусловно читал. Он внимательно следил за всей литературой о нашей стране. Упоминал, в частности, и книгу Уэллса, и записки К. Шеридан.

Видимо, решение послать Ленину свою новую книгу, пенталогию «Назад к Мафусаилу» — с проникновенной надписью,— явилось ответом Шоу на доброе ленинское слово. И когда в 1931 году Шоу приехал наконец в Москву, первым его желанием было посетить Мавзолей В. И. Ленина; вторым — встретиться с Н. К. Крупской.

И до поездки Шоу часто выступал в защиту нашей страны. Теперь же, вернувшись в Лондон, он делает это постоянно.

11 октября 1931 года Шоу обращается по радио к американскому народу. Впервые в американском эфире прозвучал правдивый рассказ о Стране Советов, об успехах социалистического строительства, о Ленине. «В Лондоне сегодня стоит статуя Вашингтона,— говорил Шоу,— завтра в Нью-Йорке будет, без сомнения, стоять статуя Ленина со следующей надписью: «Да благословен будешь ты и тогда, когда люди станут возводить на тебя хулу»...

Хула обрушилась прежде всего на самого Шоу. Реакция всполошилась. Немедленно по американскому радио выступил «специалист по России», вице-президент университета Джорджтауна, католический священник Эдмунд А. Уолш. Не найдя лучших аргументов, он обозвал Шоу «патентованным шарлатаном английской литературы». Немного ранее в своей книге о революции в России Уолш и Джона Рида назвал «блестящим, но неверным выпускником Гарварда».

Духовные наследники «отца» Уолша, нынешние советологи, не устают вещать о том, что выдающиеся представители мировой культуры, первыми «проголосовавшие» за социализм, первыми поддержавшие страну Октября — поколение Джона Рида, Ромена Роллана, Джорджа Бернарда Шоу,— были всего-навсего «политическими слепцами», которых одурачили и провели большевики. В этом мол, их историческая трагедия, в этом их несчастье.

— Я счастлив,— заявлял Бернард Шоу,— что в то время, когда клевета на Ленина в английской печати превосходила даже клевету на Джорджа Вашингтона в 1780 году и когда британское правительство истратило 100 миллионов фунтов стерлингов на финансирование врагов Ленина, я счастлив, что я приветствовал тогда Ленина как величайшего государственного деятеля Европы в надписи на одной из моих книг, которую я послал Ленину. Я надеялся, что это помо-

[1] Об этом см. в этом номере стр. 229.

жет показать Ленину, что в Англии живут не только жертвы, одураченные буржуазной печатью, и класс политических слепцов...

И. ПОПОВ

ПУТЬ К ЛЕНИНСКИМ ИДЕАЛАМ

Цюй Цюбо. Публицистика разных лет. Перевод с китайского М. Е. Шнейдера, В. Т. Сухорукова, В. С. Аджимамудовой. Предисловие Л. П. Делюсина. Москва, «Наука», 1979.

Советские люди хорошо знают и высоко ценят политическую и публицистическую деятельность Цюй Цюбо (1899—1935)— выдающегося китайского революционера, друга нашей страны, ленинской коммунистической партии. Изданная на русском языке его книга публицистики отражает духовные искания и социальное прозрение молодого человека, обретение им твердой революционной позиции, марксистских идеалов. Основу сборника составляют «Путевые заметки о новой России» [1] и очерки о Ленине, в которых повествуется о жизни Советской республики и запечатлен облик вождя революции.

Используя накопленный в старой китайской литературе опыт создания путевых дневников, Цюй Цюбо привнес в привычный жанр новые черты: точное описание примет реальной действительности. Автор сочетает с эмоциональным рассказом о собственном душевном состоянии, о напряженной работе мысли. Первые страницы путевых заметок рисуют облик китайского юноши из обедневшей чиновничьей семьи, ставшего свидетелем социальных перемен, порожденных Синьхайской революцией 1911 года. Молодому человеку было трудно разобраться в политической жизни, однако увлечение китайской классической литературой и буддийской философией не могло дать пытливому юноше ответа на проблемы, волновавшие его самого и его современников. Антиимпериалистическое движение «4 мая» 1919 года сразу же вовлекло Цюй Цюбо в водоворот событий, и он стал активным участником студенческих организаций. «Все мы проявляли острый интерес к дискуссиям о социализме,— писал Цюй Цюбо.— Однако наши взгляды во многом походили на идеи, имевшие хождение среди русской молодежи 40-х годов XIX в. Наши представления о сути социализма и различных его течениях были туманными, словно окутанными предрассветной дымкой. Многие явления мы видели как бы сквозь тюлевую занавеску».

Цюй Цюбо воспринимал Китай как «мрачный, окутанный мглой мир», где много страдающих и униженных. Но он увидел тоненький луч света, идущий из далекой Советской России, и им овладело желание «поднять тяжелую завесу, чтобы яркое солнце озарило все вокруг». В его душе все сильней крепла решимость познакомиться с происходившими в молодой Советской республике революционными преобразованиями. «Теперь у меня тоже есть свой «край обетованный»— Советская Россия. Не будем пока говорить о том, почему в России нечего есть, не во что одеться... Как бы там ни было, Россия — первая в мире страна социалистической революции, центр мировой революции, связующее звено между восточной и западной культурой. Я твердо решил ехать в Россию». Цюй Цюбо стал журналистом и мечтал рассказать китайским читателям правду об Октябрьской революции, которая так нужна была им в борьбе за национальное и социальное освобождение. Известно, что еще в 1919 году великий китайский революционер Сун Ятсен собирался направить в Советскую Россию группу своих сторонников для освоения опыта ленинской партии. Социальный заказ передовых людей Китая, требование времени остро ощущались молодым Цюй Цюбо, и он понимал, что на него возложены «обязанности по изучению и сбору информации о культуре страны, о ее новом строе, о невиданных доселе в мире преобразованиях».

Россия в конце 1920 года встретила Цюй Цюбо суровой зимой, заботами о пропитании, не всегда понятными отношениями между людьми. Нелегко было молодому китайцу постичь смысл подчас противоречивых фактов и явлений, но он пытливо вглядывался в новый для себя мир, и ему начала открываться правда революционных перемен. Для китайского читателя было поучительным признание Цюй Цюбо в том, что поездка помогла ему избавиться от серьезного заблуждения: «До приезда в Россию я всегда полагал, что современная Россия представляет собой «лабораторию коммунизма», что большевики — это как бы химики, которые в соответствии с формулами теории социализма экспериментируют над народами, населяющими Россию, как над химическими элементами, смешивая и взбалтывая их в «пробирке Советов», и что они тут же получают ощутимый результат — социалистические соединения». Цюй Цюбо убеждался в том, что коммунисты в своей деятельности руководствуются не абстрактными догмами, а опираются на законы развития общества, на волю народных масс. Он понял огромное революционизирующее значение аграрной политики советского правительства, убедился в том, что революция и гражданская война были для трудящихся важной политической школой. Свидетельство китайского журналиста о бережном отношении русских коммунистов к демократическим культурным традициям имело важное значение для многих интеллигентов в Китае, которые говорили о необходимости перемен в стране и вместе с тем страшились, что революция приведет к разрушению культуры. «Величие и богатство русской культуры, ее подлинно гражданский пафос, необыкновенные таланты, рожденные ими поразительные шедевры, потрясшие мир,— все это убеждает в том, как велико значение русской революции»,— писал Цюй Цюбо.

[1] Фрагменты из этой книги публиковались в «Иностранной литературе» № 5, 1977 и № 10, 1979.

Огромную роль в идейной эволюции Цюй Цюбо, в формировании его как революционера и марксиста сыграл Владимир Ильич Ленин. Цюй Цюбо довелось присутствовать на заседаниях III конгресса Коммунистического Интернационала. «Именно на конгрессе я впервые так глубоко ощутил Москву, ее политическую жизнь»,— отмечал Цюй Цюбо. Неизгладимое впечатление произвели на него выступления В. И. Ленина. «Он свободно владеет немецким и французским языками, говорит вдумчиво, уверенно, держится просто, в нем нет ничего от университетского профессора. Настоящий политический деятель — прямой и непреклонный». В дни празднования четвертой годовщины Октябрьской социалистической революции Цюй Цюбо посчастливилось присутствовать на торжественном вечере на заводе, и его взволновало духовное единение В. И. Ленина и рабочих. «Взоры рабочих прикованы к Ленину. Затаив дыхание, они слушают его речь, стараясь не пропустить ни одного слова. На самых простых и понятных примерах Ленин показывает, что советская власть — власть трудящихся, и с каждым днем они все яснее это осознают».

Ленинские идеи, революционная действительность молодой Советской республики, осознание целей национально-освободительного движения в Китае привели Цюй Цюбо в Москве в ряды коммунистов, и он стал одним из стойких борцов за социальное освобождение угнетенных масс. Китайский коммунист изучал революционный путь В. И. Ленина и писал о необходимости рассматривать и решать важнейшие политические проблемы через призму ленинского опыта. Размышляя в 1924 году о небывалой масштабности личности вождя пролетариата, о присущих ему чертах политического деятеля нового типа, Цюй Цюбо указывал, что первая из особенностей «заключается в блестящих способностях Ленина сочетать революционную теорию с революционной практикой. От слов он умел переходить к делу. Ему были свойственны непреклонная воля и величайшая сила убежденности». В годы, когда молодая Коммунистическая партия Китая училась давать ответы на острые вопросы политической жизни, Цюй Цюбо указывал, как важно обладать ленинским умением «понимать и оценивать реальную обстановку: на основании тщательного анализа механизма общественных и политических сдвигов на данном этапе он мог предвидеть изменения, которые произойдут в обстановке, в партии, в людях». Цюй Цюбо подчеркивал выдающуюся роль Ленина в создании подлинно революционной партии, сильной убежденностью, дисциплиной своих членов. «Третья отличительная особенность Ленина — в его организаторских способностях, в силе его как воспитателя». Четвертую характерную черту ленинского стиля Цюй Цюбо видел в твердой решимости идти на захват государственной власти, в способности искусно использовать различные тактические установки. Для него величие Ленина определялось торжеством и неодолимостью большевистских идей, возрастающей ролью коммунистической партии, небывалым подъемом социальной и политической активности масс. «Бессмертие Ленина в корне отличается от бессмертия всех других великих личностей. Ленин оставил после себя не только доброе имя, не только память о своей личности, о своих добродетелях, о своем духе, перед которыми будут благоговеть грядущие поколения. Он оставил после себя пролетарскую революционную партию, новое пролетарское государство, международную организацию пролетариата».

Цюй Цюбо в поисках смысла жизни, способов освобождения своего народа пришел к ленинским идеям, к пониманию международного значения заветов великого вождя Октябрьской революции. Выступая в 1924 году в Шанхае на траурном митинге памяти основателя Советского государства, Цюй Цюбо с уверенностью заявлял: «Китайский народ будет вечно преклоняться перед Лениным, так как Ленин — это символ революции». В своей революционной деятельности в Китае Цюй Цюбо исходил из твердого убеждения: «Доктрина коммунистов— это самое реалистическое учение по перестройке китайского и всемирного общества, это единственный путь освобождения Китая, это единственный путь уничтожения мирового капитализма, ликвидации классов и борьбы между ними». В статьях Цюй Цюбо показано, как в страхе перед революционным движением китайского народа империалисты и силы внутренней реакции усиленно насаждали национализм, пугали мнимой угрозой со стороны Советской России, стремились притупить классовое сознание трудовых людей. В сложный период китайской национально-освободительной борьбы в 1926 году Цюй Цюбо выступал против буржуазного национализма: «СССР — это пролетарское государство, и национально-революционное движение в Китае, выражающее интересы нации, будет союзничать с ним и прибегать к его помощи для отпора империалистическим державам. Империалистов больше всего на свете как раз и пугает союз китайского народа с СССР. Против этого единого фронта яростно выступают и националистические группировки. Представьте себе теперь, как велики заслуги последних перед империалистами!»

Цюй Цюбо посвятил себя делу освобождения китайских трудящихся, утверждению интернационалистических принципов. В гоминьдановской тюрьме он мужественно встретил смерть, оставаясь верным учению Ленина, коммунистическим идеалам. Новый сборник публицистики Цюй Цюбо позволяет видеть, что лучшие представители китайского революционного движения боролись за счастье своего народа, следуя идеям великого Ленина, отстаивали дружбу китайских трудящихся с советским народом.

Е. А. СЕРЕБРЯКОВ

Издано за рубежом

КНИГИ ЛЕНИНА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Произведения видного португальского прозаика Урбано Тавареша Родригеша широко известны не только у него на родине, но и за рубежом. Его романы, повести и новеллы отражают бескомпромиссную общественную и политическую позицию автора: его острокритическое отношение к буржуазной действительности, чувство ответственности за все, что происходит в мире. Творчество Тавареша Родригеша отличают многообразие тематики, внимание к моральным и нравственным проблемам, тонкий психологизм и мастерское использование самых различных приемов и средств художественного изображения.

Пройдя суровую школу антифашистского подполья (за годы правления Салазара писателя не раз подвергали тюремному заключению), Тавареш Радригеш создал яркие и запоминающиеся образы революционеров, мужественных борцов за свободу, готовых пожертвовать ради нее своей жизнью и в то же время глубоко человечных и страстно любящих жизнь и красоту жизни.

На русском языке новеллы Урбано Тавареша Родригеша издавались в составе различных сборников и отдельными книгами: «Смерть аиста» (М., «Правда», 1977) и «Суррогат счастья» (М., «Художественная литература», 1977).

Мы публикуем заметки писателя о том, какое место в его жизни и творчестве занимают книги В. И. Ленина.

Первые произведения Ленина, которые попали мне в руки, были размножены на машинке. Их дал мне двоюродный брат, студент медицинского факультета, вскоре вступивший в действовавшую в подполье Коммунистическую партию Португалии и сблизившийся с семьей Алваро Куньяла. Мне было тогда шестнадцать лет, и я мало чем интересовался, кроме литературы. В ту пору я вместе с родителями жил на востоке страны и видел, в каких невыносимых условиях существовали батраки, как безжалостно эксплуатировали их арендаторы, и хотя я мало разбирался в политике, меня глубоко возмущала обездоленность крестьян, которым было отказано не только в праве на образование, но даже на работу, которая могла бы обеспечить им и их семьям необходимое пропитание. Студенты, с которыми мне доводилось встречаться и которые многое помогли мне понять, почти все были антифашистами. Они научили меня ненавидеть Гитлера, Муссолини, Франко и Салазара. Мы вместе мечтали о свободе и справедливости для нашего народа. Одни раньше, другие чуть позже, все мы пришли в Сопротивление.

Еще подростком я обнаружил в библиотеке отца «Декамерон» и «Дон Кихота», чтение которых доставило мне подлинное наслаждение. Но теперь увлечение классикой сменилось интересом к современным авторам — Арагону, Сартру, Мальро. Мы читали труды Карла Маркса и затем тайком обсуждали их. Изучая всеобщую историю по учебникам, рекомендованным в лицее, я с изумлением «открыл» для себя Октябрьскую революцию и понял, что революция — это борьба рабочих, солдат и крестьян, это Советы и власть народа. И конечно — Ленин. С тех пор моя жизнь неразрывно связана с революционной борьбой, с идеалами коммунизма, а значит, и с фашистскими застенками. И всегда образ Владимира Ильича Ленина был для меня одним из самых дорогих и любимых. Я преклоняюсь перед его упорством, аналитическим складом ума, глубоким проникновением в марксизм, перед его великодушием и его твердостью.

История никогда не совершается одним человеком. Великая Октябрьская социалистическая революция глубоко уходит корнями в народные массы России. Но именно Ленин научил эти массы иному образу мыслей и чувств. Именно Ленин как руководитель партии большевиков сыграл решающую роль в победе революции над миром капитала. Приход пролетариата к власти, эпопея Красной Армии представляются мне озаренными величественным светом. И всегда меня поражала его безграничная вера в рабочий класс, который превзошел потом все ожидания и надежды.

В 1962 году в Праге, через которую я летел на Кубу — разумеется, нелегально,— я купил изданные на испанском языке книги «Материализм и эмпириокритицизм» и «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме». У меня было время прочитать и осмыслить эти работы Ленина, поскольку политическая полиция Салазара конфисковала их при моем аресте только в декабре 1963 года, когда в доме был произведен обыск. В период моего последнего заключения, в 1968 году, я долгие месяцы находился в одиночной камере в крепости Кашиас, где запрещалось читать и писать (только в последний месяц мне дали Библию). Но, несмотря на постоянную слежку надзирателей, я почти полностью написал там книгу «Песни солидарности». Кроме того, мне удавалось вести дневник, впоследствии послуживший основой для новеллы под названием «Гвозди», посвященной участникам Сопротивления. Это художественное произведение, но в него вошло многое из того, что пережил я сам. В повесть я включил выдержки из работ Ленина, но, как бы мне ни хотелось, в тех обстоятельствах я не мог держать при себе его книги и был вынужден цитировать по памяти. Затем, уже на свободе, составляя сборник «Дорога смерти», я включил в него и эту новеллу.

Сейчас, уже после революционного переворота, совершившегося в Португалии несколько лет назад, книги Ленина по-прежнему помогают мне и в жизни, и в работе. И не только мне. Начиная с 1975 года в Португалии стали издаваться все важней-

шие ленинские работы. Труды Ленина, его идеи способствуют сплочению всех прогрессивных сил в нашей стране, которые складываются из людей разных убеждений и религиозных верований и состоящих в разных политических партиях.

Ведя курс французской литературы в Лиссабонском университете, я то и дело обращаюсь к его высказываниям об искусстве и постоянно пользуюсь ленинским трехтомником, который составил Жан Мишель Пальмье, а Хосе Сараманго перевел на португальский язык, и всегда рекомендую эти работы моим студентам. Особенно часто я ссылаюсь на них, когда читаю лекции о влиянии марксизма на современный французский роман.

Закончить эти скромные заметки я хочу словами Ленина о «богатстве революции», которые мне особенно близки: «История вообще, история революций в частности, всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов. Это и понятно, ибо самые лучшие авангарды выражают сознание, волю, страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию осуществляют, в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов» [1].

УРБАНО ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ

г. Лиссабон

РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

ЧЕХОВ В ШРИ ЛАНКЕ

«Гений Чехова вдохновляет наших лучших писателей. Более чем любой другой европейский новеллист, он популярен среди нашей интеллигенции» — так говорил один из крупнейших писателей Шри Ланки Мартин Викрамасинге. Однако многие годы Чехова читали в Шри Ланке по-английски или, позднее, переведенным на сингальский язык с английского же текста.

В 1975 году в Коломбо вышел I том произведений Чехова на сингальском языке, впервые переведенных непосредственно с русского. Недавно, к 120-летию со дня рождения писателя, был издан II том его избранных произведений. Мы попросили автора этих переводов, Падмахаршу Куранаге, рассказать о своей работе.

Моя любовь к великому русскому писателю Антону Чехову родилась еще в школьные годы. Я жил тогда в небольшой деревне Думмалакотува среди красивых стройных пальм и вечно благоухающей зелени на северо-западе острова Ланка.

В тот 1946-й памятный для меня год я учился в седьмом классе маленькой светлой школы, в которую и сегодня бегают бронзовые от яркого тропического солнца босоногие мальчишки и девчонки. Не знаю уж, каким образом в нашу деревеньку попала эта книга, но она, как мне думается, определила мои склонности, увлечение русской и советской литературой, учебу в педагогическом институте в городе Нигомбо (близ Коломбо) и всю мою многолетнюю литературную работу.

А тогда я, четырнадцатилетний мальчуган, впервые в жизни с наслаждением читал сборник рассказов русских писателей. В нем были произведения Льва Толстого, Антона Чехова и Максима Горького, переведенные на сингальский с английского. Все рассказы великих русских писателей глубоко меня тронули. Они как бы открыли для меня новый мир человеческой жизни и новую большую литературу. Особенно большое впечатление произвели на меня рассказы Чехова «Спать хочется» и «Душечка». Потом в одном из ланкийских журналов я встретил еще один рассказ Чехова «Тоска». После этого мне захотелось прочитать все его произведения.

Чем же привлекли меня чеховские рассказы? В то время я, конечно, не мог по-настоящему оценить шедевры мировой литературы. Но я остро почувствовал реалистический метод прозы Чехова, его большую симпатию к человеку труда. Меня привлекли и тонкий юмор, и обличительная сатира, и ясный, прямой стиль, лаконичность и емкость его мысли, умение тонко и образно описывать природу.

В рассказе «Спать хочется» в образе Варьки я увидел ланкийскую девочку — худенькую, грязно одетую, которая работает на кухне деревенского помещика.

В рассказе «Тоска» передо мной встал не Иона, а наш извозчик — с вечно мечтательным выражением на лице, забитый, но гордый несмотря ни на что.

В рассказе «Душечка» мне представилась не Оленька, а жена местного чиновника — с бледным лицом, мило улыбающаяся, добрая, сентиментальная женщина.

«Неужели Чехов пишет про наших людей? — подумал я тогда.— Ведь он русский писатель, а как хорошо знает нашу жизнь».

С того времени Чехов помогает мне любить жизнь, понимать и любить человека.

И вот теперь, много лет спустя, когда я вновь перечитываю многотомное собрание произведений Чехова, мне думается, что его любовь к человеку была особой, «чеховской». Однажды Чехов в письме к своему дяде писал: «...Возвеличивая людей даже до бога, мы не грешим против любви, а напротив, выражаем ее. Не следует унижать людей — это главное. Лучше сказать человеку «мой ангел», чем пустить ему «дурака», хотя человек более похож на дурака, чем на ангела».

В начале 50-х годов я и мои друзья начали издавать в Коломбо периодический журнал на сингальском языке «Санскрути» («Культура»). Целью нашего журнала было познакомить ланкийских читателей с лучшими произведениями мировой литературы. Особое внимание мы уделили русским и советским писателям, которые получили мировое признание. Стараясь в каждом номере публиковать их произведения, мы переводили с английского на сингальский

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 80—81.

язык произведения Чехова, Горького и Гаршина. Приятно отметить, что наш журнал имел большой успех среди интеллигенции Шри Ланки, и особенно среди студенческой молодежи.

В 1960 году редколлегия «Санскрути» решила подготовить специальный выпуск к 100-летию со дня рождения Чехова. Я был горд, что мне поручили редактировать этот номер журнала. Я пригласил к участию в нем известных в Шри Ланке и Советском Союзе писателей и литературоведов.

На нашу просьбу тогда горячо откликнулся и наш классик Мартин Викрамасинге. В своей статье «Мировоззрение Чехова» он писал: «Чехов не только великий художник мировой литературы, но и мудрец и гуманист, вдохновляющий нас в стремлении к лучшему будущему. Наши писатели должны перечитывать и глубоко изучать произведения Чехова».

Исследователи творчества Чехова утверждают, что после поездки на остров Сахалин его мировоззрение заметно изменилось. А ведь эта поездка связана и с моей родиной. Возвращаясь с острова Сахалин на корабле «Петербург», Чехов 12 ноября 1890 года прибыл в порт Коломбо и остановился в отеле «Гранд орентель отель», который сегодня называется «Тапробен».

Когда он вернулся в Россию, то писал своим друзьям: «Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал. Затем следует Цейлон — место, где был рай. Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами...

Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлон...»

Мы, ланкийцы, гордимся тем, что великий русский писатель посетил наш древний остров. И мы бережно храним памятные места, связанные с пребыванием Чехова в Шри Ланке.

Хочется особо сказать о письмах Чехова. В этой связи мне вспоминается одна из бесед о Чехове с Мартином Викрамасинге. Однажды мы сидели в саду писателя около пруда. Сумрак. Тихо дул ветер. Рядом на дереве манго о чем-то стрекотала сорока-белобока (полкитчаа). С восточной стороны сада из-за молодых кокосовых пальм поднималась круглая белая луна.

— Слушай,— сказал Мартин Викрамасинге.— Вчера я перечитывал письма Чехова, которые он писал своим близким друзьям. Что это за умница! Если мы хотим узнать Чехова-писателя, нужно читать его произведения. Если же мы хотим узнать о Чехове-человеке, мне кажется, нужно читать его письма. Выбери наиболее интересные письма Чехова и переведи их на сингальский язык. Ты знаешь русский. Даже на английский переведены лишь немногие из его писем. И не только письма! Переведи и лучшие произведения Чехова. Нам это будет очень полезно.

И продолжил:

— Некоторые говорят, что Чехов пессимист. Это вовсе не так. На мой взгляд, он прогрессивный мыслитель. Чехов и вообще русская литература учат меня мыслить, писать, понимать жизнь...

Эта памятная для меня беседа состоялась в июне 1974 года в Раджагирии, где жил Мартин Викрамасинге.

После этого я решил взяться за перевод нескольких произведений Чехова. Выбрал рассказы «Враги», «Счастье», «Гусев», «В ссылке», «Учитель словесности» и повести «Попрыгунья», «Палата № 6», «Три года», «Дом с мезонином», «Мужики», «Дама с собачкой», «Невеста».

Первый же том избранного Чехова на сингальском языке, который вышел в 1975 году в Коломбо в издательстве «Лейк хаус инвестментс», был очень тепло принят общественностью Шри Ланки. В частности, известный ланкийский писатель Гунадаса Амарасекера писал в газете «Динамина»: «Сборник произведений Антона Чехова — это драгоценный и своевременный подарок всем нам, любителям литературы, писателям и литературоведам. Наконец мы получили возможность насладиться лучшими произведениями великого русского писателя. И это безусловно будет способствовать развитию нашей родной литературы». В недавно изданный второй том произведений Антона Чехова включены повести «Палата № 6» и «Три года». В «Примечаниях» я рассказал о той обстановке, в которой создавались Чеховым эти произведения.

Я убежден, что глубокое изучение творчества Чехова поможет писателям Шри Ланки выбрать правильную позицию и в жизни и в творчестве. Для Чехова талант и ответственность перед народом были неотделимы. Так должно быть у всех честных писателей и у всех честных людей.

Гуманизм для Чехова не был отвлеченным понятием. Он ненавидел лицемерие, ложь, жестокость, пошлость, все то, что нарушает красоту и гармонию человеческой жизни. Антон Чехов воспевал веру человека в свободный, честный, созидательный труд, в мирную, счастливую, справедливую жизнь.

Сегодня мы видим, как стремятся к такой жизни люди разных стран на земле. И на этом пути мы учимся опыту великих социальных преобразований, социалистическому строительству у наших советских друзей. Именно советский народ первым в мире покончил с эксплуатацией и гнетом. Именно в Советском Союзе, стране Ленина, было на деле осуществлено духовное раскрепощение человека, о котором мечтал и к которому призывал всей своей жизнью и творчеством великий русский писатель Антон Чехов.

ПАДМАХАРША КУРАНАГЕ

СРЕДИ КНИГ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ТИХОМ ДОНЕ»

M. A. Cholokhov. Le Don Paisible. Paris, Livre Club Diderot, Moscou, «Progrès», 1975.
М. А. Шолохов. Тихий Дон.

Несколько лет назад я имел счастье прочесть «Тихий Дон» Шолохова в замечательном переводе Антуана Витеза. А спустя несколько месяцев мне посчастливилось увидеть по советскому телевидению экранизацию этого романа. Так я получил первое представление о произведении, заслужившем мировую известность как одна из вершин современной литературы.

Когда знакомишься с этой книгой — а через нее и с автором,— то в первую очередь поражает глубокая правдивость повествования. В нем нет ничего надуманного, никаких искусственных приемов. Характеры героев и их взаимоотношения с окружающими настолько достоверны, что кажется, будто читаешь не художественное произведение, а документальную биографию этих людей. Шолохов добирается до самой сути каждого человеческого типа и выявляет ее с таким мастерством, что образ приобретает черты обобщения. В этом смысле донской крестьянин оказывается сродни крестьянину малагасийскому, а в Аксинье любой из нас наверняка узнает ту или иную знакомую женщину. Гений Шолохова открывает нам общее в частном, при этом он не только не вырывает персонаж из естественного окружения, но, напротив, мастерски воссоздает это окружение в соответствии с жизненной правдой. Таким образом, произведение становится зеркалом, в котором читатель видит освобожденные от случайностей картины сложной действительности. Он находит в нем знакомые характеры, привычные ситуации, которые словно преображены новым освещением. Из бесформенной массы пережитого писатель, подобно скульптору, высекает чистые формы, которые дают пищу как созерцательному, так и аналитическому уму.

Эта правдивость во многом достигается почти физической зримостью описаний. Портретные черты настолько отчетливы, что действующих лиц, кажется, видишь воочию. Кажется, слышишь их голоса в тех незабываемых, на редкость выразительных диалогах, которыми так богат «Тихий Дон». Звуки, запахи, игра света и тени летом в степи, немые страдания или непереносимые стоны раненых и больных тифом, крики и шум семейных праздников в казачьих домах — каждая картина сопровождается подробным описанием ощущений, которые она вызывает. Под пером Шолохова слова наполняются звуками и запахами, образ становится ощутимым, осязаемым.

В произведениях такого размаха, как «Тихий Дон», читатель бывает порой сбит с толку количеством действующих лиц и сложностью сюжетных перипетий. Однако здесь ничего подобного не происходит. Все составляющие романа находятся в полной гармонии. Книга напоминает симфонию, в которой все образующие ее элементы (ноты, инструментовка, темы и т. д.) взаимодействуют друг с другом, образуя единое целое. Шолохов обладает редким даром композиции. Все эпизоды романа примыкают друг к другу, словно кадры киноленты, в то же время они втянуты в общее движение подобно тому, как мелкие речушки стекаются в одну большую реку и плавным потоком текут к морю. Нужно также отметить, что эта блистательная композиция строится на драматической основе. Многочисленные драматические линии развиваются, взаимно дополняя друг друга, точно обертоны, которые сливаются в единый богатый звук. Любовная драма Григория и Аксиньи соприкасается с общей драмой, семейной и политической, Мелеховых, Астаховых, Кошевых, и как бы подчеркивает ее. Эти внешне не связанные между собой линии переплетаются и сливаются в глубокой и динамичной гармонии. Сложная и прозаическая действительность предстает в «Тихом Доне» эстетически оформленной: автор подобен здесь статистику, который сопоставляет, анализирует, обобщает собранные данные, чтобы в конце концов глубоко осмыслить события. Драматическое напряжение поддерживается в романе с самого момента рождения Пантелея Тимофеевича до встречи Мишатки с отцом, прошедшим свой долгий, трагический и бесплодный путь.

Немой и трагический конец романа, несмотря ни на что, несет в себе надежду. Мы становимся свидетелями распада старой казачьей общины. Семья Мелехова, как и многие другие семьи станицы, почти вся погибла. Развязка трагическая и, в сущности, неожиданная. Потому что эта община внешне выглядела чрезвычайно прочной: дружные и трудолюбивые семьи возделывали свою землю, воины-казаки были связаны прочными узами солидарности. Однако этот фасад рушится поразительно быстро, ибо община, если можно так выразиться, утрачивает свою душу, не имея никакой жизнеспособной идеологии будущего. Казачество оказалось пораженным своего рода гангреной, незаметно подтачивавшей его изнутри. Ощущение безысходности в конце романа было бы полным, если бы не хрупкий мальчик Мишатка, робко встречающий на пороге своего отца Григория, который возвращается побежденным и подавленным, но вновь обретает надежду при виде родного дома и «земли, и всего этого огромного, сияющего под холодным солнцем мира», и сжимает в объятиях этот сгусток жизни и надежды — своего сына.

Рисуя казачью общину с глубоким пониманием и сочувствием, Шолохов поднимается до уровня величайших гениев, чье сердце и талант принимают на себя бремя Судьбы человека со всеми ее теневыми и светлыми сторонами.

ФРЕДЕРИК РАНДРИАМАМУНДЗИ

ВОЕННЫЕ ДНЕВНИКИ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Konstantin Simonow. Kriegstagebücher. 1941—1945. Berlin, Volk und Welt, 1979.
Константин Симонов. Разные дни войны. 1941—1945. 1979.

Константина Симонова нет больше с нами? Ведь совсем недавно он приезжал в ГДР, встречал-

ся со своими читателями. Только что в издательстве «Фольк унд вельт» вышли его военные дневники, готовятся к выпуску и другие произведения. Смерть вырвала его из процесса многостороннего творчества. Он писал стихи, репортажи, рассказы, романы, пьесы, в последнее время снимал еще и фильмы. И во всем он был большим мастером.

Я помню, как впервые познакомилась с его произведениями. Это было еще в школе. Тогда у нас только что появился его роман «Живые и мертвые». Мой отец прочитал его и посоветовал прочитать и мне. От своих одноклассников я уже слышала восторженные отзывы об этой книге. Я начала читать, и меня захватила судьба Синцова, Серпилина, санитарки Тани... И — что еще важнее — я стала представлять себе, какой была эта война.

Тогда, в 1962 году, мне было двенадцать лет. Конечно, я много слышала в школе об историческом значении второй мировой войны, о ее причинах, ходе и последствиях. Но что знала я о том, как была завоевана победа над фашизмом, как сражались за нее люди, какие чувства они испытывали, как они жили в то время? Я выросла в условиях мира и о войне знала только, что это что-то ужасное. Симонов на многое открыл мне глаза. И не только мне. Пожалуй, больше чем любой другой советский писатель Симонов способствовал — в первую очередь своими романами — углублению знаний у читателей в ГДР о Великой Отечественной войне. Произведения Симонова сыграли огромную роль в духовной жизни нашей страны. Для миллионов его книги стали постоянными спутниками.

Позднее, уже учась в высшей школе, я прочитала другие симоновские произведения и в том числе стихотворение «Жди меня», которое и сегодня остается для меня одним из самых любимых. Вторая и третья книги трилогии — «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето»— побудили меня еще раз вернуться к первой книге. И я заинтересовалась тем, что написал Симонов еще раньше,— так я познакомилась с романами «Дни и ночи» и «Товарищи по оружию». Я думаю, его произведения потому так глубоко захватывают нас, что все в них пережито и выстрадано самим автором. И они так интересны и близки нам потому, что мы находим в них ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня. Ведь и в наши дни человек сталкивается с трудными ситуациями. И в наши дни — именно в наши дни — очень остро стоит вопрос об ответственности человека за судьбы общества и за каждую отдельную личность.

Еще когда я впервые читала роман «Солдатами не рождаются», я отметила для себя место, где Серпилин размышляет о том, какая большая ответственность лежит на нем за жизнь подчиненных ему солдат: «Беречь на войне людей — всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая их навстречу опасности необходимой.

А мера этой необходимости — действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибаешься,— на твоих плечах и на твоей совести. Здесь, на войне, не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы — не так, а потом так, как надо. Здесь, на войне, нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью, все, от начала до конца, от аза и до последней точки...»

Это место так сильно тронуло меня потому, что здесь ясно выражена мысль: заповеди социалистического гуманизма всегда остаются законом для коммунистов — в том числе и в чрезвычайных обстоятельствах войны. Впоследствии сам Симонов говорил, что не может рассматривать свои романы только как исторические. На историческом материале он стремится показать, что представляется ему важным сегодня. Вечные проблемы нравственного и безнравственного, добро и зло, дружба и вражда, верность и неверность, гражданский долг и его нарушение, чувство ответственности за свои действия и отсутствие этого чувства — все эти проблемы существуют в обществе и в мирное время.

Это было в 1972 году. В то время я уже работала в газете, в отделе литературы. Я узнала, что Симонов находится в Берлине. Он здесь по своим делам, работает в нашем Госфильмофонде, так что никаких публичных литературных встреч не будет. Какая жалость, а мне так хотелось встретиться с ним и попросить его дать интервью. Как же мне все-таки до него добраться? Я узнала, что он живет в Доме для почетных гостей на Унтер ден Линден. И просто позвонила ему: «Константин Михайлович, не найдется ли у вас времени для интервью?» И как я была рада, когда он согласился. Так я познакомилась с ним, таким он навсегда останется в моей памяти — спокойный, уравновешенный, с трубкой во рту, скромный и в то же время исполненный достоинства. Позже мне еще не раз приходилось встречать его на литературных вечерах, и я видела, как быстро умеет он устанавливать контакт со своими слушателями, как страстно может он говорить, когда речь шла о правде, о войне и о деле защиты мира.

Тогда, в 1972 году, меня очень интересовал, в частности, вопрос: почему в «Последнем лете» он дал погибнуть Серпилину — ведь читатель так полюбил этого героя! На мой вопрос Симонов ответил: «Мне хотелось рассказать правду об этой войне. В этой войне мы потеряли 20 миллионов человек. Какое это страшное число! А теперь представьте себе, что каждый из этих 20 миллионов, кроме всего прочего, для некоторых людей был самым любимым и самым дорогим человеком. Нельзя забывать об этом. И чтобы читатель вместе со мной почувствовал, что война и в дни поражений, и в дни побед, с первого до последнего дня, есть и остается трагедией, чтобы читатель увидел, какой высокой ценой была оплачена наша победа, я, писатель, расстался с самым дорогим человеком в моих книгах». Правда о войне, какой бы страшной она ни была,— вот что всегда было самым главным для Симонова. «Потому что моя основная цель,— сказал он,— так писать о войне, чтобы это шло на пользу делу мира, способствовать тому, чтобы не было новой войны».

В то время Симонов уже работал над своими военными дневниками: «Когда я сажусь за работу над новой книгой, мне помогает память — память ума и память сердца.— эта двойная память человека, существующая параллельно. Помогают мне и мои дневники военного времени. У меня есть военные записные книжки, в которые я записывал беседы с различными людьми. Многое из этого я использовал в своих корреспонденциях, но многое и осталось. Кроме того, в редкие свободные часы и минуты во время войны я вел нечто вроде дневника. Я делал в нем записи не каждый день, но когда возвращался с фронта, в часы ночных дежурств в редакции, я обращался за помощью к стенографисткам и диктовал то, что запало глубоко в память...»

Он сказал также, что планирует подготовить военные дневники для печати. И вот они уже вышли и на немецком языке. В начале своего дневника Симонов признается, что это — не мемуары профессионального военного и не работа историка, а дневник писателя, видевшего своими глазами частичку событий во время Великой Отечественной войны. Эти события имели гигантские масштабы, в то время как область его личных наблюдений весьма ограничена; он полностью сознает это и не претендует на их полноту. И все же на этих тысяче с лишним страницах возникает полная картина войны — полная не в смысле совокупности фактов, которые можно было бы привести, а полная в смысле общего впечатления, которое получает читатель. Детальные наблюдения фронтового корреспондента перемежаются тут с авторскими комментариями, написанными сегодня. Благодаря этому создается многослойное полотно. Точно передано все, что думал и чувствовал тогда, в дни войны, молодой журналист, и одновременно читателю ясна позиция умудренного опытом писателя, который с дистанции времени лучше понимает многие события.

Интересно проследить связи между военными дневниками и романами Симонова. Ибо многие люди, с которыми он встречался в дни войны и которые фигурируют в его записях, нашли затем свое место в романе «Дни и ночи» и особенно в трилогии «Живые и мертвые». Так создается картина войны, какой она была на самом деле, и портрет автора, пережившего и описавшего эту войну, человека, которого звали Константин Симонов. Его нет больше среди нас, но новые и новые поколения будут встречаться с ним в его книгах.

ИРМТРАУД ГУЧКЕ

г. Берлин.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«МАСТЕРСКАЯ РАБОЧЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Первая «Мастерская рабочей литературы» создана в Граце. Об этом сообщил орган КП Австрии газета «Фольксштимме». До сих пор такие объединения рабочих авторов существовали только в ФРГ. Инициаторами создания группы выступили профсоюзные деятели, рабочие, служащие, пенсионеры, домашние хозяйки, которые ощутили потребность описать свой опыт. «Мастерская» будет сотрудничать с прогрессивными писателями и журналистами.

Недавно вышел в свет первый сборник рабочих авторов. Произведения разного жанра повествуют о мире труда. «Фольксштимме» отмечает реализм, критическую направленность представленных в сборнике работ.

БОЛГАРИЯ

О ФИЛЬМЕ «ЧЕРЕШНЕВЫЙ САД»

Как отмечает болгарская пресса, фильм «Черешневый сад» Ивана Андонова по сценарию известного прозаика Николая Хайтова — большая удача писателя и режиссера.

Главный герой картины секретарь парторганизации Диньо Марков, человек большой душевной чистоты, принципиальности, стойкости, противопоставляется людям, подобным председателю сельскохозяйственного кооператива Савве,— узким прагматикам, думающим только о сегодняшнем дне и забывающим о перспективах, о своей ответственности перед будущим.

Как отмечается в газете «Работническо дело», в фильме общественные проблемы показаны через острое столкновение характеров, нравственных позиций.

Образ главного героя Диньо Маркова, роль которого исполняет артист П. Слабаков, получился живым и убедительным, «черешневый сад» — символ его любви и бережного отношения к родной земле, его заботы о сохранении ее красоты и богатства для грядущих поколений.

На снимке: кадр из фильма «Черешневый сад».

(Журнал «Фильмови новини»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В ПОИСКАХ ПРОЗРЕНИЯ?

В последние месяцы критики уделяют большое внимание двум литературным новинкам — романам Уильяма Голдинга «Зримая тьма» и Пирса Поля Рида «Женатый человек».

В течение двенадцати лет Уильям Голдинг, один из

крупнейших английских прозаиков (в «Иностранной литературе» в 1968 году, № 10 был опубликован его роман «Шпиль»), не нарушал молчания. Он сказал, что напишет новое произведение только в том случае, если ему будет что сказать.

Название романа представляет собой строчку из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». «Зримая тьма» — это ад, «юдоль печали, царство горя, край, где мира и покоя нет»... Именно в таком апокалипсическом видении предстает мир на страницах нового романа Уильяма Голдинга. Страсти, бушующие здесь, замечает Джон Леонард, во многом похожи на те, что охватили внешне благопристойных английских школьников, оказавшихся после аварии самолета на необитаемом острове, затерянном посреди океана («Повелитель мух»), или на те, что раздирали души еще невинных неадертальцев в «Наследниках», мучили воришку Мартина из одноименного романа. Эти же страсти сломали жизнь настоятеля средневекового собора Джослина («Шпиль») и героя романа «Свободное падение» Сэмми Маунтджоя.

Один из главных персонажей «Зримой тьмы» — Мэтти, ребенок, появившийся из огня во время бомбежки. Никто не знает, и он в том числе, кто его родители и почему он оказался в доме, охваченном пожаром. Лицо ребенка настолько обезображено, что окружающим трудно смотреть на него. Мэтти отдают на попечение государства, которое устраивает ребенка в школу. Однако очень скоро Мэтти оказывается втянутым в сложные и весьма нездоровые отношения, существующие между учениками и преподавателями. И Мэтти исключают из школы. Он уезжает в Австралию, где устраивается на кладбище могильщиком. Здесь Мэтти открывает для себя Библию и воображает себя «избранником божьим». Таким «духовно просветленным» он возвращается на родину.

Помимо истории Мэтти в романе есть и еще одна сюжетная линия, связанная с судьбами двух девочек-близнецов — Тони и Софи. Выросшие в атмосфере недоброжелательности, царившей в семье, девочки в возрасте семнадцати лет оставляют дом. Тони становится террористкой, Софи — членом воровской шайки. Их встреча с Мэтти происходит, когда они пытаются выкрасть маленького арабского принца из школы, с тем чтобы затем получить за него солидный выкуп. Однако Мэтти, который, как пишет рецензент, выжидает момент, чтобы «реализовать свою избранность», мешает им и спасает ребенка. Роман символически кончается так же, как и начинается: в пламени погибает, или, если расшифровать аллегорию Голдинга, возносится, Мэтти.

Рецензенты, говоря о несомненной значительности романа Голдинга, расходятся в его оценке. Леонард отмечает слишком большую перегруженность книги символикой. Не совсем ясна критику и идея романа: что же, задает он вопрос, должно, по мнению Голдинга, спасти мир, если даже любовь для него — элемент энтропии? С другой стороны, Леонард считает удачей образы Софи и Тони, в них Голдинг воплотил важное типическое и весьма распространенное на Западе явление — терроризм и насилие.

Иную оценку роману дал известный литературовед Джон Бейли. По его мнению, это лучшая книга писателя. Что же касается идеи книги, «то она, — пишет Бейли,— ненавязчиво, но уверенно преподносится читателю: только активное добро и искренние чувства могут быть настоящей религией».

Поискам прозрения, пишет Н. Шримптон, рецензент журнала «Нью стейтсмен», посвящен и роман Пирса Поля Рида «Женатый человек». В этом романе Рид вновь обращается к своей теме — нравственным поискам человека.

Эти поиски определяли судьбу и монаха Доусона («Монах Доусон», 1969), и писателя-эстета Корновского («Полонез», 1976), на поиски своего «я» пускается и герой последнего романа П. П. Рида «Женатый человек» Джон Стрикланд. Лондонский адвокат, человек средних способностей и ограниченных запросов, Джон Стрикланд много думает о материальной стороне жизни: заработке, предстоящих покупках — и мало заботится о своей духовной жизни.

Прозрение приходит внезапно. Как-то во время отпуска Джону Стрикланду попадается рассказ Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Сначала это произведение привлекает героя, потому что в нем описана судьба человека сходной с ним профессии. Однако постепенно, думая над прочитанным, Стрикланд начинает понимать, что рассказ интересует его по более глубоким причинам.

Иван Ильич Л. Толстого вел такую же жизнь, что и сам Стрикланд, и лишь внезапно надвинувшаяся смерть открыла ему кошмар бессмысленного существования.

Рассказ Л. Толстого приводит Стрикланда в смятение. Он понимает, сколь нелепо проходит его жизнь. Он начинает метаться в поисках выхода, спасения. Сначала причиной всех несчастий ему кажется его жена, которая своим грубым практицизмом подавила в Стрикланде «идеалистический порыв», свойственный ему в юности.

Стрикланд решает жить по-другому. Он оставляет жену, но многочисленные связи вне брака, жизнь раскрепощенного мужчины не приносят ему радости. Стрикланд решает заняться политикой. Но и на этом пути он очень скоро приходит к пониманию своей несостоятельности.

П. П. Рид, пишет Н. Шримптон, ведет своего героя к внезапному прозрению. Стрикланд возвращается в семью, но период сомнений не прошел для него даром, впустую. Теперь о нем нельзя сказать, что он — человек, воспринимающий жизнь вне какой-либо нравственной системы.

«Однако,— замечает Н. Шримптон,— вовсе не обязательно разделять религиозные взгляды П. П. Рида, чтобы оценить этот роман. Прежде всего — это книга о поисках, о духовном становлении человека».

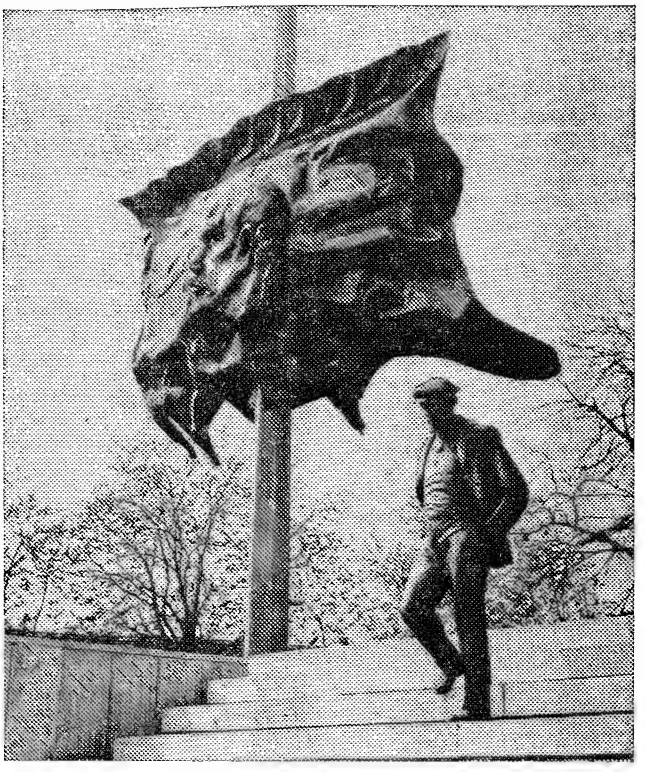
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ В МОХАЧЕ

Один из недавних номеров журнала «Мювесет» почти целиком посвящен творчеству выдающегося венгерского скульптора, лауреата премии имени Кошута, народного художника ВНР Имре Варги. Для Венгрии и по заказам из других стран талантливейшим мастером создано около пятидесяти монументальных работ. Среди самых известных — бронзовый памятник В. И. Ленину в городе Мохаче.

«Это произведение заслуживает особого внимания,— пишет в статье «Скульптор и общественное сознание» искусствовед Нора Аради.— В памятниках Ленину нередко ощущается пластическая скованность. Создавая образ великого вождя и мыслителя, скульпторы озабочены еще и воссозданием внешних черт, передачей портретного сходства. Приблизить к нам героический образ, создать образ Ленина, человека, который вот уже столько десятилетий продолжает жить среди людей,— задача нелегкая. Но Имре Варге удалось ее решить. Удалось решить с помощью лестницы, которая стала здесь пьедесталом. С левой стороны вверху на матче реет огромный флаг с изображенным на нем ленинским профилем, а по лестнице спускается сам Ленин (его фигура дана в натуральную величину).

Скульптура в Мохаче не только новое слово в области формы,— подчеркивает автор статьи,— но она необыкновенно интересна и с точки зрения содержания, с точки зрения воссоздания образа вождя: через дважды повторенное изображение Ленина (Ленин как символ, как девиз, как лозунг и Ленин — обычный человек, идущий по лестнице)».

Модель этой скульптуры имела успех на международной выставке «30-летие Победы», организованной в 1975 году десятью социалистическими странами.



На снимке: памятник В. И. Ленину в Мохаче.

(Журнал «Мювесет»)

УЧЕНИЕ ЛЕНИНА О РЕВОЛЮЦИИ И ПОЭЗИЯ

Широко отмечается в Венгрии 75-летие со дня рождения выдающегося пролетарского поэта Аттилы Йожефа.

Еще в юности получил Аттила Йожеф в подарок книгу Ленина «Государство и революция». Эта книга стала событием в его жизни, во многом определила его идейное становление.

В начале этого года центральные венгерские газеты опубликовали «Обращение» Юбилейного комитета по проведению празднеств, посвященных памяти Аттилы Йожефа, к читателям, в котором содержится современная оценка его поэзии, говорится о том, как Аттила Йожеф сначала стихийно, а потом сознательно постигал сложную диалектику жизни, как учение Ленина об империализме, социалистической революции и диктатуре пролетариата стало лейтмотивом его творчества.

«Аттила Йожеф, мировоззрение которого формировалось в эпоху социалистических революций, в сопротивлении режиму Хорти, в атмосфере надвигающегося фашизма, стал впоследствии одним из основоположников европейской социалистической поэзии. Он разделил судьбу самого угнетенного и революционного класса, связал свою жизнь с пролетариатом и сделал его судьбу предметом большой поэзии. Он отразил в ней общественные и исторические противоречия Венгрии и мира начала века»,— говорилось в «Обращении».

Советские читатели тоже смогут в этом году познакомиться с еще одним сборником стихов Аттилы Йожефа, который выйдет в издательстве «Художественная литература» в Москве.

ГВАДЕЛУПА

ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОЗРЕНИЕ КОКО-С-ЦВЕТКОМ

«Коко-с-цветком, кандидат» — так называется фильм Кристиана Лары, рассказывающий о жизни народа Гваделупы, заморской территории Франции в Карибском море.

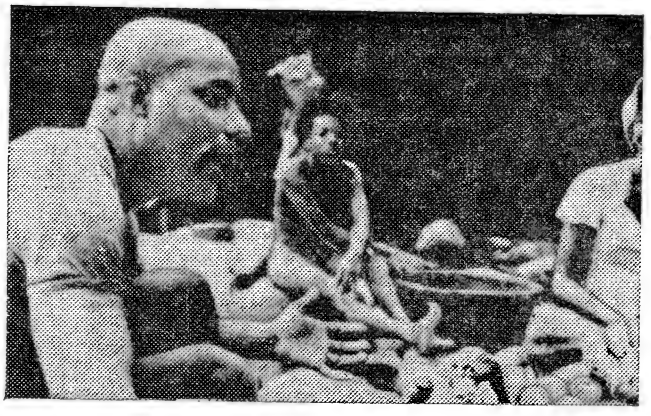
Действие фильма происходит во время выборов во французский парламент. Парижские эмиссары и местная буржуазия выдвигают кандидатом от Гваделупы некоего Гастона Момбэна, выходца из богатой семьи, который сделал себе блестящую карьеру в Париже, считает себя французом и с презрением относится к обычаям и языку собственного народа. Однако, выяснив, что их кандидат не пользуется никаким авторитетом у населения и может рассчитывать лишь на голоса правящей верхушки, они решают выдвинуть еще одного кандидата, который в первом туре голосования соберет часть голосов простого народа, а затем, перед решающим вторым туром, отдаст их кандидату правых. Сыграть эту роль «буфера» уговаривают далекого от политики, любимого народом весельчака и рассказчика Давида Бойера по прозвищу Коко-с-цветком. Тот, не раздумывая, соглашается оказать эту услугу, но в ходе предвыборной кампании он осознает, что стал орудием в руках антинародных сил.

Поначалу все идет по плану правых, Коко-с-цветком опережает кандидата левых сил в первом туре, но призывать своих избирателей голосовать во втором туре за Гастона Момбэна он отказывается. Политическое прозрение Коко-с-цветком становится для него трагическим — накануне второго тура его убивают.

Издалека, пишет рецензент журнала «Жён Африк», Антильские острова представляются «красивой картинкой на почтовой открытке». «Коко-с-цветком, кандидат» показывает «обратную сторону этой декорации». Кристиан Лара, в прошлом журналист, «приоткрыл завесу над уловками властей метрополии, махинациями верхушки местного общества, над нищетой и страданиями подавляющей части населения — антильских негров».

На снимке: кадр из фильма «Коко-с-цветком, кандидат». В главной роли — Робер Льенсоль (слева).

(Журнал «Жён Африк»)



ГДР

«РУЛЕВОЙ УТРЕННЕЙ ЗАРИ»

Так называется сборник рассказов о Владимире Ильиче Ленине, подготовленный издательством «Ауфбау» к 110-й годовщине со дня рождения вождя Великой Октябрьской революции.

На снимке: обложка книги «Рулевой утренней зари».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

В сборник включен двадцать один рассказ мастеров советской прозы, в том числе рассказы Горького, Шолохова, Федина, Паустовского, Бабеля и других.

Сборник снабжен иллюстрациями известного советского графика В. Носкова.

НЕМЕЦКИЕ АНТИФАШИСТЫ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Большой коллектив ученых ГДР готовит серию трудов, общедоступных по изложению и научно-исследовательских по содержанию,— «Искусство и литература в антифашистской эмиграции 1933—1945». Издание всей серии взяло на себя лейпцигское издательство «Реклам». Первый том, вышедший к 30-летию ГДР, называется «Эмиграция в СССР». Авторы этой книги — литературоведы Клаус Ярмац и Симона Барк, театровед Петер Дицель; в работе над отдельными главами приняли уча-

стие также и другие литературоведы, искусствоведы, историки. Авторы привлекли большое количество неопубликованных или малоизвестных материалов, изучили редкие издания антифашистской литературы и периодической печати, собрали также личные свидетельства писателей и публицистов старших поколений. Немалую подготовительную работу провели они и в книгохранилищах и архивах СССР. Получился основательный, солидный труд, содержащий много нового — и в смысле фактического, документального материала, и в смысле анализа творческих, идеологических процессов, происходивших в среде немецкой художественной интеллигенции в годы фашистской диктатуры.

В Советском Союзе жили в годы фашизма видные немецкие политические деятели; в Советском Союзе выходили антифашистские литературные журналы, в которых сотрудничала и которые читала передовая немецкая интеллигенция, разбросанная в годы гитлеровской диктатуры по всем странам мира,— «Интернационале литератур» (под редакцией И. Р. Бехера) и «Дас ворт» под редакцией Б. Брехта, В. Бределя, Л. Фейхтвангера. В Советском Союзе, наконец, возник в годы второй мировой войны комитет «Свободная Германия», сыгравший большую роль в мобилизации немецких антигитлеровских сил. Понятна особая судьба той части антифашистской эмиграции, которая была сосредоточена в СССР: на ее долю выпали ответственные задачи в формировании антифашистского народного фронта работников культуры. В СССР жили в годы фашизма видные писатели-коммунисты — Иоганнес Р. Бехер, Вилли Бредель, Фридрих Вольф, Эрих Вайнерт. Авторы нового труда стремятся показать комплексно, в разных ракурсах ту литературную, культурно-политическую деятельность, которую развернули немецкие антифашисты при активной братской помощи советских работников культуры.

ИНДИЯ

В ТРАДИЦИЯХ РЕАЛИЗМА

Газета «Джан юг», выходящая в Дели на языке хинди, опубликовала рецензию на сборник рассказов «Новая дата» Кашинатха Синха, выпущенный крупнейшим делийским издательством «Раджкамал пракашан».

С рецензией на сборник молодого прогрессивного прозаика хинди выступила в газете критик Гита Шарма. Гита Шарма отмечает, что в то время, как на литературной арене появлялись и исчезали новые течения типа «нового рассказа», или «антирассказа», рядом с ними продолжала развиваться реалистическая традиция новеллистики хинди, представленная такими именами, как Бхишам Сахни, Амаркант, Маркандэй или Шекхар Джоши. К ним примыкают многие молодые прозаики литературы хинди, ведущее место среди которых по праву занимает Кашинатх Синх — писатель, уже достаточно хорошо известный читателю хинди как автор романа «Своя позиция» и трех сборников рассказов.

В новеллах, помещенных в сборнике «Новая дата», как и в других рассказах писателя, изображается жизнь так называемых «средних слоев» индийского города и деревенской элиты со всеми присущими им противоречиями, лицемерием, жадностью, мелким подличаньем и вероломством. Однако, замечает рецензент, в рассказах Кашинатха Синха выведены и образы тех, кто не приемлет систему угнетения и торгашества, кто подает пример борьбы за правду и социальную справедливость.

ИНДОНЕЗИЯ

ПРАМУДЬЯ АНАНТА ТУР НА СВОБОДЕ

20 декабря 1979 года в числе ста пяти освобожденных политических заключенных «группы Б» оказался выдающийся индонезийский писатель Прамудья Ананта Тур. Арестованный за общественно - политическую деятельность в качестве председателя литературной секции запрещенного в 1966 году Общества народной культуры (ЛЕКРА), Прамудья Ананта Тур без суда и следствия провел около 12 лет в концлагере на острове Буру. Единственный из узников, которому на протяжении ряда последних лет было разрешено пользоваться пишущей машинкой, он создал в заключении восемь повестей, которые остаются пока в рукописи в распоряжении властей.

Вместе с Прамудьей Анантой Туром был освобожден известный поэт Ривай Апин.

ИТАЛИЯ

ФИЛЬМЫ-ПРИТЧИ

Вслед за фильмом-апологом Федерико Феллини «Репетиция оркестра», в котором режиссер столь емко и с такой горькой иронией дал картину современной Италии, на итальянский экран вышло еще несколько фильмов-притч, передающих, хотя и не на таком высоком художественном уровне, политическую и моральную атмосферу, царящую в стране.

Метафора, выбранная одним из старейших итальянских режиссеров Луиджи Коменчини в его фильме «Дорожная пробка», не слишком нова — вспомним первые кадры феллиниевского фильма «Восемь с половиной» или годаровский «Уик-энд», а также рассказ Хулио Кортасара «Южное шоссе»: в один из летних уик-эндов на автостраде у Рима образовалась гигантская дорожная пробка. Если в «Репетиции оркестра» сегодняшних итальянцев представляют спорящие и протестующие музыканты, то в «Дорожной пробке» — агрессивные, нетерпимые друг к другу автомобилисты. За полтора дня, прошедшие, пока не рассосался затор, почти все они утратили человеческий облик: происходят ссоры, драка, изнасило-

На снимке: Стефания Сандрелли в фильме «Дорожная пробка».

(Газета «Паэзе сера»)

вание, избиение, попытки шантажа. Эти люди, застрявшие в своих машинах на дороге, издерганные, страдающие от взаимных обид, комплексов, реальных и мнимых бед, подобны душам, обреченным на вечные муки, а автострада с тысячами замерших автомобилей — современный вариант ада.

Фильм создан совместно итальянскими, французскими, испанскими и западногерманскими кинематографистами, и в нем участвуют известные актеры: Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди, Уго Тоньяцци, Стефания Сандрелли, Анни Жирардо, Фернандо Рэй, Анджела Молина, Миу-Миу и другие.

В фильме режиссера Паскуале Скуитьери «Оружие» (исполнители главных ролей — Клаудия Кардинале и Стефано Сатта-Флорес) есть нечто общее с фильмом Коменчини. Это атмосфера царящих в Италии жестокости и насилия, слияние невроза отдельной личности со всеобщим неврозом окружающей жизни. Идея фильма тоже не очень оригинальна: мелкий буржуа, мещанин, получив в руки оружие, становится социально опасным. На эту тему в Италии уже поставлены такие фильмы, как «Мелкий, мелкий буржуа» режиссера Моничелли (с Альберто Сорди) и «Игрушка» Монтальдо. Характер героя фильма — жалкого, закомплексованного человека, соблюдающего всеми силами декорум буржуазного существования, резко меняется, когда ему удается получить разрешение на ношение оружия. Купив пистолет, он становится агрессивен по отношению к своим близким, ко всем окружающим. Когда однажды, обезумев от ревности и тоски, он врывается в чужую квартиру, преследуя ушедшую от него жену, какой-то сосед, такой же любитель оружия, как и он, не разобравшись, в чем дело, убивает его через окно из своего карабина с оптическим прицелом... «Трое несчастных»,— говорит режиссер о героях картины: муже, жене и дочери. Но, пожалуй, главный — это четвертый персонаж фильма, пистолет, так неожиданно изменивший судьбу этой благополучной с виду семьи.

Привлекает внимание критики и иронически-фантастический детектив режиссера Джулиано Монтальдо «Замкнутый круг». В римском кинотеатре, в то время как демонстрируется очередной вестерн, происходят одно за другим три загадочных убийства. Как это ни невероятно, полиция убеждается, что выстрелы гремели с экрана, а убийца — бандит, герой вестерна... Фильм не только отражает атмосферу страха, существующую ныне в стране, когда пуля может настигнуть без всякой причины любого человека. Он говорит также о существовании между жизнью и экраном обратной связи: насилие и террор отравляют сознание итальянцев, а это отравленное сознание создает зрительные образы, несущие опасность. Порожденные уродливой действительностью, жестокие фильмы и телепередачи, в свою очередь, воздействуют на действительность — это и есть замкнутый круг. Некоторые критики в связи с фильмом Монтальдо вспоминают известный рассказ Рея Брэдбери «Вельд» (впрочем, его цитирует и один из героев фильма), в котором жестокие, взращенные на американских телепрограммах дети заманивают в детскую, где стены превращены в телеэкраны, своих родителей, и тех пожирают ожившие и вышедшие из экранов львы.

Итальянские фильмы-притчи, как указывает прогрессивная кинокритика, несмотря на свою порой отвлеченную, фантастическую форму, достаточно точно отражают реальную итальянскую действительность, политические и нравственные проблемы, стоящие перед итальянцами.

КАМЕРУН

«АФРИКАНЦЫ — НЕ ТОЛЬКО ТАНЦОРЫ»

С большим успехом прошли в парижском «Театр облик» концерты известного камерунского музыканта и писателя Франсиса Бебея, повесть которого «Три юных чистильщика» была опубликована в «ИЛ» № 5 за 1979 год. В концертную программу Бебей включил свои пьесы для гитары, песни, в том числе на слова одного из крупнейших африканских поэтов Бернара Дадье.

На снимке: Франсис Бебей во время концерта.

(Журнал «Жён Африк»)

«Многие думают, — заявил Франсис Бебей корреспонденту журнала «Жён Африк», — что сегодняшняя африканская музыка — это музыка исключительно танцевальная. Но африканцы не только танцоры». В Африке, считает Бебей, слишком долго играли для самих себя. Теперь настало время пригласить остальной мир приобщиться к народной африканской музыке. «Я долго изучал традиционную музыку Африки. Я не воспроизвожу ее. Она гораздо труднее для восприятия — это не те комбинации звуков, которые будут приятны не знакомому с ними уху. Это такая музыка, в которой очень важную роль играет повседневная жизнь. Если вы не знакомы с этой жизнью в разных ее проявлениях, вы не сможете понять и музыки, выражающей ее определенные моменты. Поэтому наряду с африканскими ритмами я обращаюсь и к мелодиям музыки западной».

Франсис Бебей играет на гитаре уже двадцать пять лет. С его искусством познакомились зрители многих стран всех пяти континентов. Последний записанный им диск называется «Африканские баллады». В этих балладах, пишет журнал, «музыка и поэзия покоряются ритмам черного континента, не замыкаясь, однако, в рамках традиционной музыки».

ПОЛЬША

«СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ»

Под таким названием в Катовицах в издательстве «Шлёнск» вышла книга воспоминаний 94-летнего Якуба Домбского.

Биография Якуба Домбского типична для деятеля рабочего движения. Хотя он родился в крестьянской семье, вся его жизнь связана с рабочим движением. В шестнадцать лет он покидает вместе с родителями деревню и уезжает в Сосновец в Домбровском угольном бассейне, где становится шахтером. В 1904 году, когда ему было девятнадцать лет, он вступает в Польскую социалистическую партию.

К наиболее интересным страницам его воспоминаний относится описание революционных событий 1905 года, которые стали для молодого шахтера политической школой. Он участвует в издании газеты «Гурник». «Куба» — такова была его партийная кличка — всегда в гуще событий, всегда на переднем крае классовых битв. Его деятельность в партии была прервана арестом и ссылкой в Сибирь, из которой его освободила Октябрьская революция.

В 1921 году Домбский вступает в Коммунистическую партию Польши. По своей скромности, отмечает рецензент, Домбский очень мало говорит о себе, он вспоминает своих соратников по борьбе, рассказывает об их вкладе в рабочее дело. «Они не были теоретиками,— пишет в предисловии к книге Ян Вальчонок,— они поступали так, как им подсказывала их классовая совесть».

Книга «Семьдесят пять лет под красным знаменем» посвящена молодежи и является, как отмечает рецензент журнала «Нове ксёнжки», ценным документом.

«ЧТОБЫ ЛЕНИНА ЧИТАЛИ СНОВА И СНОВА»

В Катовицах в издательстве «Шлёнск» вышло четырехтомное издание «Избранных произведений» В. И. Ленина, предназначенное, в отличие от изданного ранее академического сорокапятитомного собрания сочинений, для широких масс читателей. Издание предваряет вступление Тадеуша М. Ярошевского.

«Чтобы Ленина читали снова и снова» — так называется рецензия Петра Штомпки, напечатанная в журнале «Нове ксёнжки». В ней говорится: «Уделом гениальных авторов является неизменный интерес к их творениям, их хочется читать снова и снова и всякий раз открывать что-то новое для себя».

Исполнилось сто двадцать пять лет со дня рождения выдающегося актера, режиссера и театрального деятеля Людвика Сольского (1855—1954), сыгравшего за свою долгую жизнь около тысячи ролей. Он создал незабываемые образы в спектаклях по пьесам классиков польской и мировой драматургии. Советскому читателю известна книга воспоминаний Людвика Сольского, изданная в серии «Театральные мемуары».

На снимке: рисунок Станислава Выспянского — Людвик Сольский в спектакле по пьесе Выспянского «Варшавянка».

(Журнал «Театр»)

ТУНИС

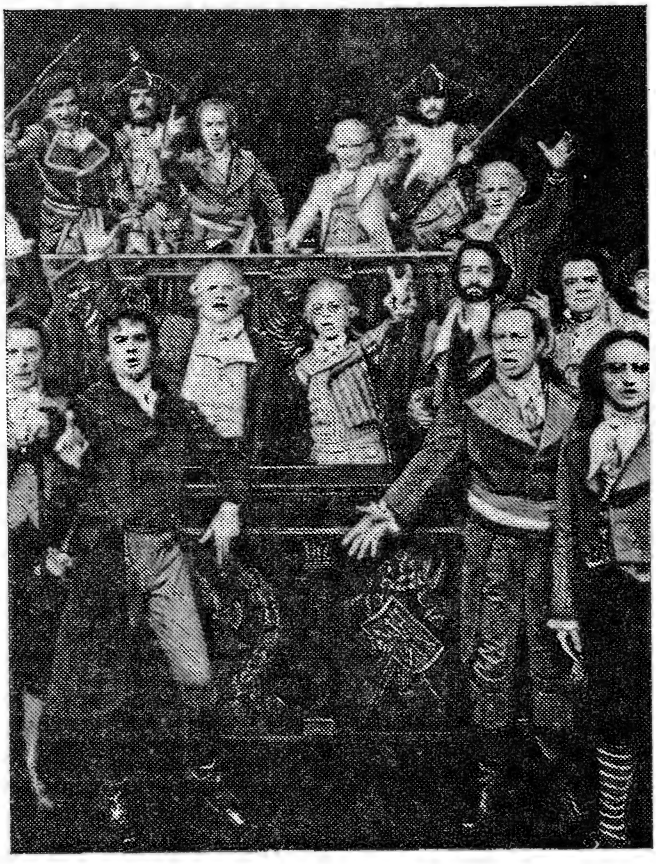
«ХИДЖАЗСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

Тунисский историк, литературовед доктор Али аш-Шануфи в течение ряда лет плодотворно занимается изучением истории общественной мысли Туниса. Несколько лет тому назад им была выпущена книга о выдающемся тунисском государственном деятеле и просветителе Хайр ад-Дине, прозванном «отцом тунисского Возрождения».

Недавно вышел другой труд, посвященный Мухаммеду ас-Сенуси (1850—1900) — крупному общественному деятелю и писателю второй половины XIX века.

Аш-Шануфи издал также с обширными комментариями наиболее важное в литературном отношении произведение ас-Сенуси — «Хиджазское путешествие», находившееся до этого в рукописи. В этой книге ас-Сенуси описывает свои скитания по различным странам Европы и Азии в конце XIX века после того, как Тунис был захвачен французскими колонизаторами. В первой части «Хиджазского путешествия» описывается Италия, во второй — Турция, Аравия, Сирия и Мальта, в третьей приводятся биографии выдающихся деятелей разных стран, с которыми автор встречался во время своего путешествия.

В качестве приложения к «Путешествию» приводится любопытное описание Парижа, который ас-Сенуси посетил в 1890 году.



На снимке: сцена из спектакля «Дантон и Робеспьер».

(Еженедельник «Юманите диманш»)

ФРАНЦИЯ

«ДАНТОН И РОБЕСПЬЕР»

Новая пьеса под таким названием о французской революции 1789 года, написанная Аленом Деко, Стелью Лоренци и Жоржем Сориа, поставлена Робером Оссейном во Дворце конгресса в Париже. Критики называют этот спектакль событием в театральной жизни.

У авторов пьесы большой опыт создания так называемых «народных спектаклей». В прошлые годы они завоевали успех постановкой во Дворце спорта пьес «Потемкин» и «Собор Парижской богоматери».

Спектакль «Дантон и Робеспьер» воспроизводит самые драматические моменты французской революции, пишет Реймон Лавинь в «Юманите диманш», пьеса насыщена трагизмом, напряженностью действия. Робер Оссейн стремился представить во плоти деятелей французской революции. «Мы не переделывали историю. Мы показали ее такой, какой она встает из исторических документов»,— сказал Жорж Сориа в беседе с критиком. Текст пьесы в значительной мере почерпнут из речей, прессы, архивов периода французской революции.

Наряду с центральными персонажами — Дантоном (Бернар Фрессон), Робеспьером (Жан Негрони), Сен-Жюстом (Юг Кестер) в пьесе действуют около девяноста персонажей. Разрушение границы между зрительным залом на четыре тысячи мест и сценой играет главную роль в постановке Р. Оссейна. Народ 1789 года — это сами зрители. Вместе с персонажами пьесы они участвуют в дебатах Конвента, в бурных стычках Якобинского клуба, в заседаниях революционного трибунала. Французская революция воспринимается зрителями как весть, переданная через столетия, заключает критик «Юманите диманш».

ФРГ

СУДЬЯ ДЁРНЕР ДЕЛАЕТ ВЫБОР

Издательство «Бертельсман» выпустило новый роман известного западногерманского писателя Франца Йозефа Дегенхардта «Истязание» (его роман «Бикфордов шнур» был опубликован в «ИЛ» в № 1, 2, 1976 г.).

Герой романа Дёрнер, сын мелкого лавочника, сумел сделать неплохую карьеру. Он — судья и в скором времени рассчитывает на повышение. Начальство им довольно. Дёрнер «трудолюбив и гибок». Однако наступает момент, когда соображения карьеры вступают в противоречие с требованиями совести.

Дёрнеру предстоит вынести решение по скандальному делу об истязании родителями двенадцатилетнего мальчика. Дело представляется достаточно ясным: необходимо лишить этих людей родительских прав, а мальчика передать на воспитание в приют. Однако такое решение может повредить карьере Дёрнера, объясняет ему его тесть, бывший нацистский судья, а ныне председатель сената. Оно сыграет на руку «пропаганде ГДР», а кроме того, произведет плохое впечатление в свете кампании против «нарушения прав человека в других странах».

Дёрнер отказывается замять дело и выносит то решение, которое подсказывает ему совесть. В ответ на это тесть грозит предать гласности некоторые компрометирующие подробности личной жизни Дёрнера, намекает, что дело может кончиться исключением его сына из школы. Разговор происходит во время загородной прогулки. И тут случается неожиданное: Дёрнер сталкивает тестя в болото.

«Это могло бы напомнить дешевый детектив»,— пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» рецензент Армин Айрен.— Однако мгновенная реакция Дёрнера выглядит достоверной хотя бы потому, что его поступок ничего не меняет». Попытка убийства заканчивается фарсом: болото оказалось неглубоким. Судья помогает председателю сената выбраться. И тот дает понять, что молчать не намерен. На карьере Дёрнера можно поставить крест.

Роман заканчивается символической сценой: герой Дегенхардта, балансируя, идет по узкому парапету гамбургского железнодорожного моста. Когда-то он наблюдал, как это делает его сын, а теперь и сам может поступать как хочет, не считаясь с условностями общества, к которому он больше не принадлежит.

Рецензент в целом высоко оценивает книгу. Правда, «кое-что в ней кажется схематичным»,— отмечает он; однако это во многом объясняется характером задачи, которую поставил перед собой автор: «показать человека, который по природе не является героем, но которого обстоятельства заставляют им стать».

Орган Компартии Австрии газета «Фольксштимме» особо отмечает реализм Дегенхардта. «Здесь все соответствует действительности». Газета указывает, что автор сам когда-то занимался адвокатской практикой в Гамбурге и хорошо изучил описываемую среду.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

В Праге открыт памятник Юлиусу Фучику (на фото) работы скульптора Милослава Шонка и архитектора Йозефа Полака. На открытии памятника секретарь ЦК КПЧ Ян Фойтик сказал: «Памятник, который мы сегодня открываем, будет всегда напоминать гражданам столицы и всем, кто приходит сюда, о величии человека — революционера, пламенного патриота, интернационалиста, коммуниста... Фучик среди нас. Он ведет и нашу борьбу: за жизнь более полную, счастливую и духовно богатую. За человека новой эпохи — свободного, образованного, сознающего свою общественную ответственность, человека активного, по-коммунистически современного, который ценит историю своего народа, прогрессивные традиции всех народов...»

(Еженедельник «Творба»)

ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР...

В издательстве «Ческословенски списователь» вышел сборник рассказов известного чешского писателя Яна Вайсса (1892—1972) «Сумасшедший полк». Советские читатели знают Вайсса как автора фантастического романа «Дом в тысячу этажей» и книги новелл «Земля внуков» — «гадание о будущем», как назвал ее писатель.

Сборник «Сумасшедший полк», как и эти книги, еще раз подтверждает, что фантаст и мечтатель Ян Вайсс и в своих сатирических фантасмагориях, и в социальных утопиях умеет раскрыть реальные противоречия времени и насущные исторические проблемы так глубоко и верно, как это далеко не всегда удается признанным писателям-реалистам.

Участник первой мировой войны, оказавшийся в русском плену, легионер, переживший трагедию мятежа легионерского корпуса против молодой Советской республики, Вайсс стал впоследствии страстным противником капиталистического строя, что не могло не сказаться на его творчестве.

В сборник «Сумасшедший полк» вошли сатирические рассказы разных лет, в том числе и написанные почти полвека назад. Но звучат они необычно актуально. Апокалипсические сцены разрушений, творимых безумными солдатами (рассказ «Сумасшедший полк»), пугающий образ-символ «сверхпса» — огромной овчарки, обученной фашистами терзать живых людей («Прославленный пес»), гротескные эпизоды издевательств, чинимых диктатором в рассказе «Уста за решеткой», и другие — все эти фантастические картины отражают реальные черты безумия современного империализма с его лихорадочной гонкой вооружений, угрозой атомной войны, попранием элементарных прав человека, прав народов.

Сатира Вайсса, как отмечает пресса, остается действенным идеологическим оружием сил демократии и прогресса.

«БУМ»

Так назван мультипликационный фильм. Он идет всего одиннадцать минут, но за это время успевает показать зрителям, как на протяжении многовековой истории человечества люди истребляли друг друга. Если нашим далеким предкам для этой цели достаточно было дубинки, то средневековые рыцари прибегали уже к мечу, «цивилизованное» человечество (после изобретения пороха) — к пушкам и ружьям, а людям нашей эпохи грозят уничтожением атомные, водородные, нейтронные и всякие иные бомбы.

Эту эволюцию средств взаимоуничтожения людей воспроизводят идущие один за другим кадры.

Фильм был снят на пражской студии Иржи Трнки в сотрудничестве с ООН. На Международном кинофестивале 1979 года в Канне он получил в своей категории фильмов высшую награду — Золотую пальму.

Автор сценария, режиссер и художник — Бржетислав Пойар.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017 Москва. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

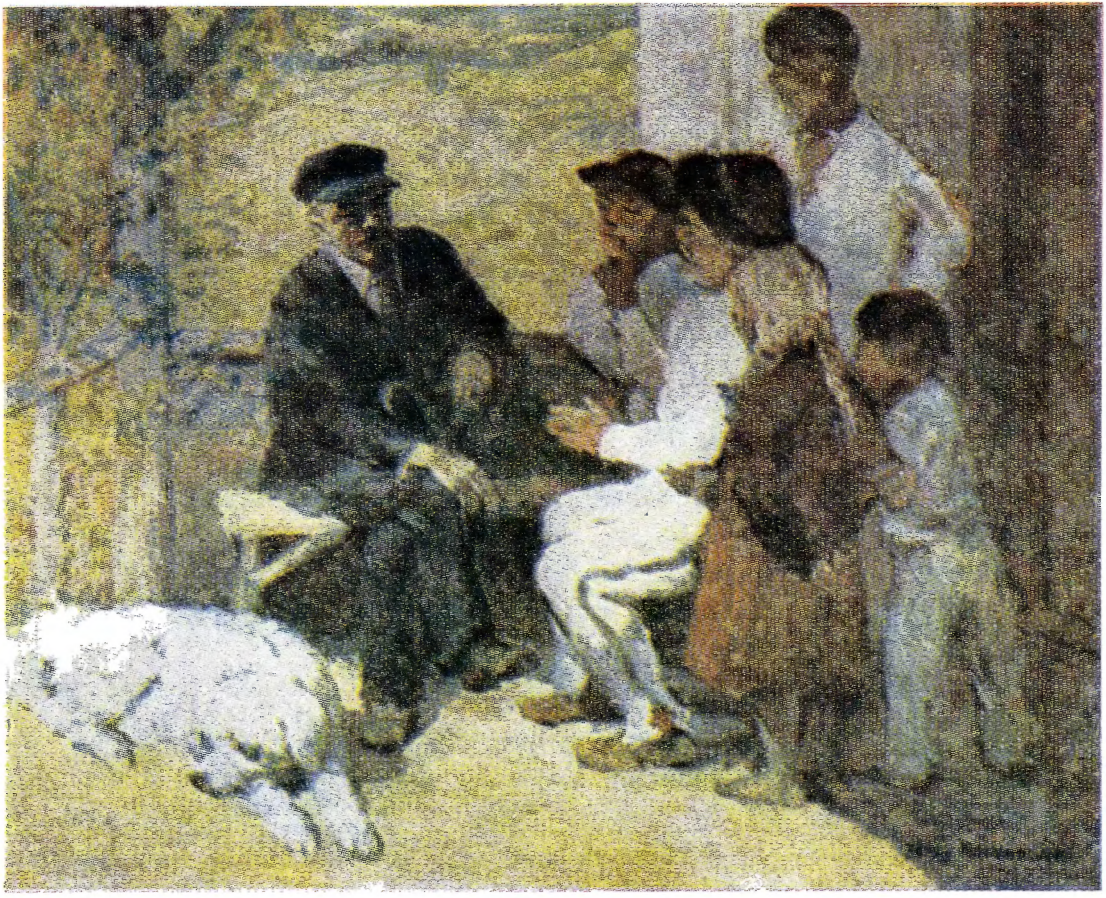
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/II-1980 г. А 10976 Подписано в печать 14/III-1980 г.
Бумага 70×108 1/16. 17 п. л. (23,8) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80

Тираж 480.000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 493

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



ЕЖИ ПОТШЕБОВСКИЙ. Ленин в гуральской семье

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394